А. С. Грин

А. С. Грин

2

А. С. Грин

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1991



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ВТОРОЙ

РАССКАЗЫ
1913-1916



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1991

ББК 84Р7
Г85

Составление
с научной подготовкой текста
Л. МИХАЙЛОВОЙ

Примечания
А. РЕВЯКИНОЙ

Оформление художника
В. ЛЮБИНА

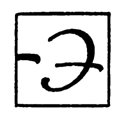
Г $\frac{4702010201-171}{028(01)-91}$ Подписное

ISBN 5-280-01610-1 (Т. 2)
ISBN 5-280-01609-8

РАССКАЗЫ
1913-1916

ПЛЕМЯ СИУРГ

I



ли Стар! Эли Стар! — вскрикнул бородатый молодой крепыш, стоя на берегу.

Стар вздрогнул и, спохватившись, двинул рулем. Лодка описала дугу, ткнувшись носом в жирный береговой ил.

— Садись,— сказал Эли бородачу.— Ты закричал так громко, что я подумал, не хватил ли тебя за икры шакал.

— Это потому, что ты не мог отличить меня от дерева.

Род сел к веслам и двумя взмахами их вывел лодку на середину.

— Я не слыхал ни одного твоего выстрела,— сказал Стар.

Род ответил не сразу, а весла в его руках заходили быстрее. Затем, переводя взгляд с линии борта на лицо друга, выпустил град быстрых, сердитых фраз:

— Это идиотская страна, Эли. Здесь можно сгореть от бешенства. Пока ты плавал взад и вперед, я исколесил приличные для моих ног пространства и видел не больше тебя.

— Конечно, ты помирился бы только на антилопе, не меньше,— засмеялся Стар.— И брезговал птицами.

— Какими птицами? — зевая, насмешливо спросил Род.— Здесь нет птиц. Вообще нет ничего. Пусто, Эли. Меня окружала какая-то особенная тишина, от которой делается не по себе. Я не встречал ничего подобного.

Послушай, Стар, если мы повернем вниз, будем сменяться в гребле и изредка мочить себе головы этим табачным настоем,— Род показал на воду,— то через два часа, выражаясь литературно, благородные очертания яхты прикуют наше внимание, а соленый, кровожадный океан вытрет наши лица угольщиков своим воздушным полотенцем. Мы сможем тогда, Эли, выкинуть эти омерзительные жестянки с вареным мясом. Мы сможем переодеться, почитать истрепанную алжирскую газету, наконец, просто лечь спать без москитов. Эли, какое блаженство съесть хороший обед!

— Пожалуй, ты прав,— вяло согласился Стар.— Но видел ли ты хоть одно животное?

— Нет. Я тонул в какой-то зеленой каше. А стоило мне взобраться на лысину пригорка — конечно, полнейшая тишина. К тому же болезненный укус какого-то проклятого насекомого.

— Ты не в духе и хочешь вернуться,— перебил Эли.— А я — нет.

— Глупости,— проворчал Род.— Я думал и продолжаю думать, что пустыня привлекательна только для желторотых юнг, бредящих приключениями.

— На палубе мне еще скучнее,— возразил Стар.— Здесь все-таки маленькое разнообразие. Ты посмотри хорошенько на эти странные, свернутые махры листвы, на нездоровую, желто-зеленую пышность болот. А этот сладкий ядовитый дурман солнечной прели!

— Вижу, но не одобряю,— сухо сказал Род.— Что может быть веселее для глаз ложбинки с орешником, где бродят меланхолические куропатки и лани?!

— Послушай,— нерешительно проговорил Эли,— ступай, если хочешь. Возьми лодку.

— Куда? — Род вытаращил глаза.

— На яхту.— Стар побледнел, тихий приступ тоски оглушил его.— Ступай, я приду к ночи. Спорить бесполезно, дружище,— у меня такое самочувствие, когда лучше остаться одному.

Вопросительное выражение глаз Рода сменилось высокомерным.

— Насколько я понимаю вас, сударь,— проговорил он, свирепо махая веслами,— вы желаете, чтобы я удалился?

— Вот именно.

— А вы будете разгуливать пешком?

— Немного.

— Хм! — задыхаясь от переполнявшей его иронии, выпустил Род.— Так я вам вот что сообщу, сударь: в гневе я могу убить бесчисленное количество людей и животных. Бывали также случаи, что я закатывал пощечину какой-нибудь мало естественной личности только потому, что она не имела чести мне понравиться. Я могу при случае стянуть платок у хорошенькой барышни. Но бросить вас одного на съедение гиппопотамам и людоедам — выше моих сил.

— Я поворачиваю,— сухо сказал Стар.

— Никогда! — вскрикнул Род, стремительно ударяя веслами, причем конечное «да» вылетело из его горла наподобие пушечного салюта.

Стар вспыхнул,— в эту минуту он ненавидел Рода больше, чем свою жизнь,— и круто повернул руль. Через несколько секунд, в полном молчании путешественников, лодка шмыгнула носом в колыхающуюся массу прибрежных водорослей и остановилась. Стар спрыгнул на песок.

— Эли,— с тупым изумлением сказал огорченный Род,— куда ты? И где ты будешь?

— Все равно.— Стар тихонько покачивал ружье, висевшее на плече.— Это ничего; дай мне побродить и успокоиться. Я вернусь.

— Постой же, консерв из грусти! — закричал Род, кладя весло.— Солнце идет к закату. Если ты окочуришься, что будет с яхтой?

— Яхта моя,— смеясь, возразил Эли.— А я — свой. Что можешь ты возразить мне, бородатый пачкун?

Он быстро вскарабкался на обрыв берега и исчез. Род изумленно прищурился, подняв одну бровь, другую, криво усмехнулся и выругался.

— Эли,— солидно, увещевательным тоном заговорил он, встревоженный и уже решившийся идти по следам друга,— мы, слава богу, таскаемся три года вместе на твоей проклятой скорлупе, и я достаточно изучил ваши причуды, сударь, но такой подлости не было никогда! Отчего это у меня душа болела только раз в жизни, когда я проиграл карамбольный матч косоглазому молодцу в Нагасаки?

Он ступил на берег, тщательно привязал лодку и продолжал:

— Близится ночь. И эта проклятая, щемящая тишина!

Легли тени. Бесшумный ураган мрака шел с запада. В величественных просветах лесных дебрей вспыхивало зеленое золото.

II

Стар двинулся к лесу. У него не было иной цели, кроме поисков утомления, той его степени, когда суставы кажутся вывихнутыми. Ему действительно, по-настоящему хотелось остаться одному. Род был всегда весел, что действовало на Эли так же, как патока на голодный желудок.

Высокая, горячая от зноя трава ложилась под его ногами, пестрея венчиками странных цветов. Океан света, блиставший под голубым куполом, схлынул на запад; небо стало задумчивым, как глаз с опущенными ресницами. Над равниной клубились сумерки. Стар внимательно осмотрел штуцер — близился час, когда звери отправляются к водопою. Простор, тишина и тьма грозили неприятными встречами. Впрочем, он боялся их лишь в меру своего самолюбия — быть застигнутым врасплох казалось ему унизительным.

Он вздрогнул и остановился: в траве послышался легкий шум; в тот же момент мимо Стара, не замечая его, промчался человек цвета золы, голый, с тонким коротким копьем в руках. Бежал он как бы не торопясь, вприпрыжку, но промелькнул очень быстро, плавным, эластичным прыжком.

Смятая бегущим трава медленно выпрямлялась. Неподвижный, тихо сжимая ружье, Стар мысленно рассматривал мелькнувшее перед ним лицо, удивляясь отсутствию в нем свирепости и тупости — то были обычные человеческие черты, не лишенные своеобразной красоты выражения. Но он не успел хорошенько подумать об этом, потому что снова раздался топот, и в траве пробежал второй, вслед за первым. Он скрылся; за ним вынырнул третий, блеснул рассеянными, не замечающими ничего подозрительного глазами, исчез, и только тогда Стар лег на землю, опасаясь выдать свое присутствие.

Нахмурившись, потому что неожиданное появление людей лишало его свободы действий, Стар пытливо провожал взглядом ритмически появляющиеся смуглые, мускулистые фигуры. Одна за другой скользили они в

траве, прокладывая ясно обозначавшуюся тропинку. На их руках и ногах звенели металлические браслеты, а разукрашенные прически пестрели яркими лоскутками.

«Погоня или охота»,— мысленно произнес Стар.

Стемнело; представление кончилось, но Стар, прислушиваясь, ждал еще чего-то. Разгораясь, вспыхивали на небосклоне звезды; тишина, подчеркнутая отдаленным криком гиен, наполнила путешественника смешанным чувством любопытства и неудовлетворенности, как будто редкая таинственная душа обмолвилась коротким полупризнанием.

Стар поднялся. Ему хотелось двигаться с такой же завидной быстротой, с какой эти смуглые юноши, размахивая копьями, обвеяли его ветром своих движений. Головокружительный дурман мрака тяготил землю; звездный провал ночи напоминал бархатные лапы зверя с их жутким прикосновением. Маленькое сердце человека стучало в большом сердце пустыни; сонные, дышали мириады растений; улыбаясь, мысленно видел Стар их крошечные полураскрытые рты и шел, прислушиваясь к треску стеблей.

В то время воля его исчезла: он был способен поддаться малейшему толчку впечатления, желания и каприза. Исчезли формы действительности, и нечему было повиноваться в молчании преображенной земли. Беззвучные голоса мысли стали таинственными, потому что жутко-прекрасной была ночь и затерянным чувствовал себя Стар. Один ужас мог бы вернуть его к обычной замкнутой рассудительности, но он не испытывал страха; черный простор был для него музыкой, и в его беззвучной мелодии сладко торжествовала лишь душа Эли.

Тьма мешала идти быстро; он вынул электрический карманный фонарь. Бледный круг света двинулся впереди него, ныряя в траве.

— Эли Стар! Эли Стар!

Это кричал Род. Стар обернулся, вздрогнув всем телом. Крик был совершенно отчетливый, протяжный, но отдаленный; он не повторился, и через минуту Стар был убежден, что ему просто послышалось. Другой звук — глухой и мягкий, с ясным металлическим тембром — повторился три раза и стих, как показалось, в лесу.

III

«Эли,— сказал себе Стар, пройдя порядочный кусок леса,— кажется, что-то новое».

Он был спрятан со всех сторон лесом; желтый конус карманного фонаря передвигался светлым овалом со ствола на ствол. А с этим светом боролся живой свет гигантского бушующего костра, разложенного посредине лесной лужайки, шагах в сорока от путешественника. Красные тени, вспыхивая озаренными огнем листьями, ложились в глубину чащи, у ног Стара.

Лужайка кипела дикарями; они теснились вокруг костра; там были мужчины, дети и женщины; смуглые тела их, лоснящиеся от огня, двигались ожерельем. Гигантский, освещенный снизу, дымный, мелькающий искрами столб воздуха уходил в поднебесный мрак.

Некоторые сидели кучками, поджав ноги; оружие их лежало тут же — незатейливая смесь шкур, железных шипов и острий. Сидящие ели; большие куски поджаренного мяса переходили из рук в руки. К мужчинам приближались женщины, маленькие, быстрые в движениях существа, с кроткими глазами котят и темными волосами, заплетенными в сеть мелких кос. Женщины держали в руках тыквенные бутыли с горлышками из болотного тростника, и утоливший жажду мгновенно возвращался к еде.

Эли смотрел во все глаза, боясь упустить малейшую подробность ночного пиршества. Слышался визг детей, кудрявыми угольками носившихся из одного уголка поляны в другой. Взрослые хранили молчание; изредка чье-нибудь отдаленное восклицание звучало подобно крику ночной птицы, и опять слышался лишь беглый треск пылающего костра. Голые — все были в то же время одеты; одежда их заключалась в их собственных певучих движениях, лишенных неловкости раздетого европейца.

Стар вздрогнул. Тот же, слышанный им ранее, звучный и веский удар невидимого барабана повторился несколько раз. Пронзительная, сиплая трель дудок сопровождала эти наивно торжественные «бун-бун» унылой мелодией. Ей вторило глухое металлическое бряцание, и, неизвестно почему, Стар вспомнил вихлявых, глупоглазых щенков, прыгающих на цветочных клумбах.

Барабан издал сердитое восклицание, громче завыли

дудки; высокие голоса их, перебивая друг друга, слива лись в тревожном темпе.

Стремительно зазвенели бесчисленные цимбалы, и все перешло в движение. Толпа теснилась вокруг костра; то было сплошное мятущееся кольцо черных голов на красном фоне огня. Новый звук поразил Стара — жужжащий, как полет шмеля, постепенно усиливающийся, взбирающийся все выше и выше, трубящий, как медный рог, голос дикого человека.

Голос этот достиг высшего напряжения, эхом пролетел в лесу, и тотчас пение стало общим. Огонь взлетел выше, каскад искр рассыпался над черными головами. Это была цветная, пестрая музыка, напоминающая нестройный гул леса. Душа пустынь сосредоточилась в шумном огне поляны, дышавшей жизнью и звуками под золотым градом звезд.

Стар напряженно слушал, пытаясь дать себе отчет в необъяснимом волнении, наполнявшем его смутной тоской. Несложная заунывная мелодия, состоявшая из двух-трех тактов, казалось, носила характер обращения к божеству; ее страстная выразительность усиливалась лесным эхом. Положительно, ее можно было истолковать как угодно.

Стар взволнованно переступал с ноги на ногу; эта музыка действовала на него сильнее наркотика. Древней, страшно древней стала под его ногами земля, тысячелетиями обросли сырые, необхватные стволы деревьев. Стар напоминал человека, мгновенно перенесенного от устья большой реки, где выросли города, к ее скрытому за тысячи миль началу, к маленькому ручью, обмывающему лесной камень.

Пение, усилившись, оборвалось криком, протяжным, пущенным к небу всей силой легких. Крик усиливался, сотни рук, поднятых вверх, дрожали от сладкой ярости возбуждения; хрипло стонали дудки. И разом все смолкло. Толпа рассыпалась, покинув костер; в то же мгновение ночная птица крикнула в глубине леса отчетливо и приятно, голосом, напоминающим часовую кукушку.

IV

Девушка, для которой это было сигналом, условным криком свидания, выделилась из толпы и, оглянувшись несколько раз, медленными шагами подошла к

группе деревьев, сзади которых стоял Стар, рассматривавший цветную женщину. Не думая, что она войдет в лес, он спокойно оставался на месте. Девушка остановилась; новый крик птицы заставил Эли насторожиться. Неясная для него, но несомненная связь существовала между этим криком и быстрыми движениями женщины, нырнувшей в кусты; лицо ее улыбнулось. Стар успокоился — эти любовные хитрости были для него неопасны.

Он не успел достаточно насладиться своей догадливостью, как возле него, в пестрой тьме тени и света, послышался осторожный шорох. Встревоженный, он инстинктивно поднял ружье, но тотчас же опустил его. Темная, голая девушка, вытянув шею, медленно шла к нему, далекая от мысли встретить кого-нибудь, кроме возлюбленного, принадлежавшего, вероятно, к другому племени. Ночная птица крикнула в третий раз. Не давая себе отчета в том, что делает, повинуясь лишь безрассудному толчку каприза и забыв о могущих произойти последствиях, Стар нажал пуговку погашенного перед тем фонаря и облил женщину светом.

Если он позабыл прописи, твердящие о позднем раскаянии, то вспомнил их мгновенно и испугался одновременно с девушкой, тоскливо ожидая крика, тревоги и нападения. Но крик застрял в ее горле, изогнув тело, откинувшееся назад резким, судорожным толчком. Миндалевидные, полные ужаса глаза уставились в лицо Стара; таинственный свет в руке белого человека наполнял их безысходным отчаянием. Девушка была очень молода; трепещущее лицо ее собиралось заплакать.

Стар открыл рот, думая улыбнуться или ободрительно щелкнуть языком, как вдруг вытянутые, смуглые руки упали к его ногам вместе с маленьким телом. Комочек, свернувшийся у ног белого человека, напоминал испуганного ежа; всхлипывающий шепот женщины звучал суеверным страхом; возможно, что она принимала Стара за какого-нибудь бога, соскучившегося в небесах.

Эли покачал головой, сунул фонарь в траву, нагнулся и, крепко схватив девушку выше локтей, поставил ее рядом с собой. Она не сопротивлялась, но дрожала всем телом. Боязнь неожиданного припадка вернула Стару самообладание; он мягко, но решительно отвел ее руки от спрятанного в них лица; она пригибалась к земле и вдруг уступила.

— Дурочка,— сказал Стар, рассматривая ее первобытно-хорошенькое лицо, с влажными от внезапного потрясения глазами.

Он не нашел ничего лучшего, как пустить в ход разнообразные улыбки белого племени: умильную, юмористическую, лирическую, добродушную, наконец — несколько ужимок, рассчитанных на внушение доверия. Он проделал все это очень быстро и добросовестно.

Девушка с удивлением следила за ним. Первый испуг прошел; рот ее приоткрылся, блеснув молоком зубов, а дыхание стало ровнее. Эли сказал, указывая на себя пальцем:

— Эли Стар, Эли Стар.— Он повторил это несколько раз, все тише и убедительнее, продолжая сохранять мину веселого оживления.— А ты?

Несколько слов дикого языка, тихих, почти беззвучных, были ему ответом.

— Я ничего не понимаю,— сказал Стар, инстинктивно делаясь педагогом.— Послушай! — Он осмотрелся и протянул руку к дереву.— Дерево,— торжественно произнес он. Затем указал пальцем на электрический свет в траве: — Фонарь!

Женщина механически следила за движением его руки.

— Эли Стар,— повторил он, переводя палец к себе под ложечку.— А ты?

Рука его коснулась голой груди девушки.

— Мун! — отчетливо сказала она, блестя успокоенными глазами, в которых, однако, светилось еще недоверие.— Мун,— повторила она, гладя себя по голове худощавой рукой.

Стар засмеялся. Он чувствовал себя опущенным в глубокий, теплый родник с лесными цветами по берегам. Быть может, он нравился ей, этот смуглый полубог в костюме из полосатой фланели. В нескольких десятках шагов от горна чужой жизни, освещенный снизу фонариком, безрассудный, как все теряющие равновесие люди, он чувствовал себя отечески сильным по отношению к коричневому подростку, не смевшему пошевелиться, чтобы не вызвать новых, еще более таинственных для нее происшествий.

— Мун! — сказал Стар и взял ее задрожавшую руку.— Мун мне не нравится; будь Мунка. Мунка,— продолжал он в восторге от жалких зародышей понимания, немного освоивших их друг с другом.— А это

кто, чей балет я только что наблюдал? — Он показал в сторону красноватых просветов.— Это твои, Мунка?

— Сиург,— сказала девушка. Это странное слово прозвучало в ее произношении как голубиная воркотня.

Она тревожно посмотрела на Стара и выпустила еще несколько непонятных слов.

— Вот что,— сказал, улыбаясь, Эли,— это, милая, надеюсь, совершенно развеселит тебя.

Он вынул золотые часы, играющие старинную народную песенку, завел их и протянул девушке. Приятный маленький звон шел из его руки; раскачиваясь на цепочке, часы роняли в траву микроскопическую игру звуков, нежных и тонких. Девушка выпрямилась. Изумление и восторг блеснули в ее глазах; сначала, приставив руки к груди, она стояла, не смея пошевелиться, потом быстро выхватила из рук Эли волшебную штуку и, хватая ее то одной, то другой рукой, как будто это было горячее железо, подскочила вверх легким прыжком. Часы звенели. Девушка приложила их к уху, к глазам, к губам, прижала к животу, потерла о голову. Часы, как настоящее живое существо, не обратили на это никакого внимания; они добросовестно заканчивали мелодию, старинные часы работы Крукса и К^0, подарок опекуна.

— Мунка,— сказал Стар,— если бы ты говорила на моем языке, ты услышала бы еще кое-что. Но я могу говорить только жестами.

Он дотронулся до нее рукой и почувствовал, что тело ее приближается к нему, занятое, с одной стороны, часами, с другой — таинственным, прекрасным белым человеком — мужчиной. Повинуясь логике случая, Стар обнял и поцеловал девушку, и еще меньше показалась она ему в задрожавших руках...

Он отскочил с диким криком испуга, потрясения, разрушающего идиллию. Хорошо знакомый, охрипший голос Рода гремел невдалеке, полный чувства опасности и решимости:

— Стар, держись! Бей черных каналий! Стреляй!

Девушка отбежала в сторону. Эли, машинально взводя курки, крикнул:

— Мунка, не надо бежать!

Двойной выстрел разбудил пустыню: огонь его блеснул молнией в темноте. Выстрелив, Род кинулся к Эли, спасать друга. Он отыскал его, бросившись на свет фонаря.

Пронзительный, полный страданий и ужаса вопль огласил лес. Вне себя, Стар бросился в сторону крика. Темный, извивающийся силуэт корчился у его ног. Он опустил на землю фонарь и вскрикнул: смертельно раненная девушка билась у его ног. Стар обернулся к подбежавшему Роду и взмахнул прикладом.

— Я тебя убью,— хрипло сказал он.

— Стой! — закричал Род.— Это я, не дикарь!

Девушка, перестав биться и визжать, вытянулась. В руке ее, замолкшие, как и она, блестели золотые часы.

— Безумец! Безумец! — сказал Эли.— Зачем ты помешал жить мне и ей!

— Эли, клянусь богом!.. Разве они не напали на тебя?! Я видел убегающий, воровской, черный изгиб спины.— Род плюнул.— Хоть убей, не понимаю.

Эли, подняв безжизненное тело, нервно смеялся. Пот выступил на его бледном лице. В лесу, где горел костер, раздавались крики испуга и смятения, костер гас, и щупальца страха ползли к сердцу Рода.

— Эли, бежим! — с тоской вскричал он.— Они окружают нас, Эли!

Стар нежно положил девушку и бросил ружье.

— Да,— сказал он,— ты прав. Бежим, но только отстреливайся ты один, ты, меткий убийца!

— Мне показалось, видишь ли...— торопливо заговорил Род и не кончил: медленный свист стрелы сделал его несообщительным. Он, заряжая на бегу карабин, помчался в сторону реки; за ним Стар.

А дальше был страшный ночной сон, когда, кружась во тьме, кланяясь ползущему свисту стрел и падая от изнеможения, два человека, из которых один, сохранивший ружье, бешено стрелял наугад, пробрались к темной реке и лодке.

V

Однообразный плеск морских волн помогал капитану сосредоточиться. Он сидел под тентом, рассматривая морскую карту.

Из кают-компании вышел доктор, обмахиваясь брошюркой. Доктору надоело читать, и он бродил по судну, приставая ко всем. Увидев погруженного в занятие капитана, доктор остановился перед ним, сунув руки в карманы, и стал смотреть.

Капитан сердито зашуршал картой и стукнул карандашом по столу.

— Не мешайте,— мрачно сказал он.— Что за манера — прийти, уставиться и смотреть!

— Почему вы в шляпе? — рассеянно спросил доктор.— Ведь жарко.

— Отстаньте.

— Нет, в самом деле,— не смущаясь, продолжал эскулап,— охота вам париться.

— Я брошу в вас стулом,— заявил моряк.

— Согласен.— Доктор зевнул.— А я принесу энциклопедический словарь и поражу вас на месте.

Капитану надоело препираться. Он повернулся к доктору спиной и тяжело засопел, шаря в кармане трубку.

— А где Эли? — спросил доктор.

— У себя. Уйдите.

Доктор, напевая забористую кафешантанную песенку, сделал на каблуках вольт и ушел. Скука томила его. «Хорошо капитану,— подумал доктор,— он занят, скоро подымем якорь; а мне делать нечего, у меня все здоровы».

Он спустился по трапу вниз и постучал в дверь каюты владельца яхты.

— Войдите! — быстро сказал Эли.

В каюте рокотал и плавно звенел рояль. Доктор, переступив порог, увидел в профиль застывшее лицо Стара. Потряхивая головой, как бы подтверждая самому себе неизвестную другим истину, Эли торопливо нажимал клавиши. Доктор сел в кресло.

Эли играл второй вальс Годара, а впечатлительный доктор, как всегда, слушая музыку, представлял себе что-нибудь. Он видел готический, пустой, холодный и мрачный храм; в стрельчатых у купола окнах ложится, просекая сумрак, пыльный, косой свет, а внизу, где почти темно, белеют колонны. В храме, улыбаясь, топая ножками, расставив руки и подпевая сама себе, танцует маленькая девочка. Она кружится, мелькает в углах, исчезает и появляется, и нет у нее соображения, что сторож, заметив танцовщицу, возьмет ее за ухо.

Неодобрительно смотрит храм.

Эли оборвал такт и встал. Доктор внимательно посмотрел на него.

— Опять бледен,— сказал он.— Вы бы поменьше

охотились, вообще сибаритствуйте и бойтесь меня. А где Род?

— Не знаю.— Эли задумчиво тер лоб рукой, смотря вниз.— Сегодня вечером яхта уходит.

— Куда?

— Куда-нибудь. Я думаю — на восток.

Доктор не любил переходов и охотно бы стал уговаривать юношу постоять еще недельку в заливе, но расстроенный вид Эли удержал его.

«Когда человек отравлен сплином, не следует противоречить,— думал доктор, покидая каюту.— Почему люди тоскуют? Может быть, это азбука физиологии, а может быть, здесь дело чистое... Существует ли душа? Неизвестно».

Ветер, поднявшийся с утра, не стих к вечеру, а усилился, и море, волнуя переливы звездных огней, ленивым плеском качало потонувшую во мраке яхту.

Матросы, ворочая брашпиль, ставя паруса и разматывая концы, оживили палубу резкой суетой отплытия. На шканцах стоял Эли, а Род, начиная сердиться на Стара «за принимание пустяков всерьез», вызывающе говорил, проходя мимо него с капитаном:

— Дьявольская страна, провались она сквозь землю!

К Эли, неподвижно смотрящему в темноту, подошел доктор, настроенный поэтически и серьезно.

— О, ночь! — сказал он.— Посмотрите, друг мой, на это волшебное небо и грозный тихий океан и огни фонарей,— мы живем среди чудес, холодные к их могуществу.

Но Эли ничего не ответил, так как прекрасные земля и небо казались ему суровым храмом, где обижают детей.

ПОСЛЕДНИЕ МИНУТЫ РЯБИНИНА

I

В высокой, просторной, с богатой обстановкой, комнате лежал Рябинин. Вошел доктор, а за ним, неся лекарство и осторожно ступая, чтобы не разбудить больного, появилась сестра милосердия, девушка лет сорока, с постным и чванным лицом.

— Он спит,— сказал доктор.

— Он очень изнурен,— пояснила сестра милосердия,— весь день больной метался и бредил, говоря разные странные, даже неприличные вещи. Но, кажется, микстура понемногу действует.

— Он спит, да,— сказал доктор.— Это хороший признак. Я зайду после.

— Я разбужу его?!

— Нет, этого не следует делать.

Доктор посмотрел на часы и взял шляпу. Он постоял, зевая, затем подошел к кровати.

— Больной выглядит плохо. Эти синеватые тени и побуревшие скулы... гм... гм!.. Когда ему стало хуже?

— Два дня. Я говорила с ним. Он жаловался на острую боль в голове, слабость и лихорадку.

— Он ест?

— Ни крошки, но сильно мучается жаждой.

— В погребе чертовски темно,— вдруг сказал Рябинин, вертя головой.— Подай фонарь! Слышишь, ты, старая хрычовка?

— Бредит,— сказал доктор, взял руку больного и стал считать пульс.— Восемьдесят... семь... сто десять... гм... гм... тяжелый случай.

Он стоял, покачивая головой и думая обычные мысли живого человека о смерти: «Бытие стремится к уничтожению. Жизнь — зарождение, развитие и гибель клетчатки. Все погибает, все рождается».

Рябинин тяжело задышал, вскрикивая:

— Подайте мне сапоги!

— Несчастный Алексей Федорович! — равнодушно сказала сестра.

— Однако я тороплюсь.— Доктор, вынув записную книжку, писал рецепт.— Эти порошки три раза в день; а к голове лед. До свиданья.

II

Утром на другой день сестра милосердия отлучилась на полчаса, а к больному пришел навестить его Осип Кириллыч Скуба, знакомый фельдшер Рябинина. Сидя у изголовья спящего Рябинина, Скуба читал отысканный на этажерке бульварный роман. Полуоткрытым окном шевелил ветер, рама скрипнула; увлеченный чтением, Скуба вздрогнул, поднял голову и стал размышлять:

— В романах женщины отдаются легко, а попробуй в действительности! Я думаю, что авторы, описывая любовные интриги, дополняют воображением недостаток своего собственного существования. Ну, мыслимо ли, чтобы в течение одного месяца Артур соблазнил четырех графинь, полдюжины баронесс, монахиню, горничную и двух дочерей лакея? Впрочем, мне все равно, и я думаю...— Здесь Скуба, осмотревшись, вытащил из кармана зеркальце и стал внимательно рассматривать свое похожее на дыню лицо.— Я думаю, что при некотором усилии с моей стороны обладание женщинами давалось бы мне легко. Но я ленив. В прошлом году... Судомойка из ресторана... Нет, та была слишком толста.— Медленно шевеля губами, Скуба прочел: — «Пухлая шея вздрагивала от поцелуев». Какая сочная кисть у этого автора!

— Кто-нибудь! — открывая глаза, простонал Рябинин.

— Здравствуйте! — сказал Скуба.— Это я, ну как ваши делишки? Лучше ли вам?

Больной повернул голову.

— Не знаю,— с усилием проговорил он. Помолчав, Рябинин продолжал, морщась от надоедливой мухи: — Голова распухла, и весь я как будто распух, отяжелел и... разбит. Был мерзкий сон... Я видел себя лежащим на шоссейной дороге, связанным по рукам и ногам. По мне проезжали возы... Тысячи возов. Они ехали тихо, один за другим... головы лошадей упирались в задки телег... и массивные ободки колес врезывались в меня.

— Ужасный сон,— подобострастно сказал фельдшер.

— Комната потихоньку кружится слева направо,— неожиданно заявил Рябинин.— Нельзя ли остановить ее?

— Успокойтесь, это ваше больное воображение,— оглядываясь, возразил Скуба.— Все стоит крепко на своем месте.

— На фабрике все по-прежнему? — устремив глаза в потолок, спросил Рябинин.

— Ах! — не отвечая на вопрос и захлебываясь осторожным смешком, подпрыгнул Скуба.— Знаете, я расскажу вам забавную историю. Старший монтер Чиликин со своей молоденькой мачехой... ей-богу! Отец погнался за ним с ружьем, а он, выскочив в окно, кричит: «Я, батя, родственные узы скрепляю!»

— Неужели?

— Представьте. Так и сказал.

Скуба, хихикая, блестел глазами.

Болезненная гримаса смеха появилась на восковом лице инженера. Он, приподнявшись, разразился глухим кашлем и сунулся головой в подушку, сказав:

— Скверно. Пожалуйста, принесите мне стакан чаю. В столовой.

Рябинин лежал лицом кверху, время от времени слабо шаря руками по одеялу, как бы сбрасывая невидимую тяжесть. Через минуту он снова впал в бредовое, бессознательное состояние.

III

Скуба появился, держа в вытянутой руке стакан чая, а следом за ним вошел церковный староста фабричной церкви и, вместе с тем, токарный мастер — Филиппов. Это был плотный человек с круглым, веснушчатым лицом, стриженный по-казацки, в кружок.

— Смотрите,— шептал Скуба,— как скрутило-то его, а?

— Д-да-с, д-да-с...— промычал Филиппов,— так-с...

— С-с-с! — зашипел Скуба, ставя стакан на стол.— Заснул, что ли?.. Просила меня сестра посидеть с ним. А вы как?

— По ягоды хожу. Полпуда варенья жена сварила.

Они говорили шепотом.

— Новый пасьянс узнал,— сказал Скуба,— вот интересный. Я карты с собой завсегда ношу, езжу в Парголово, так уж в «двадцать одно» постоянно с чухной играю.

Он, мусля пальцы, стал раскладывать карты.

— Тройку сюда,— советовал Филиппов, углубляясь в занятие.— Выгоднее туза взять.

Рябинин, очнувшись, закашлялся. Филиппов, сочувственно тараща глаза, подошел к кровати.

— Эка вы нас пугаете,— безразличным голосом произнес он,— хворать вздумали, нехорошо, Алексей Федорович!

— Да, скверно,— узнавая Филиппова, прошептал Рябинин,— временами мне кажется, что я уже умер. Одеяло давит меня. Мне жарко... а руки... мерзнут. Я скоро умру.

— Тьфу, тьфу! типун на язык,— сказал Филиппов,— чего еще выдумаете! Еще нас всех переживете.

— Нет, я умру,— упрямо заявил Рябинин.

— Крепитесь, крепитесь,— басил Филиппов.— Господь... все в руке божией.

— Я знаю, что умру.— Рябинин усмехнулся.— Все равно.

— Нет, уж вы, пожалуйста, не расстраивайтесь,— говорил, словно торгуя ненужную вещь, Филиппов.

— Звук каждого слова болезненно отдается в мозгу,— сказал, помолчав, Рябинин,— но мне хочется разговаривать. Мне как будто немного легче. А знаете... я думал... Ничего нет.

— Как-с? — не понял Филиппов.

— Я говорю,— как бы разговаривая сам с собою, продолжал Рябинин,— что... ничего нет... простая штука.

— Это где же? — вставил фельдшер.

— Там.— Рябинин криво и неохотно улыбнулся.— Там... за гробом... как это принято говорить.

— Как нету? Есть...— недоумевая, сказал староста.— Все есть.

Рябинин сделал попытку мотнуть рукой.

— Рассказывайте! — Он как будто немного оживился, заговорив громче.— Бабьи сказки. Все чепуха. «Земля есть, и... в землю...» Пожалуйте землю есть. Да. Когда будете умирать — увидите, что я прав. Я, это, знаете, не думаю, а чувствую. Тело мое в ужасе. Оно противится разрушению. Оно... осязает смерть. Я ничему не верю. Сегодня ночью я испытывал предсмертную тоску каждого мускула... каждого ногтя и волоса. Да. Страх смерти естествен... что же в нем предмет ужаса? Пустота. В молодости я резал индюшек, и, когда ловил... их... они кричали... раздирающим голосом... а когда... просто гонялся... из шалости — крик... был другой...

— Так-то,— возразил, чувствуя себя неловко от «умственного» разговора, Филиппов,— то, знаете... птица — курица там, индюшка. Они глупые.

— У них тоже тело,— сказал Рябинин.

Скуба, забыв о чае, ковырял в носу.

— Рассудок непостоянен, как женщина,— снова заговорил Рябинин, начиная впадать в полузабытье,— если бы все помнили... если бы все помнили... Нагнитесь.

Филиппов, солидно округлив спину, нагнулся к посиневшему лицу инженера. Рябинин заметался, потом широко раскрыл глаза и, с хитрой улыбкой на губах, таинственно зашептал:

— Если бы... человек... всегда помнил... что за гробом... один... пшик, нуль... он жил бы лучше. Не мерзавцем.

— Эх,— сказал староста,— да не тревожьте вы себя... право...

— На земле стало бы веселее...— сияя и радостно улыбаясь, продолжал Рябинин,— был бы огромный пир...

— Где пир? — расслышав последние слова, осведомился фельдшер.

Голова Рябинина опустилась на подушку, глаза закрылись; он стал дышать быстро и тяжело; каждый его вздох сопровождался глухим хрипом.

— А ведь плохо ему! — сказал староста, подняв палец.— Бегите-ка за доктором, а?! Плохо ему.

Скуба, кивнув головой, вышел.

IV

Филиппов сел в кресло, почесал за ухом и сложил на животе руки. «Странно — думал он,— я ведь тоже умру. Каждый знает, что умрет, а все как-то не верится. Удивительно все на свете. Хотел утром напомнить Егорке, чтобы сапоги к воскресенью сшил, да на рантах, а не на гвоздях. Забыл. Десять худых мешков не забыть бы татарину продать. А что, если правда-то твоя, Алексей Федорович? Господи, прости меня, грешного.— Он зевнул и перекрестился.— Не понимаю я умственного этого пояснения. Понятно, человек в жару, бредит. Поверь-ка я ему, так от страха одного похудею. А он говорит, что веселее бы стало... держи карман шире! Расстроил он меня. Сорок лет ни о чем не думал, а сейчас, как паршивый студент какой, мозговать пустился. Положился бы на волю божию».

Закрыв глаза, он вдруг, неожиданно для себя, заснул. Прошло несколько минут, в течение которых и спящий и умирающий были неподвижны. Филиппов похрапывал. Левая рука Рябинина свесилась, пальцы ее медленно шевелились. Рука как бы стремилась занять прежнее положение, согнулась в локте, вздрогнула

и опустилась. И, еле слышно, так тихо, что почти не шевелились его губы, инженер прошептал:

— Милочка?.. Не мой кипятком руки... Возьми шпильки.

Наступила смертная тишина. В окне сверкал сад.

Филиппов вдруг очнулся, быстро вскочил и стал протирать глаза. Сильный, непонятный страх овладел им. Сонно жужжали мухи.

— Алексей Федорович! — тревожно позвал Филиппов.

Рябинин не шевелился. Староста подошел к кровати, увидел полуоткрытый рот, стеклянные, невидящие глаза и, быстро крестясь, бледный, задом отошел к двери. Здесь, вытянув шею и пугаясь таинственной тишины, Филиппов жалобно произнес:

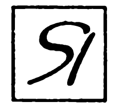
— Алексей Федорович! Не шутите!

ИСТОРИЯ ТАУРЕНА

(Из похождений Пик-Мика)

I

ЗАПАДНЯ



Я был схвачен, посажен неизвестными мне людьми в карету и увезен. Некоторое время спазмы, удушья и сильнейшее сердцебиение, явившиеся результатом внезапного испуга, заставили меня думать, что наступил последний момент. Я ждал смерти. Волнение прошло, и я отдышался, но не мог произнести ни одного слова. Мой рот был натуго затянут платком, а руки скручены сзади тонким, но крепким ремнем. Со мной, в карете, сидело двое. Они смотрели по сторонам, как жандармы, не любящие встречаться взглядом с глазами пленника. Один — справа — был рослый черноволосый парень, с неуловимо фатальным обликом черт, присущим людям, готовым на все. Сосредоточенно-мстительное выражение его лица было почти болезненным. Второй, уступая первому в росте и сложении, обладал прелестными голубыми глазами, напоминающими глаза женщины.

Он был безусловно красив, и по контрасту с изящным лицом это же самое фатально-роковое в его лице

производило отталкивающее впечатление. Из того, что мне не завязали глаз, я понял, как мало боятся меня эти два человека, решившие, очевидно, заранее, что мне в другой раз увидеть их не придется. Иначе говоря, их намерения относительно меня были вне спора. Меня хотели убить.

Я знал, и знал очень хорошо, что в фактах жизни моей и даже в помыслах нет никакого повода для насилия над моей личностью. Чтобы окончательно убедить себя в этом, я проследил мысленно свою жизнь от пеленок до похищения. Она была безгрешна и незначительна. Следовательно, похищение явилось результатом какой-то непонятной, но несомненной ошибки.

Не зная все-таки, что произойдет дальше, я переживал сильный страх. Мы выехали на окраину городка и свернули к морю, где в узкой полосе прибрежного тумана обрисовывались хмурые, без окон, постройки; вероятно — склады или сараи. Колеса скрипели по мокрому от утреннего дождя песку, и наконец карета остановилась против старых деревянных ворот. Меня высадили, втолкнули в калитку и провели через заваленный ржавыми якорями двор в небольшой кирпичный подвал.

Теперь, когда мне, по-видимому, предстояло уже нечто определенное — смерть, плен или свобода,— я приободрился и рассмотрел с большим вниманием окружающее. За грязным столом деревянным сидело пять молодцов, приблизительно в тридцатилетнем возрасте, в обычных городских, сильно потертых костюмах. Лица их я припоминал потом, в данный же момент мне бросилось в глаза то, что все они смотрели на меня с чувством удовлетворения и нетерпения. На столе горела свеча, слабо озаряя призрачным рыжим светом полутемные углы подвала, полного сора, сломанных лопат и пустых ящиков, а дневной свет, скатываясь со двора по ступенькам, едва достигал стола. Вероятно, это было случайным местом для заседания, смысл и цель которого пока были темны.

Я стоял, поматывая головой с завязанным ртом, с видом лошади, одолеваемой мухами. Мне развязали руки. В тот же миг я сорвал затекшими пальцами туго стягивавший лицо платок и перевел дух. Нервно дергающийся, с крикливым лицом, человек, сидевший на председательском месте, то есть в центре, сказал:

— От того, насколько вы будете чистосердечны и откровенны, зависит ваша жизнь.

II
ДОПРОС

Раньше чем кто-либо успел вставить еще слово — я разразился протестами. Я указывал на недопустимость — со всех точек зрения — подобного бесцеремонного, ужасающего обращения с каким бы то ни было человеком. Я упомянул, что мой адрес известен и во всякую минуту можно прийти ко мне со всеми делами, даже такими, которые требуют похищения. Я объяснял, что служу в почтамте и неповинен в сообщничестве с подонками общества. Я сказал даже, что буду жаловаться прокурору. В заключение, дав понять этим людям всю силу потрясения, перенесенного мной, я развел руками и, горестно усмехаясь, сел на пустой ящик.

Человек с крикливым лицом сказал пронзительным, как у молодого петуха, голосом:

— Дело идет о вашей жизни. Не думаю, чтобы вы выпутались. Все же откровенность может помочь вам, если окажется, что этого вы заслуживаете.

— Бандит! — взревел я, сжимая руки.— Что случилось?! Каким планам вашим я помешал?!

Другой товарищ его, вялый, как чахоточная улитка, задумчиво погрыз ногти, уперся руками в стол и, кашляя, начал:

— Знали вы Таурена Байю?

Я знал Байю. Неопределенное предчувствие света, готового наконец разрушить этот кошмар, заставило меня тряхнуть памятью. Но я не мог ничего припомнить.

— Байя? — переспросил я.— Знаю. Три месяца бутылочного знакомства.

— Может быть... может быть... Дайте нам объяснение.

— Охотно.

Вялый человек пристально осмотрел меня, вытащил из кармана клочок бумаги и протянул мне. Надев очки, я прочел семь слов, выведенных ужасным почерком, как попало. Местами перо прорвало бумагу. На ней было написано: «Телячья головка тортю. Пик-Мик знает все».

Я мог бы засмеяться теперь же, но удержался. То, что мне показалось смешным теперь, относилось

именно к телячьей головке, связи же ее с моим похищением я еще не видел. Я ждал.

— Вы уличены,— сказал председатель.— Смотрите, как он побледнел! Предатель!

— Расскажите вы,— спокойно возразил я.— Расскажите все, имеющее касательства к этой дрянной бумажке. Я вижу, что ослеп. Я недогадлив. Дайте мне нить.

Председатель, усмехаясь над предполагаемым притворством моим, сказал мне, что они анархисты, что член их сообщества, Таурен Байя, уличенный в сношениях с полицией и успевший уже выдать шесть человек, убит третьего дня товарищами. На вопрос о причинах гнусного своего поведения он ответил кривой улыбкой. В него выпустили две пули. Байя упал, вскричав: «Бумагу!» Умирающий, еле водя рукой, с усмешкой на влажном от предсмертного пота лице, успел написать многозначительную фразу, которую прочел я.

Председатель не кончил еще повествования, как я, не в силах будучи одолеть безумный смех, закрыл руками лицо и стоял так, трясясь и плача от хохота. В зловещем, темном тумане этого дела истина показала мне бесстрастное свое лицо, глубокое и спокойное, как вода озера, баюкающего трупы и водяные лилии; но озеро ни сквернее, ни чище, и так же смотрят в него небо и человек.

III

ПОКАЗАНИЕ

То, что я сообщил анархистам, было принято ими, вероятно, за шутку, так как, окончив рассказ, я увидел направленные на себя дула револьверов; но не будем предупреждать событий.

— Видите ли,— сказал я,— месяца три назад я познакомился с господином Байей в кабачке «Нелюдимов», где так хорошо дремлется после обеда у солнечного окна среди мух. Большинство знакомств завязывается случайно; наше не составляло исключения. Байя пришел со своим хлебом и сыром. Взяв полбутылки вина, он принялся насыщаться с завидным аппетитом молодости. Я смотрел на него в упор, заинтересованный его жизнерадостным, краснощеким лицом; он обернулся, а я раскланялся.

В тот день со мной не было друзей, обычных спутников моих по местам таинственным и приятным, и я, как общительный человек, хотел подцепить парня. Я понравился Байе своим видом скромного учителя, своим тихим голосом и оригинальными замечаниями. Горячо обсуждая общественные и политические вопросы, мы, взяв еще бутылку вина, немного охмелели, и тут, хлопнув меня по плечу, Байя сказал:

— Проклятые буржуа!

— Вот именно,— подтвердил я,— они все мерзавцы.

— Я анархист,— сказал он, бросая в рот крошки сыра,— а вы?

— Пикмист.

— Крайний?

— Немного.

Тут он потребовал объяснений. Я сказал ему несколько темных фраз, пересыпав их цитатами из Анакреона и Джона Стюарта Милля. Сделав вид, что понял, он посмотрел в пустой стакан и вздохнул.

Я был голоден; вкусный пар кушаний, заказанных мною, взвился над столом.

— Господин Байя,— сказал я,— позвольте вас угостить.

Его лицо выразило высокомерие и презрение.

— Я ел,— сказал он, отворачиваясь от соблазна.— Герои Спарты ели кровяную похлебку. Роскошь развращает тело и дух.

— Все-таки,— возразил я,— вы, может быть, шутите. Это довольно вкусно.

— Нет, я скромен в привычках. Класс населения, к которому принадлежу я, питается хлебом, сыром и вареным картофелем. Я был бы изменником.

Положив ложку и вытерев губы, я сосредоточенно, с оттенком сурового сарказма в голосе и настоящим одушевлением развил Байе миросозерцание опыта и греха, доказывая, что человеку ничто человеческое не чуждо. Самые отчаянные софизмы я так принарядил и украсил, что Байя улыбнулся не раз. Чудеса в нашей власти. Байя съел телячью головку тортю. Блюдо это требует, в целях насыщения, некоторой настойчивости. Мы взяли еще по порции.

— Хорошая,— сказал Байя,— я раньше не пробовал.

Вечерело. Около третьей бутылки я задремал, а когда очнулся, Байя исчез. Бросая ретроспективный взгляд в туманную глубину истории, мы видим международные

осложнения, родителями коих были глупые короли и не менее глупые королевы, считавшие нужным громить соседа каждый раз, как только сосед по рассеянности в письме напишет «...и прочая...» два, а не три раза. Примером ничтожных причин и больших последствий явился Байя. Четыре раза встретил я его в ресторане «Подходи веселее», и каждый раз требовал он телячью головку. Это стало его коронным кушаньем, раем, манией. В пятый раз он сообщил мне, лениво требуя шамбертэна, что хочет повеселиться. Я ободрил его, как только умел. Пятая наша встреча ознаменовалась коротеньким диалогом (за неимением телячьей головки, последовал соус из раковых шеек и клоде-вужо). Байя сказал: «Маленький ручеек впадает в маленькую реку, маленькая река — в большую реку, а большая река — в море. Я думаю, что впаду в море».— «Аллегория!» — заметил я, подмигнув Байе. «Это много говорит моему сердцу,— сказал он,— выпьем стаканчик». В шестой раз он влез на фонарный столб закурить сигару и крикнул: «Смерть буржую!» Я утешил его. Через неделю мы столкнулись у граций, и Байя, обливаясь слезами, сказал, что продал ящик револьверов. Затем он впал в мрачно-игривое настроение разрушителя. «Быть может, через неделю мне снесут голову,— сказал Байя,— немножко солнца, вина и женщин хочется всякому молодому человеку. За мной следят». И больше я не видал его.

Таков был рассказ мой судьям, слушавшим напряженно и гневно.

— Ясно,— заключил я,— что для такой жизни, какую повел несчастный Таурен Байя, нужны были деньги. Он взял их у ваших врагов. Отсюда предательство. Мрачный юмор записки ясен: простреленный сразу двумя пулями, он не мог уже ни на что больше надеяться и отомстил вам мистификацией. Горьким смехом над собой самим полны эти строки, выведенные предсмертной дрожью руки. Я сказал правду.

— Буржуа! Вы умрете! — вскричал молчавший до того анархист.— Не может видевший нас в лицо выйти живым отсюда.

Пять револьверов окружили меня. С неистовством, мыслимым лишь в грозной опасности, я отпрыгнул назад, толкнул к судьям растерявшегося своего конвоира и вылетел по ступенькам вверх. Выстрелы и свист пуль показались мне страшным сном. Я был уже у ворот, в

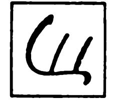
двадцати шагах расстояния от преследователей. Снова раздались выстрелы, но как трудно попасть в бегущего! Я мчался берегом, у самой воды, к далекой деревне.

Я был теперь вне опасности. Некоторое время за мною еще гнались, но мне ли, взявшему приз в беге на Олимпийских играх, бояться любителей? Моей скорости могли бы позавидовать автомобиль и верблюд. Через минуту я пошел шагом, переводя дыхание и оборачиваясь; на светлом песке неправильным треугольником, замедляя шаг, трусили мои враги.

Еще немного — и они остановились, повернули, ушли. Я не сердит — я жив,— а если бы умер, мне тоже не было бы времени рассердиться. Грустно опустив голову, я шел скорым шагом к деревне, проголодавшийся, мечтая о молоке, свежей рыбе и размышляя о Таурене. От телятины погибла идея.

ГРАНЬКА И ЕГО СЫН

I



учий жор достиг своего зенита, когда Гранька, работая кормовым веслом, обогнул излучину озера, время от времени вытаскивая на прыгающей, как струна, лесе хищных, зубастых и мудрых щук, погнавшихся за иллюзией, то есть оловянной блесной. Гранька глушил рыбу деревянной черпалкой, бросал на дно лодки, где в мутной луже, черневшая серебром, змеилась гора щук, больших и маленьких; осматривал бечевку с блесной и гнал лодку дальше, пока леса, резнув руку, не телеграфировала из-под воды, что новая добыча проглотила крючок.

Внешность мужика Граньки не заключала в себе ничего мальчишеского, как можно было бы думать по уменьшительному его имени. Волосатый, с голой, коричневой от загара и грязи грудью, босой, без шапки, одетый в пестрядинную рубаху и такие же коротенькие штаны, он сильно напоминал заматерелого в ремесле нищего. Мутные, больные от блеска воды и снега глаза его приобрели к старости выражение подозрительной нелюдимости. Гранька бежал к озерам тридцати лет, после пожара, от которого благодаря охотничьей стра-

сти ему удалось лишь сохранить самолов да пару удилищ. Жена Граньки ранее того опилась молоком и умерла, а сын, твердо сказав отцу: «С тобой либо пропасть, либо чертей тешить, не обессудь, тятя»,— ушел в губернию двенадцатилетним мальчишкой в парикмахерскую Костанжогло, а оттуда скрылся неизвестно куда, стащив бритву.

Гранька, как настоящий язычник, верил в бога по-своему, то есть наряду с крестами, образами и колокольнями видел еще множество богов, темных и светлых. Восход солнца занимал в его религиозном ощущении такое же место, как Иисус Христос, а лес, полный озер, был воплощением дьявольского и божественного начала, смотря по тому,— был ли ясный весенний день или страшная осенняя ночь. Белая лошадь-оборотень часто дразнила его хвостом, но, пользуясь сумерками леса, превращалась на расстоянии десяти шагов в березовый пень и белую моховую лужайку. Ловя рыбу, мужик знал очень хорошо, почему иногда, в безветрие, ходуном ходит камыш, а окуни выскакивают наверх. Гранька жил при озере двадцать лет, продавая рыбу в базарные дни у городской церкви, где бесчисленные полудикие собаки хватают мясо с лотков, а бабы, таская в расписных туесах сметану, размешивают ее пальцем, любезно предлагая захожему чиновнику пробовать, пока не облизала палец сама.

Тусклый предвечерний туман с красным ядром солнца над лесистыми островами скрыл водяную даль, погнав Граньку к избе. Промысловая изба его стояла на болотистом, утоптанном городскими охотниками мыску, в грандиозной панораме лесных трущоб, островов и водяных просторов, зеленых от саженного тростника; избу трудно было заметить неопытным в этих местах глазом. Выезжая к избе, Гранька через камни увидел оглобли и передок телеги, тут же мотался хвост скрытой кустами лошади. На темном фоне сосновых холмов штопором извивался дымок.

— Стрелки, добытчики, лешего же, прости господи,— зашипел старик, отталкивая веслом сплошной бархат хвоща, задерживавшего ход лодки. Гранька ожидал встретить кого-нибудь из городских лавочников или чиновников, наезжавших к озеру с ночевкой, водкой и даже девицами из обедневших мещан. Озерной и лесной дичи в этом месте хватило бы на целую роту, но охотники, расстреляв множество патронов, обыкновенно уез-

жали с жалостной и малой добычей, всадив на прощанье в бревенчатые стены избы фунта два дроби, «в цель», как они выражались, немилосердно хвастаясь своими «скоттами» и «лепажами».

Старик, вытащив из лодки сваленных в мешок щук и недружелюбно щурясь на дым, подошел к избе. Черная, с низкой крышей лачуга безмолвствовала, людей не было видно, рыжая лошадь, измученная комарами, вздрагивая худым крупом, жевала сено.

— Одер-то Агафьина, а кого приволок,— сказал Гранька, входя, согнувшись пополам, в квадратную дверь зимовки. Щелевидные окна еле намечались в густой тьме, пахло сырым сеном и кислым хлебом, звонкое полчище ужасных северных комаров оглашало темное помещение заунывным нытьем. Старик ощупал лавки и углы, здесь тоже никого не было.

Гранька вышел, озираясь из-под руки по привычке, так как утомительный блеск солнца погас, сменившись прелестными, дикими сумерками. Комары струнили над землей и водой; над островерхим мысом струился еще бледный огонь заката, а внизу, по воде и болотам, и берегом, за синюю лесную даль, легла прозрачная тень. Казалось, что и не подступают к мысу воды озера, а повис он над бездной среди ясных, дымчато-голубых провалов, полных таких же белых овчин-облаков, что и над головой, тот же опрокинутый берег, а у тростника — дном ко дну две лодки с одинаково торчащими веслами.

Сырее стал воздух, сильнее запахло дымом пополам с тиной. Гранька осмотрел телегу; на ней, в сене, чернела шомпольная одностволка Агафьина. Задняя ось носила заметные следы придорожных пней, чека у левого колеса была сбита и укреплена ржавым гвоздем.

— По оврагам у железных ворот перся,— сазал Гранька,— напрямки ехал, а един сам. На-кося!

Он подошел к выставленному перед зимовкой столу, вынул из мешка скользких щурят, выпотрошил их пальцем и бросил в котелок, подвешенный на проволочном крючке меж двух наклонно забитых кольев,и, тщательно охраняя в пригоршне спичку, развел потухший костер, затем, почесав спину, сел на скамью.

Из кустов вышел Агафьин, волоча весла, скорым шагом, прихрамывая, пересек мысок и бросил весла к избе.

— Бабылину лодку прятал,— сказал он,— просил

Бабылин. Изгадят, говорит, лодку мне утошники-те, на дарма ездят, рады.

Мужики помолчали.

— Кого привез? — таким тоном, как будто продолжал давно начатый разговор, спросил Гранька.

Агафьин хлопнул руками о колени, тряся бородой у самого лица Граньки, привстал, сел и стал кричать, как глухому, радостно скаля зубы:

— Сын твой, Мишка-то, а сына-то забыл, нет, сынот твой, Михайло, сказываю, тут он, ась?! В чистоте приехал, в богачестве, земляк мой ведь он, а! Ха-ха-ха! Хе-хе-хе!

Гранька беспомощно замигал, выражение загнанности и недоумения появилось у него на лице.

— Будет же врать-то,— испуганно сказал он,— Мишка, поди, померши, давно ведь он... это.

— Да тебе сказываю,— снова закричал, волнуясь, Агафьин,— на пароходе он прикатил, утресь; а я, вишь, дрова возил, а с палубы, вишь, на вольном воздухе кои сидели чаевали, кричит — «подь сюда»,— я, значит, то самое — «здрасте», а он на тебя,— «батя, говорит, жив ай нет?». И обсказал, а я поленницу развалил да единым духом, свидеться, значит, ему охота, на чай рупь дал, на-ко!

Гранька прищурился на котелок, где, толкаясь в крутом кипятке, разваривались щурята. Есть ему не хотелось. Он мысленно увидел сына таким, каким запомнил: волосатый, веснушчатый, с пальцем в носу, с умными и упрямыми глазами, встал между ним и костром призрак родной крови.

— Экое дело,— сказал он дребезжащим голосом, пихая ногой к огню полено,— ишь, старые змеи, объявился когда, да ты по совести — врешь или нет? — Он жестоко воззрился на Агафьина, но в лице мужика ясно отражался переполошивший всю деревню факт.— Да ты чего сел-то,— умиленно вскричал Гранька,— завести Дуньку в оглобли. Поехали, право, поехали, а?

Старик схватил лапти, висевшие на одном гвозде с распяленной для сушки шкурой гагары, стал мотать онучи, ухитрился в двух шагах потерять лапоть и, наступив на него, искать.

За мысом, мелькая в черных вершинах сосен и деловито крякая, неслись утки.

II

Агафьин смотрел на Граньку, силясь уразуметь, куда собрался старик, и, смекнув, что тот, не поняв его, рвется в деревню, сказал:

— Тут он, со мной приехал.

— Игде? — спросил Гранька, роняя лапоть.

— Палочку состругнуть пошел, тросточку. Скучая, полштоф вина выпили с ним.

Из леса, дымя папиросой, показался человек в городском костюме. Завидев мужиков, он пошел быстрее и через минуту, прищурившись, с улыбкой смотрел вплотную на старика Граньку.

— Вот и я,— сказал он, неловко обнимая отца.

Гранька, вытерев о штаны руки, прижал их к карманам сына и прослезился.

— Миш, а Миш,— бормотал он,— приехал, значит.

— А то как же...— громко, отступая, сказал Михаил.— Дай-ка я посмотрю на тебя, старик.— Он обошел вокруг Граньки кругом, паясничая, подмигивая Агафьину, и стал серьезен.— Настоящие мощи, неистребимые. Как живешь?

— Маненько живу, мать-то померла, знаешь?

— Должно быть. Старуха была.— Михаил положил руку на плечо Граньке.— Ну сядем.

Агафьин снял котелок и чайник, поставил на стол чашки и пестерек с сахаром. Отец с сыном сидели друг против друга.

Гранька не узнавал сына. От прежнего Мишки остались лишь вихор да веснушки; борода, усы, возмужалость, серый городской костюм делали сына чужим.

— Везде я был,— жуя сахар, рассказывал Михаил.

Агафьин не сводил с него крупных, восторженных глаз, твердя, в паузах, бойко и льстиво:

— Ишь ты. Дела, брат, первый сорт. Эх куры-петушки.

— Был везде. Последние два года прожил в Москве; там и жена моя; женился. Поступил в пивной склад заведующим. Жалованье, квартира, отопление, керосин.

Он сломал крепкую, как железо, баранку, выпил налитый Агафьиным пузатый стаканчик водки, поддел пальцем из котелка щуренка и отсосал ему голову.

Сидел, двигал руками и говорил он просто, но не по-мужицки. Но и тону не задавал, а, видимо, вел себя — как привык. Рыбу он тоже ел пальцами, но как-то

умелее. Гранька и Агафьин преувеличенно внимательно слушали его, тряся головами, поддакивая напряженно и счастливо. Он же, попивая из чайника дымный чай, расставив на столе локти, а под столом ноги, рассказывал историю хмурого и смекалистого парнюги, ставшего для деревни барином, «своим из чистых».

Взошла луна, и стало еще светлее, мертвенный день без солнца остался над покоем озер. Уныло звенели комары; в земляной яме, треща красными искрами, дымились головни; у берега, разводя круги, плюхалась от щуки рыбная мелочь, а лесистые острова, холмы стали чернее, строже, глубже тянулись опрокинутые двойники их в чистую сталь озер. Озаренная луной, спала земля.

— Жить буду у тебя, тятя,— сказал вдруг Михаил. Мужики опустили блюдечки, раскрыв рты.— Вот так, хочу жить при тебе. Не прогонишь? — Он засмеялся и закурил папиросу, а Агафьин, подхватив уголек рукой, сунул ему.— С тем и приехал.

— Поди-ко,— сказал Гранька,— ублестишь тебя ноне.

— А что ты думаешь! — Михаил засмеялся.— Пора пришла, старик, нажился я. Действительно, вышел я в люди и все такое. Сперва пятьсот получал, теперь тысячу. Венская стоит мебель, граммофон купил дорогой, играет. Приказчики шапки ломают, а я им к праздничку на чаек даю. А какой смысл? Далее для чего мне работать, хозяину вперед забегать, на ломовых горло драть. Вышел я, верно, что говорить, человеком стал. А за каким с..... с......м мне этим человеком по земле маяться? Собаке, брат, лучше. У меня собака есть, пуделек, ей блох чешут, ей-ей. Ну,— тоскливо мне, проку из меня настоящего мало, махнул к тебе, подрезвиться хочу, закис и, видишь ли ты, пью, ей-богу... как пьют — в кабаках знают. Думаешь — вышел в люди — рай небесный. Вопросы появляются.

— Миш, а Миш,— забормотал Гранька,— ты не моги. Против своей жизни не моги.

— Михайло,— сказал Агафьин, хватая рукой бороду,— обскажи, на меркуны, слышь, на Москве из трубок глядят, господа не боятся.

Михаил рассеянно посмотрел на него, но уловил смысл вопроса.

— Это телескоп,— сказал он.— Смотрят, как звезды ходят.

— Вот то самое,— подхватил Агафьин.

— Ну, завтра поговорим,— сказал Михаил.— Положи меня, старик, дай вздохнуть.

Он осмотрелся. Ночевье не изменилось, камыш, вода и избушка были на старом месте.

Все трое легли спать на старых мешках, от которых еще пахло мукой. Агафьин подбросил сена, а Гранька вынес зипуны. Еще поговорили о земляках, рыбе, Москве. Наконец Агафьин уснул, храпя во все горло. Старик и сын, словно по уговору, сели. Обоим не спалось в духоте ночи, впечатлений и дум.

— Да, буду здесь жить,— громко сказал Михайло.— Как ехал — мало об том думал. Приехал — вижу, место нашел себе. И спокойнее.

— Живи,— сказал Гранька,— рыбу ловить будем.

— И деньги есть.

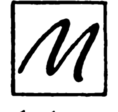
— Утресь рачни посмотрим. Сколь тебе годов-то теперь, Миш?

— От твоих тридцать долой, только и есть.

Укладываясь, оба думали и заснули, подобрав ноги.

ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС

I



ашинально приглаживая рукой волосы, оправляя галстук, косясь на проходящих мимо в суровой чистоте блузок, сосредоточенных учащихся барышень, Рылеев справился у библиотекаря, выписана ли затребованная книга, и, получив ее, занял обычное место у окна.

Он работал в библиотеке второй месяц, выписывая из специальных изданий все сведения, факты и обобщения, которые должны были составить в обработке содержание заказанной Рылееву научным издательством книги. Процесс работы был приятен Рылееву. Книга эта представляла собой один из крупных камней здания его жизни: помимо материальных выгод, издание книги обеспечивало ему некоторую, тоже выгодную, известность.

Все здание жизни, упорно подготовляемое долгими годами ученья, хлопот, настойчивых усилий и камен-

ного терпения, должно было увенчаться осенью получением хорошего штатного места при академии и женитьбой на давно уже, несколько лет, любимой девушке. Рылеев любил думать о своем будущем, относился к нему ревниво и строго.

Сев, Рылеев снял пенсне, вытер его, надел снова и посмотрел, как всегда, прямо перед собой, потом влево и вправо. Впереди, подходя к солнечным венецианским окнам, тянулась вереница лиц и затылков, склоненных над книгами. Это была всегда одна и та же картина выраженного фигурами людей массового мозгового напряжения. Слева от Рылеева сидела полная, невысокая дама с флюсом и обиженными глазами: она рылась в старых журналах. Справа, локоть к локтю Рылеева, вытянув под столом ноги и подперев небритый подбородок пальцем левой руки, плохо одетый, не первой молодости человек читал, не подымая глаз, французский переводной роман. Романы менялись, а чтец их, аккуратно являясь к открытию библиотеки, требовал недочитанную «Морскую змею» или «Жеводанского зверя» и, усаживаясь на прежнем месте, щипал траурными пальцами уголок страницы.

Рылеев, посмотрев с неуважением на этого человека, ушел в работу, и прошло немного времени, как в памяти его и блокноте внедрились свежие научные новости, достойные обработки. Он мысленно отшлифовал их, приодел, исправил погрешности перевода, в одной фразе нашел легкую казуистическую вольность, усмехнулся, похерил мировоззрение автора, записал голые факты и перешел к следующей главе. Изредка давая отдохнуть глазам или обдумывая что-либо, он подымал голову, видя все то же: светлую пустоту под потолком, голые солнечные подоконники, согнутые спины идущих на цыпочках людей и концентрические подковы черных столов, утомляющие глаз казенной симметрией. Между портретами Державина и Кольцова круглые стенные часы, сдержанно зашипев, пробили час; в углу, покраснев и не удержавшись, чихнула барышня, где-то заскрипел стул, потом упал карандаш. Звуки эти, разделенные долгими паузами тишины, резко останавливали внимание. И так, погруженный в хоровод своих и чужих мыслей, Рылеев просидел два часа.

Почувствовав утомление, сухость во рту и неудержимое желание перебирать под столом ногами, он

встал, бесшумно удалился в курительную и, в обществе нескольких молодых курильщиков, смотревших, прислонясь к стене, на носки сапог, выкурил тоненькую, хмельную натощак, папиросу. Еще немного оставалось ему записать отмеченных в книге мест; он вышел и в коридоре столкнулся с улыбавшимся ему студентом Гоголевым, шедшим навстречу. Рылеев и Гоголев снимали вместе одну меблированную комнату.

— Я думал, вы ушли,— сказал Гоголев, отстегивая пуговицу мундира.— Я искал вас, вам письмо есть, почтальон был сейчас. А мне надоело сидеть дома, прошелся, так хорошо, тепло, кстати и письмо захватил.

Румяное, женственное лицо его с тупым под белыми усиками ртом силилось что-то вспомнить; он прибавил:

— Мурмина и Григорий Антонович приглашают вас вечером. Еще будут гости. А Валечка разучила что-то, сыграет... Придете?

— Хорошо,— сказал Рылеев, беря письмо. Взглянув на почерк, узнал руку Лизы и, обрадованный, забыл, что сказал Гоголев.— Так что вы говорите? Мурминой сыграть? Ах да, я приду, спасибо.

— Я Блосса буду читать,— заявил Гоголев, обдернул рукава и отошел. Рылеев, стоя в углу коридора, смотрел на конверт, стесненно вздохнул и, как всегда несколько волнуясь, разорвал угол письма. В это мгновение он был далек суровому быту читальни. Проходя мимо Рылеева, сухо посмотрела на него женщина воинственно-ученой осанки. Он, не заметив ее, прочел письмо:

«Милый мой Алексей!

Этим письмом я расстаюсь с тобой навсегда. Случилось то, чего не надобно тебе знать, и не все ли равно? Наши дороги разошлись.

Забудь меня совсем, прости; мне кажется, что ты не тот, кого я ищу. Пока еще думаю о тебе, и мне тебя жаль. Прости же.

Лиза».

Прочтя это, Рылеев невольно задержал дыхание, шумно вздохнул и сделал несколько шагов поперек коридора, усиливаясь придать лицу, для себя самого, комически ошеломленное выражение. Но и тени самообладания не было уже в нем, все впечатления дня

вдруг испуганно посторонились, уступая место жесткому выражению строк, дрожавших в руке Рылеева. Из странной, глубокой отдаленности доносились к нему шаги мимо идущих людей, сдержанные голоса, кашель. Тихо и строго, пока еще лишенное смысла, повторялось его душой прочитанное письмо, и чувствовал он, что лицо болезненно горит, как будто жар невидимого огня усиливается в воздухе. Так же как простреленный навылет солдат, почесав едва ощущаемую сгоряча рану, бежит еще некоторое время, удивленно смотря на побледневшие за него лица товарищей,— Рылеев, опустив руку с письмом, вошел в зал, увидел свой пустой стул, книгу, тощие скулы чтеца романов, сел и понял.

Он понял, что библиотека, трудовые часы его, бесчисленное количество книг, к которым доныне был он жаден, полон острого, охотничьего чувства, посетители, сидящие и выходящие, портрет Державина и умное, как бы приглашающее работать, лицо красивой библиотекарши не нужны ему, существуют по недоразумению и противны. Также он понял, что от Лизы писем больше не будет, что наступила полоса большого, острого горя, но не мог еще понять и примириться с тем, что лишился любви. Этого он, продолжая любить, не понимал. И текущий день стал перед ним в трагическом свете, как бы говоря теперь, что утром было у него хорошее настроение по ошибке, что иначе надо понимать светлые аллеи бульваров, что день потерпел крушение.

Посидев еще немного, Рылеев, сильнее, чем всегда, размахивая руками, встал и вышел из библиотеки на улицу.

II

Ночью, после того, как вернувшийся из гостей Гоголев (Рылеев не был у Мурминых) съел, зевая, остатки сыра и колбасы, рассказывая набитым ртом, что, в сущности, Мурмины милы, но старомодны, Рылеев уснул тяжелым, полным стремительных, грозных образов, сном, во сне стонал и, неожиданно для себя, словно его ударил тотчас же спрятавшийся неизвестно куда враг, проснулся около двух. Было темно, тихо, в темноте шептали стенные часы, а на стекле окна, как нарисованная, обозначилась белесоватым зигзагом пленка зари.

Еще не опомнившийся, растирая левую сторону груди, где,стесненное,болезненно колотилось сердце, Рылеев сел, потянул рукой одеяло, собираясь снова заснуть, но вспомнил вчерашний день, письмо и выпрямился; сон исчез, полная работа сознания остановилась на том, чему отныне всегда могло быть только одно имя: горе. Рылеев привык думать о своей любви и окончательном соединении с любимой девушкой, как о таком жизненном положении, которое не властны изменить ни он сам, ни она, ни какие-либо посторонние силы. Дремлющий, как у большинства людей, дух его спокойно относился к будущему: спокойно любил Рылеев, думая,— так как мы склонны переносить чувства свои на других,— что и он любим тоже спокойно, тихо, сильно и верно. План Рылеева был такой: заработать побольше к осени денег, написать Лизе, что все устроено, что они могут жить вместе, не опасаясь нужды. Лиза жила в далеком провинциальном городе, где, мыкаясь в поисках заработка, случайно познакомился с нею Рылеев; она служила в транспортной торговой конторе. Ей шел теперь двадцать второй год, она была роста несколько выше среднего, красивая девушка с темными тяжелыми волосами: исключительно женственных очертаний стройная фигура ее, высоко поставленные брови и темный разрез глаз всегда мысленным портретом стояли перед глазами Рылеева. Сидя на кровати, обхватив руками колени и легонько покачиваясь, словно ритм этих маятникообразных движений мог успокоить хаос разоренного чувства, Рылеев почти физически слышал и понимал, как прежняя спокойная, элегическая влюбленность его перерождается в тоскливый недуг страсти, ревнивой и беспомощной, более мучительной от тех самых интимных воспоминаний, которые еще недавно он назвал бы светлыми. В письме, оставившем по себе такое чувство, как будто бы двое суток подряд сильно болела голова, но боль прошла, сменившись нервной слабостью и дрожью рук,— в этом письме не было ничего, что прямо указывало бы на личность соперника, похитившего любовь женщины. Тем не менее Рылеев чувствовал этого другого так ясно, как если бы тот дышал ему прямо в лицо. Навязчивые представления овладели им. Ужасаясь и возмущаясь, Рылеев видел Лизу радостно отдающейся другому, а подробности представлений — для себя только волнующие — по от-

ношению к невидимому сопернику казались страшным цинизмом.

Часы пробили два. Нервная городская ночь, просветлевшая до возможности отчетливо, как днем, различать предметы, торопилась изжить себя, перегорев в белых, без лучистого света, извилистых плоскостях рек и каналов. У Рылеева от напряжения и тоски звенело в ушах; прекратившись, звон этот раздался в углах торопливым, невнятным шепотом. Казалось, ожили к неподвижной, безглазой жизни мебель и книги, стены и занавески; все, что находилось здесь, потянулось друг к другу, шепчась секретно, меланхолически, шепотом наполняя воздух, и даже воздух, не вынося бессонных человеческих глаз, беззвучно шептал тенями странных слов крики, мольбы, угрозы, нежные клятвы, предостережения, жалобы. Погруженный в их торопливый мир, Рылеев сидел долго, опустив голову. Все уже передумал он; а все вертелась по огненному кругу мысль, одна и та же, об одном и том же, пока не стало ясным совсем, что не может быть примирения, что жить без Лизы он не может и не хочет.

Рылеев вырос в той думающей готовыми, приличными и культурными мыслями среде, которую принято называть интеллигенцией. В среде этой по отношению к любви господствовал умный, бесполый на нее взгляд: признавалось, что чувство любви свободно; что уважать свободу любви необходимо, если уважаешь человеческую личность; что тот, кого разлюбили, должен отнестись к этому внешне спокойно, не ревновать и не стараться силой ли, хитростью или страстью завоевать вновь потерянные отношения. Однако самоубийство не то что допускалось, а смотрели на него сквозь пальцы: «Неумный это был человек — и погиб». Ревность же, действительный признак силы и глубины любви, старались выставить стадным, животным пережитком. Так же относился ко всему этому и Рылеев; не раз слушая нежные голоса, твердившие беззвучно ему о возвышенности его любви, думал он, что, если возлюбленная его полюбит другого, не станет он мешать ее счастью, а отойдет и будет велик жертвой своей и, молча страдая, полюбит любовь к другому.

Все это исчезло, как будто и не было его никогда.

«Моя!» — твердила закипавшая кровь, а интеллигент в Рылееве, отойдя к сторонке, стоял растерянно. «Не может быть иначе, не будет этого, я не хочу!» — сказал

Рылеев и тут же подумал, что у соперника должны быть насмешливые глаза; глаза эти издалека смотрели на него, обвеянные женской страстью.

В комнате, от падающих из-за реки и бледных, но уже веселых лучей было совсем по-дневному. Успокоенный главным решением, принятым бессознательно еще в библиотеке, бросившим его случаю и человеческой воле, Рылеев тяжело задремал.

Проснувшись с горьким вкусом во рту и сразу же, по воспоминании о происшедшем, возбуждаясь так, что похолодели руки, он увидел пустую кровать Гоголева, часовую стрелку на двух и тепленький самовар. Не одеваясь, Рылеев выпил стакан холодного чаю, завалил комнату бельем, книгами, нужными в дороге вещами и, собрав чемодан, оставил на столе Гоголеву половинные за квартиру деньги. С собою он брал все, что было накоплено для жизни с Лизой: четыреста двенадцать рублей. Потом, одевшись, постоял немного на одном месте, сел и написал записку сожителю:

«Я приеду через неделю, не думайте ничего особенного».

Сделав это, прошел мимо переставшего от удивления что-то жевать швейцара и крикнул извозчика. Швейцар вышел на тротуар.

— Ехать изволите? — сказал он, смотря главным образом на чемодан.

— Да,— ответил Рылеев,— я на один день.

Говорить ему было противно и трудно. Швейцар поддержал Рылеева за локоть и поместил чемодан удобнее, чем это сделал извозчик. Рылеев дал рубль швейцару, а тот, сняв фуражку, блеснул лысиной.

Извозчик дернул вожжами. Прекрасный, полный воздушного огня, день весело и деловито развернулся вокруг Рылеева, но от света, движения уличной толпы и жидкого лязга подков извозчичьей клячи Рылеев еще острее почувствовал, как чужда, до неведомого исхода страдания, сделалась ему жизнь.

III

Петруха и Демьян с утра рубили на делянке дрова, а Звонкий, третий дроворуб, сидел дома. За неделю была выставлена им сажень дров, под эту сажень куренщик выдал Звонкому муки, мяса, водки и табаку.

Звонкий был безнадежно ленив той ленью, которая, чтобы удовлетворить себя, должна предварительно покориться необходимости заработать трешницу. Он был ободран, грязен, великолепно рыж, бородат, толстогуб, с припухшими от сна, хитрыми серо-голубыми глазами. В лаптях на босую ногу, отчего кривые ноги его, обтянутые узенькими холщовыми портками, казались тонкими, как у ребенка. Звонкий подпоясал рубаху монастырским пояском с надписью: «Блаженны нищие, яко тех есть царство небесное», развел под остывшим котелком с водой огонь и, сев на пороге, стал думать, что здесь скучно, а работа тяжка, и нет народа, с которым шумно, гульливо, озорно, полное визжащих баб, течет мужицкое воскресенье или двунадесятый. Звонкий был мужик из не теряющих своего мужицкого обличия крестьян, своеобразный рыцарь отхожих заработков, грузивший барки на Волге, косивший хлеб у колонистов в Саратове и даже тушивший в Баку пожары нефтяных вышек,— но всюду неприкосновенно пронесший свои портки, лапти, монастырский поясок и ту диковинную для горожанина психологию, в которой все начинается с утверждения, а доказательства вырабатываются собственными боками.

Звонкий, дуя на блюдечко, долго пил горячий вприкуску чай, покурил, надел шапку и вышел. Вдали, в синем зареве леса и неба, тянулась сизая седловина холмов. Мужик тронулся по тропе к делянке Петрухи. Свеженарубленные поленницы тянулись меж низко срезанных пней и груд хвороста. Мелкие белые цветы, лиловые колокольчики, ландыши, желтая богородская травка, сливаясь пятнами, напоминали брошенные цветные платки. Звонкий увидел Петруху — мужик, сидя на земле, подпиливал голую до вершины сосну. Пила, скрываясь в разрезе, шипела еле уловимым, шипящим звоном.

Звонкий остановился сзади Петрухи. Петруха, пропилив три четверти ствола, забил в щель клин, и дерево, заскрипев, нагнулось. Сопя от утомления, дроворуб встал, положил пилу и, обернувшись, увидел Звонкого.

— Не работаешь? — сказал Петруха.

— Вали сам,— ответил Звонкий,— а я посмотрю. Навалил ты, мужик, лесу, как кирпичей.

— А што? — самодовольно сказал Петруха.— Куб выставлю сегодня, ей-богу.

— Пилу направил?

— Направил.— Петруха поднял пилу и, держа ее против солнца, нацелился глазами вдоль зубьев. Математически правильно разведенные острия блеснули ему прямо в лицо огненным желобком.— Еще и не совсем ладно.

— Скажи секрет, Петруха, чем пилу направил?

— Чудак твой отец,— сказал дроворуб, вытирая рукавом потное, широкое лицо. Он щелкнул пальцем по зазвеневшей пиле.— Ручку одну сними. И отрежь пилы с этого конца четверть. А развод сделай по нитке, и чтоб все зубы были как один, и спили каждого, сколько другого спилил, как в аптеке. Понял?

Он стал распиливать сучковатый кругляк. Пила от первых же движений руки ушла в дерево так глубоко и легко, как нож в хлеб. Менее чем через минуту кругляк рассыпался надвое.

— Видел? — сказал Петруха.

— Вот елки-палки! — проговорил Звонкий.— Ну и пила!

Демьян, высокого роста худой старик, наколачивая топорище на обух, сказал Звонкому:

— Мутит от тебя, Коскентин, шел бы ты куда.

— Ишь,— захохотал Звонкий,— старухе на платок потеешь. Стар уж, капитала не наживешь.

Старик, не отвечая, проворно, словно руки и ноги его были моложе тела лет на сорок, захлопотал около дерева, сек, размахивая топором, сучья и изо всех сил, приговаривая, как мясник, разрубающий тушу: «Кэах, кэах», принялся рассекать ствол. Топор уходил все глубже; все яростнее металась старческая, обведенная полуседым венчиком вьющихся волос голова. Топор судорожно звенел.

Перестав рубить, Демьян оглянулся, желая сказать Звонкому еще раз: «Шел бы ты, право», но никого не увидел. Звонкий шел по направлению к сухому болоту, где рос некрупный кедровник. Он испытывал тоскливую потребность двигаться, придумывая ненужные и сомнительные предлоги: сбить шишки, надрать лыка, хотя лаптей сам не плел, а по вечерам предпочитал рассказывать сказки. Он знал их множество. Это были уродливые порождения фабрично-босяцкой фантазии, где в противоестественном, фантастически-похабном сплетении выступали попы, генеральши, лакеи, животные и неизменный солдат — ловкач, берущий в жены

принцессу, выражающуюся, например, так: «Окромя пирожного — ничего».

Утренний лес, под светлым, режущим глаза, небом, печальный крик сойки, смутные голоса чащи, скользкая под ногами хвоя, седой от мхов бурелом, полное дыхание летней земли и рассеянный лесной свет неотступно окружили идущего мужика. Он не думал о них так же, как мало думаем мы о привычных для нас вещах: книгах, письменных принадлежностях. Простое, но чрезвычайно поразившее Звонкого представление заставляло мужика хмыкать носом и, скаля зубы, подозревать учиненный ему неведомо кем подвох. Был ли это подвох — Звонкий еще не знал в точности, но очень хорошо знал, что вырубленные им дрова плывут по реке к заводу, пережигаются в уголь, и углем этим плавят чугун. Чугун превращается в железо, а из железа делается пила. Пилой опять пилят дрова, и это может продолжаться до второго пришествия.

Поверхностный взгляд не открыл бы даже и одной шишки в густой, мягкой хвое молодых кедров. Человек, желающий разжиться орехами, должен очень долго смотреть на дерево, тогда висящие под ветвями снизу коричневые шишки становятся доступны если не руке, то глазу. Звонкий поднял высохший сук и швырнул его в ту часть кедра, где гуще, у вершины, гнездились шишки. Упало несколько штук. Мужик, сунув их в пазуху, продолжал занятие. Кружась, отступая, пятясь задом, высматривая и сбивая орехи, Звонкий вернулся к просеке. И в редкой опушке кедров случайно рассеянному взгляду его мелькнуло человеческое лицо. Оно не было ни мужским, ни женским. Присмотревшись, Звонкий различил два лица — мужское и женское. Игра света и теней соединила их на мгновение в один образ; мужчина сидел на земле, подогнув ноги, женщина полулежала, опираясь на локоть, и, поднимая глаза к наклоняющемуся над ней мужскому лицу, говорила что-то непонятное Звонкому.

«Со станции, больше неоткуда»,— подумал мужик, и лицо его, незаметно для самого Звонкого, расплылось в двусмысленную, широченную улыбку. «Любовь крутят»,— мелькнуло под рыжими волосами. Стоя неподвижно, с руками, полными шишек, мужик наслаждался неожиданным зрелищем. Десятками поколений предков наметанный взгляд его безошибочно определил барышню. В белом, по-бабьи надетом платке была эта женщи-

на, и в ситцевом, простом, по белому синим горошком, платье — но не так, аккуратно вытянув ноги в остреньких башмачках,— лежит баба, и не так прямо смотрят ее глаза. Звонкий, аккуратно сложив шишки к пеньку, опустился на четвереньки и, дыша в бороду, подполз к самой просеке; теперь в десяти шагах от него была пара, и мог он смотреть досыта.

Насколько легко мужик определил барышню, настолько же трудно было ему сказать себе, что этот кавалер — вот то-то и то-то. Не понять было его. Здоровый и длиннорукий, в канаусовой «барде» — рубахе, подпоясанной ремешком,— в сапогах до ляжек, какие носят шахтовые забойщики, с белым лицом, веснушчатый; выпуклые, светлые под низкими бровями глаза, густой пушок темнил губу. На голове неизвестного плотно сидела бобриковая, с плисовым верхом, шапка. По приметам всем этим — свой брат, из чистых, но говорил непонятное и не так, как говорят мужики, а сверху бросая слово, как бы в руке подержав его, ощупав и кинув.

Осмотрев мужчину, Звонкий погрузился в созерцание барышни. «Одно слово — беленькая»,— подумал он. Ее лицо насупило и поразило его: было оно как теплая у сердца рука, а волосы — темные, и над большими глазами — тонкие, как серп раннего месяца, шнурками брови. Она протянула свою руку мужчине, тот погладил ее, как гладят трущуюся у колен кошку, и поцеловал в кисть. И это более всего поразило Звонкого. Все, что видел он потом, глухим и ненасытным раздражением проникло в него, но поцелованная рука так и засела в памяти. У мужика пересохло во рту. Лежа на брюхе, сладко потянулся он и подумал: «Как заору — так и стрекача дадут». Но настоящего желания заорать у него не было, а только радовался он, что, если захочет напугать, напугает и уж не красиво будет, а смешно и совестно.

Он начал понимать уже, о чем говорит пара,— что барышне мешает в чем-то Рылеев, а мужчине к вечеру надо куда-то идти на место и что очень он любит,— как вдруг теснее и ближе сели они друг к другу, обнялись, застыли, и, губы в губы, взасос, звонкий поцелуй обжег слух Звонкого. Смотря на чужую любовь, мужик, хихикая, похолодел весь, и мелкой дрожью забило его, как от страха. На просеке горячее солнце золотило березовые пеньки; смешанный в этом

месте лес, залитый паутиной теней, пестрел цветной зыбью. Мужик налился кровью и перестал дышать. «Ухну!» — подумал он, и тотчас же нестерпимое желание зашуметь пересилило его любопытство. Открыв рот, набрал он воздуха и крикнул, но безголосый в пересохшей гортани сип бессильно растаял в воздухе.

Мужчина встал, встала и женщина; разгоревшиеся, казались оба Звонкому — в лежачем положении — гигантами. Он смотрел на них снизу вверх, уже струсив, боясь, не заметили ли его воровского присутствия. Как только они встали, отвалило у него с души ревнивое о чужой жизни беспокойство, а вместе с тем было жаль, что ничего, то есть главного, не было. Оба пошли рядом, не оглядываясь. Звонкий оскалил зубы, смотрел им вслед, потом медленно, отряхнув ползущих за воротник муравьев, встал и подошел к тому месту, где только что сидели два человека. Медленно, как бы пробуждаясь от сладкого сна, неохотно выпрямлялась примятая у бугорка трава; у ног Звонкого, певуче гудя, летал шмель, а в ушах отзвуком сновидений раздавались замолкшие вдали голоса людей. Шмыгнув носом, мужик сел на бугор, подмигнул себе и, находясь в сказочном настроении, тихо проговорил никому:

— Если по-благородному, уж без сумления.

Он сидел, согнув ноги, и коленки заныли. Звонкий встал, щеголевато потрагивая замусленную шапку; все еще хотелось ему заочно подойти к барышне, так и рябил в глазах синий, по белому ситцу, горошек.

— Эх, и посидела бы ты тут со мной, уж я бы!..— искренне воскликнул он и оборвал, не договорив, что хотел выразить, да и не было на его языке таких слов, чтобы грубое соединить не с грубым, а с новым.

IV

Поезд еще не подошел к вокзалу, а в проходах вагонов толпились уже гуськом пассажиры, тыкая друг друга чемоданами и корзинками. Тут же стоял Рылеев, переминаясь от нетерпения. Поезд равномерно замедлил ход, зашипел тормоз, вагон, дрогнув, остановился, и все мало-помалу, падая друг на друга, вышли из поезда.

Отдав вещи на хранение, Рылеев прямо с вокзала нанял извозчика. Дорога почти не утомила Рылеева;

трое суток, проведенных в вагоне, были так малы в сравнении с пережитым, что вспоминал он о дороге менее всего как о времени. Но путешествие заставляло его чувствовать полный разрыв с прежним, оно само и было разрывом.

Сказав извозчику адрес, Рылеев весь взволновался, так неотвратимо было теперь, что эту улицу и дом этот он увидит, почувствует. «Какой это дом нумер двадцать девять, какая улица Чудовская?» — спрашивал он, бывало, себя раньше, получая Лизины письма, и, конечно, ничего не представлял себе, но дом и улица, как и все, что имело отношение к Лизе, были обвеяны для него таинственным любовным томлением; в дом этот и улицу, не зная их, он был влюблен тоже. Пасмурное летнее утро бросало на провинциальный город тень скуки. Шли, раскачивая поставленными на голову корзинками, татары, покрикивая: «Апельсины, лимоны хороши», из-за угла выехал порожний извозчик, старая дама в сопровождении кухарки шла с сумочкой на базар, мальчишки пускали змеев. И столичное разнообразие уличных впечатлений мешалось в голове Рылеева с дамой, змеем и апельсинами.

У деревянных ворот извозчик остановился. Рылеев удивился, что вот уже путь окончен, обрадовался и испугался, и вдруг определенно захотелось ему все еще ехать в поезде, думать об окончательном, вообще отодвинуть наступающий серьезный момент. Поняв, что это — слабость, Рылеев нахмурился, стараясь не смотреть на окна, расплатился с извозчиком. «Ну что же, как же произойдет все?» — беспомощно твердил Рылеев, идя по заросшим травой каменным плитам двора к желтому крыльцу с обветрившимися деревянными колонками. Ему вдруг стало так тяжело и так жаль себя, что на мгновение он остановился, глотая закипевшие слезы. «Не надо быть смешным,— сказал Рылеев,— иначе все пропало. Главное — не быть смешным». Заторопившись, он взошел на крыльцо, дернул звонок и тотчас подумал, что Лиза уже слышит звонок, но не знает, кто звонит, а когда узнает — произойдет неизвестно что, странное и по-своему радостное.

Кто-то, кашляя, сошел по внутренней лестнице. Это была маленькая, остролицая, с подвязанной щекой, старуха в кухонном грязном переднике.

— Вам что, батюшка? — сказала она, держась за крюк.

— Елисавета Авдеевна Громова здесь живет? — сдавленным голосом произнес Рылеев.

— Нет, съехали они,— сказала старуха.— Объявление повесили, давно уж.

Рылеев пристально посмотрел на нее, удивляясь, что эта женщина почему-то говорит о Лизе спокойным, простым голосом.

— Куда же переехала она? — спросил Рылеев, злясь на старуху за то, что она сама не догадается сказать ему это.— Куда переехала?

— А вот не знаю. Уж чего не знаю, так не знаю, батюшка.

— Как не знаете? — пугаясь, спросил Рылеев.

— А так и не знаю. Не сказались, а я им человек чужой, не моя болезнь.

— Как не знаете? — тихо повторил Рылеев, и все всколыхнулось в нем.— Всякая хозяйка это знает, а вы не знаете.

— Да, не знаю,— проворно и, как показалось Рылееву, торжествующе сказала старуха.— А у меня живет подруга ихняя — может, знаете? — Павлинова, вместе они и столовались; тай зайдите, может, ее спросите.

«Все разъехалось»,— с досадой и острой тревогой подумал Рылеев. Показалось ему теперь, что так же далек он от Лизы, как три дня назад. Покраснев от неожиданности, Рылеев сказал:

— А что ж, зайду к этой Павлиновой. Проводите меня.

Он пошел за старухой, шагая через ступеньку.

«Какая это Павлинова? Может, Лиза все рассказала ей»,— думал Рылеев и густо вспыхнул. Но смущение длилось один момент: входя в прихожую, он был уже скрытным, владеющим собой и холодно степенным в разговоре. Это произошло от сильного внутреннего напряжения.

— Тут вот,— сказала старуха, тыча рукой в дверь,— тут они живут, Павлинова,— стукнитесь.

Рылеев, прислушавшись, постучал, а внутри поспешно отозвались: «Можно». Старуха, вытирая руки о передник и оглядываясь на ноги Рылеева, ушла. Рылеев открыл дверь, вошел и увидел перед собой высокую, с простонародным лицом женщину. Серые ее глаза, однако, спокойной внимательностью своей обличали интеллигентную горожанку.

— Извините, пожалуйста,— сказал Рылеев,— я

разыскиваю адрес своей знакомой, Лизаветы Авдеевны. Может, вы знаете?

Чувствуя, что подозрительно комкает речь и надо говорить подробнее, он поправился:

— Мне сказала, должно быть, ваша хозяйка, старуха, тут внизу. Вы, что ли, коротко с ней знакомы были? Так вот, пожалуйста. Позвольте представиться: Рылеев.

— А я — Павлинова,— сказала женщина и замолчала, пристально смотря в лицо посетителя.

«Как долго смотрит на меня. Наверное, все знает и теперь рассматривает»,— с тоской подумал Рылеев. «Перестань глазеть!» — мысленно закричал он, а вслух сказал:

— Очень прошу вас сообщить.

— Да я не знаю ее адреса,— натянуто произнесла женщина.— Не знаю, не знаю.

Снова, как на крыльце внизу, Рылеев испытал противное ощущение нудной оторванности. После такого ответа, разумеется, следовало извиниться еще раз и уйти, но он стоял и ждал, сам не зная чего, бегая глазами по углам комнаты. Она пестрела дешевыми обоями, было в ней много аккуратно разложенных книг, по стенам — открыток, и веяло скучной трудовой жизнью.

— А может быть, знаете? — подумав, спросил Рылеев.

Логика положения была за то, что эта женщина знает, но не желает сказать.

— Нет, повторяю вам.

— Нет, знаете,— твердо сказал Рылеев.

Павлинова, слегка покраснев, нетерпеливо пошевелила рукой, глаза ее взглянули на Рылеева без смущения, раздумчиво, и по этому взгляду, а в особенности по тому, что сам хотел этого, Рылеев сразу, инстинктом угадал, что Павлинова не только знает, где Лиза, а знает, кто такой Рылеев, его положение и не сочувствует Лизе; но ему было уже все равно, что подумают о нем. Шагнув вперед, он сказал:

— Вы знаете. Скажите, пожалуйста.

— Какое вы имеете право?..— спокойно начала Павлинова, но, заметив, что Рылеев бледен и не в себе, вздохнула, опустила голову и прибавила: — Я знаю, правда, но вам не скажу.

— Почему? — раздражаясь, спросил Рылеев.— Какой же смысл?

— Лиза просила не говорить вам.

— Я все-таки прошу вас.

— Нет, извините.

Оба были взволнованы и то прямо, твердо смотрели друг другу в глаза, то отводили их. Прошло несколько секунд тяжелого молчания.

— Ну, так вот же,— глухо сказал Рылеев,— ради вашей матери...

Дальше он не мог ничего сказать. Горе, злоба и слезы давили его. Женщина еще раз внимательно остановила свои серые равнодушные глаза на Рылееве, губы ее дрогнули не то усмешкой, не то гримасой.

— Ну,— сказала она лениво и запинаясь,— я вам скажу. Знаете село Крестцы? Вот там. Там живет мужик Аверьянов, запишите: у кузницы,— у него и живет она на квартире.

Рылеев глубоко вздохнул. Ему не пришло даже в голову спросить, где это село и сколько до него верст. Сказанное Павлиновой без записи отпечаталось в его мозгу. По голосу Павлиновой было видно, что выдать секрет ей неприятно, но любопытно, как всякому, имеющему возможность повернуть хотя бы на вершок колесо чужой жизни.

— Спасибо, спасибо вам! — горячо сказал Рылеев и, взяв руку Павлиновой, пожал ее.— Пожалуйста, извините меня.

Узнав, что было ему нужно, он чувствовал теперь стыд за то, что выдал себя; но со стороны этого не было заметно, а казалось, что человек настойчив и странен. Поклонившись еще раз, Рылеев вышел на улицу, вспомнил, что в конце разговора Павлинова принужденно улыбнулась, и ужаснулся тому, что не в состоянии подойти к Лизе сам, что тут мешаются и будут мешаться чужие люди.

«Что же значит все это? — растерянно спрашивал себя Рылеев, выходя к рынку.— Почему село, Павлинова и что от меня скрывают? — Глубокий тормоз неожиданностей топил все его планы и ожидания. Построив несколько бессмысленных, невероятных догадок, Рылеев усмехнулся, захотел есть и, поравнявшись с галдящей у дверей трактира кучкой мастеровых, вошел в заведение.

Едкая вонь щипала глаза; пахло кухонным чадом;

у стойки мужики ковыряли пальцами в соусниках. Постояв, Рылеев из чувства брезгливости хотел уйти, но, подумав, сел к столику. Глубокая рассеянность овладела им. Сев, он тотчас же перестал и брезговать и удивляться себе, зашедшему в простонародный трактир.

— Что изволите заказать? — отвыкшим от подобострастия голосом, но тонно спросил половой.

— Суп, щей там... жаркое. И водки,— поспешно прибавил Рылеев,— немного.

— Графинчик возьмете?

— Ну, графинчик.

Он принялся есть, жадно, торопливо, глотая куски, а перед едой выпил три рюмки. Ударило в голову, стало немного терпимее. Когда заиграл оркестрион, Рылеев стал напряженно думать о будущем, почувствовал, как любима, враждебна, мила и далека теперь ему Лиза, и испытал ощущение, похожее на то, что чувствует нетрусливый путник, подъезжая на бойких лошадях к темнеющему ухабу. Хотя Рылеев и понимал, что это не что иное, как возбуждающее действие хмеля, все-таки ему было приятно чувствовать себя готовым на все. Он не замечал, что он действительно не совсем тот Рылеев, который аккуратно придумывал жизнь, сидя в библиотеке, но разница была еще так ничтожна, как между обрезанным и разорванным по сгибу листом бумаги. Неизвестность сосала его, хотя многое верно понималось им инстинктивно, но понимание это не переводилось ни на слова, ни на представления — род болезненного предчувствия; так иногда приведенный с завязанными глазами человек знает, есть кто или нет возле него.

Задумавшийся Рылеев очнулся, посмотрел вокруг; посетители не обращали уже на него внимания, машина гремела.

— Что это играют? — спросил Рылеев.

— Польку-мазурку,— сказал половой, отыскал глазами на столе рылеевский рубль, брякнул сдачей и отошел.

Рылеев вышел.

V

У печи, покрывшись, несмотря на духоту, тулупом, храпел на лавке ямщик; чернявая баба мыла квашню, а с улицы неслись плаксивые голоса мальчишек, играю-

щих в бабки. Рылеев хлопнул дверью; баба сказала:

— Откеда едете?

— Лошадей надо,— сказал Рылеев.— Есть лошади?

Баба, перестав спрашивать, высунулась в окно, крича:

— Гаврюшка-а! Беги, злыдень, к хозяину, проезжающие, слышь; беги скоренько!

— Ти-тя-ас! — пискнуло в переулке.

Рылеев сел у стола, осматриваясь. Сбоку висел в рамке портрет лихого кавалериста с вывороченным набок деревянным лицом; конь поднялся на задние ноги, распустив хвост, а всадник стрелял из пистолета в воздух. В перспективе виднелся конный памятник Николаю I. Внизу вязью была выведена подпись:

«Конь Геркулес. Лейб-гвардии Кирасирского полка рядовой Иван Мухачев».

На подоконнике, в цветочном горшке, под засиженной мухами занавеской, рос лук, а у печи вместе с азямами и шапками болтался чересседельник. Мужик, спавший на лавке, высунул из-под тулупа всклокоченную голову, посмотрел на Рылеева, отвернулся, полежал несколько секунд в прежней позе, потом вдруг вскочил, почесываясь, и, не смотря на проезжающего, стал крутить цигарку. Он был бос, крепок, а лицом очень похож на всадника с пистолетом.

Кто-то прошел под окном; баба сказала:

— Хозяин идет.

Толстогубый, с серебряной на животе цепочкой, мужик в цветной татарской жилетке, надетой поверх ситцевой навыпуск рубахи, вошел в кухню, сказал в пространство: «Здрасте»,— и уставился на Рылеева.

— Хозяин вы? — сказал Рылеев.— Дайте мне лошадей.

— Можно,— не сразу ответил мужик.— Да вы куда?

— В Крестцы.

— Парочку вам или одну?

— Пару лучше.

— Сею секундою. Иван, громоздись, поедешь с им,— сказал хозяин.— Обедал ты, я чай?

— Обедал. А очередь чья? — Иван взял валявшийся у лавки сапог за ушко и, подержав, сердито бросил на пол: — Кикину, чать, ехать.

— Да пьян ведь,— сказал хозяин.— Не лопнешь.

Ямщик сплюнул, оделся и вышел. Хозяин спросил Рылеева:

— Откуда будете?

— Скажите, чтоб скорее запрягали,— отозвался Рылеев.

— Нездешний, чай?

Рылеев промолчал. Мужик сердито посмотрел на него, ушел, хлопнув дверью, и скоро со двора донеслось фырканье выведенных лошадей. Рылеев посмотрел в окно. Иван возился с упряжкой, а хозяин стоял рядом, говоря:

— Занозистый, стрекулист какой, вези с прохладцой. Не дави брюхо кобыле, Ваня. Наказываю беспременно тебе, чтобы таратайку нашу Гужов пригнал, пускай свою купит.

— Ладно,— сказал Иван.— Володя, тпру, не куксись.

Володя был пристяжной, в темных подпалинах, мерин. Обладив запряжку, ямщик набросал в таратайку сена и вместе с хозяином вошел в кухню.

— Садитесь, господин, выходите,— сказал ямщик.

— Прогоны дозвольте получить,— враждебно заявил хозяин.— Два с четвертью.

Рылеев заплатил и вышел. Расположившись возможно удобнее, он подумал, что ехать будет покойно, и от этого по контрасту еще больнее повернулась в душе его мысль о Лизе. Иван, в желтом, верблюжьей шерсти азяме, похожем на больничный халат, влез на козлы, сказал: «Эй, вы!» Лошади, семеня, тронулись. Рылеев оглянулся и увидел в окне смотрящую, не мигая, вслед бабу; перед воротами толклись мальчишки.

— Конь Володя,— не то саркастически, не то по привычке сказал один из них.

Иван вынул кнут, лошади, взяв дружно, наперебой рвались вперед, колокольчик, позванивая, разошелся и заголосил. «Поехали»,— подумал Рылеев, откинулся к плетеному задку таратайки, вынул папиросу и, морщась от глубоких затяжек, с жадностью стал курить.

Дорога шла слободой, потом, за последними заборами, открылся слева кирпичный завод, справа — выгон; по выщипанной зеленой траве бродили коровы, пастух лежал врастяжку, выправив ноги циркулем, рожок блестел возле него. День уступал вечеру, низкий свет солнца, растягивая густые тени, блестел в далекой реке желтым сплывом, за ясной линией берега медленно

двигалась черная линия мачты, нежаркий воздух сырел. Скоро выехали на тракт, мелькнул верстовой столб, дуплистые березы потянулись с двух сторон, низкий гул телеграфной проволоки монотонно звучал над головой Рылеева, и скоро все звуковое в езде — стук колес, колокольчик, пенье проволоки,— установившись на однообразном меланхолическом ритме, дало вполне почувствовать Рылееву, как далек он от привычной для себя обстановки. Сосредоточившись на цели своего путешествия, он стал невольно для себя переживать мысленно сцены воображаемой развязки всего: то горестные, то счастливые речи говорил он и в ответ слышал все, что хотел слышать, хотя воображал самые разнообразные положения, стараясь угадать будущее. Временами, стараясь развлечься, принимался он смотреть по сторонам и видел, что лес ближе, перелески раскидываются по холмам, верхушки маленьких елей светятся еще в последних лучах, а по лощинам притаились сплошные тени, и небо вверху бледнеет. Дорога змеей уходила в лес, пристяжной Володя, неуклюже тряся крупом, бежал, пофыркивая и мотая гривой, коренник, видимо, старался, а уши его вертелись во все стороны, слушая, не скажет ли чего ямщик такого, где будет слово «пегаша».

Иван, въехав в лес, отпустил вожжи, давая передохнуть коням, и повернулся на облучке лицом к Рылееву. Лицо ямщика показалось теперь Рылееву совсем похожим на кавалериста с пистолетом. Он сказал:

— Скоро станция?

— Десять отсюда.— Иван помолчал.— Уйду от этакого Ирода,— сказал он.

— Кто Ирод?

— А хозяин наш.

— Плох?

— Плох.— Иван полез за кисетом.— Мало сказать этого, а завсегда у него свербит, чтобы доконать человека. Одно слово — кашалот.

— Тай и уйдите,— радуясь разговору, сказал Рылеев.

По обеим сторонам дороги тянулась мелкая заросль можжевельника, мальв и пихты, а далее грудью стоял лес; в глубине его, засыпая, чирикали птицы. С невидимых болот сладко пахло гнилью и ландышами. Почти стемнело, бледный свет луны перебил тьму, стало

тускло, рассеянный мглистый свет приник к земле. Снова обернувшись, Иван сказал:

— Чей сами будете, барин?

— Я из Петербурга.

— Питерский? — Иван оживился.— Знаю, бывал, ведь жил там, на службе был.

— Да это не твой ли портрет там на станции висел? — улыбнулся Рылеев.

— Как же, наш,— басом сказал ямщик, говоря во втором лице, по-видимому, оттого, что портрет конного молодца стал для него отдельно существующей личностью.— Мы и снимались на втором годе это, в Гатчине.

— Откуда же в Гатчине памятник? Там нет памятника.

— Так что ж! — Иван весело засмеялся.— Памятник для почету.

— Что ж, хорошо служить?

— Всяко. Разно.— Ямщик помолчал.— Та ли жизнь? — сказал он громко с воодушевлением.— Петербург — одно слово!

И вспомнил ли он портрет свой, засиженный на гаденькой станции непочтительными ко всему мухами, или затосковал по военной конюшне, где другой Иван чистит теперь Геркулеса, или же просто тихо и глухо показалось ему в лесу после блестящего, мелькнувшего как сон, столичного города,— только он вытащил торопливо из-под облучка кнут, свирепо взмахнул им, выругался — и бешено заговорили колеса, наполняя шумом стремительного движения уснувший лес.

Лошади неслись вскачь.

— Их, их, их! — покрикивал Иван.

Рылеева трясло, подбрасывало, сидел он в неловкой позе, подобрав ноги, но быстрая езда чем-то отвечала душевному его состоянию. Довольный, смотрел он ямщику в спину, замирая, испытывая особенное, подмывающее ощущение легкости и того, что вот в этот момент все хорошо.

Сплошной лес кончился. Потянулись лесистые острова, кружала: из низов, где серебристые от месяца и росы болота тянулись тонким дымком пара, понеслись к скачущей таратайке хороводы бледных лесных лиц, сотканных из полусвета и тьмы.

VI

Четыре раза переменив лошадей, Рылеев утром приехал в село Крестцы. Весь замирая, глубоко и часто дыша, смотрел он широко открытыми глазами, как выбегает дорога по косогору к зеленым холстам огородов, как, блестя крышами и стеклами, увеличиваются дома и быстрее, почуяв стойло, одушевленной рысью взбивают сухую пыль лошади. Ночь, полная бегущих за лошадьми видений, короткого, прерываемого тряской сна, предутреннего холодка, усталости и напряжения, кончилась. Рылеев посмотрел на часы — было восемь.

Проехали мимо осыпанной взлетающими и воркующими на карнизах голубями церкви; у двухэтажного, обшитого потемневшим тесом дома ямщик сказал лошадям: «Тпру». Несколько мужиков и баб, проходя мимо, остановились, равнодушно смотря, как вылезает Рылеев. Он торопился.

— А на станцию не зайдете? — спросил ямщик, видя, что Рылеев направляется в сторону.

Рылеев не ответил — он не слыхал. Вслед ему изпод руки смотрели вышедший на крыльцо в рубахе без пояса мужик с недоеденным куском хлеба в руке, две босые девицы и несколько белоголовых мальчишек. Двое из них вдруг сорвались с места, побежали за Рылеевым и, догнав, пошли рядом, сося пальцы и заглядывая исподлобья в лицо барину. Скоро они отстали. Рылеев шел быстро; он не хотел спрашивать на станции, где дом Аверьянова, во избежание пересудов и неизбежных расспросов. Молодой парень в суконном картузе, с завязанным глазом, медленно шел навстречу.

— А который Аверьянова дом? — спросил Рылеев.

— К реке вот так идите.— Парень взялся левой рукой за подвязанный глаз, а правой махнул вперед.— За углом, где забор разворочен, сруб ставят. Вот рядом будет Аверьянова.

— Спасибо,— сказал Рылеев.

Отойдя, он оглянулся. Парень стоял, смотря на Рылеева с тем замкнутым, ничего не говорящим выражением лица, которое свойственно только крестьянину, чувствующему себя дома. Отвернувшись, Рылеев поспешно, волнуясь все сильнее, вышел, как указал парень, к реке, повернул влево, увидел вокруг новенького сруба кучи ослепительных в солнце щеп и по-

дальше — зажиточной внешности, двухэтажный дом. «Это, должно быть»,— подумал Рылеев. Через минуту он стоял у крыльца, потом очутился в сенях. Грудастая баба, бережно держа крынку с молоком, стояла перед ним. Он не помнил хорошо, что и как спросил бабу, помнил только, что женщина, толково, звонко и многословно голося, показывала ему пальцем на дверь. Внезапный страх овладел им, но чувствовал он, что по внешности спокоен и тих. «Да, я войду, увижу — и все кончится. А вдруг разрыдаюсь, брошусь к ней, и тут кто-нибудь войдет? Будет суматоха и стыд. Нет, надо владеть собой»,— подумал Рылеев. Помедлив еще, он потянул дверь и вошел.

Лиза сидела у самовара. В комнате было светло, и Рылеев увидел девушку сразу всю, до мельчайших складок ее одежды. Как будто огонь бросился ему в глаза; он остановился, глубоко вздохнул и засмеялся. Первое ощущение его была живая, полная, облегчающая радость.

— Лиза,— сказал Рылеев,— не ожидали? Слава богу, я вижу вас, слава богу.

Лиза, уронив полотенце, быстро встала, держась за стул. Выражение ее лица было такое, словно ее ударили, она слабо улыбнулась и потерялась.

— Боже мой! — медленно произнесла Лиза и поднесла руку к горлу, как бы собираясь кашлять.— Простите. Вы... я... Алексей?

— Да, Лиза, я. Давно-давно мы не виделись,— сказал Рылеев и остановился, не зная, что сказать дальше.

Испытанного и передуманного им за последнее время хватило бы на многие дни горячих, торопливых речей, но теперь все смешалось в нем, и мучительно чувствовал Рылеев, что, по крайней мере в первые мгновения, он ничего, кроме обыденных, простых фраз, не скажет и не услышит.

— Садитесь,— взволнованно шепнула Лиза.

От возбуждения и тревоги слово это сказалось ею почти одним движением губ; она отвернулась и заплакала, вздрагивая плечами. И в тот же момент Рылеев овладел собой, стал горестно спокоен, серьезен и нежен.

— Я рад, а вы плачете,— тревожно сказал он.— Да успокойтесь же, Лиза. Я к вам пришел другом.

Девушка прижала к глазам платок, вытерла лицо и села.

— Эх, слабость проклятая! — зло, по-мужски проговорила она.

В заплаканном ее лице уловил Рылеев намеренно чуждое, холодное выражение. Этого он ожидал, и к этому он приготовился. И потом все время, пока говорили они, он пропускал мимо сознания все красноречивые подробности взаимного их положения, стараясь верить, что эти мучительные подробности не важны, а лишь неизбежны. Он сказал:

— Лиза, я плохо сознаю сейчас, как я, где я. Я счастлив тем, что вижу вас. Но мне тяжко, что после десяти месяцев я не смею просто подойти к вам и радоваться. Я вот должен сидеть и спрашивать, как чужой объясняться. Скажите же, что произошло, почему это письмо?

— Как вы разыскали меня? — быстро спросила девушка.

— Человек не иголка,— грустно ответил Рылеев.— Так мы чужие?

— Я вам писала. Не нужно было, Алексей, приезжать, спрашивать меня и мучить. Все кончено между нами.

Рылеев побледнел, улыбнулся и опустил глаза. Последние слова Лизы подняли в нем бурю упрямого отчаяния. Нестерпимо захотелось в горячих, отчаянных словах бросить всего себя к ногам женщины, но еще что-то мешало этому; он заключил жизнь в границы своего чувства, и несообразным с этим казалось ему, что так прост разговор их, а между тем действительно рушится все.

Он встал, подошел к Лизе и хотел, как прежде, обнять; но девушка не шевельнулась, и руки его сами собой в замешательстве опустились.

— Вы любите другого, Лиза? — сказал Рылеев.

— Да,— виновато, по-детски сказала девушка.

Глаза ее вопросительно поднялись к Рылееву, но остались чужими. Жалость и гнев овладели им: в «да» этом он был уверен, но теперь действительность посмотрела ему в лицо своими ужасными, немигающими глазами. Потрясенный, Рылеев сел. В окне мелькнул женский платок; почти тотчас же, скрипя дверью, вошла та самая баба, которую встретил в сенях Рылеев. Сложив руки под грудями, баба уставилась на Рылеева.

Щекастое ее лицо выражало припадок истерического бабьего любопытства.

— Что, хозяйка, тебе? — холодно спросила Лиза.

— Сродственник будете? — заговорила баба.— Мы ведь неученые, темные, за обращение извините; и как это завидела я, к гостям пазуха свербит и свербит; корову доила, думала: и кому же быть? А уж я вас, миленький, золотой, как и звать-величать, не знаю.

— Ступай прочь,— коротко приказала девушка.

— А ты не гордись,— вдруг вспыхнув, басом сказала баба,— чай, не писаря жена.

— Пошла вон! — крикнула, вскочив, Лиза.

Баба осклабилась, подняла руку и, навалившись спиной на дверь, исчезла.

— Все лезут, все знать надо, гады! — помолчав, произнесла Лиза.

Лицо ее оставалось еще некоторое время гневным и раздраженным; удивленно смотрел на него Рылеев — так быстро и круто менялось оно. «Та ли это спокойная, немного дичок — Лиза?» Баба стояла еще перед его глазами нудным видением. «Противно, словно в лицо плюнула»,— подумал Рылеев.

— Что же, расстанемтесь, Алексей...— тоскливо сказала девушка.— Я любила вас.

— Да, расстанемся. Нет, не могу, не в силах! — почти крикнул Рылеев, и вдруг страдание его перешло предел, в котором можно хоть сколько-нибудь сдерживаться; с истинным, мятежным облегчением ощутил он, что дал наконец волю себе и не остановится, пока не скажет всего.

А когда заговорил, то увидел, что и не подозревал раньше, как может сказать о любви,— это было ему чудесным подарком, откровением; без усилия, торопясь покориться озарившей, пересилившей его самого тоске, Рылеев сказал:

— Уйти я не могу. Вопреки вашей воле я рвусь к вам. Я — конченый человек, Лиза; днем и ночью я вижу вас ярче дневного света; любите вы другого или нет, ненавидите меня или нет — я не могу разлюбить вас; с тоской и страхом думаю я теперь, что мог жить вдали. Где бы ни были вы — в радости или горе, в позоре, несчастии, нищете или довольстве,— как бы ни относились к вам другие, если бы даже имя ваше произносилось повсюду с отвращением и стыдом, если бы вы стали безобразной, слепой, если бы вы мучили меня

всю жизнь,— никогда я не перестану любить вас. Ведь у меня не было счастья; все, что сохранила память от моего прошлого с вами, вы теперь разрушаете и молчите. Я — мужчина, жизнь давалась мне нелегко, везде горбом с детских лет, очерствело сердце, а между тем я думаю, что хорошо плакать, но нет слез. Как хотите, так и думайте обо мне. Я все отдам вам, Лиза,— все будущее мое, всего себя, буду жить с вами — и буду этим так горд и счастлив, как никто на земле. Всегда, неотступно я буду представлять вас только на моих руках, у сердца. Скажите мне, Лиза, доброе слово по-прежнему.

Лиза болезненно улыбнулась, лицо ее стало осунувшимся и печальным.

— Вы все забыли,— хрипло сказал Рылеев,— а я все помню. Когда я уезжал, у вас было вот такое же, как теперь, лицо.

— Как забыла? — сказала девушка, рассматривая чайную ложку.— Нет, не забыла, конечно. Вас так долго не было возле меня. Много легло между нами.

— Неправда,— задумчиво ответил Рылеев.— Что хочет человек, то и делает. Но я стал чужой вам.

— Я ничего не знаю. Мне больно, очень тяжело, Алексей. Оставьте меня.

— Я уйду,— сказал после короткого молчания Рылеев. Он встал, дрожащими, неповинующимися пальцами застегивая пуговицы пиджака, хотя в этом не было никакой надобности.— Вот и все.

— Простите меня,— плача, сказала Лиза.— Или нет... Вы где остановились... в городе? Подождите там два-три дня, я напишу вам или приеду.

— Зачем? — похолодев, как от оскорбления, произнес Рылеев.— Милости я не прошу, не надо.

— Вы не понимаете,— быстро раздражаясь и топая от волнения ногой, заговорила девушка.— Не напишу и не приеду, и так может быть. Но подождите... ради себя.... Я здесь на заводе служу в конторе, мне идти надо...

— Лиза,— просияв, сказал Рылеев и протянул руку.

Девушка скользнула по этой протянутой руке своей — маленькой, горячей, как у больного ребенка,— и спрятала за спину.

— Не надо, не надо ничего,— полушепотом произнесла она.— Уходите. Уходите. Пожалейте меня. Уйдите.

Несколько мгновений, как оглушенный, неподвижно стоял Рылеев, смотря на опущенную темноволосую голову, потом отвернулся, толкнул дверь, и прохладный воздух сеней пахнул в его разгоревшееся лицо свежей волной. Рылеев медленно вышел на улицу. За изгородями переулка, на выгоне у реки валялись, лягая копытами, жеребцы; летний цветистый блеск солнца резал глаза. Неверными шагами, как избитый, Рылеев вышел к огородам, не заботясь о том, куда идет, пьяный от горя и слабости. Жизнь показалась ему вдруг отвратительным сном.

«Зачем я здесь, в каком-то селе?» — подумал Рылеев.

Лиза, опустив голову, сидела перед ним всюду, куда он обращал глаза: на сложенных у изб бревнах, в дорожной пыли, на картофельной зелени. Но была, смутно бередя душу, тень сомнения в том, что все кончено,— тень уродливая, без радости, улыбок, отчаяния и надежды.

VII

Работа не клеилась у Звонкого. Сумрачно поплевывал он на клин, острил его, метился при ударе быстро и точно, но или руки не слушались, или выскакивал, как тугая из шипучего вина пробка, клин, или в обрезке сырые слои, проеденные сучками, закручивались штопором, и не раскалывался обрезок. Звонкий повалил четыре сосны, обрубил сучья, распилил на куски стволы — и все с помехой: заедало пилу, соскакивал с топорища топор, и долго отшибленные ныли пальцы.

Близился сырой, полный мошкары вечер. Неподалеку от Звонкого, в разлапистом просвете ветвей, над большим столетним деревом трудился Петруха — подпиливал его, взяв от земли пол-аршина. Невидимый, торопливо стучал топором Демьян. Мечтая об еде и лежке, Звонкий приходил понемногу в окончательно дурное настроение; разломило спину и шею, и стал он колотить как попало, думая: «Полсосны расколю — шабаш: рубль с четвертаком заработал». Сделав так, Звонкий сложил готовые дрова в поленницу и с папиросой в зубах пошел к Петрухе.

— Айда чай пить,— сказал Звонкий.— Будет и тебе, Петруха, горб мылить.

— Вот спилю, повалю.

Петруха крепче забил в щель клин, встал, взял топор и сделал на другой стороне дерева глубокий рубец; теперь, чтобы сосна упала, следовало добивать клин. Ломаясь на рубце, ствол падал.

— Коська,— сказал Петруха, бросая топор и ссыпая в ладонь из кисета остатки махорки,— пойдем на прииска, надоело мне тут... Лодырь ты,— прибавил он, усмехаясь,— наплачешься с тобой в товарищах.

— Я и один не пропаду,— сказал Звонкий,— везде с народом был, жил, жив, слава богу, мать твою курицу, в Баке с татарами жил.

И от скуки захотелось ему поговорить так, чтоб другому завидно стало.

— Мазут из фонтана добывают,— помолчав, сказал он,— сверлом землю долбят, на канате махает, так вот в нутро и облицуют трубой, а мазут спертой как дрызнет из низов, снесет постройку, на полверсты в небо хвостом все зальет, и надо его убрать. Тогда канавки роют, а по канавкам в лезервуары; день и ночь в канавке стоишь, сор отбиваешь, чтобы не засоряло. Три рубля день, пять рублей ночь, восемь целковых сутки.

— Рубли-то маленькие,— недоверчиво сказал Петруха.— Брехун ты, много получаете, да домой не носите.

— Мял с тебя с сосны за три версты. Я, голубь, две тройки тогда купил, за одну на Солдатском базаре сменку дали, так и ту барину не стыд надеть.

— Гулял, поди?

— Уж было дело.— Звонкий покрутил головой.— К персианкам ходил, а в трактирах девки, как барыни, сидят, сама рука в карман лезет.

— Там бы и жил,— сказал Петруха, раскуривая.

— Жил,— сердито возразил Звонкий,— я жил, ты поживи.

Он смолк, задумался и увидел ту странную, нерусскую сторону: татары с шемахинской дорожкой, как зовут их пробритую лентой со лба на затылок голову, аршинные кинжалы, холеные лошадки в бисере и бубенчиках, чурек, лаваш, море, черная от нефти земля.

— Пошли,— сказал Звонкий, настораживаясь.

Глухо треснуло внизу, у земли. Еще не сообразил он, в чем дело, как, треснув зловеще, склонилась, валясь на него, подпиленная сосна. Далекая вершина

ее стала вдруг ближе, занося над головой гору ветвей. Размах падения из ленивого и как бы раздумывающего перешел в неуклонный, быстрый. Звонкий оторопел, хотел отскочить, но не было для этого от внезапности и испуга ни силы, ни ясного соображения. Распустив беспомощно рот, смотрел он на падающее дерево, а в лесу стало вдруг тихо и душно.

С присвистом шумно вздохнул воздух; ветвями стегнуло Звонкого по лицу, и кряжистый гул падения оглушил его.

— Ой! — крикнул, словно проваливаясь сквозь землю, Петруха и исчез.

Звонкий отлетел в сторону. «Помираю, смерть пришла!» — ударил по голове страх, но, полежав с минуту, он поднялся; лицо и руки его были в крови. Он подошел к дереву, держась руками за грудь, и весь затрясся, вспотев: из-под смятых стволом ветвей шевелились белые, дрожащие, как струна, пальцы, и был виден сквозь хвою смутный очерк пораженного человека.

— Караул! — закричал Звонкий.— Петруха-то где, смотри! — Бросившись к дереву, он ухватился за сучья, разорвал рукав и, отступив, хлопнул себя по бедрам.— Старик! — закричал он, вспомнив про Демьяна.— Ах, беды! Старик! — Он, не отрываясь, смотрел на переставшие шевелиться пальцы, крича все одно и то же, пока не заметил, что Демьян стоит рядом.

Старик, сняв шапку, перекрестился один раз истово и медленно, а потом стал креститься мелкими, быстрыми крестиками.

— Что стоишь-то? — сказал Звонкий.— Не помер он. За комель берись, снесем.

Тогда как будто откровение осенило обоих, указывая, что делать,— оба вплотную, хрипя и шатаясь от напряжения, приподняли за вершину упругий сырой ствол, освободив задавленного. Осыпанный хвоей Петруха лежал, не двигаясь, подвернув ноги и стиснув зубы. Удар пощадил лицо; на белых щеках тенью пробегал мгновенный трепет; посиневшие веки плотно закрывали глаза. Было жутко и жалко до отвращения.

— Зашибло парня,— сказал Демьян.— Молодой парень, ядреный, хучь бы што.

Мужики, опустив руки, стояли возле лежащего. На шее Петрухи, вздрагивая, билась вздувшаяся жила.

Петруха открыл глаза, смотря в небо смертным, тупым взглядом, и захрипел.

— Петр, а Петр! — позвал вполголоса Звонкий.— Нести тебя, или... Помрешь, што ль?

Петруха как бы не слыхал этого, но немного погодя сознание овладело вопросом. Дроворуб заморгал, по щеке его медленно сползла и упала в траву слеза.

— Помру,— неожиданно довольно громко сказал Петруха.— Отпишите дядьке... за грехи.

— Побегу в курень, лошадь запрягчи,— спохватившись, сообразил Демьян.— Помешкай-ка тут, Коскентин! Эко дело, эко дело, ах, пропадай все!

И он побежал, высоко вскидывая старческие костлявые ноги. Сумеречные тени, напоминающие опущенные ресницы увлеченного мечтой человека, охватили вечереющий лес. Звонкий смотрел вслед старику. Вдали, у мохнатого бурелома, ясно краснела в желтом пятне луча земляничная ягода.

Звонкий повернулся к Петрухе. Умирающий слабо дышал, закрыв глаза. Скверное, как перед опасностью, чувство отравило Звонкого. Враждебно-страшно были ему лес, Петруха, Петрухина смерть.

— Загубило человека, Петруха,— сказал Звонкий,— а с чего? Разговаривали мы честью...

Широко открыв глаза, Петруха смотрел вверх, думал о боге, покаянии, аде и рае. Ад, набитый битком, как печь в пекарне, пылающими дровами, совсем бледным показался Петрухе, мирным и безразличным; однако, вздохнув, подумал он: «Мати богородица, умилосердись».

— Коська,— забормотал Петруха,— Коська, иди-ка, Коська.

Звонкий, присев на корточки, уставился в лицо умирающего горестно устремленными глазами.

— Тут я,— сказал он.— Меня, што ль?

— Деньги возьми,— плохо выговаривая слова, сказал Петр,— в азяме, в полу, заштопал семьдесят рублей... Азям носи; на поминанье положи деньги-то — слышь?

— Оправишься, бог даст,— сказал Звонкий,— чего там!

— На помин,— повторил Петруха.— Не пропей, смотри...

— Несуразное говоришь! — возмущенно ответил Звонкий.

Петруха закрыл глаза, и стало представляться ему, будто за столом, почесываясь, сидит дядька. Чешет везде, а сам смотрит в угол, где веник.

«А ведь опаршивел дядька»,— вдруг весело подумал Петруха.

Дядька пропал, а у самого зачесалось колено. Начинает он его чесать, в кровь расчесал, а все, не переставая, зудит. Толстая солдатка Мавра в полушубке легла на Петруху, закрыв глаза, сжала губы и потемнела. «А ну вас, паскуды!» — хотел закричать Петруха, но не смог, часто задышал, забился и умер.

— А сродственники? — сказал Звонкий и, не получив ответа, нагнулся.— Не спи, хуже будет,— помолчав, сказал он.— Потерпи, за лошадью побегли, в больницу тебя.

Ответа не было. Звонкий вытянул указательный палец, ткнув им мертвого в висок,— лицо Петрухи осталось спокойно восковым и серьезным.

— Помер.

Звонкий перекрестился, удивляясь, когда успел помереть человек, только что говоривший о деньгах.

— Вот и жизнь наша.

Мужик сел на землю, охватив колена руками. Стемнело, разоренный день светлел еще над лесом бескровной бледностью неба, внизу же, стряхивая уныло падающие шишки, расползлась тьма. Низкий шмелиный гул леса охватывал пустыню. «Лес струнит»,— подумал Звонкий, сосредоточил мысли на мертвеце, думая больше вздохами, чем словами, и торжественное чувство одиночества, сознание того, что было два, а остался один, другой же навеки холодно-нем, поразило Звонкого заячьим страхом; невольно оглянулся он, тряхнул головой и стал ждать Демьяна.

Время текло медленно, даже как бы остановилось совсем. Возвращаясь к прошлому, вспомнил Звонкий барышню с гордыми, тоненькими бровями и сказал мысленно: «Скажи ты мне, мужику, разумное, чтобы я по коленку ударил». И подумал Звонкий, что надо бы эту барышню сюда, а для чего — не знал, но казалось, что, приди она и стань возле раздавленного деревом трупа, веселей выглядел бы мертвый Петруха, а он, Звонкий, как бы поняв что, весело хлопнул бы по колену. «Баба, баба ведь немудрящая, а занозистая... и что в ей? Чахотка одна. Ну, распоясал мозги, за-

колесил»,— сказал немного погодя сам себе Звонкий и повернулся к Петрухе.

Трудно уже было отчетливо рассмотреть его, только белело лицо с темными у глаз пятнами. Звонкий пристально смотрел на Петруху, словно от этого пристального рассматривания было понятнее, отчего так круто и страшно бедой обернулся день, мертвый лежит, а живой сидит возле него. Все напряженнее смотрел Звонкий. Дикая его осенила мысль, что Петруха не умер, а прикинулся,— зачем — про это знает он сам; того и гляди, захрипит, дернув головой: «Коська, обскажу я тебе...» — и есть тут, во всем этом неладное, нехорошее. Пугаясь, оглянулся Звонкий во все стороны, вытянув шею, затаил дыхание, гирей застучало в груди, и вот, точно, пошевелился Петруха, пошевелился так, как движется для пристально на воду смотрящего человека пристань, на которой стоит он: не изменив положения, весь ожил в глазах страха бездыханный труп, вытянулся, напряг руки и ноги. Похолодев, Звонкий встал и, не переставая смотреть в жуткую печаль тьмы, принялся шарить вокруг ног шапку, отыскал, надел и для храбрости медленно стал отходить, думая: «Пойду в курень, мертвому живой не нужен, тоскливо здесь». Отойдя же подумал: «А вот он сел, сел!» Представление это было таким ярким и грозным, что не выдержал больше Звонкий: опасливо расставляя в темноте руки, с мертвящим в спине и затылке холодом, помчался он, запинаясь и падая, не слыша, как стучит в стороне телега с Демьяном. Так, попадая чудом с тропы на тропу, бежал он до тех пор, пока, жарко и осипло дыша, не увидел на берегу светлое куренное окно и тень мечущейся за ним люльки, но все еще ярок был в глазах труп.

«Не уснешь ведь,— подумал Звонкий,— скажут: «Чего прибежал?» За хлебом, скажу, пришел».

VIII

Пройдя запаханный под огороды овраг, Рылеев остановился; два желания боролись в нем: одно толкало его все бросить и уехать немедленно, другое было — страсть к одиночеству. «Совершенно уйти от людей, хотя бы на час отдохнуть»,— подумал Рылеев. Лесная опушка, полная тени, начала действовать на его вооб-

ражение: горькой радостью представлялось ему идти в глухих лесных провалах, бродить одиноко, без цели, угасая душой. Подумав об этом пристальнее, Рылеев ужаснулся, сказав самому себе: «Ведь это слабость, упадок духа, нехорошо» — и, стиснув зубы, решил быть настойчивым до конца. Увидев тропинку, Рылеев отдался ее изгибам и не заметил, как стало вокруг совершенно спокойно и тихо. На ходу он думал об утомившей и потрясшей его встрече, но более о неизвестном своем сопернике. Почему-то представлялся ему соперник человеком среднего роста, широкоплечим, с тонким, как в корсете, станом, с прекрасным овалом лица; под высоким и чистым лбом Рылеев видел ненавистные, синие, насмешливые глаза. Откуда сложились в душе его эти фантастические черты — он знал так же мало, как и женщины, представляющие своих соперниц привлекательнее себя: человек всегда думает, что его могут променять лишь на более в каком-либо отношении достойного. Эта черта души почти всегда заключает в себе также и уважение к предмету любви.

Бессонная ночь, усталость и влажный лесной жар, бросающий в испарину, сморил Рылеева. Ослабевший, сонный, он лег, стараясь ни о чем не думать, и мгновенно поразил его сон — полная потеря сознания, без видений и бреда.

Спал он долго и неподвижно. Золотой цветок дня, развертываясь, достиг пышного, полного своего блеска, затем, клонясь к усталой земле, осыпался над горами вечерним багровым светом и дал плод — темные семена мрака. Сырость, наполнив лес, разбудила Рылеева.

Проснувшись, вскочив и припомнив все, Рылеев задумался.

— Темнеет,— сказал он,— близится ночь, я должен уйти отсюда.

Дико и жутко показалось ему в лесу. Кое-как определив направление, в котором лежит село, Рылеев, решив взять лошадей и ехать, стал нащупывать глазами тропу, по которой шел, и не находил ее. Кругом тянулись растущие на одинаковом почти расстоянии друг от друга крупные пихты, лиственницы и ели, а в промежутках мелкая лесная братия кустарниками извивалась над щупальцами корней, взрезавших густой мох.

— Это недоставало еще,— сказал, немного тревожась, Рылеев.

Он стал бродить наудачу, затем взял левее, потом это направление показалось ему отчего-то ложным; сомнительно покачав головой, он заколебался, но взял вправо. Ниже надвинулся ему на глаза козырек сумерек, а время вдруг показало свое лицо, спрятанное прежде озабоченностью и вниманием розысков. «Около получаса я иду,— подумал Рылеев,— и голод проснулся». И только подумал Рылеев о том, что голоден, как почувствовал, что голоден нестерпимо. Он пошел вдвое быстрее, стараясь идти все прямо, чтоб не кружиться на одном месте, и смутно сознавая, что сбился. Ровная почва стала покатой, все под гору, и под гору спускался Рылеев, попав, наконец, в лог, полный валежника. Идти здесь не было никакой возможности. Его движения напоминали движения пьяного человека в толпе. Убедившись, что вперед идти трудно, Рылеев выбрался обратно по косогору в сравнительно чистый лес, и ему скоро повезло: высветилась редина, за ней гарь с черными жердями обгоревших деревьев, за гарью же, выгибаясь луком, текла неширокая речка, в одну сторону выходя к селу и заводу, а верхами взвиваясь к далеким каменным хрящам горной цепи. Угол черного от дыма и солнца бревенчатого строения выглядывал из-за деревьев; из трубы шел дым. «Вот жилье,— подумал Рылеев,— сейчас поем». Обрадованный, не чувствуя, как болят натруженные ноги, поспешил он к строению.

Был поздний, светлый и теплый вечер, сумерки медлили переходить в мрак, тихая, застывшая их улыбка веяла дикой грустью пустынь. Приближаясь, Рылеев увидел на лавочке возле дверей подстриженного в кружок черноволосого мужика. Обрюзгшее лицо мужика заплыло желтым жиром, вытеснившим растительность, редкие над китайским разрезом глаз брови и немощная вкруг голого подбородка черная борода оставляли общее бабье выражение лица почти нетронутым. Длинная, в три звена, изба стояла на самом берегу журчливой речки; не было ни двора, ни изгороди.

— Добрый вечер,—сказал, остановившись, Рылеев.

Мужик мотнул головой.

— Нет ли у вас еды какой-нибудь? — продолжал Рылеев.— Я заплачу.

— А ты чей? — подозрительно спросил мужик.

— Я... я с завода.

— Чиновник?

— Нет. Заплутал...

— Идите,— сказал мужик,— не знаю, горячего што есть ли.

Рылеев прошел за ним в плохо налаженную дверь. Внутренность помещения состояла из бревенчатых стен, пары желтых стульев, грязного половика, стола, на котором валялись счеты, связка баранок, две-три приходо-расходных книги, медные деньги и четвертушка бумаги. На стене горела жестяная с рефлектором лампа. Пахло чем-то противным и в то же время съедобным. За стеной в такт заунывно и глухо распеваемой кем-то песенке скрипела люлька.

— Садитесь.

Мужик, тяжело ворочая ногами, вышел. Немного погодя, рванув дверь и затоптавшись на месте, а потом сердито подбежав к столу, некрасивая, нечесаная и босая лет пятнадцати девица сунула на стол глиняную чашку со щами, кусок хлеба, ложку, ножик — и скрылась; столкнувшись с нею в дверях, пришел мужик, стал у притолоки и вздохнул, смотря на жадно уписывающего щи Рылеева.

— К заводу вам этта идти было,— сказал, почесывая штанину, мужик.— На Семияровскую дорогу ежели, то и готово.

— А сколько до села? — обжигаясь и торопливо жуя, спросил Рылеев.

— Да уж заночуете. Далеко до села. Верстов пятнадцать, чай, да и все ли тут, еще версты не меряны.

Мужик, как ни любопытен был, все же дал Рылееву спокойно окончить ужин. Изредка за спиной своей слышал Рылеев жирный вздох и молитвенное: «Охо-хо, господи».

— Ну, спасибо! — сказал сытый, несколько стесняясь, Рылеев.— Наелся.— «Вот опростился я,— подумал он,— где-то в глуши ем щи, да и говорить скоро начну как этот мужик... А ведь он счастливее меня. А кто же счастливее его — птица, зверь? Нет, вранье. Лиза, Лиза!» — ударила среди смешанных мыслей тоска, и тоскливое настроение вернулось к Рылееву.

Он обернулся, услышав за спиной шаги. На пороге остановился человек высокого роста, босой, с резким, холодно-задорным лицом.

— Вы хотите ночевать? — лениво спросил он.— Так у меня ночуйте.

Человек не смотрел на Рылеева, а осматривал его. Рылеев не успел ничего ответить. Вошедший продолжал тем же равнодушным голосом:

— Войдите сюда, мы познакомимся. Если устали, сейчас и уснете, или же будем пить чай.

Мужик осклабился.

— Ничего,— сказал он,— ступайте с ими, они у меня живут.

Неизвестный, высокий и босой, отступил в глубину дверей, а Рылеев, отвечая на улыбку улыбкой, вошел за перегородку. Человек протянул руку.

— Моя фамилия Тушин,— сказал он,— будем знакомы.

Рылеев назвал себя. Снова осматривающее выражение блеснуло в глазах Тушина, но быстро и бесследно исчезло. Небольшой стол, сложенная из простых ящиков кровать и крашеный табурет были единственной в узком помещении мебелью. Два ружья стояли в углу. На столе у лампы появились во множестве разбросанные медные гильзы, стояли пузырьки с картечью и дробью, коробки с пыжами, войлочными и картонными, маленькие коробки с пистонами, и лежало еще множество мелких предметов и инструментов: отвертки, куски проволоки, обрывки свинца, вата, клочки грязных от пороховой копоти тряпок. Еще заметил Рылеев смятое на кровати бумажное одеяло, железный крестьянский умывальник, полотенце над ним и брошенные в угол болотные сапоги.

— Садитесь,— сказал Тушин, очищая на столе место для локтя, занял сам табурет, а Рылеев сел на кровать.

Рылеев с тем особенным чувством удовольствия, с каким за границей рядовой русский человек встречает русского же, видел в Тушине не мужика. Разговор бойко и легко начался меж ними. Первый заговорил Рылеев.

— Странный для меня день,— сказал он,— я заблудился довольно серьезно и сам не знаю, как попал сюда. От леса все еще кружится голова. Вы здесь живете?

— Да.

Тушин, видя, что Рылеев с любопытством осматривается, машинально осмотрелся сам.

— Я слышал разговор ваш; да и мне случалось плутать в лесу. Он огромен.

— Вы, кажется, городской человек? — спросил Рылеев.

— Да, я учился в ***.— Он назвал западную губернию.— А что?

— Вы здесь живете, по-видимому, оттого я и спросил.

— Да, живу. Здесь хорошо жить.

Тушин отвечал Рылееву с таким видом, как будто ожидал вопросов и приготовился к ним. Но из дальнейшего Рылееву стало ясно, что Тушин раз навсегда определил свое положение и хорошо знает, чего хочет.

— Вы охотитесь?

— Да, я люблю это дело.

— Какое же это дело? — улыбнулся Рылеев.— Это забава, удовольствие.

— Как смотреть,— возразил Тушин.— Я, например, охотник-промышленник. Этим я живу. Это мой капитал, моя рента, все, что хотите,— я да ружье.

— Как? — спросил, невольно посмотрев на босые ноги Тушина, Рылеев.— Вы совершенно отдались этому?

— Конечно. Это мое призвание. У одного призвание — служба, у другого — благотворительность, у третьего — искусство, а у меня — охота. Нет, меня что удивляет,— помолчав и катая на ладони дробинку, продолжал Тушин,— русские на себя непохожи. Верно. Бесконечные леса, озера, болота, реки и тундры окружают нас. В этих угодьях до сих пор птица, зверь неистребимы. Между тем посмотрите на рядового русского образованного человека-неудачника — он станет чем угодно, уважая труд: сделается дворником, чернорабочим, холуем в трактире — и не вспомнит о свободной жизни в лесах. Такова наша история. От Чернобога и лапотцев прямехонько к рафинированному мозгу.

— Что вы! — сказал Рылеев, засмеялся и стал думать.— Нет, вы не то... Да как же жить? Человек учится с малых лет — и вот пожалуйте.

— Снова начнет учиться,— сказал Тушин.— Я не хочу всех сделать охотниками. Нет, выходов много; я говорю про тот, который нашел сам. Мне повезло: счастливо соединились страсть и рассудок.

Тушин обернулся к перегородке и постучал в стену.

— Это я самовар тороплю,— сказал он.— Вы чаю напьетесь и уснете.

— Да, я устал.

Рылеев посмотрел на дверь. Та же девица, что давала ему есть, внесла рыжий самовар. Тушин встал и, очистив на столе место для чаепития, бросил в чайник заварку.

— Так пейте же,— сказал он, снимая с гвоздика вязку сушек.— Ешьте и сушки. Это не та дрянь, что под именем баранок делают вам бабы на юге; настоящая сушка. А знаете, как ее делают? Ногами тесто месят.

Рылеев поморщился.

— А чем руки чище ног? — хрустя полным ртом, сказал Тушин.— Руками за все хватаются.

— Да вы, кажется, с удовольствием...

— Люблю есть, когда голоден. Чувствую в горле пищу и вкус ее.

Чувство новизны и редкости своего положения все сильнее овладевало Рылеевым. Осознав это чувство, он, прихлебывая из стакана чай, внезапно перенесся мыслью в большой свой город, и был тот как другой мир. Все же, что случилось с Рылеевым до последнего момента, показалось таким густым, страдальчески острым и любопытным, что у него захватило дух. «Да где же я, как живу и что будет дальше? — подумал он, тотчас ответив: — А ничего; заблудился, Лиза отвергла, и у охотника заночую». Подумав о Лизе, Рылеев внутренно забился, затосковал, но посмотрел в разгоревшееся от чая лицо Тушина и заговорил, стараясь голосом прогнать грусть:

— Да, интересно вы живете, но и тяжело, вероятно,— ведь вам привыкать надо было.

— Вот и привыкал,— сказал Тушин.— Птичьи повадки легче, а зверя труднее. Вы думаете, отчего становится из года в год меньше добычи? Говорят, леса гибнут, люди — хищники. Да, но и от того, что животные, в свою очередь, неустанно хитря с человеком, изучают его, по наследству передают потомству свои неписаные заметки. Изучать места для капканов, западней и ловушек, отыскивать тока, всевозможные птичьи свадьбы, замечать гнезда и норы, наконец дойти до того, что, придя в какое-нибудь глухое лесное место, ни с того ни с сего остановиться и сказать: «А тут есть, что — не знаю, взвожу курок»,— через минуту же выстрелить по лисе или лосю — нужны труд и способности... Да вы спать хотите.

Рылеев слушал через силу, глаза у него слипались.

— Я лягу,— сказал он.— Где же лечь мне?

— Да там, где сидите, на кровати.

— А вы?

— На чердаке много соломы.

— Эгоистично с моей стороны,— сказал Рылеев,— я лягу, спасибо.

— Ну, спите.— Тушин встал.— Я оставляю вам лампу. Читать нечего.

— Совсем не читаете?

— Читаю зимой, когда живу в городе,— там я уже не босяк, а барин.

Тушин, как был босиком, взяв табачную коробку и спички, пожелал Рылееву спокойной ночи и вышел, а Рылеев, слегка прикрутив огонь лампы, лег, не раздеваясь. В комнатке, слепо падая на ламповое стекло, толклась мошкара.

Он слышал еще, как, загремев колесами, выехала от куреня телега, неразборчивый разговор мужиков, потом стремительно и крепко уснул; перед тем как заснуть, подумал: «Лизину загадку хотя бы разгадать мне, ведь я до сих пор мучусь, как слепой».

К рассвету, догорев, погасла лампа. Сырость и белый без солнца свет прошли в раскрытое окно. Озябнув во сне, Рылеев свернулся, поджав ноги, и не просыпался еще, но уже в сон вошли сны — признак скорого пробуждения. Между прочим, увидел он, будто стоит перед кроватью его высокий, белокурый соперник, с синими насмешливыми глазами, говоря: «Я и нитки собираю, нитки на что-нибудь пригодятся». Застонав от ревности, Рылеев проснулся — еще в полузабытьи. Тушин, совсем одетый, в болотных сапогах и с сумкой через плечо, смотрел на Рылеева; взгляд его был пристален и раздумчив. Он стоял у стола, забирая левой рукой в сумку патроны.

— А? Что? — пробормотал, оглядываясь, Рылеев.

— Спите, спите,— голосом няньки сказал Тушин.— Я иду по своим делам; больше не увидимся, прощайте. А что передать Лизе?

Рылеев вскочил. Кровь ударила ему в голову. Ничего не понимая, но смутно заволновавшись, расширенными глазами посмотрел он в лицо Тушину, спрашивая:

— Как... то есть какой Лизе?

— Да уж вам лучше знать,— серьезно сказал Тушин.— Она меня любит.

Рылеев провел рукой по волосам. С минуту он не почувствовал правды, почувствовав же, не смог ничего сказать, побледнел и медленно глубоко вздохнул. В это мгновение не видел он ничего, кроме Тушина.

— Вы меня знаете? — сказал наконец Рылеев.

— Я карточку вашу видел,— помолчав, сказал Тушин и, невесело улыбнувшись, прибавил: — Не сердитесь же. Там у куренщика старик с плотиком, на плотике он довезет вас до самого села.

Волнение Рылеева передалось Тушину; с изменившимся слегка и твердым лицом он вышел, не оборачиваясь.

Углубляясь в лес, Тушин думал, что сделал хорошо. «Если он крепок и хорошо себя ценит, то вывернется из-под удара душой, и вновь закипит в нем жизнь, разве смерть закроет глаза. Но я не уступлю никому Лизу. А будем ли мы всегда любить? Не знаю, да и не надо об этом думать».

Белый без солнца свет наполнил лес. В нем было тихо, как в душе младенца, и весело.

IX

Лиза и Тушин встретились на том же месте, где видел их мужик Звонкий. Тушин любовнее, чем всегда, поцеловал девушку; в лице ее бросилось ему выражение усталости, скрывающей себя преувеличенно веселой улыбкой и выдающейся рассеянностью взгляда. Но он ничем не дал понять ей, что заметил это, однако, со свойственной ему стремительностью, после многих ласковых слов и шуток, сказал:

— К тебе жених приехал, я его видел, он у меня ночевал.

Лиза, подняв голову, вспыхнула, слабо улыбнулась и встала. Тушин сидел, обхватив руками колени.

— Странно, расскажи,— глухо произнесла девушка.— Нет, здесь ничего не скроешь, и напрасно мы воровски видимся: все равно, я думаю, по селу сплетни ходят.

Тушин, невольно улыбаясь тому, что отбил у Рылеева женщину, передал Лизе о том, как заблудился приезжий и как ночевал, но умолчал об утреннем разговоре.

— Что же, уехал он? — спросила после долгого молчания Лиза.— И он не знает, что ты — ты?

— Нет. Уехал ли, не знаю, а что ему делать там? Лиза,— живо сказал Тушин,— ты ведь его любила?

— Любила, что же из этого? — Лиза повернулась к Тушину, и он раздумчиво уклоняющимися своими глазами встретился на мгновение с ее блестящим, прямым взглядом.— Все же я не могу отнестись к нему, как к первому встречному.

— Это понятно,— сказал Тушин.— У вас, конечно, был разговор?

— Да.

— Ну, расскажи сама, если хочешь,— сухо произнес Тушин,— не в моей привычке сидеть над душой.

— Не сердись.— Лиза опустилась на колени и теплой, пахнущей лесным воздухом, рукой обняла шею Тушина. Закинув слегка голову и улыбаясь, она, порозовев, вся сияла твердым любовным вызовом.— Поцелуй меня, лесничок!

— Нет,— трогаясь, но уже полный ревности, сказал Тушин.— Я не спокоен теперь. Идя сюда, был спокоен, а теперь нет.

— Не сердись,— снова сказала Лиза. Она ближе пододвинулась к Тушину и пристально, взвешивающим что-то взглядом смотрела на его губы.— Не сердись,— повторила она, приникла головой к плечу Тушина, стиснула руками его шею и замерла.— Ты знаешь,— услышал под плечом Тушин,— мне... мне тяжело.

Тушин, затосковав, освободился и встал. Лиза тоже.

— Чего ты хочешь? — грустно спросил Тушин.— Кого любишь? Меня? Тогда садись и будем нежны друг с другом. А его — тогда нечего и говорить нам.

— Я устала,— резко сказала девушка.— Вот в чем дело. Мы видимся редко и утомительно. Ну, хочешь, я буду откровенна? Ты ведь меня никогда в двуличности упрекнуть не мог. Не то чтобы я его тоже любила, но он мне как-то понятнее, чем ты. Мне, дорогой, не хочется прожить здесь всю жизнь. Я тебя горячо, упрямо люблю. Но вот он вчера был у меня, я на него смотрела, вспоминала — и вдруг потянуло меня в далекие города. Там богато, шумно, изящно и умно течет жизнь. Я молода, красива, я — женщина. Меня окружают грязные бабы и пьяные мужики, мои книги засижены мухами, меня тошнит от тараканов в молоке! Все это мне надоело. Дорогой мой,— Лиза

взяла Тушина за руки и крепко сжала их,— если ты меня любишь, оставь эту жизнь. Мы уедем в столицу или большой провинциальный город; мне хочется быть частью шумной волны, блестеть в ней, кипеть. Ты силен и одарен богато, ты везде будешь хозяином. Разве нет? Ведь я не ошиблась же в тебе?

— Эх ты! — хмуро сказал Тушин и замолчал.

Взяв ружье, он машинально гладил рукой стволы. Взгляд его упал на ствол молодой ели: из-под чешуи коры светлая смоляная капля, вытягиваясь сережкой, блестела маленьким солнцем. «Ах, тихая, чистая жизнь и беспокойный в ней человек,— подумал Тушин,— есть ли что лучше?» Глухая нежность к пустыне, крику орлов, озерам и перелетным стаям вдруг поднялась в нем, клином вошла в любовь и выразила в лице все, что не расскажешь словами: боль, грусть и волнение. «Никогда, никогда, никогда»,— стараясь быть спокойным, сказал себе Тушин. Но он, человек с тяжелыми, каменеющими в упорстве своем чувствами, любил также стоявшую перед ним женщину.

— Ты что же... Так вот с чем ты пришла сегодня? Нет, этого я не сделаю.

Лизу, по-видимому, не удивил ответ Тушина, хотя гордость ее была сильно задета. Глаза девушки расширились и поблекли. Не зная еще, что сказать, она стояла, покачивая в раздумье головой, но решимость не покидала ее.

— Тогда я уеду,— тихо и уныло, подымая заблестевшие печалью глаза, сказала она.— Если б ты любил меня так, как он! Не надо мне половинку апельсина.

— Я люблю, люблю...— теряясь, сказал пораженный Тушин.— Ну вот, смотри, разве не чувствуешь, что люблю?

Он степенно, серьезно обнял девушку, увидел в ее зрачках крошечное темное свое отражение и, положив ладонь на лоб Лизы, слегка отклонил ее голову. Поднятое лицо женщины было прекрасно. Особенно прелестной и милой казалась его близость — возвышенная близость лица, смутно напоминающего теперь взволнованное, но ясное море. Он крепко поцеловал женщину, и жгучий холодок подымающегося страстного томления опалил Тушина.

— Да, умеешь любить,— шепотом сказала она,— и я.

Тушин сжал Лизу. Не вырываясь, она забилась в его руках: смех и глухой вздох были ответом его порыву.

Некоторое время оба молчали. Тушин сидел, положив голову на ее колени, дремала женщина, мужчина упорно думал, смотря в лес.

— Со мной или без меня? — сказала Лиза.— Решай.

Тушин пошевелился, но промолчал. Первая боль прошла. «Ведь она вернется к нему. У женщины два пути: один — к тому, кого любит, другой — с кем лучше. И старая любовь порой, падая в необузданное сердце, дает пламя... Не отдам Лизу,— подумал Тушин,— уеду, все должен испытать человек. Но представим иначе: вот я один...» Он сосредоточился на этом, и голый ревнивый страх пересек дыхание. Он понял, что издали недоступная отныне женщина и недоступная любовь станут для него истязанием.

— Еду! — быстро сказал Тушин.— Когда?

— Сегодня,— сияя, сказала Лиза.— Приходи вечером, я буду тебя ждать к десяти, уложусь. Мне стало здесь скучно и тяжело.

Оба встали, поцеловались и долго, держась за руки, смотрели друг другу в глаза. Тушин, утомленный волнением, спокойно смотрел на девушку, думая: «Да не бойся, решил так решил».

— Прощай.

— Иди себе.

— Что же ты будешь делать?

— Пошатаюсь, приберусь, лягу спать.

Лиза, оглядываясь и кивая головой, ушла. Оставшись, Тушин быстро, спешными шагами вышел на извилистую лесную дорогу. На ходу, думая о перемене жизни, он сознавал, что наступил момент, когда и ему пришлось считаться с желаниями другого. Рано или поздно так должно было случиться.

Тушин шел к озеру. Лес становился холмистее, светлее и реже, дорога шла вверх, потом, обогнув круглую луговую пустошь, на зелени которой островками пестрели лиловый аконит, рябой щавель и по белым песочным россыпям — лопушный лист земляных орехов, падала круто вниз по густому хвощу, к сияющей глубине воды. Отсюда начинались озера, площадью равные четырем Петербургам, гигантское скопище воды, полной рыбы и птицы.

На берегу Тушин остановился, снял шапку: мокрые от пота на висках и лбу волосы обвеял прохладный

озерный ветер, унося комаров. Суровая и нежная чистота открытого пространства мягко приветствовала человека. «Тихо и безлюдно,— подумал Тушин,— а солнце жжет. Расти здесь, как зерно в колыбели,— будешь прямо смотреть на солнце, будешь задумчив и тверд». Он обернулся к лесу. Синий вдали лес настойчиво, беззвучно приглашал расположиться, как дома. «Я — выродок, дикий, дикий я человек,— с отчаянием подумал Тушин.— У моего деда шесть тысяч десятин было, отец напилочком ногти отделывает, а я — бродяга... Надо прощаться со знакомыми».

— Прощай, лес! — громко сказал он. Эхо, ударяясь в берега и лесистые среди воды острова, медленно повторило:

— Аай-э, ай-э, ай-э!

— Прощай, озеро! — крикнул Тушин.— Прощайте все!

Слезы выступили на его глазах. Долго, понурясь, стоял он на берегу, втаптывая носок сапога в ил и раздраженно дыша.

«Ну, поеду,— сказал себе Тушин,— последний раз, как рекрут, гульну... Козихина лодка хороша, а Буторова еще лучше — ту и возьму».

Он подошел к осмоленной снаружи и изнутри лодке, столкнул ее на воду, вскочил сам и начал, стоя в корме, грести рулевым веслом. Повертывая в воде весло, он плыл к ближайшему острову, откуда скрытый камышами пролив вел в другие, еще большие, извилистые водные равнины.

Заблудиться в этих местах было легче, чем в лесной гати. Легкомысленный солдат, бежав из полка, бродил здесь на челноке несколько дней и умер от голода, оставив на солдатском билете горелой спичкой безграмотно выведенную записку: «Помераю голоднаю смертью, не хотел солдатского хлеба есть, простите жена и дети»,— труп его вывез старик Капин, зимой и летом живущий при озере.

Опасной глухой прелестью дышали эти места. Тушин изучил их не сразу: долгое время страшно похожие друг на друга каймы тростниковых зарослей, подымающиеся из воды бесчисленные лесистые холмы и спрятанные зеленью озерной проливы кружили ему до утомления и испуга голову, но он присмотрелся к ним, изучил приметы — и двигался теперь безопасно.

Вода, прозрачная, и на четырехсаженной глубине

казалась зеленоватым продолжением воздуха. Коричневое дно ясно, во всех мелких подробностях, выступало сквозь озаренную полднем глубь, мелкие раковины, галька, что-то похожее на рассыпанную черную крупу, раки, запавший у берегов хворост, резко освещенный в воде солнцем, были отчетливы — казалось, стоит протянуть руку и взять их. Тростниковые плавни выходили наверх аршинной в вышину зеленью. Рыба, проходя под лодкой, напоминала птицу в кустарниках.

Тушин повернул в длинный, заросший хвощом пролив. Куакая, поднялись кроншнепы, резкий полет их осенил воду нервным трепетом крыльев. Шумно рванувшись, полетели, огибая похожий на замок остров, черно-белые турпаны, узкоглазая гагара, издали высмотрев человека, закричала ребячьим плачем, нырнула и скрылась. По берегам засуетились дрозды; трясогузки, прыгая на полусгнивших в воде стволах, усиленно трясли хвостиками. На лодке плыл человек, птицы негодовали.

Тушин не трогал лежащего перед ним ружья. Он ехал, грустно осматриваясь и в раздумье кивая головой, с душой, полной чуждых людской жизни звуков, внимательно слушая предупреждающий крик сторожевой птицы и возражения на него со стороны тех пернатых, которые, не видя еще человека, занимались флиртом или едой. В конце пролива маленькая ручеек-речка беззвучно соединялась с озером; в устье, поросшем ивой, заполоскавшись, шмыгнула выдра; мордочка ее, удаляясь вверх по течению, пристально осмотрела Тушина. Охотник вздрогнул, поднял и вновь опустил ружье: сегодня зверь имел право жить рядом с ним, не боясь смерти. Медлительные красноклювые чайки, грустно крича, играли с голубым воздухом; на середину озера, касаясь рогами спины, выплыл лось, заметил человека и скрылся за лесом; водяная крыса черной точкой ползла наперерез лодке; вдали, маленькие, как комары, снялись лебеди.

— Да уж не бойтесь,— сказал Тушин, смотря им вслед,— мне и плыть лень.

Он подвигал лодку вдоль берега. На серых и лиловых песчаных отмелях бродили болотные петушки ростом с цыпленка, проворно передвигая длинными ногами; рыжевато-зеленые воротнички их, топорщась вкруг тонкой шеи, блестели на солнце цветным букетом. Они бегали вокруг маленькой ослепительной лужицы.

Лужица эта, когда Тушин подъехал ближе, смотря разгоревшимися глазами на тропических по окраске своей северных птиц, неожиданно изменила свои очертания, зашевелилась и побежала.

— Урод! Красавец! — сказал Тушин, похолодев от страсти.

Руки его сами собой взяли ружье, взводя курки. Болотный петушок, выше и крупнее других, поразительно чистого золотого оттенка, пламенно и нежно блестя, вился перед человеком, тревожно бегая по песку. Сияющая тревога его движений заразила и остальных: птицы, непугливые по натуре, рассеялись, часть взбежала по маленькому косогору; крик их, похожий на звонкое, отрывистое мурлыканье, раздался в траве. Остальные убегали по линии воды. Тушин, с пересохшим от волнения горлом, забыв все на свете, кроме огненного живого пятна, прицелился и выстрелил. Петушки, стремительно и молчаливо взлетев, исчезли, а золотой, поднявшись на воздух, блеснул трепетным солнцем и сел неподалеку в кусты.

«Промах,— засовывая дрожавшими пальцами свежий патрон, подумал Тушин,— и на близком расстоянии. Нет, стой, этого я возьму». Он вспомнил все рассказы охотников о голубом тетереве и белом волке, предводителях своего племени. Рассказы эти, основанные на редкой игре природы и пылком воображении, слушал он не раз у костров, с улыбкой смотря на клятвенно ударяющие в грудь кулаки.

— Ну и выродок, ну и выродок! — шептал он, быстро подплывая к кустам.— Не пропущу такого.

Удерживая дыхание, Тушин вытянул шею, стремясь опередить движение лодки. Лодка остановилась, покачиваясь. В пяти саженях был берег; зелень ивы купалась в воде; темные густые прутья ее, подымаясь из ила, рябили в глазах сеткой, и трудно было рассмотреть что-нибудь. В то время, как, приглядываясь, Тушин менее всего ожидал этого, птица, выбежав из тени к воде, отразилась в ней испуганно шевелящимся блеском, выждала момент, когда черные кружки дула остановились на ее спине, вспорхнула и, продержавшись секунду на одном месте, светлой струей ушла в глубину дали.

Дробь хлопнула по песку, срезав прутья, второй выстрел, посланный в направлении полета, покрыл мгновенными пузырьками воду. Дым рассеялся. «Да

я разучился стрелять»,— сказал, беря снова весло, Тушин; жгучая досада разочарования покрыла его лицо потом и бледностью. Лихорадочно быстро гребя, он пересек озеро, рассчитывая встретить петушка на том берегу. Сильное возбуждение овладело им, он думал, как о высшем счастье, о возможности удачного выстрела. Преследование захватило его всей силой блеска, поразившего зрение. Смотря на воду, Тушин видел подымающихся от светлой поверхности ее петушков; бесплотные мгновенные призраки эти рассеивались, переходя в искристые переливы воздушных струй.

Птица словно ждала его. Еще раз увидел он ее перед собою на мокром песке и, с туманом в глазах, выстрелил. Петушок спокойно, как бы издеваясь над Тушиным, поднялся и уселся невдалеке, вблизи маленьких островков с белой осокой. Тушин неотступно подвигался за ним. Редкий экземпляр болотной породы тянул и манил его к себе, как магнит; болезненное опасение, что петушок окончательно и уже навсегда исчезнет, сменилось постепенно странной уверенностью, что этого не случится. Поглощенный одним желанием, настойчиво и страстно ослепившим его до такой степени, что все движения, впечатления и мысли вертелись на оси бессознательного, близкого к голому инстинкту животных, Тушин передвигал лодку от островка к островку, замирал, отыскивал глазами неуловимого петушка, прицеливался, то опуская ружье без выстрела, если птица срывалась, то стреляя; чем дальше, тем торопливее, без выдержки, нажимал он спуск, почти уверенный, что даст промах. Этого с ним не было никогда. Всего выстрелил он шесть раз. Петушок как бы вел его, неуязвимый, к известной одному ему цели; все это преследование принимало оттенок сновидения. «Гнездо, где-нибудь есть гнездо,— без устали гребя веслом, думал Тушин,— уводит от гнезда он, только и всего». Но против воли жуткое недоумение овладело им; сердито и презрительно рассмеявшись, вложил он свежие два заряда и погнал лодку.

Он увидел его еще раз, на более далеком, чем прежде, расстоянии, подобного брошенной на зеленое сукно червонной монете, и, вне себя, разрядил оба ствола, хотя чувствовал, что дистанция велика. Некоторое время за дымом нельзя было ничего различить. «Попал, что ли? — сказал себе Тушин.— Кажется, не взлетел». Однако, подъехав к траве, где видел птицу,

он не нашел ничего, кроме следов, похожих на то, как если бы по песку тыкали кисточкой. «Ушел, а должен быть неподалеку. Да все равно я найду».

После этого прошел значительный промежуток времени, когда лодка с взволнованным и усталым человеком на ней огибала малые и большие озерка, тыкаясь в болотную тину заливов, обшаривая острова, проливы и мели. Уже вечерней сыростью и прохладой дышала вода, забытое человеком время вдруг показало призрачную сущность свою, начав существовать снова лишь с того момента, когда Тушин посмотрел на солнце и вынул часы. Солнце, в высоте сажени над горизонтом, бросало грустный и низкий свет, на часах было девять. «Возвращаться надо,— без желания подумал Тушин.— Сегодня Лиза и я уедем, и все будет по-новому». Устало и бледно текли мысли его о женщине, он возвращался к ним насильно, без трепета и нежной тоски. Озера, безлюдные тростниковые заросли, дышащее печалью вечернее небо, розовый отсвет водяной глади, полной затопленных облаков, и одиночество кружили голову Тушина неслышной, как мысленно воспроизводимый мотив, заунывной песней. Снова потянуло его к петушку стремление, близкое страданию и нежному гневу; принимаясь за поиски, он был бесповоротно уверен, что встретит еще раз странную птицу, и, отдохнув, поплыл далее.

В течение часа Тушин безрезультатно напрягал мускулы и глаза; он подвигался теперь в позеленевшей гнилой воде, высыхающей к концу лета в трудно проходимые болота и топи. Лодка шла медленно, расплескивая сплошную гущу водорослей. Вдруг Тушин поднял весло и окаменел.

На желтой и плоской, вытоптанной дикими гусями кочке стоял петушок. Внезапное появление человека на расстоянии трех-четырех шагов, видимо, поразило и птицу; неподвижно, вытянув голову с блестящими черными глазами, стояло маленькое золотое видение, смотря на охотника. Тушин видел изгиб каждого пера, коричневую перепонку ног, маленький желтый нарост у клюва. Это продолжалось мгновение. Не отводя глаз, Тушин прицелился, но внезапное представление о крови, смешанной с грязью, удержало его,— выстрел на таком близком расстоянии дал бы лишь обезображенный трупик. «Ну, спасся»,— сказал, не двигаясь, Тушин. Чудесная окраска перьев показалась ему теперь еще

прекраснее и заманчивее. «Золотой, совсем золотой,— думал он.— Ну, заслужил жизнь, живи».

Петушок, видя, что страхи его напрасны, опомнился, но счел за лучшее, однако, взлететь и, вскрикнув, поднялся. Казалось, целый рой искр посыпался от него. Не удержавшись, Тушин вскинул ружье, курок дал осечку — птица была уже вне выстрела.

С сильно бьющимся сердцем Тушин, стукнув прикладом о дно лодки, смотрел вслед петушку. Он взлетел над вечерней, усеянной кувшинками, красной водой болот, ослепительно развернул крылья и, быстро уменьшаясь, словно закат растоплял его, исчез светлой точкой, улыбающейся ямочкой воздуха, таинственный и простой, как все живое, пленяющее сердца теплым обманом, а может быть, и настоящим зовом, в ответ которому «куда?» спрашивает человек.

Изнемогая от усталости, Тушин начал соображать, успеет ли он возвратиться. «Нет, нечего и думать»,— сказал он, осматриваясь. Незнакомые места окружали его; темнело; пятнадцать — двадцать верст путаного водяного пути невозможно было бы одолеть даже к утру. Пристав к сухой части берега, Тушин повесил на прут куста котелок, достал хлеб, крупу, мясо и стал разводить костер. Внезапное соображение, что Лиза уложилась, ждала его и теперь в тревоге, резнуло Тушина. Он сморщился, решил на рассвете ехать и лег возле огня, голодный, как вернувшийся с работы поденщик, усталый и сонный.

В темноте, где-то за линией отбрасываемого костром света, сунув клюв в ил, беспокойно кричала выпь. Пахло водой, дымом и лиственным перегноем. Тушин повел мысленный разговор с Лизой. Все время до последней с ней встречи было у него такое чувство, как будто в крепко сжатой руке его лежит рука маленькая, пожатьем отвечая пожатью и бережно, тихонько освобождаясь.

X

Видя, что Тушин удаляется, Рылеев хотел догнать и остановить его, но, бросившись вслед и сделав пять-шесть шагов, остановился... Из этого не могло выйти ничего, кроме того, что, положив обернувшемуся Тушину на плечо руку, Рылеев вздохнул бы с исказив-

шимся лицом несколько раз, а Тушину стало бы ясно, как больно и тяжело приезжему.

Рылеев подошел к окну — в минуты сильного волнения он видел всегда плохо и неясно. Зеленый за окошком туман стоял перед его глазами, и вместе с тем вдруг почувствовал он, что начинает смотреть на себя со стороны, третьим лицом. Признание Тушина, а главное, то, что в тяжелом положении Рылеева не могло быть уже ничего горше, как выслушать это признание от того самого человека, ради которого изменила ему женщина,— произвело на него своеобразное, отрезвляющее, пристыдившее его действие. Болезненный стыд этот — стыд за то, что на него, Рылеева, смотрят уже как на лицо постороннее и такое отношение он опровергнуть не в силах,— так хлестко и сильно проник в Рылеева, что он, как от удара по лицу, весь вспыхнул и замер, и даже потускнело его чувство к Лизе: менее желанной и близкой на мгновение стала ему она.

«Ведь он ни разу не спросил, кто я,— вспомнил Рылеев.— Он знал уже, а я и не догадался, да и как догадаться — никому в голову не придет».

— Я уеду! — вслух сказал, успокаиваясь, Рылеев.— Уеду сейчас, вот теперь. Фу-ты, боже мой! — почти вскрикнул он, припоминая отчетливо разговор с Тушиным, и, снова, затосковав, покраснел, как мальчик. Одно еще интересовало его, это — как и когда Лиза познакомилась с Тушиным? «Когда — не все ли равно, а как?..» Он представил внимательно ищущее лицо женщины, а рядом с ним — так же настойчиво обшаривающее глазами человеческие углы лицо мужчины и вспомнил, что почти у всех когда-либо виденных им людей было в слабой или сильной степени такое выражение лиц, словно человек про себя думал: «Да, я говорю с тобой, но ты мне не нужна (или не нужен), а вот постой, я сейчас встречу...»

«Искали, сошлись и успокоились,— продолжал размышлять Рылеев.— Вначале всего этого был, вероятно, разговор о погоде и местных новостях, а там глаза перекинулись чем-то таким, от чего хочется вздрогнуть,— и готово».

Придав лицу сонное и равнодушное выражение, Рылеев вышел из куреня.

Вчерашний мужик так же сидел на лавочке, упираясь в нее руками, словно у него заболел живот. Рылеев сказал:

— Выспался, отдохнул. Как бы мне уехать отсюда? Нет ли у тебя лошади?

— Вот беда,— хихикнул мужик,— лошадь ноне захромала: ездил по дрова, подковать лень было, на колдобине-то ногу зашибла кобылка... А чего лучше вам с плотиком?

— С плотиком? — вспомнив слова Тушина, сказал Рылеев.— Ну, а как?

— А по речке. Дровяник заночевал у меня, с плотиком едет. Плотик, что говорить, немудрящий, сухостойный, а троих подымет, да вас двое всего и будет. По речке тут к полдню, а то и раньше, поспеете.

— Мне все равно,— сказал Рылеев.— А где этот человек?

Куренщик оглянулся.

— В избе обувается... Да вот он, багор несет.

Маленький, деловитого и сухого вида старик, в натуго подпоясанном азяме, лаптях и обычной для местных крестьян татарской, на вате, шапке, тащил за конец шест. За поясом мужика болтался топор.

— А что, Бурмакин,— сказал куренщик,— пассажир тебе есть. Свезешь, поди,— вчера-то говорили.

— Давай,— бодро ответил, прищурившись, крестьянин.— Куды ни шло, не утопнем.

— Мне в село надо, на станцию,— сказал Рылеев.

— Туды и еду. Айда! — Старик, замедлив несколько шаг, чтобы выслушать и ответить, продолжал быстро идти к реке.

— Ступайте, свезет,— сказал куренщик Рылееву.— Езжайте благополучно.

Старик, бросив вперед себя шест, прыгнул на середину плотика, Рылеев осторожно прошел к нему, замочил ноги и сел по-турецки.

— Разгонистая речишка, бурливая,— сказал, смеясь похожим на кашель смешком, старик.— Не бойтесь.

— Чего бояться,— искренне ответил Рылеев,— бояться нечего.

Старик, проворно колупая пальцами, отвязал причал, снял шапку, перекрестился на заблестевший восток и, подбежав к рулю, сильно двинул им к берегу. Плот тотчас, качнувшись, отошел и поплыл с быстротою идущего скорым шагом человека. Река, шириной не более десяти сажен, с плота показалась Рылееву шире и глубже. Берега, обрывистые, с вылезающими из подмоин корнями, плыли назад. Рылеев оглянулся,

испытывая от необычайного способа путешествия род смешливого внутреннего неудобства и какого-то полудетского ожидания: что будет дальше? Старик, щуря рысьи с кисточками в бровях глаза, стоял лицом по течению; согнувшись, расставив ноги и поводя рулем, он сильно напоминал елочного деда.

Ивняк, среди которого, начиная от куреня, текла речка, кончился. Течение усиливалось. Тем временем утренний свет, озарив небо и землю, ударил по воде и прильнул к ней. Мгновенно преображенное, изменилось серенькое лесное утро.

Красная, радостная вода окружала убегающий плот; оттенки ее в светлой чистоте воздуха горели зеленым и розовым. Все получило вдруг свежесть и чистоту, выпуклость и неяркий, полный мирной улыбки блеск. Гарь, как и ивняк, кончилась, уступив место пышной заросли берегов. Дикий в цвету шиповник, мальвы, высокие лиловые колокольчики; теснясь среди белых, как молоко, тонких березок, обросли кручи; кое-где, зеленея у воды, папоротники отражались в глубине стрежей переливчатой цветной дрожью. Бревна, на которых сидел Рылеев, блестели. Беспричинно весело стало ему. Он щурился, смотря, как играет рыба, гоняясь за приседающей на воду стрекозой, и внутренне подтянулся. Веселое насилие совершалось над ним, словно в мрачную монашескую трапезу вбежала молоденькая девица, пугаясь, не выгонят ли ее, но низко склонились над тарелками с постной кашей черные головы, ухмыляясь в усы... И Рылеев немного ожил.

Шиповник тянулся по склонам береговых зазубрин, а дальше, у подножия невысоких, стеснивших реку отвесов розового и белого известняка цвета эти переходили один в другой бледными, как бы полинявшими выступами.

«Хорошо, что я поехал на плотике,— думал Рылеев.— Вот я несчастен, а смотрю с удовольствием вокруг и так бы ехал еще долго. Да несчастен ли я? — сказал он, подумав.— Что же — жизнь для меня кончилась, что ли? Отлегло на душе, поэтому так и рассуждаешь,— возразил он сам себе.— А потом что? Но вернувшаяся и осторожно укрепляющаяся в душе бодрость направила его мысли в сторону самозащиты. «Я не тряпка, а только убивающий сам себя человек. За всю жизнь я не пережил столько, сколько за эту неделю. Другую буду любить. Пройдет все. Другой я; спасибо тебе,

Лиза». Чрезвычайно отчетливо припомнил он библиотеку и себя в ней, работающего без устали ради будущего. Все люди, посещавшие библиотеку, вспомнились ему с книжкой под мышкой: Гоголев, барышни, гимназистки, дама с флюсом, небритый пожиратель романов. И все-таки тень жизни осеняет его, подумал Рылеев, а многих ли осеняет она? И жизнь представилась ему такой, какая она есть: чудесная, полная неожиданностей, а вместе с тем — грубая и голая правда о борьбе, скуке и смерти,—кто чего хочет. Он не знал еще, что надвое должен жить человек, что для упорствующих жизнь-женщина стыдится ходить в черном теле; неряха муж видит жену по утрам растерзанной, нечесаной, и, мелочь за мелочью, проходит любовь. У жизни своя правда, у человека — своя, и надо соединить их. «Я знаю...— сказал Рылеев,— знаю»,— и не мог сам себе выяснить, что знает и как. Это было знание, невыразимое словами и мыслью, новые глаза, полнота человеческих желаний. «Напишу или приеду»,— повторил слова Лизы Рылеев и не поверил словам: слишком резко стояло перед ним серьезное лицо Тушина. «Подожду три дня и уеду»,— сказал Рылеев. Снова захотелось ему женской ласки и нежности. «Другую буду любить»,— мстительно прошептал он. Злые слезы подступили к его горлу. Он поборол их и встал.

— Когда приедем? — спросил Рылеев Бурмакина.

— А приедем,— сказал старик,— пошто торопиться, в самый раз попадем.

— Ты почему на плотике едешь?

— Я от хозяина. Вишь, плоты снесло; после дождя это, так бревна засекло по хрящам, застряли то есть, да, видно, снесло опять,— чистая река-то!

Рылеев посмотрел вперед. Река стала шире и ленивее, по берегам тянулся теперь смешанный густой лес. «Нет, нет,— сказал он себе, одолевая последние, уже слабые приступы возмущения и тоски,— так было, значит, так хорошо, ты зрячий, теперь живи и смотри в оба».

XI

Тушин вошел в сени, быстро отворил дверь и осмотрелся, улыбающимися глазами ища Лизу.

— Лиза! — позвал Тушин, прошел к столу и вправо,

где стояла кровать, увидел девушку. Одетая, прикрыв плечи и голову тонким серым платком, Лиза лежала, согнувшись, лицом к стене. Улыбаясь, приблизился к ней на цыпочках Тушин и, опустив голову, прислушался. Спокойное, ровное дыхание спящей женщины заставило его улыбнуться еще раз. Поколебавшись, он уперся ладонью в плечо девушки, поцеловал Лизу в розовый от сна висок и сказал: — Проснись, это я.

Лиза медленно зашевелилась, вздохнула и, открыв глаза, села, проводя по лицу руками. Сонный, еще блестящий сквозь пальцы взгляд ее прояснился, осветив заспанное лицо ровной улыбкой.

— Который час, Миша? — спросила девушка.

— Девять,— сказал Тушин.— Я опоздал на сутки. Ты сердишься?

Лиза тряхнула головой и села, кутаясь в платок, у окна, смотря на улицу. Минуту спустя лицо ее, усталое и внимательное, обернулось к Тушину.

— Я рада, что ты жив и здоров, Миша,— сказала она.— Так что не сержусь я, благодарю тебя за то, что ты цел. Я не спала ночь. Мне казалось, что ты утонул, простудился, умер, что был какой-то несчастный случай.

— Я виноват,— сказал Тушин, беря ее теплые руки и целуя их,— будь милостива. Я готов теперь. Если хочешь, можно ехать сегодня.

Лиза нагнулась и поцеловала его в голову.

— Чем это пахнет от тебя? Ах, знаю. Смолой, порохом и травой. Расскажи, что ты делал и почему опоздал.

— Ах, Лиза,— нетерпеливо сказал Тушин,— зачем спрашивать? Соврать недолго: «Заблудился» — и делу конец. Я был сам собою последний раз в этих местах, делал то, что делал всегда. Я не принял в расчет, что ты можешь подумать, будто со мной несчастье,— в этом я виноват.

— Я не упрекаю,— слегка побледнев, возразила Лиза. Некоторое время она молча смотрела на него, тихонько жмурясь.— Миша, дорогой мой, мы сегодня видимся последний раз. Мы расстанемся. Постой, не волнуйся. Сядь, дай руку и выслушай.

Тушин, быстро и резко встав, вырвал руку. Тоскливое, глухое упорство поднялось в нем. Теперь, хотя бы в тысячу раз сильнее кружилась от гнева и раненой любви голова, он был способен сидеть молча битый

час, слушая, что ему скажут, кивая и холодно соглашаясь.

— Не мне оспаривать добычу Рылеева,— усмехнулся дрожащим ртом Тушин.— Этой чести он не дождется.

— Зачем оскорбления? — покачав головой, грустно сказала Лиза.— Дело ведь в нас с тобой, а не в нем. Я люблю тебя, но мы разойдемся. Об этом сегодня ночью я думала. Миша, вчера ты не подумал обо мне в тот момент, когда более всего нужна была мне поддержка. Я не наказываю тебя — ты ведь не мальчик, но ясно вижу, что взяли мы друг от друга все, что могли. Ты не друг мне. У каждой женщины, милый, есть полоса горячки, любви в цветах, полной огня, смеха и слез; для одних, самых несчастливых из нас, это заключается иногда в одном только вспоминаемом всю жизнь взгляде или прикосновении. Но мне было дано много. Это я ценю и благодарю тебя, более же не дашь ты мне ничего. Моим прошлым с тобою я проживу всю жизнь, а то, что остается у меня еще от способности любить и ценить чужую любовь, отдам ему. Он заслужил это. Я любила и люблю тебя за то, что в любви ты нежен и горд, чист душой, горяч и стремителен, красив и силен, за то, что жизнь твоя трудна и опасна и никто не помогал в ней тебе. Жить вместе мне и тебе нельзя: слишком мы душою противоречивы и разноцветны. Не сердись.

Торопливо и сбивчиво, тем тоном, каким взволнованная мать утешает ребенка, произнесла Лиза эти слова, встала и обняла Тушина. Нежной, но твердой силой повеяло на него от этой последней ласки. Расстроенный, он встал сам, отвел Лизины руки и посмотрел ей в лицо. Невыразимым прощальным очарованием горели черты женщины. И понял Тушин, что после сказанного нет места возмущению, так как нет лжи...

— Прощай же,— пересиливая боль, слезы и резкие движения страсти, серьезно сказал он,— не забывай. В память твою я буду здесь всегда, здесь и умру. На просеке, в зеленых кустах еще движется и дышит твоя тень — тень милая и прекрасная. Я скоро приду в то место, посижу, вспомню тебя.

— Долго еще ты будешь со мной.— Лиза, положив голову на плечо Тушина, закрыла глаза и улыбнулась.— До тех пор, пока ты этого хочешь. Я почувствую, когда ты перестанешь меня любить. И ты почувствуешь. В тот

момент среди смеха станет серьезным твое лицо, за делом ты испытаешь отвращение к делу, среди ночи — проснешься и, как живую, меня увидишь, я буду смотреть мимо тебя.

— Пусть никогда не будет этого,— сказал Тушин.— Прощай. Лучше уйти мне — легче.

— Прощай.

Они обнялись последний раз, и от этого полного тоски и силы объятия исчезли сумерки. Закрыв глаза, в немом, обессиливающем поцелуе Лиза и Тушин увидели себя еще раз в светлом от берез и солнца лесном затишье, шмель жужжал низкой струной у их ног, а заунывный крик сойки казался веселым.

Тушин нежно оттолкнул Лизу и, не обернувшись, вышел; она же, закрыв глаза, сделала рукой движение, как бы собираясь перекрестить уходящего, затем опустила руку, услышала, как с обычным, негромким стуком закрылась дверь, и осталась одна. Некоторое время ей казалось, что он еще здесь, а она продолжает уговаривать и утешать его; но воспоминание о том, как Тушин принял разрыв, заставило ее почувствовать всей силой окружающей тишины, что его нет возле нее не на минуту, не на день, а навсегда.

Глухое чувство сопротивления уводило Лизу от Тушина; чему противилась она, то было неистребимо, так как неистребимым определяется человек. Он ушел, и любовь ее к нему стала тише, терпеливее; она думала о нем столько же, сколько и о Рылееве; думала о Тушине сердцем, о Рылееве — пока еще братским уголком души, но пристально и бесповоротно.

Тушин, выйдя от Лизы, шел, встряхивая головой и морщась, к реке. У лавки, с висящими на дверях ременными кнутами, цветными платками и картинками лубочно-божественного содержания, серых от муки и крупы, сидел лавочник. Свирепый, жирный кот лежал у его ног; другой кот, поменьше, гоняясь у крыльца за мухами, прыгал козлом. Лавочник узнал Тушина, говоря:

— Михаил Васильевич, заверните, чайку стаканчик.

Тушин остановился. Простая фраза о стакане чайку, которого ему вовсе не хотелось, нарушив очарование горя, прозвучала жестоко и наивно, но он уцепился за нее, так как можно было говорить и выслушивать еще подобные фразы — и не думать. Лавочник, страст-

ный рыболов, знакомый Тушину по встречам на озере, смотрел сыто и бойко, улыбаясь.

— Сколько раз в день чай пьете? — сказал Тушин, подходя.— Вы, торговые мастера.

— Жара-с. Лето-с.— Лавочник хлопнул себя по коленям.— Всего-навсего собираюсь шестой раз чайку испить, это по-божески. Да вы что, больны, никак?

— Я здоров. Почему? — спросил Тушин.— Всегда здоров, у меня и зубы никогда не болят.

— Глаза у вас нехорошие.— Лавочник пихнул кота ногой и встал.— В теплушку пожалуйте. Щучий жор пошел, Михаил Васильевич; жерлицы готовлю, блесны. А Ванька мой ястребенка словил вчера; в клетку чижову посадили, да велика клетка-то... мала, значит.

— Покажите,— рассеянно сказал Тушин.

— В-вот он, вор-куроцап, жулик, да еще мал, подлеток.

На прилавке, возле банок с вареньем, оберточной бумаги и свечных пачек, в нечистой маленькой клетке сидел «куроцап». Голова птицы, грозно вытянутая к склонившемуся лицу Тушина, неподвижно блестела глазом. Ястребенок, дыша часто, как в лихорадке, лежал боком и грудью на полу клетки; сломанное в крыле перо сиротливо торчало вверх.

— Зашиб малость,— сказал лавочник.— Лечит теперь Ванька-то. Отдышался, жулик. Есть стал.

— Поправится,— сказал Тушин.

— И то. Поправится, полетит, сыт будет.

— Пустишь?

— Ванька пустить хочет, мне-то што — его игрушка. А ты что, Михаил Васильевич, не в лице ходишь?

— Голова болит,— сказал Тушин.— Это ничего, пустяки. Ну-ка, закурим да выпьем чайку, что ли.

Разговаривая, они прошли в теплушку, а на место хозяина вышел торговать сын его, Ванька, сел к прилавку, вычистил пальцем нос и вздремнул.

XII

Парни, подростки и бородатые мужики играли в орлянку. Игроки всё прибывали и прибывали. Празднично по случаю воскресенья одетая молодежь, в расшитых и вышитых любовницами цветных ярких рубахах, подходила парами, кучками и по одному. Блестело кое-где

золото. Человек, проигравший его, наполнял круг гвалтом, плевался и махал руками.

К игрокам подошел Звонкий. Он был навеселе, грустен и неуклюж. Пятак, возвращаясь с неба, шлепнулся у его ног решеткой вверх. Орлянщик, горестно крутя головой, стал платить деньги.

— Метну и я,— сказал Звонкий.— Ставь, деревня,— свои приехали. Я, братцы, гуляю.— Ухмыляясь, вытащил он пятак и, отступив, размахнулся. Тотчас к ногам его посыпались гривенники, четвертаки, полтинники и рубли. Пьяный размах покинул на мгновение Звонкого. Жалея погибающую без молебнов душу Петрухи, остановился Звонкий с занесенной рукой, как бы спрашивая себя — метнуть или нет, тряхнул головой и «стукнул». Монета, черкнув воздух, при общем гаме и шуме легла «решкой».

Пошатываясь и разводя руками, отдал мужик деньги. Парень сказал:

— Стукай еще.

Звонкий посмотрел исподлобья вокруг. Множество глаз было устремлено на его руки с блестящими меж пальцев полтинниками и гривенниками. Ему стало скучно и страшно.

— Эка, нашли дурака, отдай им вот ни за что.— Медленно и задумчиво пошел он из круга.

Он не прошел десяти шагов, как кто-то обнял его сзади, дыша сивухой.

— Изобидели человека, жулье,— сказал смутно знакомый мужику голос,— а за что? Арестанты, одно слово.

Звонкий остановился, обернулся и, ухватив двумя пальцами подошедшего за бороду, умильно расцвел всем своим широченным лицом, увидев земляка; земляк был сапожник.

— Ах, милый, друг ты мне,— любовно сказал мужик,— изобидели меня, Вася. За что? Бог судья.

— Известно, жулики,— повторил сапожник, быстро осматривая Звонкого.— Им бы дорваться. Обрадовались.

— Деньги пропиваю,— мрачно сказал Звонкий.— Два стаканчика-то и выпить всего хотел. Упокой, господи, раба твоего Петра Голикова. Угости меня, Вася. Выпьем.

— Ко мне пойдем — что ветер ловить? Четверть есть.— Сапожник взял мужика под руку, но Звонкий упирался, припадая головой к плечу земляка и добро-

душно смеясь.— Да шел бы ты,— сказал сапожник,— чего околачиваться?

— Петрухи деньги,— сказал вдруг Звонкий, выпрямляясь и тараща глаза.— Это как понимать?

— Да уж так и понимать надо,— оглядываясь, вздохнул сапожник.— Деньги не твои.

— Похоронили Петруху, не видать мне его. Помер Петруха — вот тебе и весь сказ.

— Это уж как быть.

— Ежели свои,— пробормотал Звонкий, пытаясь набить трубку,— а то ведь Петрухи. Это ты, Вася, пойми.

— Я все понимаю,— сказал сапожник.— Ты, Конскентин, правильно.

— Правильно?

— В точку.

— Это деньги, милый... такие, не наши деньги.

— Бог с ними.

— Известно, Вася, Петрушка, значит, просил, как бог свят. А попа дома не было — косит он, батька-то, понял?

— Все знаю,— переминаясь от нетерпения, сказал сапожник.

— Я их попу отдам.

— Отдай, мне что?

— Так отдать?

— Беспременно.

— Нет, Вася, ты рассуди: я их отдать должен?

— Верно.

Звонкий умолк. Того, чего бессознательно ждал он,— легкого искушения, не было в словах земляка, но поддакивание рассердило его.

— Пропью,— сказал Звонкий.— Я, брат, человек пропащий.

Сапожник не ответил. Осторожная и жестокая мудрость подсказывала ему, что теперь следует как бы равнодушно молчать. Оттого ли, что пристально смотрел на него сапожник, или оттого, что сапожник был терпелив и не спорил,— Звонкий почувствовал желание куда-то идти.

— Пойду я,— сказал Звонкий.— Пропал я, и ты пропал, Вася. Прощай, когда...

— Иди спать, зимогор. Право, под забором уснешь ведь, сапоги снимут.

— Пускай.— Звонкий вдруг устремился, заламывая

шапку, в переулок. Сапожник, догнав его, схватил за плечи, толкая назад.— Иди к лешему! — сказал Звонкий.— Не тронь, я пойду.

— Да где тебе, дура, ходить, непристроенный ты чурбан? Иди спать!

— А... пойду,— сказал, вырываясь, упрямо и зло мужик.— Не лезь.

С минуту они нелепо и бестолково боролись. Сапожник, отступив, плюнул и выругался.

— Да дьявол с тобой,— закричал он,— тебе, дураку, добра хотят! Тьфу! Залил глотку, немочь лесная, ломается!

Он повернулся и, оглядываясь, скрылся за углом. Звонкий же, забыв мгновенно о земляке, шел, не зная куда. Высокая, в платке, женщина попалась ему навстречу; мужик поднял голову и узнал барышню. На ней было другое платье, иным выглядело осунувшееся лицо, но Звонкий узнал и обрадовался так, что выступили на глазах пьяные слезы. Расставив бесцеремонно руки и ухмыляясь, мужик сделал вид, что ловит побледневшую от испуга Лизу, и сдернул шапку.

В переулке никого не было. Лиза, подняв руку, хотела пройти, Звонкий сказал нараспев:

— В лесу да с милым дружочка-ам сид-дела я, млада. Проходите без опаски, а ежели не так, то просим прощенья.

Лицо его было комично и добродушно. Рыжий вихор петушьим гребнем висел над ухом. Хмурясь, девушка прошла мимо Звонкого. Он долго смотрел ей вслед, потом, надев шапку, сказал:

— Барыня или баба, а бухгалтерия первый сорт одинакова. Господь с тобой, и иди себе, я не трону, нет; мужик я, одно слово, правильный.

Остановившись под окном, сквозь стекло которого смутно белела пара детских лиц, мужик продолжал, размахивая у носа пальцем:

— Господа, значит, дело не наше. Это верно.

От господ мысль его перешла к легкой и чистой господской жизни. О жизни этой не столько он думал, сколько, размахнув полы азяма, стоял над нею. Расставил ноги и вздыхал, но от этого ничего, кроме ощущения бесформенно светлого пятна, находящегося неизвестно где, не укладывалось в голове Звонкого. Сев на лавочку и подперев щеку рукой, мужик затянул песню:

«Скажи мне, звездочка злата-ая,
Зачем печально так горишь?
Король, король, о чем вздыха-ешь,
Со страхом р-речи гово-ришь?»

Солнце закатывалось. Лучи его, ломаясь на гребне крыши, били в глаза расплесканным, нестерпимым блеском и гасли. Одолев дремоту, мужик встал, намереваясь идти в кабак. Шестьдесят непропитых рублей держали его на вожжах; думал он о Петрухе лукаво, грустно и благодарно.

Встав, мужик сунул руку в карман, где лежали деньги, замигал, медленно вынул руку и сел снова. Тоска, злоба и хмель кружили ему голову. Еще надеясь, но испуганный и павший духом, он стал рыться в другом кармане, выворачивая его так, что трещали швы; медные деньги рассыпались у его ног; кисета же с запрятанными в табак бумажками как не бывало.

— Ловко,— сказал Звонкий; протрезвев, склонился он головой на руки и отчаянно зарыдал.

Немного спустя видел мужика человек, очень похожий на сапожника. Человек этот, заметив Звонкого, прошел другой стороной сломанного плетня, руки в карманы; Звонкий же, не видя и не замечая ничего, крепко зажав в кулаке подобранные пятаки, шел в трактир. Другим переулком, задами и огородами, человек, похожий на сапожника, шел тоже в трактир.

XIII

Рылеев спал шестнадцать часов. Проснувшись, он опустил одну ногу, держа за ушко сапог. Собственные движения казались ему лишенными всякого смысла; в отдохнувших за ночь душе и теле пропал бодрый инстинкт жизни, ее сложный секрет, позыв к движению.

«Ну вот, все испорчено,— сказал себе Рылеев,— испорчена жизнь. Оденусь, напьюсь чаю и — на вокзал». Сердце его сжалось. Тряхнув головой, он встал и подошел к зеркалу, ожидая увидеть человека с ясно выраженными в лице отчаяньем и унынием, но, к своему удивлению, увидел все того же, хорошо знакомого двойника, с прямым суховатым взглядом, белым лицом и крепкой, загоревшей слегка шеей. «Как лжет лицо,— сказал он,— а вернее всего — что показывает оно меня таким, какой я всегда». Помолчав мысленно, Рылеев

отошел к вешалке, оделся и позвонил. Коридорный, человек с необыкновенно густыми бровями и уныло-волчьим лицом, стал на пороге, спрашивая, что нужно.

— Самовар дайте, булку,— сказал Рылеев.

И в тот же момент из-за спины полового, мелькнув в полутьме коридора светлым платьем, вошла, взволнованно улыбаясь, Лиза.

Это было так сильно и неожиданно, что Рылеев, подняв руку, негромко вскрикнул. Опахнув комнату из окна, в раскрытую дверь метнулся сквозняк; занавеска, полоща, взвилась и опала, а коридорный, отступив назад, тупо мигал. Рылеев, не отводя глаз от Лизы, закрыл дверь. Глухой смех вырвался из его груди; потрясенный и безудержно счастливый, он продолжал нервно смеяться, приближаясь к женщине.

— Я вернулась,— сказала Лиза,— успокойтесь.

Взгляды их, полные тяжелых воспоминаний, светились улыбкой сквозь слезы.

— Лизочка,— сказал Рылеев,— что вы со мною делаете?

Она не ответила и стояла, держась за поля шляпы, как будто хотела пригнуть их, закрыть щеки. Момент, когда Рылеев хотел и мог бы встретить девушку иначе, дав волю чувствам — обнять и поцеловать,— прошел, и радость осталась скованной, но полной предчувствий недалекой и сложной близости.

— Ко мне? — отрывисто, не переставая улыбаться, спросил Рылеев.

Лиза наклонила голову; мягко-испытующий взгляд ее осветился глубокой уверенностью в том, что Рылеев любит ее и ждал.

— Так будем жить,— сказал Рылеев.— Уедем отсюда.

— Что же мы, как чужие? — с упреком произнесла Лиза.— Вот, я первая...

Восхищенный, почувствовал Рылеев на своем плече ее руку и голову. Связанность оставила его, он обнял и поцеловал Лизу в висок, но чувствовал, что все это еще не настоящее, что им нужно снова, помогая любви, привыкнуть и сродниться друг с другом. Ревность проснулась в нем далеким, глухим эхом, но все острое в ревности перегорело, было затоптано радостью тревожного возвращения.

— Сядем,— выпустив теплый стан девушки, сказал Рылеев,— мы ведь теперь дома.

Лиза, смеясь, развела руками:

— Вы все такой же. Вы глубоко семейный человек, Алексей. У вас плохой номер.

— Почему такой же? Я — другой,— серьезно и оживленно сказал Рылеев.— Как странно мы встретились; или это уже свойство души человеческой — быть свободной и звучной только наедине с собой. Прежние Рылеев и Лиза умерли, другие сидят здесь, это первая наша встреча.

— Счастливы ли вы со мной... теперь? — спросила Лиза.

— Счастлив,— сказал Рылеев.— Да, я не кричу, не пою и не пляшу от радости, но это потому, что я еще не совсем ясно понимаю, что делается,— я в тумане. Нам нужно еще, Лиза, много слушать друг друга.

— Да. После.

— После, Лиза! — терзаясь тем, что говорит, не облегчая себя, вскричал Рылеев.— Я вас люблю, люблю радостно, страшно и хорошо. Будьте мне другом — я вам отдам жизнь.

— Милый,— сказала, волнуясь и подходя к Рылееву, Лиза,— не надо этих слов.— Она нагнулась к нему, шепча на ухо: — Я знаю, как ты будешь меня любить, ты — гадкий, но очень хороший, мой любимый, не мучь себя больше — сны кончились.

— Ах, Лиза, для меня все сон,— сказал Рылеев.— Я буду сердиться на тебя после, задним числом, сейчас я какой-то блаженный, вот...

Те слезы, что подступали к его горлу еще в библиотеке, при чтении Лизиного письма, вдруг, накипев и освободившись, стеснили дыхание. Отвернувшись, он дал им волю. И долго, страдая от того, что не может — от полноты ли жизни или от фантастических, хмурых теней ее — заплакать сама, смотрела красивая молодая женщина на склоненный по-детски затылок взрослого человека. Как женщине, ей это было приятно, как человеку — больно и совестно.

В поезде на Рылеева обращали внимание главным образом замужние пожилые дамы: он светился весь замкнутым, молодым трепетом.

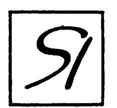
На остановке вошел плотный, с бакенбардами, господин. Лицо его показалось Рылееву удивительно приятным и симпатичным. И много появлялось еще

народа, старых и молодых, мужиков и господ, детей и прислуг. На всех их смотрел Рылеев — все были прекрасны и симпатичны. Отвернувшись, смотрел он в окно. Поезд шел лесом; за солнечной опушкой, у рельсов, теряя на расстоянии всю простоту и ясность отчетливых сплетений ветвей, синела таинственная, как всегда, даль, а торжественные лесистые холмы казались одушевленным пространством, ступенями к улыбке и гневу.

«Там Тушин»,— подумал Рылеев, задумался и вздохнул.

БАЛКОН

I



Я и мой друг Петлин вышли из дачного сада при свете цветных фонариков, развешанных по аллеям. Нас провожали хозяин и его сестры, две молодые девушки. Старшая, Лиза, спокойная, полная и сдержанная, остановилась у калитки и, как только мы раскланялись в последний раз, повернулась и ушла к дому, а младшая, прозванная «Козодой», выбежала на дорогу, держась за рукав Петлина; на белой кофточке темнела мечущаяся от быстрых движений коса девушки; все, что она сказала нам на прощание своим звонким, нетерпеливо срывающимся голосом, запомнилось мной в виде следующего:

— Неужели у вас не трепещет душа оттого, что затихшая ночь хороша? Я, если, знаете, выпью две рюмки, могу говорить стихами. А папа раскис. Вы бы у нас ночевать остались, где-то лягушки квакают.

Хозяин, служащий железной дороги, крикнув нам на прощанье веселым голосом радушного именинника: «Спокойной ночи», закрыл калитку; девушка Козодой, сказав: «Какие вы гадкие, мало сидели»,— умчалась на спокойный окрик старшей сестры, а мы с Петлиным, шагая по мягкой от пыли мостовой, оглянулись еще раз на живой, среди темных куп сада, цветной огонь, прибавили шагу и вышли на полевую дорогу, соединявшую дачный поселок Ключи с поселком Вишневка,

где оба мы, Петлин и я, жили на антресолях, в одной комнате.

Петлин шел с гитарой через плечо, инструментом, вызвавшим каких-нибудь час-два назад немало похвал моему другу: он недурно играл и пел. Летнее вечернее настроение подвыпивших и возбужденных праздничной суматохой людей еще держалось в душе. Петлин сказал:

— Как хорошо у них.

— Обыватели,— возразил я, стараясь отнестись скептически к тому, что мне всегда нравилось.— А в общем, ничего, занятно.

— Ты первокурсник,— сказал Петлин,— ничего ты не понимаешь. Пирог был хорош. Наливочка, приготовления мамаши, убийственно вкусная вещь. Женщины словоохотливы и кокетливы, чиновники эти, разрумянившись, чувствуют себя добрыми ребятами у себя дома, да и вообще все в высшей точке своего торжества. Какого же тебе рожна, братец? Может, это и глупо все, а я вот доволен.

Я не ответил. Петлин всегда увлекался всем, что попадало в тон его настроению, а летом он большей частью пребывал в том благодушном настроении, о котором мой знакомый выразился словами: «Солнышко пригревает». Ни возражать, ни поддакивать Петлину мне не хотелось, про себя я думал: а есть-таки жизнь высшего порядка, в жизни этой пирог с вязигой — то же, что секунда для вечности. Я не любил обывателей, мне казалось, что все должны быть пролетариями и постоянно соединяться.

— Ты первокурсник,— повторил Петлин, чиркая спичкой, отчего русая борода его, казалось, вспыхивала, осветив смирное и крепкое лицо,— я вот закурил папиросу и думаю: отчего это все не курят таких папирос? Разные люди разные папиросы курят, вот и все.

Он замолчал. Пленительно-ленивая, тихая ночь раскинулась над полями: в ней не было ни звезды, ни огней, приветливый мрак затоплял землю, хмельную от пахучей росы, невидимую и таинственную; глубокое молчание неба прислушивалось к живой тишине равнин. В канавах радостным, густым басом кричали лягушки; перебивающийся, торопливый концерт их звучал беспокойной деловой жадностью. В овсах, тоскливо надрываясь, дергач и еще какие-то птицы, с правильностью ударов маятника, бросали заглушенный травой, страстный, короткий крик — среднее между звоном и скри-

пом. Мысли, далекие действительности, дачной жизни, урокам и дешевым обедам, завладели мной, я думал о фантастических силуэтах деревьев, росших кучками близ дороги, о душе птиц, о свойствах темноты, делающей взрослого человека мистиком или суевером. «Строго научное мышление необходимо для человека общественного строя»,— сказал я про себя. Поднялся небольшой ветер, и капля росы, оброненная придорожным деревом, упала мне на руку.

— А знаешь, Григорий,— сказал Петлин настойчиво и серьезно,— если идти по этой меже влево, то через десять минут придешь в дачную деревушку Ясли. Пойдем туда.

— Зачем? — резонно спросил я.

— Спать не хочется. Может быть, где-нибудь в окнах есть свет. Споем, сыграем, познакомимся с какой-нибудь женщиной.

— А по шее нам не дадут?

— Чего ради? Ведь это вещь безобидная.

— Если у тебя романическое настроение,— внутреннее усмехнувшись, сказал я,— то иди один, а я пойду спать.

Петлин остановился и погладил меня по фуражке.

— Нет, я буду тебя просить,— беспокойно сказал он,— ты подумай, куда же молодому человеку, вроде тебя и меня, девать бессонное ночное время? Ведь в этом много прелести: если ты вспомнишь, что никто не поет под окнами дачных дам о любви, а они очень хотят этого, то согласишься. Выйди из рамок.

У моих рамок был плохой клей, но Петлин не знал этого. Я колебался, смущенный странностью предложения Петлина, смешившего меня, так как я заранее представлял все в комическом виде; но легкомысленное воображение вдруг показало мне, где-то у моих ног, вычитанную из романов венецианку: она стояла в выразительной позе, вздыхая и улыбаясь. Пустяков этих в соединении с двадцатью моими годами и шестью рюмками коньяка было довольно, чтобы я сделался стремительным, легковерным и храбрым.

— Что же, можно и понимать,— степенно сказал я. Петлин перескочил канаву, распугав забулькавших по воде лягушек, а я последовал за ним.

II

Подходя к Яслям, мы тщательно обсудили план действия. Я должен был относиться терпимо к возможным проявлениям неудовольствия со стороны будущих предметов наших интриг, не волноваться и следовать поведению Петлина, он же взял на себя инициативу разговоров и выступлений. За темными холмами полей, приближаясь, светились три-четыре огня; подойдя ближе, я различил за плетнем черный шест колодезного журавля, крыши и столбы огородов. Петлин, просунув меж жердей голову, нащупал веревочную у гвоздя завязку, и ворота, скрипучим циркулем черкнув дорогу, раскрылись. Неизвестно откуда взявшаяся собака злобно тявкнула у самых моих икр, я дал ей пинка и, сопровождаемый громким, раздражающим лаем, нагнал Петлина. Он шел, посматривая на окна, сонные деревенские избы тянулись кривой улицей под гору, в конце улицы блестел свет.

— Там начинаются дачи,— сказал Петлин, указывая рукой вперед.— Ясли примыкают к деревне со стороны реки. Мы еще перейдем мостик.

— Кто же будет она? — глубокомысленно спросил я.— Дар предчувствия изменяет мне. Чиновница ли с чулком, кормилица в кокошнике или шалая бабенка благородного звания, с которой нужно зевать, есть глазами и ухмыляться?

— Но ведь это все хорошо,— лениво ответил Петлин,— это забавно.

— А ведь ты женатый человек,— не удержавшись, заметил я,— скоро жена приедет.

Петлин опередил меня шага на два, помолчал и, обернувшись, тихо сказал:

— Не приедет. Мы ведь поссорились.

Дрянной настил мостика зашевелился под моими ногами. «Зачем он портит мне настроение, говоря, что поссорились,— думал я, попадая каблуками меж бревен,— вот эти неврастеники из самого веселого похождения выжмут грусть, а я человек цельный».

Мы стояли у дач. Редкие, через два-три дома, светились распахнутые настежь окна. Петлин, почувствовав в темноте мой вопросительный взгляд, сказал:

— А ну их! Пойдем дальше. Здесь меня что-то не тянет распоясываться.

Он взял гитару и тронул низко зазвеневшие струны.

Звук, напоминающий полусмех, полустон, разбежался во тьме, замер, а у окна над нашей головой появилась фигура в капоте, высунула голову и, почесав шею, скрылась.

— Пойдем в конец,— сердито сказал Петлин,— там в случае чего и удрать можно: поле.

Снова настроенный скептически, я хотел предложить ему возвратиться домой, но угадал чувством, что Петлин не совсем спокоен, и промолчал. Он хныкал и раза два вполголоса сказал про себя несколько отрывистых тихих слов. Мы шли молча. У последнего, в левой стороне дач, отдельно стоящего небольшого дома Петлин остановился, вздрогнул, закурил, и в трепетном свете спички я увидел, что он улыбается сердитой и грустной улыбкой, смотря вниз.

III

Я не успел опомниться, как Петлин, взяв несколько резких аккордов, подошел к дому почти вплотную. Над головой нашей висел простенький маленький балкон, в раскрытых по обеим сторонам его окнах виднелся освещенный потолок комнат, спинки стульев и медленно передвигающаяся в глубине тень человека. Незапертая балконная дверь глухо поскрипывала, ветер то прикрывал, то приотворял ее, как будто за ее темными стеклами стоял кто-то в раздумье, не решаясь ни выйти, ни отойти.

Зная, что прекрасная незнакомка (если она жила здесь), выйдя хотя бы для того, чтобы прогнать нас, увидит, без сомнения, и меня, я выпрямился, отставил ногу и неловко, с замирающим сердцем, усмехнулся. Все это казалось мне глупым, я не успел еще отдать себе отчета в своих ощущениях, как в двух шагах от меня раздался полный, взволнованный голос Петлина: он запел так сильно и хорошо, что я с изумлением посмотрел на его темный силуэт, не узнавая давно знакомую песню. Мне было немного стыдно, весело и приятно. Он никогда не пел так, и я чувствовал, что во всем этом есть нечто непонятное для меня.

Я слушал. Время от времени мне казалось неловким стоять, ничего не делая, и я, заложив руки в карманы, покачивал в такт головой или жевал стебелек. Возбужденное настроение Петлина передалось мне. Я чувство-

вал силу томления, овладевшую ночной равниной; плавный звон струн, ритм песни и дерзость нашего поведения привели меня в полный восторг. В эти минуты мне было особенно ясно, что я молод, завидую Петлину и очень хочу выбиться.

Петлин смолк на полуслове. Я вздрогнул и отступил назад. Дверь балкона открылась, и у решетки, облокотившись на нее, появилась неясная фигура женщины. Лица ее не было видно, и я мог представить его каким угодно — бледным, розовым, черноглазым, полным, тонким, веселым и грустным. Она вышла быстро, и я смутился; мне казалось, что вот именно теперь мы и оскандалились, так как нам нечего ни сказать, ни сделать.

Вы хорошенько вникните в это, в психологию неизвестной женщины, вызванной вами на балкон среди глухой ночи с помощью музыкальных уловок. Вы не знаете, молода она или стара, будет она с вами разговаривать или станет звать сторожа. Прибавьте к этому, что у вас бессмысленно-влюбчивое, нежное настроение, что вы неопытны в сердечных делах,— и тогда вам станет понятно, почему я укрылся за спиной Петлина. К моему удивлению, женщина эта заговорила так просто, что сразу потеряла в моих глазах весь загадочный ореол. Это были серьезные, простые слова:

— Я хочу спать.

— Нет,— сказал Петлин,— вы не думаете о тех, кто не спит и не может спать.

Я понял, что начать разговор при случайном знакомстве очень легко, стоит только говорить все, что придет в голову.

— Вы не одни,— тихо и, как мне показалось, с упреком произнесла женщина.

«Это бывалая особа,— раздраженно подумал я,— уже справляется».

— Я всегда один,— грустно сказал Петлин,— но это ведь все равно.

— Я одна и буду одна,— ответил балкон.— Вы пели хорошо, но я вам не верю.

— Верьте! — вскричал Петлин с такой тоской в голосе, что я усумнился, в уме ли оба эти человека, начинающие с первых же слов.

— Спроси же, как ее зовут,— шепнул я сзади,— неудобно.

Сверху раздался негромкий смех. В недоумении я

поднял голову, соображая, не над моими ли словами смеется неизвестная и, судя по голосу, молодая женщина. Мнительный по натуре, я скис, и настроение мое совершенно испортилось.

Наступило молчание. Женщина выпрямилась, отошла к двери, остановилась и, закрывая руками лицо, сказала:

— Вы даже не знаете моего имени и пришли. Прощайте. Спасибо за музыку, и спокойной ночи.

Петлин в сильном, непонятном для меня волнении бросился вперед, протянул руки и закричал:

— Тогда прощайте совсем, навсегда, я конченый человек,— спите.

Я отшатнулся. Гитара, брошенная Петлиным, пролетев мимо меня, с глухим звоном ударилась о землю, а он, не обращая на меня никакого внимания, бросился бежать со всех ног к полю и скрылся. Я остался стоять, ничего не понимая, струсивший и встревоженный, переводя взгляд с балкона в глухой мрак улицы. Подавленный происшедшим, я сделал несколько растерянных шагов в сторону поля, крича: «Петлин, ты что?» — как вдруг меня сзади с силой кто-то схватил за руку; я обернулся и увидел задыхавшуюся от поспешности женщину, она перебила меня, спрашивая нетерпеливо и быстро:

— Где он? Вы видели, куда он пошел?

Я успел лишь поднять руку, указывая направление, но ничего не сказал, так как женщина, бросив меня, проворно исчезла за поворотом дороги, и в тишине прозвучал мучительный, беспокойный крик взбалмошной женщины: «Постойте, остановитесь».

— Они с ума сошли,— сказал я, идя вслед степенными, большими шагами и вытирая вспотевший лоб,— вот сумасшедшая любовь с первого взгляда в темноте, когда одной хочется спать, другому петь, а третьему, то есть мне, кланяться и благодарить.

IV

Закричав наконец сам во все горло: «Слушайте, сударыня! Эй ты, Петлин!» — я подхватил гитару и побежал со всех ног в ту сторону, откуда из тишины сонного деревенского мрака слышался расстроенному моему воображению неслышный уже бег женщины.

Разгоряченный и вспотевший, я остановился только тогда, когда, устав звать и кричать, почувствовал настоящее озлобление против Петлина и неизвестной женщины. Сев в траву, я закурил дрожащими от усталости руками последнюю, разорванную папиросу; я пал духом. В этот момент мне были противны все истории, начиная от самых великих до повседневных шашней, я чувствовал, что в них кроется масса неожиданностей и неудобств, разрушающих спокойное течение душевной жизни. В то же время я до боли в висках ломал голову, пытаясь определить, что же произошло с Петлиным и почему необъяснимая стремительность женщины так волнует меня самого, заставляя думать о ней больше, чем мне хотелось.

Папироса потухла. Поднявшись на разбитых ногах, я сумрачно осмотрелся. Неподалеку, так что видны были отдельные дымные струи света, горел костер. Думая, что у огня мне будет легко узнать нужное направление к поселку Вишневка, то есть к дому, я подошел к костру и, остолбенев, ревниво расхохотался: в блеске потерянного среди черной польской ночи маленького огня сидели, обнявшись, Петлин и ненавистная женщина; он махал над ее лицом веткой, сгоняя комаров, слушал ее торопливый шепот и улыбался.

Мне было неловко подойти к ним. Чудесная тайна интересного и быстрого знакомства осталась для меня тайной до следующего утра, когда, встав поздно, так как не сразу попал домой, я увидел Петлина. Он сидел над стаканом чая, звенел ложечкой и испытующе весело смотрел на меня.

— Григорий,— сказал он,— ты не удивляйся, что я тебя покинул. Это моя жена, мы с ней поссорились было, а вчера помирились.

Я молчал, так как менее всего ожидал такого простого и справедливого объяснения.

— Я не сказал тебе, в чем дело,— продолжал Петлин,— только потому, что, если бы я ушел без нее, мне не пришлось бы избегать насмешливого твоего взгляда. Ты еще дуешься.

— Нет,— сказал я, сбрасывая одеяло и приняв вид ничему не удивляющегося человека,— не то, а я посторонний, незачем было меня тащить.

— О, милый, это стратегия,— серьезно возразил Петлин,— в присутствии постороннего женщины сдержаннее, без сцен, а любовь все-таки налицо.

Он задумался, улыбнулся, а я, чтобы чем-нибудь сорвать раздражение, бросил в него гребенкой, но не попал и испортил себе имущества на тридцать копеек, так как гребешок треснул.

ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ

(Рукопись **XVIII** *столетия)*

I
НЕМНОЖКО ИСТОРИИ

Все знают великого полководца Ганса Пихгольца. Я узнал о нем лишь на одиннадцатом году. Его подвиги вскружили мне голову. Ганс Пихгольц воевал тридцать лет со всеми государствами от Апеннин до страшного, каторжного Урала и всех победил. И за это ему поставили на площади Трубадуров памятник из настоящего каррарского мрамора с небольшими прожилками. Великий, не превзойденный никем Ганс сидит верхом на коне, держа в одной руке меч, в другой — копье, а за спиной у него висит мушкетон. Мальборук — мальчишка перед Гансом Пихгольцем.

Таково было общее мнение. Таково было и мое мнение, когда я, двенадцати лет от роду, выстругал деревянный меч и отправился на городской выгон покорять дерзкий чертополох. Ослы страшно ревели, так как это их любимое кушанье. Я выкосил чертополох от каменоломни до старого крепостного вала и очень устал.

На тринадцатом году меня, Валентина Муттеркинда, отдали в цех поваров. Я делал сосиски и шнабельклепс и колбасу с горошком, и все это было очень вкусно, но скучно. Я делал также соус из лимонов с капорцами и соус из растертых налимьих печенок. Наконец, я изобрел свой собственный соус «Муттеркинд», и все очень гордились в цехе, называя меня будущим Гуттенбергом, а фатер дал гульден и старую трубку.

А Ганс Пихгольц, стоя на площади, посмеивался и величался.

Я ненавидел его, завидовал ему, и он не давал мне спать. Я хотел сам быть таким же великим полководцем, но к этому не было никакого уважительного повода. Фатерланд дремал под колпаком домашнего очага, пуская вместо военных кличей клубы табачного дыма. Все надежды свои я возлагал на римского папу, но папа в то время был вялый и неспособный и под подушкой держал Лютера. Тайно я написал ему донос о ереси на юге Ломбардии, угрожая пасторами, с целью вызвать религиозную драку, но тихий папа к тому времени помер, а новый оказался самым скверным католиком и, смею думать, был очень испуган, прочтя письмо, так как ничего не ответил.

Содрогаясь о славе, я в один прекрасный день швырнул в угол нож, которым резал гусей, и отправился к начальнику стражи. Проходя мимо полицейской патрульной Ганса Пихгольца, я, подняв высоко голову, сказал:

— Тридцать лет, говоришь, воевал? Я буду воевать сто тридцать лет и три года.

II

ЛЮБОВЬ

Меня приняли, дали мне лошадь, латы, каску, набедренники, палаш и ботфорты. Мы дежурили от шести до двенадцати, объезжая город и наказывая мошенников. Когда я ехал, звенело все: набедренники, латы, палаш и каска, а шпоры жужжали, как майский жук. У меня огрубел голос, выросли усы, и я очень гордился своей службой, думая, что теперь не отличить меня от Пихгольца: он на коне — и я на коне; он в ботфортах — и я в ботфортах. Проезжая мимо Пихгольца, я лениво крутил усы.

Природа позвала меня к своему делу, и я влюбился. Поэтическая дочь трактирщика жила за городскими воротами, ее звали Амалия, ей было семнадцать лет. Воздушная фигурка ее была вполне женственна, а я рядом с ней казался могучим дубом. У нее были очень строгие, нравственные родители, поэтому мы воровали свои невинные поцелуи в ближайших рощах. Разврат к тому времени достиг в городе неслыханных пределов, но Амалия ни разу еще не села на колени ни к кому из гостей своего трактира, хотя ее усердно щипали:

бургомистр, герр Франц фон Кухен, герр Карл фон Шванциг, Эзельсон и наши солдаты. Это была малютка весьма чистоплотная и невинная.

В воскресенье я назначил свидание дорогой Амалии около Цукервальда, большой рощи. Было десять часов, все спали, и ни один огонь не светился на улицах города Тусенбурга.

Отличаясь всегда красивой посадкой, я представлял чудную картину при свете полной луны, сияющей над городской ратушей. Черные в белом свете тени толпились на мостовой, когда я подъехал к воротам и приказал отпереть их именем городской стражи. Но лунный свет, как и пиво, действовал на меня отменно хорошо и полезно, и я был пьян во всех смыслах: от пива, луны и любви, так как выпил на пивопое изрядно. Подбоченясь, проехал я в Роттердамские ворота и пустился по пустынной дороге.

Приближаясь к назначенному месту свидания, я ощутил сильное сердцебиение; лев любви сидел в моем сердце и царапал его когтями от нетерпения. У разветвления дороги я задержал лошадь и крикнул: «Амалия!» Роща безмолвствовала. Я повернул коня по ветру и снова крикнул: «Амалия, ягодка!» Эхо подхватило мои слова и грустно умолкло. Я подождал ровно столько, сколько нужно, для того, чтобы шалунья, если она здесь, кончила свои шутки, и нежно воззвал: «Амалия!»

В ответ мне захохотал филин глухим, как в трубку пущенным, хохотом и полетел, шарахаясь среди ветвей, к темным трущобам. До сих пор уверен я, что это был дьявол, враг бога и человека.

Я натянул удила, конь заржал, поднялся на дыбы и, фыркая от тяжелой моей руки, осел на задние ноги. «Нет, ты не обманула, Амалия, чистая голубка,— прошептал я в порыве грустного умиления,— но родители подкараулили тебя у дверей и молча схватили за руки. Ты вернулась, обливаясь слезами,— продолжал я,— но мы завтра увидимся».

Успокоив, таким образом, взволнованную свою кровь и отстранив требования природы, я, Валентин Мутеркинд, собирался уже вернуться в казарму, как вдруг слабый, еле заметный свет в глубине рощи приковал мое внимание к необъяснимости своего появления.

III
БЕСЕДА

Знаменитый полководец Пихгольц сказал однажды в пылу битвы: «Терпение, терпение и терпение». Ненавидя его, но соглашаясь с гениальным умом, я слез, обмотал копыта лошади мягкой травой и двинулся, ведя ее в поводу, на озаренный уголок мрака. Насколько от меня зависело,— сучья и кустарники не трещали. Так я продвинулся вперед сажен на пятьдесят, пока не был остановлен поистине курьезнейшим зрелищем. Аккуратный в силу рождения, я расскажу по порядку.

Прямо на земле, в шагах десяти от меня, горели, заженнные на все свечи, два серебряных канделябра, очень хорошей, тонкой и художественной работы. Перед ними, куря огромную трубку, сидел старик в шляпе с пером, желтом камзоле и сапогах из красной кожи. Сзади его и по сторонам лежало множество различных вещей; тут были рапиры с золотыми насечками, мандолины, арфы, кубки, серебряные кувшины, ковры, скатанные в трубку, атласные и бархатные подушки, большие, неизвестно чем набитые узлы и множество дорогих костюмов, сваленных в кучу. Старик имел вид почтенный и грустный; он тяжело вздыхал, осматривался по сторонам и кашлял. «Черт побери запоздавшую телегу,— хрипло пробормотал он,— этот балбес испортит мне больше крови, чем ее есть в этих старых жилах»,— и он хлопнул себя по шее.

Пылая жаром нестерпимого любопытства, я вскочил на захрапевшую лошадь и, подскакав к старику, вскричал: «Почтенный отец, что заставляет ваши седины ночевать под открытым небом?» Человек этот, однако, на мой добродушный вопрос принял меня, вероятно, за вора или разбойника, так как неожиданно схватил пистолет, позеленел и согнулся. «Не бойтесь,— горько рассмеявшись, сказал я,— я призван богом и начальством защищать мирных людей». Он, прищурившись, долго смотрел на меня и опустил пистолет. Мое открытое, честное и мужественное лицо рассеяло его опасения.

— Да это Муттеркинд, сын Муттеркинда? — вскричал он, поднимая один канделябр для лучшего рассмотрения.

— Откуда вы меня знаете? — спросил я, удивленный, но и польщенный.

— Все знают,— загадочно произнес старик.— Не спрашивай, молодой человек, о том, что тебе самому хорошо известно. Величие души трудно спрятать, все знают о твоих великих мечтах и грандиозных замыслах.

Я покраснел и, хотя продолжал удивляться проницательности этого человека, однако втайне был с ним согласен.

— Вот,— сказал он, показывая на разбросанные кругом вещи, и зарыдал. Не зная, чем помочь его горю, я смирно сидел в седле. Скоро перестав плакать, и даже быстрее, чем это возможно при судорожных рыданиях, старик продолжал:— Вот что произошло со мной, Адольфом фон Готлибмухеном. Я жил в загородном доме Карлуши Клейнферминфеля, что в полуверсте отсюда. Клейнферминфель и я поспорили о Гансе Пихгольце. «Великий полководец Пихгольц»,— сказал Карлуша и ударил кулаком по столу. «Дряннейшенький полководишка»,— скромно возразил я, но не ударил кулаком по столу, а тихо смеялся, и смех мой дошел до сердца Клейнферминфеля. «Как,— вне себя вскричал он,— вы смеете?! Пихгольц о ч е н ь великий полководец»,— и он снова ударил кулаком по столу так, что я рассердился. «Наидрянне-дрянне-дрянне-дрянне-дряннейшенький полководчичишка»,— закричал я и ударил кулаком по Клейнферминфелю. Мы покатились на пол. Тогда я встал, выплюнул два зуба и пошел в город, где остался до ночи, чтобы насолить Клейнферминфелю. Ты давно из города, юноша?

— Едва ли будет полтора часа,— поспешно ответил я, желая выслушать конец дела, поведение в коем Готлибмухена было весьма справедливо.

— Я час тому назад,— сказал Готлибмухен, смотря на меня во все глаза,— сорвал голову Пихгольцу.

— Так, так-так-так-так-так-так!

— Да. На площади никого не было. Я взлез на каменного коня, сел верхом сзади Ганса Пихгольца и отбил ему голову тремя ударами молотка и бросил эту жалкую добычу в мусорный ящик.

Не удержавшись, я радостно захохотал, представляя себе зазнавшегося Ганса без головы...

— Голубчик,— сказал я.— Голубчик!..

— А?

— Он ведь, Ганс...

— Угу.

— Не совсем...

— А?

— Не совсем... великий... и...

— Он просто ничтожество,— сказал Готлибмухен.— Так ведь и есть. Стой, думал я, запоешь ты, Клейнферминфель, когда узнаешь, что Гансу отбили голову. Я вернулся и увидел, что вещи мои выброшены во двор; этот негодяй, почитатель Ганса Пихгольца...

— Как! — вскричал я, хватаясь за эфес.— Он смел...

— Ты видишь. Я взял телегу и, навалив как попало все свое имущество, приехал сюда, под кров неба, делить горькую участь бродяг. Но ты не беспокойся, храбрый и добрый юноша,— прибавил он, заметив, что я очень взволнован,— я переночую на этих подушках, завернувшись в ковры, а перед сном почитаю Библию. Добрый крестьянин приедет за мной утром и отвезет меня в город.

— Нет,— возразил я,— я отправлюсь за телегой и перевезу вас сейчас.

— Хорошо,— сказал он, подумав,— но с условием, что ты возьмешь от меня пять золотых монет.

Он вынул их так охотно, что я не стал спорить, хотя и очень удивился его щедрости. Отныне Пихгольц бессилен был давить меня своей славой — у него не было головы. Я рвался в город, чтобы взглянуть, гордо поднять свою голову.

— Жду тебя, сын мой,— кротко сказал старик и прибавил: — Седины старости и кудри юности — надежда отечества.

Стиснув в порыве гордости зубы, я взвился соколом и понесся галопом в город.

IV

ВЕНЕЦ НЕСЧАСТЬЯ

Я объехал четыре раза статую Ганса Пихгольца. Голова у него тут как тут. Возможно, что это лишь призрак несуществующий головы. Я слез с коня, влез на Пихгольца, облизал и обнюхал голову. Твердая, каменная голова. Ничего нельзя возразить. Я вспотел. Мне показалось, что Ганс повернул голову и захохотал каменным смехом. Если я поеду уличать во лжи

Готлибмухена, он скажет, что я дурак, а я, вот именно, не дурак. Я решил оставить его в лесу с его канделябрами и коврами. Испуганный, усталый и злой, не удовлетворив к тому же требований природы, я вернулся в казармы и лег спать. Всю ночь скакал надо мной Ганс Пихгольц, держа в руках оскалившую зубы голову.

Утром позвал нас начальник стражи, и громко топал ногами, и велел скорее собираться в загородный дом Клейнферминфеля, и сказал, что его ограбили. Он прибавил еще, что в Клейнферминфеле глубоко сидят четыре пули и что, если их вытащить, ничего от этого не изменится.

Я был женой Лота (Готлибмухен! Молчу!). Вечером, когда я пошел удовлетворить требования природы и сговориться насчет свидания, я увидел небесную голубку Амалию на коленях у герр фон Кухена, и она обнимала его и герр фон Шванцига, а Шванциг щипал ее.

— Ах-х!

ГЛУХАЯ ТРОПА

I

Маленькая экспедиция, одна из тех, о которых не принято упоминать в печати, даже провинциальной, делала лесной переход, направляясь к западу. Кем была снаряжена и отправлена экспедиция,— геологическим комитетом, лесным управлением или же частным лицом для одному лишь ему известных целей,— неизвестно. Экспедиция, состоявшая из четырех человек, спешила к узкой, глубокой и быстрой лесной реке. Был конец июля, время, когда бледные, как неспавший больной, ночи севера делаются темнее, погружая леса и землю — от двенадцати до двух — в полную темноту. Четыре человека спешили до наступления ночи попасть к пароходу — маленькому, буксирующему плоты, судну; речная вода спáла,и это был тот самый последний рейс, опоздать к которому равнялось целому месяцу странствования на убогом плоту, простуде и голодовкам.

Пароход должен был отвезти одичавших за лето, отрастивших бороды и ногти людей — в большой, промышленный город, где есть мыло, парикмахерские, бани и все необходимое для удовлетворения культурных привычек — второй природы человека. Кроме того, путешественников с весьма понятным нетерпением ждали родственники.

Лес, тихий, как все серьезные, большие леса, с нескончаемыми озерами и ручьями, давно уже приучил участников экспедиции к замкнутости и сосредоточенному молчанию. Шли они по узкой, полузаросшей брусникой и папоротником тропке, протоптанной линялыми глухарями, зайцами и охотниками. По манере нести ружье угадывался, отчасти, характер каждого. Штуцер бельгийской фирмы висел на прочном ремне за спиной Афанасьева, не болтаясь, словно прибитый гвоздями; Благодатский нес винтовку впереди себя, в позе человека, всегда готового выстрелить,— это был самозабвенный охотник и любитель природы; скептик Мордкин тащил шомпольное ружье под мышкой, путаясь стволом в кустарнике; последний из четырех, с особенным, раз навсегда застывшим в лице выражением спохватившегося на полуслове человека,— не давал своему оружию покоя: он то взводил курок, то вновь опускал его, вскидывал ружье на плечо, тащил за ремень, перекладывал из левой руки в правую и наоборот: звали его Гадаутов. Он шел сзади всех, насвистывал и курил.

Дремучая тропа бросалась из стороны в сторону, местами совершенно исчезая под слоем валежника, огибая поляну или ныряя в непроходимый бурелом, где в крошечных лучистых просветах розовели кисти смородины и пахло грибом. Лиственница, ель, пихта, красные сосны, а в мокрых местах — тальник,— шли грудью навстречу; под ногами, цепляясь за сапоги, вздрагивали и ломались сучья; гнилые пни предательски выдерживали упор ноги и рушились в следующий момент; человек падал.

Когда свечерело и все, основательно избив ноги, почувствовали, что усталость переходит в изнеможение,— впереди, меж тонкими стволами елей, показалась светлая редина; глухой ропот невидимой реки хлынул в сердца приливом бодрости и успокоением. Первым на берег вышел Афанасьев; бросив короткий взгляд вперед себя, как бы закрепляя этим пройденное

расстояние, он обернулся и прикрикнул отставшим товарищам:

— Берем влево на пароход!

Все четверо, перед тем как тронуться дальше, остановились на зыбком дерне изрытого корнями обрыва. Струистая, черная от глубины русла и хмурого неба поверхность дикой реки казалась мглой трещины; гоняясь за мошкарой, плавали хариусы; тысячелетняя жуть трущоб покровительственно внимала человеческому дыханию. Ивняк, закрывая отмели, теснился к реке, он напоминал груды зеленых шапок, разбросанных лесовиками в жаркий день. Противоположный, разрушенный водой берег был сплошь усеян подмытыми, падающими, как смятая трава, чахлыми, тонкими стволами.

— Никогда больше не буду курить полукрупку,— сказал Гадаутов.— Сале мезон, апизодон, гвандилье; варварский табак, снадобье дикарей. Дома куплю полфунта за четыре рубля. Барбезон.

Его особенностью была привычка произносить с окончанием на французский лад бессмысленные, выдуманные им самим слова, мешая сюда кое-что из иностранных словарей, засевшее в памяти; вместе это напоминало сонный бред француза в России.

— Прекрасно,— отвечая на свои мысли, сказал Мордкин.— Поживем, увидим.

Постояв, все двинулись берегом. Справа, неожиданно показываясь и так же неожиданно исчезая, прорывался сквозь ветки сумеречный блеск реки; изгибаясь, крутясь, делая петли, тропинка следовала ее течению. Временами на ягоднике, треща жирными крыльями, взлетала тетерка, беспокойно кричали дрозды, затем снова наступала тишина, баюкающая и тревожная. Благодатский увидел белку; она скользила по стволу сосны винтом, показывая одну мордочку. Когда прошел еще один короткий лесной час, и все кругом, затканное дымом сумерек, стало неясным, растворяющимся в преддверии тьмы, и сильнее запела мошкара, и небо опустилось ниже, Афанасьев остановился. Наткнувшись на него, перестали шагать Благодатский, Мордкин и Гадаутов, Афанасьев сказал:

— Мы заблудились.

II

Он сказал это, не возвышая и не понижая голоса, коротко, словно отрубил. Тотчас же все и сам он испытали ощущение особого рода — среднее между злобой и головокружением. Конец пути, представляемый до сих пор где-то поблизости, вдруг перестал даже существовать, исчез; отбежал назад, в сторону и исчез. После недолгого молчания Мордкин сказал:

— Так. Излишняя самонадеянность к этому и приводит. Это все левые афанасьевские тропинки.

— «Левые» тропинки,— возразил Афанасьев, резко поворачиваясь к Мордкину,— открыты не мною. Маршрут записан и вам известен. От Кушельских озер по езженой дороге четыре версты; тропинками же — семь поворотов влево, один направо и еще один влево, к реке. Чего же вы хотите?

— Это значит, что мы где-то сбились,— авторитетно заявил Благодатский.— А где же пароход?

— Черт скушал,— сказал Гадаутов.— Может быть, позади, может быть, впереди. Мы шли верно, но где-то один из семи прозевали, пошли прямо. Куда мы пришли? Я не знаю — Пушкин знает! Пойдем, как шли, делать нечего. Нет, погодите,— крикнул он вдруг и покраснел от волнения,— ей-богу, это место я знаю. Ходил в прошлом году с Зайцевым. Видите? Четыре дерева повалились к воде? Видите?

— Да,— сказал хор.

— Карамба. Оппигуа. Недалеко, я вам говорю, недалеко, даже совсем близко.— Уверяя, Гадаутов резко жестикулировал.— Отсюда прямо, как шли, еще с версту,— не больше. Я помню.

Он выдержал три долгих, рассматривающих его в упор, взгляда и улыбнулся. Он верил себе. Афанасьев покачал головой и пошел быстро, не желая терять времени. Гадаутов шел сзади, жадно и цепко осматриваясь. Место это казалось ему одновременно знакомым и чуждым. Глинистая отмель, четыре склоненные к воде дерева... Он рылся в памяти. Миллионное царство лесных примет, разбросанных в дебрях, осадило взвихренную его память ясно увиденными корягами, ямами,

плесами, гарями, вырубками, остожьями, дуплами; собранные все вместе, в ужасающем изобилии своем, они составили бы новый сплошной лес, полный тревожного однообразия.

Черная вода справа открывалась и отходила, поблескивала и пряталась за хвойной стеной; от ее обрывистых берегов и мрачных стрежей веяло скрытой угрозой. Через несколько минут Гадаутов снова увидел четыре тонкие ели с вывернутыми корнями — двойник оставленной позади приметы. А далее, как бы издеваясь, потянулся берег, сплошь усыпанный буреломом; подкошенные водой и ветром стволы нагибались, подобно огромным прутьям, и трудно было отличить в этих местах один аршин берега от соседнего с ним аршина — все было похоже, дико и зелено.

— Куда мы идем? — спросил Мордкин, оборачивая к Гадаутову лицо, вымазанное грязным потом пополам с кровью раздавленных комаров.— Парохода нет и не будет! — Он взмахнул ружьем и едва не швырнул его на землю.— Я ложусь спать и не тронусь с места. Я более не могу идти, у меня одышка! Как хотите...

Излив свое раздражение, он хлопнул рукой по вспухшей от укусов шее и, шатаясь на дрожащих ногах, тихо пошел вперед. Гадаутов, не отвечая Мордкину, исчез где-то в стороне и, наполняя лес медвежьим треском, вернулся к товарищам. Лицо его дышало светлой уверенностью.

— Если бы не моя память,— сказал он, тоскливо чувствуя, что лжет или себе, или другим,— то, клянусь мозолями моих ног, не знаю, что стали бы делать вы. Поперечный корень под моими ногами, выгнутый кренделем, то же, что пароход. Это место я помню. Мы скоро придем.

Искренний его тон смыл расцветающие на бледных лицах кривые улыбки. Ему никто не ответил, никто не усомнился в его словах: верить было необходимо, сомнение не имело смысла. Глухие сумерки подгоняли людей; обваренные распухшие ноги ступали как попало, вихляясь в корнях; угорелые от страха и изнурения, четыре человека шли версту за верстой, не замечая пройденного; каждое усилие тела напоминало о себе отчетливой болью, острой, как тиканье часов в темной комнате.

— Пришли,— сонным голосом произнес Мордкин и отстал, поравнявшись с Гадаутовым. Гадаутов прошел мимо, но, чувствуя на спине тяжесть, отскочил в сторону, а Мордкин скользнул по его плечу и плашмя упал в кусты, согнувшись, как белье на веревке; это был обморок.

— Эй,— сказал Гадаутов, чуть не плача от утомления и испуга,— остановитесь, бараны, потеряем полчаса на медицину и милосердие! Он упал сзади меня. Анафема!

III

Идти за водой не было ни у кого сил. Афанасьев, положив голову Мордкина себе на колени, бесчеловечно тер ему уши; Мордкин вздохнул, сел, помотал головой, всхлипнул нервным смешком, встал и пошел. Через пять шагов Афанасьев схватил его за руку, взял за плечи и повернул в другую сторону. Очнувшись, Мордкин пошел назад.

— Скоро придем,— тихо сказал Гадаутов.— Темно; это пустяки; держись берегом у воды. Вы знаете, чем я руководствуюсь? Рядом стоит двойной пень, я шел тут в прошлом году.

Все спуталось в его голове. Иногда казалось ему, что он спит и сквозь сон, стряхивая оцепенение, узнает места, но тут же гасла слабая вера, и отчаяние зажимало сердце в кулак, наполняя виски шумом торопливого пульса; однообразие вечернего леса давило суровой новизной, чуждой давним воспоминаниям. Время от времени, различив в чаще прихотливый изгиб дерева или очень глубокую мургу,— он как будто припоминал их, думал о них, мучительно, сомневаясь, убеждаясь, воспламеняясь уверенностью и сомневаясь опять. На ходу, задыхаясь и выплевывая лезущих в рот мошек, он устало твердил:

— Как я вам говорил. Вот бревно в иле. Осталось, я думаю, не совсем много. Скоро придем.

Один раз в ответ на это раздался истерический взрыв ругательств. Все шли быстро и молча; срываясь, шаг переходил в бег, и за тем, кто бежал, пускались бежать все, не рассуждая и не останавливаясь. Слепое стремление вперед, как попало и куда попало, было для

них единственным, самым надежным шансом. Сознание вытеснялось страхом, воля — инстинктом, мысль — лесом; словесные толчки Гадаутова напоминали удар кнута; смысл его восклицаний отзывался в измученных сердцах таинственным словом: вот-вот, здесь-здесь, сейчас-сейчас, там-там.

Никто не заметил, как и когда исчез свет. Мрак медленно разбил его на ничтожные, слабые клочки, отсветы, иглы лучей, пятна, теплящиеся верхушки деревьев, убивая, одного за другим, светлых солдат Дня. Мгла осела в лесную гладь, сплавила в яркую черноту краски и линии, ослепила глаза, гукнула филином и притихла.

Идти так, как шли эти люди дальше, можно только раз в жизни. Разбитый, истерзанный, с пылающей головой и пересохшим горлом, двигался человек о четырех головах, на четвереньках, ползком, срываясь, тыкаясь лицом в жидкую глину берега, прыгая, давя кусты, ломая плечом и грудью невидимые препятствия, человек этот, лишенный человеческих мыслей, притиснутый тоской и отчаянием, тащил свое изодранное тело у самой воды еще около часа. Сонное журчание реки перебил голос:

— Кажется, сейчас мы будем на месте. Еще немного, еще!

Это сказал Гадаутов, усиливаясь сделать еще шаг. Руки и колени не повиновались ему. Затравленный тьмой, он упал, сунулся подбородком в землю и застонал.

В этот момент, оглушая четырехголового человека потрясающим холодом неожиданности, нечеловеческий, пронзительный вой бросился от земли к небу, рванул тьму, перешел в певучий рев, ухнул долгим эхом и смолк.

Крики с берега, ответившие гудку парохода, превзошли его силой сумасшедшей радости и жутким, хриплым, родственным голосом зверей. Падая на мостки, но пытаясь еще пустить в ход подгибающиеся колени, Гадаутов сказал:

— Я говорил. И никогда не обманываю. Же пруа д'аржан.

ТАБУ

I

Положение писателя, не умеющего или не способного угождать людям, должно внушать сожаление. У такого художника выбор тем несколько ограничен, так как настроенный антихудожественно к обычным проявлениям жизни — болезни, радости, горю, любви, труду, страстям и так называемым «достижениям» — человек становится более противосоциальным явлением, чем профессиональный убийца. Не может быть ничего оскорбительнее для читателя, как равнодушие к его нуждам: это понятно; вместе с тем писатель антисоциальный не может принудить себя к гуманистическому изображению быта; то, что он пишет, замкнуто само в себе, подобно ударам колокола в глухой пещере. Однако известен случай, когда именно такой писатель стал популярен,— я привожу здесь его собственный рассказ об этом странном, если не более, происшествии.

— Мы отплыли,— сказал мне Агриппа,— отплыли из Калькутты с самыми зловещими предзнаменованиями. Во-первых, с парохода бежали крысы. Во-вторых, на очередной пассажирский рейс в разгаре сезона прибыло так мало пассажиров, что две трети кают остались пустыми. В-третьих, механик, накануне отплытия, видел себя во сне ползающим на четвереньках перед Нептуном; морской бог, по словам механика, яростно грыз свой трезубец. «Факты и комментарии!» Фламмарион с достоверностью утверждает, что на кораблях, обреченных катастрофе, пассажиров всегда меньше против обыкновенного; знаменитый астроном приписывает это неосознанному предчувствию, однако с большей уверенностью можно наградить странным предчувствием крыс. Во всяком случае, я, как человек научно суеверный, посетил нотариуса и общество страхования жизни, и — вы увидите далее — поступил правильно, так как могло быть хуже, чем вышло.

На восьмой день нашего плавания мы потерпели классическое кораблекрушение, по всем правилам этого печального дела. Схематически можно выразить это так: туман, риф, пробоина, град проклятий, охрипшие голоса, шлюпки и неизменный, одиноко тонущий капитан

наш не составлял исключения. Все это произошло на рассвете. Настроенный злорадно по отношению к обществу страхования жизни, я тем не менее не захотел увеличить своей особой список ужасных премий и, насколько хватило соображения, стал измышлять средства.

Само собой понятно, что мне, при моей медленности и неповоротливости, не удалось пристроиться ни в одну шлюпку. Закон человеколюбия превратился в грубую солдатскую дисциплину, прозевавший команду терял связь с ходом массового спасения. Да, вышло так, что я остался на палубе, и, по правде сказать, у меня не хватило духу прыгнуть в последнюю, переполненную лодку,— может быть, я потопил бы ее своей тяжестью. Капитан, честный, как большинство из них, стоял у трубы, скрестив на груди руки. Лицо бедного малого напоминало взволнованное море, ему, конечно, страшно хотелось жить, но положение обязывает — приходилось идти ко дну. Однако, постояв еще минуту-другую и, видимо, волнуясь все более, капитан, бросив на меня взгляд, выражавший некоторое смущение, бултыхнулся в воду и поплыл к ближайшей шлюпке, где его, мокрого, втащили на борт, а я, охваченный непонятным равнодушием к жизни, уселся на его месте, рассматривая в бинокль переполненные людьми лодки, которые даже при несильном волнении неизбежно должны были пойти ко дну. Таким образом, у меня было сомнительное утешение — потонуть с комфортом и на просторе, тогда как мнимо спасшимся предстояло в бурную погоду пойти ко дну ужасной гирляндой, хватаясь друг за друга, как за соломинку.

Пароход, раскачиваясь от перемещавшейся в трюмах воды, погружался медленно и безостановочно. Я, вытащив карманную Библию, читал Книгу премудрости Соломоновой; не будучи человеком религиозным, я тем не менее из понятной хитрости делал это на всякий случай. Закрыв Библию, я стал думать о смерти, но, к удивлению своему, так вяло, что оставил этот предмет и занялся рассматриванием океана. Очень далеко, на линии горизонта, белел парус. Ранее его не было, из чего я без труда заключил, что судно не удаляется, а приближается, но трудно было сказать, сколько времени пароход останется над поверхностью воды. Думая, что это может случиться неожиданно, и не желая попасть в могущую образоваться воронку, я сам бросился в воду, от-

плыв шагов на сто; пробковые нагрудник и пояс хорошо держали меня. В таком положении я стал ожидать спасителя, оказавшегося туземным рыбачьим судном, и через час был принят на борт. Тем временем пароход исчез в глубине океана, образовав, как я и ожидал, шумный водоворот, родивший множество мелких волчков-воронок, разбежавшихся под синим утренним небом с тихими всплесками.

II

Законы гостеприимства вынужденного — не совсем то же, что званый вечер; однако я не могу сказать, что чернокожие Аполлоны, провонявшие рыбой и чесноком, держали меня в черном теле. Попытки разумных, взаимных объяснений с помощью жестикуляции и щелканья языком не привели ни к чему — мы так и не разговорились, после чего, будучи оставлен в покое и утолив голод вареной рыбой, я крепко уснул. При слабом, но ровном ветре судно быстро скользило вперед, держась одного курса; шум рассекаемой форштевнем воды, глухие голоса дикарей, нестройные звуки дикого инструмента вроде волынки и скрип реи скоро усыпили меня. Я лежал в кормовой части, среди рыбьих костей, неубранных деревянных чашек и тряпок — рядом с моим лицом топали босые ноги рулевого, а надо мной двигался румпель. Я заснул, полный странного равнодушия к дальнейшей своей судьбе и перенесся в страну видений, полных грозной таинственности, по пробуждении же не мог ничего вспомнить. Когда я проснулся, была ночь, передо мной на корточках сидели два чернокожих и рассматривали меня с большим увлечением. Один, ударив меня по плечу, сказал: «Като-то... като» — и засмеялся. По тону голоса я заключил, что ко мне относятся дружелюбно. Скоро подошли и другие, и снова завязался трудный разговор на двух языках; однако, желая выяснить направление и цель нашего путешествия, я добился того, что один из дикарей, показав на юг, вытянул три пальца и пригнул их, затем, очертив рукой в воздухе окружность, сказал: «Орпозо», что, по-видимому, было названием местности. Из всего этого я пришел к выводу, что судно плывет на юг и через три дня будет в «Орпозо» — должно быть, какой-то остров.

Я не буду описывать однообразия нашего плава-

ния, так как при одном воспоминании о духоте зноя, рыбной вони и непобедимой от безделья сонливости мне становится скучно. Разумеется, во всем этом есть много интересных бытовых подробностей, но, не состоя этнографом, оставляю быт дикарей перу неутомимых исследователей, знающих это дело. Я же, будучи от природы не склонен к изображению домашней утвари и обычаев, перейду к главному. Утром третьего после моего спасения дня мы, держась вблизи высокого неизвестного для меня берега, обогнули его в южной части, лавируя среди островков, так круто и живописно изрезанных маленькими лагунами, что я, по неопытности, постоянно принимал устья их за целую сеть проливов и убеждался в ошибке, лишь заглянув в сияющую округлость их, полную скал и блеска. Сохранив и высушив свой костюм, я представлял, стоя с заложенными в карманы руками, странное среди голых и черных тел зрелище; по контрасту это доставляло мне известное невинное удовольствие. Насвистывая «Сон негра», я любовался царством первосказанной красоты, любимейшей матери людей — природы, исходящей лучезарными улыбками океана, серебристыми, лиловыми оттенками берегов, дивной прозрачностью воды, беспричинной, полной радости света, обмывающего в зеленоватой глубине волн плавники дельфинов, раковины, орхидеи и камни, отполированные столетиями столетий. В это время, вылетая на длинных веслах из дремотных лагун, несколько десятков пирог, полных вооруженными туземцами, образовали сомкнувшийся полукруг, и я услышал непередаваемый вой, способный внушить навсегда отвращение к человеческому голосу. Хозяева мои бросились к парусам, но было уже поздно, судно хоть и имело сзади открытый путь, неизбежно выйдя из ветра, остановилось бы в галсе, впереди же плотной, щетинистой от копий и щитов цепью надвигались враги.

Я не успел опомниться, как несколько стрел, пробив паруса, закачались в них, подобно веткам под севшими на них птицами. Вытащив небольшой карманный револьвер, я схватил свой пробковый пояс и, прикрываясь им, как щитом, пустил три пули в стоявших на ближайшей пироге; двое, пронзительно заорав, нырнули в воду. Хозяева мои спешно вооружались ножами, палицами и копьями. Испустив столь же пронзительный гогочущий вопль, как и нападающие, они стали у бор-

тов, размахивая над головой лезвиями, и, по тусклому свету загоревшихся бешенством глаз, я увидел, что кому-то придется круто.

Я стоял у мачты, приберегая пули на крайний случай. Враги, раскачивая судно из стороны в сторону, висли на бортах, срывались, вскакивали на палубу, убивали и падали сами с раскроенными черепами. К ногам моим подкатилась, тяжело стукнув, ловко отрубленная голова. Держа револьвер в левой руке, а в правой толстый деревянный рычаг, я бил этим незамысловатым орудием всех подступавших близко, и с такой яростью, что обратил на себя исключительное внимание. Меня обступили со всех сторон, стараясь полоснуть насмерть, однако уроки отставного кавалериста Геймана не прошли даром, и я увесисто попадал в челюсти концом рычага, действуя тычком и наотмашь, пока не поскользнулся в крови, после чего упал на колени; рычаг был вырван из моих рук, а я, взмахнув револьвером, рассеял все остальные заряды в костлявые тела дикарей. На мгновение я увидел свободное пространство, а затем почти нечувствительный сгоряча удар в голову опрокинул все в диком смешении мелькающих черных белозубых лиц, и я с пересекшимся дыханием упал к ногам победителей.

III

Приступая теперь к событиям, имеющим прямое отношение к сущности моего рассказа, я заявляю, что все дальнейшее, как бы невероятно и чудовищно ни показалось оно людям мирного душевного склада, происходило в действительности, во всей своей ужасной бытовой простоте. Я очнулся на руках дикарей; от слабости я висел, как плеть, меня, подхватив под мышки, поддерживали в стоячем положении; неподалеку я увидел двух черных матросов со связанными позади руками; остальные, вероятно, были убиты. Я был гол, как и они,— с меня сняли все. Нас окружала толпа, человек в триста, все это происходило в центре большой поляны — вековые деревья, застывшие в массивной неподвижности огромных стволов, придавали неизвестности будущего характер зловещий и мрачный. Взглянув перед собой, я увидел большой костер, возле которого суетились дети и женщины.

Я попытался вырваться, но был прижат еще крепче. В это время к одному из пленников быстрыми скачками приблизился мускулистый дикарь, взмахнул дубиной и оглушил несчастного по голове тяжким ударом; пленник, пробежав шагов пять, упал в конвульсиях; второй, видя смерть товарища, жалобно закричал, но был убит тем же приемом. В тот момент, когда упала первая жертва, я почувствовал себя дурно от страха; еще немного, и я вновь, на этот раз уж навсегда, лишился бы сознания, оглушенный палицей. Инстинкт самосохранения, вспыхнувший при виде этой бесчеловечной расправы, с силой удара грома подсказал мне, что просить пощады бессмысленно. Явлению, поразившему меня, следовало противопоставить нечто, способное поразить, в свою очередь, шайку убийц. Палач, свалив второго, теми же кошачьими прыжками направился ко мне. Я вырвался из рук дикарей, схватил первого попавшегося за горло, отбросил его изо всей силы прочь и, кинувшись на землю, забился в невероятных корчах, подражая судорогам эпилептиков.

Могу сказать смело, что, понадобись где-нибудь на сцене телодвижения, подобные выполненным мной в эти минуты, я остался бы непревзойденным в своей случайной импровизации. Я бился спиною, головою, грудью и животом, грыз землю, судорожно сплетал руки, барабанил коленями, закатывал глаза, хрипел и кричал. Сила отчаяния заставила меня быть почти истериком настоящим. Как ни был я поглощен единой мыслью поразить убийц безумством телодвижений, все же я не мог не заметить, что впечатление велико. Подбежавшие ко мне отступили, в кругу раздались крики, но не угрожающего оттенка, и скоро, продолжая вертеться волчком, но посматривая вокруг, я увидел, что окружен плотным кольцом присевших на корточки дикарей; наконец, обессилев, я вытянулся неподвижно лицом вверх, приготовившись, на всякий случай, ко всему худшему.

Случилось так, что мой расчет оправдался. Я почувствовал, что меня осторожно приподымают, сопровождая это восклицаниями, и возгласами, и воплями; отдохнув несколько в сидячем положении, я встал и, с намерением усилить эффект, поднял руки вверх, как бы призывая на помощь и в свидетели знойное солнце. Подумав немного, я запел первое, что пришло в голову; то было «Хабанера» Бизе; суеверные мозги людо-

едов приняли ее с должным почтением. Ко мне подошел старик с птичьими костями в носу и глиняными кружочками в отвисших губах; костюм его состоял из моих брюк и носового платка, повязанного так, как это делают страдающие зубной болью; старик, положив мне на грудь руки, оглянулся и сказал: «Табу». Тотчас же от меня отошли все, оставив под присмотром двух человек, молчаливых, с испуганными, как теперь у большинства, глазами, и я, измученный, сел на землю.

По-видимому, я отнял у людоедов много драгоценного времени, так как, лишь изредка посматривая в мою сторону, занялись они, с живостью и аппетитом проголодавшихся школьников, противоестественной трапезой. Тела убитых, выпотрошенные и освежеванные совсем так, как свиные или телячьи туши, были разделаны на куски и подвешены близ огня; дикари, занявшиеся этим, подбрасывали в рот маленькие кусочки сырого мяса, отрезая их полуворовски, полуоткрыто, как случайную привилегию. Через десять минут от стройных человеческих тел, превращенных в пищу, понесся запах крови, жира и гари. У ног леса дремали синие тени; струился, как вода, переливчатый, огненный воздух, а над пышной травой, пахучей и сочной, летали исполинские бабочки с волосатыми мясистыми тельцами, яркие и ленивые. Мне не предложили поесть. Не думаю, чтобы дикари в этом руководились соображениями этическими: им было, вероятно, мало самим, а я благодарил за это судьбу.

IV

Я хорошо сообразил свое положение и мог быть до времени спокоен за свою жизнь. «Табу» — абсолютный запрет, патент, выданный мне за относительную мою святость, которую я, по понятиям каннибалов, достаточно доказал акробатическими упражнениями и пеной у рта,— действовал вообще магически. Скоро я убедился, что это положение имеет свою обратную сторону, но не следует забегать вперед.

Меня поселили в маленьком шалаше, очень хорошо пропускавшем ветер и дождь. Шалаш этот стоял несколько в стороне от деревни, раскинутой неправильным полукругом; я насчитал сорок два подобных моему шалаша и один побольше, в котором жил вождь этого

свирепого племени, он же и жрец. Этот человек испортил мне много крови. Его звали Умоти, что в переводе значит муравьиное яйцо; я же назвал бы его охотнее яйцом василиска, так как ядовитый старик беспрестанно шпынял меня язвительными сожалениями относительно цвета кожи и глаз, считая голубые глаза не принятыми в хорошем обществе. Кроме того, он имел скверную привычку подозревать меня в тайных колдовских замыслах и терпеливо расспрашивал, что я думаю о своей манере барабанить пальцами по колену — в его глазах это равнялось каким-то волшебным манипуляциям. Кроме него заходил еще иногда ко мне человек с отвислым, дряблым и большим животом и очень большими белыми зубами, некто Башлу; этот осматривал меня плотоядно, вздыхая и приговаривая: «Белый человек очень добрый, очень мягкий, он очень вкусный». Башлу был простой мужик, загнавший в гроб четырех жен. Он носил мне пищу и воду. Мне обыкновенно доставались объедки и кости, к которым, зная несколько анатомию, я приступал после тщательного детального рассмотрения. Остальные дикари удостаивали меня своим посещением значительно реже и приходили обыкновенно группами; сидя на корточках вокруг меня, они беседовали со мной самым светским образом, то есть о пустяках — своих семейных делах, сплетнях, охоте и рыбной ловле, амулетах, погоде, или рассказывали сказки, до чего были большие охотники. Часто я подвергался расспросам: людоеды желали знать, кто я, из какой страны и едят ли у нас дряхлых стариков, ставших обузой общине. Я рассказывал им преимущественно о поражающих воображение завоеваниях науки и техники, с целью поддержать свою репутацию колдуна, и мне безусловно верили; что же касается съедения стариков, то, желая внушить уважение к белому племени, объяснил, что люди повсюду едят друг друга самым недвусмысленным способом.

Нужно сказать, что «табу», спасшее мне жизнь, сыграло теперь чрезвычайно коварную роль. Умоти и его помощник Ако, опасаясь, что я, вступив, если мне это заблагорассудится, в конспиративный союз с духами Хамигеем, Таконтей и Вакос, могу, из беспредметной злобы, лишить воду — рыбы, леса — зверей, женщин — плодовитости, мужчин — острого зрения и сильной руки, но в то же время боясь убивать меня, дабы не навлечь бедствий еще горших со стороны той же злобной

духовной троицы, придумали объявить для меня «табу» все, за исключением трех шагов земли по окружности шалаша. Запретная граница была очерчена неглубокой канавкой, и я, под страхом лишиться правой руки, не мог перешагнуть ее ни в каком случае. О таковом решении мне было сообщено с барабанным боем и плясками, весьма свирепые па которых заставили меня три дня видеть плохие сны и вскрикивать. Хорошо зная открытый, прямолинейный характер своих хозяев, я и не пытался переступать роковую канавку, за которой мир более не существовал для меня; за мной был установлен надзор; я очень люблю свои белые мускулистые руки и лишиться одной из них считаю непозволительной роскошью, и к тому же ее наверняка бы съели; племя, живущее постоянно впроголодь, не брезгающее гусеницами, личинками и жуками, упустило ли бы десять фунтов говядины?

«Табу» вообще играло слишком большую роль в жизни туземцев. Я не знаю, как они терпели такой порядок вещей. Священная роща, в которой стояло несколько деревянных идолов, была уже испокон века «табу» — вступивший в нее лишался языка и правого уха. «Табу» объявлялась всякая родившая в новолуние женщина — коснуться ее и заговорить с ней, под страхом смерти, не смел никто, кроме жреца. Молодая барышня, не старше пятнадцати лет, и в этом же возрасте юноши обязаны были подчиняться всякому приказанию людей старше себя. На каждый месяц было свое «табу»; так, например, запрещалось рыть землю в апреле, в сентябре драть кору, в марте ловить рыбу; Умоти пользовался безусловным правом объявлять «табу» на каждом шагу, что и делал в очень широких размерах; например, кокосовые орехи он объявлял под запретом, когда они созревали, и брал их себе, весьма неохотно уделяя часть подданным. Иногда, дисциплины ради, он заявлял «табу» на такие вещи, как тропа, изгородь, с целью проверить, послушно ли население. Однажды запрету подверглись из соображений высшей политики солнце, луна и звезды, и ни один людоед не смел посмотреть вверх.

Разумеется, при столь серьезном отношении к делу, мне и помыслить нечего было перескочить канавку. Немытый, обросший волосами, в поясе из древесной коры, я проводил дни, лежа у шалаша, в тягостной, нестерпимой тоске пленника, сведенного до положения животно-

го. Казалось мне порой, в полудремотном оцепенении, что в мертвом тумане веков вижу я свой собственный образ завывающего на скале, в тьме и молчании, дикого человека. Часто, припав к земле, я плакал тяжелыми, холодным слезами. Я видел синеющее в полуверсте море, обрывы скал, волшебную лесную растительность; далее за ними простирались еще воды, еще острова, реки, города, целые материки, весь пестрый узор планеты, кипящей, как водопад, блесками и очарованием; но это было под запрещением, так как суеверный дикарь соблаговолил прохрипеть «табу». Мне предстояло сойти с ума или же, отупев, покориться ужасному быту правоверных язычников. Неподалеку росли цветы; я не смел сорвать их. А между тем за любой из этих хорошеньких, упругих и влажных венчиков я с радостью разрешил бы земле, захоти она, расступиться и поглотить всю деревню с ее цепким, как репей, «табу», зверством и нищетой.

Я очень скоро научился языку дикарей. Скупой лексикон их состоял из двухсот с небольшим слов, чуждых всякой грамматике. Некоторых понятий, как, например, «гармония» — «чистота» — «наслаждение» — «косность», не существовало совсем. Разряд ощущений высших, естественно, здесь отсутствовал; зато очень хорошо и удобно можно было толковать о пище, общинных жертвах духу Хамигею, очередных выборах старшины, являвшего нечто среднее между полицейским и простой синекурой; обыкновенно старшина ровно ничего не делал. Я развлекался, как мог. Из глины я скатал несколько шариков, сделал из прутьев дужки и пяткой вместо молотка разыгрывал в одиночку крокетные партии. Немного позже я приручил и выдрессировал большого жука — насекомое скоро научилось ползать вокруг руки, останавливаясь по сигналу. Однажды, в лунную бессонную ночь, я заметил у входа плоскую голову змеи. Изумрудные глаза ее, в такт тихому шипению, магически покачивались передо мной. Искушение было велико, и я протянул уже руку, зная, что маленький укус решит все. Но был в глазах змеи как бы тихий укор. Пристальный взгляд ее, истинно мудрый, как мудры, не ведая этого, все низшие существа, наполнил меня сомнением. Я понял, что, пока жив, можно еще надеяться. Сама смерть качалась передо мной, но это был бы последний, бесславный и горький шаг.

Змея уползла. Я лег на кучу высохших веток и стал обдумывать план, весьма рискованный, но единственный в моем положении. Подходил к концу шестой месяц моего плена.

V

Я провел две ночи без сна, взвешивая, тщательно, как фармацевт, малейшие дозы вероятия, возможности риска, успеха полного и неполного. В первой части своего плана я не рисковал ровно ничем, зато во второй, при непосредственном переходе к действию, надо было играть только наверняка. Размышляя и взвешивая, я пришел наконец к заключению, что иного выхода нет. Понятно, что у меня не было никаких путей покинуть остров для лучших, желанных мест, но уже одна мысль, что, истребив людоедов, я смогу оставить трехкопеечную свою территорию и жить так свободно, как это позволяют условия,— воодушевляла меня сильнее, чем лоток с мясом — голодного бродячего пса. Луна была на ущербе, я выждал, когда она исчезла совсем, потому что нуждался в одной совсем темной ночи, и перешел в наступление.

Утром, как всегда, пришел Башлу в сопровождении мальчика; пузатый малец тащил на деревянной доске большую рыбу, берцовую человеческую кость и нечто, напоминающее пряники, сделанные из мучнистых корней. Сделав вид, что за кость, как за лакомство, примусь после, я с довольной улыбкой отложил ее в сторону и стал жевать пряник. Башлу, ковыряя дротиком земляной пол, сказал:

— Умоти просит белого человека вылечить ему зуб. Он очень болен, громко кричит и ругается.

Я сделал вид, что не слышу. Больной зуб у каннибала — явление редкостное и сентиментальное, но, как ни любопытно мне было бы посмотреть на Умоти с флюсом, я воздержался. Прямой выгодой мне служило теперь, что вождь племени остро и болезненно (что может быть хуже зубной боли?) думает обо мне. Башлу хотел повторить сказанное, но заметил, что мои руки начинают дрожать. Частое, прерывистое дыхание и вытаращенные глаза произвели сильное впечатление; Башлу попятился и остановился у входа, я же, схватив рыбу за хвост, стал махать ею над головой, потом, дрожа и корчась всем телом, упал навзничь. Мальчик

заплакал. Башлу, стукнув его по голове дротиком, побежал к деревне, испуская страшные призывные вопли, и скоро оба исчезли, оставив меня обдумывать продолжение так хорошо начатого дела.

Тем временем я выполз из шалаша и скоро увидел направляющуюся ко мне толпу воинов с Умоти во главе; встав, я двинулся к ним навстречу, не переходя, однако, канавки, приплясывая и изгибаясь, как балерина, вертясь на пятках и, для разнообразия, кувыркаясь самым нелепым образом. Когда же вокруг меня столпилась суеверно настроенная деревня, я встал на четвереньки и взвыл неистовым голосом. Среди шума и криков слышал я трусливые возгласы, упоминающие Хамигея, Таконтея и Вакоса, а также имя духа добра — Усосо; поставив это в связь со своим поведением, я понял, что достиг цели. Устав, я выпрямился во весь рост, покачиваясь, воздев руки к небу, и с закрытыми глазами выкрикнул следующее:

— Слушайте, вы, воины племени Ямма, духи неба открыли мне страшную тайну! Вам это очень важно и нужно знать! Слушайте внимательно. Усосо сказал: «Нет никого красивее, храбрее, быстрее и ловчее, чем Ямма, носящие в ушах птичьи клювы! Они бегают с быстротой ящерицы, лазают, как обезьяны, дерутся, как орлы, и никто не может равняться с ними ни в чем». Так сказал великий Усосо.

Я произнес это нараспев, в нос. Кокетливый, самодовольный вопль и двести гримас были мне ответом.

Царапая себе слегка на груди кожу, я продолжал:

— Усосо сказал: «Настало время дать Ямма и женам их столько подарков, сколько может привезти зараз огненная пирога белых людей». Этим решением он привел в ярость Хамигея, который, как вам известно, весьма вспыльчив. Хамигей не желал, чтобы вы получили даже по пуговице, вроде тех, великий Умоти, которые ты вырвал из моих брюк и повесил на шею. Усосо и Хамигей кончили спор поединком. Три раза огненный дротик Хамигея угрожал сердцу Усосо, и три раза Усосо бил палицей по голове Хамигея; наконец победил Усосо. Боги устали; Усосо, коснувшись меня рукой, сказал: «Пусть завтра все Ямма, женщины, воины, старики и дети, сядут в свои пироги и плывут к югу от восхода до полудня. Тогда увидят они дымящуюся огненную пирогу белых, засевшую в зубчатой скале, покинутую людьми, и найдут на ней очень много красных,

белых и зеленых платков, кроме того, очень много гладких пуговиц с прекрасными желтыми ушками. Есть там еще розовые и голубые бусы, и все, что носит на себе племя белых, все, что блестит, болтается, стучит и звенит у белого человека на животе и в карманах. Всего этого так много... о, Ямма, Усосо — великий благодетель черных людей!

Я упал, изрыгая пену и вопли. Восхищенные дикари плясали вокруг меня, хлопая друг друга по костлявым бокам. Умоти, улыбаясь во весь рот, мечтательно теребил висящую на шее пуговицу. Мне показалось, что я присутствую на адском рауте, где черти сошли с ума.

В этот вечер на радостях убили трех стариков и съели их. Я слышал издали, как дерутся и сквалыжничают из-за какой-то лодыжки. Я же потирал руки, предвкушая высокое наслаждение,— выйти из надоевшего шалаша к морю и всей земле.

В эту же ночь некая согбенная тень, припадая к земле, в мраке и тишине спящего острова пробралась на отмель, где, перевернутые вверх дном, лежали тридцать узких пирог, и оставалась возле них около двух часов. Это был я. Рискуя рукой и жизнью, я продырявил днища всех тридцати пирог с помощью птичьей кости, наделав много хорошеньких круглых отверстий, и тщательно замазал их клейкой глиной, которая по предварительному испытанию могла выдержать с полчаса воду, не размокая. Всю эту ажурную работу я искусно покрыл илом и гнилью водорослей. От нервного напряжения я, вернувшись в шалаш, долго не мог уснуть и проснулся на рассвете, когда, в светлом огне зари, дымится трава.

VI

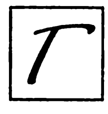
Ничего особенного во время сборов и отправления дикарей за пуговицами не произошло. С ясными и спокойными лицами садились бедняги в предательские пироги, изредка забегая ко мне справиться, подтвердил ли сегодня Усосо свое щедрое обещание. Я важно говорил с ними и предрекал большое количество пуговиц. В пироги расселись все, и ни единой живой души человеческой не осталось в деревне, кроме меня.

Знаменательное событие это произошло 15 августа 1888 года. К полудню я рискнул выйти из шалаша, пла-

ча от радости. Я подошел к морю. В спокойной дали его нельзя было заметить никаких признаков человеческого дыхания. Свершилось. Я направился в священную рощу и посшибал идолы Хамигея, Таконтея и Вакоса, не пощадив также Усосо. Я выместил им глупое «табу» на раскрашенных их физиономиях, посидев поочередно на каждой. Затем я поджег рощу и все шалаши, наблюдая пожарище с ближайшего холмика. Я был свободен.

После этого я стал жить в лесу, устраивая ловушки зверям и птицам. Полтора года я поддерживал ночью на береговой скале сильный огонь, пока не заманил бельгийского шкипера. Все кончилось, как дурной сон. Я утопил деревню, но совесть моя чиста и сон крепок. Я сделал это по праву насилия, употребленного надо мной, хотя — видит бог — предпочел бы другие способы. Нельзя жевать человека.

НАИВНЫЙ ТУССАЛЕТТО



ерцог Сириан, изувеченный страстью к ослепительной Ризалетте Бассо, которая, что не было уже ни для кого секретом, обратила светлое внимание на казначея двора, Стенио Герда, улыбаясь ему при всех радостно и открыто,— сделал то, что подсказывали ему кровь и кулак.

Об этом через несколько столетий дошли сведения, более поучительные, чем достоверные, но, сверив переставшие биться, истлевшие в могилах сердца с живыми сердцами нашего века, мы все-таки подойдем к истине, и время исчезнет.

Герцог, расфранченный, хлыщеватый мужик, убийца и трус, мало напоминал аристократов нашего времени, изучающих естественные науки.

Теперь пусть говорит и расскажет о своем позоре дворянин Туссалетто. Рассказ ведется от первого лица, все описанное Туссалетто относится, по-видимому, к семидесятым годам шестнадцатого столетия.

I

Пока я торговал краденую арабскую лошадь, во двор въехал гонец и, покинув седло, подал мне письмо от герцога Сириана.

Давно забытый милостями его светлости, я стоял с опущенной головой, не решаясь прочесть послание. Меня озарили воспоминания: в деревенской глуши, где кричат лишь мулы и петухи, а люди смиренно проходят жизнь, уповая на милосердие божье,— всякое письмо подобно уличной драке или пожару, тем более письмо славного, живого во веки веков герцога Сириана.

Голубой день и сизые холмы за оградой; рев сгоняемых стад; красная пыль дорог и босоногие женщины, по вечерам после рабочего дня развлекавшие Туссалетто в тишине спальни, все это перестало существовать для меня, пока я, с сильно бьющимся сердцем, держал в руках письмо герцога. Я вспомнил, что всего два года назад мои отношения к нему не оставляли желать ничего лучшего. Я был поверенным его сердечных забав, и благодаря мне он нарушил столько молодых женских снов, сколько в гранате семечек. Я доставал ему тоненьких и полных девушек, не жалея себя. Иногда в моих руках билась и более опасная добыча — замужние женщины, клохтавшие от испуга наподобие раскормленных кур в пальцах торопливого повара, но все чудесно сходило с рук. Меня просто оклеветали. Герцог требовал, чтобы я посмотрел ему прямо в глаза. Я сделал это, боясь смерти, но все было испорчено. Иуда Консейль напоил меня толченым стеклом, я заболел, покрылся сыпью и струпом, так что перестал обращать на себя внимание герцога и улизнул. Хуже всего то, что Консейль сам рассказал об этом, а герцог смеялся.

Герцог, наполовину шутя, наполовину ругаясь, писал следующее:

«Любезнейший прощелыга Туссалетто! Перестаньте сердиться на меня и приезжайте сегодня ночью. Вы знаете, что я всегда рад вас видеть. Я пригласил изысканное общество, а вам, старый дурак, советую явиться немедленно: дело прежде всего. Сколько вы натравили зайцев с этим бродягой, косноязычным моим однофамильцем? Не унижайся, Туссалетто, он хитрее меня. Желаю видеть твой черный мозг у себя как можно скорее.

Ваш бедный, нищий, старый, больной, слепой и преданный герцог Сириан».

Я выронил письмо, испуг мой передался посыльному. Он стоял с разинутым ртом, бледный, ожидая, что

я упаду или начну лаять от страха. Я вспотел и дрожал, но, насколько мог, овладел собой.

Первым помыслом моим было бежать, бросив все, переодеться и скрыться, но, вспомнив участь Луиджи и многих других, умиравших под ударами прежде, чем успевали оглянуться на покидаемый дом, я понял все безумие явной трусости. Меня убили бы те невидимые, на обязанности которых лежит стеречь обреченного человека, зевая за углами оград или лежа в придорожных канавах, пока жертва, думая, что еще есть время спастись, смотрит на горизонт.

Такое же письмо, как и я, получил на моей памяти Гандио. Он, не теряя времени, написал завещание и исповедался. Во время танцев кинжальщик подставил ему ногу и, повалив, пробил горло несчастного с такой силой, что лезвие сломалось о плиту пола. Режи, раздушенный, счастливый тем, что сидит рядом с герцогом, упал с недопитым стаканом в руках, отравленный шутя, мимоходом, на всякий случай. А Скарабулло, избегая ударов, бросился сам с террасы, разбив голову. Герцог во всех таких случаях делал вид, что ему дурно, требовал холодной воды.

Снова перечитав письмо герцога, я сказал «прости» всякой надежде. Черный нимб смерти остановился над моей головой. Все знали хорошо его манеру писать в таких случаях. Он кривлялся и хныкал, грубил и угрожал одновременно; новый позыв к убийству водил его рукой, но гнусная стыдливость палача претила выразиться откровенно,— иезуиты научили его приличиям.

«Косноязычный бродяга-однофамилец» — Лука, младший брат герцога, приближенных и друзей которого Сириан истреблял при каждом удобном случае,— охотясь, провел у меня ночь. Намеки герцога ясны и просты. Лука, к вечеру совершенно пьяный, жаловался мне на брата за то, что тот, поддавшись гневу, рассек, ослепив на один глаз, лицо Чезаре, племяннику Луки, человеку, несдержанному на язык, но честному.

Он подмигивал мне, усмехался, кивал головой в такт моим судорогам перед его братом Сирианом, и жал мне, лукавя, как вся их порода, руку, просил сыска и плакал позеленевшими от злобы глазами.

Разумеется, нас подслушивали. Мысль о близкой смерти приводила меня в отчаяние. Умереть за то, что слушал чужую болтовню и из вежливости кивал головою?! Меня мутило от страха и тоски. Я любил жить

и согласен стать последней собакой, клещом в грязной ноге нищего, червем, улиткой, но не трупом.

Я несчастнее гусеницы, потому что одарен мыслью, божественным началом вселенной, и должен беспомощно созерцать свое собственное уничтожение.

— Сириан, умирающие приветствуют тебя!

II

Когда умирает дворянин, лицо его скорбно, но не трусливо. С этим навязчивым представлением о благородном конце я появился во дворце герцога, но, вспомнив о близкой смерти, упал духом.

Когда я прибыл, у дверей герцогского покоя собрались следующие: Стенио Герд, три племянника Строцци и неизвестные мне люди с темными лицами.

Я посмотрел на Стенио, он тихо улыбался, смотря на дверь. Я стал в самом дальнем углу, мысленно падая прахом.

Долго все молчали или разговаривали вполголоса или шепотом; наконец вышел герцог.

Дверь распахнулась стремительно, я увидел небесно-голубой бархат, лицо разъяренной летучей мыши, серые волосы и глаза, полные тусклого коварства.

Взглянув на меня, герцог Сириан оживился; я понимал его: добыча стояла перед ним; убийца ликовал, стал жеманным, когтистым, впал в ужасную шутливость удава, болтающего хвостом.

— Туссалетто! Красавец! — И герцог поманил меня пальцем; затем, сунув бороду в рот, стал грызть ее, смотря снизу вверх.

Я подскочил, кланяясь с тьмой и тоской в душе, не в силах будучи отвести взгляд от прыщеватой щеки, засевшей в голубом кружеве.

— Н-но-но!..— сказал герцог, погрозив пальцем, и вдруг похоронным огнем бьющие глаза его скрылись; он закрыл их, стал тяжело дышать и, повернувшись круто, ушел. Я оглянулся, увидел торчащие хвостами рапиры, испуганные лица вокруг; зазвенело в ушах.

Трое неизвестных с черными усами, отойдя в сторону, склонили друг к другу уши, оглядываясь на меня и секретно шепчась. Растерянность страха лишила меня достоинства, я осмотрелся, все наполнявшие зал смотрели сурово и подозрительно, один Стенио улыбался,

бесцеремонно рассматривая меня в упор, подняв брови, как бы удивляясь чему-то...

Трое, в далеком углу близ арки, продолжали зловещее свое совещание, а я, сбитый с толку, огорошенный и несчастный, бросился к ним, желая прервать кровавое их соглашение, так как речь шла — я чувствовал — обо мне. Я подбежал к ним, и они расступились, кланяясь хмуро и неохотно. Умоляюще посмотрев на всех я сказал:

— Если вы издалека, я все могу сделать, герцог меня любит и слушает.

Все трое отвесили по поклону, и первый сказал:

— Я Гонзалес, я прибыл по приказанию герцога.

Второй, взмахнув шляпой, прибавил:

— Я Перуджио и нахожусь здесь по всемогущему желанию герцога.

Третий, кланяясь еще раз, прибавил:

— Его воля. А?

Стараясь, насколько можно, сдержать трепет, я отскочил задом, кланяясь ниже всех. В это время в дальнем углу покоев несколько раз быстро и звонко ударили в колокол. Вдруг стих шепот и разговоры вполголоса и, рванув дверь, выбежал, схватив меня за руку, Сириан. Он молчал, а с ним все, и я слышал, как жужжит у стекла муха.

— Туссалетто! За мной! — Меня как бы потянули за цепь, и я, не слыша ног, вошел за властной спиной в спальню.

Герцог, бросив меня у порога, подбежал к столу, где было вино, и налил огромный кубок. Он жадно пил, обливая бороду и грудь, но не замечал этого.

За дверью слышались топот, возня и глухое дыхание.

— А! Меня убивают! — закричал Стенио Герд; узнав его голос, я стиснул руки, пытаясь унять их дрожь.

— Молчать! — вскричал Сириан, подняв голову.— Это дерутся солдаты. Я их повешу.

Чик-чик-чик-чик — это лязгали шпаги.

— Помогите! — еще раз закричал Стенио.

— Я тебе помогу! — сказал герцог.

Затем наступила тишина. Я стоял, но не смел стоять, дышал, но не смел дышать.

— Боже, отпусти ему грехи! — пробормотал герцог, склонив голову.

— Ваша светлость,— решился произнести я,— эта отличная погода... охота...

— Молчи, дурак,— заявил герцог. Он подошел ко мне, покачиваясь, и нежно поцеловал меня в лоб.— Ступай к Ризе Бассо. Вот ключ.

Я согнулся.

— В тюрьму.

Я стал на колени и поцеловал полу его одежды.

— Уговори.

— Ваша св...

— Обещай.

— Д... д... д... д... д...

— Все.

— Светл...

— Любви! — сказал герцог и заметался, томно склонив голову.— Будьте мастером своего дела,— прибавил он,— я влюблен.

Уходя, я видел, что замытая плита еще сыровата. Но я жив. Не мне, не мне!

Меня привели в подвалы; от недавно перенесенного страха мои ноги ступали нетвердо.

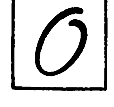
Но что я увидел! Некоторое удовлетворение ощутил я, взглянув в глубину камеры. Ризалетта, милая Ризалетта! Она лежала в грязи, пробив себе грудь стилетом. Я поцеловал ее ноги.

Посмотрим, какой потребуете вы еще любви, Сириан, когда...

ДАЛЕКИЙ ПУТЬ

I

ПРИЮТ



Однажды, путешествуя в горах и достаточное количество раз скатившись на одеялах по гладкому, как стекло, кварцу, я, разбитый усталостью, остановился в маленьком горном кабаке-гостинице, так как эти учреждения пустынных мест обыкновенно соединяют приятное с полезным. Мой проводник, Хозе Чусито, давно уже, завязав шею платком, жаловался на кашель и выразительно смотрел на меня, делая как бы невзначай губами сосущие дви-

жения. Так как эта манера намекать вошла у него в привычку и действовала раздражающе, я, посмотрев на него благосклонно, сказал:

— Хозе, нам надо переночевать и поужинать.

Он перестал кашлять. Одолев еще несколько винтообразных тропинок, иногда падающих почти отвесно к головокружительным выступам, очерченным седым туманом провалов, мы вышли на плоское расширение почвы, и в наступающих сумерках блеснуло нашим утомленным глазам несколько тусклых огней, равных по силе впечатления коронационной иллюминации. Сняв ружья, мы подошли к настежь распахнутой двери небольшого, сложенного из дикого камня здания, и запах жилья радушно защекотал наши носы, чрезмерно облагороженные возвышенными ароматами горных трав и снегов.

У грубо сделанного гигантского очага сидело большое общество. Это были, как мог я определить, бегло осмотрев всех, охотники, пастухи, рабочие с соседних имений и случайные посетители, подобные нам. Пестрые, вызывающие костюмы этих людей состояли из полосатых шерстяных одеял, перекинутых через плечо или лежащих на коленях владельцев, сорочек из бумажной ткани, широких поясов и брюк, обшитых во всю длину бахромчатыми лампасами из перьев или конского волоса. Широкополые зонтики-шляпы делали все лица похожими друг на друга неуловимой общностью выражения, придаваемого им именно таким головным убором. У некоторых, оттягивая пояса, висели на бедре в кожаных кобурах револьверы, но были и старинные пистолеты; обладатели этого рода оружия, как я убеждался неоднократно,— превосходнейшие стрелки. Всего было четырнадцать человек, без нас; трое из них лежали на животах, головами к огню, изредка нагибая голову, чтобы хлебнуть из стоящего перед губами стакана; двое беседовали у стойки; остальные, сидя на табуретах, вернее, обрубках дерева, усердно молчали, скрестив на груди руки и дымя папиросами.

Очаг жарко пылал, призрачно освещая сухие, полудикие лица и пристальные глаза; кирки и лопаты, брошенные в углу, сверкали железом; на стене, за стойкой, над головой погруженного в бухгалтерию хозяина — человека невзрачного, с толстыми губами и серьгой в ухе — висели ружья. Хозяин старательно муслил карандаш и чесал за ухом. Хозе остался с мулами за поро-

гом, и я слышал, как нетерпеливо звенели бубенчики голодной скотины, без сомнения, в данный момент равной нам по сходству желаний. Обратив на себя общее внимание, так как я был одет по-своему, я подошел к стойке и спросил о ночлеге.

Цена оказалась высокой, что, по-видимому, целиком определялось фантазией содержателя этой гостиницы. Кивнув головой, но отомстив толстым его губам взглядом великодушного снисхождения, я вышел, сопровождаемый конюхом. Устроив и накормив мулов, мы возвратились под крышу нашего монрепо.

Насколько остро было привлечено внимание всех моей особой минут десять назад, настолько же теперь оно улетучилось, и каждый как бы отсутствовал. Мои скитания приучили меня к сдержанности. Я и Хозе, взяв бутылку вина, сели, разостлав плащи, к стене; вино, кусок жареной свинины и грубый хлеб заставили нас повеселеть, а Чусито, набив рот, пустился в длинное рассуждение о высоте Сениара, уверяя, что это величайшая гора в мире, и дух ее, некий Педро ди Сантуаро, родственник богатого скотопромышленника, украл из горы все золото с целью выкупить душу своей жены, осужденную томиться в геенне за продажу распятия прощелыге язычнику.

Легенду эту я слушал в полудремоте, разнеженный едой и вином, думая, в свою очередь, о пылком воображении Хозе, готового за бутылку вина лгать целую ночь. «Педро ди Сантуаро,— повторял он, не забывая свой стакан ни на одну минуту,— отправил сто кораблей с золотом в ад, но сатана потребовал больше во столько раз, во сколько Сениар больше ванильного зернышка. Тогда Педро...»

Он продолжал дальше, но здесь человек, вошедший одновременно с произнесенным Хозе именем Педро, как бы окликнутый, повернулся и внимательно осмотрел нас с готовностью отвечать. Я невольно рассмотрел его пристальнее, чем других, как будто раньше видел его и говорил с ним. Таково во многих случаях впечатление национального типа, хорошо изученного, но встреченного среди чуждого национальности этой яркого и утомительного разнообразия.

Я заранее описываю наружность этого человека, хотя он и не занимает еще в рассказе своего места. Лицо, изрытое оспой, с глазами, на первый взгляд подслеповатыми, могло потягаться мужественностью и резкостью

выражения с любым из присутствующих; что касается глаз, то они были малы, далеко поставлены друг от друга и почти лишены бровей; это-то и делало их как бы слабыми в выражении. Спустя секунду я нашел их живыми и ясными. Круглая русая борода скрадывала подбородок; небольшие усы, открывая край верхней губы, странно, как и борода, выделялись светлым своим цветом на кофейном загаре лица. Он был в пестрой грубой одежде, вооружен короткоствольным штуцером, двигался лениво и мягко.

Я встал, так как отсидел ногу, и сделал несколько шагов к очагу; нога, как неживая, подвертывалась и ныла. Я выругался по-русски, растирая колено. В тот же момент неизвестный с улыбкой сильного удивления стукнул ружьем о пол и, значительно смотря на меня, повторил слова, произнесенные мной, прибавив: «Кто вы?» Это он сказал тоже по-русски, без малейшего иностранного акцента.

— Я русский,— ответил я, вытаращив глаза, и назвал себя.

Он продолжал пристально смотреть мне в глаза, затем нахмурился и громко сказал:

— Я — здешний и не понимаю вас.

Сказав это, он отошел и скрылся; тотчас же отошли от меня и любопытные, привлеченные звуками неизвестного языка.

«Это русский»,— сказал я себе, интересуясь соотечественником в данный момент более, чем новым видом птицы ара, открытым мною две недели назад.

Хозе дернул меня за плащ.

— Еще одну бутылку — и спать? — вопросительно заявил он нежным, как флейта, голосом.

Я разрешил ему делать все, что он хочет. Затем, выйдя из гостиницы, осмотрелся и подле дверей увидел сидящего на каменистом выступе почвы неизвестного русского.

Он был, казалось, в глубокой задумчивости, но, услышав мои шаги, обернулся с поспешностью человека, привыкшего быть настороже в этих опасных природою и людьми местах. Я сказал:

— Встретить мне вас и вам меня тут — это не совсем то же, что на углу Дворянской и Спасской. Я думаю, мы могли бы поговорить с интересом.

— Я совсем не стал бы говорить с вами,— возразил он, помедлив (и страннее седых волос у юноши мне

было слышать подлинную русскую речь из уст туземца темной профессии),— если бы не подумал наедине кой о чем.

— Вы эмигрант?

— Нет.

Я помолчал, ожидая, в свою очередь, известных вопросов. Неизвестный молчал тоже, и молчание наше, поглощенное сонной тишиной колоссальной громады гор, тучами окружавших ночную долину, приняло неприятный оттенок. Тогда, желая из самолюбия поставить на своем, я сделал на завтра предсказание погоды самое пустое в смысле дождя и бури. Он возразил мне, основываясь на местных приметах, совершенно противное. Я согласился, прибавив, что местное вино плохо. Он обошел этот вопрос молчанием и похвалил лошадей. Я сделал скачок к туземным нравам и женщинам. Он выразил надежду, что они лучше, чем кажутся. Я коснулся политики. Он заметил вскользь, что люди наивны. Я заговорил о Европе, он — о России. Здесь я тихо подкрался в обход и нанес ему подлый удар сзади, сказав, что он не похож на русского.

И лишь только после того, как весь этот, совершенно в русском духе и вкусе, разговор привел нас окольными путями к особе неизвестного человека, получил я возможность, все еще добивая его слегка искусными репликами, выслушать глубоко человеческую повесть об одной из немногих побед, побед блестящих и бескорыстных, подобных войне мысли с телом, и беглые заметки мои впоследствии превратились в этот рассказ, переданный отрывочно и скупо, но с теми моментами, для которых и растут уши на голове слышащих.

II

ЧИНОВНИК

Я служил столоначальником в казенной палате. Меня звали Петр Шильдеров. Город, в котором я жил с семьей, был страшен и тих. Он состоял из длинного ряда домов мертвенной, унылой наружности — казенных учреждений, тянувшихся по берегу реки от белого, с золотыми луковками, монастыря до губернской тюрьмы; два собора стояли в центре базарных площадей, замкнутых четырехугольниками старинных торговых рядов с замкáми весом до двадцати фунтов. На дворах выли

цепные псы. Малолюдные мостовые кое-где проросли травкой. Деревянные дома, выкрашенные в серую и желтую краску, напоминали бараки умалишенных. Осенью мы тонули в грязи, зимой — в сугробах, летом — в пыли. Вокруг города тянулись выгоны — сухое болото.

Я прослужил в этом городе пять лет и на шестом запил. Иногда, сидя в так называемом на губернском языке «присутствии», то есть находясь на службе, я замечал, что монотонный шелест бумаги и скрип перьев, постепенно согласуя звуки и паузы, сливаются в заунывную мелодию, напоминающую татарскую песню или те неуловимые, но гармонические мотивы, которыми так богат рельсовый путь под колесами идущего поезда. Тогда, разрушая унылое очарование, я шел к архивариусу и в полутемном подвале пил с ним водку, стоявшую постоянно за шкапом. Жена прихварывала. Возвращаясь со службы, я часто заставал ее с уксусным компрессом на лбу, читающей лежа старинные бытовые романы, в которых, как выражалась она, нравятся ей «правда, подлинность, настоящая жизнь». Мои дети, мальчик и девочка, робкие и сварливые существа, хныкали и жаловались друг на друга так часто, что я почти не замечал их присутствия. По вечерам, если это было летом или весной, я сидел на бульваре, смотрел на молодых чиновников, бросающих с обрыва в реку камешки, и думал.

Когда я спросил себя в первый раз — «что я такое — животное или человек?» — меня охватил ужас. Вопрос требовал ответа прямого и беспощадного, со всеми вытекающими отсюда заключениями. Мысль буйствовала, как бык на бойне, и я отдался ее возмущенной власти. Я провел две недели в сказочном состоянии цыпленка, вылезающего из скорлупы. Я думал на ходу, во сне, за обедом, на службе, в гостях. Результатом этого огромного напряжения души явился в один прекрасный день вывод: «Я должен стать другим человеком и жить другой жизнью».

Чтобы определить вполне и точно, что именно для меня прекрасно и ценно, что безобразно и совершенно не нужно,— я взял противоположности, вернее, контрасты, приняв как истину, что все, составляющее мою жизнь теперь, плохо. Разумеется, я сделал частное определение каждой стороны действительности, так как в целом сила желаний, когда я старался представить

новую жизнь, являла воображению моему лишь светлый круг горизонта, полного призраков. Закон контраста равно помог как моей мысли, так и воле, и исполнению мною задуманного.

Итак, я находился во власти непреодолимого желания, лишенного яркой цели. Мне следовало узнать, чего я хочу. Я взял окружающее и, как уже сказал выше, противопоставил каждой стороне его мыслимый, возможный в действительности же, контраст.

Согласно этому порядку исследования душевного своего состояния, я выяснил следующее. Моя жизнь протекала в сфере однообразия — ее следовало сделать разнообразной и пестрой. Я жил принудительными занятиями. Полное отсутствие принуждения или в крайнем случае работа случайная, разная — были мне более по душе. Вместо унылого сожительства с нелюбимой семьей я хотел милого одиночества или такого напряжения страстной любви, когда немыслимо бодрствовать без любимого человека. Общество, доступное мне, состояло из людей-моллюсков, косных, косноязычных, серых и трусливых мужчин; их всех радостно променял бы я на одного, с неожиданными поступками и речами и психологией, столь отличной от знакомых моих, даже соотечественников, как юг разен северу.

Разнообразие земных форм вместо глухой русской равнины казалось мне издавна законным достоянием всякого, желающего видеть так, а не иначе. Я не люблю свинцовых болот, хвойных лесов, снега, рек в плоских, как иззубренные линейки, берегах; не люблю серого простора, скрывающего под беспредельностью своей скудость и скуку. Против известного, обычного для меня с момента рождения, следовало поставить неизвестность и не изведанное во всем, даже в природе, устранив все лишения чувств.

Размыслив над всем этим, я увидел, что решил первую треть задачи, ответив на вопрос «что?», следующий — «как?» — должен был находиться в строгом соответствии с необычностью мной задуманного; отсутствие смягчающих переходов и всего, что может ослабить впечатление конечного результата, являлось необходимостью. Сеть, опутавшую меня, я должен был не распутать, а разорвать. Если к арестованному будет ходить каждый день начальник тюрьмы, твердя: «Скоро вас мы отпустим»,— несчастный лишится доброй половины грядущего удовольствия — выбежать из клетки на улицу.

Таким образом, я хотел стремительного и резкого, по контрасту, освобождения.

Теперь — это, может быть, самое главное — вы узнаете, почему я живу здесь. Мальчик, мой сын, принес книжку из школьной библиотеки — то были охотничьи рассказы, написанные языком невыразительным, но простым, в расчете на самостоятельную работу воображения юных читателей. Жена моя сидела в другой комнате, занимаясь выводкой пятен на шерстяной кофте. Я был один. Скучая и утомясь овладевшими мною мыслями, я присел к столу, где лежала забытая уснувшим мальчиком книга, и стал ее перелистывать, рассматривая старые раскрашенные картинки, оттиснутые грубо, так, что смешивались узенькими полосами границы красок, и вскоре задумался над одной из этих картинок так, как задумываются после высказанной кем-либо случайно фразы, имеющей, однако, для вас известный смысл наведения.

Знакомо ли вам очарование старинных рисунков? Секрет их особого впечатления заключается в спокойной простоте линий, выведенных рукой твердой, лишенной сомнений; рисующий был уверен, что изображаемое подлинно таково; с наивностью, действующей заразительно, руководясь лишь главными зрительными впечатлениями, как рисуют до сих пор японцы, художник изображал листву деревьев всегда зеленой, стволы — коричневыми, голую землю — желтой, камни — серой, а небо — голубой краской; такое проявление творчества, данное человеком, по-видимому, бесхитростным и спокойным, действует убедительно. Несокрушимая ясность линий почти трогательна; прежде всего вы видите, что рисунок сделан с любовью.

То, что рассматривал я, было иллюстрацией к одному рассказу, с подписью: «Горные пастухи в Андах». В темно-коричневом с одной стороны и светло-желтом — с другой горном проходе, в голубом воздухе, под синим небом, по крутой горной тропинке, поросшей ярко-зеленой травой, спускалось к тоже очень зеленому лугу стадо лам, а за ними, верхом на мулах, в красных плащах, лиловых жилетах и желтых шляпах ехали всадники с ружьями за спиной. На заднем плане, нарисованная голубым и белым, виднелась снеговая гора. На сером уступе скалы сидел красно-синий кондор.

Я остановился на этом рисунке долее, чем на остальных. Именно смутное очарование представлений о зага-

дочном, грандиозном и недостижимом владело мной; рисунок этот как бы перебрасывал мост к огромному миру неизведанного, давая в скупом и грубом намеке простор мысли. Кроме того, в раскрашенном кусочке бумаги было нечто, говорящее мне безмолвной речью ассоциаций. Так же, как человек, остановивший, например, внимание свое на слове «кукушка», неизбежно представит в той или иной последовательности крик этой птицы «ку-ку!», лесную тишину, обычай загадывания, подумает о суеверном чувстве и суевериях,— я мысленно перенесся к загадочной для меня стране, размышляя о роскошной растительности, покрывающей склоны гор, о малой населенности тех мест, о неожиданностях природы, вечном горном молчании, опасностях и лишениях, неизвестном языке жителей, обычаях их и характере, и скоро увидел, что здесь для меня нет ничего известного, что я в размышлениях и ассоциациях своих отрезан от этой страны полной невозможностью представить себе что-либо наглядно. Я был здесь в области общих слов и понятий: гора, лес, человек, река, зверь, дерево, дом и т. п. Таким образом, я нашел неизвестное по всем направлениям и в той мере, в какой это возможно вообще на земле, в условиях трех измерений. Мне предстояло наполнить отвлеченные мои представления содержанием живым, ясным и ощутительным.

Я встал и начал ходить по комнате, продолжая мысленно смотреть на рисунок. Он вскоре исчез; я видел полное вечерней прохлады ущелье, игру света на выщербленном камне откосов, глубокую пасть долины, сверкающий обрез ледника, похожий на серп луны, тени огромных птиц, скользящие под ногами, и всадников. Они проезжали узкой тропой. Лиц я не видел, но чувствовал их суровыми и спокойными. Мулы шли тихо, позванивая бубенчиками; этот отчетливый в тишине звон был ясен и чист. Из-под копыт, шурша, скользили камешки и падали, подскакивая, в долину. «Скоро наступит ночь,— подумал я,— но долго еще в тишине и прохладе будут звенеть бубенчики, фыркать мулы и шуршать камни». Невыразимая тоска овладела мной, как будто чудесной силой был вырван я и брошен из этих мест, полных красоты, величия и свободы, в рабство и нищету.

Отныне я находился в плену своего желания быть там, куда потянуло меня всей душой и где я нашел

вторую, настоящую родину. У человека их две, но не у всякого; те же, у кого две, знают, что вторую нужно завоевать, тогда как первая сама требует защиты и подчинения.

III
РАЗРЫВ

Два дня спустя я сидел у ворот на лавочке. Был теплый июльский вечер. Против нашего дома возвышалось здание арестантских рот, из его решетчатых окон пахло кислой капустой, кашей и постным маслом. В соседнем переулке мальчишки играли в бабки. С поля показалось стадо коров; мыча, махая хвостами, в клубах сухой пыли лениво двигались искусанные оводами животные, распространяя терпкий запах навоза и молока. Коровы сами заходили в дворы, стадо их постепенно таяло, а пастух на ходу без всякой надобности трубил в рожок, проворно шлепая босыми ногами.

Солнце село, но было еще светло. Наступил час, когда жители Косой улицы выходили к воротам и, сидя на лавочках, грызли в идиллическом настроении семечки, или репу, или же «жали масло», то есть сидящие по краям старались стиснуть одного из средних так, чтобы у него затрещали кости и он, не снеся маслобойства, выскочил. Хорошее настроение, созданное кротким вечером и теплом, достигало зенита, почти умиления, в тот момент, когда после поверки арестанты в исправительном заведении становились на молитву. Они пели «Достойно», «Отче наш» и другое сильными, хорошо спевшимися голосами двухсот крепких мужчин. Торжественные звуки молитвенного пения создавали в тишине вечера настроение благости и покоя.

Когда арестанты пропели все и внутри мрачного здания раздались зычные выкрики надзирателей, я, вернувшись к постоянным своим мыслям, почувствовал недовольство собой. Мне показалось, что я всегда буду жить так, как теперь, и ни на что не осмелюсь, но тут же представил, как, не медля ни одного мгновения, встаю и ухожу навсегда. Я так ясно вообразил это, что взволновался. Мною овладел нервный трепет, предвестник решений. Прошло еще несколько минут подземной работы мысли — и тут как бы повязка упала с моих глаз: я увидел, что я свободен, ничем не связан и волен распоряжаться собой.

Я встал и более не колебался. Жена с детьми ушла к знакомым «подомовничать» — обычай нашего города. Это значит, что хозяева где-нибудь в гостях и просят знакомых побыть в их квартире, присматривая за детьми и прислугой. В сумеречных комнатах было тихо и грустно. Я открыл комод, взял сто рублей, испорченные золотые часы, паспорт и вышел на улицу.

Разумеется, все это были еще приготовления. Ничто не мешало мне вернуться и положить деньги на место. Еще не был отрезан путь отступления. Даже от пароходной пристани я мог повернуть назад. Сознание этого доставило мне несколько унылых минут. Я боялся внезапной слабости, малодушных и казуистических размышлений, но, к счастью, увидел, что нахожусь в лихорадочном состоянии беглеца, в азарте. Первые шаги мои были медленны и тревожны; со стороны я мог показаться человеком, гуляющим от безделья.

Да, первая сотня шагов по направлению к пристани оказалась самым трудным и больным делом. Я знал уже, что не возвращусь. Чувство оторванности я изведал тотчас, как вышел на улицу, но было в нем нечто окрыляющее и безразличное. На углу я остановился и обернулся. За черемухой серела крыша оставленного мной дома. И я пошел далее, ускоряя шаги, к вечернему пароходу.

За три следующих месяца я испытал, видел и пережил столько, что иному хватило бы на всю жизнь. Через границу я перебрался удачно, хотя и слышал как свистят пули линейных винтовок. Я тщательно берег деньги, но их было так мало, что скоро не стало совсем. Я помню долгие дни лишений, голода, ночлеги в трущобах и под открытым небом, томительные пешие переходы в знойные дни, полицейские участки, милостыню, окурки, подобранные на тротуарах, краденые плоды, случайную работу на виноградниках. Все это мне мило и радостно. Наконец я увидел светлые земли юга, в цветах и торжественной тишине синего неба, и славную даль морей; услышал, как стучит винт корабля, как звенит летний прибой, гудит мистраль и гулко воет сирена, струя белый пар содрогающихся от безделья котлов.

Я поступил матросом, но рассчитался, как только пароход бросил якорь в устье величайшей реки мира. Искатели каучука на специальном промышленном пароходе увезли меня далеко от океана. Я работал с негра-

ми, подсекая в ядовитых болотах стволы, чтобы извлечь несколько капель драгоценного сока, быстро твердеющего на воздухе. В этих сырых лесах царят вечные сумерки, опасности и болезни; растут без солнца бледные молочайники, яркие цветы паразитов, гигантские папоротники и все, что незнакомо нашему взгляду: растительность странных, капризных форм чудовищной силой размножения глушит отравленную перегноем землю.

Я заболел лихорадкой, валяясь среди негров в изнеможении и бреду. Каждый день, после захода солнца, на огненных от костра полянах прыгали, сверкая белками, под звуки ужасной музыки, мои чернокожие приятели; неизменное их добродушие и веселость были воистину удивительны. В часы просветления я внимательно смотрел на их дикие па, вспоминая подсмотренный мною однажды хорошенький танец кроликов, черных, как пуговицы. Но тусклый день снова приносил жар и бред, и не заслуженные человеком мучения, и тысячи огненных солнц преследовали меня, в кайме оранжевых змей, плотных и жирных, касающихся воспаленного моего лица тяжелой болью озноба. Я умирал, но не умер.

Простите, дорогой — не соотечественник, дорогой иностранец,— прошло десять лет. Но я умолкаю. Вы слышите — за дверью спор, шум, все кричат, бьют в ладоши, как будто нам нужно встать? Посмотрим, в чем суть веселья!

IV

Мы встали, а навстречу нам Хозе Чусито вышел, покачиваясь. Зевая, он посмотрел на звезды, потом, заметив меня, сказал преувеличенно твердым голосом:

— Вы прогуливаетесь? Я хотел спать, да мне помешали. Подбивают меня в партию отыскать новый проход. Случилось несчастие. Это для нас важно, ужасно важно. Сто пятиэтажных домов свалились на Красную седловину, иначе говоря, сударь, такого обвала старики не запомнят. Торговый проход разрушен. Погонщики в отчаянии, а те, которым надо по ту сторону, рвут и мечут. Так вот, я говорю, подбирают партию за хорошие деньги поискать свежую тропочку. Торговцы, которые покрупнее, не пожалеют золота. Вы как думаете?

— Надо быть, так,— сказал я, посмеиваясь. Удерживать Хозе не было смысла, его, видимо, соблазняла мысль, оставив меня, поискать счастья более ощутительного, чем те небольшие суммы, которые давал ему я. Он все равно удрал бы, сославшись из вежливости на горло.— Желаю тебе успеха.

— Как! — горестно воскликнул Хозе.— Я более вам не нужен? Впрочем,— торопливо прибавил он, опасаясь с моей стороны выражений растроганности и признательности,— впрочем, вы не раскаетесь. Я дам вам такого — такого человека, что вы запоете. Это клад, а не человек. Такого нигде не сыщешь. Мозговатее парня еще не было.

Я перебил его восторженные описания чудо-парня, и мы втроем подошли к стойке. Возле нее сгрудилась, облокотившись и подперев ладонями головы, толпа заинтересованных проходом людей; каждый вставлял замечания, подавал советы, расписывал самые отчаянные маршруты цветами радуги. То волновалась, жестикулируя и крича, молодежь; люди серьезные торопливо ждали, когда им дадут открыть рот. Эти внушительно и вкрадчиво толковали о холоде на высоте тринадцати тысяч футов, о теплой одежде и умной нетерпеливости. Я слушал их одним ухом; мой удивительный собеседник, «русский»,— или как было его назвать теперь? — сунув руки в карманы, смотрел на новое для меня лицо, делая вид, что задумался и посматривает рассеянно.

Это была женщина лет восемнадцати — двадцати, с немного вздернутым носом, насмешливой тоской глаз и маленьким ртом. В смуглом ее лице светило упорство, способное перейти в ненависть. Назвать ее красивой было нельзя, хотя природная грация маленькой, крепкой фигуры и бессознательное кокетство жестов вызывали пристальную улыбку. Так же, как и другие, она, подперев крошечными руками непричесанную голову, слушала разговор мужчин. Поза ее и выражение лица были воплощением важности. Я улыбнулся.

Почувствовав упорный взгляд сзади, женщина обернулась.

— А, Диас,— равнодушно произнесла она.— Вернулся?

— Только и делаю, что ворочаюсь,— сказал недавний мой собеседник.

— Лучше бы уходил все время.

— Вот что, Лолита...

Она вздохнула, выпрямилась и, внимательно осмотрев с ног до головы Диаса, перешла к другому концу стойки, где, погрузив снова лицо в растопыренные около ушей пальцы, принялась слушать, морща лоб, что говорят погонщики.

Хозе и Диас замешались в толпу. Я, обессиленный усталостью, лег на разостланное мне благодарным Чусито одеяло и, сунув под голову седло, стал дремать. Новые, не изведанные доныне ощущения и соображения преследовали меня. Я думал о таинственной власти имен, пересекающих наше сознание полным превращением человека, уничтожением расы, крови, привычных ассоциаций. Диас есть Диас. Никакими усилиями воображения не мог я представить его русским, но, может быть, и не был он им, принадлежа от рождения к загадочной орлиной расе, чья родина — в них самих, способных на все.

Наконец я уснул беспокойным дорожным сном и пробудился, как от толчка. Может быть, чье-либо резкое восклицание было тому причиной. Полузакрытыми глазами я наблюдал некоторое время людей, толпящихся вокруг стойки, Лолиту и Диаса. Он снова подошел к ней, сказав:

— Я, пожалуй, отправлюсь с ними.

— Что ж? Заработай...

— Очень долго,— возразил он нерешительно.— Ты же знаешь, почему.

— Не приставай,— сказала Лолита.— Что ты ходишь вокруг меня? Сядь. Лучше слушай, что говорят.

— Лолита!

— Ну?

— Слушай...

— Слушаю.

— Ты мне ничего не скажешь?

Она посмотрела на него искоса, неохотно и хмыкнула. Диас уныло повернулся в мою сторону, прищуриваясь, так как блеск огня мешал ему видеть.

Я снова уснул. Меня разбудил Хозе. С первого же взгляда я понял, что человек этот собирался разыскивать «тропочку». Все на нем было подвязано, укреплено, подтянуто и застегнуто. В хижине, кроме нас, никого не было. Утренние горы смотрели в открытую дверь сияющими провалами и рощами, а на земляном полу дрожал свет.

Уступая соболезнующему тону Хозе (он смотрел на меня с жалостью, как нянька, покидающая ребенка), я подтвердил еще раз, что нисколько не сержусь на него, и вышел на двор. В загородках, у привязи, покорно шевелили ушами нагруженные вьючной покладью мулы; несколько вооруженных людей осматривали упряжь, торопливо дожевывая скудный завтрак. Я подошел к Диасу.

— Куда направитесь вы? — спросил он.

Я сказал.

— Вероятно, мы не увидимся,— заметил он.— Прощайте!

Обдумав вопрос, который вертелся у меня на языке еще вчера, я сказал:

— Как вы чувствуете себя в этой стране?

— Очень хорошо и приятно.

Сняв шляпу, он поклонился, улыбнулся и отошел. Через минуту стали выводить мулов; животные, сопровождаемые каждое одним человеком, огибали дом, тихо звеня бубенчиками и фыркая. Диас замыкал шествие. Караван вытянулся гуськом, и передние начали уже спускаться в балку, поросшую черно-зеленым кустарником. Девушка, которую я видел вчера, помчалась сломя голову к арьергарду и, догнав Диаса, пошла рядом с ним, положив ему на плечо руку и что-то рассказывая. Затем, в виде прощальной ласки, она запустила пальцы в волосы молодого человека и стала трепать их, мотая покорно улыбающейся головой. Диас, понятно, не сопротивлялся.

Она не пошла вниз, а остановилась на обрыве, смотря, как, перевалив балку, взбираясь на косогор, шествуют по крутой, среди скал, известковой тропе осторожные мулы. Вернувшись, она прошла мимо меня, едва заметив мое присутствие.

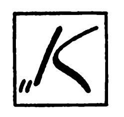
Я обдумывал рассказ Диаса. Он ушел, оставив мне тихое волнение радости. Люди, подобные этому человеку, не одиноки. Их семья, цыганское племя, великодушное и строптивое, рассеяно всюду. Я вспомнил тысячи безыменных людей, «плавающих и путешествующих», когорты авантюристов, проникающих в неисследованные места, безумцев, возлюбивших пустыню, детей труда, кладущих основание городам в чаще лесов. Их кости рассеяны за Полярным кругом, и в знойных песках черного материка, и в дикой глубине океана. Вторая, настоящая родина торжественной силой любви влечет

одинаково искателя приключений и начальника экспедиции, командующего целым отрядом; ничто не останавливает их, только смерть. Своей смертью они умножают везде жизнь и трепет борьбы.

Снежные волны гор окружали меня. Я долго смотрел на них с дружеским, теплым чувством, веря их безмолвному обещанию очистить сердце и помыслы.

ПРОДАВЕЦ СЧАСТЬЯ

I



„Кто не работает, тот не ест»,— вспомнил Мюргит черствую, хлебную истину. Эти слова очень любил повторять его отец, корабельный плотник. Но Мюргит так привык благодаря усердному повторению истины к ее неопределенно-понукательному значению, что стал почтителен к ней лишь теперь, когда, потеряв место в угольном складе из-за происка толстой дамы, жены хозяина, игравшей по отношению к молодому человеку роль известной жены Пентефрия, горько и лицемерно смеясь над сытым видом развалившихся в лакированных экипажах холеных и томных людей, шел к рынку с темной надеждой стащить пучок моркови или редиски.

Рынок, потерянный рай голодных, усилил страдания Мюргита зрелищем разнообразных продуктов и свежим запахом их, заставляющим вспоминать жарко растопленную плиту, шипенье масла, стук блестящих ножей и воркотню супа. Розовая телятина, красное мясо, коричневые почки, тетерева, голуби, куропатки, фазаны и зайцы лежали за блестящими стеклами лавок; на лотках теснились зеленые букеты моркови, редьки, спаржи и репы; скользкие угри, лини, камбалы, лососи и окуни грудами, серебрясь и переливаясь на солнце нежными красками, заглядывали свесившимися головами в корзины, полные устриц, омаров, раков и колючих морских ежей.

Стараясь не выделяться среди шумной толпы неуверенными движениями и беспокойством взгляда, Мюргит жадно присматривался к лакомым явствам,

не решаясь, однако, приступить еще к действию, хотя руки его дрожали от голода; ночуя вторую ночь под старым баркасом, Мюргит слышал от старого опытного бродяги, спавшего вместе с ним, что воровать надо наверняка, иначе не стоит соваться. Пока же, не видя ничего плохо лежавшего, Мюргит машинально ощупывал подкладку своего старого пиджака, стараясь набрести на мелкую монету, когда-нибудь провалившуюся сквозь карманную дыру, и взглядывал под ноги, ища вечный кошелек с банковыми билетами.

Пройдя всю площадь, Мюргит в раздумье остановился. Рассеянно осматриваясь, увидел он невдалеке, за лавками, среди старых бочек и ящиков, кружок играющих в передвижную рулетку; тут были извозчики, солдаты, женщины и подростки. Среди других игроков забавным показался Мюргиту старик с деревянным ящиком за спиной. На крышке ящика сидел попугай, блестя бессмысленно хитрым, круглым глазом и время от времени покрикивая недовольным голосом: «Купите счастья!» Иногда, помедлив, прибавлял он к этому что-нибудь из остального своего лексикона: «Прохвосты!», «Не бери сдачи!», «Сыпь орехов!» Старик, беззубый, но проворный для своих лет, суетился больше других; монета за монетой мелькали в его руке, и он, кряхтя, проигрывал их. Суеверие свойственно несчастливцам; Мюргит, подходя к рулетке, думал: «У меня нет ни одной копейки, а я уверен, что купил бы за гроши счастье. Недаром этому продавцу счастья так не везет самому». Мысль эта была заметно лишена логики, но ее убедительность равнялась в глазах Мюргита таблице умножения. И он заглянул в ящик, разделенный на клеточки, из которых попугай таскал клювом бумажки с предсказаниями и сентенциями.

Почувствовав у затылка сдержанное дыхание Мюргита, старик обернулся.

— Купи, молодчик! — шамкнул он, подмигивая.— Поддержи торговлю! Народ стал нелюбопытен, разрази его гром, и, должно быть, теперь все счастливы, потому что воротят нос от моего ящика. Или ты, может быть, тоже счастливчик?

— Вот,— сказал рассерженный Мюргит, собираясь выворотить карман, чтобы, кстати, вытряхнуть из него крошки и обломки спичек,— если здесь есть хоть бы одна копейка, я суну ее твоему попугаю, чтобы он подавился и издох на твоей спине!

Он дернул рукой. Пальцы, проскочив карманную дыру, уперлись в подкладку, и Мюргит, смотря застывшими глазами в насмешливое лицо старика, почувствовал, что сжимает монету. Мгновенно медь, серебро и золото вообразил он, но серебру и золоту неоткуда было явиться; вытащив руку, Мюргит с волнением увидел небольшую медную монету, на которую дали бы кусок хлеба. То было известное коварство вещей, умеющих, упав, завалиться под стол или диван таким образом, что для извлечения их требуется становиться на четвереньки; в других случаях потерянная вещь отыскивается весьма часто в ненужный момент. Мюргит, мысленно ругая себя за легкомысленное обещание, плюнул и топнул ногой, отчаяние и полное безучастие к судьбе овладело им; издеваясь над собой, он сказал:

— Счастье важнее хлеба,— и опустил монету в щель ящика.

Попугай, услышав знакомый стук, скрипнул клювом, закричал: «Сыпь орехов!» — и, сунув неуклюжую голову в одно из углублений, вытащил свернутую бумажку.

— Читай на здоровье,— сказал старик, и Мюргит с ненавистью вырвал из клюва птицы свое дешевое «счастье».

Отойдя в сторону, он развернул бумажку и прочитал следующие, безграмотно отпечатанные стихи:

Тебя счастливей в мире нет;
Избегнешь ты премногих бед;
Но есть примета для тебя:
Отыщешь счастье ты — любя.
Твой знак — Луна и Козерог
Ведут к удаче средь дорог.

— Хорошо,— злобно сказал Мюргит,— что эта нелепица не попалась безрукому, безногому и глухонемому; он, я думаю, отхлестал бы старика костылями за удачное предсказание.

Он резко повернулся и вошел в ближайший трактир с сомнительной надеждой отыскать под столом, как это было вчера, завалившуюся корку хлеба. Посетителей в трактире было немного; усталый Мюргит сел, отыскивая глазами на полу, среди окурков и пробок, что-либо съедобное.

— Что вам подать? — спросил, подходя, слуга.

— Сейчас ничего,— солгал наполовину Мюргит,— я жду приятеля, когда он придет, мы поедим вместе.

Так он просидел, ежась от голода, минут двадцать. Все кругом ели и не обращали на него внимания. Оглядываясь, Мюргит заметил пожилого человека с завязанной головой, делавшего ему знаки глазами и пальцами. У этого человека была самая подозрительная внешность, однако Мюргит не колебался... Цепляясь за малейшую возможность поесть, подошел он к завязанной голове и сел рядом.

— Давно не ел? — проницательно осведомился, подмигивая, неизвестный.

— Да,— сказал Мюргит,— если вы угадали, что я не ел, то уж угадать, что не ел двое суток — пустяки.

— Хочешь заработать?

— Хочу.

— Эй,— сказала завязанная голова, кладя вилку,— дай-ка, рыжий, этому парню бобов с салом, баранины и вина.

Кровь хлынула к сердцу Мюргита от неожиданности; чувствуя инстинктивно, что лучше и выгоднее молчать, ожидая, что скажут, просидел он, перебирая от нетерпения под столом ногами, пока слуга, рыжий, как солнце, ходил на кухню. Когда кушанье было подано, Мюргит съел его аналогично медленно трогающемуся и быстро берущему скорый ход паровозу; благодетель Мюргита, заметив под нос что-то насчет дураков, прозевавших такого молодца, как юноша, налил вина и сказал:

— Вижу я по твоей физиономии, что ты не способен выдать накормившего тебя человека. Слушай: я контрабандист и мошенник. Вчера с грузом сырого шелка выехал я по лесной реке Зерре, что неподалеку отсюда, прокрался благополучно мимо одного таможенного пикета и передал на берегу груз ожидавшим меня верховым товарищам.

Не успел я разделаться с последним тюком, как раздались выстрелы, приятели мои ускакали, а я, бросаясь в лодке от берега к берегу, сбил с толку солдат, выскочил, покинул на произвол судьбы лодку и скрылся. Пришлось мне также бросить ружье. Контрабандисту, пойманному с оружием в руках,— виселица! Если найдут лодку — мигом узнают, что это моя работа, лодка моя известна. Поди-ка ты, затопи ее вместе с ружьем, а если увидишь, что ее уже нет,— вернись и скажи мне. Это для тебя не опасно, ты ведь можешь придумать, в случае чего, что угодно.

— Что ж,— сказал, охмелев, Мюргит,— я согласен.

— По тропинке за бойнями,— объяснил мошенник,— выйдешь ты к проезжей дороге, что идет мимо оврага, а там, у реки, возьмешь влево и, думаю, недолго пройдешь, как увидишь лодку. Прорежь ей ножом дно и насыпь камней. Вот тебе,— он вытащил из кармана горсть мелкого серебра и сунул Мюргиту.— Смотри же, братец, молчи обо всем этом.

— Будьте покойны,— сыто улыбаясь, сказал Мюргит,— я все обстряпаю.

И он, не теряя времени, отправился к реке Зерре.

II

Бобы с салом, баранина, крепкое вино и мелкое серебро держали Мюргита целый час в состоянии упоения. «Ей-богу, мне повезло как раз после стихов»,— думал он, шагая лесной дорогой. Серебро звенело в его кармане соловьиными трелями, здоровая сытость разливалась по окрепшему телу, и, веселый по природе, Мюргит беспричинно рассмеялся, насвистывая куплеты. Скоро пришел он к синей узкой реке, блестевшей солнцем под безоблачным небом, и, с трудом пробираясь у самой воды среди упавших стволов папоротника, цепких кустов и арками купающихся в струях реки свисших ветвей, увидел в тенистом заливчике превосходную лодку, способную выдержать не менее десяти человек. В уключинах торчала пара тяжелых весел, а на дне, подле одноствольного, старинной работы ружья, валялся мешок с чаем, сахаром, галетами, порохом, пулями и сменой белья.

— Да это целое хозяйство! — вскричал Мюргит, запнувшись за жестяной котелок. Под кормой он увидел топор.— Лодку, конечно, я утоплю, но ружье и все остальное — дудки! Это стоит денег. Все равно мой случайный хозяин не получил бы этих вещей, если бы не я!

Решив так, Мюргит сел к веслам, взмахнул ими и выплыл на середину реки, высматривая, нет ли где тяжелых камней, но впал в раздумье. «Хорошо,— думал Мюргит,— я утоплю лодку, вернусь, и что же предстоит мне? Деньги через несколько дней выйдут, а в этом маленьком городе не легко найти место. Не отправиться ли мне вниз по течению? Что мне терять?

Зерра впадает в Таниль, а Таниль в море, где шумит большой город, в десять раз более этого дохлого Хассавера — Сан-Риоль; поэтому я думаю, что благоразумнее мне пуститься во все тяжкие».

Твой знак — Луна и Козерог
Ведут к удаче средь дорог...—

вспомнил Мюргит. С доверчивостью к судьбе, свойственной незлопамятной молодости, Мюргит прочно уселся на скамейку лодки, и весла запели в его руках, удаляя Мюргита от того места, где он собирался прорубить дно.

Безмолвная река развертывалась перед ним пышной, синей аллеей, извилисто проникая в знойную тесноту дремлющих лесных берегов; обрывы, черные, как груды угля, с выползающими к воде розовыми корнями, сменялись колоннами бесконечно уходящих в полумрак зарослей стволов; далее, как высыпанная из корзин зелень, купались в зеленеющей отражениями воде гирлянды ветвей, образуя тенистые боковые коридоры; в глубине их, встречая проникший луч, вспыхивали и гасли листья.

Затуманенные игрой струй, висели в подводной пропасти опрокинутые двойники берегов, а даль речных поворотов сияла воздушными садами; очарованные зноем, серебристые от блеска воды, дремали они, готовые, казалось, развеяться от легкого дуновения. В тишине леса таилась покоряющая сила спокойствия, мысль человека, попавшего сюда, текла стройно и беспечально, отдаваясь власти видимого, и глаз не уставал подмечать богатое разнообразие берегов, слитных, как толпа, и разных, как лица.

Мюргит плыл и не думал уже о будущем, а тихо погружался в неясные, похожие на сказки, события, неизвестно кем пережитые и рассказанные, но был в них главным действующим лицом. Радовался, горевал, молился и плакал. В этой игре воображения не было ничего, что мог бы он припомнить потом, но сердце его от зноя, тишины и беспричинной, сладкой тревоги билось частыми, волнующими толчками, как бы требуя на неизвестном наречии свободы и радости. Прошел еще час, пали тени от берегов, и, услышав громкое сопение, увидел Мюргит порядочных размеров медведя. Зверь стоял у воды, саженях в десяти от лодки; с морды

его падали блестящие водяные капли, он пил и, увидев человека, обеспокоился.

— Эй, дядя! — беспечно крикнул Мюргит, считая себя в безопасности.— Как посмотрю я, ты здорово обнаглел, если не боишься получить пулю! — И он показал ему заряженное ружье.

Медведь рявкнул, потоптался и прыгнул в воду. Не ожидая этого, Мюргит растерялся, зверь плыл к нему весьма быстро, и мохнатая голова его была уже не далее шести шагов от Мюргита, лодка же, пока он грозил ружьем, повернулась носом против течения, очень быстрого в этом месте, так что, потеряв несколько времени на усилия привести лодку в прежнее положение, молодой человек увидел себя вынужденным стрелять. Он взвел курок, прицелился и, дав зверю очутиться почти вплотную, прострелил ему череп. После этого, еще не опомнившись хорошенько от неожиданного нападения, он тупо смотрел, как забившийся зверь, разводя лапами немалое волнение, поплыл в красном кровяном пятне, почти уже мертвый, рядом с лодкой; еще не совсем прошел испуг Мюргита, как он сообразил, что с медведя следует содрать шкуру. Захлестнув веревкой голову мертвого врага, Мюргит взял его на буксир и, пристав к берегу, после долгих усилий, вспотев, ободрал тушу; прекрасная черная шкура тяжело висела в руках удачливого стрелка, и он бросил ее на дно лодки.

— Вот жизнь медвежья! — все еще удивляясь, сказал Мюргит.— Нехорошо быть таким вспыльчивым.— И он продолжал путь, несмотря на добычу, без всякого желания пережить еще такую же встречу.

Смеркалось, когда, увидев редкие огни местного поселка, Мюргит усталый подплыл к чистому песку берега, рассчитывая переночевать под крышей, а не на сыром мху. Только что он вытащил лодку, как увидел, что к деревянным мосткам, лежавшим на забитых в воде сваях, идет с корзиной молодая, бедно одетая девушка. Проворно размахивая свободной рукой, незнакомка подошла к краю мостков и, заметив Мюргита, раскрыла от удивления маленький, как орех, рот. Ей было не более пятнадцати лет, и была она скорее хороша, чем дурна собой, благодаря молодости, лучистым глазам, черной косе и гибкости. Немного портили ее большие руки, грубоватые, как у большинства работающих женщин, и худощавость сложения, имевшая

в себе нечто мальчишеское, но это показалось ничем в глазах Мюргита; стройная девушка пленила его улыбкой, доверчивой, как глаза больной обезьянки, и он подошел к ней.

— Вы, должно быть, нездешний,— сказала девушка,— я вижу вас в первый раз.

— Я еду из Хассавера в Сан-Риоль,— объяснил Мюргит,— и по дороге убил медведя. Там, в лодке, лежит его шкура. Позвольте узнать ваше имя!

— Анни,— и она закрылась рукой, потому что Мюргит понравился ей.— Можно посмотреть шкуру?

— Непременно! — вскричал Мюргит. Корзина с невыполосканным бельем осталась на мостках, а Анни, подбежав к лодке, попятилась и развела руками от удивления.— Вот большой,— сказала она,— и как это вы его трахнули?!

Так, слово за словом, разговорились они и познакомились. Анни была работницей в зажиточной фермерской семье, но очень страдала от непосильной работы и томилась жизнью в глуши. А Мюргит, слушая ее, думал: «Как часто, по глупости или лени, проходят люди мимо своего счастья. Не буду же я дураком, сегодня мне везет как утопленнику». И он стал рассказывать о себе, не упуская случая вставить комплимент краснеющей девушке. Сидя на борту лодки, подвигались они все ближе друг к другу, пока, заметив это, не отодвинулись, точно сговорившись, и не умолкли.

Наконец Мюргит приступил к делу. Хитрец был красноречив и говорил таким тихим голосом, что его можно было принять за шепот речной воды.

— Анни,— сказал он,— я много читал, слышал и видел, что случай руководит людьми. Посмотрите на эту реку. Если бы вода в ней остановилась, образовался бы ряд гнилых, скучных прудов, где от тоски дохнут рыбы. Но река движется, неустанно освежает землю, и земля вознаграждает ее пышной растительностью, охраняющей влагу от испарения. Так же и человек должен следовать руслу случая, если он обещает ему в будущем радость. Мы познакомились случайно, и отчего бы нам затягивать это дело дальше? Вот лодка и весла, а вот открытый путь в Сан-Риоль, если я вам хоть немного нравлюсь, то в будущем понравлюсь еще более. Вам и мне терять нечего. Если вам кто-нибудь говорил, что жизнь требует осторожности и терпения,—

не верьте, бывает, что и терпение лопается. Удивите-ка самое себя! Приехав, мы обвенчаемся, а денег у нас на первое время хватит — я продам лодку, ружье и шкуру.

— Вы с ума сошли! — вскричала Анни. Но голос Мюргита звучал так серьезно, что это польстило ей.

— Я сделаю для вас все! — торопился высказаться Мюргит.— Я в конце концов, конечно, разбогатею! Я буду вас одевать в шелк, бархат и бриллианты и построю вам дом! Я куплю вам лошадей и все, что вы захотите!

К чести его надо сказать, что он сам верил своим словам. Обещания, одно заманчивее другого, посыпались с его языка проливным дождем.

— Нет, этого я не сделаю,— решительно произнесла Анни и подвинулась ближе.

— Анни! — сказал Мюргит.— Поверьте моему дню!

— Никогда. А как же белье?

— Белье? Бель... что ж белье?!

— Вы не... будете обижать меня?

— Упаси бог.

Они взялись за руки и стали шептаться.

В сердце Анни было много задора, легкомыслия и великодушия. Шептались они очень долго и убедительно, и Мюргит столкнул лодку в ночную реку, под крупные звезды, и Анни, поплакав, села к рулю.

III

В раскрытое окно лился гром приморского города. Похудевший Мюргит печально смотрел на Анни, а Анни, стараясь не поддаваться унынию, смотрела на мужа.

— Нет керосину,— сказал Мюргит,— сахару нет, чаю, хлеба, мыла и табаку. Положение наше ожесточенное, дружок Анни. Что бы продать?

Анни ничего не ответила, потому что в маленькой комнате не было ничего для продажи.

«Обменять новые башмаки на старые,— думала Анни,— или продать их совсем? — Она вздохнула и посмотрела на маленькие свои ноги.— Опять босиком?!»

— Подожди-ка! — вдруг вскричал, вскакивая, Мюргит. Он кое-что вспомнил, и в глазах его это было все

же лучше, чем ничего.— Анни, подожди меня, я скоро вернусь.

— Что ты задумал?

— А вот увидишь.

И он, схватив шляпу, бросился бегом на улицу. А когда вернулся, под мышкой у него торчал объемистый сверток, который он с торжеством показал жене.

— Я выпросил это в долг у лавочника,— сказал он и стал говорить, что к вечеру он все устроит. Анни, выслушивая его план, немного приободрилась, и у нее появилась надежда, что вечером удастся поесть.

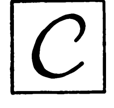
В этот же день на площади у фонтана остановилась пара молодых людей, мужчина и женщина. У мужчины на шее висел ящик. С улыбкой посмотрев друг другу в глаза и смущаясь, они потупились и запели; свежие, приятные голоса их остановили некоторых прохожих. Пропев несколько песенок о любви, цветах, вине и веселье, человек с ящиком выступил вперед и сказал:

— Купите, господа, счастье! Роль маленького попугая исполняет моя жена.

И монеты, одна за другой, стали падать в шляпу Мюргита.

СЛАДКИЙ ЯД ГОРОДА

I



ын старика Эноха охотился на берегах мутной Адары, а старик промышлял в горных увалах, близ Вадра. Оба месяцами не видались друг с другом и мало нуждались в этом; сын, как и отец, привык к одиночеству. Изредка встречались они у скупщика, жившего в небольшой деревушке, верстах в пятистах от города. Сыну Эноха — Тарту шел восемнадцатый год, когда, внезапно остановившись над куньей норой, он глубоко задумался, отозвал лаявшую у пня собаку, вздохнул, сел на пень и повесил голову.

Удивляясь сам столь внезапно поразившему его грустному наваждению, молодой дикарь осмотрелся кругом, пытаясь дать себе отчет в своем настроении. Лес, где он родился, вырос и чувствовал себя дома,

показался ему слишком тесным, хмурым, однообразным; куница, хотя он еще и не видал ее — второсортной, а день — долгим. Сначала он это отнес к тому, что побывал недавно в болотах Зурбагана, где, по уверениям стариков, можно отравиться на несколько дней испарениями цветов особого лютика, известного под названием «Крокодиловой жвачки», но голова его, как бывает в таких случаях, не болела, а, наоборот, особенно свежо и ясно сидела на здоровых плечах.

Затем Тарт попробовал объяснить грусть вчерашним промахом по козе или, в худшем случае, плохим сном, но и по стаду коз не сделал бы он сейчас ни одного выстрела, и сон был из средних. Обеспокоенный Тарт вздохнул, затем, достав трубку, пощипал начинающие пробиваться усы и стал курить.

Собака нервно переминалась с ноги на ногу, рассматривая хозяина молитвенно-злыми глазами, и тонко скулила; запах куницы нестерпимо томил ее, но Тарт продолжал курить. Куница тем временем передохнув, сидела, съежась, в норе и обдумывала план побега, удивляясь небывалой сентиментальности своего врага. Тарт почесал за ухом, чувствуя, что ему ужасно хочется неизвестных вещей. Весь арсенал своих несложных желаний перебрал он, но все это было не то. Неопределенные сказочные туманы парили в его воображении; где-то далеко за лесом, неизвестно с какой стороны, манили его невнятные голоса. Хотеть — и не знать чего? Томиться неизвестно почему? Грустить, не зная о чем? Это было слишком новое и сильное ощущение.

Плюнув, к отчаянию собаки, на кунью нору и встав, Тарт медленно, полусознательно направился по тропинке к реке, желая рассеяться. Кроме отца, Тарт знал еще одного умного человека — скупщика мехов Дрибба, бывавшего на своем веку в таких местах, о которых сто лет сказки рассказывают. Дрибб жил в деревушке по течению Адары ниже того места, где находился Тарт, верст пять, и молодой человек думал, что его, Дрибба, авторитет куда выше в таком тонком и странном случае, чем авторитет бродяги Хависсо, известного своей склонностью к размышлениям. Встревоженный, но отчасти и заинтригованный непонятной своей хандрой, Тарт, считая себя человеком незаурядным, так как попадал без промаха в орех за тридцать шагов, перебрал всех знакомых и лишь Дрибба нашел достой-

ным доверия; вспомнив же, что скупщик умеет читать газеты и носит очки — предмет ученого свойства,— почувствовал себя уже легче.

II

Тарт посадил в лодку собаку и отправился к Дриббу. Недолгий путь прошел в молчаливых сетованиях; охотник хмуро брюзжал на берега, реку, солнце, хохлатую цаплю, стоящую у воды, плывущее дерево, собаку и все, что было для него видимым миром. Собака печально лежала на дне, уткнув морду в лапы.

Тарт вспомнил отца, но пренебрежительно сморщился.

— Этот только и знает, что качать головой,— сказал он, настроенный, как большинство родственников, скептически по отношению к родственному взаимному пониманию.— Попадись я ему сейчас — одна тоска. Старик начнет качать головой, и я пропал; не могу видеть, как он щелкает языком и покачивается.

Энох действительно имел привычку во всех трудных случаях скорбеть и после долгого молчания изрекать грозным голосом: «Не будь олухом, Тарт, возьми мозги в руки!» В иных случаях это, действуя на самолюбие, помогало, но едва ли могло пособить теперь, когда весна жизни, вступая в свои права, заставляет молодого великана повесить голову и стонать.

Выбросив лодку на песок ужасным швырком, Тарт подошел к дому Дрибба. Это было нескладное одноэтажное здание, огороженное частоколом, с кладовыми в дальнем углу двора. Слегка смущаясь, так как не в лесных обычаях ходить среди дня в гости, Тарт стукнул прикладом в дверь, и Дрибб открыл ее, оскалив желтые зубы, что заменяло улыбку. Это был человек лет пятидесяти, без седины, с длинными черными волосами, бритый, с сизым от алкоголя носом; испитое треугольное его лицо быстро меняло выражение, оно могло быть сладким до отвращения и величественным, как у судьи, на протяжении двух секунд. Очки придавали ему вид человека занятого, но доброго.

— Здравствуйте, юноша! — сказал Дрибб.— Я ждал вас. Как дела? Надеюсь поживиться от вас свежими шкурками, да? Дамы в Париже и Риме обеспокоены. Вы знаете, какие это очаровательные создания?

Входите, пожалуйста. Что я вижу! Вы налегке? Не может быть! Вы, вероятно, оставили добычу в лесу и спустите ее не мне, а другому?! Как это непохоже на вас! Или вы заленились, но что скажут дамы, чьи плечи привыкли кутаться в меховые накидки и боа? Что я скажу дамам?

Болтая, Дрибб придвинул охотнику стул. Тарт сел, осматриваясь по привычке, хотя был у Дрибба по крайней мере сто раз. На стенах висели пестрые связки шкур, часы, карты, ружья, револьверы, плохие картинки и полки с книгами; Дрибб не чуждался литературы. В общем, помещение Дрибба представляло собою смесь охотничьей хижины и походной конторы.

Тарт, потупясь, размышлял, с чего начать разговор; наконец сказал:

— А вот товару я на этот раз вам не захватил.

— Плохо. Прискорбно.

— Ночью какой здоровый был ливень, знаете?

— Как же. Юноша, направьте-ка на меня ваши глаза.

— А что?

— Нет, ничего. Продолжайте ваш интересный рассказ.

— Лебяжьи шкурки...— начал Тарт, смутился, упал духом, но скрепя сердце проговорил, смотря в сторону: — А бывало вам скучно, Дрибб?

— Скучно? Пф-ф-ф!.. сколько раз!

— Отчего?

— Более всего от желудка,— строго произнес Дрибб.— Я, видите ли, мой милый, рос в неге и роскоши, а нынешние мои обеды тяжеловаты.

— Неужели? — разочарованно спросил Тарт.— Значит, и у меня то же?

— А с вами что?

— Не знаю, я за этим к вам и пришел: не объясните ли вы? Неизвестно почему взяла меня сегодня тоска.

— А! — Дрибб, вытерев очки, укрепил их снова на горбатом переносье и, подперев голову кулаками, стал пристально смотреть на охотника.— Сколько вам лет?

— Скоро восемнадцать, но можно считать все восемнадцать; три месяца — это ведь не так много.

— Так,— заговорил как бы про себя Дрибб,— парню восемнадцать лет, по силе — буйвол, неграмотный, хорошей крови. А вы бывали ли в городах, Тарт?

— Не бывал.

— Видите ли, милый, это большая ошибка. Ваш дедушка был умнее вас. Кстати, где старик Энох?

— Шляется где-нибудь.

— Верно, он говорил вам о деде?

— Нет.

— Ваш дед был аристократ, то есть барин и чудак. Он разгневался на людей, стал охотником и вырастил такого же, как вы, дикаря — Эноха, а Энох вырастил вас. Вот вам секрет тоски. Кровь зовет вас обратно в город. Ступайте-ка, пошляйтесь среди людей, право, хорошо будет. Должны же вы наконец посмотреть женщин, которые носят ваших бобров и лисиц.

Тарт молчал. Прежний, сказочный, блестящий туман — вихрь, звучащий невнятными голосами, поплыл в его голове, было ему и чудно и страшно.

— Так вы думаете — не от желудка? — несмело произнес он, подняв голову.— Хорошо. Я пойду, схожу в город. А что такое город — по-настоящему?

— Город? — сказал Дрибб.— Но говорить вам о том что толковать слепому о радуге. Во всяком случае, вы не раскаетесь. Кто там? — И он встал, потому что в дверь постучали.

III

Вошедший подмигнул Дриббу, швырнув на стол двух роскошных бобров, и хлопнул по плечу Тарта. Это и был Энох, маленький худощавый старик с непередаваемо свежим выражением глаз, в которых суровость, свойственная трудной профессии охотника, уживалась с оттенком детского, наивного любопытства; подобные глаза обыкновенно бывают у старых солдат-служак, которым за походами и парадами некогда было думать о чем-либо другом. Энох, увидев сына, обрадовался и поцеловал его в лоб.

— Здравствуй, старик,— сказал Тарт.— Где был?

— Потом расскажу. Ну а ты как?

— Энох, сколько вы хотите за мех? — сказал Дрибб.— Торгуйтесь, да не очень, молодому человеку нужны деньги, он едет пожить в город.

— В город? — Энох медленно, точно воруя ее сам у себя, снял шапку и, перестав улыбаться, устремил на сына взгляд, полный тяжелого беспокойства.— Сынишка! Тарт!

— Ну что? — неохотно отозвался юноша. Он знал, что старик уже качает головой, и избегал смотреть на него.

Голова Эноха пришла в движение, ритмически, как метроном, падала она от одного плеча к другому и обратно. Это продолжалось минуты две. Наконец старик погрозил пальцем и крикнул:

— Не будь олухом, Тарт!

— Я им и не был,— возразил юноша,— но что здесь особенного?

— Ах, Дрибб! — сказал Энох, в волнении опускаясь на кровать.— Это моя вина. Нужно было раньше предупредить его. Я виноват.

— Пустяки,— возразил Дрибб, с серьезной жадностью в глазах глядя на пушистых бобров.

— Тарт и вы, Дрибб... нет, Дрибб, не вам: у вас свой взгляд на вещи. Тарт, послушай о том, что такое город. Я расскажу тебе, и если ты после этого все же будешь упорствовать в своем безумстве — я не стану возражать более. Но я уверен в противном.

Неясные огоньки блеснули в глазах Тарта.

— Я слушаю, старик,— спокойно сказал он.

— Дрибб, дайте водки!

— Большой стакан или маленький?

— Самый большой, и чтобы стекло потоньше, у вас такой есть.

Скупщик достал из сундука бутылку и налил Эноху. Тарт нетерпеливо смотрел на отца, ожидая, когда он приступит к рассказу о городе, который уже мучил и терзал его любопытство.

Дрибб закурил трубку и скрестил на груди руки: он слишком хорошо знал, что такое город. Но и ему было интересно послушать, за что, почему и как Энох ненавидел все, кроме пустыни.

— Мальчик,— сказал Энох, поглаживая бороду,— когда умирал мой отец, он подозвал меня к себе и сказал: «Мой сын, поклянись, что никогда твоя нога не будет в проклятом городе, вообще ни в каком городе. Город хуже ада, запомни это. А также знай, что в городе живут ужасные люди, которые сделают тебя несчастным навек, как сделали они когда-то меня». Он умер, а я и наш друг Канабелль зарыли труп под Солнечной скалой. Мы, я и Канабелль, жили тогда на берегу Антоннилы. Жгучее желание разгорелось во мне. Слова отца запали в душу, но не с той стороны, куда

следует, а со стороны самого коварного, дьявольского любопытства. Что бы ни делал я — принимался ловить рыбу, ставить капканы или следить белок — неотступно стоял передо мной прекрасным, как рай, видением город, и плыли над ним золотые и розовые облака, а по вечерам искусно выспрашивал я Канабелля, как живут в городе, он же, не подозревая ничего, рисовал передо мной такие картины, что огонь шумел в жилах. Видел я, что много там есть всего. Ну... через месяца полтора плыл я на пароходе в город; не зная, какие мне предстоят испытания, я был весел и пьян ожиданием неизвестного. Со мной, как всегда, были моя винтовка и пистолеты. Наконец, на третий день путешествия, я слез вечером в Сан-Риоле.

Первое время я стоял среди площади, не зная, куда идти и что делать. Множество народа суетилось вокруг, ехали разные экипажи, и все это было обнесено шестиэтажными домами, каких я никогда не видал. Долго бы я стоял и смотрел, как очарованный, на уличную толпу и магазины, если бы меня не ударило дышлом в бок; отскочив, я пошел, не знаю куда. В то время, когда я остановился у одного окна, где был выставлен стул с золотыми ножками, ко мне подошел бравый мужчина, одетый как граф, и сказал, кланяясь: «Вы, должно быть, первый раз в этом городе?» Я сознался, что так. «Я очень люблю молодых людей,— сказал он,— пойдемте, я покажу вам чудесную гостиницу». Мы познакомились, а он взял у меня взаймы половину моих денег, потому что сам должен был на другой день получить миллион. Сдержав обещание указать гостиницу, он подвел меня к чудесно освещенному дому и попрощался, сказав, что принесет деньги завтра к полудню. Я ударил в дверь гостиницы прикладом ружья и потребовал, чтобы меня впустили.

На стук раздались звонки, послышалась беготня, и несколько лакеев выросли передо мной. «Что имеете вы сказать губернатору?» — спросил один. Я сказал им, что если гостиницей заведует губернатор, прошу его пустить меня за хорошую плату переночевать. Тогда один из этих пигалиц захохотал, нахлобучил мне шапку на нос и щелкнул ключом, и все скрылись, крича: «Здесь живет губернатор!» — а я, вспылив, готов был стрелять в них, но было уже поздно и, по совести, следовало бы убить обманщика-графа.

Чрезвычайно расстроенный, направился я дальше

по улице, как вдруг услышал музыку и пение. Передо мной были украшенные флагами и фонарями ворота; тут же стояла кучка народа. Приблизившись, я спросил, что здесь такое. Все очень долго и внимательно смотрели на меня, наконец, почтенного вида человек, ласково улыбнувшись, объяснил мне, что это театр и что здесь можно видеть за деньги удивительные и приятные вещи. Я ничего не понял, но, заинтересовавшись, купил билет и направился, по указанию очень смущавшего меня своими услугами почтенного человека, в большой зал. Оглянувшись, я увидел, что за мной идет целая толпа народа и все смотрят на меня; пожав плечами, я решил не обращать на них внимания. Я сел неподалеку от большой стены с нарисованными на ней водопадами, и все, кто шел, расселись вокруг, указывая на меня пальцами. Смущенный, я упорно продолжал смотреть прямо перед собой, держа винтовку между колен, на всякий случай.

Наконец, подняли стену, заиграла музыка, и я увидел на небольшой площадке отъявленного по наружности мерзавца, который, спрятавшись за углом дома, кого-то поджидал. Очень скоро из переулка вышла прехорошенькая женщина; обращаясь ко мне, она сказала, что очень боится идти одна, но надеется на бога. Я хотел уже было предложить ей свои услуги и встал, но в это время показался ее знакомый, должно быть, жених, Эмиль, который утешил ее, сказав, что ее отец вернулся, а мамаша выздоровела; и они поцеловались при всей публике; тогда мерзавец, с которого я не спускал глаз, ловким выстрелом из пистолета свалил Эмиля и, подхватив упавшую в обморок девушку, хотел утащить ее, но я, быстро прицелившись, всадил ему в ногу пулю; я не хотел убить его, дабы его повесили. Разбойник закричал страшным голосом и упал, а девушка, моментально очнувшись, бросилась к нему, плача и обнимая его.

Не успел я удивиться ее странному поведению, как меня крепко схватили со всех сторон, вырвали ружье и повели из театра вон. Сначала я думал, что то приятели разбойника, но потом выяснилось, что эти люди так же, как и я, пришли за деньги посмотреть на злодейство. Я не понимал такого скверного удовольствия. Долго тащили меня по улицам, называя сумасшедшим, дикарем, дураком и как им хотелось, пока не ворвались все в пустую комнату одного дома, куда скоро пришел

главный полицейский и стал меня допрашивать. На все его вопросы я отвечал, что немыслимо было поступить иначе.

Мы долго спорили, и мало-помалу я увидел, что все уже не сердятся, а смеются. Полицейский сказал:

— Дорогой мой, все, что вы видели, происходит не на самом деле, а как будто на самом деле. Эти люди, в которых вы стреляли, получают жалованье за то, что прикидываются разбойниками, графами, нищими и так далее; чем лучше введут в обман, тем больше их любят, а зла они никому не делают.

Тут все наперерыв стали объяснять мне, и я все понял.

— Однако,— возразил я, не желая сдаваться сразу,— хорошо ли поступил тот граф, который сегодня выманил у меня деньги и привел к дому губернатора вместо гостиницы?

Все пожелали узнать, в чем дело, и заставили описать наружность графа. Оказалось, что это мошенник, и его давно ищет полиция, и старший полицейский обещал мне скоро вернуть деньги. После этого кое-кто из публики отвел меня в настоящую гостиницу, где я и уснул, очень довольный роскошным помещением.

Мне уже начинало становиться страшно жить в городе, но я, устыдившись своего малодушия, решил жить до тех пор, пока не узнаю всего. Деньги мне, поймав мошенника, возвратили через старшего полицейского, который также сказал, что подстреленный мной неопасно актер выздоровел и ругает меня. Прожив все деньги, я поступил рабочим на мыловаренный завод, где мне приходилось грузить ящики с товаром. К тому времени я несколько осмотрелся и знал уже многое. Товарищи очень любили меня, я рассказывал им о лесах и озерах, животных и птицах и обо всем, чего нет в городе. Но, на мою беду, приехал хозяин. Однажды я пристально осмотрел его плотную фигуру, шагавшую по двору с петушиной важностью, и продолжал заниматься своим делом, как вдруг, подбежав ко мне, он стал кричать, почему я ему не кланяюсь. Я, оторопев сначала, сказал, что мы не знакомы, а если он хочет познакомиться, пусть скажет об этом. Он едва не умер от гнева и не задохся. Долго толковал он мне, что все рабочие должны ему кланяться. «Сударь,— сказал я,— я делаю свое дело за деньги и делаю исправно, этим наши обязательства кончены, что вы еще хотите?» И действитель-

но, я никак не мог понять, в чем дело. «Грубиян,— сказал он,— молокосос!» — «Сударь,— возразил я, подходя к нему,— у нас такие вещи решаются в лесу винтовками. Не хотите ли прогуляться?» Он убежал, я же рассердился и покинул завод.

И вот на каждом почти шагу, Тарт (налейте мне еще стаканчик, Дрибб!), убеждался я, что в городе все устроено странно и малопонятно. Лгут, обманывают, смеются, презирают людей ниже или беднее себя и лижут руки тем, кто сильнее. А женщины! О господи! Да, я был влюблен, Тарт, я познакомился с этой коварной девушкой вечером на гулянье. Так как она мне понравилась, то я подошел к ней и спросил, не желает ли она поговорить со мной о том, что ей более всего приятно. Она объяснила, что ей приятно разговаривать обо всем, кроме любви. Тогда я стал рассказывать ей о силках и о том, как делают челноки. Она подробно расспрашивала меня о моей жизни и, наконец, осведомилась, был ли я когда-нибудь влюблен, но так как мне о любви говорить было запрещено ею же самой, я счел этот вопрос просто желанием испытать меня и свернул на другое.

Девушка эта была портниха. Мы условились встретиться на следующий день и стали видеться часто, но я, хотя и любил ее уже без памяти, однако молчал об этом.

— Энох,— сказала она как-то раз,— вы, может быть, любите меня?

Я пожал плечами.

— Не могу говорить об этом.

— Почему?

— Вы не желаете.

— Вы с ума сошли! — Она недоверчиво посмотрела на меня.

— Я помню всегда, что говорю,— возразил я,— а вы забыли. Две недели назад вы выразили желание не говорить о любви.

— Хм! — Она качала головой.— Нет, теперь можно, Энох, слышите?

— Хорошо. Я страшно люблю вас. А вы меня?

— Не знаю...

Я ужасно удивился и спросил, как можно не знать таких вещей. Далее мы поссорились. Она твердила, что, может быть — любит, а может быть — не любит и не знает даже, почему «может быть», а не «да» или «нет».

Мне стало грустно. Совершенно я не мог понять этого. Однако после этого мы продолжали видеться, и я как-то спросил: знает ли она наконец теперь?

— Тоже не знаю! — сказала она и громко расхохоталась.

Рассерженный, я встал.

— Мне нечего тогда больше затруднять вас,— заявил я.— Я потерял надежду, что вы когда-нибудь узнаете такую простую вещь. Прощайте.

Я повернулся и пошел прочь с горем в душе, но не обращая внимания на ее крики и просьбы вернуться. Я знал, что если вернусь, опять потянется это странное: «знаю — не знаю», «люблю — не люблю»,— я не привык к этому.

И вот я затосковал. Потянуло меня снова в пустыню, которая не обманывает и где живут люди, которые знают, что они сделают и чего хотят. Надоело мне вечное двоедушие. Что ты думаешь, Тарт, а ведь та девушка очень похожа на город: ничего верного. Ни «да», ни «нет» — ни так, ни этак, ни так, ни сяк. Вернулся я и не пойду больше в город.

Теперь ты убедился, сын, что я прав, предостерегая тебя. Наш дикий простор и суровая наша жизнь — куда лучше духовного городского разврата. Эй, говорю я, возьми мозги в руки, не будь олухом!

IV

Энох так разволновался, что стал размахивать ружьем и топать ногами; Дрибб сидел, не шевелясь, изредка улыбаясь и посматривая на Тарта. Глаза Тарта то вспыхивали, то гасли, мечтательность проявлялась в них, порой усмешка или угроза; он, по-видимому, мысленно был во все время рассказа Эноха в диковинном краю чужой жизни — городе.

— Ах,— сказал юноша,— спасибо, отец, за рассказ. Я вижу, что город очень занятная штука, и скоро там буду. Каждый за себя, братец!

— Сынишка! — вскричал Энох.

— Что — сынишка,— стукнув прикладом об пол, сказал Тарт,— я сумею постоять за себя.

— Сказка про белого бычка,— вздохнул Дрибб и налил старику водки.

ТИХИЕ БУДНИ

I

Евгения Алексеевна Мазалевская приехала на лето в деревню к родственникам. Это были ее дядя и тетка по мужу, жена его. Мать девушки умерла, когда дочери минуло шесть лет, отец же, директор гимназии, жил в Петербурге, один. Он был человек желчный и жестокий, нетерпимый к чужому мнению, честолюбивый и резкий, странное соединение бюрократа и либерала. По отношению к дочери он был настоящим Домби, хотя славянская кровь мешала ему выдерживать эту марку вполне. Несомненно, что девушку он любил, так же как и она его, но с его стороны любовь была раздражительная и деспотическая, требующая подчинения своим взглядам; с ее — простая, но замкнутая и гордая, так как старик никогда почти не высказывался прямо, а лишь замысловатыми, похожими на ребус намеками, и мог привести кого угодно в исступление неожиданными поворотами от скупой мягкости к беспричинному или, по крайней мере, невыясненному озлоблению. Это были тяжелые, обидные для молодой девушки отношения. Причина их крылась, конечно, в характере отца, но причина эта, как и внутренняя его жизнь, для Евгении были секретом. Ее постоянно тянуло к отношениям простым и сердечным, но многие впечатления жизни сложились так, что, утратив ясную непосредственность души, она стала замкнутой и пугливой, внутренно умолкла, как оторопевший от неожиданного оскорбления человек, и проходила жизнь с печальным недоверием к ней, стараясь быть в стороне.

Разумеется, эта бледная городская девушка с удовольствием ушла на время от тяжелых отношений с отцом, от службы (она служила в конторе медицинского журнала) и, улыбаясь летним удовольствиям, отправилась к дяде, которого видела один раз в жизни. Дядя, помещик, страдающий постоянными неудачами в разведении кукурузы, персиков, аргентинских огурцов и других разорительных для северного кармана вещей, рассеянно смотрел на племянницу поверх очков наивными глазами благодушного дворянина, совал ей в руку сельскохозяйственные брошюрки, рассказывал о клубнике,

а по утрам, с газетой в руках, усердно растирая лоб, стучал в дверь Евгении. «Смотри-ка,— говорил он, входя,— удивительнейшее сообщение: оказывается, что в египетском сфинксе эти черти, как их... бельгийцы... открыли храм. Вот удивительно». Видя мужика, он страдал, морщился и говорил «вы», на что мужик почтительно возражал: «Так ты, батюшка, Пал Палыч, ужо отколупни выгону, без эстого где же?» Управляющий, он же староста деревенской церкви, воровал как хотел. Павел Павлович прекрасно играл на рояле; во время игры его лицо становилось дельным и энергичным. Города он не любил; служил раньше по выборам, но бросил, говоря: «Что с ними поделаешь — повернут, как хотят». Его жена, Инна Сергеевна, томная, с болезненным, лимонного цвета, лицом, рыхлая дама, могла часами вспоминать Петербург. Супруги иногда ссорились, шепотом, без увлечения, с досадливой скукой в сердце. Инна Сергеевна, вздыхая, говорила мужу: «Паша, я отдала тебе все, все,— вы узкий, неблагодарный человек»,— на что, вытирая вспотевшие очки, Павел Павлович отвечал: «Кто старое вспомянет, тому глаз вон». Гости, боясь скуки, ездили к ним редко и неохотно.

Евгения Алексеевна проводила время в прогулках, чтении, раздумье, сне и еде. Через две недели она заметно поправилась, порозовела, в глазах появился здоровый блеск. Ленивая тишина лета укрепила ее. В это же самое время в губернском городе соседней губернии произошло следующее.

II

Молодой человек Степан Соткин, из мещан, после долгого отсутствия вернулся домой. Он прослужил три года, где и как придется, в разных местах России: кассиром на пароходе, весовщиком на станции, кондуктором и агентом полотняной фирмы. Он не переписывался с родителями почти год, так что, по возвращении, для него было большой и серьезной новостью известие о смерти старшего брата, в силу чего Степану Соткину приходилось тянуть жребий. Призывных в этом году было немного, льготный жребий требовал счастья исключительного, а забраковать Соткина не могли, потому что это был человек здоровый, рослый и быстрый.

Вечером в саду под бузиной произошло семейное чаепитие. Старик Соткин, вдовец, сторож казенной палаты сказал:

— Отымут тебя, Степан. Гриша померши, а тебе — лоб. С Петькой останусь.

— Это еще неизвестно,— ответил Степан.— Я, собственно, к военной службе охоты никакой не имею.

После четырех лет скитаний он думал о солдатской лямке с ненавистью и отвращением. С шестнадцати лет Соткин привык жить вполне независимо, переезжая из города в город, тратя, как хотел, свои силы, труд и деньги. Ему вспомнилась бойкая, цветная Москва, голубая Волга, гул ярмарки в Нижнем, нестройная музыка Одесского порта; перед ним, окутанный паровозным дымом, бежал лес. И Соткин покрутил головой.

— Да, неохота,— повторил он.

— Выше ушей не прыгнешь,— сказал старик.— Бежать, что ли? В Англию. Два года восемь месяцев,— авось стерпишь.

Соткин вздохнул и, выйдя побродить, зашел в пивную. Там, сжав голову руками, он просидел за бутылками до закрытия и, тщательно обсудив положение, решил, что служить придется. Жизнь за границей и манила его, но и пугала невозможностью вернуться в Россию. «Служить так служить,— сказал он, подбрасывая в рот сухарики,— так и будет».

Его назначили в Пензу. Обычное недоумение и растерянность новобранцев перед новыми условиями жизни (в большинстве — «серых» деревенских парней), а также наивное тщеславие их, удовлетворяемое красными новенькими погонами, треском барабана и музыкой, были чужды Соткину. Как человек бывалый и развитой, он быстро усвоил всю несложную мудрость шагистики и вывертывания носков, выправку, съедание начальства глазами, ружейный механизм и — так называемую «словесность». Ровный, спокойный характер Соткина помогал ему избегать резких столкновений с унтерами и «старыми солдатами», помыкавшими новичками. Он не старался выслужиться, но был исполнителен. Все это не мешало ближайшему начальству Соткина — подвзводному, взводному, фельдфебелю и каптенармусу (играющему, обыкновенно, среди унтеров роль Яго; теплое, хозяйственное положение каптенар-

муса — предмет зависти — делает его сплетником, интриганом и дипломатом) — относиться к молодому солдату холодно и неодобрительно.

Есть порода людей, к которым можно, изменив, отнести слова Гольдсмита: «Я вполне уверен, что никакие выражения покорности не вернут мне свободы и на один час». Соткин мог бы сказать: «Никакие усилия быть образцовым солдатом не доставят мне благоволения унтеров».

Соткин принадлежал к числу людей, которые обладают несчастной способностью, находясь в зависимости, вызывать, без всякой своей заботы об этом, глухую беспричинную вражду со стороны тех, от кого люди эти зависят. Провинностей по службе и дисциплине за ним никаких не было, но внутреннее отношение его к службе, вполне механическое и безучастное,— неуменье заискивать, вылезать, льстить, изгибаться и трепетать — выражалось, вероятно, вполне бессознательно, в пустяках: случайном, пристальном или беглом взгляде, улыбке, тоне голоса, молчании на остроту унтера, спокойных ответах, быстрых движениях. Он чистил фельдфебелю сапоги, не морщась, но только по приказанию; другие же, встав рано, с непонятным сладострастием угодливости работали щетками. Он, кроме всего этого, пил каждый день чай с белым хлебом и не должал маркитанту. Солдаты уважали его, а мелкая власть, холодно поблескивая глазами, смотрела на Соткина туманно-равнодушным взглядом кота, созерцающего воробьев в воздухе.

Такие отношения, разумеется, рано или поздно, должны были обостриться и выясниться. Наступил лагерный сбор. За Сурой раскинулись белые, среди зеленых аллеек, палатки О-ского батальона. Солдаты, возвращаясь с учебной стрельбы, хвастались друг перед другом меткостью прицела, мечтая о призовых часах. Соткин, стреляя плохо, редко пробивал мишень более чем двумя пулями из пяти. Первый окрик фельдфебеля: «Соткин, смотри!» — и второй: «Ворона, а еще в первой роте!» — заставили его целиться тщательнее и дольше; однако, более чем на три пули махальный не показывал ему красный значок. Через месяц перешли к подвижным мишеням.

На горизонтальном вращающемся шесте, за триста шагов, медленно показываясь из траншеи и пропадая, выскакивали поясные фигуры. Взвод стрелял лежа.

Удушливая, огненная жара струила над полем бесцветные переливы воздуха, мушка и прицельная рамка блестели на солнце, лучась, как пламя свечи лучится прищурившемуся на нее человеку. Целиться было трудно. Вдали, на уровне глаз, ныряли, величиной с игральную карту, двухаршинные поясные мишени.

Соткин, удерживая дыхание, прицелился и дал мишени исчезнуть, с тем чтобы выстрелить при следующем ее появлении.

Мишень появилась. Соткин выстрелил, пуля, выхлестнув далеко пыль, запела и унеслась. Он истратил зря и остальные четыре патрона, не попал.

— Под ранец,— сказал ротный. Соткин густо покраснел и насупился. Ему приходилось в первый раз отбывать наказание. Досада и беспричинный стыд овладели им, как будто он действительно чем-то замарал себя в глазах окружающих, но скоро понял, что стыдно лишь потому, что придется стоять истуканом в полном походном снаряжении два часа, все будут смотреть и хоть мысленно улыбаться.

Рота, кончив стрельбу, с молодецкими песнями о «генерал-майоре Алхаз» и «крутящемся голубом шаре», вернулась в лагерь. Соткина разыскал взводный.

— Соткин,— равнодушно сказал он, кусая губу,— оденься и на линейку.

Солдат, выслушав приказание, вернулся в палатку, повесил на себя все, что требовалось уставом,— манерку, патронташи, скатанную шинель, сумку, взял винтовку и вышел, готовый провалиться сквозь землю. Красный, как пион, Соткин смотрел в холодное лицо унтера едва не умоляющими глазами. Унтер, осмотрев снаряжение, отвел Соткина к середине линейки и поставил лицом к лагерю...

— Так-то,— сказал он и посмотрел на часы, а затем ушел.

Соткин взял «на плечо». Солдаты, проходя мимо него, бросали косые взгляды — так странно было видеть под ранцем именно Соткина. Он, обливаясь потом, мучился терпеливо и стойко; нестерпимо жгло солнце, накаливая затылок, и от жары в ноющем от тяжести и неестественного положения руки теле пробегал нервный озноб. Седой фельдфебель, улыбаясь в усы, подошел к Соткину, открыто и ласково посмотрел ему в глаза и так же ласково произнес:

— Ближе носки. Локоть.

Прошло два часа. Соткина отпустили, он пришел в палатку и долго, делая вид, что чего-то ищет, рылся в сундучке, избегая разговаривать с товарищами. Смущение его прошло только к вечеру.

Через день снова была стрельба, но на этот раз — случайно или нет — Соткин попал из пяти четыре. Солдат облегченно вздохнул.

— В первый разряд попадешь,— монотонно сказал ему, проходя в цепи, взводный,— на приз выйдешь, часы получишь.

Он, конечно, смеялся. Соткин так это и понял, но только махнул рукой, думая: «Собака лает — ветер носит». Их глаза встретились на одно лукавое, немое мгновение, и Соткину стало ясно, что унтер определенно и жестоко будет ненавидеть его за все, что бы он ни сделал, плохо или хорошо — все равно, за то, что он — Соткин.

Прошло несколько дней. Взвод чистил ружья. Тряпочка, навернутая на конец шомпола, давно уже выходила из дула чистой, как стираная, и Соткин стал собирать разобранную винтовку. Ефрейтор, наблюдающий за работой, подошел к Соткину.

— Дай-ка взглянуть.— Он поднес дуло к глазам, обратив другой конец ствола к солнцу, смотрел долго, увидел, что вычищено отлично, и поэтому заявил:

— Три. Протирай еще.

— Там ничего нет,— возразил Соткин, показывая протирные тряпки,— вот, посмотрите.

— Если я говорю...— начал ефрейтор, пытаясь подобрать выразительную, длинную фразу, но запнулся.— Почисти, почисти.

Соткин для виду поводил шомполом в дуле минут десять, но уже чувствовал подымающийся в душе голос сопротивления. Этот день был для него исключительно неприятным еще потому, что утром он потерял деньги, восемь рублей, а вечером произошло обстоятельство неожиданное и крутое.

Человек тридцать солдат, поужинав, собрались в кружок и, под руководством организовавшего это увеселение фельдфебеля, пели одну за другой солдатские песни. Слушая, стоял тут же и Соткин. У него не было ни слуха, ни голоса, поэтому, не принимая участия в хоре, он ограничивался ролью человека из публики. Разгоряченный, охрипший уже фельдфебель, без шапки, в розовой ситцевой рубашке, простирая над толпой руки,

яростно угрожал тенорам, выпирал басов и тушевал так называемые «бабьи голоса», обладатели которых во всех случаях были рослыми мужиками. Стемнело, в городе блеснули огоньки.

— Соткин, пой,— сказал фельдфебель, когда песню окончили.— Ты не умеешь, а?

— Так точно, не умею.— Соткин улыбнулся, думая, что фельдфебель шутит.

— Ты никогда не пел?

— Никогда.

— Постой.— Фельдфебель вышел из круга и, подойдя к солдату вплотную, внимательно осмотрел его с ног до головы.— Учись. «До-ре-ми-фа»... Ну, повтори.

— Я не умею,— сказал Соткин и вдруг, заметив, что маленькие глаза фельдфебеля зорко остановились на нем, насторожился.

— Ну, пой,— вяло повторил тот, полузакрывая глаза.

Соткин молчал.

— Ты не хочешь,— сказал фельдфебель,— я знаю, ты супротивный. Исполнь приказание.

Соткин побледнел; в тот же момент побледнел и фельдфебель, и оба, смотря друг другу в глаза, глубоко вздохнули. «Так не пройдет же этот номер тебе»,— подумал солдат.

— Сполни, что сказано.

— Никак нет, не умею, господин фельдфебель,— раздельно произнес Соткин и, подумав, прибавил: — Простите великодушно.

Радостная, веселая улыбка озарила морщины бравого служаки.

— Ах, Соткин, Соткин,— вздыхая, сказал он, сокрушенно покачал головой и, сложив руки на заметном брюшке, весело оглянулся. Солдаты, перестав петь, смотрели на них.— Иди со мной,— сухо сказал он, более не улыбаясь, сощурил глаза и зашагал по направлению к городу.

Взволнованный, но не понимая, в чем дело, Соткин шел рядом с ним. За его спиной грянула хоровая. Невдалеке от лагеря тянулся старый окоп, густо поросший шиповником и крапивой; в кустах этих фельдфебель остановился.

— Учили нас, бывало, вот так,— сказал он, деловито и не торопясь ударяя из всей силы Соткина по лицу; он сделал это не кулаком, а ладонью, чтобы не

оставить следов. Голова Соткина мотнулась из стороны в сторону. Оглушенный, он инстинктивно закрылся рукой. Фельдфебель, круто повернув солдата за плечи, ткнул его кулаком в шею, засмеялся и спокойно ушел.

Соткин неподвижно стоял, почти не веря, что это случилось. Обе щеки его горели от боли, в ушах звенело, и больно было пошевелить головой. Он поднял упавшую фуражку, надел и посмотрел в сторону лагеря. Солдаты пели «Ой, за гаем, гаем...», в освещенных дверях маркитантской лавочки виднелись попивающие чаек унтеры. Смутно белели палатки.

— А меня бить нельзя,— вслух сказал Соткин, обращаясь к этой мирной картине военной жизни.— Меня за уши давно не драли,— продолжал он,— я не позволю, как вы себе хотите.

Он посидел минут пять на земле, глотая слезы и вспоминая противное прикосновение кулака, затем пробрался в палатку, накрылся, не раздеваясь, шинелью и стал думать.

Впереди было два года службы. За это время могло представиться еще много случаев для вспыльчивости начальства, а Соткин, человек не из любящих покорно сносить оскорбления, мог, не удержавшись, вспылить наконец сам, что обыкновенно вело еще к худшему. Он знал по рассказам историю некоторых солдат, затравленных до каторги; это происходило в такой последовательности: светлый и темный карцер, карцер по суду, дисциплинарный батальон, кандалы. Но трудно было ожидать перемены ветра. Воспоминания говорили Соткину, что начальство, перебивающее окриком: «Эй ты, профессор кислых щей, составитель ваксы,— на молитву!» — какой-нибудь пустяшный рассказ солдатам об Эйфелевой башне,— пользуется своей властью не только в деловых целях, но и потому, что это власть, вещь приятная сама по себе, которую еще приятнее употребить бесцельно по отношению к человеку душевно сильному. В этом был большой простор для всего.

«Могу здесь погубить свою жизнь, на это пошло»,— думал Соткин. Наконец, приняв твердое решение более не служить, он уснул.

Через день Соткина утром на перекличке не оказалось. Фельдфебель написал рапорт, ротный написал полковому, полковой в округ; еще немного чернил

было истрачено на исправление продовольственных ведомостей, а в городских и уездных полициях отметили, почесывая спину, в списках иных беглых и бродящих людей, мещанина Степана Соткина.

III

— Очень люблю я ершей,— сказал Павел Павлович, подвигая жене тарелку,— только вот мало в ухе перцу.

Обедали четверо — дядя, тетка, Евгения Алексеевна, и старый знакомый Инны Сергеевны, которого она знала еще гимназистом,— Аполлон Чепраков, земский начальник. Это был человек с выпуклым ртом и такими же быстро бегающими глазами; брил усы, носил темную бородку шнурком, похожую на ремень каски, имел курчавые волосы и одевался, живя в деревне, в спортсменские цветные сорочки, обтянутые по животу широким, с цепочками и карманами, поясом. Особенным, удивительным свойством Чепракова была способность говорить с маху о чем угодно, уцепившись за одно слово. Он гостил в имении четыре дня, ухаживал за Евгенией Алексеевной и собирал коллекцию бабочек.

— Да, в самом деле,— заговорил Чепраков,— ерш с биологической точки зрения, ерш, так сказать, свободный — одно, разновидность, а сваренный, как, например, теперь,— он ковырнул ложкой рыбку,— предмет, требующий луку и перцу. Щедрин, так тот сказку написал об ерше, и что же, довольно остроумно.

— Пис-карь,— страдальчески протянул Павел Павлович,— пис-карь, а не ерш.

— А,— удивился Чепраков,— а я было... Я ловил пискарей... когда это... прошлым летом... Евгения Алексеевна,— неожиданно обратился он,— вы напоминаете мне плавающую в воде рыбку.

— Аполлон,— вздохнула Инна Сергеевна, жеманно сося корочку,— посмотрите, вы сконфузили Женю, ах, вы!

— Галантен, как принц,— добродушно буркнул Павел Павлович.

Девушка рассмеялась. Большой, легкомысленный Чепраков больше смешил ее, чем сердил, неожиданными словесными выстрелами. Он познакомился с ней

тоже странно: пожав руку, неожиданно заявил: «Бывают встречи и встречи. Это для меня очень приятно, я поражен»,— и, мотнув головой, расшаркался. Говорил он громко, как будто читал по книге не то что глухому, а глуховатому.

— Аполлон Семеныч,— сказала Евгения,— я слышала, что вы были опасно больны.

— Да. Бурса мукоза.— Чепраков нежно посмотрел на девушку и повторил с ударением: — Мукоза. Я склонял голову под ударом судьбы, но выздоровел.

Этой темы ему хватило надолго. Он подробно назвал докторов, лечивших его, лекарства, рецепты, вспомнил сестру милосердия Пудикову и, разговорившись, встал из-за стола, продолжая описывать больничный режим.

Обычно после обеда, если стояла хорошая погода, Евгения уходила в лес, начинавшийся за прудом; дядя, покрыв лицо платком, ложился, приговаривая из «Кармен»: «Чтобы нас мухи не беспокоили»,— и засыпал в кабинете; Инна Сергеевна долго беседовала на кухне с поваром о неизвестных вещах, а потом шла к себе, где возилась у зеркала или разбирала старинные кружева, вечно собираясь что-то из них сделать. Чепраков, захватив сетку для бабочек, булавки и пузырек с эфиром, стоял на крыльце, поджидая девушку, и, когда она вышла, заявил:

— Я пойду с вами, это необходимо.

— Пожалуйста.— Евгения посмотрела, улыбаясь, в его торжественное лицо.— Необходимо?

— Да. Вы — слабая женщина,— снисходительно сказал Чепраков,— поэтому я решил охранять вас.

— К сожалению, вы безоружны, а я, как вы сказали,— слаба.

— Это ничего.— Чепраков согнул руку.— Вот, пощупайте двуглавую мышцу. Я выжимаю два пуда. У меня дома есть складная гимнастика. Почему не хотите пощупать?

— Я и так верю. Ну, идемте.

Они обогнули дом, пруд и, перейдя опушку, направились по тропинке к местной достопримечательности — камню «Лошадиная голова», похожему скорее на саженную брюкву. Чепраков, пытаясь поймать стрекозу, аэропланом гуляющую по воздуху, разорвал сетку.

— Это удивительно,— сказал он,— от ничтожных причин такие последствия.

— Ну, я вам зашью,— пообещала Евгения.

— Вы, вашими руками? — сладко спросил Чепраков.— Это счастье.

— Да перестаньте,— сказала девушка,— идите смирно.

— Нет, отчего же?

— Оттого же.

«Право, я начинаю говорить его языком»,— подумала девушка. Говорливость Чепракова парализовала ее; она с неудовольствием замечала, что иногда бессознательно подражает ему в обороте фразы. Его манера высказываться напоминала бесконечное, надоедливое бросание в лицо хлебных шариков. «Неужели он всегда и со всеми такой? — размышляла Евгения.— Или рисуется? Не пойму».

Остро пахло хвоей, муравьями и перегноем. Красные стволы сосен, чуть скрипя, покачивали вершинами. Чепраков увидел синицу.

— Вот птичка,— сказал он,— это, конечно, избито, что птичка, но тем не менее трогательное явление.— Он покосился на тонкую кофточку своей спутницы, плотно облегавшую круглые плечи, и резко почувствовал веяние женской молодости. Мысли его вдруг спутались, утратив назойливую хрестоматичность, и неопределенно запрыгали. Он замолчал, скашивая глаза, отметил пушок на затылке, тонкую у кисти руку, родинку в углу губ. «Приятная, ей-богу, девица,— подумал он,— а ведь, пожалуй, еще запретная, да».— А я завтра в город,— сказал он,— масса дела, разные обязательства, отношения; четыре дня, прекрасно проведенные здесь, принесли мне, собственно, физическую и духовную пользу, и я снова свеж, как молодой Дионис.

— А вы любите свое дело? — спросила, кусая губы, Евгения.

— Как же! Впрочем, нет,— поправился Чепраков.— Я — не кто иной, как анархист в душе. Мне нравится все грандиозное, страстное. Мужики — свиньи.

— Почему?

— Они грубо-материальны.

— Но ведь и вы получаете жалованье.

— Это почетная плата, гонорар,— веско пояснил Чепраков. Он коснулся пальцами локтя Евгении, говоря: — К вам веточка пристала,— хоть веточку эту придумал после долгого размышления.— Теперь вот

что,— серьезно заговорил он, бессознательно попадая в нужный тон,— что говорить обо мне, я человек маленький, делающий то, что положено мне судьбою. Вы, вы как живете? Что думаете, о чем мечтаете? Что наметили в жизни? Вот что интереснее знать, Евгения Алексеевна.

— Это сразу не говорится,— заметила девушка.

— Ну а все-таки? Ну как?

Искусно впав в искренность, Чепраков сам не знал, зачем это ему нужно; вероятно, он переменил тон путем бессознательного наблюдения, что люди застенчивые часто говорят посторонним то, что не всегда скажут людям более близким, а зачем нужно ему было это, он не знал окончательно.

Они подошли к камню. «Что же я скажу?» — подумала Евгения. Она не знала, какой представляет ее Чепраков, но чувствовала, что не такой, какой она есть на самом деле. В этом, а также в особом настроении, происходящем от того, что иногда случайный вопрос собирает в душе человека его рассеянное заветное в одно целое,— была известная доля желания рассказать о себе. Кроме того, ей было почему-то жаль Чепракова и казалось, что с ним можно наконец разговориться без птичек и Дионисов.

— Видите ли, Аполлон Семеныч,— нерешительно начала она, садясь на траву; Чепраков же, подбоченясь, стоял у камня,— у меня в жизни два требования. Я хочу, во-первых, заслужить любовь и уважение людей, во-вторых,— находиться в каком-нибудь большом, очень нужном и важном деле и так тесно с ним слиться, чтобы и я, и люди, и дело,— было одно. Понимаете? Впрочем, я не умею выразить. Но это найти мне не удается, или я не гожусь,— не знаю. Но ведь трудно, не правда ли, найти такое, в чем не были бы замешаны страсти и личные интересы, честолюбие. Это меня, сознаюсь, пугает. Личная жизнь не должна путаться в это дело ничем, пусть она течет по другому руслу. Тогда я жила бы, как говорят, полной жизнью.

— Н-да,— протянул Чепраков, усаживаясь рядом,— не многим, не многим дано. Я глубоко уважаю вас. А что вы скажете о главном,— главном ферменте жизни? То сладкое, то... одним словом — любовь?

— Ну, да,— быстро уронила Евгения,— конечно...— Она смутилась и разгорелась, затем, как бы оправды-

ваясь и уже сердясь на себя за это, прибавила: — Ведь все равны здесь, и мужчины.

— А как же! — радостно подхватил Чепраков.— Даже очень.

Девушка рассмеялась.

«А я, ей-богу, попробую,— думал Чепраков,— молоденькая... девятнадцать лет... жизни не знает...— Далее он продолжал размышлять, по привычке, как говорил, рублеными фразами: — Как занятно пробуждение любви в женском сердце. Долой лозунги генерала Куропаткина. Милая, вы неравнодушны ко мне. Иду на вы».

— Евгения Алексеевна,— выпалил Чепраков,— вот где была бурса мукоза, а? Посмотрите.

Он быстро засучил брюки на левой ноге по колено, обнажив волосатую икру и белый рубец. Евгения, внезапно остыв, удивленно смотрела на Чепракова.

— Что с вами? — спросила она, вставая.

— Это мукоза.— Чепраков обтянул брюки.— Какая белая кожа... и у вас тоже... рука.

Евгения машинально посмотрела на свою руку и увидела, что эта рука очутилась в руке Чепракова, он поцеловал ее и прижал к левой стороне груди.

— Ну, оставьте,— спокойно, но изменившись в лице, сказала Евгения.— Руки прочь.

— Нет — отчего же? — наивно сказал Чепраков.— Это внезапное, глубокое.

Девушка подняла зонтик, повернулась и неторопливо ушла. Чепраков стоял еще некоторое время на месте, жестко смотря ей вслед, потом фальшиво зевнул, прошел другой тропиночкой в усадьбу, взял удочку и просидел на речке до ужина.

За столом он избегал смотреть на Евгению, а она на него; это про себя отметила тетка. На другой день утром Чепраков уехал в город, успев на прощанье шепнуть молчаливой девушке:

— Я пережил тонкие, очаровательные минуты.

IV

Евгения держала в руках письмо, с недоумением рассматривая школьный, полумужской почерк. Наконец, потеряв надежду угадать, от кого это письмо, так как в уездном городе знакомых у нее не было, а штем-

пель на конверте гласил: «Сабуров», девушка приступила к чтению.

— Что, что такое?..— вскричала она вне себя от изумления и обиды. Держа письмо дрожащей рукой, она нагнулась к нему, растерявшись от неожиданности,— так много было в нем обдуманной злобы, яда и издевательства.

«Милостивая государыня,
Госпожа Евгения Алексеевна.

Не знаю, прилично ли молодой девушке из благородных (хороши благородные) таскаться с женатым человеком. Вас, видно, этому обучают. Скажите, как вам не стыдно. Если вы так ведете себя, значит, хороши были ваши родители. Аполлоша мне все рассказал. Некрасиво довольно с вашей стороны, барышня. Хотя мы и не венчаны, а живем, слава богу, четвертый год. А я отбивать своего мужчину не позволю. Если вы в него влюблены, советую забыть, треплите хвост в другом месте. На интеллигентность вашу никого вы себе не поймаете, лучше оставьте про себя.

Готовая к услугам
Мария Тихонова».

Прочитав до конца, Евгения Алексеевна опустила руки и беспомощно осмотрелась. Болезненный, нервный смех душил ее. Она даже не сразу поняла, от кого это письмо. Отдельные фразы, и наиболее оскорбительные, одна за другой появились перед нею в воздухе, как на экране, подавляя своей внушительной безапелляционностью; это походило на сон, в котором, желая бежать от страшного явления, не можешь двинуться с места. Она даже подумала, не мистификация ли это того же Чепракова, грубая, сумасшедшая, но все же мистификация; однако трудно было придумать нарочно что-либо подобное такому письму. Старый страх перед жизнью охватил девушку, она угадывала, что человек роковым образом беззащитен душой и телом; и даже у Зигфрида, с головы до ног покрытого роговой кожей, было на спине место, величиною с древесный лист, пропустившее смерть. Вся печально-смешная сцена третьего дня, с «бурса мукозой» и целованием рук, ожила перед девушкой; жгучая краска стыда залила ее с ног до головы при мысли, что — это было больнее всего — случайная ее откровенность известна

Марии Тихоновой в подозрительной передаче, приобретая смысл нелепо позорный и вызывающий, вероятно, хихиканье.

Евгения сидела у себя наверху одна, и это помогло ей оправиться от оскорбительной неожиданности. Случись такая история лет на пять позже, она, должно быть, отнеслась бы, внешне, к этому несколько иначе: или совсем не ответила бы на письмо, или написала бы спокойный, внятный ответ. Но в теперешнем своем возрасте она не научилась еще взвешивать обстоятельства, продолжая считаться с людьми близко и очень подробно, до конца. Адрес Тихоновой в письме был; автором, видимо, руководило известное любопытство вызова. Евгения Алексеевна посмотрела на часы: шесть. Желая прекратить лично и как можно скорее то, что она еще считала недоразумением, девушка, приколов шляпу и взяв письмо, сошла вниз.

Ей предстояло одолеть четыре версты пешком; не было никакого предлога сказать, чтобы запрягли лошадь. Она вышла с заднего крыльца на деревню, обернулась, посмотрев, не следит ли за ней кто из домашних, и быстро направилась к городу, видимому уже с ближайшего холма красным пятном казенного винного склада, белыми колокольнями и садами. Волнение не покидало ее, наоборот: чем ближе она подходила к темным заборам Сабурова, тем нестерпимее казалось медленно сокращающееся расстояние. Девушка была твердо уверена, что заставит слушать себя и что ей дадут все нужные объяснения.

Наконец она вошла в город. Евгения бывала здесь раньше. Ступая по нетвердым доскам тротуаров, густо обросших крапивой с ее острым, глухим запахом, девушка вспомнила один вечер, когда, возвращаясь с концерта заезжего пианиста в гостиницу, где поджидал ее, чтобы уехать вместе, Павел Павлыч, неторопливо шла по улицам. Городок засыпал. Еще светились кое-где красные и лиловые занавески; на высокой голубятне сонно гурлили голуби; на площади, у всполья, доигрывали последнюю партию в рюхи слободские мещане; старый нищий, стоя в темноте на углу, разводил, бормоча нетрезвое, руками; из раскрытых окон квартиры воинского начальника неслась плохо разученная «Молитва девы»; мужики, сидя на тумбочках у трактира, галдели о съемных лугах. От оврагов веяло сыростью ледяных ключей. Чистый блеск звезд теплился

над черными крышами. У пристани, бросая мутный свет фонарей в мучные кули, стоял пароходик «Иван Луппов»; мачтовые огни его против черных, как разлитые чернила, отмелей противоположного берега казались иллюминацией.

Она вспомнила эту мирную тишину, удивляясь обманчивости тишины, ее затаенным жалам; ей было даже неловко идти со своим возмущением среди маленьких, опрятных, в зелени, домов, покосившихся, хлипких лачуг, деревенской пыли, безобидной желтой краски и дремлющих мезонинов. Разыскав дом и улицу, Евгения с тяжелым нервным угнетением, наполнившим ее внезапной усталостью, позвонила у желтой парадной двери. Ей открыла унылая беременная женщина.

— Госпожа Тихонова дома? — спросила Евгения, и вдруг ей захотелось уйти, но она пересилила страх. Женщина, разинув рот, смотрела на нее; это было нелепо и тяжко.

— А я сейчас... они дома,— сказала, скрываясь в сенях, женщина.

В окне, сбоку, метнулось приплюснутое носом к стеклу лицо с выражением жадного любопытства.

— Просят вас,— сказала, возвратясь после томительно долгих минут, унылая женщина. Она широко распахнула дверь и уставилась на Евгению, как бы сторожа ее взглядом. Девушка, глубоко вздохнув, вошла в низкую комнату с канарейками, плющом и венскими стульями. У дальней двери, скрестив на высокой груди пышные, как булки, руки, стояла чернобровая, с розовым лицом, дама в сером капоте.

— Кого имею честь?..— процедила дама, осматривая Евгению Алексеевну.

Девушка заговорила с трудом.

— Я — Мазалевская,— сказала она, сжимая пальцы, чтобы сдержать волнение,— я хочу вас спросить, почему вы, не дав себе труда... Вот ваше письмо.— Она протянула листок гордо улыбающейся Тихоновой.— Пожалуйста, объясните мне все, слышите?

— И при чем тут труд? — громко заговорила дама, внушительно двигая бровями.— И нечего мне вам объяснять. И нечего мне говорить с вами. А что Аполлон передо мной свинья, это я тоже знаю. И уж, если, поверьте мне, милая, мужчина говорит: «Ах, ах, ах! Она имеет ко мне склонность»,— да если завлекать челове-

ка разными там материями, то уж, простите, нет; ах, оставьте. Я не девчонка, чтобы меня за нос водить. И более всего удивляюсь, что вы даже пришли; это так современно, пожалуйста.

У девушки задрожали ноги, она посмотрела на Тихонову взглядом ударенного человека и растерялась.

— Ну, послушайте,— задыхаясь, выговорила она,— это бессмысленно, разве же вы не понимаете? Я...

— Где же уж понимать,— сказала дама,— мы — уездные.

Евгения не договорила, повернулась, вышла на улицу и разрыдалась. Стараясь удержаться, она поспешно прижимала ко рту и глазам платок; машинально шла и машинально останавливалась; редкие прохожие, оборачиваясь, смотрели на нее подолгу, а затем переводили взгляд на заборы, деревья и крыши, словно именно там скрывалось нужное объяснение; один сказал, гаркнув: «Что, сердешная, завинтило?» Осилив спазмы, девушка увидела Чепракова, он переходил улицу, направляясь к квартире Тихоновой. Нисколько не удивляясь тому, что случайно встретила этого человека, скорее даже с чувством облегчения, Евгения Алексеевна остановила его на углу. Чепраков, перестав махать тросточкой, снял фуражку, попятился и замигал так тревожно, что нельзя было сомневаться в том, что о письме он знает.

Чепраков, выдавая себя, молчал, не здороваясь, даже не притворяясь удивленным, что видит Мазалевскую в городе.

— Вы знаете про письмо? — сурово спросила девушка.

Чепраков, изгибаясь, развел руками.

— Я... я... я...— спутался он.— Я хотел ее посердить.

Евгения Алексеевна пристально посмотрела в его спрятавшиеся глаза, махнула рукой и пошла из города медленной походкой усталого человека.

V

Прежде, чем выйти к чаю, Евгения тщательно умылась холодной водой и подошла к зеркалу. Следы недавнего расстройства исчезли. Причесываясь, окутав себя пушистыми, ниже колен, волосами, девушка в сто первый раз переживала этот, неизгладимый в ее возрасте,

случай, но все тише, все ближе к спокойной грусти. Она уже не возмущалась, а недоумевала. В ее жизни, проходившей в тени, было похожим на это случаям место и ранее, но не образовалось привычки к ним,— она переживала их каждый раз всеми нервами; нечто похожее на боязнь людей выработалось в ней постепенно и незаметно. Она и сейчас уловила резкое пробуждение этого чувства.

— Чего же бояться? — вслух сказала Евгения Алексеевна, пытаясь понять себя. Воспоминания образно показывали ей, что страшно незаслуженны злое отношение людей, злорадство и бессознательная жестокость, от которых не защищен никто. Она вспомнила несколько примеров этого по отношению к себе и другим... Особенно ясно Евгения Алексеевна увидела себя на улице Петербурга и в Крыму.

На улице, поравнявшись с девушкой, человек, внушительной и степенной осанки, остановился, ударил ее очень сильно кулаком в грудь и спокойно прошел, даже не обернувшись. А в Крыму, за пансионным столом, во время обеда, упитанный щеголь-коммерсант, еще молодой человек, блистающий кольцами и алмазами, очень хорошо видя, что слова его неприятны и возмутительны, спокойно говорил о своих кражах во время японской войны, обращаясь к любовнице и другу-проводнику. Изредка он обращался и к остальным.

— Вы просите перестать? Ну, что вы! Вы жертвовали на раненых, а эти деньги у меня в кармане. Сорок тысяч.

Евгения Алексеевна, сойдя вниз, выпила крепкого чаю. Обычный, почти беспредметный разговор с родственниками она вела машинально.

— Женечка,— сказала под конец, как бы невзначай, Инна Сергеевна,— позавчера Аполлон... мне показалось... вы не поссорились?

— Нисколько.— Она спокойно посмотрела на тетку и улыбнулась.

Уже смеркалось, когда, желая побыть одной, Евгения обогнула полный облаков пруд. Она шла опушкой, сумеречные поля открывались слева, под утратившей блеск сонной синевой неба птицы глухо перекликались в лесу, опущенное забрало полутьмы скрыло его низкие дневные просветы. У изгороди дергал коростель. Евгения остановилась, пустынная тишина окрестностей понравилась ей; она стояла и думала.

— Ложись спать,— сказал позади голос,— хотя ты дятел и рабочая птица, однако береги силы.

Мазалевская вздрогнула и повернулась к невидимому оратору. Его не было видно, он сидел или лежал в темных кустах.

Дятел, не переставая, звонко долбил дерево.

— Несговорчивый,— продолжал голос,— хотя бы ты обучился моему языку. А-мм-меэм-ма-ам, а-ам, ме-е. Хохлатик.

Голос смолк, а из кустов вышел человек с котомкой за плечами, в старом картузе, лаптях и с клюкой, вроде употребляемых богомольцами; он хотел перескочить изгородь, но, заметив Евгению, скинул картуз и протянул руку.

— А-м-м-мее-ма-а-ам-ме-е,— промычал он, показывая на рот.

— Немой? — спросила Евгения.

Человек кивнул, выразительно смотря на руку и кошелек барышни.

— Хотя ты и рабочая птица,— неожиданно для себя сказала Евгения, протягивая мелочь,— однако береги силы.

— Подслушали,— вдруг произнес совершенно отчетливо мнимый немой и конфузливо усмехнулся.

— Это вам для чего же?

— Есть надобность,— уклончиво сказал человек.

— Вы не бойтесь меня,— подумав, сказала Евгения. Любопытство ее было сильно задето.

Человек осмотрелся.

— Так что же, неинтересно вам ведь,— неохотно заговорил он.— Просто беглый солдат. Невелика птица. Видите — паспортишко есть, купил кое-где, но, извините,— брехать не умею. На ночлеге же, известное дело, или на меже где, мужик напоит,— поболтать любят, интересуются прохожим. Ну, понимаете,— проврешься, а особенно на ночлеге. Опасно. Я от одного железнодорожного сторожа бегом спасался; охотиться, видите ли, за мной старик начал, а что ему в этом? Разумеется, подумав, прикинулся я немым, так и иду. В Одессу. Там у меня знакомые есть; устроят. За месяц, верите ли, десятка слов не сказал с людьми, иногда разве поболтаешь сам с собой от скуки; да вот вы, вижу, вреда не сделаете,— заговорил.

— Не сделаю,— рассеянно подтвердила Евгения.

— То-то. Спасибо за мелочишку.

Соткин перескочил изгородь, махнул картузом и зашагал, встряхивая котомкой, к деревне.

— Ну, слава богу,— сказала Евгения, подымаясь на крыльцо усадьбы,— теперь я, пожалуй, тоже кое-что знаю.

Она думала, что надо жить подобно этому солдату, что человек, скрывший себя от других, больше и глубже вникнет в жизнь подобных себе, подробнее разберется в сложной путанице души человеческой. Это бродило в ней еще смутно, но повелительно. Она начинала понимать, что в великой боли и тягости жизни редкий человек интересуется чужим «заветным» более, чем своим, и так будет до тех пор, пока «заветное» не станет общим для всех, ныне же оно для очень многих — еще упрек и страдание. А людей, которым и теперь оно близко, в светлой своей сущности — можно лишь угадать, почувствовать и подслушать.

НОВЫЙ ЦИРК

I

ДОЛЖНОСТЬ



выпросил три копейки, но, поскользнувшись, потерял их перед дверями пекарни, где намеревался купить горячего хлеба. Это меня взбесило. Как ни искал я проклятую монету — она и не думала показываться мне на глаза. Я промочил, ползая под дождем, колени, наконец, встал, оглядываясь, но улица была почти пуста, и надежда на новую подачку таяла русским воском, что употребляется для гаданий.

Два месяца бродил я по этому грязному Петербургу, без места и крова, питаясь буквально милостыней. Сегодня мне с утра не везло. Добрый русский боярин, осчастлививший меня медной монетой, давно скрылся, спеша, конечно, в теплую «изба», где красивая «молодка» ждала его уже, без сомнения, с жирными «щи». Других бояр не было видно вокруг, и я горевал, пока не увидел человека столь странно одетого, что не будь голоден, я убежал бы в первые попавшиеся ворота.

Представьте себе цилиндр, вышиною втрое более обыкновенных цилиндров; очки, которые с успехом могла бы надеть сова; короткую шубу-бочку, длинненькие

и тонкие ножки, обутые в галоши № 15, длинные космы волос, свиное рыло и вместо трости посох, в добрую сажень вышиной. Чучело картинно шагало по тротуару, не замечая меня. Весь трепеща, приблизился я к герою кунсткамеры, откуда он, вероятно, и сбежал. Самым молитвенным шепотом, способным растрогать очковую змею, я произнес:

— Ваше сиятельство. Разбитый отчаянием, я умираю с голода.

Привидение остановилось. В очках блеснул свет — прохожий направил на меня свои фосфорические зрачки. Невообразимо противным голосом этот человек произнес:

— Человека труд кормит, а не беструдие. Работай, а затем — ешь.

— Это палка о двух концах,— возразил я.— Немыслимо работать под кишечную музыку, так сказать.

— А,— сказал он, сморкаясь в шарф, которым была окутана его шея.— Сколько же тебе нужно фунтов в день пищи?

— Фунта четыре, я полагаю.

— Разной?

— Хорошо бы... да.

Урод полез в карман, извлек сигару и закурил, бросив мне спичку в лицо. Это было уже многообещающей фамильярностью, и я вздрогнул от радости.

— Как зовут?

— Альдо Путано.

— Профессия?

— Но,— торопливо возразил я,— что такое профессия? Я умею все делать. В прошлом году я служил у драгомана в лакеях, а в этом рассчитываю быть чем угодно, вплоть до министра. Беструдие же я порицаю.

— Хорошо,— проскрипел он.— Я нанимаю тебя служить в цирке. Обязанности твои не превышают твоих умственных способностей. Потом узнаешь, в чем дело. Жалованье: кусок мыла, вакса, пачка спичек, фунт табаку, четверка калмыцкого чая, два фунта сахарного песку и сорок четвертаков в месяц, что составит десять рублей.

— Быть может,— робко возразил я,— вы назначите мне шестьдесят четвертаков, что составит совершенно точно — пятнадцать рублей.

— Будь проклят,— сказал он.— Идешь? Я зябну.

— Я следую за вами, ваше сиятельство.

II
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Самое пылкое воображение не могло бы представить того, что удалось увидеть мне в этот вечер. Шагая за чудесным патроном, я через несколько минут приблизился к круглому деревянному зданию, освещенному изнутри; у подъезда извозчики и автомобили. На фронтоне сияла огромная, малеванная красной краской, полотняная вывеска:

ЦИРК ПРЕСЫЩЕННЫХ

Небывало! Невероятно!

Раздача пощечин!

Истерика и др. аттракционы

Мы прошли в деревянную пристройку. При свете жестяной лампы сидело здесь несколько человек. Некоторые из них были одеты в шкуры зверей и потрясали палицами; другие, в отличных фраках и атласных жилетах, звенели тяжелыми кандалами на руках и ногах; третьи щеголяли дамскими туалетами и путались в тренах. Волосатые декольте их были ужасны.

— Он будет служить,— вскричал патрон, указывая на меня.

Рев, звон кандалов и жеманный писк приветствовали эти слова.

— Альдо,— сказал патрон,— ты выйдешь на арену со мной. Когда я дерну тебя за волосы, кричи: «Горе мне, горе».

— Да, маэстро.

— Громко кричи.

— Да, маэстро.

Он дал мне пинка, и я, услышав вслед: «Смотри представление»,— выбежал через конюшню к барьеру. Блеск люстр ослепил меня. Цирк был полон, нарядная толпа зрителей ожидала звонка. Осмотревшись, я увидел, что лица публики бледны и воспаленны, синеватые тени окаймляют большинство тусклых глаз; иные же, румяные, как яблоко, лица были противны; на эстраде играл оркестр. Инструменты оркестра заинтересовали меня: тут были судки, подносы, самоварные трубы, живая ворона, которую дергали за ногу (чтобы кричала), роль барабана исполнял толстяк, бивший себя бутылкой по животу. Капельмейстер махал палкой, похожей на ту, которой протыкают сига. Гром музыки нестерпимо

терзал уши. Наконец оркестр смолк, и на арену выбежал мой патрон с ужасной своей кандально-декольтированной свитой; эти люди тащили за собой собаку, клячу-одра и сидевшего на одре верхом деревенского парня в лаптях.

— Вот,— сказал патрон, указывая на перепуганную собаку,— недрессированная собака.

Раздались аплодисменты.

— Собака эта,— продолжал патрон,— замечательна тем, что она не дрессирована. Это простая собака. Если ее отпустить, она сейчас же убежит вон.

— Бесподобно! — сказал пшют из ближайшей ложи.

— В обыкновенных цирках,— патрон сел на песок,— все дрессированное. Мы гнушаемся этим. Вот, например,— крестьянин Фалалей Пробкин, неклоун. «Неклоун». Это его профессия. Вот — недрессированные — корова и лошадь.

Кое-где блеснули монокли и лорнеты. Публика внимательно рассматривала странных животных и неклоуна. Я чувствовал себя нехорошо. В это время, косо поглядев в мою сторону, патрон схватил меня за волосы и вытащил на середину арены.

— Теперь,— сказал он,— чтобы вы не скучали, я буду щекотать нервы. Слушайте вы, негодяи! — Тут его пальцы крепко впились мне в затылок, и я пронзительно заорал:

— Горе мне, горе!

— Да,— продолжал он,— пройдохи, плуты, лгуны, мошенники и подлецы. Облить бы вас всех керосином! Я, Пигуа де Шапоно, даю ряд великих советов. Советы — это второе отделение. Проповедь любви, жизни и смерти! Красивая и интересная жизнь может быть приобретена с помощью следующих предметов: электромотора, мясного порошка и вставных челюстей.

— Горе мне, горе!

— Что касается любви, то лучший рецепт следующий: встав рано, следует обтереться холодной водой, выпить стакан сливок с мадерой, съесть сотню петушьих гребешков, дюжину устриц, пикули, кайенский перец, запить все это стаканом гоголь-моголя, чашкой шоколада, абсентом и затем купить хорошую лодку. В эту лодку можно заманить женщину... трум-тум-тум.

— Горе мне! — возопил я, хватаясь за волосы, потому что пальцы Пигуа де Шапоно почти вырывали их.

— Относительно смерти,— ораторствовал Пигуа,— посоветую вам, для приобретения бессмертия, ворваться в какой-либо музей, отбить головы у Венер, облить пивом пару знаменитых картин, да еще пару изрезать в лохмотья, и — бессмертие состряпано.

Но дома (если вы попадете домой) нужно написать мемуары, где вы признаетесь, что вы повесили кошку и проглотили живого скворца.

— Горе мне! Больно!..— застонал я.

Публика неистовствовала. Гром одобрения заглушил мой жалобный вопль. Опасаясь, что Пигуа подаст больше советов, чем у меня на голове волос, я вырвался, сшиб с патрона цилиндр и уже осматривался, в какую сторону удирать, как вдруг раздались крики: «Пожар! Спасайтесь! Горим!» — и началось невообразимое.

III

КОНЕЦ НОВОГО ЦИРКА

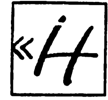
Все смешалось. Люди прыгали друг через друга, дрались, падали; женщины, падая сотнями в обморок, загораживали проходы и висли обременительным грузом на руках проклинающих их в эту минуту отцов, мужей и любовников. Арена опустела. Все бросились к боковым проходам, и меня раза три сбили с ног, прежде чем я успел, шагая по головам и плечам, выскочить на наружную лестницу. Огня еще не было видно, но скоро он показался и осветил площадь мрачными отблесками. Проклиная Пигуа де Шапоно, от рук которого до сих пор щемило затылок, я отбежал в сторону от горящего здания и сел на тумбочку, рассматривая пожар.

Пулей вылетали из проходных дверей спасшиеся от огня зрители; остальные же, без сомнения, не успев обессмертить себя, скромно оканчивали жизнь внутри цирка. Мне это понравилось. В нашей бедной жизни так мало развлечений, что на пожар обыкновенно сбегаются целые кварталы, и боже сохрани, чтобы я видел в толпе зрителей сочувствующее погорельцам лицо. Тупо, страшно, дико смотрит на пожар бессмысленная толпа, и я, как ее сын, мог ли смотреть иначе? Сначала я был действующим лицом, а теперь стал зрителем.

Цирк сгорел быстро, как соломенный. Сгорел. Мертвые срама не имут.

ЖИЗНЕОПИСАНИЯ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ

I



абело и начерно! Набело и начерно!» — твердил, подперев голову руками, Фаворский; элегически пьяный, он чувствовал себя несокрушимой силой, гением, озаренным молниями. Перед ним стояли треска с луком, лекарство из казенной винной лавки и зеленые пивные бутылки, в которых, подобно лесному солнцу, сверкало трактирное электричество.

— Начерно — это что я в душе пережил и переживаю,— бормотал Фаворский,— это, следовательно, мои мысли. А набело — мысль, воплощенная в жизнь. Сама жизнь. Жизнь, сотворенная властной волей Фаворского. Эх! — вскричал он, тяжело осматривая трактирный зал, где у потолка, чихая от табачного дыма, отчаянно заливался больной жаворонок.— Да, царит пошлость здесь, на земле, и в пошлости этой я, пленный жаворонок... томлюсь!

— А сколько сегодня градусов? — услышал он неожиданно обращенный к нему вопрос с соседнего столика.

Фаворский высокомерно повернул голову. Пухлые, смеющиеся глаза на кирпично-красном лице, бесцеремонно подмигивая и усмехаясь, рассматривали Фаворского. Спросивший был одет в теплый меховой пиджак, шарф и валенки. Усы и бороденка этого человека были как бы между прочим; казалось, что и без них лицо останется тем же язвительно-благодушным, крепким и пожилым.

— Я вижу,— презрительно сказал Фаворский,— что вы оттуда же.

— То есть? Что-то я...

— Из мира пошлости.

— Это что я насчет градусов-то спросил?

— Оно самое.

— Хм! Меня зовут Чугунов,— медленно, в прискорбном раздумье, произнес человек в валенках,— да, Чугунов моя фамилия. Сорок лет я живу на сей юдоли, а такого чудака, как вы, папаша, еще не видывал.

— Разве вы не понимаете,— горячо заговорил хмельной Фаворский,— что градусы — пошлость, не

нужны вам? Теплее вам будет или холоднее, если узнаете? Нисколько.

— Как смотреть, милый.

— Ну и смотрите.

Фаворский отвернулся. Навязчивый Чугунов был ему противен и жалок, являя собою темную каплю мещанского моря, из хлябей которого тянулся в горнюю высь двадцать семь лет сын кладбищенского дьячка Фаворский. Вино и слезы бушевали в его груди. Пьяный, он никогда не сомневался в том, что ему суждено свершить нечто великое, изумительное, громоподобное. Но что? Семнадцати лет выгнали его из семинарии за непочтение к Авессалому, которому гласно, при экзаменаторах, советовал он задним числом не болтаться, уцепившись волосами за дерево, а отсечь мечом шевелюру и бежать. Фаворский был поочередно поэтом, романистом, изобретателем и вместе с тем кормился черной канцелярской работой присутственных мест. Его гнали из редакций, смеясь в лицо; модель летательной машины, построенная им с помощью клея и ножниц из картона, валялась на чердаке, после постыдных мытарств среди серьезных людей; его картину «Страшный суд», на которой был изображен дьявол в виде орангутанга, хворающего желудком, давно использовали пауки одной из лавок толкучего рынка, куда, по цене рамы, за полтора рубля продал ее Фаворский бойкому костромичу. Жил этот странный, с бледной, как тень, жизнью, человек пылким восторгом перед величием великих мира сего; с их светлой и трагической высоты смотрел он на все, кроме себя.

— Мусью! — сказал Чугунов.— Обиделся, что ль?

— Да. За человека обиделся. Но... не ведаем, что творим.

— Аминь-с. Разрешите присесть?!

— Я разрешу,— сказал, добрея от частых рюмок, Фаворский,— но что? Какая цель ваша?

Чугунов не спеша перебрался со своей водкой за столик Фаворского. Устроившись поудобнее, сняв шапку и положив локти на стол, он налил рюмки, чокнулся, выпил, закусил крутым яйцом и сказал:

— Цели нет-с. А задели вы меня, да-с. Что есть пошлость, я, изволите видеть, понимаю-с, а как вы меня этим обозвали, то что же, по-вашему, наоборот?

— Наоборот? — Фаворский поднял брови и улыбнулся.— Поймете ли вы? Величие духа.

— Духа?
— Да.
— Души, то есть, это?
— Ну, души.
— Вот и задача. Вы с величием или без оного?
— Человек,— грустно и важно сказал Фаворский, проливая водку,— человек,— знаешь ли ты, что были Рафаэль, Наполеон, Дарвин, Байрон, Диккенс, Толстой, Ницше и прочие?..
— Некоторых слыхал.
— Они — люди.
— Все конечно.
— Брат мой! — вскричал Фаворский,— ты и я — во тьме. Но там... там, у них, сколько света, гения, подвигов, божественного восторга! Лучезарность! И слава! И высокое... выше горного снега! Вот образец!
— Сумнительно. Потому они, хотя и высоко летают, одначе было всего.
— Как — всего?
— А так. Водку пили... ну, вино, один черт, в карты играли и женщинами баловались.
— Вы глупый, Чугунов, очень глупый.
— Величия души не имею. Душа у меня, так говоря, тесная, с подковырцем. Зацепит за что — давай! А зацепок у меня не занимать стать. Да вы кто будете?
— Валентин Прокопиевич Фаворский, сын диакона, а служу... сейчас я не служу, без места.
— Так. С папашей изволите жить?
— Да... с папашей.
— Вот зацепки, я говорю. Пожрать, похряпать, для меня первое дело. Нынче едок-то, знаете, более в зубах ковыряет, чем вилкой по жареному. Я на это дело крутой. Ем — за ушами трещит! Выпить горазд, чайку попить — ах, хорошо! И люблю я еще, друг ты мой, самую лакомую сладость, нежный пол; падок, падок я, охотник большой.
— Ты циник,— сказал, щурясь, Фаворский,— обжора и циник. Кто ты?
— Циник-с, как говорите.
— А еще?
— Лесом торгуем.
— Слушай же! — Фаворский закрыл лицо рукой, и пьяные слезы выступили на его глазах. Он смахнул их.— Эх! Слушай!
Сбиваясь, путаясь и волнуясь, стал он рассказы-

вать о жизни Леонардо да Винчи, восхищаясь непреклонным, независимым духом великого флорентийца.

Чугунов слушал, выпивал и вздыхал.

Трактир закрывался.

II

Долго глухая декабрьская ночь ворочалась над Фаворским и Чугуновым, пока, присмотревшись друг к другу и блуждая из кабака в кабак, не пришли они к взаимному молчаливому соглашению. Суть этого соглашения можно выразить так, как выразил его, бессознательно, Чугунов: «Урезамши... и тово». Случилось же так, что Фаворский, подняв голову, увидел себя дома; на столе перед ним горела свеча, валялись медные и серебряные деньги, карты, а против Фаворского, скривив от жадности и усердия рот, сидел Чугунов, стараясь не разронять ползущие из хмельных пальцев карты.

— Прикуплю,— сказал Чугунов,— дай-ка праведную картишку.

— Мы где? — встряхнулся Фаворский.— Стой! Я узнаю. Ты у меня на кладбище. Но... кто кого?

— Чего?

— Кто кого привез сюда, мещанин? Ты меня или же я тебя?

— Где упомнишь, ехали, водочки захватили...

— А... з-зачем?

— Для чтения. Как вы обещали меня убеждать. И обещал ты мне еще, ваше благородие, книгу о гениях подарить.

— Гадость! Гадость! — сказал Фаворский, и бледное, как бы зябкое лицо его подернулось грустью.— Как низко я пал, как срамен и мал я! Я слышу, вот лает собака... но где папаша? Где сестра Липа, девушка скромная, труженица?.. Где они, мещанин?

— Где? — посмотрев в колоду, переспросил Чугунов.— А их вы сперва Шекспиром выгнали, опосля поддали Бетховеном, они не стерпели, ушли, значит, к соседям, боятся вас.

— Меня?! Это обидно. Да, мне тяжело, мещанин. За что?

Игра снова наладилась. Чугунов явно мошенничал, и скоро Фаворский отдал ему все свои четыре рубля.

— Что ставишь? Выпей-ка! Во-от!

— Выпил. Нечего ставить мне; все.

— Чего там! Играй. Валяй на гениев, какие они у тебя есть.

— Книжки? — удивленно воззрился Фаворский.— Гм... Однако.

— Однако! — передразнил Чугунов.— Мутят эти тебя книги, голова еловая, вот что! За ними ты, как за лесом, дерев не видишь! Жить бы тебе, как люди живут, без вожжи этой умственной. Эх! не я тебе отец, дедушка.

Злоба и страдание блеснули в глазах Фаворского. Молча подошел он, хватаясь за стены, к полке, где, аккуратно сложенная, желтела пачка тоненьких, четвертаковых книжек, бросил их с размаха на стол так, что, дрогнув копотью, прыгнул огонь в лампе, и грозно сказал:

— Мои постоят! Циник — я раздену тебя!

— Сию минуту.— Чугунов плотно пощупал книжки.— По гривенничку принимаю, ежели ставишь.

— По гривенничку! Хорошо. Чугунов, мечтал ли ты... в детстве... быть великим героем? А?

— Пороли меня,— сказал, тасуя карты, Чугунов.

В натопленной комнате, медленно выступая по холщовой дорожке, появился котенок. Наивно прищурившись на игроков, сел он и стал умываться. За окном белели снежные кресты кладбища. Звонко бил в чугунную доску сторож.

— Лессинга! — говорил Фаворский.— Пять.

— Семь.

— Свифт и Мольер!

— Прикуп. Четыре!

— Очко. Жри.

— Кого еще?

— Байрон. Нет, стой: полтинник. Байрон, Наполеон, Тургенев, Достоевский и Рафаэль.

— Много! Сними!

— Снял... Рафаэля.

— Ну, ладно. Мои: девять.

— Моцарт!

— Шесть!

— Тэн!

— Семь.

— Стэнли и Спенсер!

— Должно, англичане. Пять!

— Два. Мещанин, ты дьявол!
— Нет-с, Чугунов. Мы по лесной части.
— Данте, Гейне, Шекспир!
— Тебе сдавать.
— А где, мещанин, водка?

III

У свежей, еще пустой могилы, вспухшей по краям от мерзлой земли, выброшенной наверх заступом, качался подвешенный к палке фонарь. Могильщик ушел в сторожку подкрепиться; сторож, в складчину с ним, купил рябиновой, а горячая уха кипела на огненном шестке паром и брызгами.

Глухо, тихо было вокруг свежей могилы, ожидающей неизвестного своего хозяина. Под снежными елями войском стояли бесчисленные кресты, напоминая беспомощно распростертые руки странных существ. Мерещились во тьме решетки, следы по снегу вокруг них, покорные следы живых, вздыхающих у могил. Свет фонаря падал на заступ, брошенные тут же рукавицы и мерзлую глину.

Фаворский провожал гостя. Он был почти в бессознательном состоянии; дик и яр был разошедшийся Чугунов. Под мышкой у него торчала пачка выигранных книжек. Деревянный помост шел мимо могилы. Поравнявшись с ней, Чугунов заглянул в дыру и сказал:

— Похоронить разве?

— Кого?

— Я денег не жалею,— сказал, подбоченясь, Чугунов.— Что я выиграл, то это есть удовольствие. А? Могу я распорядиться?

Фаворский, покачиваясь, молчал.

— В яму! — вскричал Чугунов и, взяв пачку, швырнул ее в пасть земли.— Вот как есть мое имущество. Как звали-то их?

— Г-гюго...

— Ну вот: в дыру. А еще?

— Гегель...

— В дыру!

— К-кант...

— В дыру! А хочешь, я тебе часы покажу? Вчера задешево купил.— Он наклонился над могилой и ухмыльнулся.— Не смущай!

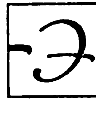
— Х-хочу! — сказал, заливаясь слезами, Фаворский.— Всего хочу! Чаю, и жратвы, и пирожков! И водочки! И часов! И женщин! Голодный я! Милый! Поедем! А?

— Что ж! — весело сказал Чугунов.— Прогулять разве десятку еще? Позабавил ты меня, Валентин...

Чуть рассвело. Фаворский по розовой от зари снежной тропинке шел через пригородный лесок к кладбищу. В пушистом лесу было чисто и тихо, как в облаках, когда, застыв над полями, белеют они воздушно и стройно. Искристые хлопья снега висели кругом, и ели, ометанные розовыми сугробами, светились под зимним голубым небом.

Наступал праздник, но не для тех, кто рождается раз и умирает один только раз и боится этого. Да и родился ли Фаворский когда-нибудь? Не всегда ли он жил, питаясь великими мертвецами?

ЧЕЛОВЕК С ЧЕЛОВЕКОМ



ти ваши человеческие отношения,— сказал мне Аносов,— так сложны, мучительны и загадочны, что иногда является мысль: не одиночество ли — настоящее, пока доступное счастье.

Перед этим мы говорили о нашумевшем в то время деле Макарова, застрелившего из ревности свою жену. Осуждая Макарова, я высказал мнение, что человеческие отношения очень просты и тот, кто понял эту их ясность и простоту, никогда не будет насильником.

Мы ехали по железной дороге из Твери в Нижний; знакомство наше состоялось случайно, у станционного буфета. Я ждал, что скажет Аносов дальше. Наружность этого человека заслуживает описания: с длинной окладистой бородой, высоким лбом, темными, большими глазами, прямым станом и вечной, выражающей напряженное внимание к собеседнику полуулыбкой, он производил впечатление человека незаурядного, или, как говорят в губерниях,— «заинтриговывал». Ему, вероятно, было лет пятьдесят — пятьдесят пять, хотя живостью обращения и отсутствием седины он казался моложе.

— Да,— продолжал Аносов медленным своим низ-

ким голосом, смотря в окно и поглаживая бороду большой белой рукой с кольцами,— жить с людьми, на людях, бежать в общей упряжке может не всякий. Чтобы выносить подавляющую массу чужих интересов, забот, идей, вожделений, прихотей и капризов, постоянной лжи, зависти, фальшивой доброты, мелочности, показного благородства или — что еще хуже — благородства самодовольного; терпеть случайную и ничем не вызванную неприязнь, или то, что по несовершенству человеческого языка прозвано «инстинктивной антипатией»,— нужно иметь колоссальную силу сопротивления. Поток чужих воль стремится покорить, унизить и поработить человека. Хорошо, если это человек с закрытыми внутренними глазами, слепыми, как глаза статуи; он на том маленьком пьедестале, какой дала ему жизнь, простоит непоколебимо и цельно. Полезно быть также человеком мироприятия языческого или, преследуя отдаленную цель, поставить ее меж собой и людьми. Это консервирует душу. Но есть люди столь тонкого проникновения в бессмысленность совершающихся вокруг них поступков, противочеловеческих, даже самых на первый взгляд ничтожных, столь острого болезненного ощущения хищности жизни, что их, людей этих, надо беречь. Не сразу высмотришь и поймешь такого. Большинство их гибнет, или ожесточается, или уходит.

— Да, это закон жизни,— сказал я,— и это удел слабых.

— Слабых? Далеко нет! — возразил Аносов.— Настоящий слабый человек плачет и жалуется оттого, что когти у него жидкие. Он охотно принял бы участие в общей свалке, так как видит жизнь глазами других. Те же, о которых говорю я,— люди — увы! — рано родившиеся на свет. Человеческие отношения для них — источник постоянных страданий, а сознание, что зло,— как это ни странно,— естественное явление, усиливает страдание до чрезвычайности. Может быть, тысячу лет позже, когда изобретения коснутся областей духа и появится возможность слышать, видеть и осязать лишь то, что нужно, а не то, что первый малознакомый человек захочет внести в наше сознание путем внушения или действия, людям этим будет жить легче, так как давно уж про себя решили они, что личность и душа человека неприкосновенны для зла.

Я немного поспорил, доказывая, что зло — понятие относительное, как и добро, но в душе был согласен с

Аносовым, хоть не во всем,— так, например, я думал, что таких людей нет.

Он выслушал меня внимательно и сказал:

— Не в этом дело. Человек зла всегда скажет, что «добро» — понятие относительное, но никогда не скажет страдающий человек того же по отношению к злу. Мы употребляем сейчас с вами понятия очень примитивные и растяжимые; это ничего, так как нам помогает ассоциация и около двух коротеньких слов кипит множество представлений. Но возвратимся к нашим особенным людям. Частица их есть почти во всех нас. Не потому ли, например, имеют большой успех, и успех чистый, такие произведения, как Робинзон Крузо,— что идея печальной, красивой свободы, удаления от зла человеческого слита в них с особенным напряжением душевных и физических сил человека. Если вы помните, появление Пятницы ослабляет интерес повести; своеобразное очарование жизни Робинзона бледнеет от того, что он уже не Робинзон только; он делается «Робинзон-Пятница». Что же говорить про жизнь населенных стран, где на каждом шагу, в каждый момент — вы — не вы, как таковой, а еще плюс все, с кем вы сталкиваетесь и кто ничтожной, но ужасной властью случайного движения — усмешкой, пожатием плеч, жестом руки — может приковать все ваше внимание, хотя вам желательно было бы обратить его в другую сторону. Это мелкий пример, но я не говорю еще о явлениях социальных. В этой неимоверной зависимости друг от друга живут люди, и, если бы они вполне сознали это, без сомнения, слова, речи, жесты, поступки и обращения их стали бы действиями разумными, бережными; действиями думающего человека.

Недавно в одном из еженедельных журналов я прочел историю двух подростков. Юные брат и сестра провели лето вдвоем на небольшом островке, в лугах; девочка исполняла обязанности хозяйки, а мальчик добывал пропитание удочкой и ружьем; кроме них на острове никого не было. Интервьюер, посетивший их, вероятно, кусал губы, чтобы не улыбнуться на заявление маленьких владетелей острова, что им здесь очень хорошо и они всем довольны. Разумеется, это были дети богатых родителей. Но я вижу их просто так, как они были изображены на приложенной к журнальному сообщению фотографии: они стояли у воды, держась

за руки, в траве, и щурились. Фотография эта мне чрезвычайно нравится в силу смутных представлений о желательном в человеческих отношениях.

Он наклонился ко мне, как бы выспрашивая взглядом, что я об этом думаю.

— Меня интересует,— сказал я,— возможна ли защита помимо острова и монастыря.

— Да,— не задумываясь, сказал Аносов,— но редко, реже, чем ранней весной — грозу, приходится видеть людей с полным сознанием своего человеческого достоинства, мирных, но неуступчивых, мужественных, но ушедших далеко в сознании своем от первобытных форм жизни. Я дал их точные признаки; они, не думая даже подставлять правую для удара щеку, не прекращают отношений с людьми; но тень печали, в благословенные, сияющие, солнечные дни цветущего острова Робинзона, сжимавшей сердце отважного моряка, всегда с ними, и они вечно стоят в тени. «Когда янычары, взяв Константинополь, резали народ под сводом Айя-Софии,— говорит легенда,— священник прошел к стене, и камни, раздвинутые таинственной силой, скрыли его от зрелища кровавой резни. Он выйдет, когда мечеть станет собором». Это — легенда, но совсем не легенда то, что рано или поздно наступит день людей, стоявших в тени, они выйдут из тени на яркий свет, и никто не оскорбит их.

Я задумался и увидел печального Робинзона на морском берегу в тишине дум.

Аносов сказал:

— Кое о чем хотелось бы рассказать вам. А может быть, вы мало интересуетесь этой темой?

— Нет,— сказал я,— что может быть интереснее души человеческой?

— В тысяча девятьсот одиннадцатом году привелось мне посетить редкого человека. Я стоял на Троицком мосту. Перед этим мне пришлось высидеть с другими не имеющими ночлега людьми полночи. Я, как и они, дремал на скамье моста, свесив голову и сунув руки между колен.

Подремывая, видел я во сне все соблазны, коими богат мир, и рот мой, полный голодной слюны, разбудил меня. Я проснулся, встал, решился и,— не скрою,— заплакал. Все-таки я любил жизнь, она же отталкивала меня обеими руками.

У перил было жутко, как на пустом эшафоте. Летняя ночь, пестрая от фонарей и звезд, окружила меня холодной тишиной равнодушия. Я посмотрел вниз и бросился, но, к великому удивлению своему, упал обратно на мостовую, а затем сильная рука, стиснув мне до боли плечо, поставила меня на ноги, отпустила и медленно погрозила пальцем.

Ошеломленный, я тихо смотрел на грозящий палец, затем решился взглянуть на того, кто встал между рекой и мной. Это был усталого, спокойного вида человек в темной крылатке, шляпе, бородатый и плотный.

— Обождите немного,— сказал он,— я хочу поговорить с вами. Разочарованы?

— Нет.

— Голодны?

— Очень голоден.

— Давно?

— Да... два дня.

— Пойдемте со мной.

В моем положении было естественно повиноваться. Он молча вышел к набережной, крикнул извозчика, мы сели и тронулись, я только что хотел назвать себя и объяснить свое положение, как, вздрогнув, услышал тихий, ровный, грудной смех. Спутник мой смеялся весело, от всей души, как смеются взрослые при виде забавной выходки малыша.

— Не удивляйтесь,— сказал он, кончив смеяться.— Мне смешно, что вы и многие другие будут голодать, когда на свете так много еды и денег.

— Да, на свете, но не у меня же.

— Возьмите.

— Я не могу найти работы.

— Просите.

— Милостыню?

— О, глупости! Милостыня — такое же слово, как все другие слова. Пока нет работы, просите — спокойно, благоразумно и веско, не презирая себя. В просьбе две стороны — просящий и дающий, и воля дающего останется при нем — он может дать или не дать; это простая сделка и ничего более.

— Просите! — с горечью повторил я.— Но вы ведь знаете, как одиноки, тупы, жестоки и злы все по отношению друг к другу.

— Конечно.

— О чем же вы говорите тогда?

— Не обращайте внимания.

Извозчик остановился. Пройдя двор, мы поднялись на четвертый этаж, и покровитель мой нажал кнопку звонка. Я очутился в небольшой, уютной, весьма простой и обыкновенной квартире. Нас встретили женщина и собака. Женщина была так же спокойна, как ее муж, привезший меня. Ее лицо и фигура были обыкновенными для всех здоровых, молодых и хорошеньких женщин; я говорю о впечатлении. Спокойный водолаз, спокойная женщина и спокойный хозяин квартиры казались очень счастливыми существами; так это и было.

Спокойно, как давно знакомый гость, я сел с ними за стол (собака сидела тут же, на полу), и ел, и, встав сытый, услышал, как объясняет жизнь мой спаситель.

— Человеку нужно знать, господин самоубийца, всегда, что он никому на свете не нужен, кроме любимой женщины и верного друга. Возьмите то и другое. Лучше собаки друга вы не найдете. Женщины — лучше любимой женщины вы не найдете никого. И вот, все трое — одно. Подумайте, что из всех блаженств мира можно взять так много и вместе с тем мало — в глазах других. Оставьте других в покое, ни они вам, ни вы им, по совести, не нужны. Это не эгоизм, а чувство собственного достоинства. Во всем мире у меня есть один любимый поэт, один художник и один музыкант, а у этих людей есть у каждого по одному самому лучшему для меня произведению: второй вальс Годара; «К Анне» — Эдгара По и портрет жены Рембрандта. Этого мне достаточно; никто не променяет лучшего на худшее. Теперь скажите, где ужас жизни? Он есть, но он не задевает меня. Я в панцире, более несокрушимом, чем плиты броненосца. Для этого нужно так много, что это доступно каждому,— нужно только молчать. И тогда никто не оскорбит, не ударит вас по душе, потому что зло бессильно перед вашим богатством. Я живу на сто рублей в месяц.

— Эгоизм или не эгоизм,— сказал я,— но к этому нужно прийти.

— Необходимо. Очень легко затеряться в необъятном зле мира, и тогда ничто не спасет вас. Возьмите десять рублей, больше я не могу дать.

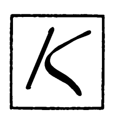
И я видел, что более он действительно не может

дать, и просто, спокойно, как он дал, взял деньги. Я ушел с верой в силу противодействия враждебной нам жизни молчанием и спокойствием. Чур меня! Пошла прочь!

МЕРТВЫЕ ЗА ЖИВЫХ

I

БЕГСТВО



омон, иначе именуемый — Гимнаст,— начал игру с правительством. Почтенная игра эта угрожала так плотно, что утром, заслышав на коридоре ласковый перезвон шпор, Комон, не медля секунды, перестал завтракать. Он встал, выпрямился, все еще с набитым, жующим по инерции ртом; затем, решительно выплюнув непрожеванный сыр, поднял револьвер и подошел к двери.

— Откройте,— многозначительно воскликнул некто из коридора.

— Сколько вас? — спросил Комон.— Я спрашиваю потому, что, если вас очень много, вы не поместитесь все в одной комнате.

— Комон, именуемый Гимнаст. Откройте.

— Я потерял ключ.

— Ломайте, ребята, дверь.

— Я посмотрю на вас в дырочку,— сказал Гимнаст.

Он выстрелил несколько раз сквозь доски, соображая в то же время, куда бежать. Шум и грохот за дверью показал ему, что там шарахнулись. Он подбежал к окну, заглянул в шестиэтажное, узкое пространство улицы, перегнувшись в сторону таким могучим усилием, что тело несколько мгновений держалось за подоконник только носками, поймал водосточную трубу. Через минуту он спрыгнул на мостовую без шапки и с револьвером в зубах, напоминая кошку, уносящую воробья.

Осмотревшись, Гимнаст побежал с быстротой ящерицы. Вид бегущего человека не сразу разбудил инстинкты погони в уличной толпе, сновавшей вокруг. Прохожие остановились; некоторые из них, с видом лунатика, медленно пошли за бегущим, вопросительно смотря друг на друга, затем, вдруг сорвавшись, как

будто им дали сзади пинка, бессмысленно помчались, крича: «Держи его, лови. Не пускай».

Комон был ловок и неутомим в беге. Согнувшись, чем уменьшал сопротивление воздуха, бросался он с одной стороны улицы на другую, вился вокруг карет, столбов, омнибусов, газетных киосков, распластывался, когда чувствовал на себе хватающую руку, и преследователь летел через него кувырком. Если бы ему пришлось бежать в пустом месте, Комон давно бы опередил всех, но как немыслимо пловцу опередить воду, так Гимнаст не мог оставить за собой город; за каждым углом, в каждом переулке и повороте, срывались за ним, хрипло крича, новые охотники; уличные собаки, бессознательно копируя людей, хватали Комона за пятки с грозным и воинственным лаем.

Четыре раза, спасаясь от поимки, Гимнаст оборачивался, швырял пули, и каждый раз происходило некоторое смертельное замешательство. Наконец, выбежав на площадь, Комон увидел, что к нему мчатся со всех сторон, и улизнуть трудно. Тогда, повинуясь инстинкту, матери всех человеческих дел, беглец ринулся в Исторический музей, опрокинув швейцара, взвился по роскошной лестнице в третий этаж и остановился, соображая, что делать; он употребил на это секунду.

II

НЕПОЧТЕНИЕ К ПРАОТЦАМ

Музей только что открыл свои двери, и публики еще было немного. Комон бросился, не обращая внимания на изумленных посетителей, через множество залов, в самую длинную, кривую и сумеречную, напоминающую лес от множества загромождавших ее витрин, подставок, щитов с оружием, целого войска мумий и ширм, похожих на театральные кулисы; по ширмам этим, живописно блестя на темном бархате, висели кольчуги, латы, шлемы, набедренники, топоры, луки, стрелы, арбалеты, мечи, палаши, кинжалы и сабли. Древние золотые венцы греческих героев покоились на столбах; лес копий, знамен и бунчуков таился в углах. Каждая вещь здесь взывала к бою, вооружению, сопротивлению, ударам и натиску.

Первое, что сделал Комон,— это баррикаду у захлопнутой за собой двери. Он навалил на нее трех

оглушительно зазвеневших стальных рыцарей времен Меровингов, на рыцарей бросил полдюжины фараонов Верхнего Нила, вместе с их раскрашенными ящиками; поверх всего опрокинул, сломав, несколько витрин с монетами, которые раскатились по полу совершенно так, как раскатывались, если их просыпали при Гамилькаре Барке. На это Комон употребил две минуты.

С тою же быстротой, следствием большой нервности и физической силы, Гимнаст, отбросив пустой револьвер, одел тяжелую мягкую кольчугу, шлем, опустил забрало и немного замешкался; при виде исключительного разнообразия оружия глаза его разбежались. С арбалетами он не умел обращаться, луки были без тетивы, кинжалы и сабли не внушали почтения. Комон был во власти своих кольчуги и шлема, он как бы припоминал в себе далекое прошлое человечества. Ему хотелось дорого и недурно продать жизнь. Гимнаст выбрал меч, огромный, сверкающий и тяжелый, каким, вероятно, не раз крошила железная саксонская рука звонких латников. Меч был внушителен. Гимнаст взмахнул им над головой, затем, для пробы, обрушил страшный удар на одну из мумий; дерево, треснув, распалось, и запеленутый фараон кубарем вылетел из него, распространяя запах старомодных духов, которыми был пропитан весьма старательно.

Догадливость не изменила Комону при виде столь древнего явления; проворно затолкав фараона в угол, Гимнаст, с мечом в руках, втиснулся в египетскую могилу, прикрыв себя другой половиной ящика. Дверь, тем временем, поддаваясь усилиям солдат и сторожей, глухо звенела латами валявшихся на полу рыцарей. Комон стоял в душной ароматической тьме ящика и прислушивался. Скоро ворвалась, судя по шуму, целая толпа людей, с криками разбежались они по длинным проходам зала, и Гимнаст слышал их, полные бешенства, возгласы:

— Все сломано.

— Ай, и деньги тут, на полу.

Кто-то шепнул, задыхаясь:

— Я возьму парочку, а?

Другой шепот:

— Тащи, чего зевать. Тсс...

— Негодяй. Сумасшедший. Стреляй его.

— Где он? Р-р-р-р...

— Лови. Дави. Хватай.

— О-о. Э-э. А-а.

Неосторожное движение Гимнаста выдало его. Он случайно толкнул коленом крышку, она упала прежде, чем он успел придержать ее, и в общем смятении глазам врагов предстал воин средневековья, с занесенным мечом. Он двинул им на первого солдата (не защищенного, разумеется, кольчугой) и отрубил ему, наискось, от плеча к бедру, верхнюю часть организма.

III

КОМОН, т. е. БАЯРД

Злополучная участь испорченного солдата на мгновение ужаснула остальных, а затем грянули выстрелы. Револьверные пули, однако, не пробили хорошо сработанную кольчугу; тем не менее удары их были сквозь сетку весьма сильны и болезненны. Гимнаст бросился на врагов. Он рубил без жалости и пощады, навстречу ему подымались хрупкие клинки сабель, но что могли они сделать против двадцатипятифунтовой стали в сильных руках. Комон воистину уподобился Баярду. Две головы отсек он, упавших на раздробленное стекло витрин, и стекло стало красным. Один поплатился рукой, а несколько — даже рукой вместе с плечом; у этих быстро закатились глаза. И скоро стало пусто вокруг Комона, но сам он, раненный пулей в мякоть ноги, видел, что не продержится перед новым натиском.

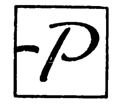
— Бежали робкие грузины,— вскричал Гимнаст и бросился к выходу, расчищая себе путь своим Дюрандалем. Любопытные, столпившиеся у подъезда, разбежались при виде страшного, со слепым железным лицом, человека — так быстро, что потом сами удивлялись своей подвижности.

Комон схватил первого попавшегося извозчика, бледного от ужаса, столкнул его, швырнул меч в голову толстому лавочнику и так крикнул на лошадь, что она помчалась, как беговая. И Комон благополучно удрал. Это бывает. Простое вдохновение часто выручает человека лучше всяких расчетов.

Ничего не может быть действительнее описанного мною происшествия.

ЗЕМЛЯ И ВОДА

I

азумеется, я пил молоко,— жалобно сказал Вуич,— но это первобытное удовольствие навязали мне родственники. Глотать белую, теплую, с запахом навоза и шерсти, матерински добродетельную жидкость было мне сильно не по душе. Я отравлен. Если меня легонько прижать, я обрызгаю тебя молоком.

— Деревня?..— сказал я.— Когда я о ней думаю, колодезный журавль скрипит перед моими глазами, а пузатые ребятишки шлепают босиком в лужах. Ясно, тихо и скучно.

Вуич сдал карты. От нечего делать мы развлекались «рамсом»: игра шла на запись на десятки тысяч рублей. Я проиграл около миллиона, но был крайне доволен тем, что мои последние десять рублей мирно хрустят в кармане.

— Что же делать? — продолжал Вуич, стремительно беря взятку.— Я честно исполнил свои обязательства горожанина перед целебным ликом природы. Я гонялся за бабочками. Я шевелил палочкой навозного жука и сердил его этим до обморока. Я бросал черных муравьев к рыжим и кровожадно смотрел, как рыжие разгрызали черных. Я ел дикую редьку, щавель, ягоды, молодые побеги елок, как это делают мальчишки, единственное племя, еще сохранившее в обиходе различные странные меню, от которых с неудовольствием отворачивается гурман. Я сажал на руку божьих коровок, приговаривая с идиотски-авторитетным видом: «Божья коровка — дождь или вёдро?» — пока насекомое не удирало во все лопатки. Я лежал под деревьями, хихикал с бабами, ловил скользких ершей, купался в озере, среди лягушек, осоки и водорослей, и пел в лесу, пугая дроздов.

— Да, ты был честен,— сказал я, бросая семерку.

— А, надоело играть в карты! — вскричал Вуич.— Зачем я вернулся? — Он встал и, скептически поджав губы, исподлобья осмотрел комнату.— Эта дыра в шестом этаже! Этот больной диван! Эта герань! Этот мешочек с сахаром и зеленый от бешенства самовар, и

старые туфли, и граммофон во дворе, и узелок с грязным бельем! Зачем я приехал?!

— Серьезно,— спросил я,— зачем?

— Не знаю.— Он высунулся наполовину в окно и продолжал говорить, повернув слегка ко мне голову.— Любовь! Вчера я в сумерках курил папиросу и тосковал. Я следил за дымными кольцами, бесследно уходящими в синий простор окна,— в каждом кольце смотрело на меня лицо Мартыновой. Потребность видеть ее так велика, что я непрерывно мысленно говорю с ней. Я одержим. Что делать?

— Гипноз...

— Оскорбительно.

— Работа...

— Не могу.

— Путешествие...

— Нет.

— Кутежи...

— Грязно.

— Пуля...

— Смешно.

— Тогда,— сказал я,— обратись к логике.— Чтобы сделать рагу из зайца, нужно иметь зайца. Ты безразличен ей, и этого для тысячи мужчин было бы совершенно довольно, чтобы повернуться спиной.

— Логика и любовь! — грустно сказал Вуич.— Я еще не старик.

Он сел против меня. В этот исторический день было светлое, легкое, лучистое утро. Я сидел в комнате Вуича, еще полный уличных впечатлений, привычных, но милых сердцу в хороший день: пестрота света и теней, цветы в руках оборванцев, улыбки и глаза под вуалью, силуэты в кофейне, солнце. Я внимательно рассмотрел Вуича. У носа, глаз, висков, на лбу и щеках его легли, еще нерешительно и податливо, исчезая при смехе, морщины, но было уже ясно, что корни их — мысли — неистребимы.

— Мартынову,— сказал Вуич,— нужно понять и рассмотреть так, как я. Ты не видел ее совсем. Эта женщина небольшого роста, смуглая в тон волос, пышных, но стиснутых гребнями. Волосы и глаза темные, рот блондинки — нежный и маленький. Она очень красива, Лев, но красота ее беспокойна, я смотрю на нее с наслаждением и тоской; она ходит, наклоняется и говорит иначе, чем остальные женщины; она страшна в

своей прелести, так как может свести жизнь к одному желанию. Она жестока; я убедился в этом, посмотрев на ее скупую улыбку и прищуренные глаза, после тяжелого для меня признания.

Он пристально смотрел на меня, как бы желая долгим, сосредоточенным взглядом заставить проникнуться его горем.

— Я пойду к ней,— неожиданно сказал Вуич. Он улыбнулся.

— Когда?

— Сейчас.

— Полно, полно! — возразил я.— Не надо, не надо, Вуич, слышишь, милый? — Я взял его руку и крепко пожал ее.— Разве нет гордости?

— Нет,— тихо сказал он и посмотрел на меня глазами ребенка.

Спорить было бесцельно. Отыскав шляпу, я догнал Вуича; он спускался по лестнице и обернулся.

— Пойдем вместе, Лев,— жалобно сказал он,— с тобой, конечно, я просижу сдержанно, отсутствие посторонних вызовет слезы, злобу и... бессильную страсть.

Я согласился. Мы перешли мост, вышли на Караванную и, не разговаривая более, приехали трамваем к Исаакиевскому собору. Вуич, торопясь, покинул вагон первым. Я, выйдя, закурил папиросу, для чего мне пришлось немного остановиться, так что мой друг опередил меня по крайней мере на шестьдесят — восемьдесят шагов.

Я намеренно указываю эти подробности в силу значения их в наступившем немедленно вслед за этим сне наяву.

II

Меня как бы ударили по ногам. Я упал, ссадив локоть, поднялся и растерянно посмотрел вокруг. Часть прохожих остановилась, из ворот выбежал дворник и тоже остановился, смотря мне в глаза. Я шатался. Вокруг, звеня, лопались, осыпаясь, стекла. Оглушительное сердцебиение заставило меня жадно и глубоко вздохнуть. Мягкий, решительный толчок снизу повторился, отдавшись во всем теле, и я увидел, что мостовая шевелится. Булыжники, поворачиваясь и расходясь, выскакивали из гнезд с глухим стуком. Толпа побежала.

— Что же это, что же это такое?! — слабо закричал я. Я хотел бежать, но не мог. Новый удар помутил сознание, слезы и тошнота душили меня. С купола Исаакиевского собора кружась неслись вниз темные фигуры — град статуй, поражая землю гулом ударов. Купол осел, разваливаясь; колонны падали одна за другой, рухнули фронтоны, обломки их мчались мимо меня, разбивая стекла подвальных этажей. Вихрь пыли обжег лицо.

Грохот, напоминающий пушечную канонаду, раздавался по всем направлениям; это падали, равняясь с землей, дома. К потрясающему рассудок гулу присоединился другой, растущий с силой лавины,— вопль погибающего Петербурга. Фасад серого дома на Адмиралтейском проспекте выгнулся, разорвал скрепы и лег пыльным обвалом, раскрыв клетки квартир,— богатая обстановка их показалась в глубине каждого помещения. Я выбежал на полутемную от пыли Морскую, разрушенную почти сплошь на всем ее протяжении: груды камней, заваливая мостовую, подымались со всех сторон. В переулках мчалась толпа; множество людей без шляп, рыдая или крича охрипшими голосами, обгоняли меня, валили с ног, топтали; некоторые, кружась на месте, с изумлением осматривались, и я слышал, как стучат их зубы. Девушка с растрепанными волосами хваталась за камни в обломках стен, но, обессилев, падала, выкрикивая: «Ваня, я здесь!» Потерявшие сознание женщины лежали на руках мужчин, свесив головы. Трупы попадались на каждом шагу, особенно много их было в узких дворах, ясно видимых через сплошные обвалы. Город потерял высоту, стал низким; уцелевшие дома казались среди развалин башнями; всюду открывались бреши, просветы в параллельные улицы, дымные перспективы разрушения. Я бежал среди обезумевших, мертвых и раненых. Невский проспект трудно было узнать. Адмиралтейский шпиц исчез. На месте Полицейского моста блестела Мойка, вода захлестывала набережную, разливаясь далеко по мостовой. Движение здесь достигло неслыханных размеров. Десятки трамвайных вагонов, сойдя с рельсов, загораживали проход, пожарные команды топтались на месте, гремя лестницами и крючьями, дрожали стиснутые потоком людей автомобили, лошади становились на дыбы, а люди, спасаясь или разыскивая друг друга, перелезали вагоны, ныряли под лошадей или,

сжав кулаки, прокладывали дорогу ударами. Некоторые дома еще держались, но угрожали падением. Дом на углу улицы Гоголя обвалился до нижнего этажа, балки и потолки навесами торчали со всех сторон, под ногами хрустели стекла. фарфор, картины, ящики с красками, электрические лампы, посуда. Множество предметов, чуждых улице, появилось на мостовой — от мебели до женских манекенов. Отряды конных городовых, крестясь, без шапок двигались среди повального смятенья неизвестно куда, должно быть, к банкам и государственным учреждениям.

Впервые я поразился пестротой и разнородностью толпы, окружавшей меня. Приказчики, дети, неизвестные, хорошо одетые, толстые и очень бледные люди, офицеры, плачущие навзрыд дамы, рабочие, солдаты, оборванцы, гимназисты, чиновники, студенты, отталкивая друг друга, падая и крича, бросались по всем направлениям, потеряв голову. Стремительное движение это действовало гипнотически. Глаза мои наполнились слезами, сила душевного потрясения разразилась истерикой, я бился головой о трамвайный вагон. Больше всего я боялся сойти с ума; боль в ушах, слабость и тошнота усиливались. Я стоял между прицепным и передним вагоном, встречаясь глазами с тысячью бессмысленных, тусклых взглядов толпы, пока не разразился третий удар. Я закрыл глаза. Вагоны, загремев, сдвинулись, сохранив мне, стиснутому ими до боли в плечах — жизнь, так как уцелевшие стены зданий, медленно и грозно склонясь, рухнули вокруг Невского, сокрушая неистовую толпу, и свежий туман пыли скрыл небо.

Вдруг я очнулся, исчезло оцепенение, и настоящий животный страх хмелем плеснул в голову, приобщая меня к панике. Удары камней в стенки вагона почти разрушили их, и я уцелел чудом. Я понял, что единственная истина теперь — случайность, законы тяжести, равновесия и устойчивости более не оберегали меня, и я, по свойственному человеку стремлению к дисциплине материи, рвался в сокрушительном волнении города к неизвестно где существующим спасительным остаткам незыблемости. Я кинулся, работая локтями, вперед, к Мойке; это был инстинкт неудержимый и — увы! — слепой, так как многие во власти его нашли смерть.

Я не понимаю, как уцелело бесконечное множество

людей, запрудивших улицы. Их было почти столько же, сколько трупов, пробираться между которыми было не так легко. Избегая ступать по мертвым и ползающим с раздробленными ногами, я проваливался в нагромождениях стропил, досок и кирпичей, рискуя сломать шею. Громадные исковерканные вывески гнулись подо мной с характерным железным стоном. С поникших, а местами упавших трамвайных столбов паутиной висела проволока, останавливая бегущих; как я узнал после, электрический ток в момент начала гибели Петербурга был выключен.

Я остановился у Мойки. Сознание отказывалось запечатлеть все виденное мной; любая из сцен, происходящих вокруг, взятая отдельно, в условиях повседневной жизни, могла бы вытеснить все впечатления дня, но сила трагизма их уничтожалась подавляющим, беспримерным событием, последствия которого каждый уцелевший переживал сам.

Я видел и запоминал лишь то, что, по необъяснимому капризу внимания, бросалось в глаза; все остальное напоминало игру теней листвы, бесследно пропадая для памяти, лишь только я обращал взгляд на другие явления. Мало кто смотрел вниз, лица почти всех были обращены к небу, как будто дальнейшее зависело от голубого пространства, жуткого в своей ясной недостижимости. Мимо меня, спотыкаясь, пробежала старуха в дорогом разорванном платье; она прижимала к груди охапку сыплющихся из-под ее рук вещей, среди которых были, вероятно, ненужные теперь рюши и кружевные косынки. Мужчина, коротко остриженный, с красным затылком, сидел, закрывая лицо руками. На углу Мойки полуодетый молодой человек пытался поставить на ноги мертвую женщину и хмурился, не обращая ни на кого внимания. Несколько людей — по-видимому, семейство,— протягивая руки, ползли в щебне и мусоре к повисшему на выступе разрушенной стены человеку; он висел на камнях, подобно перекинутому через плечо полотенцу, лицом ко мне,— по его рукам обильно текла кровь. Извозчик возился около издыхающей лошади, снимая дугу; на той стороне канала городовой стрелял из револьвера в группу убегающих проворных людей с котелками на головах. Крики, раздававшиеся вокруг, поражали не выразительностью слов, а звуками, утратившими всякое сходство с голосом человеческим.

«Землетрясение! — О, боже, о, боже мой!» — ревело

вокруг меня, соединившего свой крик с общим неистовством гибели. По колени в воде я остановился на краю набережной, скинул пиджак и поплыл на другую сторону. Волнение с зловещим глухим плеском бросало меня вперед, назад и опять вперед, пока я среди других плывущих не уцепился за остатки моста. Я вылез на мостовую и побежал, стремясь к Михайловскому скверу, где в случае нового сотрясения почвы площадь могла послужить некоторой защитой от падающих вокруг зданий.

III

Теперь, когда я пишу это, лежа в одной из гельсингфорсских больниц (русские города, заставляя вспоминать разрушенный С.-Петербург, внушают мне страх), меня занимает и служит предметом постоянного удивления то, что немногие, определенные и удержанные сознанием мысли, казавшиеся в памятный день 29 июня грандиозными, вполне соответствующими неожиданностью своей размерам события, так элементарны, бессильны и фантастичны. Я думал, например, о таких пустяках, как седые волосы, размышляя, поседею ли я, или торопливо соображал, какой город будет теперь столицей. Любопытство или, вернее, неотразимая притягательность в ужасе — ужаса еще большего, представление о границах возможного для человеческого рассудка, убеждала меня в фактах столь странных, что объяснить это можно лишь полным нарушением в те моменты душевного равновесия. Нисколько не противореча себе и слепо веря призракам грандиозного, единственно возможным в то время, потому что происходили вещи неслыханные, я последовательно переходил от столкновения земного шара с кометой к провалу европейского материка, остановке вращения Земли вокруг оси, наконец — к пробуждению неисследованной силы материи во всех ее состояниях, природного разрушительного начала, получившего от неизвестных причин загадочную свободу. Я решил также, что все новые дома должны упасть раньше других. Кроме того, я болезненно хотел знать, как выглядит дом на Невском проспекте между Знаменской и Надеждинской: в этом доме я жил. Падающий Исаакиевский собор уничтожил мгновенно всякое воспоминание о Вуиче и Мартыновой, и я

вспомнил о них только вечером, но об этом расскажу после.

У Малой Конюшенной я увидел священника, немолодого, с утомленно-полузакрытыми глазами полного человека без шляпы; он стоял на упавшем ребром обломке стены и, прижимая к груди ярко блестевший крест, говорил громким повелительным голосом: «Пришло время. Время... Если вы понимаете...» Он повторял эти слова как бы в раздумье. Бледный городовой, трясясь, бросился на меня и, сильно ударив по лицу, разбил губу. Я ускользнул от него, как помню, без удивления и оторопи; за других некогда было думать. Полуодетая, с внимательным и красивым лицом барышня остановила меня, схватив за руку, но, осмотрев, исчезла. «Я думала, это ты»,— сказала она. Другая спросила: «Где мама и Вовушка?» Хулиганы рвали из ушей женщин серьги, показывая ножи, рылись в грудах вещей, или, с деловым видом обыскивающих арестанта надзирателей, шарили у рыдающих людей в карманах, и жертвы этого беспримерного циничного грабежа относились к насилию безучастно, так же как горячечный больной не замечает присутствующих. Я, опять-таки не удивляясь, словно так было всегда, смотрел на грабителей, но, запнувшись об одного из них, обиравшего, стоя на коленях, труп офицера, вздрогнул, поднял кирпич и размозжил оборванцу голову.

Я находился теперь около Казанского сквера. Земля время от времени легонько подталкивала снизу опрокинутый город, как бы держа его на весу в минутном раздумье. Таинственный трепет земли, напоминающий внезапный порыв ветра в лесу, когда шумит, струясь и затихая, листва, возобновлялся с ничтожными перерывами. В красной пыли развалин, скрывающей горизонт, медленно ползли тучи дыма вспыхивающих пожаров. Казанский собор рассыпался, завалил канал; та же участь постигла прилегающие кварталы. Скопление народа остановило меня.

В этот момент мне довелось увидеть и пережить то, что теперь в истории этого землетрясения известно под именем «Невской трещины». Я стал падать, не чувствуя под ногами земли, и, перевернувшись на месте, сунулся лицом в камни, но тотчас же вскочил и увидел, что падение было общим,— никто не устоял на ногах. Вслед за этим звук, напоминающий мрачный глубокий вздох, пронесся от Невы до Николаевского вокзала, букваль-

но расколов город с левой стороны Невского. Застыв на месте, я видел ползущий в недра земли обвал; люди, уцелевшие стены домов, экипажи, трупы и лошади, сваливаясь, исчезали в зияющей пустоте мрака с быстротой движения водопада. Разорванная земля тряслась.

— Это сон! — закричал я; слезы текли по моим щекам. Я вспомнил, что после мексиканского землетрясения меня душил ночью кошмар — свирепые образы всеобщего разрушения; тогда снилось мне в черном небе огненное лицо бога, окруженное молниями, и это было самое страшное. Я смотрел вверх с глухой надеждой, но небо, отливавшее теперь тусклым свинцовым блеском, было небом действительности и отчаяния.

Оглянувшись назад, я, к величайшему удивлению своему, заметил одноцветную темную толпу с темными лицами, тесным рядом взбегающую на отдаленные груды камней, подобно солдатам, кинувшимся в атаку; за странной, так легко и быстро движущейся этой толпой не было ничего видно, кроме темной же, обнимающей горизонт, массы; это мчалась вода. Различив наконец белый узор гребней, я отказываюсь дать отчет в том, как и в течение какого времени я очутился на вершине полуразрушенного фасада дома по набережной Екатерининского канала,— этого я не помню.

Я лежал плашмя, уцепившись за карниз, на острых выбоинах. Снизу, угрожая размыть фундамент, вскакивая и падая, с шумом, наводящим смертельное оцепенение, затопляя все видимое, рылись волны. Вода, разбегаясь крутящимися воронками, ринулась по всем направлениям; мутная, черная в тени, поверхность ее мчала головы утопающих, бревна, экипажи, дрова, барки и лодки. Ровный гул убегающих глубоких потоков заглушил все; в неистовом торжестве его вспыхивали горем смерти пронзительные крики людей, захваченных наводнением. Вокруг, на уровне моих глаз, вблизи и вдали, виднелись по редким островкам стен ускользнувшие от воды жители. Высоко над головой парили гатчинские аэропланы. Уровень губительного разлива поднимался незаметно, но быстро; между тем казалось, что стена, на которой лежу я, оседает в кипящую глубину. Я более не надеялся, ожидая смерти, и потерял сознание.

IV

Это была тягостная и беспокойная тьма. Вздохнув, я открыл глаза и тотчас же почувствовал сильную боль в груди от долгого лежания на узком выступе, но не пошевелился, опасаясь упасть. Океан звезд сиял в черном провале воды, отсвечивая глухим блеском. Тревожный ропот замирающего волнения окружал спасшую меня стену; в отдалении раздавались голоса, крики, вздохи, плеск невидимых весел; иногда, бессильно зарываясь в темный простор, доносился протяжный вопль.

Измученный, я закричал сам, моля о спасении. Я призывал спасителя во имя его лучших чувств, ради его матери возлюбленной, обещал неслыханные богатства, проклинал и ломал руки. Совсем обессилев, я мог лишь наконец хрипеть, задыхаясь от ярости и тоски. Прислушавшись в последний раз, я умолк; холодное равнодушие к жизни охватило меня; я апатично посмотрел вниз, где, не далее двух аршин от моих глаз, загадочно блестели тонкие струи течения, и улыбнулся спокойно лицу смерти. Я понял, что давно уже пережил и себя и город, пережил еще в те минуты, когда сила безумия потрясла землю. Я знал, что навсегда останусь теперь, если сохраню жизнь, насильственно воскрешенным Лазарем с тяжестью смертельных воспоминаний, навеки прикованный ими к общей братской могиле.

Глубоко, всем сердцем, печально и торжественно желая смерти, я приподнялся на осыпающихся, нетвердых под ногами кирпичах, встал на колени и повернулся лицом к Неве, прощаясь с ее простором и берегами, казнившими город, полный своеобразного очарования севера.

Я соединил руки, готовясь уйти из мира, как вдруг увидел тихо скользящую лодку; величину и очертания ее трудно было рассмотреть в темноте, тем не менее движущееся черное — чернее мрака — пятно, мерно брякавшее уключинами, могло быть лишь лодкой.

Я остановился, или, вернее, привычка к жизни остановила меня на краю смерти. В лодке сидел один человек, спиной ко мне, и усиленно греб, стараясь держаться к стене; несколько раз весла задели о камни с характерным скребущим звуком; причины осторожности плывущего мне были непонятны, так как успокоившееся, хотя и сильное течение развертывалось достаточно широко даже для парохода. Вид работающего веслами

человека подействовал на меня, как вино; энергия, желание вновь помериться с обстоятельствами вернулись ко мне, едва я заметил подобное себе существо, находящееся в сравнительной безопасности и, конечно, плывущее не без цели. Я снова захотел жить; в ту ночь случайное впечатление — например, слово — действовало магически.

Гребца мне следовало окликнуть, но я, не знаю почему, воздержался от этого, решив подать голос именно в тот момент, когда лодка будет совсем близко. Я снова лег, и меня, вероятно, можно было в темноте счесть за кусок стены. В это время, мигая красным и зеленым огнем, прошумел вдали пароход, направляясь к Коломенскому району; человек поднял весла и, оглянувшись, прижал лодку к стене так, что я при желании мог коснуться рукой его головы. Он избегал быть замеченным и внушил мне сильное подозрение. Я подумал, что этот человек, если бы захотел, мог ехать не в одиночестве, спасая других; без сомнения, передо мной сидел мародер, но, не желая брать слишком большой ответственности за неповинного, быть может, человека, я приподнялся и окликнул его вполголоса: «Эй, снимите меня на лодку!»

Гребец подскочил, ткнул веслом в стену и скрылся бы в десять секунд, но я оказался быстрей его. Вскочив на плечи этому человеку, я стиснул его за горло так сильно, что он выпустил весла, откинулся на борт и захрипел. Я оглушил его ударом весла и, напрягая все силы, выбросил в воду; он замахал руками, стараясь ухватиться за борт, но это не удалось. Я повернул лодку, отъехал и заработал веслами, стараясь как можно скорее покинуть место невольного своего плена. В лодке, когда я боролся с гребцом, мои ноги ступали на что-то скользкое и хрустящее; с помощью спички мне удалось рассмотреть большое количество ссыпанных в мешок золотых и серебряных вещей: столового серебра, часов, украшений и церковных сосудов.

Сообразив наконец, что дальнейшее в значительной степени зависит от меня самого, благодаря свободе передвижения, я вспомнил о Вуиче. Адрес Мартыновой мне был случайно известен, но какой горькой иронией звучали слова «адрес», «дом», «улица»!

Протяжно вздыхал ветер, холодный, как рука мертвеца; заморосило, и я трясся в ознобе, пытаясь согреть дрожащее от холода и изнурения тело сильными взма-

хами весел, но это не помогло; мокрый и полуголый, я чувствовал себя плохо. Плывя среди неподвижных, напоминающих остановившийся ночной ледоход, каменных заграждений — остатков вчера еще крепких населенных домов,— я стал осматриваться и кричать: «Вуич! Ты жив?» Я не помнил, второй или третий дом от угла был тот, где жила Мартынова, но, вероятно, находился вблизи него и перестал грести, крича все громче и громче.

Мой призыв не остался без ответа, но то отвечал не Вуич. Меня звали со всех сторон. Некоторые, желая указать место своего ожидания, бросали кирпичи в воду, но я не мог спасать всех — лодка поднимала не более десяти человек.

Я направился к трубам уцелевшего среди других дома и еще издали, по изменяющимся в темноте очертаниям крыши, понял, что на ней нет свободного места, там находились, вероятно, сотни людей. Подъехать ближе я не решился, опасаясь, что в лодку бросятся все, топя ее, себя и меня. Скоро, заметив плывущего ко мне человека, я втащил его в лодку; он, молча, не обращая на меня внимания, лег ничком и не шевелился.

— Вуич! — снова закричал я, плавая спиральными кругами и равномерно их увеличивая, с надеждой, что в одну из кривых попадет наконец исчезнувший друг.

Возле Государственного совета в лодку неизвестно с какого места совершенно неожиданно прыгнул еще один человек, выбив из моих рук весло, упал, поднялся и прицелился в меня револьвером, но, видя, что я не угрожаю ему и не собираюсь выбросить его вон, сел, не выпуская из рук оружия. Еще двое, вытянув шеи, кричали, стоя по колена в воде; я посадил их: это были две женщины.

— Куда вы едете? — спросил человек с револьвером.

— Я ищу знакомых.

— Надо выехать из города,— нерешительно сказал он,— на твердую землю.

Я не ответил. Поднимать спор было опасно: четверо против одного могли заставить плыть, куда хотят, приди им в голову та же мысль, что и человеку с револьвером, а я надеялся спасти Вуича, если он жив.

Человек с револьвером настойчиво предложил ехать по линии Николаевской железной дороги.

— Подождем парохода,— возразил я.— Никто не может сказать, как велика площадь разлива.

Я стал торопливо грести, направляясь к прежнему месту поисков. Все молчали. Фигуры их, дремлющих сидя, понурив головы, делались яснее, отчетливее; наконец, я стал различать уключины, весла и борта лодки: светало; призрачный пар скрыл воду, мы плыли в тусклом полусвете тумана, среди розовых от зари камней.

Я наклонился. Лицо, смутно напоминающее лицо Вуича, ввалившимися глазами смотрело на меня с кормы лодки. Это был человек, лежавший ничком; я взял его, как вы помните, первым. Голый до пояса, он сидел, зажав руки между колен. Я долго всматривался в его тусклое, искаженное неверным светом зари лицо и крикнул:

— Вуич!

Человек безучастно молчал, но по внимательно устремленным на меня глазам я видел его желание понять, чего я хочу. Он поднял руку; на пальце сверкнуло знакомое мне кольцо; это был Вуич.

Я сделал ему знак подойти; он переполз через заснувшего человека с револьвером и вплотную ко мне, стоя на четвереньках, поднял голову. Вероятно, и меня трудно было узнать, так как он не сразу решился произнести мое имя.

— Лева?! — сказал наконец он.

Я кивнул. Ни его, ни меня не удивило то, что мы встретились.

— Оглох,— тихо произнес он, сидя у моих ног.— Меня это застигло на лестнице. Мартынова, когда я вбежал, не могла двинуться с места. Я вынес ее, а на улице она меня оттолкнула.

Я спросил глазами, что это значит.

— Руками в грудь,— пояснил Вуич,— так, как отталкивают, когда боятся или ненавидят. Она не хотела быть мне ничем обязанной. Я помню ее лицо.

Он видел, что мне затруднительно спрашивать знаками, и продолжал:

— Последнее, что я услышал от нее, было: «Никогда, даже теперь! Уходите, спасайтесь». Она скрылась в толпе; где она — жива или нет? — не знаю.

Он долго рассказывал о том, как остался в живых. То же самое происходило со множеством других людей, и я слушал рассеянно.

— Теперь ты забыл ее? — крикнул я в ухо Вуичу.

Он смутно понял, скорее угадал мой вопрос.

— Нет,— ответил он, вздрагивая от холода,—это больше, чем город.

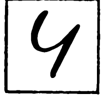
В лодке все, кроме нас, спали.

Я кружил по всем направлениям; миноносцы, катера, пароходы и баржи сновали над Петербургом, но мы еще не попали в поле их зрения. Ясное утро расцветило воду живым огнем, золотом и лазурью, а я, далекий от желаний любоваться ужасной красотой разрушения, думал о горе живых, более страшном, чем покой мертвых, о себе, Мартыновой, Вуиче, жалея людей, равно бессильных в страсти и гибели.

Вскоре незаметно для самого себя я уснул. Вуич уже спал. Меня разбудил гудок кронштадтского парохода. Нас окликнули и взяли на борт.

ЗАГАДКА ПРЕДВИДЕННОЙ СМЕРТИ

I



удовищная впечатлительность Эбергайля поднялась в последний день его жизни на такую высоту, с какой смотрит разум, стоящий на границе безумия. Утром он пробудился с явственным ощущением топора, касающегося его шеи. Мысль о топоре и отделении посредством его головы от туловища стала за последнее время постоянным спутником Эбергайля; он тщательно исследовал роковой момент, стараясь привыкнуть к нему и понять то, что в самый последний миг отойдет вместе с ним, как ощущение и мысль,— в тьму. Его представление о действии топора было ярко до осязательности, хотя длилось, обнимая процесс отсечения головы, ровно то ничтожное количество времени, в течение которого шестифунтовое лезвие, пущенное сильными руками со скоростью двух сажен в секунду, проходит вертикальное расстояние в три вершка — толщину шеи.

Подобной молниеносности точного представления, включающего холод в ногах, мучительную остановку сердца, спазму дыхательных путей, мгновение тишины, судорожный, страшный глоток в момент удара, ощущение взрыва мозга, паралич отделенных от головы, но

чувствуемых еще некоторое время конечностей,— и забвение — подобного, созданного силой воображения, точного знания казни Эбергайль достиг не сразу. Постепенно, ощупью, как человек, отыскивающий в темной комнате нужный ему предмет, Эбергайль нащупывал и спрашивал мыслью все свое тело, все части и органы его и даже процессы органов, он подходил к каждому из них с терпением учителя глухонемых, подвергал их действию внутреннего света, который уже горел в нем с момента объявления приговора. Итак, он получал сначала бессвязные, противоречивые ответы, потому что воображение его не сразу достигло того напряжения, при котором возможно стать любой из частей собственного своего организма, но, упражняясь далее, он мог ясно вообразить себя в себе, чем угодно: шейным позвонком, гортанью, артерией, щитовидной железой, кожей и мускулами. Тогда он приучился подвергать себя — в каждом из этих воображаемых состояний — мысленному удару топора, и делал так до тех пор, пока из тысяч представлений не начинало, как бы эхом физического воздействия, властно завладевать его сознанием и уверенностью одно, правдивость которого он улавливал в страхе, овладевавшем им после каждого из этих немых голосов тела, обреченного смерти.

Накануне казни, встав рано, Эбергайль, как уже сказано, ясно почувствовал медленно входящий в его шею топор. Он вынул его руками, сзади, из-под затылка, со всей болью представления об этом, и, поборов, таким образом, физическую галлюцинацию, лежал несколько минут обессиленный, думая все-таки о топоре и шее. Когда он думал об этом, ему было менее страшно и беспокойно, чем в минуты бессилия овладеть упорно повторяемым представлением. Прикованный к хорошо понятому, обдуманному и близкому ужасу, благодаря точному знанию того, что представляет собой вся пыль времени сотой части секунды в момент удара,— Эбергайль, несомненно, владел ужасом, зная, в чем он. Ужас не мог быть более самого себя. Но, если подобно тиканью карманных часов, исчезающему на время для утомленного слуха, исчезала отчетливая подробность и ясность ужаса,— Эбергайль падал духом. Страх, тяжкий, как удар молнии, делал его животным. Он верил тогда в непостижимость и неожиданность ужаса, что было для него нестерпимо; он хотел знать.

Под вечер Эбергайля посетил ученый Коломб, чело-

век пытливый и жестокий до равнодушия к самым ужасным мукам сознания. Последние часы людей, уверенных в близкой смерти, особенно интересовали его. Он увидел на фоне решетчатого окна человека в холщовом колпаке и таком же халате; незабываемое,— хотя, по внешности, обыкновенное,— лицо этого человека выражало сосредоточенность. Солнце заходило, охладевшие лучи его бросали на пол, к порогу камеры, резкую тень арестанта, тень, которую ему суждено было увидеть только еще раз — завтра утром, и то,— в случае ясной погоды.

«Его мозг в огне»,— подумал Коломб.

Эбергайль действительно смотрел внутрь себя. Глаза его остановились на Коломбе и вспыхнули: он увидел еще одну шею, в которую без труда сунул топор.

— Во имя науки ответьте мне на некоторые вопросы,— кротко сказал Коломб,— это, может быть, развлечет вас.

— Развлечет,— сказал Эбергайль.

— Как вы совершили преступление?

— Два выстрела.

— Нет,— пояснил Коломб,— мне хочется знать иное. Совпало ли ваше представление о преступлении с действительностью?

— Да. Я очень долго обдумывал это. Я был уверен, что он, выходя от моей жены и увидев меня с револьвером, сделает шаг назад, раскрыв рот. Затем он должен был закрыться рукой снизу вверх. В следующий момент я выстрелю ниже его локтя два раза, зная, что скажу: «а-га!», и он попятится, затем упадет сам, нарочно притворяясь убитым, чтобы избегнуть новых выстрелов, но, падая, умрет через пять секунд. Все произошло именно так; некоторое актерство в его падении я заметил потому, что он закрыл левой рукой глаза и упал, повернувшись ко мне спиной вверх. Я прострелил ему сердце. Он не мог умереть стоя и падать, делая такой ненужный жест, как закрытие глаз. Следовательно, он был жив, падая; и знал, что делает.

— О чем думали вы эти дни?

— О шее и топоре.

— А сегодня? — записывая, сказал Коломб.— Сегодня вы думали, мой друг, конечно, о количестве времени, остающемся вам, не так ли?

— Нет. О топоре и шее.

— А сейчас?

— О топоре и шее.

— Можете ли вы говорить со мной о моменте оглашения приговора?

— Нет,— злорадно сказал Эбергайль,— я, к счастью, не могу более думать и разговаривать ни о чем, кроме шеи и топора.

II

На рассвете спавший Эбергайль вскочил, дико крича, умоляя о пощаде, угрожая и плача. Его разбудил долгий звон ключа. Он тотчас, пока еще не открылась дверь, выхватил из окрашенного сном сознания самое дорогое, что у него было теперь: точное переживание удара по шее — и замер, окаменев. Вошел начальник тюрьмы, без солдат, и тотчас же притворил дверь.

— Успокойтесь,— сказал он.— Вы должны знать это, иначе бывали случаи смерти от разрыва сердца на эшафоте. Я изменяю долгу, но, жалея вас, пришел предостеречь от ненужных волнений. Вы казнены не будете, Эбергайль.

— Я или Эбергайль? — спросил тот, хитро прищуриваясь.

— Вы, Эбергайль.

— Я, Эбергайль. Очень хорошо. Дайте пить.

Он поднес кружку к губам и расхохотался в воду, так что расплескал ее.

— Церемония экзекуции,— сказал начальник тюрьмы,— будет выполнена вся, но топор не опустится.

— Не?! — спросил Эбергайль.

— Нет.

— Опустится или не опустится?

— Не опустится.

Он хотел прибавить еще несколько слов о необходимости предсмертной «игры», но Эбергайль вдруг упал на колени и поцеловал его сапог, и поцелуй этот был тяжел от счастья, как удар молотом.

Начальник тюрьмы вышел, крепко обтер глаза кистью руки и невольно посмотрел на сапог. Лак блестел ярче, чем обыкновенно. Начальник прикоснулся к нему, и пальцы его стали красными — от крови губ Эбергайля, губ, не пожалевших себя.

Эбергайль кружился по камере, как пьяный, тыкаясь в стены. Он был полон мгновением, хотел думать о нем,

но не мог, потому что внезапная слепота мысли — результат потрясения — сделала его счастливым животным. Бешеный восторг, подобно разливу, расправлял в его душе свой безбрежный круг, и Эбергайль тонул в нем. Наконец он ослабел той тихой радостной слабостью, какая известна детям, долго игравшим на воздухе,— до огней в доме и сумеречных звезд неба. И мысль вернулась к нему.

— Да! Ах! — сказал Эбергайль.— Славная, милая каторга! Я буду на каторге, буду жить! Как хорошо работать до изнурения! Хорошо также волочить ядро, чувствовать себя, свою ногу, живую! Замечательное ядро. Рай, а не каторга!

Снова загремел ключ, и Эбергайль встал с сияющими глазами. Он знал, что лезвие не опустится. С чувством внутреннего торжества притворился он, как мог, потрясенным, но покорным судьбе, исповедался, выслушал напутствие священника и сел в телегу. Шествие, сверкая обнаженными саблями, тронулось среди густой, азартной толпы к месту казни. Эбергайль слышал, как кричали: «Убийца!» — и радостно повторял: «Убийца». Он ласково подмигнул кричавшим ругательства и погрузился в созерцание высоко поднятого, но не опущенного топора.

III

Взойдя на помост со связанными за спиной руками, Эбергайль важно и снисходительно осмотрел сцену тяжелой игры. Плаха в виде невысокого столба, окованного железными обручами, выглядела совсем не безобидно, и это хотя не смутило Эбергайля, но поразило его совпадением с его собственным, точным представлением о ней,— в вопросе о шее и топоре. Возле плахи, на небольшой скамье, в раскрытом красном футляре блестел топор, и Эбергайль сразу узнал его. Это был тот самый топор полумесяцем, с круглой дубовой ручкой, который вчера утром невидимо рассек ему шею.

Эбергайль невольно снова соединил в уме три вещи: поверхность плахи, свою шею и острие, входящее в дерево сквозь шею; он убедился благодаря этому, что точное знание сложного в своем ужасе истязания осталось при нем. Тотчас же, с присущей ему живостью и неописуемой силой воображения создал он новое знание — знание отсутствия удара, и стал слушать чте-

ние приговора, внимательно рассматривая палача в сюртуке, черных перчатках, цилиндре и черном галстуке.

Лицо палача, заурядное своей грубостью, ничем не выделившей бы его в простонародной толпе, влекло к себе взгляд Эбергайля; в лице этом, благодаря власти безнаказанно, при огромном стечении народа, днем, отрубить человеческую голову, была змеиная сила очарования.

За пустым пространством вокруг эшафота смотрела на Эбергайля тихо дышащая толпа.

Палач подошел к Эбергайлю, взял его за плечи, пригнул к плахе и громко сказал:

— Господин Эбергайль, положите вашу голову вот сюда, лицом вниз, сами же станьте на колени и не шевелитесь, потому что иначе я могу нанести неправильный, плоский удар.

Эбергайль стал так, как сказал палач, и, свесив подбородок за край плахи, невольно улыбнулся. Внизу, под его глазами, был шероховатый, свежий настил с небольшой щелью меж досок. Он слышал запах дерева и зелени.

Голос сзади сказал:

— Палач, совершайте казнь.

Не видя, Эбергайль знал уже, что в следующее мгновение топор поднят. Он ждал, когда ему прикажут встать. Но все молчали, и он продолжал стоять в своей неудобной позе минуту, другую, третью, ясно чувствуя течение времени. Молчание и неподвижность вокруг продолжались.

«Тогда ударит,— мертвея, подумал Эбергайль.— Меня обманули».

Страшная тоска остановила его хлопающее по ребрам сердце, и точное знание удара неудержимо озарило его. Он судорожно глотнул воздух, чувствуя, как, после пробежавшего по всему телу огненного вихря, шея его стремительно вытянулась и голова свесилась до помоста; затем умер.

Человек в перчатках, приподняв топор, услышал:

— Остановитесь, палач. Казнь отменяется.

Палач опустил топор к ногам. Через мгновение после этого голова Эбергайля, продолжавшего неподвижно стоять у плахи, отделилась от туловища и громко стукнула о помост под хлынувшей на нее из обрубка шеи, фыркающей, как насос, кровью.

* * *

— Палач ударил,— сказал Консейль.

Коломб внимательно пробежал еще раз газетную заметку о странной казни и взял фельетониста за пуговицу жилета.

— Палач не ударил.— Он поднял руку вверх, изображая движение топора.— Топор остановился в воздухе вот так, и, после известных слов прокурора, описал дугу мимо головы преступника к ногам палача. Это продолжалось секунду.

— В таком случае...

— Голова упала сама.

— Оставьте мою пуговицу,— сердито сказал Консейль.— Теперь действительно будут спорить, сама или не сама упала голова Эбергайля. Но если вы оторвете пуговицу, я не стану утверждать, что она свалилась самостоятельно.

— Если бы пуговица думала об этом так упорно, как голова Эбергайля...

— Да, но вы академик.

— Оставим это,— сказал Коломб.— Очевидность часто говорит то, что хотят от нее слышать. Эбергайль — великий стигматик.

— Прекрасно! — проговорил, выходя из кофейни, через некоторое время, Консейль.— Я осрамлю вас завтра, Коломб, в газете, как восхитительного ученого! А, впрочем,— прибавил он,— не все ли равно — сама упала голова или ее отсекли? И что хуже — рубить или заставить человека самому себе оторвать голову? Во всяком случае, палач сел между двух стульев, и ему придется хорошо подумать об этом.

РЕДКИЙ ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ АППАРАТ

I

За Зурбаганом, в местности, проклятой самим богом, в голой, напоминающей ад степи, стояла каменная статуя, изображающая женщину в сидячем положении, с руками, поднятыми вверх, к небу, и глазами, опущенными к земле. Никто из жителей окрестностей Зурбагана не мог бы

указать происхождения этой статуи, никто также не мог объяснить, кого изображает она. Жители прозвали статую «Ленивой Матерью» и с суеверным страхом обходили ее. Как бы то ни было, это ничтожное каменное отражение давно прошедшей и давно мертвой жизни волей судьбы и бога уничтожило двух людей.

Смеркалось, когда старый рудокоп Энох вышел за границу степи, окружающей Зурбаган. В рудниках Западной Пирамиды Энох заработал около двух тысяч рублей. Его жена, мать и брат жили в Зурбагане, он шесть месяцев не видал их. Торопясь обнять близких людей, Энох ради сокращения пути двинулся от железнодорожной станции хорошо знакомыми окольными тропинками, сперва — лесом, а затем, где мы и застаем его,— степью. Ему оставалось не более двух часов быстрой ходьбы.

Несколько дождевых капель упало на руки и лицо Эноха, и рудокоп поднял голову. Тревожный, бледный свет угасающего солнца с трудом выбивался из-под низких грозных туч, тяжко взбиравшихся к зениту над головой путника. Фиолетовая густая тьма зарокотала вдали глухим громом, полным еще сдерживаемой, но готовой разразиться неистово ярости. Энох сморщился и прибавил шагу. Скоро дождь хлынул ливнем, а из грома, закипев белым трепетом небесных трещин, выросли извилистые распадения молний. Почти непрерывно, с редкими удушливыми моментами тишины, ударял гром. Содрогающийся ослепительный блеск падал из темных туч вниз на крыльях ветра и ливня. Энох, смокший насквозь, не шел, а бежал к «Ленивой Матери». Он и раньше видал ее, а теперь, заметив ее издалека, поспешил под ее сомнительное прикрытие. Статуя то появлялась, то исчезала, смотря по силе небесных вспышек. Достигнув подножия двухсаженного изваяния, Энох увидел, что меж ногами идола сидит, как в будке, плохо одетый человек. Человек этот пристально смотрел на него.

II

Рудокоп не был трусом, но деньги, зашитые в его кожаном поясе, гроза, действующая на нервы, и уныло замкнутое лицо неизвестного испортили ему настроение, которое, несмотря на дождь, благодаря близости дома

было до этого весьма бодрым. Он кивнул сидевшему и оперся плечом о квадратное колено изваяния. Успев заметить, что неизвестный держит в руках старое одноствольное ружье, что лицо его трудно представить улыбающимся и что на его левой руке не хватает среднего пальца, Энох сказал:

— Хорошее местечко выбрали вы себе, сосед. Правда, из-за этого колена мне не бежит, как раньше, вода за воротник, но все-таки брызжет на голову.

Сидевший внимательно осмотрел Эноха и кивнул головой.

— Вы от станции? — спросил он.

— Да.

— Значит, сбились с дороги. Нужно было забирать левее, к холмам.

— Я здешний,— возразил рудокоп.— Все дороги я знаю, но это направление сокращает путь.

— Сокращает путь? — повторил незнакомец.— Возможно... Судя по костюму, вы работали в горах на западе?

— Работал,— неохотно ответил Энох и замолчал. Сердце его, вдруг затосковав, сжалось. Незнакомец не сказал ничего, кроме самых естественных при этой оригинальной встрече фраз, но рудокопу захотелось уйти. Сунув руку в карман, где лежал револьвер, он украдкой посмотрел на сидевшего. Тот, опустив глаза, легонько посвистывал. Ветер усилился. Уши Эноха начали уже привыкать к неистовому громовому реву, но тут раздался такой взрыв, что он невольно нагнул голову. Молния чрезвычайной силы и длительности замела степь. Неизвестный сказал:

— Давно уже собираюсь я навестить рудники. Там хорошо платят.

— Да, хорошо! — вздрогнул и слишком поспешно вздохнул Энох.— Знаете, хорошо там, где нас нет. Вот когда я был молодым, тогда действительно зарабатывал, а теперь — старость... собачья жизнь... А что,— продолжал он, намекая на профессию охотника,— разве лисицы и бобры ходят теперь без шкур?

Незнакомец, ничего не ответив, снова опустил голову.

— Пойду, пожалуй,— сказал Энох,— небо проясняется.

— Что вы! Идут новые тучи!

— Это ничего... ветер стихает.

— Ого! Ревет, как водопад!

— Да и дождь, кажется, сдал. Надо идти.

Сказав это, Энох крепко сжал в кармане револьвер и шагнул в степь. Через мгновение за его спиной стукнул выстрел, и пуля, выскочив меж лопаток сквозь грудь, разорвала сердце. Энох упал около статуи. Неизвестный, вложив новый патрон, смотрел некоторое время, скосив глаза, как слабо шевелятся на земле руки убитого, сводимые судорогой агонии, затем, встав, присел на корточки возле Эноха.

— Глупо было бы не воспользоваться случаем при виде такого толстого кожаного пояса,— сказал он.— А он еще толковал мне о лисьих шкурках! Нет! Я, старый Бартон, знаю, что делаю. Ну-ка, поясок, вскройся!

Он разрезал ножом трехфунтовое утолщение пояса и с руками, полными денег, удалился на сухое место меж ногами статуи, где, перегрузив добычу в карманы, сидел несколько минут, стараясь побороть возбуждение убийством и сообразить, в какую сторону удалиться. Когда это было решено им в пользу одного из кабаков Зурбагана, Бартон встал и вышел под дождь. Тут ожидала его крупная неприятность. Волна белого огня молнии, сопровождаемая потрясающим небесным ударом, одела статую с вершины до земли жгучей, сверкающей пеленой, и Бартон, потеряв сознание, ткнулся лицом в землю.

Часа два оглушенный и мертвый лежали рядом. Тучи, отдав земле всю бешеную влагу, скрылись, и над ночной степью показались тихие звезды. Холод ночи оживил Бартона. Шатаясь, с трудом поднялся он на занывших руках, потом сел, хватаясь за обожженный затылок. Сознание медленно возвращалось к нему. Отдохнув, он направился в Зурбаган.

III

К вечеру следующего дня в одну из зурбаганских больниц доставили пьяного, сильно израненного ножами в драке человека. Его звали Бартон. Он, страшно ругаясь, рассказал, что его товарищи вздумали смеяться над ним, уверяя, будто на его шее существует татуировка, и высказали предположение, что кто-нибудь подшутил над ним во время пьяного сна, поместив рисунок на таком странном месте. Он, разумеется, парень горя-

чий и т. д., и себя в обиду не даст и т. д., и сейчас же схватился за нож и т. д., и его исколотили.

Он рассказывал это в то время, когда ему делали перевязку. Доктор, зайдя сзади, посмотрел на шею Бартона.

— Какое-то синее пятно,— сказал он,— вероятно, синяк.

— Вот это может быть,— подхватил Бартон, рассматривая рану выше локтя, из которой обильно текла кровь.— Я никому не позволю смеяться, ей-богу.

Доктор, щурясь, нагибался все ближе к Бартоновой шее.

— Когда тебя так хватит громом, как хватило меня,— продолжал Бартон,— я думаю, будет синяк.

— А вас хватило? — спросил доктор.

— Еще как! Я шел это, понимаете, близ ручья, как треснет сверху! Я и полетел через голову!... Да ничего, кость здоровая.

Доктор взял губку, смочил ее и потер шею Бартона.

— Это-то ничего,— сказал тот,— вот в боку дыра — это поважнее.

— Ну, все-таки,— сказал доктор,— лечить так лечить!

Бартон начал стонать. Доктор, приблизив к шее Бартона сильную лупу, увидел интересную вещь. На белой полоске кожи ясно обозначался рисунок синего цвета, похожий на старинные фотографии; контуры его были расплывчаты, но до странности походили на всем известную статую «Ленивой Матери». Поднятые вверх руки статуи обозначались особенно ясно. Внизу с раскинутыми руками и ногами лежал человек.

— Да, это синяк,— сказал доктор,— синяк и ничего более... Подождите немного.

Он вышел в другую комнату, думая о том, как неожиданно открылся автор преступления, обеспокоившего зурбаганцев. Вскоре явился вызванный в больницу начальник полиции.

— Первый раз в жизни слышу о такой штуке! — воскликнул он на заявление доктора.

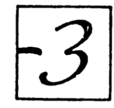
— То ли еще делает молния,— возразил доктор.— Молния фотографирует иногда еще удачнее, чем в этом случае. А что вы скажете на свидетельство науки, что молния, не ранив человека, может раздеть его донага, не расстегивая воротника и манжет и не развязывая башмачных шнурков?

Все это — загадочные явления одного порядка с действием смерча, когда, например, черепицы на крышах оказываются перевернутыми в том же порядке, но левой стороной вверх. Нет, снимок вышел удачный.

— Надеюсь,— сказал чиновник,— что этих ручных кандалов, что у меня в руках, не снять даже молнии. Я иду надеть их на негатив.

ЭПИЗОД ПРИ ВЗЯТИИ ФОРТА «ЦИКЛОП»

I



автра приступ! — сказал, входя в палатку, человек с измученным и счастливым лицом — капитан Егер. Он поклонился и рассмеялся.— Поздравляю, господа, всех; завтра у нас праздник!

Несколько офицеров, игравших в карты, отнеслись к новости каждый по-своему.

— Жму вашу руку, Егер,— вскричал, вспыхивая воинственным жаром, проворный Крисс.

— По-моему — рано; осада еще не выдержана,— ровно повышая голос, заявил Гельвий.

— Значит, я буду завтра убит,— сказал Геслер и встал.

— Почему — завтра? — спросил Егер.— Не верьте предчувствиям. Сядьте! Я тоже поставлю несколько золотых. Я думаю, господа, что перед опасностью каждый хоронит себя мысленно.

— Нет, убьют,— повторил Геслер.— Я ведь не жалуюсь, я просто знаю это.

— Пустяки! — Егер взял брошенные карты, стасовал колоду и стал сдавать, говоря: — Мне кажется, что даже и это, то есть смерть или жизнь на войне, в воле человека. Стоит лишь сильно захотеть, например, жить — и вас ничто не коснется. И наоборот.

— Я фаталист, я воин,— возразил Крисс,— мне философия не нужна.

— Однако сделаем опыт, опыт в области случайностей,— сказал Егер.— Я, например, очень хочу проиграть сегодня все деньги, а завтра быть убитым. Уверяю вас, что будет по-моему.

— Это, пожалуй, легче, чем наоборот,— заметил Гельвий, и все засмеялись.

— Кто знает... но довольно шутить! За игру, братцы!

В молчании продолжалась игра. Егер убил все ставки.

— Еще раз! — насупившись, сказал он.

Золото появилось на столе в двойном, против прежнего, количестве, и снова Егер убил все ставки.

— Ах! — вскричал, горячась, Крисс.— Все это идет по вольной оценке.— Он бросил на стол портсигар и часы.— Попробуйте.

Богатый Гельвий утроил ставку, а Геслер учетверил ее. Егер, странно улыбаясь, открыл очки. Ему повезло и на этот раз.

— Теперь проиграться трудно,— с недоумением сказал он.— Но я не ожидал этого. Вы знаете, завтра нелегкий день, мне нужно отдохнуть. Я проверял посты и устал. Спокойной ночи!

Он молча собрал деньги и вышел.

— Егер нервен, как никогда,— сказал Гельвий.

— Почему?

— Почему, Крисс? На войне много причин для этого.— Геслер задумался.— Сыграем еще?!

— Есть.

И карты, мягко вылетая из рук Геслера, покрыли стол.

II

Егер не пошел в палатку, а, покачав головой и тихонько улыбаясь мраку, перешел линию оцепления. Часовой окликнул его тем строгим, беспощадным голосом военных людей, от которого веет смертью и приказанием. Егер, сказав пароль, удалился к опушке леса. Пред выросшими из мрака, непоколебимыми, как литые из железа, деревьями, ему захотелось обернуться, и он, с тоской в душе, посмотрел назад, на черно-темные облака, тучи, под которыми лежал форт «Циклоп». Егер ждал последней, ужасной радости с той стороны, где громоздились стены и зеленые валы неприятеля. Он вспомнил о неожиданном выигрыше, совершенно ненужном, словно издевающемся над непоколебимым решением капитана. Егер, вынув горсть золота, бросил

его в кусты, та же участь постигла все остальные деньги, часы и портсигар Крисса. Сделав это, капитан постоял еще несколько времени, прислушиваясь к тьме, как будто ожидал услышать тихий ропот монет, привыкших греться в карманах. Молчание спящей земли вызвало слезы на глаза Егера, он не стыдился и не вытирал их, и они, свободно, не видимые никем, текли по его лицу. Егер думал о завтрашнем приступе и своей добровольной смерти. Если бы он мог — он с наслаждением подтолкнул бы солнце к востоку, нетерпеливо хотелось ему покончить все счеты с жизнью. Еще вчера обдумывал он, тоскуя в бессоннице, не пристрелить ли себя, но не сделал этого из гордости. Его положение в эти дни, после письма, было для него более ужасным, чем смерть. Егер, хоть было совсем темно, вынул из кармана письмо и поцеловал смятую бумагу, короткое, глупое письмо женщины, делающей решительный шаг.

«Прощай навсегда. Эльза»,— повторил он единственную строку этого письма. Мучительным, волнующим обаянием запрещенной отныне любви повеяло на него от письма, гневно и нежно скомканного горячей рукой. Он не знал за собой никакой вины, но знал женщин. Место его, без сомнения, занял в сердце Эльзы покладистый, услужливый и опытный Магуи, относительно которого он недаром всегда был настороже. Самолюбие мешало ему просить объяснений. Он слишком уважал себя и ее. Есть люди, неспособные ждать и надеяться; Егер был из числа их; он не хотел жить.

Медленно вернулся он к себе в палатку, бросился на постель и ясно, в темноте, увидел как бы остановившуюся в воздухе пулю, ту самую, которую призывал всем сердцем. Неясный свет, напоминающий фосфорическое свечение, окружал ее. Это была обыкновенная, коническая пуля штуцеров Консидье,— вооружение неприятеля. Ее матовая оболочка была чуть-чуть сорвана в одном месте, ближе к концу, и Егер отчетливо, как печатную букву, различал темный свинец; пятно это, величиной в перечное зерно, убедительно, одноглазо смотрело на капитана. Прошла минута, галлюцинация потускнела и исчезла, и Егер уснул.

III

Белый туман еще струился над землей, а солнце пряталось в далеких холмах, когда полк, построенный в штурмовые колонны, под крик безумных рожков и гром барабанов, бросился к форту. «Циклоп», построенный ромбом, блестел веселыми, беглыми иллюминационными огоньками; то были выстрелы врассыпную, от них круто прыгали вперед белые, пухлые дымки, хлеща воздух сотнями бичей, а из амбразур, шушукая, вслед за тяжелыми ударами пушек, неслись гранаты. Егер бежал впереди, плечо к плечу с солдатами и каждая услышанная пуля наполняла его холодным сопротивлением и упрямством. Он знал, что той пули, которая пригрезилась ночью, услышать нельзя, потому что она не пролетит мимо. Солдат, опередивший его на несколько шагов, вдруг остановился, покачал головой и упал. Егер, продолжая бежать, осмотрелся: везде, как бы спотыкаясь о невидимое препятствие, падали, роняя оружье, люди, а другие, перескакивая через них, продолжали свой головокружительный бег.

«Скоро ли моя очередь?» — с недоумением подумал Егер, и тотчас, вспахав землю, граната разорвалась перед ним, плюнув кругом землей, осколками и гнилым дымом. Горячий, воздушный толчок остановил Егера на одно мгновение.

— Есть! — радостно вскричал он, но, встряхнувшись, здоровый и злой, побежал дальше.

Поле, по которому бежали роты генерала Фильбанка, дробно пылилось, как пылится, под крупным дождем, сухая грунтовая дорога. Это ударялись пули.

«Как много их,— рассеянно думал Егер, подбегая к линии укреплений.— Дай мне одну, господи!» Нетерпеливо полез он первый по скату земляного вала, откуда, прямо в лицо, брызгал пороховой дым. За капитаном, скользя коленями по гладкому дерну, ползли солдаты. На гребне вала Егер остановился; его толкали, сбивали с ног, и уже началась тесная, как в субботней бане, медленная, смертельная возня. Гипноз битвы овладел Егером. Как в бреду, видел он красные мундиры своих и голубые — неприятеля: одни из них, согнувшись, словно под непосильной тяжестью, закрывали простреленное лицо руками, другие, расталкивая локтями раненых, лезли вперед, нанося удары и падая от них сами; третьи, в оцепенении, не могли двинуться с места

и стояли, как Егер, опустив руки. Острие штыка протянулось к Егеру, он молча посмотрел на него, и лицо стало у него таким же измученным и счастливым, как вчера вечером, когда он пришел к товарищам сообщить о приступе. Но о штык звякнул другой штык; первый штык скрылся, а под ноги Егеру сунулся затылком голубой мундир.

Капитан встрепенулся. «Нет, госпожа Смерть! — сказал он.— Вы не уйдете». Он бросился дальше, ко рву и стенам форта, где уже раскачивались, отталкиваемые сверху, штурмовые лестницы. Его торопили, ругали, и он торопил всех, ругался и лез, срываясь, по узким перекладинам лестниц. Он бросался в самые отчаянные места, но его не трогали. Многие падали рядом с ним; иногда, отчаявшись в том, чего искал и на что надеялся, он вырывался вперед, совсем теряясь для своих в голубой толпе, но скоро опять становилось кругом свободно, и снова бой завивал свой хриплый клубок впереди, оттесняя Егера. Наконец, улыбнувшись, он махнул рукой и перестал заботиться о себе.

IV

Дней через шесть после взятия форта в палатку Егера зашел генерал Фильбанк. Капитан сидел за столом и писал обычный дневной рапорт.

— Позвольте мне лично передать вам письмо,— сказал Фильбанк,— после того, что вы показали при штурме «Циклопа», мне приятно лишний раз увидеться с вами.

— Благодарю, генерал,— возразил Егер,— но я был не более как...— Взгляд его упал на почерк адреса, он молча сам взял письмо из рук генерала и, не спрашивая обычного позволения, разорвал конверт. Руки его тряслись. Медленно развернув листок, Егер прочел письмо, вздохнул и рассмеялся.

— Ну, я вижу... — холодно сказал Фильбанк, — ваши мысли заняты. Ухожу.

Егер продолжал смеяться. От смеха на глазах его выступили слезы.

— Извините, генерал...— проговорил он,— я не в своем уме.

Они стояли друг против друга. Генерал, натянуто улыбаясь, пожал плечами, как бы желая сказать: «Я

знаю, знаю, как частный человек, я сам»...— сделал рукой извиняющий жест и вышел.

— О глупая! — сказал Егер, прикладывая письмо к щеке.— О глупая! — повторил он так мягко, как только мог произнести это его голос, охрипший от команд и дождей. Он снова перечитал письмо, «Дорогой, прости Эльзу. Я поверила клевете на тебя, мне ложно доказали, что я у тебя не одна. Но я больше не буду».

— Ах вы, глупые женщины! — сказал Егер.— Стоит вам соврать, а вы уже и поверили. Я счастливый человек. За что мне столько счастья?

Затуманенными глазами смотрел он прямо перед собой, забыв обо всем. И вот, тихо задрожав, на полотнище палатки остановилось, как солнечный зайчик, неяркое, конусообразное пятно. Центр его, заметно сгущаясь, напоминал пулю. Конец оболочки, сорванный в одном месте, обнажил темный свинец.

Егер закрыл глаза, а когда открыл их, пятно исчезло. Он вспомнил о безумном поведении своем в памятное утро взятия форта и вздрогнул. «Нет, теперь я не хочу этого, нет». Он перебрал все лучшие, радостные мгновения жизни и не мог найти в них ничего прекраснее, восхитительнее, божественнее, чем то письмо, которое держал теперь в руках.

Он сел, положил голову на руки и долго, не менее часа, сидел так, полный одним чувством. Когда заиграл рожок, он не сразу понял, в чем дело, но, поняв, внутренно потускнел и, повинуясь привычке, выбежал к построившейся уже в боевой порядок роте. Наступал неприятель.

Стрелки рассыпались, выдвигаясь цепью навстречу неприятельскому арьергарду, откуда, словно приближающийся ливень, летела, рассыпаясь, пыльная линия ударяющих все ближе и ближе пуль. Егер, следуя за стрелками, ощутил не страх, а зудливое, подозрительное беспокойство, но тотчас, как только глухие щелчки, пыля, стали раздаваться вокруг него, беспокойство исчезло. Его сменила теплая, благородная уверенность. Сильным, спокойным голосом отдал он команду ложиться, улыбнулся и упал с пробитой головой, не понимая, отчего земля вдруг поднялась к нему, бросившись на грудь.

— Удивительно крепкие пули,— сказал доктор в походном лазарете своему коллеге, рассматривая извле-

ченную из головы Егера пулю.— Она даже не сплюснулась. Чуть-чуть сорвало оболочку.

— Это не всегда бывает,— возразил второй, умывая темные, как в перчатках, руки,— и пуля Консидье может, попав в ребро костяка, разбиться.

Он стал рассматривать крошечный, весом не более пяти золотников, ружейный снаряд. У конца его была слегка сорвана оболочка и из-под нее темнел голый свинец.

— Да, гуманная пуля,— сказал он.— Как, по-вашему, дела капитана?

— Очень плохо. На единицу.

— С минусом. Геслер был крепче, но и тот не выжил.

— Да,— возразил первый,— но этот счастливее. Он без сознания, а тот умер, не переставая кричать от боли.

— Так,— сказал второй,— счастье условно.

ЗАБЫТОЕ

I

Табарен был очень ценным работником для фирмы «Воздух и свет». В его натуре счастливо сочетались все необходимые хорошему съемщику качества: страстная любовь к делу, находчивость, профессиональная смелость и огромное терпение. Ему удавалось то, что другие считали невыполнимым. Он умел ловить угол света в самую дурную погоду, если снимал на улице какую-либо процессию или проезд высокопоставленных лиц. Одинаково хорошо и ясно и всегда в интересном ракурсе снимал он все заказы, откуда бы ни пришлось. с крыш, башен, деревьев, аэропланов и лодок. Временами его ремесло переходило в искусство. Снимая научно-популярные ленты, он мог часами просиживать у птичьего гнезда, ожидая возвращения матери к голодным птенцам, или у пчелиного улья, приготовляясь запечатлеть вылет нового роя. Он побывал во всех частях света, вооруженный револьвером и маленьким съемочным аппаратом. Охоты на диких зверей, жизнь

редких животных, битвы туземцев, величественные пейзажи,— все проходило перед ним, сперва в жизни, а затем на прозрачной ленте, и сотни тысяч людей видели то, что видел сперва один Табарен.

Созерцательный, холодный и невозмутимый характер его как нельзя более отвечал этому занятию. С годами Табарен разучился принимать жизнь в ее существе; все происходящее, все, что было доступно его наблюдению, оценивал он как годный или негодный материал зрительный. Он не замечал этого, но бессознательно всегда и прежде всего взвешивал контрасты света и теней, темп движения, окраску предметов, рельефность и перспективу. Привычка смотреть, своеобразная жадность зрения была его жизнью; он жил глазами, напоминая прекрасное, точное зеркало, чуждое отражаемому.

Табарен зарабатывал много, но с наступлением войны дела его пошатнулись. Фирма его лопнула, другие же фирмы сократили операции. Содержание семьи стало дорого, вдобавок пришлось уплатить по нескольким спешно предъявленным векселям. Табарен остался почти без денег; похудевший от забот, часами просиживал он в кафе, обдумывая выход из тягостного, непривычного положения.

— Снимите бой,— сказал однажды ему знакомый, тоже оставшийся не у дел съемщик.— Но только не инсценировку. Снимите бой настоящий, в десяти шагах, со всеми его непредвиденными натуральными положениями. За негатив дадут прекрасные деньги.

Табарен почесал лоб.

— Я думал об этом,— сказал он.— Единственное, что останавливало меня,— это семья. Опасности привыкли ко мне, а я к ним, но быть убитым, оставив семью без денег,— нехорошо. Во-вторых, мне нужен помощник. Может случиться, что, раненный, я брошу вертеть ленту, а продолжать нужно. Наконец, вдвоем безопаснее и удобнее. В-третьих, надо получить разрешение и пропуск.

Они замолчали. Знакомого Табарена звали Ланоск; он был поляк, с детства живущий за границей. Настоящую фамилию его: «Ланской» — французы переделали на «Ланоск», и он привык к этому. Ланоск напряженно думал. Идея боевой фильмы все более пленяла его, и то, что он высказал вслух, не было, по-

видимому, внезапным решением, а ждало только подходящего случая и настроения. Он сказал:

— Давайте, Табарен, сделаем это вместе. Я одинок. Доход пополам. У меня есть небольшое сбережение; его хватит пока вашей семье, а потом сосчитаемся. Не беспокойтесь, я деловой человек.

Табарен обещал подумать и через день согласился. Тут же он развил перед Ланоском план съемок: лента должна быть возможно полной. Они дадут полную картину войны, развертывая ее крещендо от незначительных, подготовляющих впечатлений до настоящего боя. Ленту хорошо сделать единственной в этом роде. Игра ва-банк: смерть или богатство.

Ланоск воодушевился. Он заявил, что тотчас поедет и заключит предварительное условие с двумя конторами. А Табарен отправился хлопотать о разрешении военного начальства. С большим трудом, путем множества мытарств, убеждая, доказывая, прося и умоляя, получил он наконец через две недели желанную бумагу, затем успокоил, как мог, жену, сказав ей, что получил недолгосрочную командировку обычного характера, и выехал с Ланоском на боевые поля.

II

Первая неделя прошла в усиленной и беспокойной работе, в посещениях местностей, затронутых войной, и выборе среди изобилия материала — самого интересного. Где верхом, где пешком, где на лодках или в солдатском поезде, часто без сна и впроголодь, ночуя в крестьянских избах, каменоломнях или в лесу, съемщики наполнили шестьсот метров ленты. Здесь было все: деревни, сожженные пруссаками; жители-беглецы, рощи, пострадавшие от артиллерийского огня, трупы солдат и лошадей, сцены походной жизни, картины местностей, где происходили наиболее славные бои, пленные немцы, отряды зуавов и тюркосов; словом — вся громада борьбы, включительно до переноски раненых и снимков операционных помещений на их полном ходу. Не было только еще центра картины — боя. Невозмутимо, как привычный хирург у операционного стола, Табарен вертел ручку аппарата, и глаза его вспыхивали живым блеском, когда яркое солнце помогало работе или случай давал живописное располо-

жение живых групп. Ланоск, более нервный и подвижной, вначале сильно страдал; часто при виде разрушений, нанесенных немцами, проклятия сыпались из его горла столь же выразительным тоном, как плач женщины или крик раненого. Через несколько дней нервы его притупились, затихли, он втянулся, привык и примирился со своей ролью — молча отражать виденное.

Наступил день, когда съемщикам надлежало выполнить самую трудную и заманчивую часть работы: снять подлинный бой. Дивизия, близ которой остановились они в маленькой деревушке, должна была утром атаковать холмы, занятые неприятелем. Ночью, наняв телегу, Табарен и Ланоск отправились в цепь, где с разрешения полковника присоединились к стрелковой роте.

Ночь была пасмурная и холодная. Огней не разводили. Солдаты частью спали, частью сидели еще группами, разговаривая о делах походной жизни, стычках и ранах. Некоторые спрашивали Табарена — не боится ли он. Табарен, улыбаясь, отвечал всем:

— Я только одно боюсь: что пуля пробьет ленту.

Ланоск говорил:

— Трудно попасть в аппарат: он маленький.

Они закусили хлебом и яблоками и улеглись спать. Табарен скоро уснул; Ланоск лежал и думал о смерти. Над головой его неслись тучи, гонимые резким ветром; вдали гудел лес. Ланоск не боялся смерти, но боялся ее внезапности. На тысячи ладов рисовал он себе этот роковой случай, пока с востока не побелел воздух и синий глаз неба скользнул кое-где среди серых, облачных армад, густо валившихся за холмистый горизонт.

Тогда он разбудил Табарена и осмотрел аппарат.

Табарен, проснувшись, прежде всего осмотрел небо.

— Солнца, солнца! — нетерпеливо вскричал он.— Без солнца все будет смазано; здесь некогда долго выбирать позицию и находить фокус!

— Я съел бы эти тучи, если бы мог! — подхватил Ланоск.

Они стояли в окопе. Слева и справа от них тянулись ряды стрелков. Лица их были серьезны и деловиты. Через несколько минут вой первой шрапнели огласил высоту, и в окоп после грозного треска сыпнул

невидимый град. Два стрелка пошатнулись, два упали. Бой начался. Гремели раскаты ружейного огня; сзади, поддерживая пехоту, потрясали землю артиллерийские выстрелы.

Табарен, установив аппарат, внимательно вертел ручку. Он наводил объект то на раненых, то на стреляющих, ловил целлулоидом выражение их лиц, позы, движения. Обычное хладнокровие не изменило ему, только сознание заработало быстрее, время как бы остановилось, а зрение удвоилось. По временам он топал ногой, вскрикивая:

— Солнца! Солнца!

На него не обращали внимания. Солдаты, перебегая, толкали его, и тогда он крепко цеплялся за аппарат, опасаясь за его целость. Ланоск сидел, прижавшись к стенке окопа.

По окопам, заглушаемая выстрелами, передалась команда. Отряд шел в атаку. Солдаты, перелезая через бруствер, бросились бежать к холмам, молча, стиснув зубы, с ружьями наперевес. Табарен, держа аппарат под мышкой, кинулся бежать за солдатами, пересиливая одышку. Ланоск не отставал; он был бледен, возбужден и на бегу, не переставая, кричал:

— Ура, Табарен! Лента и Франция увидят чертовский удар нашего штыка! А ловко я это выдумал, Табарен? Опасно... но, черт возьми — жизнь вообще опасна! Смотрите, что за молодцы бегут впереди! Как у этого блестят зубы! Он смеется! Ура! Мы снимем победу, Табарен! Ура!

Они слегка отстали, и Табарен пустился бежать изо всех сил. Пули срезывали у его ног траву, свистали над головой, и он страшной силой воли заставил молчать сознание, твердящее о внезапной смерти. Чем дальше, тем чаще встречались ему лежащие ничком, только что опередившие его в беге солдаты.

На гребне холма показались немцы, поспешно выбегая навстречу, стреляя на ходу и что-то выкрикивая. За минуту до столкновения Табарен вырвал у Ланоска треножник и быстро, задыхаясь от бега, установил аппарат. Руки его тряслись. В этот момент ненавистное, упрямое, милое солнце бросило в разрез туч желтый, живой свет, родив бегущие тени людей, ясность и чистоту дали.

Французы бились от Табарена в пятнадцати, десяти шагах. Мелькающий блеск штыков, круги, описываемые прикладами, изогнутые назад спины падающих, повороты и прыжки наступающих, движение касок и кепи, гневная бледность лиц — все, схваченное светом, неслось в темную камеру аппарата. Табарен вздрагивал от радости при виде ловких ударов. Ружейные стволы, парируя и поражая, хлопались друг о друга. Вдруг странное смешение чувств потрясло Табарена. Затем он упал, и память и сознание оставили его, лежащего на земле.

III

Когда Табарен очнулся, то понял по обстановке и тишине, что лежит в лазарете. Он чувствовал сильную жажду и слабость. Попробовав повернуть голову, он чуть снова не лишился сознания от страшной боли в висках. Забинтованная, не смертельно простреленная голова требовала покоя. Первый вопрос, заданный им врачу, был:

— Цел ли мой аппарат?

Его успокоили. Аппарат подобрал санитар; товарища же его, Ланоска, убили. Табарен был еще слишком слаб, чтобы реагировать на это известие. Волнение, пережитое в вопросе о судьбе аппарата, утомило его. Он вскоре уснул.

Ряд долгих, скучных, томительных дней провел Табарен на койке, тщетно пытаясь вспомнить, как и при каких обстоятельствах получил рану. Пораженная память отказывалась заполнить темный провал живым содержанием. Смутно казалось Табарену, что там, во время атаки, с ним произошло нечто удивительное и важное. Кусая губы и морща лоб, подолгу думал он о том неизвестном, которое оставило памяти едва заметный след ощущений, столь сложных и смутных, что попытка воскресить их вызывала неизменно лишь утомление и досаду.

В конце августа он возвратился в Париж и тотчас же занялся проявлением негативов. То одна, то другая фирма торопили его, да и сам он горел нетерпением увидеть, наконец, на экране плоды своих трудов и скитаний. Когда все было готово, в просторном зале собрались смотреть боевую фильму Табарена агенты,

представители фирм, содержатели театров и кинематографов.

Табарен волновался. Он сам хотел судить о своей работе в полном ее объеме, а потому избегал смотреть ранее этого вечера готовую уже ленту на свет. Кроме того, его удерживала от преждевременного любопытства тайная, ни на чем, конечно, не обоснованная надежда найти на экране, в связном повторении моментов, исчезнувший бесследно обрывок воспоминаний. Потребность в с п о м н и т ь стала его болезнью, манией. Он ждал и почему-то боялся. Его чувства напоминали трепет юноши, идущего на первое свидание. Усаживаясь на стул, он волновался, как ребенок.

В глубоком молчании смотрели зрители сцены войны, добытые ценой смерти Ланоска. Картина заканчивалась. Тяжело дыша, смотрел Табарен эпизоды штыкового боя, смутно начиная что-то припоминать. Вдруг он закричал:

— Это я! я!

Действительно, это был он. Французский стрелок, изнемогая под ударами четырех пруссаков, шатался уже, еле держась на ногах; окруженный, он бросил вокруг себя безнадежный взгляд, посмотрел в сторону, за раму экрана и, падая, раненный еще раз, закричал что-то неслышное зрителям, но теперь до боли знакомое Табарену. Крик этот снова раздался в его ушах. Солдат крикнул:

— Помоги землячку, фотограф!

И тотчас же Табарен увидел на экране себя, подбегающего к дерущимся. В его руке был револьвер, он выстрелил раз, и два, и три, свалил немца, затем схватил выпавшее ружье француза и стал отбиваться. И чувства жалости и гнева, бросившие его на помощь французу,— снова воскресли в нем. Второй раз он изменил себе, изменил спокойному зрению и профессиональной бесстрастности. Волнение его разразилось слезами. Экран погас.

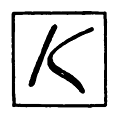
— Боже мой! — сказал, не отвечая на вопросы знакомых, Табарен.— Лента кончилась... в этот момент убили Ланоска... Он продолжал вертеть ручку! Еще немного — и солдата убили бы. Я не выдержал и плюнул на ленту!

ПРОИСШЕСТВИЕ В КВАРТИРЕ Г-ЖИ СЕРИЗ

Мало на свете мудрецов, друг Горацио.

Шекспир наизнанку.

I



алиостро не умер; его смерть выдумали явно беспомощные в достижении высших истин рационалисты. Во времена Калиостро или, вернее, в ту эпоху, когда великий человек этот стоял на виду, рационалисты были еще беспомощнее. У них накопилось кое-что, правда: Ньютоново яблоко, Лавуазье и т. п., но какими пустяками казалось это в сравнении с циклопическими знаниями знаменитого Калиостро! Ламбаль и Прекрасная Цветочница своевременно убедились в них [1]. Итак, рационалисты, эмпирики и натуралисты смертельно завидовали Калиостро, бессмертному и неуязвимому в своей мощи. Они ловко использовали то обстоятельство, что гениальный итальянец встретил ледяной прием в столице нашего отечества, а двор Екатерины, воспитанный на малопитательном для ума смешении юмориста Вольтера с стеклоделом Ломоносовым и футуристом Тредьяковским, не мог усвоить всей ценности знаний своего великого гостя.

Неуспех Калиостро приписали его бессилию, а отсюда заключили, что он смертен. Никто, правда, не видел его гроба, но общий голос решил: «Помер, где-нибудь; тайно, стыдливо помер; помер, как пить дать». И это рационалисты! Но он, как сказано, не погрешил этим.

Калиостро, наскучив колоссальным театром истории, коею наблюдал около пяти тысяч лет, оставил мудрую Клио и удалился на одну из Гималайских вершин — Армун, затерянную в обширных джунглях. Это произошло в 1823 году. На Армуне Калиостро занялся чи-

---

[1] Принцесса Ламбаль, подруга Марии-Антуанетты, зверски убитая во время сентябрьских убийств. Прекрасная Цветочница — прозвище девушки из народа, посаженной на раскаленные острия пик санкюлотов по приказанию Теруан-де-Мерикур, любовницы Марата. Смерть обеих была предсказана Калиостро в 1789 г. (*Здесь и далее примеч. автора.*)

стым знанием: постижением начала вселенной — занятие, малопонятное игроку на биллиарде или ялтинскому проводнику, но единственное, на чем мог сосредоточить теперь пламя своего ума Калиостро, знающий все. Воспитанник халдейских жрецов, основатель масонских лож и сенешал Розенкрейцеров,— он не очень-то стеснялся на Армуне с покорной ему материей. Сложное, непреодолимое движение его воли мгновенно перевело идею предметов в первооснову материи; она, забушевав, приняла послушные формы, и на снеговой вершине Армуна сверкнул, как выстрел, мраморный дворец, застыв в законной неподвижности веса и трех измерений.

II

В конце июля 1914 года большой пантакль Соломона, лежавший на письменном столе Калиостро, издал тихий звон и на краях его вспыхнули голубые пятна тусклого, как сумерки, света. Это указывало на сотрясение мирового эфира. Заинтересованный Калиостро посмотрел в овальное зеркало Сведенборга и увидел символы огромной войны, предсказанной Сен-Жерменом еще в 1828 году. Множество других признаков подтверждало это: резец из горного хрусталя, укрепленный над девственным пергаментом, писал знак Фалега, духа планеты Марс; неподвижно висевший в воздухе цветок Мира завял, и тень крови пала на благородное чело бюста Агриппы.

Согласно договору, заключенному лет триста назад между Калиостро и десятью сефиротами, элементалами Белой магии,— Калиостро мог постигать смысл текущих событий и развитие их не иначе как совершив предварительно акт Добра, направленный против Самоэля, духа яда и смерти. Вспомнив это и горя желанием проникнуть в разум событий, он немедленно приступил к действиям.

— Мадим, Цедек, Шелом-Иезодот,— тихо сказал он,— ко мне! Моя мысль — моя воля!

Погас свет, и тотчас в глубоком мраке наметились гигантские очертания трех сефиротов; контуры эти колебались, светились — напряглись, получили непроницаемость, вес, тело, дыхание — и пол скрипнул под их ногами.

Цедек был сефирот прямоты, Мадим — страшной

силы, Шелом-Иезодот — разрушителем оснований, то бишь принципов.

— Цедек, разбей воздух на запад,— сказал Калиостро,— Мадим, уничтожь пространство, а ты, Шелом-Иезодот, как самый ленивый, получишь более всех работы. Разрушь мое принципиальное равнодушие к судьбе людей!

Вновь вспыхнул свет; фантомы исчезли; беззвучный ураган молнией пролетел от Армуна к Бельгии; пространство пало, воздух исчез полосой в сто футов, а непоколебимое равнодушие Калиостро сменилось доброй улыбкой. И вот первое, что увидел он в стране горя и что должно было послужить взяткой сефиротам за единение с Разумом событий, именуемым Ацилут.

III

В маленькой, но чистой квартире, соблазнительно уютной и светлой, сидела в кресле ушедшего под форты мужа маленькая госпожа Сериз. Опишем наружность ее, которая понравилась Калиостро: чистый, правильный лоб, мягкий профиль, темно-русые волосы, нежный рот и все нежное. Взгляд ее темных глаз был важный и милостивый, и светилось в нем порядочно некой хорошей глупости, что извинительно, так как юной женщине этой было всего двадцать лет. Глаза ее были вчера заплаканы, а сегодня остались в них следы слез — тяжесть ресниц.

Госпожа Сериз занималась вот каким делом: она читала роман, судьба героев которого напоминала ее судьбу; в этом романе Альберт Вуаси тоже ушел на войну, и у него тоже была жена. Разумеется, г-жа Сериз сделала эту жену собой, а господина Вуаси — господином Сериз. В процессе чтения вздумалось ей загадать следующее: если Вуаси благополучно вернется, то и Сериз благополучно вернется, а если Вуаси неблагополучно вернется, то и Сериз последует его примеру. С пылкостью, свойственной любви и молодости, г-жа Сериз тотчас же уверовала в гадание и гадала уже триста пятнадцатую страницу, как вдруг, перевернув ее, увидела карандашную надпись, выведенную кем-то на переплете: «Дико и некультурно вырывать страницы; на это способен только немец; стыдитесь, неизвестный вырыванец!»

Увы! последние страницы были вырваны! А г-жа Сериз и не подозревала этого! Гадание, таким образом, кончалось на следующих словах: «Шатаясь от усталости, Альберт Вуаси обнажил палаш и кинулся к по...». Дальше шла вышеупомянутая справедливая надпись. Г-жа Сериз топнула обеими ножками и едва не заплакала. Что произошло с Вуаси? И к чему кинулся он, к какому такому «по...». Если это — пороховой погреб — от Вуаси мало чего осталось. Если — по...лку, то он тоже не выстоял один против сотен людей. Если — по...гибели, то... каждый понимает, что это значит и не следовало писать такой глупый роман.

Видя огорчение госпожи Сериз, Калиостро, стоя на вершине Армуна, мыслью приказал явиться новому взводу сефиротов. То были: Бина, сефирот Разумного действия, Хесед, сефирот Сострадания и Нэтцах — Стойкость победы. С крыльев их сыпался свет, их глаза заботливо смотрели на Калиостро, повиновались которому они охотно и без капризов.

— Я думаю,— сказал Калиостро,— я думаю нечто, что должно быть исполнено. Моя мысль — мое приказание!

Тотчас же сефироты прониклись его желаниями и скрылись. Бина, исчезая, усмехнулся: ему нравилось интересное поручение. В мгновение, столь быстрое, что оно не было даже временем, он принял вид Альберта Вуаси и явился перед г-жой Сериз, которая к этому моменту была лишена Калиостро способности изумляться — на время визита Бины. Ее состояние допускало теперь, незаметно для нее самой, принимать как должное все, что бы она ни увидела.

— Здравствуйте, госпожа Сериз! — сказал Вуаси-Бина, оправляя гусарский ментик,— «...следнему неприятельскому солдату».

— Господин Вуаси! — строго заявила г-жа Сериз.— Вы исчезли с триста пятнадцатой страницы, хотя должны были знать, что я гадаю на вас. Вы исчезли, оставив это страшное «по...».

— Так,— сказал Вуаси-Бина.— Я кинулся к последнему неприятельскому солдату и взял его в плен.

— Так ли, господин Вуаси?

— Да, это так. Поверьте, мне лучше знать: ведь я герой того романа, что лежит на вашем столе. Впоследствии, когда вам попадет в руки второй, целый экземпляр этой книги, вы почувствуете ко мне полное доверие.

— Значит, вы благополучно вернулись?

— Чрезвычайно благополучно. Настолько благополучно, что советовал бы некоторым дамам гадать на мою особу,— в известных целях.

Г-жа Сериз покраснела и стала кашлять. Она покашляла с минуту, не более, но так выразительно, что Бина-Вуаси счел долгом помочь ей.

— Господин Сериз, конечно, здоров,— сказал он.— Он вернется.

— Вы думаете?

— Я знаю это. Ему ворожила очаровательная бабушка будущих своих внуков.

Г-жа Сериз, в виде благодарности, заинтересовалась положением самого Вуаси.

— Так вы, значит, женились на мадемуазель Шеврез?

— Как полагается.

— По любви?

— Да.

— И были ей хорошим мужем?

— Сударыня,— возразил Вуаси-Бина,— автор в противном бы случае не сел бы писать роман.

Г-жа Сериз растроганно протянула ему руку. Но окончился срок сефирота: материя, коей был облечен он, распалась в ничто, и рука женщины встретила пустоту и вернулось изумление.

— Что это? — сказала она, вздрагивая.— Я, кажется, слишком много думала об этом романе. С кем говорила я? Ах, тоска, тоска! Был здесь господин Вуаси или нет? Если он был, то уход его не совсем вежлив.

Она томилась, и тут начал работать Хесед, коему поручено было рассмешить г-жу Сериз, это во-первых, и внушить ей Радостную уверенность — во-вторых. Сефирот оживил фотографию г-на Сериз, стоявшую на каминной доске. Как только взгляд г-жи Сериз упал на этот портрет — с ним произошли поразительные, странные вещи: левая рука ловко закрутила черный, молодой ус; один глаз комически подмигнул, а другой стал вращаться непостижимым, но совершенно не безобразным образом, и г-жа Сериз окаменела от удивления. А глаз все подмигивал, ус все топорщился, и было это так нежно и смешно, что г-жа Сериз, не выдержав, расхохоталась. Этого и добивался Хесед; тотчас же он проник в доступное в эту минуту сердце женщины, и Радостная уверенность была с ней. Конечно, она долго

протирала глаза, когда портрет успокоился, но это ничего не сказало ей; она бессильна была решить — было то, что было, или же было то, чего не было? Так гениальный Калиостро распорядился ее сознанием.

IV

Третий сефирот, Нэтцах, очутился на гребне бельгийского окопа и тщательно поймал своею крепкой, как алмаз, рукой штук девять шрапнельных пуль, готовившихся пробить г-на Сериз. Он так и остался при нем, щелкая время от времени пальцем по некоторым весьма назойливым гранатам и бомбам. Сефироты, как и люди, нуждаются в отдыхе; отдых Нэтцаха, когда он предавался ему, состоял в том, чтобы портить неприятельские материалы. Он трансформировал взрывчатые вещества, делая из пороха нюхательный табак,— тогда при выстреле все чихали, и чихали так долго, что уж никак не могли взять верный прицел; или забивал пулеметы сжатым ветром, отчего пули их летели не далее трех шагов.

Много поднялось к небу душ с поля сражения, но не было среди них ни одной немецкой души. «Есть ли душа у немца?» — размышлял сефирот. Оставим его решать этот вопрос: мы уже решили. Есть, но она в пятках и не показывается.

Калиостро посмотрел в зеркало Свенденборга и увидел, что приказания выполнены. Тогда он взглянул наверх, к высокому потолку, где в сумерках снегового вечера тихо плавали чудесные лилии Ацилута — Мира сияния. Лилии издавали тонкий, прекрасный аромат, и аромат этот был Разум событий, и Калиостро погрузился в него. Каждому открыт Разум событий, кто поступает, как поступил Калиостро, но немногие знают это.

Вокруг вершины Армуна бушевала метель. К огромному зеркальному окну дворца подошел каменный баран; гордые, голодные глаза его выразительно смотрели на Калиостро, а на великолепных рогах белел снег.

— Ступай, дикий, ступай,— сказал Калиостро,— немного вниз и немного налево! Там есть еще довольно травы.

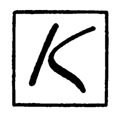
Баран исчез, и был ему по его бараньему положению — травяной кусок хлеба.

Так жил могущественный Калиостро на пике горы Армун, в Северном Индостане, где никогда и никто не видел его. Все, описанное здесь,— истинно, и в заключение можем мы привести одну из семи тайных молитв Энхеридиона, читаемую по воскресеньям:

«Избави меня, Господь, свое создание, от всех душевных и телесных страданий, прошедших, настоящих и будущих. Дай мне, по благости твоей, мир и здоровье и яви свою милость мне, слабому твоему созданию!»

ПОВЕСТЬ, ОКОНЧЕННАЯ БЛАГОДАРЯ ПУЛЕ

I



оломб, сев за работу после завтрака, наткнулся к вечеру на столь сильное и сложное препятствие, что, промучившись около часу, счел себя неспособным решить предстоящую задачу в тот же день. Он приписал бессилие своего воображения усталости, вышел, посмеялся в театре, поужинал в клубе и заснул дома в два часа ночи, приказав разбудить себя не позже восьми. Свежая голова хорошо работает. Он не подозревал, чем будет побеждено препятствие; он не усвоил еще всей силы и глубины этого порождения творческой психологии, надеясь одержать победу усилием художественной логики, даже простого размышления. Но здесь требовалось резкое напряжение чувств, подобных чувствам изображаемого лица, уподобление; Коломб еще не сознавал этого.

В чем же заключалось препятствие? Коломб писал повесть, взяв центром ее стремительное перерождение женской души. Анархист и его возлюбленная замыслили «пропаганду фактом». В день карнавала снаряжают они повозку, убранную цветами и лентами, и, одетые в пестрые праздничные костюмы, едут к городской площади, в самую гущу толпы. Здесь, после неожиданной, среди веселого гула, короткой и страстной речи, они бросают снаряд,— месть толпе,— казня ее за преступное развлечение, и гибнут сами. Злодейское самоубийство их преследует двойную цель: напоминание об идеалах анархии и протест буржуазному обществу. Так собираются они поступить. Но таинственные законы духа, наперекор решимости, убеждениям и мировоззрению,

приводят героиню рассказа к спасительному в последний момент отступлению перед задуманным. За то время, пока карнавальный экипаж их движется в ряду других, среди восклицаний, смеха, музыки и шумного оживления улиц к роковой площади, в душе женщины происходит переворот. Похитив снаряд, она прячет его в безопасное для жизни людей место и становится из разрушительницы — человеком толпы, бросив возлюбленного, чтобы жить обыкновенной, простой, но, по существу, глубоко человечной жизнью людских потоков, со всеми их правдами и неправдами, падениями и очищениями, слезами и смехом.

Коломб искал причин этой благодетельной душевной катастрофы, он сам не принимал на веру разных «вдруг» и «наконец», коими писатели часто отделываются в трудных местах своих книг. Если в течение трех-четырех часов взрослый, пламенно убежденный человек отвергает прошлое и начинает жить снова — это совсем не «вдруг», хотя был срок по времени малый. Ради собственного удовлетворения, а не читательского только, требовал он ясной динамики изображенного человеческого духа и был в этом отношении требователен чрезмерно. И вот, с вечера пятого дня работы, стал он, как сказано, в тупик перед немалой задачей: понять то, что еще не создано, создать самым процессом понимания причины внутреннего переворота женщины, по имени Фай.

Слуга принес кофе и зажег газ. Уличная тьма редела; Коломб встал. Он любил свою повесть и радовался тишине еще малолюдных улиц, полезной работе ума. Он выкурил несколько крепких папирос одну за другой, прихлебывая кофе. Тетрадь с повестью лежала перед ним. Просматривая ее, он задумался над очередной белой страницей.

Он стал писать, зачеркивать, вырывать листки, курить, прохаживаться, с головой, полной всевозможных предположений относительно героини, представив ее красавицей, он размышлял, не будет ли уместным показать пробуждение в ней долго подавляемых инстинктов женской молодости. Веселый гром карнавала не мог ли встряхнуть сектантку, привлечь ее, как женщину, к соблазнам поклонения, успехов, любви? Но это плохо вязалось с ее характером, сосредоточенным и глубоким. К тому же подобное рассеянное, игривое настроение немыслимо в ожидании смерти.

Опять нужно было усиленно курить, метаться по кабинету, тереть лоб и мучиться. Рассвело; табачный дым, наполнявший кабинет, сгустился и стал из голубоватого серым. Окурки, заполнив все пепельницы, раскинулись по ковру. Коломб обратился к естественным чувствам жалости и страха пред отвратительным злодеянием; это было вполне возможно, но от сострадания к полному, по убеждению, разрыву с прошлым — совсем не так близко. Кроме того, эта версия не соответствовала художественному плану Коломба — она лишала повесть значительности крупного события, делая ее достаточно тенденциозной и в дурном тоне. Мотивы поведения Фай должны были появиться в блеске органически свойственной каждому некоей внутренней трагедии, приобретая этим общее, независимое от данного положения, значение; сюжет повести служил, главным образом, лишь одной из форм вечного драматического момента. Какого? Коломб нашел этот вопрос очень трудным. Временная духовная слепота поразила его,— обычное следствие плохо продуманной сложной темы.

Бесплодно комбинируя на разные лады два вышеописанные и отвергаемые им самим состояния души, прибавил он к ним еще третье: животный страх смерти. Это подало ему некоторую, быстро растаявшую, надежду,— растаявшую очень быстро, так как она унижала в его глазах глубокий, незаурядный характер. Он гневно швырнул перо. Тяжелая обессилевшая голова отказалась от дальнейшего изнурительного одностороннего напряжения.

— Как, уже вечер? — сказал он, смотря в потемневшее окно и не слыша шагов сзади.

— Удивительно,— возразил посетитель,— как вы обратили на это внимание, да еще вслух. Именно — вечер. Но я задыхаюсь в этом дыму. Сквозь такую завесу затруднительно определить ночь, утро, вечер или день на дворе.

— Да,— радуясь невольному перерыву, обернулся Коломб,— а я еще не ел ничего, я переваривал этот проклятый сюжет.— Он отшвырнул тетрадь и поставил на место, где она лежала, корзинку с папиросами.— Ну, как вы живете, Брауль? А? Счастливый вы человек, Брауль.

— Чем? — сказал Брауль.

— Вам не нужно искать сюжетов и тем, вы черпаете их везде, где захотите, особенно теперь, в год войны.

— Я корреспондент, вы — романист,— сказал Брауль,— меня читают полчаса и забывают, вас читают днями, вспоминают и перечитывают.

— А все-таки.

— Если вы завидуете скромному корреспонденту, мэтр Коломб,— поедемте со мной на передовые позиции.

— Вот что! — воскликнул Коломб, пристально смотря в деловые глаза Брауля.— Странно, что я еще не думал об этом.

— Зато думали другие. Я к вам явился сейчас с формальным предложением от журнала «Театр жизни». От вас не требуется ничего, кроме вашего имени и таланта. Журнал просит не специальных статей, а личных впечатлений писателя.

Коломб размышлял. «Может быть, если я временно оставлю свою повесть в покое, она отстоится в глупой моей голове». Предложение Брауля нравилось ему резкой новизной положения, открывающего мир неизведанных впечатлений. Трагическая обстановка войны развернулась перед его глазами; но и тут, в мысленном представлении знамен, пушек, атак и выстрелов, носился неодолимый, повелительно приковывая внимания, загадочный образ Фай, ставший своеобразной болезнью. Коломб ясно видел лицо этой женщины, невидимой Браулю. «Ничто не мешает мне наконец думать в любом месте о своей повести и этой негодяйке,— решил Коломб.— Разумеется, я поеду, это нужно мне как человеку и как писателю».

— Ну, еду,— сказал он.— Я, правда, не баталист, но, может быть, сумею принести пользу. Во всяком случае, я буду стараться. А вы?

— Меня просили сопровождать вас.

— Тогда совсем хорошо. Когда?

— Я думаю, завтра в три часа дня. Ах, господин Коломб, эта поездка даст вам гибель подлинного интересного материала!

— Конечно.— «Что думала она, глядя на веселую толпу?» — Тьфу, отвяжись! — вслух рассердился Коломб.— Это сводит меня с ума!

— Как? — встрепенулся Брауль.

— Вы ее не знаете,— насмешливо и озабоченно пояснил Коломб.— Я думал сейчас об одной моей знакомой, особе весьма странного поведения.

II

Двухчасовый путь до Л. ничем не отличался от обыкновенного пути в вагоне, не считая двух-трех пассажиров, пораженных событиями до полной неспособности говорить о чем-либо, кроме войны. Брауль поддерживал такие разговоры до последней возможности, ловя в них те мелкие подробности настроений, которые считал характерными для эпохи. Коломб рассеянно молчал или произносил заурядные реплики. Нервное возбуждение, вызванное в нем быстрым переходом от кабинетной замкнутости к случайностям походной жизни, затихло. Вчера и сегодня утром он охотно, с гордостью думал о предстоящих ему — вверенных его изображению — днях войны, ее героях, быте, жертвах и потрясениях, но к вечеру ожидания эти потеряли остроту, уступив тоскливому, неотвязному беспокойству о неоконченной повести. С топчущейся на месте мыслью о героине сел он в вагон, пытаясь временами, бессознательно для себя, сосредоточиться на тумане темы среди дорожной обстановки, станционных звонков, гула рельс и окон, струящихся быстро мелькающими окрестностями.

От Л. путь стал иным. Поезд миновал здесь ту естественную границу, позади которой войну можно еще представлять, иметь дело с ней только мысленно. За этой чертой, впереди, приметы войны являлись видимой действительностью. У мостов стояли солдаты. На вокзале в Л. расположился большой пехотный отряд, лица солдат были тверды и сумрачны. Вагоны опустели, пассажиры мирной наружности исчезли; зато время от времени появлялись офицеры, одиночные солдаты с сумками, какие-то чиновники в полувоенной форме. В купе, где сидел Коломб, вошел кавалерист, сел и уснул сразу, без зевоты и промедления. В сумерках окна Брауль заметил змеевидные насыпи и показал Коломбу на них; то были брошенные окопы. Иногда сломанное колесо, дышло, разбитый снарядный ящик или труп лошади с неуклюже приподнятыми ногами безмолвно свидетельствовали о битвах.

Брауль вынул часы. Было около восьми. К девяти поезд должен был одолеть последний перегон и возвращаться назад, так как конечный пункт его следования лежал в самом тылу армии. Коломб погрузился в музыку рельс. Рой смутных ощущений, неясных, как стаи ночных птиц, проносился в его душе. Брауль, достав за-

писную книжку, что-то отмечал в ней короткими, бисерными строчками. На полустанке вошел кондуктор.

— Поезд не идет дальше,— сказал он как бы вскользь, что произвело еще большее действие на Коломба и Брауля.— Да, не идет, путь испорчен.

Он хлопнул дверью, и тотчас же фонарь его мелькнул за окном, направляясь к другим вагонам.

Рассеянное, мечтательное настроение Коломба оборвалось. Брауль вопросительно глядел на него, сжав губы.

— Что ж! — сказал он.— Как это ни неприятно, но вспомним, что мы корреспонденты, Коломб; нам придется еще с очень многим считаться в этом же роде.

— Пойдемте на станцию,— сказал Коломб.— Там выясним что-нибудь.

Кавалерист проснулся, как и уснул — сразу. Узнав в чем дело, он долго и основательно ругал пруссаков, затем, переварив положение, стал жаловаться, что у него нет под рукой лошади, его Прекрасной Мари, а то он отмахнул бы остаток дороги шутя. Кто теперь ездит на великолепной гнедой Мари? Это ему, к сожалению, неизвестно; он едет из лазарета, где пролежал раненый шесть недель. Может быть, Мари уже убита. Тогда пусть берегутся все первые попавшиеся немцы! У кавалериста было грубоватое, правильное лицо с острыми и наивными глазами. В конце концов он предложил путешественникам отправиться вместе.

— Я тут все деревни кругом знаю,— сказал он.— За деньги дадут повозку.

— Это нам на руку,— согласился Брауль.— А пешком много идти?

— Нет. На Гарнаш или Пом? — Солдат задумчиво поковырял в ухе.— Пойдем на Гарнаш, оттуда дорога лучше.

Бойкий вид и авторитетность кавалериста уничтожили в значительной мере неприятность кондукторского заявления. Солдат, Брауль и Коломб вышли на станцию. Здесь собралось несколько офицеров, решивших заночевать тут, так как на расспросы их относительно исправления пути не было дано толковых ответов. Начальник полустанка выразил мнение, что дело вовсе не в пути, а в немцах, но — что, почему и как? — сам не знал. Брауль, подойдя к офицерам, выспросил их кой о чем. Они направлялись совсем в иную сторону, чем корреспонденты, и присоединяться к ним не было

оснований. Пока Брауль беседовал об этом с Коломбом, неугомонный, оказавшийся весьма хлопотливым парнем, кавалерист дергал их за полы плащей, подмигивал, кряхтел и топтался от нетерпения. Наконец, решив окончательно следовать за своим случайным проводником, путешественники вышли из унылого, пропахшего грязью и керосином станционного помещения, держа в руках саквояжи, по счастью, необъемистые и легкие, с самым необходимым.

Тьма, пронизанная редким, сырым туманом, еле-еле показывала дорогу, извивающуюся среди голых холмов. Брауль и Коломб привели в действие электрические фонари; нервные световые пятна, сильно освещая руку, падали в дорожные колеи мутными, колеблющимися конусами. Коломб шел за световым пятном фонаря, опустив голову. Бесполезно было осматриваться вокруг, глаза бессильно упирались в мрак, скрывший окрестности. Звезд не было. Кавалерист шагал немного впереди Брауля, помогавшего ему своим фонарем; Коломб следовал позади.

Пока солдат, определив Брауля, как более общительного и подходящего себе спутника, бесконечно рассказывал ему о боевых днях, делая по временам, видимо, приятные ему отступления к воспоминаниям личных семейных дел, в которых, как мог уяснить Коломб, главную роль играли жена солдата и наследственный пай в мельничном предприятии,— сам Коломб не без удовольствия ощутил наплыв старых мыслей о повести. Без всякого участия воли они преследовали его и здесь, на темной захолустной дороге. То были те же много раз рассмотренные и отвергнутые сплетения воображенных чувств, но теперь, благодаря известной оригинальности положения самого романиста, резкому ночному воздуху, мраку и движению, получили они некую обманную свежесть и новизну. Пристально анализируя их, Коломб скоро убедился в самообмане. С этого момента существо его раздвоилось: одно «я» поверхностно, в состоянии рассеянного сознания, воспринимало действительность, другое, ничем не выражающее себя внешне, еще мало изученное «я» — заставляло в ровном, бессознательном усилии решать загадку души Фай, женщины столь же реальной теперь для Коломба, как разговор идущих впереди спутников.

Решив (в чем ошибался), что достаточно приказать себе бросить неподходящую к месту и времени работу

мысли, как уже вернется непосредственность ощущений,— Коломб тряхнул головой и нагнал Брауля.

— Вы не устали? — спросил он снисходительным тоном новичка, ретиво берущегося за дело.— Что же касается меня, то я, кажется, годен к походной жизни. Мои ноги не жалуются.

— Теперь недалеко,— сообщил кавалерист.— Скоро придем. Ходить трудно,— прибавил он, помолчав — Я раз ехал, вижу, солдат сидит. Чего бы ему сидеть? А у него ноги не действуют; их батальон тридцать миль ночью сделал. И так бывает — человек идет — вдруг упал. Это был обморок, от слабого сердца.

Коломб был хорошего мнения о своем сердце, но почему-то не сказал этого. С холма, на вершину которого они поднялись, виднелся тусклый огонь, столь маленький и слабый благодаря туману, что его можно было принять за обман напряженного зрения.

— Вот и Гарнаш.— Кавалерист обернулся.— Вы думаете, это далеко? Сто шагов; туман обманчив.

Подтверждая его слова, мрак разразился злобным собачьим лаем.

— Что чувствует человек в бою? — спросил солдата Коломб.— Вот вы, например?

— Ах вот что? — Кавалерист помолчал.— То есть страшно или не страшно?..

— В этом роде.

— Видите, привыкаешь. Не столько, знаете, страшно, сколько трудно. Трудная это р а б о т а. Однако, черт возьми! — Он остановился и топнул ногой.— Ведь это н а ш а земля?! Так о чем и говорить?

Считая, по-видимому, эти слова вполне исчерпывающими вопрос, солдат направился в обход изгороди. За ней тянулась улица; кое-где светились окна.

III

Не менее часа потратили путешественники на обход домов, разговоры и торг, пока удалось им отыскать поместительную повозку, свободную лошадь и свободного же ее хозяина. Человек этот, по имени Гильом, был ярмарочным торговцем и знал местность отлично. Он рассчитывал к утру вернуться обратно, отвезя путников в арьергард армии. Хорошая плата сделала его проворным. Коломб, сидя в темноте у ворот, не успел доку-

рить вторую папиросу, как повозка была готова. Разместив вещи, путешественники уселись, толкая друг друга коленями, и Гильом, стегнув лошадь, выехал из деревни.

— Поговаривают,— сказал он, пустив лошадь рысью,— что пруссаки показываются милях в десяти отсюда. Только их никто не видел.

— Разъезды везде заходят,— согласился кавалерист.— Ты бы, дядя Гильом, придерживался, на всякий случай, открытых мест.

— Лесная дорога короче.— Гильом помолчал.— Я даже днем не расстаюсь с револьвером.

— Вот вам,— сказал Брауль Коломбу,— разговор, освежающий нервы. В таких случаях я всегда нащупываю свой револьвер, это еще больше располагает к приключениям.

— Я не прочь встретить немца,— заявил Коломб.— Это было бы хорошим экзаменом.

— Если вам захочется побывать на передовых позициях, вы увидите очень много немцев. Однако это все пустяки.

— Лесная дорога короче,— снова пробормотал Гильом.

— А, милый, поезжайте, как знаете,— сказал Брауль.— Нас четверо; вы — травленая собака, я могу считаться полувоенным, что касается остальных двух, то один из них настоящий солдат, в полном вооружении, а другой попадает в туза.

— Правильно,— сказал кавалерист, закручивая усы.— Неужели вы в туза попадаете? — удивленно осведомился он у Коломба.

— Если бы у вас было столько свободного времени, сколько у меня,— ответил, смеясь, Коломб,— вы научились бы убивать стрекозу в воздухе.

«Туп-туп-туп...» — стучали копыта. Движение во тьме, по извилистой, встряхивающей, неизвестной дороге принадлежало к числу любимых ощущений Коломба. Бесцельно и нетребовательно он отдавался ему, прислушиваясь к мрачному сну равнин. Вскоре начался лес. Переход от открытых мест к стиснутому деревьями пространству был заметен благодаря тьме лишь по неподвижности ставшего еще более сырым воздуха, запаху гнилых листьев и особенно отчетливому стуку колес, переезжающих огромные корни. Слева, загремев долгим эхом, раздался выстрел.

— Ого! — сказал, инстинктивно останавливая лошадь, Гильом.

Кавалерист привстал. Коломб и Брауль выхватили револьверы. Гильом опомнился, бешено размахивая кнутом, он пустил лошадь вскачь. Повозка, оглушительно тарахтя, ринулась под бойко застучавшими из тьмы выстрелами в дремучую глубину леса. Эхо стрельбы, раскатисто рвущее тишину, усиливало тревогу. Немногие восклицания, которыми успели обменяться путники, были скорее выражением чувств, чем мысли, так как перед лицом явной опасности думать не о чем, кроме спасения, а это, как без слов понимали все, зависело от тьмы и быстроты лошади. Коломбу чудились крики, свист пуль; одна из них, пущенная наугад вдоль дороги, действительно была им услышана; резкий короткий свист ее оборвался щелчком в попутный древесный ствол.

Повозка мчалась, немилосердно встряхивая пассажиров, выстрелы стихли, оборвались. Наступила пауза, в течение которой слышались лишь болезненное хрипение лошади и треск прыгающих колес. Затем, как бы заключая цепь впечатлений, грянул последний выстрел; случаю было угодно, чтобы на этот раз пуля достигла цели. Коломб, пробитый насквозь, подскочил, задохнувшись на мгновение от боли в прорванном легком, вскрикнул и сказал:

— Меня ударило.— Он опустился на руки Брауля. Гильом свернул в чащу леса и остановил лошадь.

IV

Коломбу много раз приходилось, конечно, задумываться над ощущениями раненого человека и даже описывать это в некоторых произведениях. Основой таких переживаний,— не будучи сам знаком с ними,— он считал самые тяжелые чувства: испуг, тоску, отчаяние, гнев на судьбу и т. д. Люди, стоящие перед лицом смерти, казались ему похожими друг на друга внутренней своей стороной. Затем он думал, что сознание смертельной опасности, возникающее у тяжко раненного — неисчерпаемо сложно, туманно, и тратил на уяснение подобного момента десятки страниц, не сомневаясь, что и сам пережил бы колоссальную психическую вибрацию. Меж тем лично с ним все произошло так:

За выстрелом последовал красноречивый, горячий

толчок в спину. Немедленно же представление о пуле и ране соединилось с колющей, скоро прошедшей, болью внутри грудной клетки. Первая мысль была о смерти, то есть о неизвестном, и была поэтому собственно мыслью о предстоящей, быть может, в скором времени потере сознания, на что сознание ответило возмущением и недоумением. Весь момент напоминал ошибку в числе ступенек лестницы, когда сдержанное движение ноги встречает пустоту, и человек, лишенный равновесия,— замирает, оглушенный падением, причина которого делается ясна раньше, чем руки падающего упрутся в землю.

К счастью путников, когда Гильом круто повернул с дороги в лес, повозка не зацепила колесами о стволы и пробилась довольно далеко в глушь. Тряска лесной почвы была, однако же, нестерпимо мучительна для Коломба. Ветви били его по лицу, усиливая раздражение организма, взволнованного возобновившейся болью. Наконец лошадь дернулась взад-вперед и остановилась. Гильом, помогая Коломбу сойти, прислушивался к монотонной тишине ночи; ни топота, ни голосов не было слышно в стороне нападения. По всей вероятности, немецкий разъезд ограничился стрельбой наугад, по слуху, не зная, с кем, с каким числом людей имеет дело; или же, сбитый с толку беспорядочным лесным эхом, пустился в другом направлении. Теперь, когда окончательно смолк лошадиный топот и стук колес, путешественники могли спокойно заняться раненым.

Растерявшийся Брауль осветил фонарем Коломба, сидевшего, прислонясь к дереву.

— Ну и разбойники,— сказал кавалерист, помогая корреспонденту снять куртку с Коломба.

От сломанного, выступающего концом наружу ребра сочилась темная кровь. Вся рубашка была в пятнах. Несмотря на все, Коломб чувствовал своеобразное любопытство к своему положению. Вид мокрого темного передка рубашки страшно взволновал его, но не испугал. Волнение поддерживало его силы. Интеллект покуда молчал; организм, осваиваясь с необычайным состоянием, противился действию разрушения; сердце жестоко билось, во рту было сухо и жарко.

— Однако,— сказал Коломб,— лучше бы нам сесть в повозку и ехать.— Он упирался руками в землю, желая подняться, и застонал.— Нет, не выйдет ничего. Но вы поезжайте.

— Глупо,— сказал Брауль, развертывая бинты.— Расставьте руки.— Он стал перевязывать раненого, говоря: — Все это моя затея. Что я скажу обществу и редакции? Вам очень больно?

— Боль глухая, когда я не шевелюсь.

— Поступим так,— сказал солдат.— Мы,— я и дядя Гильом,— мигом устроим носилки, дерева здесь много,— понесем вас потихонечку, господин Коломб. А вы, значит, потерпите пока. Гильом, есть веревка?

— Есть. Хватило бы повесить кой-кого из этих стрелков.

Гильом стал шарить в повозке, а кавалерист, захватив фонарь, отправился за жердями. Скоро послышался чавкающий стук его палаша. Брауль сделал Коломбу тугую, крестообразную повязку, заставил раненого лечь на разостланный плащ и сел рядом, вздыхая в ожидании носилок.

Не желая усиливать тягостное настроение спутников разговором о своем положении, Коломб молчал. Он знал уже, что рана сквозная, и, хотя это обстоятельство говорило в его пользу,— ждал смерти. Он не боялся ее, но ему было жалко и страшно покидать жизнь такой, какой она была. Потрясение, нервность, торжественная тьма леса, внезапный переход тела от здоровья к страданию — придали его оценке собственной жизни ту непогрешимую суровую ясность, какая свойственна сильным характерам в трагические моменты. Несовершенства своей жизни он видел очень отчетливо. В сущности, он даже и не жил по-настоящему. Его воля, хотя и бессознательно, была всецело направлена к охранению своей индивидуальности. Он отвергал все, что не отвечало его наклонностям; в живом мире любви, страданий и преступлений, ошибок и воскресений он создал свой особый мир, враждебный другим людям, хотя этот его мир был тем же самым миром, что и у других, только пропущенным сквозь призму случайностей настроения, возведенных в закон. Его ошибки в сфере личных привязанностей граничили с преступлениями, ибо здесь, по присущей ему невнимательности, допускалось попирание чужой души, со всеми его тягостными последствиями, в виде обид, грусти и оскорбленности. В любви он напоминал человека, впотьмах шагающего по цветочным клумбам, но не считающего себя виновным, хотя мог бы осветить то, что требовало самого нежного и священного внимания. Это был ма-

гический круг, осиное гнездо души, полагающей истинную гордость в черствой замкнутости, а пороки — неизбежной тенью оригинального духа, хотя это были самые обыкновенные, мелкие пороки, общие почти всем, но извиняемые якобы двойственностью натуры. Его романы тщательно проводили идеи, в которые он не верил, но излагал их потому, что они были парадоксальны, как и все его существо, склонное к выгодным для себя преувеличениям.

Жизнь в том виде, в каком она представилась ему теперь, казалась нестерпимо, болезненно гадкой. Не смерть устрашала его, а невозможность, в случае смерти, излечить прошлое. «Я должен выздороветь,— сказал Коломб,— я должен, невозможно умирать так». Страстное желание выздороветь и жить иначе было в эти минуты преобладающим.

И тут же, с глубоким изумлением, с заглушающей муки души радостью, Коломб увидел, при полном освещении мысли, то, что так тщетно искал для героини неоконченной повести. Не теряя времени, он приступил к аналогии. Она, как и он, ожидает смерти; как он, желает покинуть жизнь в несовершенном ее виде. Как он — она человек касты; ему заменила живую жизнь привычка жить воображением; ей — идеология разрушения; для обоих люди были материалом, а не целью, и оба, сами не зная этого, совершали самоубийство.

— Наконец-то,— сказал Коломб вслух пораженному Браулю,— наконец-то я решил одну психологическую задачу — это относится, видите ли, к моей повести. В основу решения я положил свои собственные теперешние переживания. Поэтому-то она и не бросила снаряд, а даже помешала преступлению.

— Коломб, что с вами? Вы бредите? — испуганно вскричал Брауль.

Коломб не ответил. Он погрузился в беспамятство — следствие волнения и потери крови.

— Носилки готовы,— сказал, волоча грубое сооружение, кавалерист.— Ну, в путь, да и поможет нам бог!

Коломб остался жив, и ему не только для повести, но и для него самого очень были полезны те размышления, в которых, ожидая смерти, он провел всего, может быть, с полчаса. Но и вся жизнь человеческая коротка, а полчаса, описанные выше, стоят иногда целой жизни.

СУДЬБА, ВЗЯТАЯ ЗА РОГА

I

В декабре месяце луна две ночи подряд была окружена двойным оранжевым ореолом,— явление, сопутствующее сильным морозам. Действительно, мороз установился такой, что слепец Рен то и дело снимал с замерзших ресниц густой иней. Рен ничего не видел, но иней мешал привычке мигать — что, будучи теперь единственной жизнью глаз, несколько рассеивало тяжелое угнетение.

Рен и его приятель Сеймур ехали в санях по реке, направляясь от железнодорожной станции к городку Б., лежащему в устье реки, при впадении ее в море. Жена Рена, приехав в Б., ожидала мужа, уведомленного телеграммой. Съехаться здесь они условились полгода назад, когда Рен не был еще слепым и отправлялся в геологическую экскурсию без всяких предчувствий.

— Нам осталось три километра,— сказал Сеймур, растирая изгрызенную морозом щеку.

— Не следовало мне вовлекать вас в эту поездку,— сказал Рен,— вот уж, подлинно, слепой эгоизм с моей стороны. В конце концов, я мог бы великолепно ехать один.

— Да, зрячий,— возразил Сеймур.— Я должен доставить вас и сдать с рук на руки. К тому же...

Он хотел сказать, что ему приятна эта прогулка в пышных снегах, но вспомнив, что такое замечание относилось к зрению, промолчал.

Снежный пейзаж действительно производил сильное впечатление. Белые равнины, в голубом свете луны, под черным небом — холодно, по-зимнему, звездным, молчащим небом; неотстающая черная тень лошади, прыгающая под ее брюхом, и ясная кривая горизонта давали что-то от вечности.

Боязнь показаться подозрительным, «как все слепые», помешала Рену спросить о недоговоренном. Недалекая встреча с женой сильно волновала его, поглощая почти все его мысли и толкая говорить о том, что неотвратимо.

— Лучше, если бы я умер на месте в эту минуту,— искренне сказал он, заканчивая печальным выводом цепь соображений и упреков себе.— Подумайте, Сей-

мур, каково будет ей?! Молодая, совсем молодая женщина и траурный, слепой муж! Я знаю, начнутся заботы... А жизнь превратится в сплошной подвиг самоотречения. Хуже всего — привычка. Я могу привыкнуть к этому, убедиться в конце концов, что так нужно, чтобы молодое существо жило только ради удобств калеки.

— Вы клевещете на жену, Рен,— воскликнул не совсем натурально Сеймур,— разве она будет думать так, как сейчас вы?!

— Нет, но она будет чувствовать себя не совсем хорошо. Я знаю,— прибавил, помолчав, Рен,— что я, рано или поздно, буду ей в тягость... только едва ли она сознается перед собой в этом...

— Вы делаетесь опасным маньяком,— шутливо перебил Сеймур.— Если бы она не знала, что стряслось с вами, я допустил бы не совсем приятные первую, вторую неделю.

Рен промолчал. Его жена не знала, что он слеп; он не писал ей об этом.

II

В середине июля, исследуя пустынную горную реку, Рен был застигнут грозой. Он и его спутники торопились к палатке, шел проливной дождь; окрестность, в темном плаще грозовой тени, казалась миром, для которого навсегда погасло солнце; тяжкая пальба грома взрывала тучи огненными кустами молний; мгновенные, сверкающие разветвления их падали в лес. Меж небесными вспышками и громовыми раскатами почти не было пауз. Молнии блистали так часто, что деревья, беспрерывно выхватываемые из сумрака резким их блеском, казалось, скачут и исчезают.

Рен не запомнил и не мог запомнить тот удар молнии в дерево, после которого дерево и он свалились на небольшом расстоянии друг от друга. Он очнулся в глубокой тьме, слепой, с обожженными плечом и голенью. Сознание слепоты утвердилось только на третий день. Рен упорно боролся с ним, пугаясь той безнадежности, к которой вело это окончательное убеждение в слепоте. Врачи усердно и бесполезно возились с ним: той нервной слепоты, которая поразила Рена, им не

удалось излечить; все же они оставили ему некоторую надежду на то, что он может выздороветь, что зрительный аппарат цел и лишь остановился в действии, как механизм, обладающий для работы всеми необходимыми частями. Написать жене о том, что произошло, было выше сил Рена; отчаявшись в докторах, он упрямо, сосредоточенно, страстно ждал — как приговоренный к смерти ожидает помилования — ждал света. Но свет не загорался. Рен ожидал чуда; в его положении чудо было столь же естественной необходимостью, как для нас вера в свои силы или способности. Единственное, в чем изменились его письма к жене — это в том, что они были написаны на машинке. Однако ко дню встречи он приготовил решение, характерное живучестью человеческих надежд: убить себя в самый последний момент, когда не будет уже никаких сомнений, что удар судьбы не пощадит и Анну, когда она будет стоять перед ним, а он ее не увидит. Это было пределом.

III

Когда Рен приехал, вошел в комнату, где скоро должен был зазвучать голос Анны, еще не вернувшейся из магазина, и наступила тишина одинокого размышления, слепой упал духом. Небывалое волнение овладело им. Тоска, страх, горе убивали его. Он не видел Анну семь месяцев; вернее, последний раз он видел ее семь месяцев назад и более увидеть не мог. Отныне, даже если бы он остался жить, ему оставалось лишь воспоминание, вероятно, делающееся все более смутным, изменчивым, в то время, как тот же голос, те же слова, та же ясность прикосновения близкого существа будут твердить, что и наружность этого существа та же, какой он ее забыл или почти забыл.

Он так ясно представил себе все это, угрожающее ему, если он не размозжит себе череп и не избавится от слепоты, что не захотел даже подвергнуть себя последнему допросу относительно твердости своего решения. Смерть улыбалась ему. Но мучительное желание увидеть Анну вызвало на его глаза тяжкие слезы, скупые слезы мужчины сломленного, почти добитого. Он спрашивал себя, что мешает ему, не дожидаясь первого,

еще веселого для нее, поцелуя — теперь же пустить в дело револьвер? Ни он и ни кто другой не мог бы ответить на это. Может быть, последний ужас выстрела на глазах Анны притягивал его необъяснимой, но несомненной властью пристального взгляда змеи.

Звонок в прихожей всколыхнул все существо Рена. Он встал, ноги его подкашивались. Всем напряжением воли, всей тоской непроницаемой тьмы, окружавшей его, он усиливался различить хоть что-либо среди зловещего мрака. Увы! Только огненные искры, следствие сильного прилива крови к мозгу, бороздили этот свирепый мрак отчаяния. Анна вошла; он совсем близко услышал ее шаги, звучащие теперь иначе, чем тогда, когда он видел, как она двигается: звук шагов раздавался как бы на одном месте и очень громко.

— Дорогой мой,— сказала Анна,— милый мой, дорогой мой!

Ничего не произошло. Он по-прежнему не видел ее. Рен сунул руку в карман.

— Анна! — хрипло сказал он, отводя пальцем предохранитель.— Я ослеп, я больше не хочу жить. Сеймур все расскажет... Прости!

Руки его тряслись. Он выстрелил в висок, но не совсем точно; пуля разбила надбровную дугу и ударилась в карниз окна. Рен потерял равновесие и упал. Падая, он у в и д е л свою, как бы плавающую в густом тумане, руку с револьвером.

Анна, беспорядочно суетясь и вскрикивая, склонилась над мужем. Он увидел и ее, но также смутно, а затем и комнату, но как бы в китайском рисунке, без перспективы. Именно то, что он у в и д е л, лишило его сознания, а не боль и не предполагавшаяся близкая смерть. Но во всем этом, в силу потрясающей неожиданности, не было для него теперь ни страха, ни радости. Он успел только сказать: «Кажется, все обошлось...» — и впал в бесчувствие.

— Это было полезное нервное потрясение,— сказал через неделю доктор Рену, ходившему с огромным рубцом над глазом.— Пожалуй, только оно и могло вернуть вам то, что дорого для всех,— свет.

ИСКАТЕЛЬ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

И там как раз, где смысл искать напрасно
Там слово может горю пособить.

(*Фауст*)

I
ПОЕЗДКА

Путешественник Аммон Кут после нескольких лет отсутствия возвратился на родину. Он остановился у старого своего друга, директора акционерного общества Тонара, человека с сомнительным прошлым, но помешанного на благопристойности и порядочности. В первый же день приезда Аммон поссорился с Тонаром из-за газетной передовицы, обозвал друга «креатурой» министра и вышел на улицу для прогулки.

Аммон Кут принадлежал к числу людей серьезных более, чем кажутся они на первый взгляд. Его путешествия, не отмеченные газетами и не внесшие ни в одну карту малейших изменений материков, были для него тем не менее совершенно необходимы. «Жить — значит путешествовать»,— говорил он субъектам, привязанным к жизни с ее одного, самого теплого и потного, как горячий пирог, бока. Глаза Аммона — две вечно алчные пропасти — обшаривали небо и землю в поисках за новой добычей; стремительно проваливалось в них все виденное им и на дне памяти, в страшной тесноте, укладывалось раз навсегда, для себя. В противоположность туристу Аммон видел еще многое, кроме музеев и церквей, где, притворяясь знатоками, обозреватели ищут в плохо намалеванных картинах неземной красоты.

Любопытства ради Аммон Кут зашел в вегетарианскую столовую. В больших комнатах, где пахло лаком, краской, свежепросохшими обоями и еще каким-то особо трезвенным запахом, сидело человек сто. Аммон заметил отсутствие стариков. Чрезвычайная, несвойственная даже понятию о еде, тишина внушала аппетиту входящего быть молитвенно нежным, вкрадчивым, как самая идея травоядения. Постные, хотя румяные лица помешанных на здоровье людей безразлично осматривали Аммона. Он сел. Обед, поданный ему с це-

ремониальной, несколько подчеркнутой торжественностью, состоял из отвратительной каши «Геркулес», жареного картофеля, огурцов и безвкусной капусты. Побродив вилкой среди этого гастрономического убожества, Аммон съел кусок хлеба, огурец и выпил стакан воды; затем, щелкнув портсигаром, вспомнил о запрещении курить и невесело осмотрелся. За столиками в гробовом молчании чинно и деликатно двигались жующие рты. Дух противодействия поднялся в голодном Аммоне. Он хорошо знал, что мог бы и не заходить сюда — его никто не просил об этом,— но он с трудом отказывал себе в случайных капризах. Вполголоса, однако же достаточно явственно, чтобы его услышали, Аммон сказал как бы про себя, смотря на тарелку:

— Дрянь. Хорошо бы теперь поесть мяса!

При слове «мясо» многие вздрогнули; некоторые уронили вилки; все, насторожившись, рассматривали дерзкого посетителя.

— Мяса бы! — повторил, вздыхая, Аммон.

Раздался подчеркнутый кашель, и кто-то шумно задышал в углу.

Скучая, Аммон вышел в переднюю. Слуга подал пальто.

— Я пришлю вам индейку,— сказал Аммон,— кушайте на здоровье.

— Ах, господин! — возразил, печально качая головой, истощенный старик-слуга.— Если бы вы привыкли к нашему режиму...

Аммон, не слушая его, вышел. «Вот и испорчен день,— думал он, шагая по теневой стороне улицы.— Огурец душит меня». Ему захотелось вернуться домой; он так и сделал. Тонар сидел в гостиной перед открытым роялем, кончив играть свои любимые бравурные вещи, но был еще полон их резким одушевлением. Тонар любил все определенное, безусловное, яркое: например, деньги и молоко.

— Согласись, что статья глупа! — сказал, входя, Аммон.— Для твоего министра я предложил бы и свое колено... но — инспектор полиции дельный парень.

— Мы,— возразил, не поворачиваясь, Тонар,— мы, люди коммерческие, смотрим иначе. Для таких бездельников, как ты, развращенных путешествиями и романтизмом, приятен всякий играющий в Гарун аль Рашида. Я знаю — вместо того, чтобы толково преследовать

аферистов, гадящих нам на бирже, гораздо легче, надев фальшивую бороду, шляться по притонам, пьянствуя с жуликами.

— Что же... он интересный человек,— сказал Аммон,— я его ценю только за это. Надо ценить истинно интересных людей. Многих я знаю. Один, бывший гермафродитом, вышел замуж; а затем, после развода, женился сам. Второй, ранее священник, изобрел машинку для пения басом, разбогател, загрыз на пари зубами цирковую змею, держал в Каире гарем, а теперь торгует сыром. Третий замечателен как феномен. Он обладал поразительным свойством сосредоточивать внимание окружающих исключительно на себе; в его присутствии все молчали; говорил только он; побольше ума — и он мог бы стать чем угодно. Четвертый добровольно ослепил себя, чтобы не видеть людей. Пятый был искренним дураком сорока лет; когда его спрашивали: «Кто вы?» — он говорил — «дурак» и смеялся. Интересно, что он не был ни сумасшедшим, ни идиотом, а именно классическим дураком. Шестой... шестой... это я.

— Да? — иронически спросил Тонар.

— Да. Я враг ложного смирения. За сорок пять лет своей жизни я видел много; много пережил и много участвовал в чужих жизнях.

— Однако... Нет! — сказал, помолчав, Тонар.— Я знаю человека действительно интересного. Вы, нервные батареи, живете впроголодь. Вам всегда всего мало. Я знаю человека идеально прекрасной нормальной жизни, вполне благовоспитанного, чудных принципов, живущего здоровой атмосферой сельского труда и природы. Кстати, это мой идеал. Но я человек не цельный. Посмотрел бы ты на него, Аммон! Его жизнь по сравнению с твоей — сочное, красное яблоко перед прогнившим бананом.

— Покажи мне это чудовище! — вскричал Аммон.— Ради бога!

— Сделай одолжение. Он нашего круга.

Аммон смеялся, стараясь представить себе спокойную и здоровую жизнь. Взбалмошный, горячий, резкий — он издали тянулся (временами) к *такому* существованию, но только воображением; однообразие убивало его. В изложении Тонара было столько вкусного мысленного причмокивания, что Аммон заинтересовался.

— Если не идеально,— сказал он,— я не поеду, но если ты уверяешь...

— Я ручаюсь за то, что самые неумеренные требования...

— Таких людей я еще не видал,— перебил Аммон.— Пожалуйста, напиши мне к завтраму рекомендательное письмо. Это не очень далеко?

— Четыре часа езды.

Аммон, расхаживая по комнате, остановился за спиной Тонара и, увлекшись уже новыми грядущими впечатлениями, продекламировал, положив руку, как на пюпитр, на лысину друга:

Поля родные! К вашей тишине,
К задумчиво сияющей луне,
К туманам, медленным в извилистых оврагах,
К наивной прелести в преданиях и сагах,
К румянцу щек и блеску свежих глаз
Вернулся я; таким же вижу вас,
Как ранее, и благодати гений
Хранит мой сон среди родных видений!

— Неужели тебе сорок пять лет? — спросил, грузно вваливаясь в кресло, Тонар.

— Сорок пять.— Аммон подошел к зеркалу.— Кто же выдергивает мне седые волосы? И неужели я еще долго буду ездить, ездить, ездить — всегда?

II

ПРИЕЗД

Синий и белыи снег гор, зубчатый взлет которых тянулся полукругом вокруг холмистой равнины, Аммон увидел из окна поезда рано утром. Вдали солнечной полоской блестело море.

Белая станция, увитая по стенам диким виноградом, приветливо подбежала к поезду. Паровоз, пыхтя отработанным паром, остановился, вагоны лязгнули, и Аммон вышел.

Он видел, что Лилиана — настоящее красивое место. Улицы, по которым ехал Аммон, наняв экипаж к Доггеру, не были безукоризненно правильны: мягкая извилистость их держала глаза в постоянном ожидании глубокой перспективы. Между тем постепенно развертывающееся разнообразие строений очень развлекало Аммона. Дома были усеяны балкончиками и лепкой или выставляли полукруглые башенки; серые на белом

фасаде арки, подтянутые или опущенные, как поля шляпы, крыши различно приветствовали смотрящего; все это, затопленное торжественно цветущими садами, солнцем, цветниками и небом, выглядело неплохо. Улицы были обсажены пальмами; зонтичные вершины их бросали на желтую от полудня землю синие тени. Иногда среди площади появлялся старый, как дед, фонтан, полный трепещущей от выкидываемых брызг воды; местами в боковой переулок взвивалась каменная винтовая лестница, а выше над ней бровью перегибался мостик, легкий как рука подбоченившейся девушки.

III

ДОМ ДОГГЕРА

Проехав город, Аммон еще издали увидел сад и черепичную крышу. Дорога, усыпанная гравием, вела через аллею к подъезду — простому, как и весь дом из некрашеного белого дерева. Аммон подошел к дому. Это было одноэтажное бревенчатое здание с двумя боковыми выступами и террасой. Вьющаяся зелень заваливала простенки фасада цветами и листьями; цветов было много везде — гвоздик, тюльпанов, анемон, мальв, астр и левкоев.

К Аммону спокойными, свободными шагами сильного человека подошел Доггер, стоявший у дерева. Он был без шляпы; статная, розовая от загара шея его пряталась под курчавыми белокурыми волосами. Крепкий, как ожившая грудастая статуя Геркулеса, Доггер производил впечатление несокрушимого здоровяка. Крупные черты радушного лица, серые теплые глаза, небольшие борода и усы очень понравились Аммону. Костюм Доггера состоял из парусинной блузы, таких же брюк, кожаного пояса и высоких сапог мягкой кожи. Руку он пожимал крепко, но быстро, а его грудной голос звучал свободно и ясно.

— Аммон Кут — это я,— сказал, кланяясь, Аммон,— если вы получили письмо Тонара, я буду иметь честь объяснить вам цель моего приезда.

— Я получил письмо, и вы прежде всего мой гость,— сказал, предупредительно улыбаясь, Доггер.— Пойдемте, я познакомлю вас с женой. Затем мы поговорим обо всем, что будет вам угодно сказать.

Аммон последовал за ним в очень простую, с вы-

сокими окнами и скромной мебелью гостиную. Ничто не бросалось в глаза, напротив, все было рассчитано на неуловимый для внимания уют. Здесь и в других комнатах, где побывал Аммон, обстановка забывалась, как забывается телом давно обношенное привычное платье. На стенах не было никаких картин или гравюр. Аммон не сразу обратил на это внимание: пустота простенков как бы случайно драпировалась в близко сходящиеся друг с другом складки оконных занавесей. Опрятность, чистота и свет придавали всему оттенок нежной заботливости о вещах, с которыми, как со старыми друзьями, живут всю жизнь.

— Эльма! — сказал Доггер, открывая проходную дверь.— Иди-ка сюда.

Аммон нетерпеливо ожидал встречи с подругой Доггера. Его интересовало увидеть их в паре. Не прошло минуты, как из сумерек коридора появилась улыбающаяся красивая женщина в нарядном домашнем платье с открытыми рукавами. Избыток здоровья сказывался в каждом ее движении. Блондинка, лет двадцати двух, она сияла свежим покоем удовлетворенной молодой крови, весельем хорошо спавшего тела, величественным добродушием крепкого счастья. Аммон подумал, что и внутри ее, где таинственно работают органы, все так же стройно, красиво и радостно; аккуратно толкает по голубым жилам алую кровь стальное сердце; розовые легкие бойко вбирают, освежая кровь, воздух и греются среди белых ребер под белой грудью.

Доггер, не переставая улыбаться, что было, повидимому, у него потребностью, а не усилием,— представил Кута жене; она заговорила свободно, звонко, как будто была давно знакома с Аммоном:

— Как путешественник, вы будете у нас немного скучать, но это принесет вам одну пользу, только пользу!

— Я тронут,— сказал Аммон, кланяясь.

Все сели. Доггер, молча, открыто улыбаясь, смотрел прямо в лицо Аммону, также и Эльма; выражение их лиц говорило: «Мы видим, что вы тоже очень простой человек, с вами можно, не скучая, свободно молчать». Аммон хорошо понимал, что, несмотря на подкупающую простоту хозяев и обстановки, он не доверял видимому.

— Я очень хочу объяснить вам прямую цель моего посещения,— приступил он к необходимой лжи.— Пу-

тешествуя, я стал заядлым фотографом. В занятие это, по моему мнению, можно внести много искусства.

— Искусства,— сказал Доггер, кивая.

— Да. Каждый пейзаж меняет сотни выражений в день. Солнце, время дня, луна, звезды, человеческая фигура делают его каждый раз иным: или отнимают что-либо или же прибавляют. Тонар соблазнил меня описанием прелестей Лилианы, самого города, окрестностей и чудного вашего поместья. Я вижу, что мой аппарат нетерпеливо шевелится в чемодане и самостоятельно от нетерпенья щелкает затвором. Вы давно знакомы с Тонаром, Доггер?

— Очень давно. Мы познакомились, торгуя вместе это имение, но я перебил. Наши отношения с ним прекрасны, он заезжает иногда к нам. Он очень любит деревенскую жизнь.

— Странно, что он сам не живет так,— сказал Аммон.

— Знаете,— возразила, кладя голову на руки, а руки на спинку кресла, Эльма,— для этого нужно родиться такими, как я с мужем. Правда, милый?

— Правда,— сказал Доггер задумчиво.— Но, Аммон, пока не подали обед, я покажу вам хозяйство. Ты, Эльма, пойдешь?

— Нет,— отказалась, смеясь, молодая женщина,— я хозяйка, и мне нужно распорядиться.

— Тогда...— Доггер встал. Аммон встал.— Тогда мы отправимся путешествовать.

IV

НА ДВОРЕ

«Настоящий искатель приключений,— твердил про себя Аммон, идя рядом с Доггером,— отличается от банально любопытного человека тем, что каждое неясное положение исчерпывается им до конца. Теперь мне нужно осмотреть все. Не верю Доггеру». Не углубляясь больше в себя, он отдался впечатлениям. Доггер вел Аммона сводчатыми аллеями сада к задворкам. Разговор их коснулся природы, и Доггер, с несвойственной его внешности тонкостью, проник в самый тайник, хаос противоречивых, легких, как движение ресниц, душевных движений, производимых явлениями природы. Он говорил немного лениво, но природа в общем ее

понятии вдруг перестала существовать для Аммона. Подобно сложенному из кубиков дому, рассыпалась она перед ним на элементарные свои части. Затем, так же бережно, незаметно, точно играя, Доггер восстановил разрушенное, стройно и чинно свел распавшееся к первоначальному его виду, и Аммон вновь увидел исчезнувшую было совокупность мировой красоты.

— Вы — художник или должны быть им,— сказал Аммон.

— Сейчас я покажу вам корову,— оживленно проговорил Доггер,— здоровенный экземпляр и хорошей породы.

Они вышли на веселый просторный двор, где бродило множество домашней птицы: цветистые куры, огненные петухи, пестрые утки, неврастенические индейки, желтые, как одуванчики, цыплята и несколько пар фазанов. Огромная цепная собака лежала в зеленой будке, свесив язык. В загородке лоснились розовые бревна свиней; осел, хлопая ушами, добродушно косился на петуха, рывшего лапой навоз под самым его копытом; голубые и белые голуби стаями носились в воздухе; буколический вид этот выражал столько мирной животной радости, что Аммон улыбнулся. Доггер, с довольным видом осмотрев двор, сказал:

— Я очень люблю животных с уживчивой психологией. Тигры, удавы, змеи, хамелеоны и иные анархисты мне органически неприятны. Теперь посмотрим корову.

В хлеву, где было довольно светло от маленьких лучистых окон, Аммон увидел четырех гигантских коров. Доггер подошел к одной из них, цвета желтого мыла, с рогами полумесяцем; зверь дышал силой, салом и молоком; огромное, розовое с черными пятнами вымя висело почти до земли. Корова, как бы понимая, что ее рассматривают, повернула к людям тяжелую толстую морду и помахала хвостом.

Доггер, подбоченившись, что делало его мужиковатым, посмотрел на Аммона, корову и опять на Аммона, а затем кряжисто хлопнул ладонью по коровьей спине.

— Красавица! Я назвал ее — «Диана». Лучший экземпляр во всем округе.

— Да, внушительная,— подтвердил Аммон.

Доггер снял висевшее в ряду других ведро красной меди и стал засучивать рукава.

— Посмотрите, как я дою, Аммон. Попробуйте молоко.

Аммон, сдерживая улыбку, выразил в лице живейшее внимание. Доггер, присев на корточки, подставил под корову ведро и, умело вытягивая сосцы, пустил в звонкую медь сильно бьющие молочные струи. Очень скоро молоко поднялось в ведре пальца на два, пенясь от брызг. Серьезное лицо Доггера, материнское обращение его с коровой и процесс доения, производимый мужчиной, так рассмешили Аммона, что он, не удержавшись, расхохотался. Доггер, перестав доить, с изумлением посмотрел на него и наконец рассмеялся сам.

— Узнаю горожанина,— сказал он.— Вам не смешно, когда в болезненном забытьи люди прыгают друг перед другом, вскидывая ноги под музыку, но смешны здоровые, вытекающие из самой природы занятия.

— Извините,— сказал Аммон,— я вообразил себя на вашем месте и... И никогда не прощу себе этого.

— Пустое,— спокойно возразил Доггер,— это нервы. Попробуйте.

Он принес из глубины хлева фаянсовую кружку и налил Аммону густого, почти горячего молока.

— О,— сказал, выпив, Аммон,— ваша корова не осрамилась. Положительно, я завидую вам. Вы нашли простую мудрость жизни.

— Да,— кивнул Доггер.

— Вы очень счастливы?

— Да,— кивнул Доггер.

— Я не могу ошибиться?

— Нет.

Доггер неторопливо взял от Аммона пустую кружку и неторопливо отнес ее на прежнее место.

— Смешно,— сказал он, возвращаясь,— смешно хвастаться, но я действительно живу в светлом покое.

Аммон протянул ему руку.

— От всего сердца приветствую вас,— произнес он медленно, чтобы дольше задержать руку Доггера. Но Доггер, открыто улыбаясь, ровно жал его руку, без тени нетерпения, даже охотно.

— Теперь мы пойдем завтракать,— сказал Доггер, выходя из хлева.— Остальное, если это вам интересно, мы успеем посмотреть вечером: луг, огород, оранжерею и парники.

Той же дорогой они вернулись в дом. По пути Доггер сказал:

— Много теряют те, кто ищет в природе болезни и уродства, а не красоты и здоровья.

Фраза эта была как нельзя более уместна среди шиповника и жасмина, по благоухающим аллеям которых шел, искоса наблюдая Доггера, Аммон Кут.

V

ДРАКОН И ЗАНОЗА

Аммон Кут редко испытывал такую свежесть и чистоту простой жизни, с какой столкнула его судьба в имении Доггера. Остаток подозрительности держался в нем до конца завтрака, но приветливое обращение Доггеров, естественная простота их движений, улыбок, взглядов обвеяли Кута подкупающим ароматом счастья. Обильный завтрак состоял из масла, молока, сыра, ветчины и яиц. Прислуга, вносившая и убиравшая кушанья, тоже понравилась Аммону; это была степенная женщина, здоровая, как все в доме.

Аммон по просьбе Эльмы рассказал кое-что из своих путешествий, а затем, из чувства внутреннего противодействия, свойственного кровному горожанину в деревне, где он сознает себя немного чужим, стал говорить о новинках сезона.

— Новая оперетка Растрелли — «Розовый гном» — хуже, чем прошлая его вещь. Растрелли повторяет себя. Но концерты Седира очаровательны. Его скрипка могущественна, и я думаю, что такой скрипач, как Седир, мог бы управлять с помощью своего смычка целым королевством.

— Я не люблю музыки,— сказал Доггер, разбивая яйцо.— Позвольте предложить вам козьего сыру.

Аммон поклонился.

— А вы, сударыня? — сказал он.

— Вкусы мои и мужа совпадают,— ответила, слегка покраснев, Эльма.— Я тоже не люблю музыки: я равнодушна к ней.

Аммон не сразу нашелся, что сказать на это, так как поверил. Этим уравновешенным, спокойным людям не было никаких причин рисоваться. Но Аммон начинал чувствовать себя — слегка похоже — сидящим в вегетарианской столовой.

— Да, здесь спорить немыслимо,— сказал он.— На весенней выставке меня пленила небольшая картина

Алара «Дракон, занозивший лапу». Заноза и усилия, которые делает дракон, валяясь на спине, как собака, чтобы удалить из раненого места кусок щепки,— действуют убедительно. Невозможно, смотря на эту картину из быта драконов, сомневаться в их существовании. Однако мой приятель нашел, что если бы даже дракон этот пил молоко и облизывался...

— Я не люблю искусства,— кратко заметил Доггер.

Эльма посмотрела на него, затем на Аммона и улыбнулась.

— Вот и все,— сказала она.— Когда вы были последний раз в тропиках?

— Нет, я хочу объяснить,— мягко перебил Доггер.— Искусство — большое зло; я говорю про искусство, разумеется, настоящее. Тема искусства — красота, но ничто не причиняет столько страданий, как красота. Представьте себе совершеннейшее произведение искусства. В нем таится жестокости более, чем вынес бы человек.

— Но и в жизни есть красота,— возразил Аммон.

— Красота искусства больнее красоты жизни.

— Что же тогда?

— Я чувствую отвращение к искусству. У меня душа — как это говорится — мещанина. В политике я стою за порядок, в любви — за постоянство, в обществе — за незаметный полезный труд. А вообще в личной жизни — за трудолюбие, честность, долг, спокойствие и умеренное самолюбие.

— Мне нечего возразить вам,— осторожно сказал Аммон. Убежденный тон Доггера окончательно доказал ему, что Тонар прав. Доггер являл собой редкий экземпляр человека, создавшего особый мир несокрушимой нормальности.

Вдруг Доггер весело рассмеялся.

— Что толковать,— сказал он,— я жизнерадостный и простой человек. Эльма, ты поедешь с нами верхом? Я хочу показать гостю огород, луг и окрестности.

— Да.

VI

ЛЕСНАЯ ЯМА

Прогулка, кроме лесной ямы, ничего нового не дала Аммону. Они ехали рядом. Доггер с правой, а Кут с левой стороны Эльмы, и Аммон, не касаясь более

убеждений Доггера, рассказывал о себе, своих встречах и наблюдениях. Он сидел на сытой, красивой, спокойной лошади в простом черном седле. Несколько людей повстречались им, занятых очисткой канав и окапыванием молодых деревьев; то были рабочие Доггера, коренастые молодцы, почтительно снимавшие шляпы. «Прекрасная пара,— думал Аммон, смотря на своих хозяев.— Такими, вероятно, были до грехопадения Адам и Ева». Впечатлительный, как все бродяги, он начинал проникаться их сурово-милостивым отношением ко всему, что не было их собственной жизнью. Осмотр владений Доггера заставил его сказать несколько комплиментов: огород, как и все имение, был образцовым. Сочный, засеянный отборной травой луг веселил глаз.

За лугом, примыкавшим к горному склону, тянулся лес, и всадники, подъехав к опушке, остановились. Доггер спокойно осматривал с этого возвышенного места свои владения. Он сказал:

— Люблю собственность, Аммон. А вот посмотрите яму.

Проехав в лес, Доггер остановился у сумеречной, сырой ямы под сводами густой листвы старых деревьев. Свет нехотя проникал сюда, здесь было прохладно, как в колодце, и глухо. Валежник наполнял яму; корни протягивались в нее, сломанный бурей ствол перекидывался над хаосом лесного сора и папоротника. Острый запах грибов, плесени и земли шел из обширной впадины, и Доггер сказал:

— Здесь веет жизнью таинственных существ, зверей. Мне чудятся осторожные шаги хорьков, шелест змеи, выпученные глаза жаб, похожих на водяночного больного. Летучие мыши кружатся здесь в лунном свете, и блестят круглые очки сов. Вероятно, это ночной клуб.

«Он притворяется,— подумал Аммон с новой вспышкой недоверия к Доггеру,— но где зарыта собака?»

— Я хочу домой,— сказала Эльма.— Я не люблю леса.

Доггер ласково посмотрел на жену.

— Она против сумерек,— сказал он Аммону,— так же, как я. Вернемся. Я чувствую себя хорошо только дома.

VII
НОЧЬ

В половине двенадцатого, простившись с гостеприимными хозяевами, Аммон отправился в отведенную ему комнату левого крыла дома; ее окна выходили на двор, отделенный от него узким палисадом, полным цветов. Обстановка комнаты дышала тем же здоровым, свежим уютом, как и весь дом: мебель из некрашеного белого дерева, металлический умывальник, чистые занавеси, простыни, подушки; серое теплое одеяло; зеркало в простой раме, цветы на окнах; массивный письменный стол; чугунная лампа. Не было ничего лишнего, но все необходимое, в голой простоте своего назначения.

— Так вот куда я попал! — сказал Аммон, снимая жилет.— Руссо мог бы позавидовать Доггеру. Прекрасно говорил Доггер о природе и лесной яме; это стоит в противоречии с отвратительной плоскостью остальных его рассуждений. Мне больше нечего делать здесь. Я убедился, что можно жить осмысленной растительной жизнью. Однако еще посмотрим.

Он сел на кровать и задумался. Столовые стальные часы пробили двенадцать. Раскрытое окно дышало цветами и влагой лугов. Все спало; звезды над черными крышами горели, как огоньки далекого города. Аммон думал с грустным волнением о постоянной мечте людей — хорошей, светлой, здоровой жизни — и недоумевал, почему самые яркие попытки этого рода, как, например, жизнь Доггера, лишены крыльев очарования. Все образцово, вкусно и чисто; нежно и полезно, красиво и честно, но незначительно, и хочется сказать: «Ах, я был еще на одной выставке! Там есть премированный человек...»

Тогда он стал рисовать мысленно возможности иного порядка. Он представил себе пожар, треск балок, буйную жизнь огня, любовь Эльмы к рабочему, Доггера — пьяницу, сумасшедшего, морфиниста; вообразил его религиозным фанатиком, антикваром, двоеженцем, писателем, но все это не вязалось с хозяевами поместья в Лилиане. Трепет нервной, разрушительной или творческой жизни чужд им. Возможность пожара была, конечно, исключена в общем благоустройстве дома, и никогда не суждено испытать ему испуга, хаоса горящего здания. Год за годом, толково, разумно,

тщательно и счастливо проходят, рука об руку, две молодые жизни — венец творения.

— Итак,— сказал Аммон,— я ложусь спать.— Откинув одеяло, Аммон хотел потушить лампу, как вдруг услышал в коридоре тихие мужские шаги; кто-то шел мимо его комнаты, шел так, как ходят обыкновенно ночью, когда в доме все спят: напряженно, легко. Аммон вслушался. Шаги стихли в конце коридора; прошло пять, десять минут, но никто не возвращался, и Кут осторожно приотворил дверь.

Висячая лампа освещала коридор ровным ночным светом. В проходе было три двери: одна, ближе к центру дома, вела в помещение для прислуги и находилась против комнаты Кута; вторая, соседняя от Аммона слева, судя по висячему на ней замку, была дверью кладовой или нежилой комнаты. Направо же, в конце крыла, дверей совсем не было — тупик с высоким закрытым окном в сад, но шаги замерли именно в этом месте.

— Не мог же он провалиться сквозь землю! — сказал Кут.— И это едва ли Доггер: он говорил сам, что сон его крепок, как у солдата после сражения. Рабочему незачем входить в дом. Окно в конце коридора ведет в сад; допустив, что Доггер по неизвестным мне причинам вздумал гулять, к его услугам три выходных двери, и я к тому же услышал бы стук рамы, а этого не было.

Аммон повернулся и прикрыл дверь.

Наполовину он придавал значение этим шагам, наполовину нет. Мысль его бродила в области прекрасных суеверий, легенд о человеческой жизни, цель которых — прославить имя человека, вознося его из болота будней в мир таинственной прелести, где душа повинуется своим законам, как богу. Аммон еще раз заставил себя мысленно услышать шаги. Вдруг ему показалось, что в раскрытое окно может заглянуть неизвестный «тот»; он быстро потушил лампу и насторожился.

— О, глупец я! — сказал, не слыша ничего более, Аммон.— Мало ли кто почему может ходить ночью!.. Я просто узкий профессионал, искатель приключений, не более. Какая тайна может быть здесь, в запахе сена и гиацинтов? Стоит лишь посмотреть на домашнюю красавицу Эльму, чтобы не заниматься глупостями.

Тем не менее инстинкт спорил с логикой. Около получаса, ожидая, как влюбленный свидания, новых звуков, Аммон стоял у двери, заглядывая в замочную

скважину. В это небольшое отверстие, напоминающее форму подошвы, обращенной вниз, видел он сосновые панели стены, и ничего более. Настроение его падало, он зевнул и хотел лечь, как снова явственно раздались те же шаги. Аммон, подобно нырнувшему пловцу, перестал дышать, смотря в скважину. Мимо его дверей, головой выше поля зрения Аммона, ровной, на цыпочках походкой прошел из тупика Доггер в рубашке с расстегнутыми рукавами и брюках; куртки на нем не было. Шаги стихли, глухо хлопнула внутренняя дверь, и Аммон выпрямился; неудержимые подозрения закипели в нем вопреки логике положения. Слишком благоразумный, чтобы давать им какую-либо определенную форму, он довольствовался пока тем, что твердил один и тот же вопрос: «Где мог находиться Доггер в конце коридора?» Аммон кружился по комнате, то усмехаясь, то задумываясь; он перебрал все возможности: интрига с женщиной, лунатизм, бессонница, прогулка, но все это висело в воздухе в силу закрытого окна и тупика; хотя окно, конечно, открывалось,— путь через него в сад для такого солидного и положительного человека, как Доггер, казался непростительным легкомыслием.

Решив тщательно осмотреть коридор, Аммон, надев войлочные туфли, но без револьвера, так как в этом не представлялось необходимости, вышел из своей комнаты. Спокойная тишина ярко освещенного коридора отрезвила Кута, он устыдился и хотел вернуться, но прошедший день, полный чрезмерной, утомительной для подвижной души, будничной простоты, толкал Кута по линии искусственного оживления хотя бы неудовлетворенных фантазий. Быстро он прошел в конец коридора, к окну, убедился, что оно плотно закрыто, на полные, верхнюю и нижнюю, задвижки, осмотрелся и увидел справа маленькую, едва прикрытую дверь, без косяков, в одной плоскости со стеной; дверца эта, сбитая из тонких досок, была, по-видимому, прорезана и вставлена после постройки дома. Рассматривая дверцу, Аммон думал, что она выходит, вероятно, на лесенку, устроенную для входа в палисад изнутри коридора. Решив таким образом вопрос, куда исчезал Доггер, Аммон тихо протянул руку, снял петлю и открыл дверь.

Она отворялась в коридор. За ней было темно, хотя виднелось несколько крутых белых ступенек лестницы, шедшей вверх, а не вниз. Лестница подымалась вплотную к узким стенам; чтобы войти, нужно было

сильно нагнуться. «Стоит ли? — подумал Аммон.— Должно быть, это ход на чердак, где сушат белье, живут голуби... Однако Доггер не охотник за голубями и, ясно, не прачка. Зачем он ходил сюда? О, Аммон, Аммон, инстинкт говорит мне, что есть дичь. Пусть, пусть это будет даже холостой выстрел — если я подымусь,— зато по крайней мере все кончится, и я усну до завтрашней простокваши с чистой, как у теленка, совестью. Если Доггеру вздумается опять, по неизвестным причинам, посетить чердак и он застанет меня,— солгу, что слышал на чердаке шаги; сослаться в таких случаях на воров — незаменимо».

Оглянувшись, Аммон плотно прикрыл за собой дверь и, осветив лестницу восковой спичкой, стал всходить. От маленькой площадки лестница поворачивала налево; в верхнем конце ее оказалась площадка просторнее, к ней примыкала под крутым скатом крыши дверь, ведущая на чердак. Она, так же как и нижняя дверь, была не на клсче, а притворена. Аммон прислушался, опасаясь, нет ли кого за дверью. Тишина успокоила его. Он смело потянул скобку, и спичка от воздушного толчка погасла; Аммон переступил через порог во тьму; слегка душный воздух жилого помещения испугал его; торопясь убедиться, не попал ли он в каморку рабочих или прислуги, Аммон зажег вторую спичку, и тени бросились от ее желтого света в углы, прояснив окружающее.

Увидев прежде всего на огромном посреди комнаты столе свечу, Аммон затеплил ее и отступил к двери, осматриваясь. На задней стене спускалась до полу белая занавесь, такие же висели на левой и правой стене от входа. В косом потолке просвечивало далекими звездами сетчатое окно. Не всмотревшись еще в заваленный множеством различных предметов стол, Аммон бросился по углам. Там был лишь неубранный сор, клочки бумаги, сломанные карандаши. Выпрямившись, подошел он к задней стене, где у гвоздика висели шнурки от занавеси, и потянул их. Занавесь поднялась.

Аммон, отступив, увидел внезапно блеснувший день — земля взошла к уровню чердака, и стена исчезла. В трех шагах от путешественника, спиной к нему, на тропинке, бегущей в холмы, стояла женщина с маленькими босыми ногами; простое черное платье, неуловимо лишенное траурности, подчеркивало белизну ее обнаженных шеи и рук. Все линии молодого тела уга-

дывались под тонкой материей. Бронзовые волосы тяжелым узлом скрывали затылок. Сверхъестественная, тягостная живость изображения перешла здесь границы человеческого; живая женщина стояла перед Аммоном и чудесной пустотой дали; Аммон, чувствуя, что она сейчас обернется и через плечо взглянет на него,— растерянно улыбнулся.

Но здесь кончалось и вместе с тем усиливалось торжество гениальной кисти. Поза женщины, левая ее рука, отнесенная слегка назад, висок, линия щеки, мимолетное усилие шеи в сторону поворота и множество недоступных анализу немых черт держали зрителя в ожидании чуда. Художник закрепил мгновение; оно длилось, оставалось все тем же, как будто исчезло время, но вот-вот в каждую следующую секунду возобновит свой бег, и женщина взглянет через плечо на потрясенного зрителя. Аммон смотрел на ужасную в готовности своей показать таинственное лицо голову с чувством непобедимого ожидания; сердце его стучало, как у ребенка, оставленного в темной комнате, и, с неприятным чувством бессилия перед неисполнимой, но явной угрозой, отпустил он шнурки. Упала занавесь, а все еще казалось ему, что, протянув руку, наткнется он, за полотном, на теплое, живое плечо.

— Нет меры гению и нет пределов ему! — сказал взволнованный Кут.— Так вот, Доггер, откуда ты уходишь доить коров? Хозяин моего открытия — великий инстинкт. Я буду кричать на весь мир, я болен от восторга и страха! Но что там?

Он бросился к той занавеси, что висела слева от входа. Рука его путалась в шнурах, он нетерпеливо рвал их, потянул вниз и поднял над головой свечу. Та же женщина, в той же прелестной живости, но еще более углубленной блеском лица, стояла перед ним, исполнив прекрасную свою угрозу. Она обернулась. Всю материнскую нежность, всю ласку женщины вложил художник в это лицо. Огонь чистой, горделивой молодости сверкал в нежных, но твердых глазах; диадемой казался над тонкими, ясными ее бровями бронзовый шелк волос; благородных юношеских очертаний рот дышал умом и любовью. Стоя вполоборота, но открыто повернув все лицо, сверкала она молодой силой жизни и волнующей, как сон в страстных слезах радости.

Тихо смотрел Аммон на эту картину. Казалось ему, что стоит произнести одно слово, нарушить тишину

красок, и, опустив ресницы, женщина подойдет к нему, еще более прекрасная в движениях, чем в тягостной неподвижности чудесным образом созданного живого тела. Он видел пыль на ее ногах, готовых идти дальше, и отдельные за маленьким ухом волосы, похожие на лучистый наряд колосьев. Радость и тоска держали его в нежном плену.

— Доггер, вы деспот! — сказал Аммон.— Можно ли больнее, чем вы, ранить сердце? — Он топнул ногой.— Я брежу,— вскричал Аммон,— так немыслимо рисовать; никто, никто на свете не может, не смеет этого!

И еще выразительнее, полнее, глубже глянули на него н а с т о я щ и е глаза женщины.

Почти испуганный, с сильно бьющимся сердцем, задернул Аммон картину. Что-то удерживало его на месте; он не мог заставить себя пройтись взад-вперед, как делал обыкновенно в моменты волнения. Он боялся оглянуться, пошевелиться; тишина, в коей слышались лишь собственное его дыхание и потрескивание горящей свечи, была неприятна, как запах угара. Наконец, превозмогая оцепенение, Аммон подошел к третьему полотну, обнажил картину... и волосы зашевелились на его голове.

Что сделал Доггер, чтобы произвести эффект кошмарный, способный воскресить суеверия? В том же повороте стояла перед Аммоном обернувшаяся на ходу женщина, но лицо ее непостижимо преобразилось, а между тем до последней черты было тем, на которое только что смотрел Кут. Страшно, с непостижимой яркостью встретились с его глазами хихикающие глаза изображения. Ближе, чем ранее, глядели они мрачно и глухо; иначе блеснули зрачки; рот, с выражением зловещим и подлым, готов был просиять омерзительной улыбкой безумия, а красота чудного лица стала отвратительной; свирепым, жадным огнем дышало оно, готовое душить, сосать кровь; вожделение гада и страсти демона озаряли его гнусный овал, полный взволнованного сладострастия, мрака и бешенства; и беспредельная тоска охватила Аммона, когда, всмотревшись, нашел он в этом лице готовность заговорить. Полураскрытые уста, где противно блестели зубы, казались шепчущими; прежняя мягкая женственность фигуры еще более подчеркивала ужасную жизнь головы, только что не кивавшей из рамы. Глубоко вздохнув, Аммон отпустил шнурок; занавесь, шелестя, ринулась вниз, и показалось

ему, что под падающие складки вынырнуло и спряталось, подмигнув, дьявольское лицо.

Аммон отвернулся. Папка, лежавшая на столе, приковала к себе его расстроенное внимание своими размерами; большая и толстая, она, когда он раскрыл ее, оказалась полной рисунков. Но странны и дики были они... Один за другим просматривал их Аммон, пораженный нечеловеческим мастерством фантазии. Он видел стаи воронов, летевших над полями роз; холмы, усеянные, как травой, зажженными электрическими лампочками; реку, запруженную зелеными трупами; сплетение волосатых рук, сжимавших окровавленные ножи; кабачок, битком набитый пьяными рыбами и омарами; сад, где росли, пуская могучие корни, виселицы с казненными; огромные языки казненных висели до земли, и на них раскачивались, хохоча, дети; мертвецов, читающих в могилах при свете гнилушек пожелтевшие фолианты; бассейн, полный бородатых женщин; сцены разврата, пиршество людоедов, свежующих толстяка; тут же, из котла, подвешенного к очагу, торчала рука; одна за другой проходили перед ним фигуры умопомрачительные, с красными усами, синими шевелюрами, одноглазые, трехглазые и слепые; кто ел змею, кто играл в кости с тигром, кто плакал, и из глаз его падали золотые украшения; почти все рисунки были осыпаны по костюмам изображений золотыми блестками и исполнены тщательно, как выполняется вообще всякая любимая работа. С жутким любопытством перелистывал эти рисунки Аммон. Дверь стукнула, он отскочил от стола и увидел Доггера.

VIII

ОБЪЯСНЕНИЕ

Самообладание никогда не покидало Аммона даже в самых опасных случаях; однако, застигнутый врасплох, он испытал мгновенное замешательство. Доггер, по-видимому, не ожидал увидеть Аммона; растерянно остановился он у дверей, осматриваясь, но скоро побледнел, а затем вспыхнул так, что от гнева покраснела обнаженная его шея. Он быстро подошел к Аммону, вскричав:

— Как смели вы забраться сюда!.. Как назвать ваш поступок?! Я не ожидал этого! А? Аммон!

— Вы правы,— ответил спокойно Кут, не опуская

глаз,— войти я не смел. Но я чувствовал бы себя виновным только в том случае, если бы ничего не увидел; увидевши же здесь нечто, смею думать,— приобрел тем самым право отвергнуть обвинение в нескромности. Скажу больше: узнай я, уехав от вас, что предстояло мне видеть, поднявшись наверх, и не сделай я этого,— я никогда не простил бы себе подобной оплошности. Мотивы моего поступка следующие... Извините, положение требует откровенности, как бы вы ни отнеслись к ней. Смутно не верил я вашим коровкам, Доггер, и репе, и сытым фазаньим курочкам; случайно попав на верный след к вашей душе, я достиг цели. Ужасная сила гения водила вашей кистью. Да, я украл глазами то, из чего вы сделали тайну, но воровством этим горжусь не меньше, чем Колумб — Западным полушарием, так как мое призвание — искать, делать открытия, следить!

— Молчать! — вскричал Доггер. В его лице не было и тени благодушного равновесия; но не было и злобы, несвойственной людям характера высокого; тяжкое возмущение выражало оно и боль.— Вы смеете еще... О, Аммон, вы, с вашими разговорами о проклятом искусстве, заставили меня не спать в муках, недоступных для вас, а теперь, врываясь сюда, хотите меня уверить, что это достойно похвалы. Кто вы, чтобы осмелиться на подобное?

— Искатель, искатель приключений,— холодно возразил Аммон.— У меня иная мораль. Иметь дело с сердцем и душой человека и никогда не подвергаться за эти опыты проклятиям — было бы именно не хорошо; чего стоит душа, подобострастно расстилающаяся всей внутренностью?

— Однако,— сказал Доггер,— вы смелы! Я не люблю слишком смелых людей. Уйдите. Возвращайтесь в свою комнату и укладывайтесь. Тотчас же вам подадут лошадь; есть ночной поезд.

— Прекрасно! — Аммон подошел к двери.— Прощайте!

Он хотел выйти, как вдруг обе руки Доггера с силой схватили его за плечи и повернули к себе. Аммон увидел жалкое лицо труса; безмерный испуг Доггера передался ему, и он, не зная в чем дело, побледнел от волнения.

— Никому,— сказал Доггер,— ни слова никому совершенно! Ради меня, ради бога, пощадите: ничего, никому!

— Даю слово, да, я даю слово, успокойтесь.

Доггер отпустил Аммона. Взгляд его, полный ненависти, остановился поочередно на каждой из трех картин. Аммон вышел, спустился по лестнице и, войдя в свое помещение, приготовился ехать. Через полчаса он, сопровождаемый слугой, вышел, не встретив более Доггера, к темному подъезду со стороны сада, где стоял экипаж, уселся и выехал.

Звездная роса неба, волнение, беспредельная, благоухающая тьма и дыхание придорожных рощ усиливали очарование торжества. В такт торжествующему сердцу Аммона глухо билось огромное слепое сердце земли, приветствующее своего сына-искателя. Смутно, но цепко нащупывал Аммон истину души Доггера.

— Нет, не уйдешь от себя, Доггер, нет,— сказал он, вспоминая рисунки.

Возница, ломая голову над внезапным отъездом гостя, несмело обернулся, спрашивая:

— Никак, дело случилось экстренное у вас, сударь?

— Дело? Да. Именно — дело. Я должен немедленно ехать в Индию. У меня там захворали чумой: бабушка, свояченица и три двоюродных брата.

— Вот как! — удивленно произнес крестьянин.— Дела-а!..

IX

ВТОРАЯ, И ПОСЛЕДНЯЯ, ВСТРЕЧА С ДОГГЕРОМ

— Милый,— сказал Тонар Куту, распечатав одно из писем.— Доггер, у которого ты был четыре года тому назад, просит тебя ехать к нему немедленно. Не зная твоего адреса, он передает свою просьбу через меня. Но что могло там случиться?

Аммон, не скрывая удивления, быстро подошел к приятелю.

— Просит?! В каких выражениях?

— Конца восемнадцатого столетия. «Вы очень обяжете меня,— прочел Тонар,— сообщив господину Аммону Куту, что я был бы весьма признателен ему за немедленное с ним свидание»... Не объяснишь ли ты, в чем дело?

— Нет, я не знаю.

— Да ну?! Ты хитрый, Аммон!

— Я могу только обещать тебе, если удастся, рассказать после.

— Прекрасно. Любопытство мое задето. Как, ты уже смотришь на часы? Посмотри расписание.

— Есть поезд в четыре,— сказал, нажимая кнопку звонка, Аммон. Слуга остановился в дверях.— Герт! Высокие сапоги, револьвер, плед и маленький саквояж. Прощай, Тонарище! Я еду в веселые луга Лилианы!

Не без волнения ехал Аммон к странному человеку на его зов. Он хорошо помнил до сих пор тягостный удар по душе, нанесенный двуликой женщиной чудесных картин, и ставил их невольно в связь с приглашением Доггера. Но далее было безрассудно гадать, чего хочет от него Доггер. Вероятным оставалось одно, что предстоит нечто серьезное. В глубокой задумчивости стоял Аммон у окна вагона. Все свое знание людей, все сложные узлы их душ, все возможности, вытекающие из того, что видел четыре года назад, перебрал он с тщательностью слепого, разыскивающего ощупью нужную ему вещь, но, неудовлетворенный, отказался, наконец, предвидеть будущее.

В восемь часов вечера Аммон стоял перед тихим домом в саду, где ярко, пышно и радостно молились цветы засыпающему в серебристых облаках солнцу. Аммона встретила Эльма; в ее движениях и лице пропала музыкальная ясность; огорченная, нервная, страдающая женщина стояла перед Аммоном, тихо говоря:

— Он хочет говорить с вами. Вы не знаете — он умирает, но, может быть, надеюсь, еще верит в выздоровление, делайте, пожалуйста, вид, что считаете его болезнь пустяком.

— Надо спасти Доггера,— сказал, подумав, Аммон.— Есть ли у него от вас что-нибудь тайное?

Он смотрел Эльме прямо в глаза, придав вопросу осторожную значительность тона.

— Нет, ничего нет. А от вас?

Это было сказано ощупью, но они поняли друг друга.

— Вероятно,— пытливо улыбнулся Аммон,— вы не остались в недоумении относительно спешности прошлого моего отъезда.

— Вы должны извинить Доггера и... себя.

— Да. Во имя того, что вам известно, Доггер не смеет умирать.

— Врачи обманывают его, но я все знаю. Он не проживет до конца месяца.

— Как смешно,— сказал, идя за Эльмой, Ам-

мон,— я знаю огородного сторожа, которому сто четыре года. Но он, правда, не смыслит ничего в красках.

Когда они вошли к больному, Доггер лежал. Ранние сумерки оттеняли прозрачное его лицо легкой воздушной тканью; руки больного лежали под головой. Он был волосат, худ и угрюм; глаза его, выразительно блеснув, остановились на Куте.

— Эльма, оставь нас,— сказал, хрипя, Доггер,— не обижайся на это.

Женщина, грустно улыбнувшись ему, ушла. Аммон сел.

— Вот еще одно приключение, Аммон,— слабо заговорил Доггер,— отметьте его в графе путешествий очень далеких. Да, я умираю.

— Вы, кажется, мнительны? — беззаботно спросил Аммон.— Ну, это слабость.

— Да, да. Мы упражняемся во лжи. Эльма говорит то же, что вы, а я делаю вид, что не верю в близкую смерть, и она этим довольна. Ей хочется, чтобы я не верил в то, во что верит она.

— Что с вами, Доггер?

— Что? — Доггер, закрыв глаза, усмехнулся.— Я выпил, видите ли, холодной родниковой воды. Надо вам сказать, что последние одиннадцать лет мне приходилось пить воду только умеренной температуры, дистиллированную. Два года назад, весной, я гулял в соседних горах. Снеговые ручьи неслись в пышной зелени по сверкающим каменным руслам, звенели и бились вокруг. Голубые каскады взбивали снежную пену, прыгая со всех сторон с уступа на уступ, скрещиваясь и толкая друг друга, подобно вспугнутому стаду овец, когда, попав в тесное место, струятся они живою волной белых спин. Ах, я был неблагоразумен, Аммон, но душный жаркий день измучил меня жаждой. С крутизны на мою голову падал тяжелый жар неба, а изобилие пенящейся кругом воды усиливало страдания. Возвращаться было не близко, и меня неудержимо потянуло пить эту дикую, холодную, веселую воду, не оскверненную градусником. Невдалеке был подземный ключ, я нагнулся и пил, обжигая губы его ледяным огнем; то была вкусная, шипящая, как игристое вино, пахнущая травой вода. Редко приходится так блаженно утолять жажду. Я пил долго и затем... слег. У больных, знаете ли, часто весьма тонкий слух, и я, не без усилия однако, подслушал за дверьми док-

тора с Эльмой. Доктор хорошо поторговался с собой, но все же разрешил мне жить не далее конца этого месяца.

— Вы поступили ненормально,— сказал, улыбаясь, Кут.

— Отчасти. Но я устаю говорить. Те две картины, где она обернулась... вы как думаете, где они? — Доггер заволновался.— Вот на этом столе ящик, откройте могилку.

Аммон, встав, приподнял крышку красивой шкатулки, и от движения воздуха часть белого пепла, взлетев, осела на рукав Кута. Ящик, полный до краев этим пушистым пеплом, объяснил ему судьбу гениальных произведений.

— Вы сожгли их!

Доггер кивнул глазами.

— Это если не безумие, то варварство,— сказал Аммон.

— Почему? — коротко возразил Доггер.— Одна из них была зло, а другая — ложь. Вот их история. Я поставил задачей всей своей жизни написать три картины, совершеннее и сильнее всего, что существует в искусстве. Никто не знал даже, что я художник, никто, кроме вас и жены, не видел этих картин. Мне выпало печальное счастье изобразить Жизнь, разделив то, что неразделимо по существу. Это было труднее, чем, смешав воз зерна с возом мака, разобрать смешанное по зернышку, мак и зерно — отдельно. Но я сделал это, и вы, Аммон, видели два лица Жизни, каждое в полном блеске могущества. Совершив этот грех, я почувствовал, что неудержимо, всем телом, помыслами и снами тянет меня к тьме; я видел перед собой полное ее воплощение... и не устоял. Как я тогда жил — я знаю, больше никто. Но и это было мрачное, больное существование — тлен и ужас!

То, чем я окружил себя теперь: природа, сельский труд, воздух, растительное благополучие,— это, Аммон, не что иное, как поспешное бегство от самого себя. Я не мог показать людям своих ужасных картин, так как они превознесли бы меня, и я, понукаемый тщеславием, употребил бы свое искусство согласно наклону души — в сторону зла, а это несло гибель мне первому; все темные инстинкты души толкали меня к злому искусству и злой жизни. Как видите, я честно уничтожил в доме всякий соблазн: нет картин, рисунков

и статуэток. Этим я убивал воспоминание о себе, как о художнике, но выше сил моих было уничтожить те две, между которыми шла борьба за обладание мной. Ведь это все-таки не так плохо сделано! Но дьявольское лицо жизни временами соблазняло меня, я запирался и уходил в свои фантазии — рисунки, пьянея от кошмарного бреда; той папки тоже нет больше. Вы сдержали слово молчания, и я, веря вам, прошу вас после моей смерти выставить анонимно третью мою картину, она правдива и хороша. Искусство было проклятием для меня, я отрекаюсь от своего имени.

Он помолчал и заплакал, но слезы его не вызвали обидной жалости в Куте; Аммон видел, что большего насилия над собой сделать нельзя. «Сгорел, сгорел человек,— думал Аммон,— слишком непосильное бремя обрушила на него судьба. Но скоро будет покой...»

— Итак,— сказал, успокаиваясь, Доггер,— вы сделаете это, Аммон?

— Да, это моя обязанность, Доггер, я нежно люблю вас,— неожиданно для себя волнуясь более, чем хотел, сказал Кут,— люблю ваш талант, вашу борьбу и... последнюю твердость.

— Дайте-ка вашу руку! — попросил, улыбаясь, Доггер. Рукопожатие его было еще резко и твердо.

— Видите, я не совсем слаб,— сказал он.— Прощайте, беспокойная, воровская душа. Эльма отдаст вам картину. Я думаю,— наивно прибавил Доггер,— о ней будут писать...

Аммон и его подруга, худенькая брюнетка с подвижным как у обезьянки лицом, медленно прокладывали себе дорогу в тесной толпе, запрудившей зал. Над головами их среди других рам и изображений стояла, готовая обернуться, живая для взволнованных глаз женщина; она стояла на дороге, ведущей к склонам холмов. Толпа молчала. Совершеннейшее произведение мира являло свое могущество.

— Почти невыносимо,— сказала подруга Кута.— Ведь она действительно обернется!

— О нет,— возразил Аммон,— это, к счастью, только угроза.

— Хорошо счастье! Я хочу видеть ее лицо!

— Так лучше, дорогая моя,— вздохнул Кут,— пусть каждый представляет это лицо по-своему.

БОЙ НА ШТЫКАХ



всю ночь не сомкнул глаз; я не боялся, но неотвратимая необходимость испытать завтра же нечто совсем особенное, непохожее на лежанье в окопах и стрельбу в невидимого врага — волновала меня. Я старался предугадать будущие свои ощущения... Вот я, тяжело дыша, бегу с выставленным вперед штыком на врага, бегущего ко мне с таким же острым штыком... мы сталкиваемся...

На этом моя бедная фантазия останавливалась, а сердце сжималось.

Рассвело, обычная боевая возня пришла к концу, и рожки заиграли выступление. Мы совершили порядочный переход, вступили в перестрелку с врагом, окопались, и наконец после артиллерийской подготовки был отдан приказ идти штыковой атакой на неприятельские окопы.

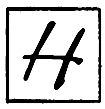
Мы поднялись, крикнули нестройно — «ура!» и, растянувшись по неровному полю прыгающими зигзагами человеческих линий, побежали вперед. Навстречу дул сильный ветер; в его ровном гуле вспыхивали свистки пуль, летевших навстречу. Я молча ожидал смерти, спеша изо всех сил к немецкой траншее. Нервность моего состояния была так велика, что я весь дрожал. В это время произошло нечто весьма странное...

Мне показалось, что я остановился на мгновение, против воли, а затем, получив какую-то необъяснимую легкость во всем теле, побежал дальше. Впереди меня двигался солдат, к которому я сразу почувствовал болезненный интерес. Все в этом солдате — его фуражка, спина, сапоги, манера бежать — казались мне давно, давно знакомыми, виденными; нагнав солдата, я посмотрел на его лицо; это было *мое* лицо; да, я силой сверхъестественного нервного напряжения видел *самого себя*; я как бы раздвоился, хотя сознавал, что очень тесная связь существует между мной просто и между мной — солдатом. То, что было во мне солдатом, бежало отдельно от меня, механически. Этот психологический миг давал полную иллюзию двойственности. Итак, я видел себя и — что скрывать! — опасался за себя, вступившего в эту минуту в рукопашную схватку с бледным немецким солдатом, весьма проворным и ловким малым.

Я хорошо видел все несовершенство приемов, упо-

требленных моим двойником Фаниковым без моего участия — без участия меня — разумного, волевого существа; в то время, как я-первый представлял собою лишь механически двигающееся тело, Фаников-второй два раза был чуть-чуть не пробит немецким штыком, и я понял, что оба мы — я-первый и я-второй — погибнем, если я не соединюсь с Фаниковым-вторым и не сделаю его удары сознательными. Я достиг этого страшным напряжением воли, но как — не смогу объяснить. И тотчас же мои руки стали тверже, движения быстрее, я сразу подметил слабые стороны противника, обманул его ложным выпадом, упав на колено, и проткнул ему штыком ногу. От боли и неожиданности он открыл на секунду грудь; этого было вполне достаточно, и я поразил немца. Наша пара дралась дольше всех; я догнал ушедших далеко вперед своих и подумал: «Теперь я знаю смысл выражения — «выйти из себя»... Это опасно!»

ТАЙНА ЛУННОЙ НОЧИ



иколай Селиверстов, рядовой пехотного батальона, в одну из светлых лунных ночей стоял на одиноком посту, на вершине гранитной скалы, вблизи Карпатских перевалов.

Главной задачей того ответственного пункта, на котором оказался в эту ночь Селиверстов, было — заметить возможное обходное движение неприятельской колонны; относительно этого имелись сведения, указывающие на возможность данной опасности.

Скала вышиной футов пятьдесят господствовала над местностью. Со стороны гор скала примыкала к узкой, глубокой пропасти, со стороны равнины открывался ясный лунный пейзаж, ограниченный на горизонте дымной рекой и черной полосой леса. За пропастью, по ту сторону ее, возвышался ряд более высоких скал, поросших кустарником и представляющих отличные места для засады.

Селиверстов стоял на небольшой каменной площадке, вполне сознавая, что яркий свет луны ясно показывает его фигуру по ту сторону пропасти. С той стороны часовой был виден, как яичко на бархате.

Любой шатун гуцул, среди которых осталось еще

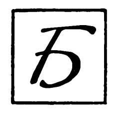
немало приверженцев неприятеля, мог выследить этот пост и донести по адресу или же сам подстрелить солдата. Селиверстов знал, что этот пост, таким образом, очень опасен, и думал о смерти. Смерть представлялась ему похожей на мрачный, глубокий колодец, в котором на дне лежит темная синяя вода с отраженным в ней месяцем. Мысли о смерти, конечно, вполне естественные в боевой обстановке и в уединенном месте,— как это ни странно, развлекали Селиверстова. Он беспрестанно возвращался к ним, находя какое-то странное удовлетворение в попытках представить момент смерти, предвосхитить его.

На площадке скалы, где стоял Селиверстов, лежал крупный камень в форме наковальни, и лунная тень от острого конца камня, сообразно ходу ночного светила, медленно передвигалась слева направо. Вскоре она должна была коснуться края площадки. Усталый Селиверстов присел на камень, наблюдая за странными очертаниями тени, напоминающей меч. Неожиданно за пропастью раздался слабый шум щебня, сыплющегося с тропинки, такой шум производит человеческая нога, раскатившаяся на крутом спуске. Селиверстов насторожился, и в этот момент за скалами грянул выстрел, прозвучавший одиноко и жалобно; эхо его, скакнув в пустыне слабыми отражениями стука, затихло. Селиверстову показалось, что он слышал свист пули.

Он переживал весьма странное состояние. Вместо обычного, казалось бы, в таких случаях — если не испуга, то, хотя бы, некоторого волнения, Селиверстов переживал некую апатию и полное равнодушие к выстрелу. Сознание опасности как бы скользнуло по его душе рикошетом. Он продолжал сидеть, безучастный к только что прогремевшему выстрелу, и смотрел на тень, почти коснувшуюся уже края площадки. Наконец он поймал себя на том, что пытается определить время, в которое тень камня успеет коснуться края. Непосредственно за этим произошло в нем таинственное смешение, возбуждение чувств, и он понял, что не сидит на камне, а стоит на краю площадки и смотрит. Очень ясно, как в зеркале, увидел он себя лежащим ничком возле камня. Его руки, или руки его двойника, были широко раскинуты, из простреленной в сердце груди текла черная при луне кровь. Тогда он понял, что он убит и видит самого себя лежащим бездыханно. Но в этом не было ничего страшного.

Тень камня, имеющая форму меча, коснулась края площадки. Сознание исчезло, и похолодевший труп Селиверстова остался лежать до утра на маленькой, узкой площадке горной скалы.

ЖЕЛТЫЙ ГОРОД



ыл вечер 25 марта 1915 года. В маленьком бельгийском городке, называвшемся Сен-Жан, почти сплошь разрушенном немцами и почти совершенно опустевшем, так как в городе не оставалось уже ничего съестного, и повсюду валялись неубранные трупы, появился странный человек дорожного вида, скромно, но опрятно одетый, с пледом на плече и маленьким саквояжем в руках. Он нерешительно подошел к засыпанной кирпичами площади, вокруг которой зияли черные бреши разбитых, пустых домов, и беспомощно оглядывался, желая, по-видимому, увидеть наконец хоть кого-нибудь из жителей.

Оглядываясь по сторонам, человек этот заметил весьма странную фигуру, приближавшуюся к нему шагами. То был старик, без шляпы, в оборванном и измятом платье; на костлявом лице судорожно и дико блестели глубоко впалые глаза.

— Кто вы такой, милостивый государь, и с какой целью прибыли в мои владения? — нараспев произнес старик, останавливаясь перед туристом с видом величественным и мрачным.

Поняв, с кем имеет дело, путешественник вежливо ответил:

— Я ехал в Сарран, ваша милость, но мне — не сочтите за каламбур — не повезло. Возница мой получил вперед (к сожалению) деньги, отказался везти меня дальше по этим опасным местам и ускакал обратно, а я остался, как видите, в диком положении у пустого города. Я пришел сюда, в город, рассчитывал переночевать где-нибудь. Меня зовут Киль.

— Здесь никого нет,— мрачно сказал старик.— Здесь живет всего пять миллионов людей. Пойдем к ним! Мы пируем каждый день за золотыми столами!

Будучи не очень трусливого десятка, Киль, печально покачав головой, решил, что все-таки лучше ноче-

вать у сумасшедшего, но в теплом помещении, чем на улице. Они двинулись. Старик все время говорил о небесном огне, пирах, трупах и по временам дико кричал, призывая какого-то великана, который должен был помочь ему разрушить земной шар.

Поколесив по молчаливым переулкам, старик остановился перед подвальным окном, в котором горел свет.

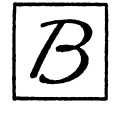
Старик ткнул ногой в незаметную с улицы маленькую дверь и ввел Киля в полуосвещенный подвал, где было несколько человек с беспомощным, тупым выражением лиц. Здесь были молодые девушки, юноши, старики и старухи. Некоторые сидели у стены, опустив головы; некоторые быстро ходили из угла в угол, бормоча непонятное; кто стоял, подняв глаза вверх; кто лежал, уткнувшись лицом в пол. Странные звуки, дикие выкрики вырывались из уст... Старик, приведший Киля, сказал:

— Вот мои подданные.

И тотчас забыл о госте.

Киль сел в углу, на солому, с ужасом убеждаясь, что все эти люди — безумные. Он понял, что во всем разрушенном городе не осталось никого, кто имел возможность убежать или умереть. Только эти. Какое потрясение должен был перенести их мозг, когда их близких и родственников убивали, мучили, насиловали на их глазах! И он здесь, один здоровый человек в городе сумасшедших! На мгновенье, на короткое, но роковое мгновенье жизнь показалась ему страшным сном, который необходимо оборвать. Он поднес револьвер к виску и спустил курок.

СЛОВО-УБИЙЦА



Италии, в Генуе, находилась, да находится и посейчас, типография некоего Джузеппе. С началом войны типография эта, раньше работавшая весьма вяло, так как у нее было мало заказов, стала поправляться делами. В ней стали печататься два уличных листка, что заставило хозяина, разумеется, обзавестись большим количеством шрифта, чем было у него до сих пор.

К тому времени в Германии стал ощущаться недостаток в металлах, а главным образом — в свинце

и меди. Чтобы добыть эти, столь необходимые для войны металлы — немецкие агенты и их подручные в разных странах взялись за все ухищрения, чтобы достать как можно больше меди и свинца. Во многих городах Европы, а в том числе и в Генуе, имелись у них подкупленные люди во всевозможных металлических предприятиях, в частности — и в типографиях, откуда эти люди крали свинцовый типографский шрифт и передавали его немецким скупщикам. Медь и свинец — отовсюду понемногу, но в общем — в значительных количествах переправлялись в Германию и шли на выделку патронов и пуль.

В типографии Джузеппе работал некто Филипп. Он был наборщик. Неумеренное употребление вина, привычка всегда и всюду искать наслаждений, а также наклонность к ночному препровождению времени свели его с неким Валентином Цейкрафтом. Цейкрафт предложил Филиппу украсть два пуда шрифта, за деньги, конечно, не говоря — зачем.

Поздно ночью Филипп пробрался в типографию и стал насыпать в мешок свободный шрифт. Свободного шрифта было мало. Тогда он, будучи пьян, стал рассыпать гранки набора одной книги; в одной из этих гранок, между прочим, была фраза: «любовь победит»...

Буквы этих слов так же, как многих других, рассыпались в руке Филиппа; свалив всю добычу в мешок, поспешил он в кабак к Цейкрафту, где пил с ним, получил деньги и на четвереньках пошел домой.

Вскоре после этого Филиппу захотелось пойти добровольцем во французскую армию — он хотя и был плохим человеком, но был неплохим патриотом! — и стал Филипп сражаться в волонтерском отряде Гарибальди против ненавистных Италии швабов.

Тем временем, путем таинственного соотношения вещей, мало понятного нашему разуму, но, должно быть,— необходимого для жизни — буквы слова «любовь» при переплавке шрифта на пули — не рассеялись частицами в общей массе свинца, а — случайно или не случайно — вошли целиком в состав одной пули, которой и было заряжено ружье одного баварца. Ружье это во время одной атаки было направлено в грудь Филиппу и, как полагается, произвело выстрел.

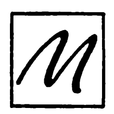
Пуля, вылитая из слова «любовь», пробила Филиппу сердце и остановилась в нем. Перестало биться, остановилось сердце. Никто из тех, кто продолжал сражаться

вокруг неподвижного тела Филиппа, не мог даже и подозревать, что, может быть, в этот час произошло самое странное явление с тех пор, как существует земля, ибо, когда же еще было видано, чтобы такое слово получило такое назначение? Полагаем, что никогда.

И Филипп не узнал этого.

УБИЙСТВО В РЫБНОЙ ЛАВКЕ

Действительное происшествие в городе Зурбагане, пережитое другом автора, учителем математики Пик-Миком.
Изложено А. С. Грином.



ои несчастья происходили от неумеренности во всем, от нерасчетливости в трате сил организма, могущего, как всякий бешено эксплуатируемый организм, давать лишь краткое повышенное состояние того или другого рода. Закон реакции способен испытать даже боров, дома валяющийся в грязи, а личность современного неврастеника — весьма хрупкая арфа для продолжительных бурных мелодий. Пользуясь иногда (очень редко) модными шаблонными выражениями, я могу сказать, что «устал жить»; слова эти не вполне искренни, но объясняют, в чем дело. Я стал замороженным судаком, духовной развалиной, или, что то же, акробатом со сломанными ногами. Однако желания не угасли и были (в силу бездействия) довольно разнообразны.

Весну прошлого года мне случилось провести в Зурбагане. Этот удивительно живой южный город увеличил несколько мой аппетит и улучшил дыхание, но лукавая апатичность сделалась уже, по-видимому, постоянной окраской моего духа, и я был бессилен пожелать даже прекращения этого состояния. Все существо мое пропиталось бесцветной томностью и бессодержательной задумчивостью. Я мог часами слушать разные пустяки, не проронив ни слова, или сидеть у окна с видом на море, зевая, как мельник в безветренный день.

Старушка, у которой я снял комнату, толстенькая и свежая, без единого пятнышка на ослепительной белизны переднике, без конца рассказывала мне о выгнанном ею из дома пьянице муже или семейных

делах соседей, в которых она открывала качества самого противоположного свойства: или ангельскую доброту, или же самое черное злодейство. Слушая болтовню этой полустарухи, полудамы, я часто по ее просьбе помогал ей мотать нитки, растягивая их на растопыренных пальцах. В конце концов я привык к этому глупому занятию,— моему бездействующему уму нравилось течение бесконечной нитки, обходящей вокруг клубка, здесь не над чем было думать и не о чем беспокоиться.

Однажды в жаркий полдень я дремал у окна над книгой, когда в полуотворенную дверь просунулась седая голова почтенной женщины.

— Ах, господин Пик-Мик! — сказала хозяйка, качая головой.— Вот уж скучно вам, как посмотрю. Не будете ли вы так любезны помочь мне с этой голубой шерстью?

— Это очень кстати,— шутливо заявил я,— идите, идите сюда.— Я воспрянул духом, как боевой конь.

Полезное занятие началось. Однако не успели мы смотать десяти саженей шерсти, как в прихожей залился звонок, и хозяйка встала.

— Вот и угли принесли! — вскричала она тоном полководца, бросающего резервы.— Я ему, этому негодяю, глаза выцарапаю. Каково это утром обходиться без углей, подумайте-ка, господин Пик-Мик!

Она отправилась, по своему образному выражению, «выцарапывать» глаза носильщику, а я положил шерсть на подоконник и закурил. Помню, я размышлял в это время о только что прочитанном описании Фарнезского Геркулеса в книге г-на Лабазейля, и то что последовало немедленно не имело и не могло иметь никакого отношения к данному состоянию моего ума.

Я услышал на каменном тротуаре под окном торопливый гул шагов группы людей, свернувших на нашу улицу из соседнего переулка. Я их не видел, они шли быстро и громко переговаривались. Голоса их звучали тревожно и возбужденно. Кто-то сказал: «Незадача вашему отцу, Крисс, помер он страшной смертью».— «Только попадись мне убийца! — вскричал, я полагаю, сын Крисса.— Я поступлю с ним, как жернов с мукой!» — «И вот,— подхватил третий,— надо же было снять лавку в таком глухом месте!» — «Кто же знал,— возразил второй,— угол Черногорской и Вишневого Сада всегда давал пользу. На рыбу там большой

спрос».— «Дар-бер-гур-бун-мум»... Шумели, уже неясно, голоса, удаляясь. На улице стало тихо.

Поспешные шаги, торопливый разговор, из которого было совершенно ясно, что на углу улиц Черногорской и Вишневого Сада недавно, вернее только что, произошло убийство, сильно разожгли мое любопытство, вспыхивающее за последнее время только от неожиданных резких толчков, подобных настоящему. Содержание разговора точно указывало жертву. Убили хозяина рыбной лавки, какого-то Крисса, и вот его сын спешил, надо думать, с товарищами к месту преступления, извещенный полицией о сем печальном событии. Я с удовольствием ощутил нестерпимое желание поглазеть на труп Крисса, вздохнуть атмосферой уличного возбуждения, толкаться в толпе зрителей, ахать и охать.

Стараясь не дать угаснуть этому редкому для меня проявлению интереса к человеческой жизни, я поспешно надел шляпу, взял свою трость с серебряным набалдашником, изображающим к у л а к, и быстро пошел на улицу мимо разгоряченной старушки, копавшейся с причитанием и бранчливостью в кошельке. Угольщик, видимо, сдал товар и ждал за него уплаты. Ни тот, ни другая, кажется, не заметили моего ухода.

Угол Черногорской и Вишневого Сада был действительно изрядно глухим местом, обретаясь среди пустырей, в самом конце гавани, населенном инвалидами, спившимися матросами, судовыми рабочими и мелкими огородниками. Имя «Вишневый Сад» было дано не иначе как в насмешку. Эта кривая улица изобиловала сорными травами и полуразрушенными заборами. Не лучше выглядела и Черногорская, выходя одним концом к безотрадному пейзажу свалок. За дальностью расстояния пришло мне в голову нанять фаэтон, но я почему-то не сделал этого. Шагая, шагая и шагая, появился я наконец на этом углу, где над фасадом одноэтажного дома виднелась черная от дождей вывеска с зелеными буквами, возвещавшими, что здесь «Рыбная торговля Крисса».

Двери лавчонки были открыты настежь, у распахнутых половинок двери стояли в полном порядке устричные корзины. На улице не было ни души. Великое разочарование испытал я, когда, подойдя к лавке, увидел спокойно сидящего внутри ее на табурете хозяина. В одной руке держа чашку с кусками вареной

рыбы, таскал он из этой посуды свободной рукой рыбье мясо, аппетитно совал в рот и аппетитно проглатывал, время от времени гоняя мух, стайками бунчавших над чашкой.

Решив, что разговор, слышанный мною под окном, был лишь интересной слуховой галлюцинацией, я, желая окончательно осветить положение, вошел в лавку. Хозяин, встав, выжидательно смотрел на меня. Произошел следующий диалог:

Я. Здравствуйте!

О н. Мое почтение, господин!

Я. Это лавка Крисса?

О н. Она самая, Криссова.

Я. Вы и есть — Крисс?

О н *(величаво)*. Я — Крисс.

Здесь со мной случился один из тех припадков рассеянности, благодаря которым я не раз попадал в странные положения. Я проникся духом этой рыбной лавки, некоторой яркостью ранее безразличных для меня впечатлений. Глубоко задумавшись, рассматривал я огромные столы, заваленные телами рыб. Тут были палтусы, форели, миноги, угри, камбала, сазаны, морские окуни и много пород, коим я не слыхал названия. Хвосты свешивались со столов, розоватые, белые и пятнистые брюха оканчивались разинутыми щелями жабр, спины отливали темно-зеленым золотом, червленым серебром, сталью и красной медью. Солнце, кидаясь в груды оперенных плавниками спин, мыло их чешую желтым светом, похожим на одуванчики. За головами самых темных, черных и огромных рыб в стенную щель лился более бледный, отраженный свет двора, и какой-то застывший, выпученный глаз в костлявой орбите маячил в этом свете, вспоминая, должно быть, давно угасший свет подводного мира.

Очарованный лавкой, я почувствовал зависть к Криссу. Мне страшно хотелось (хорошо и то, что я стал способен пожелать хоть таких пустяков), страшно хотелось быть Криссом, хозяином рыбной торговли, есть, как он, пальцами из глиняной чашки, рубить ослепительно широким ножом упругие рыбьи хвосты, пачкать чешуей руки и дышать этой причудливой, свежей атмосферой, полной запахов моря.

— Какой рыбы и сколько? — грубо спросил Крисс.

Я опомнился. Мой блуждающий взгляд, как видно,

разбудил в Криссе подозрительность. Всякий хозяин рыбной лавки имеет право знать, зачем пришел к нему ничего не говорящий, а лишь тупо и долго осматривающий товар человек. Может быть, Крисс видел во мне нищего, или переодетого санитарного чиновника, или вора.

— Крисс,— издалека начал я.— Бывали у вас когда-нибудь сильные капризы, такие — понимаете — сильные... такие...

— Что вам угодно наконец? — взревел он, подтягивая передник. Большая толстогубая голова Крисса склонилась, как у козла перед ударом рогами. Он близко подступил ко мне, выпятив грудь.— Идите-ка, молодец, проспитесь!

Я знал прекрасно, что Крисс, как лавочник, не мог говорить иначе, и в то же время сильно досадовал, что из этого примитивного цельного человека нельзя вытянуть другого Крисса, такого, который понял и оценил бы мое в конце концов весьма похвальное восхищение родом занятия, имеющего прямую связь с природой, что всегда ценно. Собираясь уйти, я только лишь начал объяснять, как мог популярнее — что лавка и товар мне очень понравились, как вдруг, не дослушав, приняв, может быть, мои слова за издевательство, Крисс сильно ударил меня по голове выше уха.

Я — человек смирный, однако, принимая во внимание обстоятельства дела — разочарование при виде живого Крисса, нелепость положения и сильную боль от мастерски направленного удара,— счел нужным ответить тем же. Я взмахнул тростью, Крисс бросился на меня, и увесистый металлический набалдашник моей палки резко хватил его в левую височную кость. Крисс постоял с внезапно остановившимся взглядом секунды три, всхлипнул и грохнулся на пол, тяжело проехав затылком по ножке стола.

Не зная — жив Крисс, мертв или же, как говорится, полумертв, я быстро выглянул на улицу, опасаясь свидетелей. Только вдали брела некая одинокая фигура, но и она шла не по направлению к лавке. Естественно, что я был сильно возбужден и расстроен; злобное оживление драки еще держало меня вне испуга за совершившееся; тем не менее я, удаляясь как мог быстрее, свернул окольными переулками к центру. На ходу мне пришло в голову, что теперь разговор под окном,

который я слышал — или мне показалось, что слышал — час назад,— что подобный разговор теперь никак нельзя было бы принять за галлюцинацию. Почему я слышал именно такой разговор, когда Крисс был совершенно здоров и неопровержимо жив? Что, если он лежит не оглушенный, а мертвый — к какому порядку сверхъестественного отнесу я в таком случае недавний мой слуховой бред? «Мы еще подумаем над этим»,— сказал я, пугаясь необычности происшедшего и свирепо колеся палкой по воздуху. Здесь бросилось мне в глаза, что палка лишена набалдашника; он, видимо, отлетел в момент удара. Странно, что это обстоятельство, могущее послужить уликой, скорее обрадовало, чем испугало меня, белый излом палочного конца выглядел вестью из мира реальности, доказательством, что я не сплю и не болен. Однако поравнявшись с невысоким забором, за коим шумел сад, я швырнул палку туда и с глухо тоскующим сердцем поспешил домой.

Когда я помогал старухе мотать шерсть, стул мой стоял у окна и теперь оставался там же; войдя в свою комнату, я почувствовал большую усталость, но сесть на этот стул мне было противно: я опасался его. Мне казалось, что у окна должно произойти нечто еще более тягостное и необъяснимое, чем совершившееся. Пока я стоял среди комнаты, в состоянии полного упадка сил и странной оторванности от всего в мире, как бы рассматривая этот мир в потайную щель,— вошла старушка. Неоконченный моток шерсти висел на ее руке. На ее расспросы, куда я ходил, я, кажется, пробормотал что-то про аптеку, забытый рецепт и, видя ее суетливое желание заняться мотанием шерсти,— сел, поборов мнительность, на стул к окну. Мне хотелось немудрых, механических действий, способных рассеять жуткий наплыв чувств. Я взял моток и стал отпускать нитку.

Тогда, и снова в полной тишине временно затихшей улицы, услышал я с ужасом и отвращением перед непостижимым гулкий, торопливый стук шагов кучки людей, проговоривших на ходу то же, что слышал я ранее, и с теми же интонациями, как повторенную пластинку граммофона: «Незадача вашему отцу, Крисс, помер он страшной смертью!» — «Только попадись мне убийца! Я поступлю с ним, как жернов с мукой!» — «И вот надо же было снять лавку в таком глухом

месте»...— «Кто же знал; угол Черногорской и Вишневого Сада всегда давал пользу. На рыбу там большой спрос». Дальнейший разговор, как ранее, слился в непроницаемый гул, и шаги стихли за поворотом.

— Вы слышали что-нибудь? — вскричал я, хватая старуху за руку.

Мой вид и, вероятно, бледность поразили старуху.

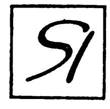
— Кого-то убили, кажется,— нерешительно сказала она,— что-то болтали сейчас под окном об этом; да наш город, как вы знаете, не из тихих, здесь на каждом шагу... Что с вами, о, что это с вами? — вдруг крикнула она,— вам дурно? — но я эти ее слова припомнил лишь через несколько минут, очнувшись от сильного головокружения, близкого к обмороку.

Вечерняя газета мало что нового принесла мне. Вот текст заметки: «Около трех часов дня в рыбной лавке, что на углу Черногорской и Вишневого Сада, убит рыбник Крисс. Мотивы преступления неизвестны. Деньги и товар целы. Стремительный удар нанесен в висок, по-видимому, стальным набалдашником палки; набалдашник этот, имеющий форму сжатого кулака, поднят тут же, предполагают, что он сломался в момент удара. Это массивный стальной предмет, весом около пяти восьмых фунта. Следствие производится.

А propos... Нам сообщают, что единственный сын Крисса, студент местного университета, узнав о смерти отца, пережил сильное нервное потрясение, осложнившееся интересным психическим эффектом. Именно: он говорил пользовавшему его доктору Паульсону (Площадь Процессий, 5), что, отправляясь с товарищами к месту печального происшествия, не в силах был отделаться от убеждения (впечатления), что некогда шел уже, в таком же состоянии духа и с той же печальной целью по тем же самым улицам. Явление это, довольно частое и испытанное каждым по какому-либо поводу, подробно разработано г. Паульсоном в его книге «Рефлексы сознания».

Я постарался, насколько мог, забыть об этой истории... Паульсон умело пристегнул свое имя к убийству. Это реклама. Приятно видеть в запутанной, таинственной сущности нашей жизни господина, отовсюду вылавливающего рубли.

ТАМ ИЛИ ТАМ



Я проснулся. Было очень тихо. Я лежал под чем-то теплым, закрывавшим меня с головой. Я медлил откинуть свое покрывало и осмотреться. Все произошло из-за виденного мной только что сна.

Сон был странно неуловим, как большинство тяжелых и крепких снов, но общее от него впечатление было такое, что я делал во сне нечто, очень важное и теперь, наяву. Кроме того, мне казалось, что я делал это нечто дома, в домашней обстановке, и что сейчас я тоже нахожусь дома; что стоит мне только открыть то неизвестное, что покрывает меня, как я увижу знакомые предметы, обои, стулья, свой письменный стол и все, к чему так привык за долгие годы обывательской, мирной жизни.

С другой стороны, рассудок твердил мне, что я нахожусь не дома, а в окопе, что покрыт я шинелью, а не одеялом и что вчерашняя перестрелка, пришедшая на память, должна убедить меня наконец в том, что я действительно на войне.

Эта диковинная нерешительность сонного еще сознания осложнялась тем, что воображение, ясно нарисовавшее домашнюю обстановку, задавало лукавый вопрос: «А не приснилось ли тебе, что ты на войне? Может быть, едва лишь ты откинешь это (одеяло?), как сразу увидишь прежде всего — ночной столик с медным подсвечником, книгой и папиросами, а затем — умывальник, комод и зеркало?»

Представление о войне и представление о домашней обстановке были одинаково живы. Я не знал — что из них сон, и что — действительность? Разум твердил, что я лежу у стенки окопа, под шинелью, а окрепшая иллюзия,— что лежу дома, на кровати, под одеялом.

Следовало просто встать и посмотреть вокруг — протереть глаза, как говорят в таких случаях. Я освободил голову. Мутный дневной свет блеснул в лицо, что-то черное и серое, в неясных очертаниях, показалось на мне и скрылось, так как в этот момент разорвалась надо мной первая неприятельская шрапнель и я потерял сознание.

Что шрапнель разорвалась, что я, перед этим, лежал полусонный, стараясь сообразить, где я — дома или в окопе,— это я *хорошо* помню. Далее же я ничего

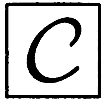
не помню вплоть до очень похожего на этот момента: я так же лежу с закрытой чем-то мягким и теплым головой, и не знаю, что это — одеяло или шинель? Я, по-видимому, спал и проснулся. Один раз я просыпаюсь так или второй раз? Я не могу решить этого. Мне кажется, что я в окопе, что стоит открыть глаза, как увижу я серые фигуры солдат, блиндаж, комья земли и небо. Но по другому ощущению — ощущению некоторого физического удобства — мне кажется, что я — дома.

Стоит открыть глаза, откинуть с головы это теплое (шинель? одеяло?) и все будет ясно.

Открываю. Я — дома: это не сон, я действительно дома; в кресле против меня спит, сидя, измученная долгим ночным уходом за мной, жена. Бужу ее. Она, плача, говорит, что выпросила меня из лазарета на квартиру, что я сильно ранен шрапнелью в голову, но поправляюсь, а раньше был без сознания.

Лежу и стараюсь решить: два раза была иллюзия недействительной обстановки или — раз? Не бред ли это был двойной, дома, во время болезни?

УЖАСНОЕ ЗРЕНИЕ



Слепой шел, ощупывая дорогу палкой и по временам останавливаясь, чтобы прислушаться к отдаленной пальбе. Удар за ударом, а иногда и по два и по три вместе, колыхались пушечные взрывы над линией перелесков и желтых полей, обвеянных голубыми тонами полудня, склоняющегося к вечеру. Слепого звали Акинф Крылицкий. Он ослеп давно и случайно; ослеп так:

Мальчиком пас он коров во время грозы; думая укрыться от дождя, Акинф подошел к большому осокорю, но в этот момент молния разрушила дерево и оглушила Крылицкого, он упал без сознания, а когда встал, то ничего не увидел, он был поражен нервной слепотой.

Теперь Акинфу было сорок лет, и он часто смертельно тосковал о потерянном зрении, впечатления которого почти стерлись в его памяти за такой долгий промежуток времени. Он шел в данный момент к своей деревне пешком из уездного города, за двадцать верст. Он не

нуждался в поводыре, так как дорога была знакома и не разветвлялась. Он шел и размышлял — оказалась ли уже его деревня в районе военных действий или еще нет. Акинф пробыл в городе четыре дня, побираясь; а жил он в деревне у брата.

Никто не попадался слепому по дороге, и это немало удивляло его; обыкновенно здесь проезжали возы и шли пешеходы.

Наконец, определив усталостью, что скоро он должен подойти к деревне, слепой почувствовал запах гари. Таким запахом, остывшим и, так сказать, холодным, пахнут обыкновенно старые лесные горные пустоши. Акинф, встревожившись, прибавил шагу. Ему сильно хотелось увидеть деревню, она, конечно, ничуть не изменилась с тех пор, когда он видел ее мальчиком, разве, что старые избы сменились новыми и тоже, в свою очередь, состарились. Гарью запахло сильнее.

«Не пожар ли? — подумал Акинф.— Не мы ли горим с братом, матка бозка?!»

Кругом было очень тихо, только вдали тявкали выстрелы орудий, и сердце у Акинфа сжалось. Тем временем спускался он по ложбинке к мостику над узким, глубоким оврагом. Привычной ногой ступил Акинф на воображаемое начало мостика и, задохнувшись от неожиданности,— полетел вниз, с высоты трех саженей, на глинистое дно оврага. Мостик был разрушен шальным снарядом, и Акинф, конечно, не знал этого.

Когда он очнулся, все тело его ныло и ломило от удара о землю. Руки и ноги были целы, в усах и разбитой губе запеклась кровь. Но не это обратило на себя его внимание: с удивлением и испугом, с сильным сердцебиением заметил он, что прежний черный мрак сменился туманным и красноватым. Тут же он увидел свои руки и понял, что зрение вернулось к нему. Оно вернулось от нового сильного нервного потрясения в момент падения — таким путем часто проходит нервная слепота.

Акинф с страхом и радостью выбрался из оврага и подошел к деревне. Он увидел ряд почерневших изгородей и груды черного пепла средь них — все, что осталось от когда-то бойкой деревеньки. Ни души человеческой, ни собаки не было в этом печальном месте. Деревня сгорела дотла, может быть — от снарядов.

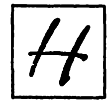
И тогда Акинф почувствовал, что снова ему застилает зрение, но на этот раз — слезами.

ПТИЦА КАМ-БУ

— Какой красивый петушок!
— Что вы?! Разве он несется?

Разговор экскурсантов

I



а самом маленьком острове группы Фасси-дениар, затерянной к северо-востоку от Новой Гвинеи, мне и корабельному повару Сурри довелось прожить три невероятно тяжелых месяца.

Мы, потерпев крушение, пристали к острову на утлом, предательски вертлявом плоте, одни-одинешеньки, так как остальной экипаж частью утонул, частью направился, захватив шлюпки, в другую сторону.

Дикари измучили нас. Их вид был смесью свирепого и смешного, что утомительно. Здоровенные губы, распяленные ракушками и медными пуговицами, отвислые уши, мохнатые, над жестокими глазами, брови, прически в виде башен, утыканных перьями, переднички и татуировка, копья и палицы — все это дышало ядом и убийством. Нас не покушались съесть, нас не били и не царапали.

Мы, только что выползшие на берег, мокрые, злые, испуганные, стояли в центре толпы, ожидая решения старшин племени, кричавших друг на друга с яростью прачек, не поделивших воды. Из пятого в десятое я понимал, о чем они говорят, и переводил туземные фразы Сурри. Тут выяснилось, что у дикаря Мах-Ках задавило упавшим деревом сразу двух жен, и Мах-Ках остался без рабочих рук. Он просил отдать меня с Сурри ему в рабы. За Мах-Каха стояли двое старшин, другие два поддерживали предложение пронырливого старика Тумбы, считавшего крайне выгодным продать нас в обмен на полдюжины женщин соседнему племени каннибалов для известного рода пиршества. Мах-Ках показался мне несколько симпатичнее Тумбы. С трудом подбирая слова, я крикнул:

— Выслушайте меня! Если вы продадите нас людоедам — мы сделаем себе горькое мясо. Никто не захочет нас есть. У вас отберут женщин обратно и сожгут ваши шалаши за мошенничество. Мах-Ках будет нас кормить, а мы будем для него работать.

— Как же вы сделаете горькое мясо? — недоверчиво зашипел Тумба.

— Растравим себе печенку,— мрачно сказал я,— воспоминанием о твоем лице.

Боязнь прогадать, опасение таинственных волшебств белых людей и та, существующая под всеми широтами синица, более интересная, чем журавль в небе, дали перевес Мах-Каху. Он с торжеством увел нас к своему логову.

II

Остров был прекрасен, как сон узника о свободе. В полдень он сиял и горел, подобно изумруду, окруженный голубым дымом моря, он бросал тени лесов в его прозрачную глубину. Вечером он благоухал весь, от почвы до листвы высоких деревьев, смешанные сильные запахи неотступно преследовали человека, подобно любовному томлению яркой мечты. Ночью ослепляющий мрак сверкал огнями таинственных насекомых, эти огни воображение легко представляло звездами, опустившимися к земле, так были они ярки, загадочны и бесчисленны. Иногда в фосфорическом луче их крался из мрака образ острого, серебристого листа и гас подобно призраку, уничтоженному сомнением. На таком острове жили невозможные дикари.

Мах-Ках давал нам весьма мало отдыха, еще меньше пищи, но очень много работы. С утра до захода солнца мы растирали круглыми камнями волокнистую сердцевину саговых деревьев, добывая муку; носили воду из отдаленного озера, копали ямы, назначение коих оставалось для нас неизвестным, плели циновки, долбили челноки и строили изгороди. Мах-Ках ничего не делал, лишь изредка, лениво таща лук, уходил в лес за птицей или молодым кенгуру. Разумеется, у нас отняли все, что уцелело от кораблекрушения: платки, ножи, трубки и компас.

Раз вечером, измученный работой, обросший бородой, полуголый и грустный Сурри затянул песню. В ней говорилось о далекой звезде, на которую смотрит женщина.

«О, если бы я была звездой»,— говорит она и получает в ответ: «звезд много, а любящих, как ты, совсем ничтожное число на земле. Будь со мной, будь вечно со мной, единственная моя звезда».

Неприхотливый пафос этой песенки звучал весьма выразительно среди подошедших слушать пение черномазых. Мах-Ках тоже вышел из хижины. Присев на корточки, он пожелал узнать, о чем говорит песня. Я объяснил, применяясь к его пониманию — как можно грубее и даже пошлее, но растопыренное лицо дикаря беспомощно пялило глаза. Мах-Ках не уловил сути.

— Твоя песня плохая! — сказал он Сурри и плюнул, и вся орда радостно заржала.— Мах-Ках поет песню лучше. Слушай Мах-Каха.

Он заткнул уши пальцами и, кривляясь, издал пронзительный затяжной вопль — эта «мелодия» в два или три тона была противна, как незаслуженная брань с пеной у рта.

Мах-Ках пел о том, как он ест, как охотится, как плывет на лодке, как бьет жену и как похваляется над врагом. Все это начиналось и кончалось припевом:

«Вот хорошо-то, вот-то хорошо!»

Я истерически хохотал. Сурри молчал, сжимая в кулаке камень. Мах-Ках кончил при общем одобрительном взвизгивании дикарей.

Нервы мои в последнее время были сильно расстроены. Я собрался уже уязвить своего хозяина какой-нибудь двусмысленной похвалой, как в это время один из стариков, сидевших на корточках вокруг нашего шалаша, вскочил и, протягивая руки к опушке леса, завопил неистовым голосом:

— Кам-Бу! Кам-Бу! Пощади нас, презренных твоих рабов!

Произошла суматоха. Дети, воины, женщины стремглав понеслись по лесу, где в зеленых развалах дикой листвы сверкало живописным пятном нечто радужное, трепещущее и великолепное.

III

От деревни до леса было шагов двести. Нас давно уже опередили все жители проклятого сельца, так как я и Сурри, не будучи сильно заинтересованы причиной волнения дикарей, шли тихо, рядом с одним хромым, который, ежеминутно спотыкаясь, в кратких перерывах между падениями на этом кочковатом лугу удовлетворял наше любопытство таким образом:

— Кам-Бу — дух. Очень сильный дух и ленивый.

Мы не любим его, только боимся. Просишь дождя — не дает дождя. Хочешь съесть ящерицу — не дает ящерицу. Просишь мальчика — не дает мальчика. Только кричит: «Пик-ку-ту-си, пик-ку-ту-си». Давно живет здесь. Чего просишь — ничего не дает, только хвостом вертит.

Полная практическая беспомощность такого духа была в глазах хромого ясным доказательством его вредоносных свойств, потому что он прибавил:

— Кам-Бу приводит с собой беду. Только это и делает.— И он закричал, помахивая костылем: — Кам-Бу, помилуй нас, не трогай, уходи от деревни!

Здесь надо заметить, что дикари, державшие нас в плену, стояли на самом низком умственном уровне. Их быт был, в сущности, их настоящим, весьма требовательным божеством, несмотря на всю скудость своего содержания. Традиционный полузвериный уклад жизни с его похоронными, родильными, пиршественными и иными обрядами, с определенным типом домашней утвари, оружия и построек, начинал и оканчивал собой все миросозерцание черномазых. Естественно, что такая ограниченность интересов требовала от вечного духа — Кам-Бу в данном случае — исключительно домашних услуг.

Я увидел наконец бесполезную красоту Кам-Бу. То была, надо полагать, редкая разновидность парадизки — райской птицы. Существо это, привыкшее не бояться людей, восседало на гроздьях листвы лавра, простиравшего свои живописные ветви далеко от кряжистого ствола.

В Кам-Бу удачно сочетались грация и энергия. Эта птица, величиной с большого павлина, непрерывно вытягивала и собирала шею, как бы пробивая маленькой головой невидимую тяжесть пространства. Круглые с оранжевым отливом глаза сияли детской беспечностью и кокетливым любопытством; иногда они покрывались пленкой, напоминая глаза турчанок, затененные кисеей. Римский клюв — если допустимо это определение в отношении птицы — был голубоватого цвета, что приятно гармонировало с общим золотистым тоном головки, украшенной нарядным султаном из красных и фиолетовых перьев. Огненно-золотые нити тянулись, начиная от головы, по жемчужно-синеватому оперению, огибая бледно-коричневатые крылья и сходясь у пышного хвоста, цветом и формой весьма похожего на

алую махровую розу. Из хвоста падали вниз три длинные, тонкие, как тесьма, пера, окрашенные тем непередаваемым смешением цветов и оттенков, какое ближе всего к точному впечатлению можно назвать радужным. Перья шевелились от ветра, напоминая шлейф знатной дамы, сверкающий под огнем люстр.

Туземцы, не подходя к дереву совсем близко, в двадцати шагах от него подпрыгивали и воздевали руки к ленивому божеству, уже скучавшему, вероятно, о неге и тени лесных глубин. Колдун ударил по пузатому барабану, неистово корчась, приплясывая и распевая нечто, действующее на нервы в худом смысле.

Вдруг Сурри схватил меня за плечо, повернул лицом к морю и тотчас предусмотрительно зажал мне рукой рот, опасаясь невольного вскрика. Я посмотрел в направлении, указанном Сурри, тотчас оценил зажатие рта и тотчас, инстинктом поняв всю опасность неумеренного внимания, быстро отвернулся от моря, но в глазах, как выжженная, стояла морская зыбь, с кораблем, обрамленным грудастыми парусами.

Моя рука и рука Сурри ломались в судорожном пожатии. Я молчал. Став спиной к морю, я старался одолеть виденное хладнокровием и сообразительностью.

Корабль двигался не далее как в миле от берега. Высокий конус парусов с вымпелами над ними плавно разрезал дымчатый туман моря; заходящее солнце золотило корабль, сверкая по ватерлинии и косым выпуклостям кливеров пламенными улыбками. Светило дня, раскрасневшееся от утомления, висело низко над горизонтом. Наступление мрака разрушало весь план спасения, следовало торопиться.

— Сурри,— сказал я,— сыграем ва-банк!

Он печально кивнул головой.

Я продолжал:

— Дикари заняты умилостивлением ленивца Кам-Бу. Попробуем уйти — сперва пятясь, затем побыстрее и носками вперед.

— Есть,— тихо сказал Сурри.

«Кам-Бу! — мысленно молился я, пока мы, бесшумно отделившись в тыл толпы, увеличивали расстояние между собой и лесом, припадая за кусты, ползя в траве или, согнувшись, перебегая открытые лужайки.— Кам-Бу! Ради бога не улетай! Удержи их расстроенное внимание блеском своих перьев! Не дай им, заметив наше намерение, убить нас!»

Птица сидела на прежнем месте. Она превратилась в маленькую далекую точку света и, когда прибой зашумел под моими ногами,— исчезла, поглощенная расстоянием. Столкнув первую попавшуюся пирогу, я и Сурри понеслись к недалекому, вскоре заметившему нас фрегату.

— Кам-Бу, сидящая на лавре! Дай уж им, так и быть, дождя, красной глины для горшков, мальчика и жирную ящерицу! Нам — только свободу!

Я уверен, что недавние мои господа, лишившиеся двух сильных белых рабов, вписали за это Кам-Бу еще раз на черную доску. Бесполезное божество претит им.

Милая спасительница Кам-Бу, сверкай бесполезно!

ВОЛШЕБНЫЙ ЭКРАН

Секретарь графа Браганца, Цезарь Фантисси получил от своего патрона пакет с документами чрезвычайной политической ценности. Это было в Берлине. За графом давно, как коршуны, следили немецкие шпионы, и Цезарь великолепно знал, что, получив пакет, он окажется в страшной опасности. Берлинские власти решили добыть этот пакет во что бы то ни стало. Как узнали шпионы, что документы переданы Цезарю — остается тайной; важно то, что, как только Цезарь вышел от графа, за ним тронулись в путь два человека, одетые вполне прилично, но с мрачными и жесткими лицами. Цезарь заметил их. Решившись скорее погибнуть, чем отдать в руки врагов секреты отечества, итальянец попытался скрыться от преследования. Заворачивая из улицы в улицу, из переулка в переулок, заходя в рестораны и кафе, он выжидал момент, когда внимание шпионов ослабеет, чтобы, улучив момент, скрыться. Но, как тени, сурово и неотступно двигались за ним роковые фигуры.

Здесь следует пояснить, почему берлинская полиция, имея возможность открыто арестовать Цезаря, не делала этого. В связи с арестом гласным или хотя бы прямым — неизбежно, в силу многих обстоятельств, должны были открыться некоторые, весьма щекотливые для кой-каких высокопоставленных особ, тайны. Поли-

ция решила овладеть документами тайно, не отступая в случае чего перед убийством.

Погоня за Цезарем началась в пять часов дня, и было уже восемь, когда, совершенно измученный, секретарь решил спрятать пакет в какое-либо надежное убежище. Он не мог сесть в поезд или пойти домой — в вагоне и в комнате его ждала крадущаяся, неумолимая смерть. Наверное, сотни глаз следили за каждым его движением, только он не мог заметить этого. Он был верной добычей, которую брали терпеливо измором, ожидая, когда жертва очутится где-либо в укромном, без свидетелей, уголке.

Еле стоя на ногах, замечая то впереди себя, то справа и слева, подозрительных субъектов, секретарь обратил внимание на небольшой, грязный, ярко освещенный кинематограф. У него мелькнула мысль: зайти в темное помещение зрительного зала и как-нибудь, смешавшись с толпой, оборвать след. Цезарь вошел и сел в третьем ряду от экрана.

В темноте, присмотревшись, он заметил, что неподалеку от него, громыхнув стулом, сел один из преследующих. Отчаяние овладело секретарем. На экране в это время струилась беззвучная горная река, вода плескалась у рамы. С секретарем в эту минуту случилось нечто вроде краткого умопомешательства, ему почудилось, что он не в кинематографе, а сидит на берегу настоящей реки и что к нему подкрадываются убийцы с целью овладеть пакетом.

Логичный в момент столь странного смешения чувств, секретарь, подумав: «Пусть документы лучше погибнут», достал пакет и бросил его в экран. Он ясно видел, или ему это показалось, что пакет скрылся в волнах, как бы то ни было — он исчез. Тотчас поднялся невообразимый шум, и сознание вернулось к Цезарю. Десятки шпионов полезли шарить вокруг экрана и в оркестре. Они ничего не нашли. Цезарь, решив, что все пропало, воспользовался замешательством и скрылся.

На улице он опомнился; вся ответственность за происшедшее представилась ему, и он бросился к кинематографу. Театрик уже закрывался. Цезарь пробежал мимо изумленных служащих к экрану и спрыгнул в оркестр.

Здесь он увидел драгоценный пакет мирно лежащим на полу, в углу. Цезарь схватил его, сунул в карман

и стрелой полетел на квартиру графа, с просьбой найти документам более верное убежище, чем карман Цезаря.

Почему же сыщики не нашли и не взяли пакет, раз он лежал на виду?

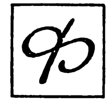
Цезарь, по ошибке, бросил в экран не тот пакет, а другой, ничего собой не представляющий особенного. Когда же он вернулся искать его, настоящий пакет выпал из кармана пальто и лег к ногам Цезаря. Он же считал это находкой.

ЗОЛОТОЙ ПРУД

Обращает драгоценности в угли.

Агриппа

I



уль выполз из шалаша на солнце. Лихорадка временно оставила его, но он отупел от слабости. Глаза Фуля слезились от солнца, бродяга чувствовал себя беспомощнее травяной блохи, упавшей на поверхность пруда. С бесцельной внимательностью следил он за насекомым. Блоха явно тонула, но не могла еще утонуть; вода была для крошечного ее тела слишком плотной средой. «С таким же успехом,— подумал Фуль,— мог бы человек попытаться утонуть в крутом студне».

Шалаш Фуля и его товарища по бегству из тюрьмы — Бильбоа — стоял на отвесном берегу маленького пруда, несомненно, искусственного происхождения. Пруд имел форму сильно растянутого ромба, на противоположном от шалаша берегу, в темных кустах, виднелись остатки стен, груды кирпичей и земли. Лес тесно подступил к самой воде, засорив воду у берегов валежником, листьями и лепестками цветов. Только середина пруда отражала золотой солнечный глаз, прозрачный и чистый; от небольшого пылающего кружка расходилась к берегам тень угрюмых, опрокинутых под водой деревьев. Водоросли темнили еще более прибрежную воду. Пруд был глубок, вода холодна и спокойна.

Утопающая блоха пробила наконец лапками воду и легла на нее брюхом.

«Бильбоа не охотник,— думал Фуль,— едва ли он принесет еду, но есть хочется ужасно, до тошноты. Ах, если бы у меня было немного сил!» Свесив голову над аршинным обрывом берега, Фуль вернулся к блохе. Она постепенно, барахтаясь, уползала от берега, и Фуль, чтобы не потерять ее из виду, напряг зрение. В том направлении, в каком смотрел он, водоросли были светлее и реже; в их чаще над дном мелькали, блестя, рыбы. Одна из них, неподвижно стоявшая у самых корней водорослей, заинтересовала Фуля неестественным изгибом спины, блестящей как медь; он вгляделся...

Сильные, зоркие глаза его, напряженно рассматривавшие перед тем маленькую точку блохи, освоились с игрой света и теней и легко различали уже в прозрачной, несмотря на трехсаженную глубину, воде край массивного золотого блюда, так похожего, было, на свернутую спину рыбы. Блюдо это лежало косо, нижняя половина его ушла в ил, а верхняя, приподымаясь, горела в одной точке ослепительным зерном блеска, напоминающего фиксацию зажигательного стекла. Фуль взялся рукой за сердце, и оно стукнуло как неожиданный выстрел, бросив к щекам кровь. С глубоким, переходящим в испуг изумлением смотрел Фуль на выступающую из подводных сумерек резьбу золотого блюда, пока не убедился, что точно видит драгоценный предмет. Он продолжал шарить глазами дальше и вскрикнул: везде, куда проникал взгляд, стояли или валялись на боку среди тонкой травы — кубки, тонкогорлые вазы, чаши и сосуды фантастической формы; золотые искры их, казалось, дышали и струились звездным потоком, меж ними сновали рыбы, переваливались черные раки, и улитки, подняв слепые рожки, ползали по их краям, осыпанным еле заметными в воде, выложенными прихотливым узором камнями.

Фуль разорвал воротник рубашки. Он встал, протягивая дрожащие руки к прозрачной могиле сокровища. От жары, слабости и потрясения у него закружилась голова; шатаясь, он стал раздеваться, отрывая пуговицы, не думая даже, выдержит ли его слабое тело глубокий нырок.

II

— Ты хочешь принять ванну? — сказал Бильбоа, проламываясь сквозь кусты. В одной руке он держал солдатское ружье, отнятое у конвоя в момент побега, другой тащил привязанную к палке небольшую дикую свинью.— Когда я был богат и свободен, я тоже принимал ванну каждый день перед завтраком. Вот свежие отбивные котлеты.

— Бильбоа! — сказал Фуль.— Что скажешь ты, если мы сможем теперь купить миллион отбивных котлет? А?

Каторжник уронил ружье. Потемневшие глаза Фуля ударили его внезапной тревогой; Фуль, стискивая руки, метался перед ним, дыша хрипло, как умирающий.

— Смотри же,— властно сказал Фуль,— смотри! — Он силой посадил Бильбоа рядом с собою на краю берега.— Смотри, здесь несколько пудов золота. Сначала останови взгляд на этом черном листке, где сломан камыш. Возьми на глаз четверть влево, к плавающей траве. Потом два фута вперед и вниз, под углом сорок пять градусов. Там, где блестит. Это полупудовая тарелка для твоих котлет.

Он говорил, не отрывая глаз от воды. Вся жажда неожиданного и чудесного, вскормленная долгими годами страданий, ожила в встревоженной душе Бильбоа. Он нырнул глазами по направлению, указанному Фулем, но еще ничего не видел.

— Ты бредишь! — сказал он.

— От блюда,— продолжал Фуль,— во все стороны разбросана золотая посуда. Вот, например, три... нет — четыре золотых кружки... одна смята; затем — маленькие тарелки... кувшин, обвитый золотой змеей, ларец с фигуркой на ящике... О Бильбоа! Неужели не видишь?

Бильбоа ответил не сразу. Золото, разбросанное в беспорядке, понемногу выступало из тени; он различал формы и линии, чувствовал вес каждой из этих вещей, и руки его в воображении гнулись уже под счастливой тяжестью.

— А! — крикнул Бильбоа, вскакивая.— Здесь царский буфет! Я тотчас же полезу за всем этим!

— Мы богаты,— сказал Фуль.

— Мы переедем на материк.

— И продадим!

— Бильбоа! — торжественно сказал Фуль.— Здесь более, чем богатство. Это выкуп от судьбы прошлому.

Бильбоа, сбросив одежду, разбежался и нырнул в пруд. Медное от загара и грязи тело его аркой блеснуло в воздухе, спокойная поверхность пруда, хлестнув брызгами, разбежалась волнистым кругом, и ноги пловца, сделав последний над водою толчок, скрылись.

III

Бильбоа пробыл на дне не больше минуты, но Фуль пережил ее как долгий, неопределенный промежуток времени, в течение которого можно разрыдаться от нетерпения. Нагнувшись, едва не падая в воду сам, Фуль гневно топал ногами, пытаясь рассмотреть что-либо в слепой ряби потревоженного пруда. Он, беглый арестант Фуль, был в эти мгновения, как десять лет назад,— барином, требующим всего, чего лишил его суд и позор. Семья, дом в цветах, холеные лошади, комфорт, тонкое белье, книга и почтительный круг знакомых снова возвращались к нему таинственным путем клада. Он думал, что теперь ничего не стоит, переменив имя, вернуть прежнюю жизнь.

Снова всплеснул пруд, и мокроволосая голова Бильбоа подскочила из глубины в воздух. Крайнее изнеможение от задержки дыхания выражало его лицо. Шумно вздохнув, подплыл он к берегу, гребя одной рукой; в другой же, которую он держал внизу, неясно блестело. С тягостным, неопределенным предчувствием следил Фуль за этим неровным блеском; молчание плывущего Бильбоа терзало его.

— Ну?! — тихо спросил Фуль.

Бильбоа в изнеможении ухватился свободной рукой за обрыв берега.

— Мы оба сошли с ума, Фуль,— проговорил он.— Там ничего нет. Когда я нырнул, блеск метался перед моими глазами, и я некоторое время тщетно ловил его. Ты знаешь, у меня одышка. Но я поймал все-таки. Это твои кандалы, Фуль, которые ты пять дней назад разбил камнем и швырнул в воду. Вот они.

К ногам Фуля упали, звякнув, отполированные годами длинные цепи. Он медленно отошел от них.

Бильбоа молча одевался. Он намеренно делал это, стоя спиной к товарищу, чтобы не видеть его лица.

Неосновательное возбуждение Бильбоа улеглось, и он, как человек практический по преимуществу, отдался уже привычным мыслям о том, сколько еще дней, для безопасности, следует просидеть в лесу и что делать с дикой свиньей: зажарить ли в золе ногу или, потратив полчаса, устроить блюдо изысканнее, например, котлеты.

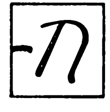
Фуль, чувствуя сильную лихорадочную слабость, лег навзничь. Он думал, что, не будь на противоположном берегу пруда безвестных развалин, он, может быть, не увидел бы и золота в собственных кандалах. Но эти развалины так убедительно шептали о преступном богатстве, спрятанном от чужих глаз.

— Я рад хоть, что она потонула наконец,— сказал Фуль.

— Кто?

— Блоха. Но ей все же было легче, чем сейчас мне.

НАСЛЕДСТВО ПИК-МИКА



осмотрим, что написал этот человек! Этот чудак!

— Держу пари, что здесь больше всего приходо-расходных цифр!

— Или черновиков от писем!

— Или альбомных стихотворений!

Такие и им подобные возгласы раздались в моей комнате, когда мы, друзья умершего три дня назад Пик-Мика, собрались за ярко освещенным столом. Все сгорали от нетерпения. В завещании, очень лаконичном и не возбудившем никаких споров, было сказано ясно: «Записки мои я, нижеподписавшийся, оставляю всем моим добрым приятелям, для совместного прочтения вслух. Если то, что собрано и записано мной на протяжении пятнадцати лет жизни, им придется по вкусу, то каждый из них должен почтить меня бутылкой вина, выпитой за свой счет и в неизменном присутствии моей собаки, пуделя Мика».

Это место из завещания вспомнили все, когда толстая, прошнурованная тетрадь была вытащена мной из бокового кармана. На столе ярко горели старинные канделябры, часы весело болтали маятником и шесть

заранее приготовленных бутылок вина светились темным золотом между кофейным прибором и ароматным паштетом.

Все закурили сигары, располагаясь как кому было удобнее. Читать должен был я. Прошла минута сосредоточенного молчания — время, необходимое для того, чтобы откашляться, провести рукой по волосам и придать лицу строгое выражение, не допускающее перебиваний и шуток.

Я развернул тетрадь и громко прочел заглавие первого происшествия, описанного нашим милым покойником. И в тот же момент легкая, как туман, задумчивая фигура Пик-Мика в длинном, наглухо застегнутом сюртуке вышла и села за стол.

НОЧНАЯ ПРОГУЛКА

День отвратителен, не стоит говорить о нем; поговорим лучше о ночи. Все, кто встает рано, любуясь восходом солнца, заслуживают снисхождения, не больше; глупцы, они меняют на сомнительное золото дня настоящий черный алмаз ночи. Отсутствие света пугает их; проснувшись в темноте, они зажигают свечу, как будто могут увидеть иное, чем днем. Иное, чем стены, знакомая обстановка, графин с водой и часы. Если им нужно выпить немного валериановых капель,— это еще извинительно. Но бояться, что не увидишь давно знакомое,— есть ли смысл в этом?

Всегда пропасть — мглистая, синяя, серебряная и черная — ночь. Царство тревожных душ! Простор смятению! Невыплаканные слезы о красоте! Нагие сердца, сияющие отвратительным блеском, тусклые взоры убийц, причудливые и прелестные сны, силуэты, намеченные карандашом мрака; рай, брошенный в грязь разгула, огромный кусок земли, спящий от утомления; вы — бесценные россыпи, материал для улыбок, источник чистосердечного веселья, потому что, клянусь хорошо вычищенными ботинками, я смеялся как следует только один раз и — ночью.

Нас было двое. Тот, о котором говорят о н, спокойный, одетый изящнее придворного кавалера, хранил молчание. Я развлекал его. Новости, сплетни дня, забавные анекдоты падали с моих губ в его лакированную душу безостановочно. И тем не менее он был недо-

волен. Он хотел впечатлений пряных, эксцессов, смеха и удовольствия.

Пройдя мост, мы остановились против витрины ювелира. Электричество затопляло разноцветный град брильянтов, застывших, как лед, в бархатных и атласных футлярах. Он долго смотрел на них, мысленно оценивая каждую штуку и внутренне облизываясь. И тихо сказал:

— Конечно, это — продажная человеческая душа. Крупнее — дороже.

Я стал смеяться, уверяя, что ничего подобного. Брильянты ввозятся преимущественно из Африки, их обделывают в гранильнях и шлифовальнях, потом скупают. Но он продолжал как духовное лицо, печальным и строгим голосом:

— Да, да, можно провести полную параллель. Боже мой, если бы вы знали, как тонко я чувствую все окружающее меня. Но идем дальше, дальше от этой гробницы слез.

Я чувствовал, что начинаются колики, но благоразумно удержался от смеха. Это печальное человеческое животное тащило меня по тротуару от витрины к витрине, пока не остановилось перед решеткой гастрономического магазина. Консервы и прочая снедь дремали в сумраке. Он тихо пробормотал:

— Немножко усилия, немножко воображения, и это стекло покажет нам чудеса. Эти сельди и шпроты,— вернее, трупы их — не воскрешают ли они океан, свою родину, подводный мир, чудеса сказок? А эти вульгарные телячьи ножки — зелень лугов, фермы с красными крышами, загорелые лица крестьян, картины голландских живописцев, где хочется расцеловать коров, так они живы и энергичны.

Судорога перекосила мое лицо. Дрожа от скованного волей смеха, я выговорил:

— Не то! Не то!

— Да,— подтвердил он с видом человека, понимающего с первого слова мысли собеседника,— вы правы. Не то! Здесь что-то иное, быть может, думы о смерти. Я говорю не о гастрономической смерти, но на меня каждый остаток живого существа производит сложное впечатление.

Асфальт ясно отражал частые звуки шагов; шла девушка, одна из несчастных. Все нахальство, расточаемое на улицах, светилось в ее глазах, подрисован-

ных тушью. Она была еще довольно свежа, стройна и поэтому имела естественное право заговаривать с незнакомыми.

— Мужчина, угости папироской! — сказала маленькая блудница.

Он внимательно посмотрел на ее лицо и вытащил портсигар.

— Конечно,— заговорил он, делаясь недоступным,— вы хотите не одну только папиросу. Вам хочется, чтобы я взял вас с собой в ресторан, заказал ужин, вино и заплатил вам десять рублей. Но это совершенно немыслимо, и вот почему. Во-первых, я боюсь заразиться, а во-вторых, мне недостаточно этого хочется. Что же касается папиросы — вот она, это финляндская папироса, десять копеек десяток. Видите, я говорю с вами вежливо, ничем не подчеркивая разницы нашего положения. Вы проститутка, живете скверной, уродливой жизнью и умрете в нищете, в больнице, или избитая насмерть, или сгнившая заживо. Я же человек общества, у меня есть умная, благородная, чистая жена и нервная интеллектуальная жизнь; кроме того, я человек обеспеченный. Жизнь без контрастов неинтересна, но все же ужасно, что есть проституция. Итак, вот папироса, дитя мое; смотрите — я сам зажигаю вам спичку. Я поступил хорошо.

Он взволнованно замолчал, боясь растрогаться. Девушка торопливо шла дальше, шаги ее падали в тишину уверенным, жестким звуком.

— Я вас презираю,— вдруг сказал он, выпуская клуб дыма.— Не знаю хорошенько за что, но мне кажется, что в вас есть что-то достойное презрения. В вас, вероятно, нет тех пропастей и глубин, которые есть во мне. Вы ограниченны, это подсказывает мне наблюдение. Вы мелки, не далее как вчера вы торговались с извозчиком. Вы — мелкая человеческая дрянь, а я — человек.

— Ха-ха-ха! — разразился я так, что он подскочил на два фута.—Хи-хи-хи-хи-хи! Хе-хе-хе-хе! Хо-хо-хо-хо!

— Хо-хо! — сказал мрак.

Я плакал от смеха. Я бил себя в грудь и призывал бога в свидетели моего веселья. Я говорил себе: сосчитаю до десяти и остановлюсь, но безумный хохот тряс мое тело, как ветер — иву.

Он сдержанно пожал плечами и рассердился.

— Послушайте, это неприлично. Смотрите, прохо-

жие остановились и показывают на вас пальцами. Глаза их делаются круглыми, как орехи. Уйдемте!

— Я люблю вас! — стонал я, ползая на коленях.— Позвольте мне поцеловать ваши ноги! Солнце мое!

Он не слушал. Он презрительно отвергал мою любовь, так же, как отверг бы ненависть. Он был величествен. Он был прекрасен. Он смотрел в глаза мраку, призывая восход, жалкую струю мутного света, убийцу ночи.

Тогда я убил его широким каталанским ножом. Но он воскрес прежде, чем высохла кровь на лезвии, и высокомерно спросил:

— Чем могу служить?

Изумленный, я стал душить его, стискивая пальцами тугие воротнички, а он тихо и вежливо улыбался. Тогда пришла моя очередь рассердиться.

— Пропадай, черт с тобой! — закричал я.— Брильянты! Телячьи ножки! Хо-хо-хо-хо-хо-хо!

Он повернулся три раза, сделал книксен и вдруг расплылся в широчайшей сладкой улыбке. Она дрожала в воздухе, черная, как лицо негра. Потом просветлела, тронула крыши и купола церквей розоватыми углами губ, опустилась бледным туманом и проглотила город.

ИНТЕРМЕДИЯ

Я человек ленивый и, для того чтобы раскачаться записать что-нибудь, должен пережить или услышать настоящее событие. Каждый понимает это слово посвоему; я предпочитаю означать им все, что мне нравится. С этой и, по-моему, единственно правильной точки зрения, хороший обед — событие. Точно так же я назову событием встречу с человеком, одетым в красное с головы до ног. Это было бы ново, мило, а значит, и занимательно.

В один из осенних вечеров я вышел на перекресток двух плохо освещенных, грязных улиц, населенных рабочими и жуликами. Я не знал, зачем и куда иду, мне просто хотелось двигаться. Деревья чахоточного бульвара сонно чернели у фонарей. Жидкий свет окон пестрил тьму; пустынные тротуары напоминали заброшенные дороги. Сырой воздух холодил щеки, в переулках и под арками ворот скользили беззвучные силуэты. Вдали, над вокзалом сиял белым пламенем электрический шар;

одинокий глаз тьмы, мертвый свет, придуманный человеком.

Ничто не нарушало печали и оцепенения ночи; жители квартала сидели за гнилыми стенами; одиночество бродяг для них было роскошью; они уважали людей, имеющих собственные кровати. Я шел, покуривая и мурлыкая. Мне было хорошо; день, поэзия инфузорий, умер на западе в семь часов вечера. Я похоронил его, я справлял его тризну прогулкой и легкомыслием. Ночь — царственное наследство дня, стотысячный чулок скряги, умершего с голода,— я люблю твой черный костюм джентльмена и презираю базарную пестроту.

Вы, знающие меня, простите это маленькое, невольное отступление. Я шел минут пять по тротуару и вышел на перекресток. Здесь неподвижно и деловито стояла женщина, держа в руках большой черный предмет. Посмотрев на нее, я тронулся дальше и оглянулся. Она продолжала стоять. Я остановился, вынул сигару; не торопясь закурил, прислонился к соседней стенке и две-три минуты дымил как дымовая труба. Она стояла.

И я побился об заклад сам с собой, что не уйду раньше ее. Моросил дождь, взрывы ветра проносились по улице. Она все стояла, терпеливо и молча. Рядом с ней чернела пустая скамейка; она не садилась. Тогда я бросил сигару и подошел к этой чудачке, одетой в сильно поношенное платье; с грязной измятой шляпы ее текла вода. Бледное, решительное лицо, и глаза полные страха. Свободной рукой она сделала движение, как бы отстраняя меня. Обдумав первый вопрос, я приступил к делу.

— Сударыня,— сказал я,— не знаете ли вы дороги к Новому рынку? Я только что приехал и не имею никакого представления о расположении города.

Дрожа и заикаясь, она выговорила:

— Налево... затем... прямо... затем...

— Хорошо, благодарю вас. Какой дождь, а?

— Да... дождь...

— Ну, что же,— сказал я, начиная терять терпение,— вы сами-то не заблудились, милая?

В ответ на это можно было ожидать чего угодно, и я заранее приготовился к какой-нибудь дерзости. Она вправе была послать меня к черту или попросить оставить ее в покое. Но она молчала. Лицо ее изменилось до неузнаваемости, губы тряслись; холодный, тоскливый

ужас пылал в глазах, устремленных на меня с тупой покорностью животного, ожидающего удара.

Неприятное ощущение пронизало меня до корней волос. Я терялся, я начинал дрожать сам. Вдруг она сказала:

— Я продаю петуха.

Машинально, не обратив внимания на странность этого заявления, я спросил:

— Петуха? Где же он?

Женщина подняла руки. Действительно у нее был петух, связанный, обмотанный плотной сеткой. Я потрогал его рукой, теплота птицы убедила меня. Это был настоящий, живой петух.

Пораженный, смущенный, теряясь в соображениях, я силился улыбнуться. Я не знал, что сказать. Мне казалось, что со мной шутят. Я думал, что сплю. Я готов был вспылить и выругаться или купить этого петуха. Один момент мне пришло в голову попросить извинения и уйти.

Вдруг совершенно ясная, неоспоримая истина положения поставила меня на ноги. Роль сатаны не хуже всех остальных, посмотрим. Эта женщина продает петуха, купим его дороже.

И я заявил:

— Петух мне нравится. Я даю вам за него десять рублей.

— Нет,— сказала испуганная женщина.— Один рубль.

— Может быть, вы возьмете сто? Сто новеньких, тяжелых рублей, подумайте хорошенько. Вы наймете чистенькую, уютную квартирку, купите стулья, горшки с душистым горошком, комод, новое платье себе и праздничный костюм мужу. Потом вы найдете место. У вас будет все готовое, вы не будете откладывать жалованья на обзаведение домашним хозяйством. Кроме того, вы пойдете в ближайшее воскресение в театр, где играет музыка и показывают разные смешные и трогательные вещи. Разве все это плохо?

— Нет,— выкрикнула она,— ни за что, ни за какие блага в мире! Один рубль.

— Позвольте,— продолжал я,— мы можем сойтись иначе. Я дам вам тысячу.

Она вздохнула и отрицательно покачала головой. Какие дикие образы толпились в ее мозгу? Она была жалка и страшна, крупный пот стекал по ее щекам;

вся во власти овладевших ею представлений, она видела только одно, загадочную серебряную монету, и выдерживала битву, шатаясь от слабости. Я набавлял цену, увлекаясь сам; я сыпал тысячами.

— Двадцать тысяч,— хотите?

— Нет.

— Тридцать.

— Нет.

— Вы заблуждаетесь. Вы отказываетесь от счастья. Каменный трехэтажный дом, картины, дорогие цветы, паркет, рояль лучшей фабрики, собственный экипаж, лошади.

— Нет.

— Я дам вам сколько хотите. Вы будете в состоянии пить вино — ценою на вес золота; земля превратится в рай, самые лакомые, дорогие кушанья будут ожидать вашего выбора, ваш каприз будет законом, желание — действительностью, слово — могуществом. Глетчеры, вулканы, острова тропиков, льды Полярного круга, средневековые города, развалины Греции — этого вы в грош не ставите? У вас будут дворцы, слышите, вы, жертва клопов и голода? Дворцы! Самые настоящие. Вы можете их украсить, как вам угодно.

Но она упорно мотала головой и, хрипло, задыхаясь от волнения, твердила, как помешанная:

— Рубль. Рубль.

— Ну, что же,— сказал я, стараясь придать голосу ироническую беспечность,— я умываю руки. Вы хотите непременно рубль — нате. Только вашего петуха я не возьму. Он стар и, конечно, тверд, как подошва. Зажарьте его и скушайте за мое здоровье.

Я вытащил из жилетного кармана пять двадцатикопеечных монет. Она отшатнулась, неожиданность лишила ее всякой опоры. Беспомощная победительница умоляюще смотрела на меня, она хотела р у б л ь.

— Что же вы? — спросил я.— Вот рубль.

— О,— простонала она.— Не так, сударь, не так. Серебряный, неразменный.

— Таких нет,— возразил я,— берите, что дают. Жалею, от души жалею, что я не черт. Я — Пик-Мик. Поняли? Прощайте. Если вам будет невтерпеж, купите на последние деньги связку старых ключей и действуйте. Или, быть может, вы желаете честно умереть с голода? Дело ваше. Посмотрите на петуха. Он смотрит на вас с глубоким отчаянием. Для кого же, как не для вас, кри-

чит он три раза в ночь и последний раз — на рассвете? Подумайте только, как сладко спят на рассвете все, охраняющие свое добро.

Я раскланялся и ушел. Дома мне долго не удавалось заснуть; беспокойные уродливые кошмары толпились вокруг кровати; стук маятника гулко разносился в пустых комнатах. То бодрствующий, то погруженный в тяжелое забытье, я лежал как пласт, и ночь, казалось, упорно не хотела принести мне успокоение.

Окно в спальню было отворено. Дерзкий получеловеческий голос поднял меня с кровати; протирая отяжелевшие глаза, я подошел к окну. Грязное белье тумана заволакивало серые силуэты крыш; брезжил рассвет. Осенняя кровь солнца расплывалась на горизонте, резкий холод освежал легкие. Снова крик простуженного человека взвился над городом; это на соседней ферме упражнялись петухи, перебивая друг друга; в их голосах чувствовались тепло курятника и необъяснимая, сонная тревога. Одинокие, сгорбленные фигуры переходили улицу; как мыши, они скользили вдоль стен и проваливались.

Утром, пробегая газету, я нашел несколько сообщений, извещавших о похищении собственности. Моя случайная ночная приятельница, не была ли и ты действующим лицом? Если так, то ты не ошиблась, и я был сатаной на час, потому что где же уверенность, что все мы не маленькие черти, мы, строящие неумолимо логические заключения?

НА АМЕРИКАНСКИХ ГОРАХ

— Я очень люблю сильные ощущения,— сказал мне под искусственной пальмой кафешантана человек с проседью. Он сильно жестикулировал. Я никогда не видел человека с таким разнообразием жестов. Его руки, пальцы, плечи, брови и даже уши приходили в движение при каждом слове. Прежде чем сказать что-либо, он разыгрывал целую мимическую сцену, выразительно блестя впалыми глазами.

Я был страшно недоволен его обществом. Нервные люди стоили мне полжизни. Однако, подсев сам, он не думал раскланяться и уйти.

В это время, то есть когда я размышлял о смысле существования человека с проседью, заиграла музыка.

Военный, кровожадный марш сделал меня на десять минут поручиком фантастического полка, гуляющего по аллеям сада в цветных шляпах, смокингах и мундирах. Мой новый знакомый барабанил пальцами по столу. Я сказал:

— Если вы сядете вон в ту вагонетку, которая на шестиэтажной высоте головокружительно звенит рельсами, то испытаете те глубокие ощущения, которые вам угодно назвать сильными.

— Пожалуй,— согласился он.— С вами?

— Все равно.

— Я был офицером, играл в кукушку,— заметил он, довольно смеясь.

— Это хорошо,— сказал я.

— Я также тонул три раза.

— Совсем недурно.

— Был ранен во время военных действий.

— Какая прелесть!

Он больше ничего не сообщил мне, но я понял, что этот человек любит тонуть, быть раненым и стрелять из-за угла в темноте, играя в кукушку. Именно эти оригинальные наклонности и были причиной гибели человека с проседью.

Мы подошли к кассе. Над головой нашей, в свете электрических лун, в ущельях страшной крутизны, сделанных из цемента и железа, мелькали, взвиваясь и падая, вагонетки, переполненные народом. Сплошной заунывный визг женщин, напоминающий предсмертные вопли тонущих лошадей, оглашал сад.

— Женщины трусливы,— сентенциозно заметил человек с проседью.

Мы сели. Он стал курить, нервно пощипывая бородку, оглядываясь и вздыхая. За моей спиной, хихикнув, взвизгнула барышня.

Мы тронулись сначала тихо, затем быстрее, и через несколько секунд три-четыре сорванных ветром шляпы, пролетев мимо меня, покатились в глубину грота.

Нас окружила темнота, затем, сделав крутой на светлом повороте скачок, вагонетка стремительно полетела вниз. Подлое ощущение холода в спине и остановка дыхания заняли меня на пять-шесть секунд, пока продолжалось падение; после этого я по такому же крутому склону птицей взлетел на вершину горы, тяжко вздохнул и, похолодев, снова камнем полетел во тьму, придерживаясь руками за сидение. Это неприятное раз-

влечение повторилось два раза, после чего, отдохнув в медленном кружении на краю обрыва, вагонетка помчалась с быстротой пули, доставляя мне те же самые ненужные болезненные впечатления полной беспомощности и неизвестности,— выкинет меня или я усижу до конца, встав пьяным от головокружения.

Повернув голову, я смотрел на человека с проседью. Широко открытые глаза его остановились на мне с выражением недоумения, какое свойственно внезапно получившему удар человеку.

— Я сейчас умру,— хрипло сказал он,— сердце...

— Порок?

— Да.

— Сколько лет?

— Четыре.

— А завещание?

— Нет завещания,— сердито прокричал он,— у меня кролики.

Почувствовав жалость, я крикнул:

— Остановите.

Услышать проводнику что-либо в грохоте цементного тоннеля было немыслимо. Мой спутник сказал:

— Отлегло; на всякий случай...

— Конечно.

— Мой адрес.

Я взял визитную карточку. Он, схватившись за грудь, продолжал выкрикивать испуганным голосом:

— Я развожу кроликов.

— Пушистые зверьки,— пробормотал я.

— Кроликов калифорнийских перевести на другую ферму.

— Слушаюсь.

— Кроликов кентерберийских...

— Запомнил.

— Кроликов австралийских...

— Понимаю.

— Кроликов бельгийских...

— Слышу.

— Кроликов австрийских...

— Ясно.

— Этих кроликов не продавать,— застонал он, сгибаясь.

— Будет передано,— внимательно сказал я.

— Кроликов иоркширской породы кормить смесью.

— Хорошо.

— Венгерских кочерыжками, пять пучков.

— Отлично.

— Нет, я не умру,— сказал он, отдуваясь, и мы снова ринулись в темноту.— Нет, умру.

Секунд пять мы молчали. Вагонетка взлетела на самую вершину дьявольского сооружения, а затем, почти отделясь от рельс, повалилась к мелькающим внизу огням сада.

— Умираю! — крикнул человек с проседью.— Скажите управляющему... что мои последние слова... чтобы он кроликов моих... есть не смел!

Он поднял руки, брови, помотал головой и свалился к моим ногам.

Еще несколько секунд продолжалась бешеная игра вагонетки, огненные кролики прыгали в моих глазах, и наконец все кончилось.

Я встал, пошатываясь. Толпа народа собралась вокруг мертвого тела, и шум ночного веселья перешел в похоронную тишину. Я же ушел, думая о кроликах. Кончилась прекрасная, содержательная жизнь, а вместе с ней и благополучие — как их... этих... кентерберийских...

СОБЫТИЕ

Я люблю грязь кабаков, потные физиономии пьяниц, треснувшие блюда с подгнившими бутербродами, бульканье алкоголя, визг непотребных девок, наготу ничем не прикрашенных желудка и похоти, толпу у стойки, чахоточный граммофон и тусклый свет газа. Часто, возвращаясь со службы, изящно одетый господин с портфелем под мышкой,— я захожу в какой-нибудь ревущий пьяными голосами притон и выпиваю водки на гривенник из толстого граненого стаканчика, захватанного мужицкими пальцами.

Я любитель контрастов. Грязная человеческая пестрота приводит меня в неподдельное восхищение, истинная природа человека становится здесь яснее, чем там, где привычка не чавкать за обедом дает право на звание культурного человека. Наше скучное общество, тщательно скрывающее от самого себя свою настоящую сущность, могло бы многому поучиться у наивного цинизма продажных женщин и жуликов. В среде, далекой от кодекса нравственных и прочих приличий, чувствует-

ся веяние элементарной животной правды: есть, пить и любить,— нечто неопровержимое, но для некоторых здоровенных, краснощеких господ еще нуждающееся в доказательствах, потому что они опились, объелись и перелюбили.

Неделю тому назад в двенадцатом часу ночи я возвращался домой. Пустые улицы дышали осенним холодом, мрак скупо блестел точками фонарей, и мне было грустно. Я рассуждал о себе. Я приходил к заключению, что моя жизнь складывается не из событий, а из дней. Событий — потрясающих, счастливых, страшных, веселых — не было. Если сравнить мою жизнь с обеденным столом, то на нем никогда не появлялись цветы, никогда не загоралась скатерть, не разбивалась посуда, не просыпалась соль. Ничего. Брякание ложек. А дней много, число 365, умноженное на 40.

Я становился смешным в своих глазах и внутренне кипятился. Лицо мое приняло желчное выражение. Меня называли угрюмым. Я тщетно старался создавать события. Пять лет назад я собирал марки; все разновидности их достались мне чрезвычайно легко, кроме одной — Гвиана 79 года. Рисунок этого почтового знака, виденный мною в одном из специальных журналов, был фантастичен и великолепен, но из всех моих поисков не вышло *события*. Марки я не нашел и сжег альбом. Потом, с течением времени, симпатии мои перешли на птиц. Но синицы, о которой я мечтал три года, синицы, способной петь сорок секунд, не позволил приобрести мой карман. Я рассказываю это в качестве примера поисков за *событием*. Грустное зрелище представляет человек, похожий на тележку, поставленную на рельсы. Кем придумано выражение «как сыр в масле» — идеал безмятежного прозябания? Автор его был, вероятно, крайне несчастное существо — молочный фермер.

Я шел, светились кабачки. Там было вино, жидкость, способная превращать грусть простую — в грусть сладкую и даже (особенность человека) — самодовольную. Быть может, пьяный калека не без тайного удовольствия сознает свои индивидуальные особенности. Там, где гений говорит: «я — гений», калека может сказать с достоинством: «я — калека». До некоторой степени вино уравнивает людей; человек, от которого пахнет водкой, счастлив прежде всего удесятеренным сознанием самого себя. В наивысшем градусе опьянения рука

желания не достает до потолка счастья на один сантиметр.

Итак, я зашел, и огненная жидкость наполнила мой желудок. Было светло, шумно; оркестрион играл прелестную арию Травиаты, похожую на тихий поцелуй женщины, или пейзаж, с которым вы связаны отдаленными, волнующими воспоминаниями. К моему столику подсел матрос, несколько пьянее меня; он спросил закурить. Я небрежно протянул ему выхоленную руку с зажженной спичкой. Он икнул, с шумом выпустил воздух и сказал:

— Д-да...

— Да,— повторил я.— Да, милый друг, да.

Какая-то упорная мысль преследовала его. Человек, сказавший «да» самому себе, отягощен кипением мыслей; это — кряхтение нагруженной души. Я молчал, он осклабился, повторяя:

— Д-да. Д-да.

Из дальнейшего выяснилось, что человек этот проломил жене голову утюгом. Странный способ выражения супружеской нежности! Но это несомненно была нежность, потому что ряд сбивчивых фраз этого господина с фотографической точностью нарисовал мне его портрет. Он был м о р ж (из зоологии известно, что в припадке нежности морж бьет самку клыками по голове) и «по-моржовски» обходился с супругой. Во время разговора я пил подлую смесь лимонада с английской горькой. Он сказал:

— Д-да.

Я, выведенный из терпения, не противоречил. Наконец он стал разгружаться.

— Видите ли,— прохрипел он,— я не того... д-да... Она, надо вам сказать, рыжая. Я люблю ее больше, чем «Муравья», хотя, клянусь дедушкой сатаны, посмотрели бы вы на «Муравья» в галсе — красота, почище военного корабля. И вот я сидел... и она сидела... того... и у меня в душе кипит настоящий вар. Такая она милая, господин, что взял бы да раздавил. Она говорит: «Чего ты?» — «Люблю я тебя, говорю, оттого и реву».— «Брось, говорит, миленький, ты, говорит, того... самый мне дорогой». От этих слов я не знал, что делать. Слов у меня... того... таких нужных нет... понимаете? А сердце рвется... вот, как полная бочка всхлипывает. Сидел я, сидел... слезы у нас того... у обоих... Такая меня тоска взяла, не знаю, что делать. Утюг

лежал на столе. Впал я в полное бешенство. Ударил ее: Она говорит: «Ты с ума сошел?» Кровь и все такое. Того... видите ли, я не был пьян, то есть ни-ни. Да.

Конечно, тросы и якоря отучили моржа выражать свои чувства несколько деликатнее. Ему нужен был выход; человек, охваченный пламенем, не всегда ищет дверей, он вспоминает и об окошках. Как бы то ни было, я почувствовал к моржу уважение, смешанное с завистью. Любовь, напоминающая новеллы, и утюг — это событие.

— Да,— сказал я, барабаня пальцами по столу.— Что такое бегучий такелаж?

К моему удивлению, собеседник подробно и бойко, не мямля, как пять минут тому назад, растолковал мне, что бегучий такелаж — подвижные корабельные снасти. Этот предмет он з н а л. Слово «того» исчезло. Вслед за этим он захмелел и упал на стол. Я же пошел домой и, поравнявшись с буфетом, вспомнил, что нужно захватить с собой бутылку вина.

Пока я покачивался у стойки, багровое лицо буфетчика приняло колоссальные размеры. Я с любопытством следил за ростом его головы, она распухала, толстела и через минуту должна была отвалиться прочь, не выдержав собственной тяжести. Буфетчик завернул бутылку в обрывок газеты и подал мне.

— Приятель,— сказал я,— следите за своей головой. Если она упадет, это будет событие, перед которым померкнет даже то, что я слышал сегодня, а, клянусь вашим папашей, я не слыхал более забавной истории.

ВЕЧЕР

Мне не на что жаловаться. Я здоров, обладаю прекрасным зрением и живу больше воображаемой, чем действительной жизнью.

Но каждый вечер, когда золото и кармин запада покрываются пеплом сумерек, я испытываю безотчетное, жестокое нарастание ужаса. Вокруг меня все, по-видимому, спокойно; ритмически стучит колесо жизни, и самый стук его делается незаметным, как стук маятника. Земля неподвижна. Законы дня и ночи незыблемы. Но я боюсь.

Вчера вечером, как и всегда, я сел за письменный

стол. Мне предстояла сложная работа по отчетности торгового учреждения. Но вместо цифр мои мысли носились вокруг отрывочных представлений, в которых я сам отсутствовал; вернее, представления эти существовали как бы помимо меня. Я видел черную, стремительно убегающую воду, красные фонарики, военный корабль, кусок болота, освещенный рефлектором. Серебристые острия осоки бросали в воду черные линии теней; неподвижная, словно вылитая из зеленой бронзы, лягушка пучила близорукие глаза. Затем какое-то странное, волосатое существо бежало, вздымая пыль, и я довольно отчетливо видел его босые ноги. Постепенно все перемешалось, нежные оттенки цветов раскинулись в прихотливый луг, прозвучала пылкая мелодия индусского марша. Рассеянным движением я занес в графу цифру и остановился, следя за перепончатыми желтыми крыльями. Они мелькали довольно долго. Выбросив их из головы, я откинулся в глубину кресла и стал курить.

Я думал уже, что это досадное состояние, являвшееся естественной реакцией мозга против сухой счетной работы, кончилось, как вдруг маленькое кольцо дыма вытянулось на уровне моих глаз и стало человеческим профилем. Это были кроткие черты благовоспитанной молодой девушки, но в хитро поджатых губах и скошенном взгляде таилось что-то необъяснимо омерзительное. Дым растаял, и я почувствовал, что работать не в состоянии. Самая мысль об усилии казалась противной. Вид письменного стола наводил скуку. Мыслей не было. Все вещи стали чужими и ненужными, точно их принесли насильно. Мне было тесно, я испытывал почти физическую неловкость от близости стен, мебели и разных давно знакомых предметов... Мне ничего не хотелось, и вместе с тем томительное состояние бездеятельности разрасталось в глухую тревогу и нетерпение.

Я должен упомянуть еще раз, что мозг мой совершенно прекратил логическую работу. Мысль исчезла. Я был чувствующей себя материей. Комната и все предметы, находившиеся перед моими глазами, воспринимались зрением так же, как зеркалом — тупо и безотчетно. Я не был центром; чувство психологической устойчивости распределилось равномерно на все, кроме меня. Я расплывался в тоскливой пустоте прострации и зависел от ничтожнейших чувственных эмоций. Потребность двигаться была первой, хотя довольно туманно сознан-

ной мной потребностью; я встал, безучастно подержал в руках книгу и положил ее на прежнее место.

Это, очевидно, не удовлетворило меня, потому что в следующий затем момент я принялся рассматривать рисунок обоев, внимательно фиксируя белые и малиновые лепестки фантастических венчиков. Затем вынул из подсвечника огарок стеариновой свечи и стал сверлить его перочинным ножиком, добираясь до фитиля. Мягкое хрустение стеарина доставило мне некоторое развлечение. Потом нарисовал карандашом несколько завитушек, перечеркивая их кривыми, равномерно уменьшающимися линиями, положил карандаш, оглянулся, и вдруг сильное, необъяснимое беспокойство сделало меня легким, как резиновый мяч.

Я сделал по комнате несколько шагов, остановился и стал прислушиваться. Мертвая тишина стояла вокруг. С улицы сквозь плотно закупоренное окно не доносилось ни одного звука. Тишина эта была ненужной, как были бы не нужны для меня в то время шум улицы, песня, гром музыки. Ненужными также были моя комната, кровать, графин, лампа, стулья, книги, пепельница и оконные занавески. Я не чувствовал надобности ни в чем, кроме тоскливого и бесцельного желания двигаться.

В это время я не испытывал еще никакого страха. Он появился с первым биением пульса мысли, с ее развитием. Я не мог уловить точно этот момент, помню лишь стремительно выросшее сознание полной и абсолютной ненужности всего. Я как будто терял всякую способность ассоциации. Все, вплоть до брошенного окурка, существовало самостоятельно, без всякого отношения ко мне. Я был один, сам ненужный всему, и это — «все» было для меня лишним. Я был в совершенной холодной пустыне одиночества, несуществующий, тень самого себя, потому что даже мое «я» было мне нужно не больше прошлогоднего снега.

Тогда острейшее чувство одиночества — ужас хлынул в жадную пустоту духа. Я растворился в нем без упрека и сожаления, потому что нечего сожалеть и не к кому обращать упреки. Так будет каждый вечер и так должно быть.

— Я борюсь,— сказал я, дрожа от мерзкого страха,— но пусть будет по-твоему. Природа не терпит пустоты, а у меня нет ничего лучшего подарить ей. Мы квиты.

И темная вода ужаса сомкнулась над моей головой.

АРВЕНТУР

Это было в то время, когда у человека начинает отцветать сердце, и он мечется по земле, полный смутных видений, музыки горя и ужаса. Тот день запомнить нетрудно, в моей памяти нет дней страшнее и блаженней его, долгого дня тоски.

Пыль, духота и жара стояли на улицах. Я тщетно переходил с бульвара на бульвар, ища тени; мухи преследовали меня; воздух стонал от грохота экипажей. Пиво согревалось в стакане раньше, чем выпивалось; все было отвратительно. Тоска терзала, улицы наводили зевоту, люди — апатию; сидя на запыленной скамейке, я рассеянно провожал глазами их механические фигуры. Гнетущее однообразие лиц, костюмов и жестов действовало удручающе. Мысли прыгали, как мальчишки, играющие в чехарду. И вдруг — звонким, далеким возгласом вспыхнуло это роковое, преследующее меня слово:

— Арвентур.

Я повторил его, разделяя слоги:

— Ар-вен-тур. Ар-вен-тур.

Оно остановилось, засело в мозгу, приковало к себе внимание. Оно звучало приятно и немного таинственно, в нем слышалось спокойное обещание. Арвентур — это все равно, как если бы кто-нибудь посмотрел на вас синими ласковыми глазами.

Несколько раз подряд, беззвучно шевеля губами, я повторил эти восемь букв. В звуке их был печальный зов, торжественное напоминание, сила и нежность; бесконечное утешение, отделенное пропастью. Я был бессилен понять его и мучился, пораженный грустью. Арвентур! Оно не могло быть именем человека. Я с негодованием отверг эту мысль. Но что же это? И где?

Волны ужасного напряжения вставали, падая вновь, как раненые солдаты. Ничего не было. Хоровод смутных видений приближался и убегал, полный неясных контуров, расплывающихся в тумане. Арвентур! Слово это притягивало меня. Оно, как нечто живое, существовало вне мысли. И я тщетно стремился охватить его взрывом сознания. В самом звуке слова было нечто, не позволяющее сомневаться в его праве на существование. Арвентур!

Я сделал несколько шагов по бульвару. Быть может, это название местечка, деревни, слышанное мною раньше? В моей стране таких имен нет. Возможно, что оно

прочитано в книге. Почему же т о г д а, прочитанное, оно не вызвало такой глубокой и нежной грусти? Арвентур!

Взволнованный, я напряженно твердил это слово. Какой далекой, полной радостью веяло от него! Чужие страны развертывались перед глазами. Смуглые, смеющиеся люди проходили в моем воображении, указывая на горизонт холмов.

— Арвентур,— говорили они.— Там Арвентур.

Рассеянный, в подавленном настроении, я вышел на набережную. Навстречу попадалось много знакомых: мы строили любезнейшие гримасы, облегченно вздыхали и расходились. Арвентур! — это звенело как воспоминание далекой любви. А за него, вызванное припадком тоски, цеплялось прошлое. Но в прошлом не было ничего, что нельзя было бы выразить иначе, чем ясным человеческим языком. Я чувствовал себя смертельно обиженным. Как мог я годами в сокровеннейших кладовых души выносить это неотразимое слово радости и быть чужим ему? Утка на лебедином яйце могла бы мне посочувствовать. Арвентур!

Вечером на ужине у знакомых я беспомощно улыбался и говорил, что простужен. Я ел, презирая себя. Пил, мысленно давая себе пощечины. Три человека спорили о новом налоге. Еще три, наклонившись друг к другу, шептали двусмысленности, прыская в соус. Приятная дама с усиками старалась незаметно вытереть локоть, мокрый от жира. Сосед мой, с головой, напоминающей редьку, обратился ко мне:

— Вы слышали, как блистательно я защитил интересы личности? По этому вопросу у меня лежит совершенно готовая статья, я думаю послать ее в «Торгово-промышленный журнал». Система налогов ведет к разврату и авантюризму.

— Арвентур! — сказал я, впервые чувствуя, что вино крепковато.

Прошла минута молчания. Мы пристально смотрели друг другу в глаза. Он мялся. Он притворился непонимающим. Он начал снова свою идиотскую песенку.

— Культура, благосостояние, перемена курса, протекционизм...

— Заведенная машина,— благожелательно сказал я, с ненавистью рассматривая человека-редьку.— Дрянная мельница.

Смутное воспоминание о раздвигаемых стульях, возгласы сожаления — вот и все. Я вышел. В передней мне

дали шляпу. Легкий, спокойный воздух ночной улицы кружил голову. Слезы душили меня, не принося облегчения. Арвентур! Пусти меня в свои стены, хрустальный замок радости, Арвентур!

И эхо повторило мой крик отчаяния. Белые птицы, медленно взмахивая крыльями, летели в темноте к морю.— «Арвентур!» — кричали они. Я не мог двинуться с места; обхватив руками фонарный столб, я плакал от невыразимой тоски. Я боялся думать, страшился оскорбить плоским, ограниченным представлением нетленную красоту слова. Одну роскошь позволил я себе: цепь синих холмов, вершины их дымились как жертвенники.

— Там Арвентур! — твердил я.

Круг мысли, очерченный безмолвием,— карманный ночной фонарь, обруч наездника, лужа из белого и серого вещества, зеркальце с фольгой, засиженное мухами,— я бы разбил тебя тысячи и тысячи раз, не будь этой пыли алмазов, отшлифованных в небесах, этого сладкого проклятья и жестокой н а д е ж д ы верить, что Арвентур есть.

КАПИТАН ДЮК

I

Рано утром в маленьком огороде, прилегавшем к одному из домиков общины Голубых Братьев, среди зацветающего картофеля, рассаженного правильными кустами, появился человек лет сорока, в вязаной безрукавке, морских суконных штанах и трубообразной черной шляпе. В огромном кулаке человека блестела железная лопатка. Подняв глаза к небу и с полным сокрушением сердца пробормотав утреннюю молитву, человек принялся ковырять лопаткой вокруг картофельных кустиков, разрыхляя землю. Неумело, но одушевленно тыкая непривычным для него орудием в самые корни картофеля, от чего невидимо крошились под землей на мелкие куски молодые, охаживаемые клубни, человек этот, решив наконец, что для спасения души сделано на сегодня довольно, присел к ограде, заросшей жимолостью и шиповником, и по привычке сунул руку

в карман за трубкой. Но, вспомнив, что еще третьего дня трубка сломана им самим, табак рассыпан и дана торжественная клятва избегать всяческих мирских соблазнов, омрачающих душу,— человек с лопаткой горько и укоризненно усмехнулся.

— Так, так, Дюк,— сказал он себе,— далеко тебе еще до просветления, если, не успев хорошенько продрать глаза, тянешься уже к дьявольскому растению. Нет — изнуряйся, постись и смирись, и не сметь тебе даже вспоминать, например, о мясе. Однако страшно хочется есть. Кок... гм... хорошо делал соус к котле...— Дюк яростно ткнул лопаткой в землю.— Животная пища греховна, и я чувствую себя теперь значительно лучше, питаясь вегетарианской кухней. Да! Вот идет старший брат Варнава.

Из-за дома вышел высокий, сухопарый человек с очками на утином носу, прямыми, падающими на воротник рыжими волосами, бритый, как актер, сутулый и длинноногий. Его шляпа была такого же фасона, как у Дюка, с той разницей, что сбоку тульи блестело нечто вроде голубого плюмажа. Варнава носил черный, наглухо застегнутый сюртук, башмаки с толстыми подошвами и черные брюки. Увидев стоящего с лопатой Дюка, он издали закивал головой, поднял глаза к небу и изобразил ладонями, сложенными вместе, радостное умиление.

— Радуюсь и торжествую! — закричал Варнава пронзительным голосом.— Свет утра приветствует тебя, дорогой брат, за угодным богу трудом. Ибо сказано: «В поте лица своего будешь есть хлеб твой».

— Много камней,— пробормотал Дюк, протягивая свою увесистую клешню навстречу узким, извилистым пальцам Варнавы.— Я тут немножко работал, как вы советовали делать мне каждое утро для очищения помыслов.

— И для укрепления духа. Хвалю тебя, дорогой брат. Ростки божьей благодати несомненно вытеснят постепенно в тебе адову пену и греховность земных желаний. Как ты провел ночь? Смущался твой дух? Садись и поговорим, брат Дюк.

Варнава, расправив кончиками пальцев полы сюртука, осторожно присел на траву. Дюк грузно сел рядом на муравейник. Варнава пристально изучал лицо новичка, его вечно хмурый, крепко сморщенный лоб, под которым блестели маленькие, добродушные, уме-

ющие, когда надо, холодно и грозно темнеть глаза; его упрямый рот, толстые щеки, толстый нос, изгрызанные с вечного похмелья, тронутые сединой усы и властное выражение подбородка.

— Что говорить,— печально объяснял Дюк, постукивая лопаткой.— Я, надо полагать, отчаянный грешник. С вечера, как легли спать, долго ворочался на кровати. Не спится; чертовски хотелось курить и... знаете... это... когда табаку нет, столько слюны во рту, что не наплюешься. Вот и плевался. Потом наконец уснул. И снится мне, что Куркуль заснул на вахте, да где? — около пролива Кассет, а там, если вы знаете, такие рифы, что бездельника, собственно говоря, мало было бы повесить, но так как он глуп, то я только треснул его по башке линьком. Но этот мерзавец...

— Брат Дюк! — укоризненно вздохнул Варнава.— Кха! Кха!..

Капитан скис и поспешно схватился рукой за рот.

— Еще «Марианну» вспомнил утром,— тихо прошептал он.— Мысленно перецеловал ее всю от рымов до клотиков. Прощай, «Марианна», прощай! Я любил тебя. Если я позабыл переменить кливер, то прости — я загулял с маклером. Не раздражай меня, «Марианна», воспоминаниями. Не сметь тебе сниться мне! Теперь только я понял, что спасенье души более важное дело, чем торговля рыбой и яблоками... да. Извините меня, брат Варнава.

Выплакав это вслух, с немного, может быть, смешной, но искренней скорбью, капитан Дюк вытащил полосатый платок и громко, решительно высморкался. Варнава положил руку на плечо Дюка.

— Брат мой! — сказал он проникновенно.— Отрешись от бесполезных и вредных мечтаний. Оглянись вокруг себя. Где мир и покой? Здесь! Измученная душа видит вот этих нежных птичек, славящих бога, бабочек, служащих проявлением истинной мудрости высокого творчества; земные плоды, орошенные потом благочестивых... Над головой — ясное небо, где плывут небесные корабли-облака, и тихий ветерок обвевает твое расстроенное лицо. Сон, молитва, покой, труд. «Марианна» же твоя — символ корысти, зависти, бурь, опьянения и курения, разврата и сквернословия. Не лучше ли, о брат мой, продать этот насыщенный человеческой гордостью корабль, чтобы он не смущал твою близкую к спасению душу, а деньги положить

на текущий счет нашей общины, где разумное употребление их принесет тебе вещественную и духовную пользу?

Дюк жалобно улыбнулся.

— Хорошо,— сказал он через силу.— Пропадай все. Продать так продать!

Варнава с достоинством встал, снисходительно посматривая на капитана.

— Здесь делается все по доброму желанию братьев. Оставляю тебя, другие ждут моего внимания.

II

В десять часов утра, произведя еще ряд опустошений в картофельном огороде, Дюк удалился к себе, в маленький деревянный дом, одну половину которого — обширную пустую комнату с нарочито грубой деревянной мебелью — Варнава предоставил ему, а в другой продолжал жить сам. Община Голубых Братьев была довольно большой деревней, с порядочным количеством земли и леса. Члены ее жили различно: холостые — группами, женатые — обособленно. Капитан, по мнению Варнавы, как испытуемый, должен был провести срок искуса изолированно; этому помогало еще то, что у Дюка существовали деньжонки, а деньжонки везде требуют некоторого комфорта.

Подслеповатый, корявый парень появился в дверях, таща с половины Варнавы завтрак Дюку: кружку молока и кусок хлеба. Смиренно скрестив на груди руки, парень удалился, гримасничая и пятясь задом, а капитан, сердито понюхав молоко, мрачно покосился на хлеб. Пища эта была ему не по вкусу; однако, твердо решившись уйти от грешного мира, капитан наскоро проглотил завтрак и раскрыл Библию. Прежде чем приняться за чтение, капитан стыдливо помечтал о великолепных бифштексах с жареным испанским луком, какие умел божественно делать кок Сигби. Еще вспомнилась ему синяя стеклянная стопка, которую Дюк любовно оглаживал благодарным взглядом, а затем, проведя для большей вкусности рукою по животу и крякнув, медленно осушал. «Какова сила врага рода человеческого!» — подумал Дюк, явственно ощутив во рту призрак крепкого табачного дыма. Покрутив головой, чтобы не думать о запретных вещах, ка-

питан открыл Библию на том месте, где описывается убийство Авеля, прочел, крепко сжал губы и с недоумением остановился, задумавшись.

«Авель ходил без ножа, это ясно,— размышлял он,— иначе мог бы ударить Каина головой в живот, сшибить и всадить ему нож в бок. Странно также, что Каина не повесили. В общем — неприятная история». Он перевернул полкниги и попал на описание бегства Авессалома. То, что человек запутался волосами в ветвях дерева, сначала рассмешило, а затем рассердило его.

— Чиркнул бы ножиком по волосам,— сказал Дюк,— и мог бы удрать. Странный чудак! — Но зато очень понравилось ему поведение Ноя.— Сыновья-то были телята, а старик молодец,— заключил он и тут же понял, что впал в грех, и грустно подпер голову рукой, смотря в окно, за которым вилась лента проезжей дороги.

В это время из-за подоконника вынырнуло чье-то смутно знакомое Дюку испуганное лицо и спряталось.

— Кой черт там глазеет? — закричал капитан.

Он подбежал к окну и, перегнувшись, заглянул вниз.

В крапиве, присев на корточки, притаились двое, подымая вверх умоляющие глаза: повар Сигби и матрос Фук. Повар держал меж колен изрядный узелок с чем-то таинственным; Фук же, грустно подперев подбородок ладонями, плачевно смотрел на Дюка. Оба сильно вспотевшие, пыльные с головы до ног, пришли, по-видимому, пешком.

— Это что такое?! — вскричал капитан.— Откуда вы? Что расселись? Встать!

Фук и Сигби мгновенно вытянулись перед окном, сдернув шапки.

— Сигби,— заволновался капитан,— я же сказал, чтобы меня больше не беспокоили. Я оставил вам письмо, вы читали его?

— Да, капитан.

— Все прочли?

— Все, капитан.

— Сколько раз читали?

— Двадцать два раза, капитан, да еще двадцать третий для экипажа «Морского змея»; они пришли в гости послушать.

— Поняли вы это письмо?

— Нет, капитан.

Сигби вздохнул, а Фук вытер замигавшие глаза рукавом блузы.

— Как не поняли? — загремел Дюк.— Вы непроходимые болваны, гнилые буйки, бродяги,— где это письмо? Сказано там или нет, что я желаю спастись?

— Сказано, капитан.

— Ну?

Сигби вытащил из кармана листок и стал читать вслух, выронив загремевший узелок в крапиву:

— «Отныне и во веки веков аминь. Жил я, братцы, плохо и, страшно подумать, был настоящим язычником. Поколачивал я некоторых из вас, хотя до сих пор не знаю, кто из вас стянул новый брезент. Сам же, предаваясь ужасающему развратному поведению, дошел до полного помрачения совести. Посему удаляюсь от мира соблазнов в тихий уголок брата Варнавы для очищения духа. Прощайте. Сидите на «Марианне» и не смейте брать фрахтов, пока я не сообщу, что делать вам дальше».

Капитан самодовольно улыбнулся — письмо это, составленное с большим трудом, он считал прекрасным образцом красноречивой убедительности.

— Да,— сказал Дюк, вздыхая,— да, возлюбленные братья мои, я встретил достойного человека, который показал мне, как опасно попасть в лапы к дьяволу. Что это бренчит у тебя в узелке, Сигби?

— Для вас это мы захватили,— испуганно прошептал Сигби,— это, капитан... холодный грог, капитан, и... кружка... значит.

— Я вижу, что вы желаете моей погибели,— горько заявил Дюк,— но скорее я вобью вам этот грог в пасть, чем выпью. Так вот: я вышел из трактира, сел на тумбочку и заплакал, сам не знаю зачем. И держал я в руке, сколько не помню, золота. И просыпал. Вот подходит святой человек и стал много говорить. Мое сердце растаяло от его слов, я решил раскаяться и поехать сюда. Отчего вы не вошли в дверь, черти полосатые?

— Прячут вас, капитан,— сказал долговязый Фук,— все говорят, что такого нет. Еще попался нам этот с бантом на шляпе, которого видел кое-кто с вами третьего дня вечером. Он-то и прогнал нас. Безутешно мы колесили тут, вокруг деревни, а Сигби вас в окошко заметил.

— Нет, все кончено,— хмуро заявил Дюк,— я не ваш, вы не мои.

Фук зарыдал, Сигби громко засопел и надулся. Капитан начал щипать усы, нервно мигая.

— Ну, что на «Марианне»? — отрывисто спросил он.

— Напились все с горя,— сморкаясь, произнес Фук,— третий день пьют, сундуки пропили. Маклер был, выгодный фрахт у него для вас — скоропортящиеся фрукты; ругается, на чем свет стоит. Куркуль удрал совсем, а Бенц спит на вашей койке в вашей каюте и говорит, что вы не капитан, а собака.

— Как — собака! — сказал Дюк, бледнея от ярости.— Как — собака? — повторил он, высовываясь из окна к струсившим матросам.— Если я собака, то кто Бенц? А? Кто, спрашиваю я вас? А? Швабра он, последняя шваб-р-ра! Вот как?! Стоило мне уйти, и у вас через два дня чешутся обо мне языки? А может быть, и руки? Сигби и ты, Фук,— убирайтесь вон! Захватите ваш дьявольский узелок. Не искушайте меня. Проваливайте. «Марианна» будет скоро мной продана, а вы плавайте на каком хотите корыте!

Дюк закрыл глаза рукой. Хорошенькая «Марианна», как живая, покачивалась перед ним, блестя новыми мачтами. Капитан скрипнул зубами.

— Обязательно вычистить и проветрить трюмы,— сказал он, вздыхая,— покрасить клюзы и камбуз да как следует прибрать в подшкиперской. Я знаю, у вас там такой порядок, что не отыщешь и фонаря. Потом отправьте «Марианну» в док и осмолите ее. Палубу, если нужно, поконопатить. Бенцу скажите, что я, смиренный брат Дюк, прощаю его. И помните, что вино — гибель, опасайтесь его, дети мои. Прощайте!

— Что ж, капитан,— сказал ошарашенный всем виденным и слышанным Сигби,— вы, значит, переходите, так сказать, в другое ведомство? Ладно, пропадай все. Фук, идем. Скажи, Фук, спасибо *этому* капитану.

— За что? — невинно осведомился капитан.

— За то, что бросили нас. Это после того, что я у вас служил пять лет, а другие и больше. Ничего, спасибо. Фук, идем.

Фук подхватил узелок, и оба, не оглядываясь, удалились решительными шагами в ближайший лесок — выпить и закусить. Едва они скрылись, как Варнава появился в дверях комнаты, с глазами, поднятыми

вверх, и руками, торжественно протянутыми вперед к смущенному капитану.

— Я слышал все, о брат мой,— пропел он речитативом,— и радуюсь одержанной вами над собою победе.

— Да, я продам «Марианну»,— покорно заявил Дюк,— она мешает мне, парни приходят с жалобами.

— Укрепись и дерзай,— сказал Варнава.

— Двадцать узлов в полном ветре! — вздохнул Дюк.

— Что вы сказали? — не расслышал Варнава.

— Я говорю, что бойкая была очень она, «Марианна», и руля слушалась хорошо. Да, да. И четыреста тонн.

III

Матросы сели на холмике, заросшем вереском и волчьими ягодами. Прохладная тень кустов дрожала на их унылых и раздраженных лицах. Фук, более хладнокровный, человек факта, далек был от мысли предпринимать какие-либо шаги после сказанного капитаном; но саркастический, нервный Сигби не так легко успокаивался, мирясь с действительностью. Развязывая отвергнутый узелок, он не переставал бранить Голубых Братьев и называть капитана приличными случаю именами, вроде дохлой морской свиньи, сумасшедшего кисляя и т. д.

— Вот пирог с ливером,— сказал Сигби.— Хороший пирожок, честное слово. Что за корочка! Прямо как позолоченная. А вот окорочок, Фук; раз капитан брезгует нашим угощением, съедим сами. Грог согрелся, но мы его похолодим в соседнем ручье. Да, Фук, настали черные дни.

— Жаль, хороший был капитан,— сказал Фук.— Право, капиташа был в полной форме. Тяжеловат на руку, да; и насчет словесности не стеснялся, однако лишнего ничего делать не заставлял.

— Не то что на «Сатурне» или «Клавдии»,— вставил Сигби,— там, если работы нет, обязательно ковыряй что-нибудь. Хоть пеньку трепли.

— Свыклись с ним.

— Сухари свежие, мясо свежее.

— Больного не рассчитает.

— Да что говорить!

— Ну, поедим!

Начав с пирога, моряки кончили окороком и глоданием кости. Наконец швырнув окорочную кость в кусты, они принялись за охлажденный грог. Когда большой глиняный кувшин стал легким, а Фук и Сигби тяжелыми, но веселыми, повар сказал:

— Друг Фук, не верится что-то мне, однако, чтобы такой моряк, как наш капитан, изменил своей родине. Свыкся он с морем. Оно кормило его, кормило нас, кормит и будет кормить много людей. У капитана ум за разум зашел. Вышибем его от Голубых Братьев.

— Чего из них вышибать,— процедил Фук,—когда разума нет.

— Не разум, а капитана.

— Трудновато, дорогой кок, думаю я.

— Нет,— возразил Сигби,— сам я действительно не знаю, как поступить, и не решился бы ничего придумать. Но знаешь что? — Спросим старого Бильдера.

— Вот тебе на! — вздохнул Фук.— Чем здесь поможет Бильдер?

— А вот! Он в этих делах собаку съел. Попутайся-ка, мой милый, семьдесят лет по морям — так будешь знать все. Он,— Сигби сделал таинственные глаза,— он, Бильдер, был тоже пиратом, в молодости, да, грешил и... тсс!..— Сигби перекрестился.— Он плавал на голландской летучке.

— Врешь! — вздрогнув, сказал Фук.

— Упади мне эта сосна на голову, если я вру. Я сам видел на плече у него красное клеймо, которое, говорят, ставят духи Летучего Голландца, а духи эти без головы, и значит, без глаз, а поэтому сами не могут стоять у руля, и вот нужен им бывает всегда рулевой из нашего брата.

— Н-да... гм... тпру... постой... Бильдер... Так это, значит, в «Кладбище кораблей»?!

— Вот, да, сейчас за доками.

— И то правда,— ободрился Фук.— Может, он и уговорит его не продавать «Марианну». Жаль, суденышко-то очень замечательное.

— Да, обидно ведь,— со слезами в голосе сказал Сигби,— свой ведь он, Дюк этот несчастный, свой, товарищ, бестия морская. Как без него будем, куда пойдем? На баржу, что ли? Теперь разгар навигации, на всех судах все комплекты полны; или ты, может быть, не прочь юнгой трепаться?

— Я? Юнгой?

— Так чего там. Тронемся к старцу Бильдеру. Заплачем, в ноги упадем: помоги, старый разбойник!

— Идем, старик!

— Идем, старина!

И оба они, здоровые, в цвете сил люди, нежно называющие друг друга «стариками», обнявшись, покинули холм, затянув фальшивыми, но одушевленными голосами:

Позвольте вам сказать, сказать,
Позвольте рассказать,
Как в бурю паруса вязать,
Как паруса вязать.
Позвольте вас на саллинг взять,
Ах, вас на саллинг взять
И в руки мокрый шкот вам дать,
Вам шкотик мокрый дать...

IV

Бильдер, или Морской тряпичник, как называла его вся гавань, от последнего чистильщика сапог до элегантных командиров военных судов, прочно осел в Зурбагане с незапамятных времен и поселился в песчаной, заброшенной части гавани, известной под именем «Кладбища кораблей». То было нечто вроде свалочного места для износившихся, разбитых, купленных на слом парусников, барж, лодок, баркасов и пароходов, преимущественно буксирных. Эти печальные останки когда-то отважных и бурных путешествий занимали площадь не менее двух квадратных верст. В рассохшихся кормах, в дырявых трюмах, где свободно гулял ветер и плескалась дождевая вода, в жалобно скрипящих от ветхости капитанских рубках ютились по ночам парии гавани. Странные процветали здесь занятия и промыслы... Бильдер избрал ремесло морского тряпичника. На маленькой парусной лодке с небольшой кошкой, привязанной к длинному шкерту, бороздил он целыми днями Зурбаганскую гавань, выуживая кошкой со дна морского железные, тряпичные и всякие другие отбросы, затем, сортируя их, продавал скупщикам. Кроме этого, он играл роль оракула, предсказывая погоду, счастливые дни для отплытия, отыскивал удачно краденое и уличал вора с помощью решета. Контрабандисты молились на

него: Бильдер разыскивал им секретные уголки для высадок и погрузок. При всех этих приватных заработках был он, однако, беден, как церковная крыса.

Прозрачный день гас, и солнце зарывалось в холмы, когда Фук и Сигби, с присохшими от жары языками, вступили на вязкий песок «Кладбища кораблей». Тишина, глубокая тишина прошлого окружала их. Вечерний гром гавани едва доносился сюда слабым, напоминающим звон в ушах, бессильным эхом; изредка лишь пронзительный вопль сирены отходящего парохода нагонял пешеходов, или случайно налетевший мартын плакал и хохотал над сломанными мачтами мертвецов, пока вечная прожорливость и аппетит к рыбе не тянули его обратно в живую поверхность волн. Среди остовов барж и бригов, напоминающих оголенными тимберсами чудовищные скелеты рыб, выглядывала изредка полузасыпанная песком корма с надписью тревожной для сердца, с облупленными и отпавшими буквами. «Надеж...» — прочел Сигби в одном месте, в другом — «Победитель», еще дальше — «Ураган», «Смелый»... Всюду валялись доски, куски обшивки, канатов, трупы собак и кошек. Проходы меж полусгнивших судов напоминали своеобразные улицы, без стен, с одними лишь заворотами и углами. Бесформенные длинные тени скрещивались на белом песке.

— Как будто здесь,— сказал Сигби, останавливаясь и осматриваясь.— Не видно дымка из дворца Бильдера, а без дымка что-то я позабыл. Тут как в лесу... Эй!.. Нет ли кого из жителей? Эй! — последние слова повар не прокричал даже, а проорал, и не без успеха; через пять-шесть шагов из-под опрокинутой расщепленной лодки высунулась лохматая голова с печатью приятных размышлений в лице и бородой, содержимой весьма беспечно.

— Это вы кричали? — ласково осведомилась голова.

— Я,— сказал Сигби,— ищу этого колдуна Бильдера, забыл, где его особняк.

— Хороший голос,— заявила голова, покачиваясь,— голос гулкий, лошадиный такой. В лодке у меня загудело, как в бочке.

Сигби вздумал обидеться и набирал уже воздуху, чтобы ответить с достойной его самолюбия едкостью, но Фук дернул повара за рукав.

— Ты разбудил человека, Сигби,— сказал он,— посмотри, сколько у него в волосах соломы, пуху и

щепок; не дай бог тебе проснуться под свой собственный окрик.

Затем, обращаясь к голове, матрос продолжал:

— Укажите, милейший, нам, если знаете, лачугу Бильдера, а так как ничто на свете даром не делается, возьмите на память эту регалию.— И он бросил к подбородку головы медную монету. Тотчас же из-под лодки высунулась рука и прикрыла подарок.

— Идите... по направлению киля этой лодки, под которой я лежу,— сказала голова,— а потом встретите овраг, через него перекинуто бревно...

— Ага! Перейти через овраг,— кивнул Фук.

— Пожалуй, если вы любите возвращаться. Как вы дошли до оврага, не переходя его, берите влево и идите по берегу. Там заметите высокий песчаный гребень, за ним-то и живет старик.

Приятели, следуя указаниям головы, вскоре подошли к песчаному гребню, и Сигби, узнав местность, никак не мог уяснить себе, почему сам не отыскал сразу всем известной площадки. Решив наконец, что у него «голова была не в порядке» из-за «этого ренегата Дюка», повар повел матроса к низкой двери лачуги, носившей поэтическое название: «Дворец Бильдера, Короля Морских Тряпичников», что возвещала надпись, сделанная жженой пробкой на лоскутке парусины, прибитом под крышей.

Оригинальное здание это сильно напоминало постройки нынешних футуристов как по разнообразию материала, так и по беззастенчивости в его расположении. Главный корпус «дворца» за исключением одной стены, именно той, где была дверь, составляла ровно отпиленная корма старого галиота, корма без палубы, почему Бильдер, не в силах будучи перевернуть корму килем вверх, устроил еще род куполообразной крыши наподобие куч термитовых муравьев, так что все в целом грубо напоминало откушенное с одной стороны яблоко. Весь эффект здания представляла искусственно выведенная стена; в состав ее, по разряду материалов, входили:

1) доски, обрубки бревен, ивовые корзинки, пустые ящики;

2) шкворни, сломанный умывальник, ведра, консервные жестянки;

3) битый фаянс, битое стекло, пустые бутылки;

4) кости и кирпичи.

Все это, добросовестно скрепленное палками, землей и краденым цементом, образовало стену, к которой можно было прислониться с опасностью для костюма и жизни. Лишь аккуратно прорезанная низкая дощатая дверь да единственное окошко в противоположной стене — настоящий круглый иллюминатор — указывали на некоторую архитектурную притязательность.

Сигби толкнул дверь и, согнувшись, вошел, Фук за ним. Бильдер сидел на скамейке перед внушительной кучей хлама. Небольшая железная печка, охапка морской травы, служившей постелью, скамейка и таинственный деревянный бочонок с краном — таково было убранство «дворца» за исключением кучи, к которой Бильдер относился сосредоточенно, не обращая внимания на вошедших. К великому удивлению Фука, ожидавшего увидеть полураздетого, оборванного старика, он убедился, что Бильдер для своих лет еще большой франт: суконная фуфайка его, подхваченная у брюк красным поясом, была чиста и прочна, а парусинные брюки, запачканные смолой, были совсем новые. На шее Бильдера пестрело даже нечто вроде цветного платка, скрученного морским узлом. Под шапкой седых волос, переходивших в такие же круто нависшие брови и щетинистые баки, ворочались колючие глаза-щели, освещая высохшее, жесткое и угрюмое лицо с застывшей усмешкой.

— Здр... здравствуйте,— нерешительно сказал Сигби.

— Угу! — ответил Бильдер, посмотрев на него сбоку взглядом человека, смотрящего через очки...— Кх! Гум!

Он вытащил из кучи рваную женскую галошу и бросил ее в разряд более дорогих предметов.

— Помоги, Бильдер! — возопил Сигби, в то время как Фук смотрел поочередно то в рот товарищу, то на таинственный бочонок в углу.— Все ты знаешь, везде бывал и всюду... как это говорится... съел собаку.

— Ближе к ветру! — прошамкал Бильдер, отправляя коровий череп в коллекцию костяного товара.

Сигби не заставил себя ждать. Оттягивая рукой душивший его разгоряченную шею воротник блузы, повар начал:

— Сбежал капитан от нас. Ушел к сектантам, к Братьям Голубым этим, чтобы позеленели они! Не хочу и не хочу жить, говорит, с вами, язычниками, и сам я

язычник. Хочу спасаться. Мяса не ест, не пьет и не курит и судно хочет продать. До чего же обидно это, старик! Ну, что мы ему сделали? Чем виноваты мы, что только на палубе кусок можем свой заработать?.. Ну, рассуди, Бильдер, хорошо ли стало теперь: пошло воровство, драки; водку — не то что пьют, а умываются водкой; «Марианна» загажена; ни днем, ни ночью вахты никто не хочет держать. Ему до своей души дела много, а до нашей — тьфу, тьфу! Но уж и поискать такого в нашем деле мастера, разумеется, кроме тебя, Бильдер, потому что, как говорят...

Сигби вспомнил Летучего Голландца и, струсив, остановился. Фук побледнел; мгновенно фантазия нарисовала ему дьявольский корабль-призрак с Бильдером у штурвала.

— Угу! — промычал Бильдер, рассматривая обломок свинцовой трубки, железное кольцо и старый веревочный коврик и, по-видимому, сравнивая ценность этих предметов. Через мгновение все они, как буквы из руки опытного наборщика, гремя, полетели к своим местам.

— Помоги, Бильдер! — молитвенно закончил взволнованный повар.

— Чего вам стоит! — подхватил Фук.

Наступило молчание. Глаза Бильдера светились лукаво и тихо. По-прежнему он смотрел в кучу и сортировал ее, но один раз ошибся, бросив тряпку к костям, что указывало на некоторую задумчивость.

— Как зовут? — хрипнул беззубый рот.

— Сигби, кок Сигби.

— Не тебя; т о г о дурака.

— Дюк.

— Сколько лет?

— Тридцать девять.

— Судно его?

— Его, собственное.

— Давно?

— Десять лет.

— Моет, трет, чистит?

— Как любимую кошку.

— Скажите ему,— Бильдер повернулся на скамейке, и просители со страхом заглянули в его острые, блестящие глаза-точки, смеющиеся железным, спокойным смехом дряхлого прошлого,— скажите ему, щенку, что я, Бильдер, которого он знает двадцать пять лет, утверждаю: никогда в жизни капитан Дюк не осмелится

пройти на своей «Марианне» между Вардом и Зурбаганом в проливе Кассет с полным грузом. Проваливайте!

Сказав это, старик подошел к таинственному бочонку, нацедил в кружку весьма подозрительно-ароматической жидкости и бережно проглотил ее. Не зная — недоумевать или благодарить, плакать или плясать, повар вышел спиной, надев шапку за дверью. Тотчас же вывалился и Фук.

Фук не понимал решительно ничего, но повар был человек с более тонким соображением; когда оба, усталые и пыльные, пришли наконец к харчевне «Трезвого странника», он переварил смысл сказанного Бильдером, и, хоть с некоторым сомнением, но все-таки одобрил его.

— Фук,— сказал Сигби,— напишем, что ли, этому Дюку. Пускай проглотит пилюлю от Бильдера.

— Обидится,— возразил Фук.

— А нам что. Ушел, так терпи.

Сигби потребовал вина, бумаги и чернил и вывел безграмотно, но от чистого сердца следующее:

«Никогда Дюк не осмелится пройти на своей «Марианне» между Вардом и Зурбаганом в проливе Кассет с полным грузом. Это сказал Бильдер. Все смеются.

Экипаж «Марианны».

Хмельные поплелись товарищи на корабль. Гавань спала. От фонарей судов, отражений их и звезд в небе весь мир казался бархатной пропастью, полной огней вверху и внизу, всюду, куда хватал глаз. У мола, поскрипывая, толкались на зыби черные шлюпки, и черная вода под ними сверкала искрами. У почтового ящика Сигби остановился, опустил письмо и вздохнул.

— Ясно, как пистолет и его бабушка,— проговорил он, нежно целуя ящик,— что Дюк изорвет тебя, сердечное письмецо, в мелкие клочки, но все-таки! Все-таки! Дюк... Не забывай, кто ты!

V

Вечером в воскресенье, после утомительного бездельного дня, пения духовных стихов и проповеди Варнавы, избравшего на этот раз тему о нестяжатель-

стве, капитан Дюк сидел у себя, погруженный то в благочестивые, то в греховные размышления. Скука томила его, и раздражение, вызванное вчерашним неудачным уроком паханья, когда, как казалось ему, даже лошадь укоризненно посматривала на неловкого капитана, взявшегося не за свое дело, улеглось не вполне, заставляя говорить самому себе горькие вещи.

«Плуг,— размышлял капитан,— плуг... Ведь не мудрость же особенная какая в нем... но зачем лошадь приседает?» Говоря так, он не помнил, что круто нажимал лемех, отчего даже три лошади не могли бы двинуть его с места. Затем он имел еще скверную морскую привычку — всегда тянуть на себя и по рассеянности проделывал это довольно часто, заставляя кобылу танцевать взад и вперед. Поле, вспаханное до конца таким способом, напоминало бы поверхность луны. Кроме этой весьма крупной для огромного самолюбия Дюка неприятности, сегодня он резко поспорил с школьным учителем Клоски. Клоски прочел в газете о гибели гигантского парохода «Корнелиус» и, несмотря на насмешливое восклицание Дюка: «Ага!», стал утверждать, что будущее в морском деле принадлежит именно этим «плотам», как презрительно называл «Корнелиуса» Дюк, а не первобытным «ветряным мельницам», как определил парусные суда Клоски. Ужаленный, Дюк встал и заявил, что, как бы то ни было, никогда не взял бы он Клоски пассажиром к себе, на борт «Марианны». На это учитель возразил, что он моря не любит и плавать по нему не собирается. Скрепя сердце Дюк спросил: «А любите вы маленькие, грязные лужи?» — и, не дожидаясь ответа, вышел с сильно бьющимся сердцем и тягостным сознанием обиды, нанесенной своему ближнему.

После этих воспоминаний Дюк перешел к обиженной «ветряной мельнице», «Марианне». Пустая, высоко подняв грузовую ватерлинию над синей водой, покачивается она на рейде так тяжко, так жалостно, как живое, вздыхающее всей грудью существо, и в крепких реях ее посвистывает ненужный ветер.

— Ах,— сказал капитан,— что же это я растравляю себя? Надо выйти пройтись! — Прикрутив лампу, он открыл дверь и нырнул в глухую, лающую собаками тьму. Постояв немного посреди спящей улицы, капитан завернул вправо и, поравнявшись с окном Варнавы,

увидел, что оно, распахнутое настежь, горит полным внутренним светом. «Читает или пишет»,— подумал Дюк, заглядывая в глубину помещения, но, к изумлению своему, заметил, что Варнава производит некую странную манипуляцию. Стоя перед столом, на котором, подогреваемый спиртовкой, бурлил, кипя, чайник, брат Варнава осторожно проводил по клубам пара небольшим запечатанным конвертом, время от времени пробуя поддеть заклейку столовым ножом.

Как ни был наивен Дюк во многих вещах, однако же занятие Варнавы являлось весьма прозрачным. «Вот как,— оторопев, прошептал капитан, приседая под окном до высоты шеи,— проверку почты производишь, так, что ли?» На миг стало грустно ему видеть от уважаемой личности неблаговидный поступок, но, опасаясь судить преждевременно, решил он подождать, что будет делать Варнава дальше. «Может быть,— размышлял, затаив дыхание, Дюк,— он не расклеивает, а заклеивает?» Тут произошло нечто, опровергнувшее эту надежду. Варнава, водя письмом над горячим паром кастрюльки, уронил пакет в воду, но, пытаясь схватить его на лету, опрокинул спиртовку вместе с посудой. Гремя, полетело все на пол; сверкнул, шипя, залитый водой синий огонь и потух. Отчаянно всплеснув руками, Варнава проворно выхватил из лужи мокрое письмо, затем, решив, что адресату возвращать его в таком виде все равно странно, поспешно разорвал конверт, бегло просмотрел текст и, сунув листок на подоконник, почти к самому носу быстро нагнувшего голову капитана, побежал в коридор за тряпкой.

— Ну да,— сказал капитан, краснея как мальчик,— украл письмо брат Варнава! — Осторожно выглянув, увидел он, что в комнате никого нет, и отчасти из любопытства, а более из любви ко всему таинственному нагнулся к лежавшему перед ним листку, рассуждая весьма резонно, что письмо, претерпевшее столько манипуляций, стоит прочесть. И вот, сжав кулаки, прочел он то, что, высунув от усердия язык, писал Сигби.

Он прочел, повернулся спиной к окну и медленно, на цыпочках, словно проходя мимо спящих, пошел от окна в сторону огородов. Было так темно, что капитан не видел собственных ног, но он знал, что его щеки, шея и нос пунцовее мака. Несомненное шпионство Варнавы мало интересовало его. И Варнава, и Голубые

Братья, и учитель Клоски, и неуменье пахать — все было слизано в этот момент той смертельной обидой, которую нанес ему мир в лице Морского Тряпичника. Кто угодно мог бы сказать это, только не он. Остальные могут говорить что угодно. Но Бильдер, которому двадцать лет назад на палубе «Веги», где тот служил капитаном, смотрел он в глаза преданно и трусливо, как юный щенок смотрит в опытные глаза матери; Бильдер, каждое указание которого он принимал к сердцу ближе, чем поцелуй невесты; Бильдер, знающий, что он, Дюк, два раза терпел крушение, сходя на шлюпку последним; этот Бильдер заочно, а не в глаза высмеял его на потеху всей гавани. Да! Дюк стиснул руками голову и опустился на землю, к изгороди. Прямая душа его не подозревала ни умысла, ни интриги. Правда, Кассет очень опасен, и не многие ради сокращения пути рискуют идти им, дабы не огибать Вард; но он, Дюк, разве из трусости избегал «Безумный пролив»? Менее всего так. Осторожность никогда не мешает, да и нужды прямой не было; но, если пошло на то...

— Постой, постой, Дюк, не горячись,— сказал капитан, чувствуя, что потеет от скорби.— Кассет. Слева гора, маяк, у выхода буруны и левее плоская, отмеченная на всех картах мель; фарватер южнее, и форма его напоминает гитару; в перехвате поперек две линии рифов; отлив на девять футов, после него можно стоять на камнях по щиколотку. Сильное косое течение относит на мель, значит, выходя из-за Варда, забирать против течения к берегу и между рифами — так...— Капитан описал в темноте пальцем латинское S.— Затем у выхода вдоль бурунов на норд-норд-ост и у маяка на полкабельтова к берегу — чик и готово!

«Разумеется,— горестно продолжал размышлять Дюк,— все смотрят теперь на меня как на отпетого. Я для них мертв. А о мертвом можно болтать что угодно и кому угодно. Даже Варнава знает теперь,— негодный шпион! — на какую мелкую монету разменивают капитана Дюка». Тяжело вздыхая, ловил он себя на укорах совести, твердившей ему, что совершено за несколько минут множество смертельных грехов: поддался гневу и гордости, впал в самомнение, выругал Варнаву шпионом... Но уже не было сил бороться с властным призывом моря, принесшим ему корявым, на-

поминающим ветреную зыбь, почерком Сигби любовный, нежный упрек. Торжественно помолчав в душе, капитан выпрямился во весь рост; отчаянно махнул рукой, прощаясь с праведной жизнью, и, далеко швырнув форменный цилиндр Голубых Братьев, встал грешными коленями на грязную землю, сыном которой был.

— Боже, прости Дюка! — бормотал старый ребенок, сморкаясь в фуляровый платок.— Пропасть, конечно, мне суждено, и ничего с этим уже не поделаешь. Ежели б не Кассет — честное слово, я продал бы «Марианну» за полцены. Весьма досадно. Пойду к моим ребятишкам — пропадать, так уж вместе.

Встав и уже петушась, как в ясный день на палубе после восьмичасовой склянки, когда горло кричит само собой, невинно и беспредметно, выражая этим полноту жизни, Дюк перелез изгородь, промаршировал по огурцам и капусте и, одолев второй, более высокий забор, ударился по дороге к Зурбагану, жадно дыша всей грудью,— прямой дорогой, как выразился он, немного спустя, сам,— в ад.

VI

Стихи о «птичке, ходящей весело по тропинке бедствий, не предвидя от сего никаких последствий», смело можно отнести к семи матросам «Марианны», которые на восходе солнца, после бессонной ночи, расположились на юте, с изрядно помятыми лицами, предаваясь каждый занятию, более отвечающему его наклонностям. Легкомысленный Бенц, перегнувшись за борт, лукаво беседовал с остановившейся на молу хорошенькой прачкой; Сигби, проклиная жизнь, гремел на кухне кастрюлями, швыряя в сердцах ложки и ножи; Фук меланхолично чинил рваную шапку, старательно мусля не только нитку, но и ушко огромной иглы, попасть в которое представлялось ему, однако же, делом весьма почтенным и славным; а Мануэль, Крисс, Тромке и боцман Бангок, сидя на задраенном трюме, играли попарно в шестьдесят шесть.

Внезапно сильно, как под слоном, заскрипели сходни, и на палубу под низкими лучами солнца вползла тень, а за ней, с измученным от дум и ходьбы лицом, без шапки, твердо ступая трезвыми ногами, вырос и

остановился у штирборта капитан Дюк. Он медленно исподлобья осмотрел палубу, крякнул, вытер ладонью пот, и неуловимая, стыдливая тень улыбки дрогнула в его каменных чертах, пропав мгновенно, как случайная складка паруса в полном ветре.

Бенц прянул от борта с быстротой спущенного курка. Девушка, стоявшая внизу, раскрыла от изумления маленький, детский рот при виде столь загадочного исчезновения кавалера. Сигби, обернувшись на раскрытую дверь кухни, пролил суп, сдернул шапку, надел ее и опять сдернул. Фук с испуга сразу, судорожно попал ниткой в ушко, но тут же забыл о своем подвиге и вскочил. Игроки замерли на ногах. А «Марианна» покачивалась, и в стройных снастях ее гудел нужный ветер.

Капитан молчал, молчали матросы. Дюк стоял на своем месте, и вот — медленно, как бы не веря глазам, команда подошла к капитану, став кругом. «Как будто ничего не было»,— думал Дюк, стараясь определить себе линию поведения. Спокойно поочередно встретился он глазами с каждым матросом, зорко следя, не блеснет ли затаенная в углу губ усмешка, не дрогнет ли самодовольной гримасой лицо боцмана, не пустит ли слезу Сигби. Но с обычной радушной готовностью смотрели на своего капитана деликатные, понимающие его состояние моряки, и только в самой глубине глаз их искрилось человеческое тепло.

— Что ты думаешь о ветре, Бангок? — сказал Дюк.

— Хороший ветер, господин капитан, дай бог всякого здоровья такому ветру; зюйд-ост на две недели.

— Бенц, принеси-ка... из своей каюты мою белую шапку!

Бенц, струсив, исчез.

— Поднять якорь! — закричал капитан, чувствуя себя дома,— вы, пьяницы, неряхи, бездельники! Почему шлюпка спущена? Поднять немедленно! Закрепить ванты! Убрать сходни! Ставь паруса! «Марианна» пойдет без груза в Алан и вернется — слышите вы, трусы? — с полным грузом через Кассет.

Он успокоился и прибавил:

— Я вам покажу Бильдера.

ПУТЬ

I

Замечательно, что при всей своей откровенности Эли Стар ни разу не проболтался мне о своем странном открытии; это-то, конечно, и погубило его. Признайся он мне в самом начале, я приложил бы все усилия, чтобы исправить дело. Но он был скрытен; может быть, он думал, что ему не поверят.

Все объяснилось в тот день, когда взволнованный Генникер не снимая шляпы, появился в моем кабинете, нервно размахивая хлыстом, готовый, кажется, ударить меня, если я помешаю ему выражать свои ощущения. Он сел (нет — он с силой плюхнулся в кресло), и мы несколько секунд бодали друг друга взглядами.

— Кестер,— сказал он наконец,— думаете ли вы, что Эли порядочный человек?

Я встал, снова сел и вытаращил на него глаза.

— Вы выпили немного, Генникер,— сказал я.— Улыбнитесь сейчас же, тогда я поверю, что вы шутите.

— Вчера,— сказал он таким голосом, как будто читал по книге завещание одного из персонажей романа,— вчера Эли Стар пришел к нам. У него был подавленный, удрученный вид, он просидел с нами как истукан, почти не разговаривая, до вечера.

После чая явился один из клиентов с просьбой перестроить фасад дома. Я уединился с ним, но сквозь неплотно притворенную дверь кабинета слышал, как моя сестра Синтия предложила Эли прогуляться в саду. Приблизительно через полчаса после этого, когда клиент удалился, Синтия с заплаканным лицом подошла ко мне. На ее голове был шерстяной платок, она только что вернулась из сада.

— Ну, что? — немного встревоженный, спросил я.— Вы поссорились?

— Нет,— сказала она, подходя к окну, так что мне были видны только ее вздрагивающие плечи,— но между нами все кончено. Я не буду его женой.

Пораженный, я встал; первой моей мыслью было отыскать Эли. Синтия угадала мое движение.

— Он ушел,— сказала она,— ушел так поспешно,

что я даже не разобрала, в чем дело. Он говорил, кажется, что должен уехать.— Она рассмеялась злым смехом; действительно, Кестер, что может быть оскорбительнее для женщины?

Я засыпал ее вопросами, но мне не удалось ничего добиться. Эли ушел, отказался от своего слова, не объясняя причины. Попробуй защитить его, Кестер.

Я внимательно посмотрел на Генникера, его трясло от негодования, кончик хлыста бешено извивался на полу. Для меня это было еще большей неожиданностью.

— Может быть, он скажет тебе, в чем дело,— продолжал Генникер.— До сих пор его прямые глаза служили мне отдыхом.

Я взял шляпу и трость.

— Посиди здесь, Генникер. Я прохожу недолго. Кстати, когда ты видел его последний раз? Раньше вчерашнего?

— В прошлое воскресенье, за городом. Он шел от парка к молочной ферме.

— Да,— подхватил я,— постой, вы встретились.

— Да.

— Ты поклонился?

— Да.

— И у него был такой вид, как будто он не замечает твоего существования.

— Да,— сказал изумленный Генникер.— Но тебя ведь с ним не было?

— Это не трудно угадать, милый; в то же самое воскресенье я встретился с ним лицом к лицу; но он смотрел с к в о з ь меня и прошел меня. Он стал рассеян. Я ухожу, Генникер, к нему; я умею расспрашивать.

II

В серой полутьме комнаты я рассмотрел Эли. Он лежал на диване ничком, без сюртука и штиблет. Шторы были опущены, последний румянец заката слабо окрашивал их плотные складки.

— Это ты, Кестер? — спросил Стар.— Прости, здесь темно. Нажми кнопку.

В электрическом свете тонкое юношеское лицо Эли показалось мне детски-суровым — он смотрел на меня

в упор, сдвинув брови, упираясь руками в диван, словно собирался встать, но раздумал. Я подошел ближе.

— Эли! — громко произнес я, стремясь бодростью голоса стряхнуть гнетущее настроение.— Я видел Генникера. Он взбешен. Поставь себя на его место. Он вправе требовать объяснения. Наверное, и меня это также немного интересует, ведь ты мне друг. Что случилось?

— Ничего,— процедил он сквозь зубы, в то время как глаза его силились улыбнуться.— Я прошу прощения и напишу Синтии письмо, из которого для всех будет ясно, что я, например, негодяй. Тогда меня оставят в покое.

— Конечно,— сказал я мирным тоном,— ты или подделал вексель, или убил тетку. Это ведь так на тебя похоже. Элион Стар, я тебя спрашиваю — отбросим шутки в сторону,— почему ты обидел эту прекрасную девушку?

Эли беспомощно развел руками и стал смотреть вниз. Кажется, он сильно страдал. Я не торопил его; мы молчали.

— Расскажешь,— подозрительно сказал он, испытующе взглянув на меня.— Я не хочу этого, потому что мне нельзя верить, Кестер,— конечно, я отбрасываю прежнюю жизнь в сторону, но я не в силах поступить иначе. Если я расскажу тебе, в чем дело, то погублю все. Вы — то есть ты и Генникер — отправите меня с доктором и будете уверять Синтию, что все обстоит прекрасно.

— Эли, я даю слово.

Не знаю почему,— эти мои вялые, неуверенные слова ободрили его. Может быть, он и сам искал случая поделиться с кем-нибудь тем странным и величественным миром, который стал близок его душе.

Он как будто повеселел. «В самом деле»,— говорили его глаза. Но он все еще колебался; казалось, желание быть в роли вынужденного рассказчика превышало его собственную потребность в откровенности. Я продолжал уговаривать его, понукать, он сдавался. Излишне приводить здесь те скомканные полуотрывочные фразы, которые обыкновенно предшествуют рассказу всякого потрясенного человека. Эли высыпал их достаточно, пока коснулся сущности дела, и вот что он рассказал мне:

«Две недели назад утром я проснулся в тоскли-

вом настроении духа и тела. К этому обычному для меня в последнее время состоянию примешивалось непонятное, тревожное ожидание. Вместе с тем я испытывал ощущение глубокого, торжественного простора, который, так сказать, проникал в меня неизвестно откуда; я был в четырех стенах.

Я вышел на улицу, погруженный в молчаливое созерцание солнечных улиц и движущейся толпы. У первого перекрестка меня поразил маленький цветущий холм, пересекавший дорогу как раз в середине каменного тротуара. С глубоким удивлением (потому что это центральная часть города) рассматривал я степную ромашку, маргаритки и зеленую невысокую траву. Тогда господин, шедший впереди меня по тому же самому тротуару, прошел сквозь холм, да, он погрузился в него по пояс и удалился, как будто это была не земля, а легкий ночной туман.

Я оглянулся, Кестер; город принимал странный вид: дома, улицы, вывески, трубы — все было как бы сделано из кисеи, в прозрачности которой лежали странные пейзажи, мешаясь своими очертаниями с угловатостью городских линий; совершенно новая, невиданная мною местность лежала на том же месте, где город. Случалось ли тебе испытывать мгновенный дефект зрения, когда все окружающее двоится в глазах? Это может дать тебе некоторое представление о моих впечатлениях, с той разницей, что для меня предметы стали как бы прозрачными, и я видел одновременно сливающимися, пронизывающими друг друга — два мира, из которых один был наш город, а другой представлял цветущую, холмистую степь, с далекими на горизонте голубыми горами.

Я был бы идиотом, если бы захотел дать тебе уразуметь степень потрясения, уничтожившего меня до полного паралича мысли; пестрая вереница красок сверкала перед моими глазами, небо стало почти темным от густой синевы, в то время как яркий поток света обнимал землю. Ошеломленный, я поспешил назад. Я пришел домой по каменному настилу мостовой и восхитительно густой траве изумрудного блеска. Поднимаясь по лестнице, я видел внизу, в комнате привратника, продолжение все той же, имевшей полную реальность картины — дикие кусты, ручей, пересекавший улицу.

С наступлением вечера двойственность стала туск-

неть; еще некоторое время я различал линию таинственного горизонта, но и она угасла, как солнце на западе, когда мрак ночи охватил город.

На следующий день я проснулся, продолжая разглядывать второй мир земли с чувством непостижимого сладкого ужаса. Не было более оснований сомневаться; тот же странный, великолепный пейзаж сверкал сквозь очертания города; я мог изучать его, не поднимаясь с постели. Широкая, туманная от голубой пыли, дорога вилась поперек степи, уходя к горам, теряясь в их величавой громаде, полной лиловых теней. Неизвестные, полуголые люди двигались непрерывной толпой по этой дороге; то был настоящий живой поток; скрипели обозы, караваны верблюдов, нагруженных неизвестной кладью, двигались, мотая головами, к таинственному амфитеатру гор; смуглые дети, женщины нездешней красоты, воины в странном вооружении, с золотыми украшениями в ушах и на груди стремились неудержимо, перегоняя друг друга. Это походило на огромное переселение. Сверкающая цветная лента толпы, звуки музыкальных инструментов, скрип колес, крик верблюдов и мулов, смешанный разговор на непонятном наречии — все это действовало на меня так же, как солнечный свет на прозревшего слепца.

Толпы эти проходили сквозь город, дома, и странно было видеть, Кестер, как чистенько одетые горожане, трамваи, экипажи скрещиваются с этим потоком, сливаются и расходятся, не оставляя друг на друге следов малейшего прикосновения. Тогда я заметил, что лица смуглых людей, мужчин и женщин — ясны, как весенний поток.

Снова с наступлением темноты я перестал видеть виденное и проходил всю ночь, не раздеваясь, по комнатам. «Куда идут эти люди?» — спрашивал я себя. Движение не прекращалось вплоть до сегодняшнего дня. Кестер, я вижу изо дня в день эту стремительную массу людей, проходящих через великую степь. Несомненно, их привлекает страна, лежащая за горами. Я пойду с ними. Я твердо решил это, я завидую глубокой уверенности их лиц. Там, куда направляются эти люди, непременно должны быть чудесные, немыслимые для нас вещи. Я буду идти, придерживаясь направления с т е п н о й д о р о г и».

Он смолк. Лицо его было необыкновенно в этот момент, я действительно верил тогда, что Эли видит

что-то непостижимое для обыкновенного человека. Он не мистифицировал. Глубокое волнение, с которым он закончил свой рассказ, производило потрясающее впечатление. Вместе с тем я чувствовал потребность немедленно идти к Генникеру и обсудить качества одной хорошей лечебницы.

Я ушел, оставив Эли в глубокой задумчивости. Мне нечего было сказать ему, расспросы же могли вызвать только новый приступ экзальтации. Генникера я не застал, он ушел, соскучившись ждать. Но на другой же день родственникам Эли пришлось поместить газетную публикацию:

«Разыскивается молодой человек, Элион Стар, среднего роста, блондин, с хорошими манерами, маленькие руки и ноги, тихий голос; вышел из дома с небольшим ручным саквояжем в 11 ч. утра. Указавшему местопребывание Стара будет выдано хорошее вознаграждение».

В солидной, купеческой гостиной сидели пожилые люди, коммерсанты, две барышни, их мамаша и я. Хозяин дома, выйдя из кабинета, сказал мне:

— Кестер, помните нашумевшую десять лет назад историю с загадочным исчезновением юноши Элиона Стара? Он был ваш друг.

— Да, помню,— сказал я.

— Он умер. Родственники его получили на днях полицейское официальное уведомление об этом из Рио-Жанейро. При нем нашли документы, указывающие его имя и звание.

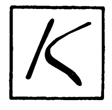
Я встал.

— Да... бедняга,— продолжал хозяин,— он умер в отрепьях, с наружностью закоренелого бродяги, если судить по фотографической карточке, снятой полицейским врачом. Умер он в какой-то харчевне. Отец Эли за большие деньги выписал сюда этого врача, чтобы расспросить самому, как выглядел его сын. «Он лежал совершенно спокойно,— сказал отцу Эли врач,— казалось, что он спит. В лице его было непонятно одно — улыбка. Мертвый, он улыбался».

Я наклонил голову, отдавая этим последнюю дань моему молодому другу. «Он улыбался». Неужели он нашел перед смертью страну, лежащую за горами?

ПОДАРЕННАЯ ЖИЗНЬ

I



оркин был человек средней физической силы, тщедушного сложения; его здоровый глаз, по контрасту с выбитым, закрывшимся, смотрел с удвоенным напряжением; он брился, напоминая этим трактирного официанта. В общем, худощавое кривое его лицо не производило страшного впечатления. «Джонка», бурое пальто и шарф были его бессменной одеждой. Он никогда не смеялся, а говорил голосом тонким и тихим.

В субботу вечером Коркин сидел в трактире и пил чай, обдумывая, где бы заночевать. Его искала полиция. Хлопнула, дохнув морозным паром, дверь; вошел испитой мальчишка, лет четырнадцати. Он осмотрелся, увидел Коркина и, подмигнув, направился к нему.

— Тебя, слышь, хотят тут, дело тебе есть,— сказал он, подсаживаясь.— Фрайер спрашивал.

— Чего это?

— Какой-то барин,— сказал хулиган,— я с ним снюхался на вокзале. Надо ему кого-то «пришить». Мастера ищет.

— Он где?

— Поедем в «Ливерпуль». Он там в кабинете засел, пьет и бегает. Кулачонко сжал, по столу треснул, зубами скрипнул. Псих.

— Пойдем,— сказал Коркин. Он встал, закрыл шарфом нижнюю часть лица, «джонку» сдвинул к бровям, торопливо докурил папироску и вышел с хулиганом на улицу.

II

По выцветшему, насквозь пропахшему кисло-унылым запахом кабинету «Ливерпуля» расхаживал, нервно потирая руки, человек лет тридцати. На нем был короткий, в талию, серый полушубок, белый барашек на рукавах и воротнике придавал полушубку вид фатовской, дамский. Шапка, тоже белая, сидела на бородатой, жеманно откинутой голове очень кокетливо.

Мрачное лицо, с выдающейся нижней челюстью, обведенной густой, подстриженной клинышком, темной бородой; впалые, беспокойные глаза, закрученные торчком усы и нечто танцующее во всех движениях от скользящей, конькобежной походки до выворачивания наотлет локтей,— давали общее впечатление холеного, истеричного самца.

Коркин, постучав, вошел. Неизвестный нервически заморгал.

— По делу звали,— сказал Коркин, смотря на бутылки.

— Да, да, по делу,— заговорил шепотом неизвестный.— Вы — тот самый?

— Тот самый.

— Вы... пьете?

По тому, как он резко сказал «вы»,— Коркин видел, что барин презирает его.

— Пьете,— нахально ответил Коркин; сел, налил и выпил.

Барин некоторое время молчал, воздушно поглаживая бороду пальцами.

— Обтяпайте мне одно дело,— хмуро сказал он.

— Говорите... зачем звали.

— Мне нужно, чтобы одного человека не было. За это получите вы тысячу рублей, а задатком теперь триста.

Левая щека его задергалась, глаза вспухли.

Коркин выпил вторую порцию и съязвил:

— Самому-то вам... слабó... или как?..

— Что? Что? — встрепенулся барин.

— Сами... трусите?..

Барин устремился к окну и, постояв там вполоборота, кинул:

— Болван!

— Сам болван,— спокойно ответил Коркин.

Барин как бы не расслышал этого. Присев к столу, он объяснил Коркину, что желает смерти студента Покровского; дал его адрес, описал наружность и уплатил триста рублей.

— В три дня будет готов Покровский,— сухо сказал Коркин.— По газетам узнаете.

Они условились, где встретиться для доплаты, и расстались.

III

Весь следующий день Коркин напрасно подстерегал жертву. Студент не входил и не выходил.

К семи часам вечера Коркин устал и проголодался. Размыслив, решил он отложить дело до завтра. Кинув последний раз взгляд на черную арку ворот, Коркин направился в трактир. За едой он заметил, что ему как-то не по себе: ныли суставы, вздрагивалось, хотелось тянуться. Пища казалась лишенной запаха. Однако Коркину не пришло в голову, что он простужен.

Преступник с отвращением доел щи. Сидя потом за чаем, он испытывал неопределенную тревогу. Бродили беспокойные мысли, раздражал яркий свет ламп. Коркин хотел уснуть, забыв о полиции, железной гирьке, приготовленной для Покровского, и всём на свете. Но притон, где он ночевал, открывался в одиннадцать.

У Коркина оставалось два свободных часа. Он решил провести их в кинематографе. На него напало странное легкомыслие, полное презрение к сыщикам и тупое безразличие ко всему.

Он зашел в какой-то из «Биоскопов». При кинематографе этом существовал так называемый «Анатомический музей», произвольное собрание восковых моделей частей человеческого тела. Коркин зашел и сюда.

С порога Коркин осмотрел комнату. За стеклами виднелось нечто красное, голубое, розовое и синее, и в каждом таком непривычных очертаний предмете был намек на тело самого Коркина.

Вдруг он испытал необъяснимую тягость, сильное сердцебиение — потому ли, что встретился с объектом своего «дела» в его, так сказать, непривычном, бесстрастно интимном виде, или же потому, что на модели, изображающие сердце, легкие, печень, мозг, глаза и т. п., смотрели вместе с ним незнакомые люди, далекие от подозрения, что такие же, только живые механизмы уничтожались им, Коркиным,— он не знал. Его резкое, новое ощущение походило на то, как если бы, находясь в большом обществе, он увидел себя совершенно нагим, раздетым таинственно и мгновенно.

Коркин подошел ближе к ящикам; заключенное в них магически притягивало его. Прежде других бросилась ему в глаза надпись: «Кровеносная система дыхательных путей». Он увидел нечто похожее на дерево

без листьев, серого цвета, с бесчисленными мелкими разветвлениями. Это казалось очень хрупким, изысканным. Затем Коркин долго смотрел на красного человека без кожи; сотни овальных мускулов вплетались один в другой, тесно обливая костяк упругими очертаниями; они выглядели сухо и гордо; по красной мускулатуре струились тысячи синих жил.

Рядом с этим ящиком блестел большой черный глаз; за его ресницами и роговой оболочкой виднелись некие, непонятные Коркину, похожие на маленький станок, части, и он, тупо смотря на них, вспомнил свой выбитый глаз, за которым, следовательно, был сокрушен такой же таинственный станок, как тот, которые он видел.

Коркин осмотрел тщательно все: мозг, напоминающий ядро грецкого ореха; разрез головы по линии профиля, где было видно множество отделений, пустот и перегородок; легкие, похожие на два больших розовых лопуха, и еще много чего, оставившего в нем чувство жуткой оторопелости. Все это казалось ему запретным, случайно и преступно подсмотренным. В целомудренной, восковой выразительности моделей пряталась пугающая тайна.

Коркин направился к выходу. Проходя мимо старика извозчика, стоявшего рядом с бабой в платке, он услышал, как извозчик сказал:

— Все как есть показано, Вавиловна. Работа божья... хитрая... и-их — хитрая заводь! Все, это... мы, значит, вовнутри, вот... да-а!

Суеверный страх проник в Коркина — страх мужика, давно приглушенный городом. В среде, где все явления жизни и природы: рост трав, хлеба, смерть и болезнь, несчастье и радость,— неизменно связываются с богом и его волей — никогда не исчезает такое суеверное отношение к малопонятному. Коркин шел по улице, с трудом одолевая страх. Наконец страх прошел, оставив усталость и раздражение.

Коркин хотел уже направиться к ночлегу, но вспомнил о студенте Покровском. Его непреодолимо потянуло увидеть этого человека, хотя бы мельком, не зная даже, удастся ли убить его сегодня; он испытывал томительное желание прикоснуться к решению, к концу «дела»; войти в круг знакомого, тяжкого возбуждения.

Он подошел к *тем* воротам и, подождав немного, вдруг столкнулся лицом к лицу с вышедшим из-под

ворот на улицу высоким, прихрамывающим молодым человеком.

— Он,— сличив приметы, сказал Коркин и потянулся, как собака, сзади студента. Вокруг не видно было прохожих. «Амба! — подумал Коркин,— ударю его». Дрожа от озноба, вынул он гирьку, но тут, останавливая решение, показалось Коркину, что у студента, если забежать вперед, окажутся закрывающие все лицо огромные глаза с таинственными станками. Он увидел также, что тело студента под пальто лишено кожи, что мускулы и сухожилья, сплетаясь в ритмических сокращениях, живут строгой, сложной жизнью, видят Коркина и повелительно отстраняют его.

Чувствуя, что рука не поднимается, что страшно и глухо вокруг, Коркин прошел мимо студента, кинув сквозь зубы:

— Даром живете.

— Что такое? — быстро спросил студент, отшатываясь.

— Даром живете! — повторил Коркин и, зная уже, с тупой покорностью совершившемуся, что студент никогда не будет убит им,— свернул в переулок.

БАТАЛИСТ ШУАН

I

Путешествовать с альбомом и красками, несмотря на револьвер и массу охранительных документов, в разоренной, занятой пруссаками стране — предприятие, разумеется, смелое. Но в наше время смельчаками хоть пруд пруди.

Стоял задумчивый, с красной на ясном небе зарей — вечер, когда Шуан, в сопровождении слуги Матиа, крепкого, высокого человека, подъехал к разрушенному городку N. Оба совершали путь верхом.

Они миновали обгоревшие развалины станции и углубились в мертвую тишину улиц. Шуан первый раз видел разрушенный город. Зрелище захватило и смутило его. Далекой древностью, временами Аттилы и Чин-

гисхана отмечены были, казалось, слепые, мертвые обломки стен и оград.

Не было ни одного целого дома. Груды кирпичей и мусора лежали под ними. Всюду, куда падал взгляд, зияли огромные бреши, сделанные снарядами, и глаз художника, угадывая местами по развалинам живописную старину или оригинальный замысел современного архитектора, болезненно щурился.

— Чистая работа, господин Шуан,— сказал Матиа,— после такого опустошения, сдается мне, осталось мало охотников жить здесь!

— Верно, Матиа, никого не видно на улицах,— вздохнул Шуан.— Печально и противно смотреть на все это. Знаешь, Матиа, я, кажется, здесь поработаю. Окружающее возбуждает меня. Мы будем спать, Матиа, в холодных развалинах. Тсс! Что это?! Ты слышишь голоса за углом?! Тут есть живые люди!

— Или живые пруссаки,— озабоченно заметил слуга, смотря на мелькание теней в грудах камней.

II

Три мародера, двое мужчин и женщина, бродили в это же время среди развалин. Подлое ремесло держало их все время под страхом расстрела, поэтому, ежеминутно оглядываясь и прислушиваясь, шайка уловила слабые звуки голосов — разговор Шуана и Матиа. Один мародер — «Линза» был любовником женщины; второй — «Брелок» — ее братом; женщина носила прозвище «Рыба», данное в силу ее увертливости и живости.

— Эй, дети мои! — прошептал Линза.— Цыть! Слушайте.

— Кто-то едет,— сказал Брелок.— Надо узнать.

— Ступай же! — сказала Рыба.— Поди высмотри, кто там, да только скорее.

Брелок обежал квартал и выглянул из-за угла на дорогу. Вид всадников успокоил его. Шуан и слуга, одетые по-дорожному, не возбуждали никаких опасений. Брелок направился к путешественникам. У него не было еще никакого расчета и плана, но, правильно рассудив, что в такое время хорошо одетым, на сытых лошадях людям немыслимо скитаться без денег, он хотел узнать, нет ли поживы.

— А! Вот! — сказал, заметив его, Шуан.— Идет

один живой человек. Поди-ка сюда, бедняжка. Ты кто?

— Бывший сапожный мастер,— сказал Брелок,— была у меня мастерская, а теперь хожу босиком.

— А есть кто-нибудь еще живой в городе?

— Нет. Все ушли... все; может быть, кто-нибудь...— Брелок замолчал, обдумывая внезапно сверкнувшую мысль. Чтобы привести ее в исполнение, ему требовалось все же узнать, кто путешественники.

— Если вы ищете своих родственников,— сказал Брелок, делая опечаленное лицо,— ступайте в деревушки, что у Милета, туда потянулись все.

— Я — художник, а Матиа — мой слуга. Но — показалось мне или нет — я слышал невдалеке, чей-то разговор. Кто там?

Брелок мрачно махнул рукой.

— Хм! Двое несчастных сумасшедших. Муж и жена. У них, видите, убило снарядом детей. Они рехнулись на том, что все обстоит по-прежнему, дети живы и городок цел.

— Слышишь, Матиа? — сказал, помолчав, Шуан.— Вот ужас, где замечания излишни, а подробности нестерпимы.— Он обратился к Брелоку: — Послушай, милый: я хочу видеть этих безумцев. Проведи нас туда.

— Пожалуй,— сказал Брелок,— только я пойду посмотрю, что они делают, может быть, они пошли к какому-нибудь воображаемому знакомому.

Он возвратился к сообщникам. В течение нескольких минут толково, подробно и убедительно внушал он Линзе и Рыбе свой замысел. Наконец они столковались. Рыба должна была совершенно молчать. Линза обязывался изобразить сумасшедшего отца, а Брелок — дальнего родственника стариков.

— Откровенно говоря,— сказал Брелок,— мы, как здоровые, заставим их держаться от себя подальше. «Что делают трое бродяг в покинутом месте и в такое время?» — спросят они себя.— А в роли безобидных сумасшедших мы, пользуясь первым удобным случаем, убьем обоих. У них должны быть деньги, сестрица, деньги! Нам попадается много тряпок, разбитых ламп и дырявых картин, но где, в какой мусорной куче мы найдем деньги? Я берусь уговаривать мазилку остаться ночевать с нами... Ну, смотрите же теперь в оба!

— Как ты думаешь,— спросил Линза, перебираясь с женщиной в соседний, менее других разрушенный

дом,— трясти мне головой или нет? У сумасшедших часто трясется голова.

— Мы не в театре,— сказала Рыба,— посмотри кругом! Здесь страшно... темно... скоро будет еще темнее. Раз тебя показывают как безумца, что бы ты ни говорил и ни делал — все будет в чужих глазах безумным и диким; да еще в таком месте. Когда-то я жила с вертопрахом Шармером. Обокрав кредиторов и избегая суда, он притворился блаженненьким; ему поверили, он достиг этого только тем, что ходил всюду, держа в зубах пробку. Ты... ты в лучших условиях!

— Правда! — повеселел Линза.— Я уж сыграю рольку, только держись!

III

— Ступайте за мной! — сказал Брелок всадникам.— Кстати, в том доме вы могли бы и переночевать... хоть и безумцы, а все же веселее с людьми.

— Посмотрим, посмотрим,— спешиваясь, ответил Шуан. Они подошли к небольшому дому, из второго этажа которого уже доносились громкие слова мнимосумасшедшего Линзы: «Оставьте меня в покое. Дайте мне повесить эту картинку! А скоро ли подадут ужин?»

Матиа отправился во двор привязать лошадей, а Шуан, следуя за Брелоком, поднялся в пустое помещение, лишенное половины мебели и забросанное тем старым хламом, который обнаруживается во всякой квартире, если ее покидают: картонками, старыми шляпами, свертками с выкройками, сломанными игрушками и еще многими предметами, коим не сразу найдешь имя. Стена фасада и противоположная ей были насквозь пробиты снарядом, обрушившим пласты штукатурки и холсты пыли. На каминной доске горел свечной огарок; Рыба сидела перед камином, обхватив руками колени и неподвижно смотря в одну точку, а Линза, словно не замечая нового человека, ходил из угла в угол с заложенными за спину руками, бросая исподлобья пристальные, угрюмые взгляды. Молодость Шуана, его застенчиво-виноватое, подавленное выражение лица окончательно ободрили Линзу, он знал теперь, что самая грубая игра выйдет великолепно.

— Старуха совсем пришиблена и, кажется, уже ничего не сознает,— шепнул Шуану Брелок,— а старик

все ждет, что дети вернутся! — Здесь Брелок повысил голос, давая понять Линзе, о чем говорить.

— Где Сусанна? — строго обратился Линза к Шуану.— Мы ждем ее, чтобы сесть ужинать. Я голоден, черт возьми! Жена! Это ты распустила детей! Какая гадость! Жану тоже пора готовить уроки... да, вот нынешние дети!

— Обоих — Жана и Сусанночку,— говорил сдавленным шепотом Брелок,— убило, понимаете, одним взрывом снаряда — обоих! Это случилось в лавке... Там были и другие покупатели... Всех разнесло... Я смотрел потом... о, это такой ужас!

— Черт знает что такое! — сказал потрясенный Шуан.— Мне кажется, что вы могли бы, схитрив как-нибудь, убрать этих несчастных из города, где их ждет только голодная смерть.

— Ах, господин, я их подкармливаю, но как?! Какие-нибудь овощи с покинутых огородов, горсть гороху, собранная в пустом амбаре... Конечно, я мог бы увезти их в Гренобль, к моему брату... Но деньги... ах,— как все дорого, очень дорого!

— Мы это устроим,— сказал Шуан, вынимая бумажник и протягивая мошеннику довольно крупную ассигнацию.— Этого должно вам хватить.

Два взгляда — Линзы и Рыбы — исподтишка скрестились на его руке, державшей деньги. Брелок, приняв взволнованный, пораженный вид, вытер рукавом сухие глаза.

— Бог... бог... вам... вас...— забормотал он.

— Ну, бросьте! — сказал растроганный Шуан.— Однако мне нужно посмотреть, что делает Матиа,— и он спустился во двор, слыша за спиной возгласы Линзы: — «Дорогой мой мальчик, иди к папе! Вот ты опять ушиб ногу!» — Это сопровождалось искренним, неподдельным хохотом мародера, вполне довольного собой. Но Шуан, иначе понимая этот смех, был сильно удручен им.

Он столкнулся с Матиа за колодцем.

— Нашел мешок сена,— сказал слуга,— но выбегал множество дворов. Лошади поставлены здесь, в сарае.

— Мы ляжем вместе около лошадей,— сказал Шуан.— Я голоден. Дай сюда сумку.— Он отделил часть провизии, велев Матиа отнести ее «сумасшедшим».— Я больше не пойду туда,— прибавил он,— их

вид действует мне на нервы. Если тот молодой парень спросит обо мне, скажи, что я уже лег.

Приладив свой фонарь на перевернутом ящике, Шуан занялся походной едой: консервами, хлебом и вином. Матиа ушел. Творческая мысль Шуана работала в направлении только что виденного. И вдруг, как это бывает в счастливые, роковые минуты вдохновения,— Шуан ясно, со всеми подробностями увидел ненаписанную картину, ту самую, о которой в тусклом состоянии ума и фантазии тоскуют, не находя сюжета, а властное желание произвести нечто вообще грандиозное, без ясного плана, даже без отдаленного представления об искомом, не перестает мучить. Таким произведением, во всей гармоничности замысла, компоновки и исполнения, был полон теперь Шуан и, как сказано, весьма отчетливо представлял его. Он намеревался изобразить помешанных, отца и мать, сидящих за столом в ожидании детей. Картина разрушенного помещения была у него под руками. Стол, как бы накрытый к ужину, должен был, по плану Шуана, ясно показывать невменяемость стариков: среди разбитых тарелок (пустых, конечно) предполагал он разместить предметы посторонние, чуждые еде; все вместе олицетворяло, таким образом, смешение представлений. Старики помешаны на том, что ничего не случилось, и дети, вернувшись откуда-то, сядут, как всегда, за стол. А в дальнем левом углу заднего плана из сгущенного мрака слабо выступает осторожно намеченный кусок ограды (что как бы грезится старикам), и у ограды видны тела юноши и девушки, которые не вернутся. Подпись к картине: «Заставляют стариков ждать...», долженствующая указать искреннюю веру несчастных в возвращение детей, сама собой родилась в голове Шуана... Он перестал есть, увлеченный сюжетом. Ему казалось, что все бедствия, вся скорбь войны могут быть выражены здесь, воплощены в этих фигурах ужасной силой таланта, присущего ему... Он видел уже толпы народа, стремящегося на выставку к его картине; он улыбался мечтательно и скорбно, как бы сознавая, что обязан славой несчастью — и вот, забыв о еде, вынул альбом. Ему хотелось немедленно приступить к работе. Взяв карандаш, нанес он им на чистый картон предварительные соображения перспективы и не мог остановиться... Шуан рисовал пока дальний угол помещения, где в мраке видны тела... За его спиной скрипнула дверь; он обер-

нулся, вскочил, сразу возвращаясь к действительности, и уронил альбом.

— Матиа! Ко мне! — закричал он, отбиваясь от стремительно кинувшихся на него Брелока и Линзы.

IV

Матиа, оставив Шуана, разыскал лестницу, ведущую во второй этаж, где зловещие актеры, услышав его шаги, приняли уже нужные положения. Рыба села опять на стул, смотря в одну точку, а Линза водил по стене пальцем, бессмысленно улыбаясь.

— Вы, я думаю, все тут голодны,— сказал Матиа, кладя на подоконник провизию,— ешьте. Тут хлеб, сыр и банка с маслом.

— Благодарю за всех,— проникновенно ответил Брелок, незаметно подмигивая Линзе в виде сигнала быть настороже и, улучив момент, повалить Матиа.— Твой господин устал, надо быть. Спит?

— Да... Он улегся. Плохой ночлег, но ничего не поделаешь. Хорошо, что водопровод дал воды, а то лошадям было бы...

Он не договорил. Матиа, стоя лицом к Брелоку, не видел, как Линза, потеряв вдруг охоту бормотать что-то про себя, разглядывая стену, быстро нагнулся, поднял тяжелую дубовую ножку от кресла, вывернутую заранее, размахнулся и ударил слугу по темени. Матиа, с побледневшим лицом, с внезапным туманом в голове, глухо упал, даже не вскрикнув.

Увидав это, Рыба вскочила, торопя наклонившегося над телом Линзу:

— Потом будешь смотреть... Убил так убил. Идите в сарай, кончайте, а я пообшарю этого.

Она стремительно рылась в карманах Матиа, громко шепча вдогонку удаляющимся мошенникам:

— Смотрите же, не сорвитесь!

Увидав свет в сарае, более осторожный Брелок замялся, но Линза, распаленный насилием, злобно потащил его вперед:

— Ты размяк!.. Струсил!.. Мальчишка!.. Нас двое!

Они задержались у двери, плечо к плечу, не более как на минуту, отдышались, угрюмо впиваясь глазами в яркую щель незапертой двери, а затем Линза, толкнув

локтем Брелока, решительно рванул дверь, и мародеры бросились на художника.

Он сопротивлялся с отчаянием, утраивающим силу. «С Матиа, должно быть, покончили»,— мелькнула мысль, так как на его призывы и крики слуга не являлся. Лошади, возбужденные суматохой, рвались с привязей, оглушительно топоча по деревянному настилу. Линза старался ударить Шуана дубовой ножкой по голове, Брелок же, работая кулаками, выбирал удобный момент повалить Шуана, обхватив сзади. Шуан не мог воспользоваться револьвером, не расстегнув предварительно кобуры, а это дало бы мародерам тот минимум времени бездействия жертвы, какой достаточен для смертельного удара. Удары Линзы падали главным образом на руки художника, от чего, немея вследствие страшной боли, они почти отказывались служить. По счастью, одна из лошадей, толкаясь, опрокинула ящик, на котором стоял фонарь, фонарь свалился стеклом вниз, к полу, закрыв свет, и наступил полный мрак.

«Теперь,— подумал Шуан, бросаясь в сторону,— теперь я вам покажу». Он освободил револьвер и брызнул тремя выстрелами наудачу, в разные направления. Красноватый блеск вспышек показал ему две спины, исчезающие за дверью. Он выбежал во двор, проник в дом, поднялся наверх. Старуха исчезла, услыхав выстрелы; на полу у окна, болезненно, с трудом двигаясь, стонал Матиа.

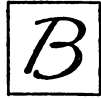
Шуан отправился за водой и смочил голову пострадавшего. Матиа очнулся и сел, держась за голову.

— Матиа,— сказал Шуан,— нам, конечно, не уснуть после таких вещей. Постарайся овладеть силами, а я пойду седлать лошадей. Прочь отсюда! Мы проведем ночь в лесу.

Придя в сарай, Шуан поднял альбом, изорвал только что зарисованную страницу и, вздохнув, разбросал клочки.

«Я был бы сообщником этих гнусов,— сказал он себе,— если бы воспользовался сюжетом, разыгранным ими... «Заставляют стариков ждать...» Какая тема идет насмарку! Но у меня есть славное утешение: одной такой трагедией меньше, ее не было. И кто из нас не отдал бы всех своих картин, не исключая шедевров, если бы за каждую судьба платила отнятой у войны невинной жизнью?»

ПОЕДИНОК ПРЕДВОДИТЕЛЕЙ



глухих джунглях Северной Индии, около озера Изамет, стояла охотничья деревня. А около озера Кинобай стояла другая охотничья деревня. Жители обеих деревень издавна враждовали между собой, и не проходило почти ни одного месяца, чтобы с той или другой стороны не оказался убитым кто-нибудь из охотников, причем убийц невозможно было поймать.

Однажды в озере Изамет вся рыба и вода оказались отравленными, и жители Изамета известили охотников Кинобая, что идут драться с ними на жизнь и смерть, дабы разом покончить изнурительную вражду. Тотчас же как только стало об этом известно, жители обеих деревень соединились в отряды и ушли в леса, чтобы там, рассчитывая напасть врасплох, покончить с врагами.

Прошла неделя, и вот разведчики Изамета выследили воинов Кинобая, засевших в небольшой лощине. Изаметцы решили напасть на кинобайцев немедля и стали готовиться.

Предводителем Изамета был молодой Синг, человек бесстрашный и благородный. У него был свой план войны. Незаметно покинув своих, явился он к кинобайцам и проник в палатку Ирета, вождя врагов Изамета.

Ирет, завидя Синга, схватился за нож. Синг сказал, улыбаясь:

— Я не хочу убивать тебя. Послушай: не пройдет и двух часов, как ты и я с равными силами и равной отвагой кинемся друг на друга. Ясно, что произойдет: никого не останется в живых, а жены и дети наши умрут с голода. Предложи своим воинам то же, что предложу я своим: вместо общей драки драться будем мы с тобой — один на один. Чей предводитель победит — та сторона и победила. Идет?

— Ты прав,— сказал, подумав, Ирет.— Вот тебе моя рука.

Они расстались. Воины обеих сторон радостно согласились на предложение своих предводителей и, устроив перемирие, окружили тесным кольцом цветущую лужайку, на которой происходил поединок.

Ирет и Синг по сигналу бросились друг на друга,

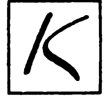
размахивая ножами. Сталь звенела о сталь, прыжки и взмахи рук становились все порывистее и угрожающее, и, улучив момент, Синг, проколов Ирету левую сторону груди, нанес смертельную рану. Ирет еще стоял и дрался, но скоро должен был свалиться. Синг шепнул ему:

— Ирет, ударь меня в сердце, пока можешь. Смерть одного предводителя вызовет ненависть к побежденной стороне, и резня возобновится... Надо, чтоб мы умерли оба; наша смерть уничтожит вражду.

И Ирет ударил Синга ножом в незащищенное сердце; оба, улыбнувшись друг другу в последний раз, упали мертвыми...

У озера Кинобай и озера Изамет нет больше двух деревень: есть одна, и называется она деревней Двух Победителей. Так Синг и Ирет примирили враждовавших людей.

МОРСКОЙ БОЙ



апитан двухмачтового парусника «Элефант» держал курс на зюйд-вест. Умеренный попутный ветер плавно гнал судно к берегам Голландии. Малая зыбь, чистое небо и прозрачный осенний воздух делали утро очаровательным.

Капитан Ван-Кофин подошел к шкиперу Готцу, стоявшему у штурвала.

— Смотри, Готц,— сказал капитан,— смотри в направлении оверштага, ты видишь, сколько дыму на горизонте?!

Действительно, в указанном направлении, черня голубую дугу горизонта длинными, волокнистыми, черными полосами, змеилось множество дымов, указывающих на присутствие целой эскадры. Вдруг долетел отрывистый гул, за ним другой, третий, и полный, нервный гром боевой канонады заставил, казалось, присмиреть море.

Капитан внимательно и жадно прислушивался. Ноздри его раздувались, глаза блестели. В нем говорила кровь древних морских пиратов, грабивших берега Балтики и Финляндии.

— Готц! — сказал капитан хриплым голосом.— Давайте смотреть бой!

— Капитан,— возразил хладнокровный Готц,— если нас заметят, то потопят.

— Не все ли равно? — сказал капитан.— Я, по крайней мере, охотно рискнул бы жизнью за такое редкое зрелище.

Готц — тоже бесстрашный и очень любопытный человек — в конце концов согласился. Взяв руль вправо, он повернул судно бушпритом к центру далеких дымов и закурил трубку.

Корпуса военных судов, скрытые выпуклостью морской поверхности, не были видны, только дым, выпускаемый ими из всех труб, черными, зловещими облаками окуривал небо. Нельзя было определить — кто дерется и с кем. Ужасные удары орудий, казалось, выходили из центра земли — все чаще, ожесточеннее и потрясающе. Все матросы «Элефанта» высыпали на палубу. В общем шуме их восклицаний, замечаний и препирательства по поводу сражения — раздался вдруг голос Готца: «Ребята! Дым бледнеет!»

Капитан и матросы, присмотревшись, убедились, что дым действительно стал бледным и как бы прозрачным. Стрельба продолжалась, но уже глуше и тише, бой как будто удалялся от «Элефанта». Посмотрев на часы и лаг, капитан сказал:

— Через двадцать минут мы будем на том месте, где происходит бой!

— П р о и с х о д и т?! — задумчиво сказал Готц.— Я верю только осязанию, а глазам и ушам — нет.

— Что вы хотите этим сказать?

— Ровно ничего.

По мере приближения «Элефанта» к месту боя — дым таял, как бы раздувался ветром, а выстрелы бухали все тише и тише, как будто экипаж «Элефанта» постепенно быстро глох, и когда шхуна очутилась в точно определенном капитаном месте сражения — перед глазами зрителей расстилалось везде спокойное, пустое, бездымное море, и никакой посторонний звук не долетал с горизонта.

— Боже мой! — сказал капитан, взглянув на Готца.— Вот происхождение рассказов о ч е в и д ц е в о морских крупных сражениях — любопытный пример массовой галлюцинации!

МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА

I

Помещик Старкун трижды напомнил своим знакомым, что вдовому старику скучно сидеть одному в имении, занесенном снегом. Мало кто отозвался на его письма. Большинство, помножив в уме деревенскую тишину на отсутствие напитков и развлечений, осталось в тени. Старкун наконец догадался, в чем дело, и, вытребовав из соседней деревни медвежатника Кира, заказал ему медвежью берлогу. На другой же день Кир, отрывая жесткими пальцами сосульки с заледеневших бороды и усов, стоял перед Старкуном и докладывал, что берлога есть. Тем временем другой мужик, сметливый и лукавый, отправился в Петроград с несколькими записками и привез оттуда два больших таинственных ящика, в которых, когда их поворачивали, что-то булькало.

Вооруженный, таким образом, двумя хорошими развлечениями, Старкун снова разослал письма приятелям, и вот, опаздывая, ссорясь, облизываясь и препираясь, собралась и выехала наконец из Петрограда солидная компания охотников и любителей кутерьмы, среди которых был Константин Максимович Кенин, молодой человек с пылким воображением, неразделенной любовью и страстью к приключениям. Кенин служил в посольстве.

Накануне выезда к Старкуну Кенин зашел в дом 44-б по Фонтанке — нелепый, старый, но самый очаровательный для него дом в столице, где жила «она». Мария Ивановна Братцева, девушка двадцати лет, немного полная, крепкая, высокого роста, с одним из тех красивых и пустых лиц, какие большей частью неотразимы для молодых, сильных и здоровых мужчин. Ее глаза были почти бесцветны, брови высоки и малы, но простая, свежая линия профиля, мягкий на взгляд, свежий и крупный детски-задорный подбородок страстно тянули Кенина к ней как к женщине. Братцева носила галстуки мужского покроя, белокурые с желтизной волосы свертывала пышным затылочным узлом, говорила веским, спокойным, грудным голосом, смеялась раскатисто; в ее присутствии Кенин испытывал томление и тихую любовную злобу.

— Так что же,— сказал Кенин после одной из пауз, обрывая разговор о будущем кинематографа,— значит, у вас ко мне любви нет?

— Конечно, нет. Я ведь вам говорила...— Братцева взяла теплый платок, хотя в комнате было жарко, закутала плечи и пересела в другой угол, рассматривая Кенина внимательными, немигающими глазами.— Послушайте, какая любовь в двадцатом веке,— прибавила она,— и вам и мне нужно работать, делать жизнь.

— Как же вы хотите делать? — натянуто спросил Кенин.

— Да... так... Как выгоднее, удобнее, вкуснее... что ли.— Братцева рассмеялась и вдруг стала серьезной, сказав грустно: — Я, кажется, и любить не могу совсем; я по характеру — одиночка, и связывать себя не хочу.

«Я, по-видимому, и неудобен, и невыгоден, и невкусен,— подумал с раздражением Кенин.— Эта странная новая порода женщин и дразнит, и тянет, и... гневит... Молода, красива, служит в банке, с мужчинами на равную ногу и ждет какого-то случая...» — Вслух он сказал неуверенным, напряженным голосом:

— Я мучительно люблю вас...

— Ну, это пройдет... Киньте мне из коробки конфетку.

Кенин бросил, но неудачно, и Братцева несколько секунд шарила позади стула; затем, усевшись снова основательно и удобно, спросила:

— Вы долго пробудете на охоте?

— Дня два... не больше.

— Возьмите меня.— Она выпрямилась и благосклонно блеснула глазами.— Я, надеюсь, не помешаю вам?

— Что вы! — обрадовался и смешался Кенин.— Это так хорошо... с удовольствием... конечно, едем!.. Все, что хотите.

— С одним условием: если медведя застрелите вы — он мой.

— Оба ваши, Мария Ивановна,— я и медведь.

— Нет, пока что медведь.— Она так неопределенно вытянула эту фразу, что Кенин взволновался и радостно насторожился.— Где же мы встретимся и когда?

— Можно на вокзале...— задумчиво сказал Кенин и тихо прибавал: — Или у меня...

— Зачем же мне делать крюк? — наивно осведомилась Братцева.— Когда идет поезд?

— Одиннадцать с четвертью.

— Ну и хорошо, я приду к поезду.

— И не забудьте потеплее одеться. Кстати, дам, кроме вас, больше не будет.

— Так и должно быть,— сказала Братцева.— Один медведь — одной даме. Но только убить его должны вы.

— Да,— кратко и решительно подтвердил Кенин, чувствуя небывалый прилив уверенности,— но вы... и зачем вам нужен медведь?

— В таком подарке есть что-то значительное, оригинальное... мертвый медведь у моих ног,— нет, это стоит потерять сутки! — Она подумала и прибавила: — Говорят, шкура в отделке ценится в полтораста рублей.

— Какая отделка,— сказал Кенин и, посмотрев на часы, стал прощаться. Было полчаса первого. Почтительно и любовно поцеловав маленькую, но твердую, незаметно ускользающую руку девушки, Кенин, веселый и размечтавшийся, поехал домой. Медведь казался ему первым этапом в светлое будущее.

II

С часа ночи до пяти часов утра Кенин не спал, расхаживая по своей маленькой, холостой квартире и стараясь опередить воображением будущую охоту с ее милым ободряющим присутствием любимой женщины. Кенин курил папиросу за папиросой. Больше всего изумляло и радовало Кенина неожиданное решение Братцевой ехать с ним. «Это может быть милый женский каприз... а может... ее начинает бессознательно тянуть ко мне». Он не знал еще, что женщин, подобных Братцевой, инстинктивно влечет большая мужская компания, где в силу собственной холодности они чувствуют себя свободно, повелительно.

Хотя Кенин никогда не только не стрелял по медведю, но даже не видел его свободным, в родной лесной обстановке, он все же достаточно читал и слышал об этом звере и даже видел на кинематографических экранах подлинные медвежьи охоты. Поэтому, пришпорив фантазию, Кенин ясно увидел лес, снег, медведя, выстрел и агонию зверя. Все это рисовал он себе так: белая, утренняя, морозная тишина, палец на спуске, сердцебиение, самообладание; вдруг раздвигаются

кусты, и страшная голова с оскаленными зубами рычит в десяти шагах, громовой выстрел — только один; пуля пробивает череп зверя меж глаз, и снова все тихо, конвульсивно содрогающийся труп миши лежит, зарыв голову в снег, а Кенин, спокойно закурив папиросу, трубит в рожок некий фантастический сигнал: «Тру-ту-ту-туту-тру-у!», трубит весело, коротко и пронзительно; а дальше начинался апофеоз, в котором сияющее, морозно-румяное лицо Братцевой играло главную роль.

Усталый и накурившийся до одурения Кенин наконец лег спать, предварительно полюбовавшись еще раз солидным американским штуцером-магазинкой, взятым у знакомого, и прицелившись раз пятнадцать в безответную ножку стула.

На другой день, в вагоне, бок о бок с Марией Ивановной, в кругу усатых, красноносых, неуловимо бахвальных лиц (выехали исключительно, кроме Кенина с Братцевой, пьяницы и охотники), Кенин почувствовал себя очень бывалым, почти американским стрелком и не уступал другим в детски хвастливых рассказах. Он, правда, мог говорить только о болотной и мелкой лесной дичи, но говорил так самолюбиво и много, что его наконец стали бесцеремонно перебивать. Часто он обращался к Братцевой, стараясь, не обращая внимания других, ввернуть тонкий интимный намек вроде: «А я все думаю»... «Мое настроение зависит от будущего»... «Мне весело, потому что»...— пауза, долгий, влажно-бараний взгляд, улыбка и заключение: «Потому что я вообще люблю... ездить». Он не замечал, как спутники, взглядывая на него, подталкивают друг друга коленками и локтями, но Братцева была наблюдательнее. Взяв тон мило напросившейся, но поэтому и осторожно скромной в дальнейшем, хотя ревниво чувствительной к собственному достоинству особы, она спустя недолгое время стала центром и возбудителем общего внимания. Две бутылки коньяку, взятые на дорогу, совсем подняли настроение, а когда в сумерках не освещенного еще вагона хриплый баритон купца Кикина заявил: «А вот этого медведя, братцы, Марью Ивановну, заполевать куда бы почтеннее!» — девушка раскатисто засмеялась. Кенин посмотрел на нее ревниво и грустно.

III

Утром другого дня, проснувшись в жарко натопленной, большой, закиданной окурками и пробками комнате, Кенин смутно припомнил гул вчерашней попойки. Гости бушевали и пели, но удержались чудом в едва не лопнувшей рамке приличия. Мария Ивановна все время пересаживалась подальше от Кенина, громко бормотавшего пьяную любовную чепуху. Она одинаково ровной, задорной и разговорчивой сумела быть решительно со всеми, не исключая лысого, пузатого Старкуна, умильно целовавшего гостей в щеки и носы и щедро проливавшего водку по тарелкам и пиджакам. Кенин бешено ревновал Братцеву, посылая ей многозначительные, мрачные взгляды.

Кенин проснулся сам; было еще темно, но егерь Михайло, человек строгой наружности, с свечой в руке командующим голосом будил остальных:

— Зря спите, господа; вставать надо, выезжать надо!

Через час собрались в столовой; завтрак на скорую руку — рюмка-другая на похмелье, синеющие, а затем голубеющие окна рассвета, стук ружей, щелканье осматриваемых курков — все это показалось Кенину живописным и необычным. К влюбленности его примешивалось сладкое ожидание опасности и успеха. В свете лунного зимнего утра спустилась вниз и Марья Ивановна; яркое, свежее лицо ее весело осматривало пустыми глазами компанию и обстановку.

— Ура, царица охоты, Марья Ивановна! — закричал Кенин, когда Братцева сказала, что она тоже поедет, ссылаясь на скуку ожидания в усадьбе. Кенин сказал: — Благословите, Марья Ивановна. За вашим медведем отправляется раб ваш в страшные дебри Амазонки.

— Ну, смотрите же! — Она так мило подставила ему руку для поцелуя, что Кенин растаял и шепнул:

— За что мучаете? — Но Братцева, как бы не слышав, ушла одеваться.

IV

Кенину на жеребьевке выпал хороший «номер». Он стал на дальнем краю небольшой, круглой поляны, с двумя, идущими влево и вправо от нее глубокими

просветами. В такое широкое поле зрения медведь мог попасть весьма удачно для выстрела. Кенин осматривался, хотел закурить, но вспомнил, что это запрещено, и стал ждать. Сердце его билось с приличной быстротой, какая хотя и не говорит о трусости, но указывает все же на нервное томление и тревогу. Всюду, куда хватал взгляд,— царил снег. Белые пушистые лапы елей гнулись к земле, загромождая ясный, как вымытое стекло, воздух пышными узорами белизны; розовые и голубые искры дрожали в нем; снег внизу, теневой, казался прозрачно-синим, а солнечный — серебряной парчой с золотыми блестками. Анемично-бледное, ясное, холодное небо покрывало лес.

Впереди Кенина сердито и звонко лаяли невидимые собаки, припадая к берлоге. Кенин думал о медведе и Братцевой: «А если медведь загрызет меня, я больше не увижу ее». И он вспомнил, как ехал сегодня с ней в санях по лесной дороге и какой неотразимо желанной была она в своих белых — шапочке, кавказском башлыке и толстых, смешных валенках. Потом представился ему тяжелый сон зверя в темной берлоге, налитые кровью глаза собак, их вздыбившаяся, наэлектризованная яростным нетерпением шерсть... Лай собак стал еще хриплее, азартнее и громче. Кенин, не отрываясь, щупал глазами снежную полянку с ее боковыми просветами, как вдруг на противоположном ее конце из заросли можжевельника взлетел клуб снежной сухой пыли, и неуклюжее, темное, лохматое туловище, от которого шел пар, как от горячего теста, ворча и сопя, кинулось к месту, где стоял Кенин. Четыре сибирских лайки с налету рвали ноги и бока зверя. Медведь, проворно кружась волчком, старался расшибить лапой собак, но, промахиваясь, несся дальше. Кенин, стискивая дрожащими руками ружье, целился в медведя в о о б щ е — все охотничьи наставления о прицеле под лопатку, в лопатку, затылок и лоб разом, дружно покинули его память. Медведь был шагах в тридцати от Кенина, он выстрелил и спешно повернул рычаг штуцера.

Почти одновременно с гулким толчком выстрела медведь сунулся головой в снег; передняя половина его тела так и осталась неподвижной, в то время как зад и задние лапы, оседая, конвульсивно тряслись. Собаки отскочили, припали к снегу и бросились на врага снова.

— Ура-а! — неистово, дико закричал Кенин, понимая сквозь экстаз и трепет удачи, что с этого момента

герой дня — он, Кенин. Спотыкаясь, побежал он к медведю, крича на рвущих зверя собак: «Кшшш! Пошли вон!»...— словно гнал мух. У ног его, продавив наст, лежала спиной вверх бурая туша; некоторое время Кенин ничего не видел и не понимал, кроме медведя. Собравшиеся на выстрел и крик охотники шумной кучей окружили Кенина: «Везет новичкам». «Как раз в сердце попадено». «Нелепый выстрел». «Лепый — нелепый, а наша взяла»,— слышал он, как во сне, но через несколько минут волнение улеглось, и Кенин увидел торжествующее, веселое лицо Братцевой. Она тоже пришла на выстрел и крики из оставленных неподалеку саней, где соскучилась ждать.

— Мой миша? — спросила она.

— Ваш,— сказал Кенин, все еще чуть не плача от радости.

— Какой большой.— Она присела, сняла перчатку и стала гладить теплый, как бы еще живой мех. Багровая густая кровь попала на ее пальцы; слегка гримасничая, Братцева спокойно вытерла руку о шерсть медведя и выпрямилась.

— Продайте медведя, барышня! — молитвенно возопил Кикин.— Сто рублей сейчас выложу!

Она посмотрела на него и что-то сообразила...

— Мало,— крикнула Братцева,— тут четыре окорока, господин купец, да шкура, да жир!

— Что вы, Марья Ивановна,— хихикая, суетился Кикин,— медведь худой, паршивый! Это уж я для вас сто даю.

Кенин изумленно смотрел на Братцеву. Она искренне деловито горячилась, доказывая, что медведь стоит двести, словно всю жизнь торговала медведями. Голос ее стал пронзительным и лукавым.

Сошлись на ста семидесяти пяти, и Кикин тут же отсчитал деньги; девушка, аккуратно свернув их, сунула за воротник платья; брови ее были при этом задумчиво сдвинуты, а губы плотно сжаты. «Как говорится, охулки на руку ты не положишь!» — с неприязнью подумал Кенин. Ему казалось, что он стал смешон в глазах всех, так как его подарок продавался тут же, при нем. Кенин грустно посмотрел на медведя. Большой, смелый, умный и ловкий зверь погиб от (и действительно!) шальной пули, ради семи четвертных, выторгованных хитрой, практической и холодной особой женского пола.

«Прости нас,— мысленно сказал Кенин медведю, вспомнив читанное где-то обращение дикарей к убитому зверю,— за то, что мы убили тебя!» И он вспомнил еще маленькие, справедливо-злые глаза царя русских лесов, когда он, отбиваясь от собак, бежал к смерти.

— Зачем вы сделали это? — спросил Кенин Братцеву, когда они возвращались к саням.

— Но это же предрассудок, Кенин! — возразила она.— Не все ли равно — лежит ваш подарок у меня в кармане или под ногами — ковром?

— Так-то так...— холодно сказал Кенин. Чувствуя, что эта девушка уже далекая и чужая ему, он в последний раз посмотрел на нее сбоку взглядом мужчины, и... сильное, голое, страстное желание вдруг отозвалось в его груди сильным, томным сердцебиением. Но и тени влюбленности не было уже в этой последней вспышке. Рассерженный и смущенный, Кенин нагнулся, схватил горсть снега и сунул его за ворот полушубка. Колючие, ледяные струйки потекли по спине. Вскоре показалась лесная дорога, возки и лошади.

— Вот теперь хорошо выпить, господа медвежатники! — крикнул, возясь около кулька, Старкун, и Кенин весело, всем сердцем, освобожденным от случайной любви, согласился с ним.

ЛЕАЛЬ У СЕБЯ ДОМА

I

Пока лаяла цепная собака, вор не особенно беспокоился. Ленивый, вопросительный лай ясно указывал на отсутствие у собаки сильных, воинственных подозрений. Верхним чутьем она слышала посторонний запах, мелькавший обрывками в ровном ветре, дующем со стороны дома, но это могло быть также запахом с улицы.

Вор переходил из комнаты в комнату, водя огненным кружком карманного фонаря по обоям и столам, скрытым тьмой. Он только что пробрался в дом и еще не вполне ориентировался. Целью поисков был кабинет или будуар. Временами, прислушиваясь, он гасил свет и двигался ощупью. Наконец он различил так

хорошо знакомый его опытному носу запах женщины, сложный букет парфюмерии, цветов, материи и чистоты. Чистота и опрятность, свойственная женщинам, имеют, как известно, свой запах, несравнимый, как запах сена, о котором так и говорят: запах сена.

Вор остановился, и огненный глаз фонарика начал буравить тьму, останавливаясь на различных предметах. Мошенник облегченно вздохнул, поняв, что попал не в спальню. Это был будуар — место, где иногда оставляют драгоценные вещи. Вор осмотрел каминную доску, столики, пожал с видом недоумения плечами и двинулся к письменному столу.

За стеной скрипнула дверь, кто-то кашлянул и спросил: «Ты слышишь?» Женский голос ответил: «Нет».— «Мне показалось, что кто-то ходит, пойду посмотрю, я помню, что дверь на балкон открыта».— Мужской голос смолк, и неторопливые шаги раздались в коридоре.

Вор быстро открыл окно, схватил по пути небольшую шкатулку и прыгнул в сад, попав на подбросившие его упругие кусты жимолости. Собака, рванув цепь, залаяла хриплым басом, беснуясь и угрожая. Вор бросился к садовой решетке, перескочил ее и побежал в сторону канала, в прикрытие глухих переулков. Бежал он ровно, без особенного страха и без особенного огорчения; состояние его духа напоминало кислую гримасу игрока, игравшего весь вечер вничью. Шкатулку он крепко держал под мышкой, рассчитывая вознаградить себя, в случае пустоты ее или бесценности,— удовольствием сковырнуть замок. Без этого привычного действия он считал бы ночь окончательно потерянной во всех смыслах.

II

Ночной трактир «Астра» приютил с месяц назад бледного человека с породистым и пьяным лицом, одетого в нечто напоминающее одежду. Он просил милостыню и пропивал ее. Его приставания к прохожим были подчас резки и уныло-назойливы, иногда — вежливы и своеобразно изящны. Он знал языки. В его манерах сохранился намек на большое и, может быть, блестящее прошлое. У него были седые виски и хриплый, но мягкий голос. Среди нищих и хулиганов его

звали «Жетон», а настоящее имя выговаривалось: Леаль Ар.

Часа полтора спустя после похищения шкатулки из виллы Ассун Жетон сидел в «Астре» у липкого столика без водки и табаку. По углам шептались или, посадив на колени женщин, спаивали их до истерики и потери сознания. Леаль Ар думал о беспроволочном телеграфе Маркони. Он любил, выбрав какой-либо предмет, чуждый печальному настоящему, мысленно уходить от «Астры» и самого себя.

Вошел человек с пытливым и деловым лицом. Это был вор Зитнер, завсегдатай «Астры». Леаль Ар пристально смотрел на него, ожидая в случае успешных дел Зитнера грошовой подачки и, как всегда,— порции спирта. Зитнер медленно подошел к нему и сел рядом. Ар вздрогнул. Взгляд Зитнера ощупывал его, мерил, изучал и спрашивал. Ар покорно молчал.

— Жетон,— заговорил Зитнер,— то, что я расскажу тебе, никто не должен знать, кроме нас. Если тебе надоели объедки, скверная водка и ночлеги на свалках — держи язык за зубами. Ты можешь хорошо, очень хорошо заработать.

— Водки,— сказал Ар.— Меня трясет, и я понимаю тебя плохо.

— Есть.— Зитнер мигнул стойке.— Сова, дайте водки, один стакан, и большой. Слушай, Жетон. Я украл письма, большой пук любовных писем к богатой замужней женщине. Это чистые деньги. Письма были в шкатулке, я бросил ее в канал. За письма дадут десятки, а может быть, сотни тысяч. Смекни. Мне некого послать с ними, кроме тебя. Шантаж должен сделать джентльмен; простому вору дадут по шее или дадут в десять раз меньше, чем следует. Мошенник крупного полета, каким ты должен показаться той даме, особенно если тебя одеть с иголочки, вытрезвить и надушить — внушит страх и почтение. А за почтение надо платить дорого.

— Недурно,— сказал Ар.

— Да. Я вижу, кто ты. Ты барин. Для этого дела, Жетон, нужен барин.

Ар думал и напивался. Он пил большими глотками, быстро хмелел. Слова Зитнера наполнили «Астру» призраками. Ар промотал состояние и хорошо знал, что дают деньги. Лучезарное сияние их коснулось его

души. Он пил и был в прошлом, упоительном, как величавый, певучий бал, полный праздничных лиц.

«Последняя гадость,— сказал он мысленно,— последняя — и новая жизнь. Мне дадут ее деньги, много денег». Он грустно и решительно улыбнулся.

— Я готов,— сказал Ар,— что нужно делать теперь?

— Иди.

III

Было совсем светло, когда Зитнер разбудил Ара. В просторной, хорошо обставленной комнате появился грибообразный старик с замкнутым и ехидным лицом. Ар лежал на кушетке; ему было удобно, мягко и весело.

— Приготовил? — спросил старика Зитнер.— Чтобы лучший сорт.

— Это что,— старик протянул руку.— Денег, денег мне надо, бестия. Уплатил бы?!

— Вечером.

— Сбежишь?

— Дурак. Идем, господин Жетон.— Зитнер провел Ара небольшим коридором к двери, откуда слышалось журчанье воды.— Жетон, ты вымоешься. В соседней комнате лежит твой костюм. После всего этого я послужу тебе парикмахером.

Ар остался один. Ванна! С волнением смотрел он на этот давно не виданный им предмет комфорта. Вода шумно текла из крана, взбивая прозрачную пену. Леаль разделся и окунул ногу, но тотчас же отдернул ее. «Варвары! Это сорок градусов»,— пробормотал он, опустив градусник, и тотчас пустил холодной воды. Тщательно, с неописуемым наслаждением вымылся он с головы до ног. Теперь руки дрожали меньше, и он чувствовал себя гораздо бодрее. Метаморфоза забавляла его, как ребенка. Он прошел в соседнюю комнату и расплакался, увидев дорогое белье.

Чудесный язык вещей заговорил и пленил его. Первые движения Ара были торопливы и нервны, но уже через десять минут сказались незабываемые привычки некогда модного льва. Ар неторопливо застегивался, повертываясь перед зеркалом. Смутны и торжественны были его мысли. Рассеянный бег их подсказывал многое из того, с чем он одевался во все лучшее десять

лет назад. Забытые лица, встречи, улыбки и разговоры подымались из глубин памяти, подобно золотым рыбкам, гоняющимся за мошкарой. Ар оделся и вышел.

— Жетон,— глубокомысленно сказал Зитнер и смолк. Перемена наружности Ара поразила его. Пожилой, бодрый господин с немного надменным лицом стоял посреди комнаты.

— Мне нравится черный галстук,— сказал Ар,— сбегайте-ка за ним, Зитнер.

IV

В четыре часа пополудни наемная карета везла Ара по набережной. В кармане его лежало одно из писем. Его он должен был предъявить в доказательство похищения.

По дороге он узнавал,— не механически, как в весь долгий период темного, унизительного падения,— а по-старому — некоторые дома, углы улиц, скверы и церкви. Здесь он расстался с Гинером, убитым на дуэли, в том магазине покупал жемчуг для невесты — сестры; в этом доме познакомился с Риверсами, там флиртовал с цыганкой, увезенной затем на автомобиле к южному морю.

Как быстро, как ужасно быстро прошло все. Ему показалось, что всадник, обогнавший его,— старый друг Тилли, и вся кровь бросилась ему в лицо от неожиданности. Дело, которое ехал он выполнить, Тилли не мог одобрить. Он дал бы ему пощечину и отвернулся, если б узнал об этом.

— Я,— сказал Ар,— я, Леаль Ар, шантажист.— Но слово это ничего не говорило ему. Сознание его дремало. Он не мог представить, как произойдет все. Он относился к этому как к необходимой, тяжкой и болезненной операции и старался не думать.

Карета остановилась. Леаль расплатился и нащупал письмо. Для большей верности он вынул его; это было точно — письмо, данное Зитнером. Теперь Леаль сильно и тягостно волновался. Желая успокоиться, он остановился у входа, развлекаясь чтением похищенного письма. Это было старое, выцветшее письмо, полное нежных, горячих слов и ласки; письмо, писанное его рукой, его почерком, на его любимой, зеленоватой бумаге,— адресованное Марии Клер.

Карета давно отъехала. Над палисадом, в солнечной пыли переулка носились синие стрекозы и пчелы. Сады пышно дремали. У каменного косяка двери бился головой и рыдал Леаль Ар.

— Здесь нет свежих устриц! — насмешливо пробормотал газетчик, увидев входящего в рыночный подвальчик с крепкими напитками изящного господина навеселе. Вошедший, по-видимому, не нуждался в устрицах: он попросил водки и повторил это три раза.

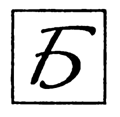
Трактир закрывался.

— «Идите домой, господин!» — крикнул слуга, толкая заснувшего за столом Ара.

— Разве я не дома? — сказал Ар.— Я дома, но вы не видите этого. Я дома, откуда сейчас гоните вы меня, но скоро — да, скоро — приду к вам.

ВОЗВРАЩЕННЫЙ АД

I



олезненное напряжение мысли, крайняя нервность, нестерпимая насыщенность остротой современных переживаний, бесчисленных в своем единстве, подобно куску горного льна, дающего миллионы нитей, держали меня, журналиста Галиена Марка, последние десять лет в тисках пытки сознания. Не было вещи и факта, о которых я думал бы непосредственно: все, что я видел, чувствовал или обсуждал,— состояло в тесной, кропотливой связи с бесчисленностью мировых явлений, брошенных сознанию по рельсам ассоциации. Короче говоря, я был непрерывно в состоянии мучительного философского размышления, что свойственно вообще людям нашего времени, в разной, конечно, лишь силе и степени.

По мере исчезновения пространства, уничтожаемого согласным действием бесчисленных технических измышлений, мир терял перспективу, становясь похожим на китайский рисунок, где близкое и далекое, незначительное и колоссальное являются в одной плоскости. Все приблизилось, все задавило сознание, измученное непосильной работой. Наука, искусство, пре-

ступность, промышленность, любовь, общественность, крайне утончив и изощрив формы своих явлений, ринулись неисчислимой армией фактов на осаду рассудка, обложив духовный горизонт тучами строжайших проблем, и я, против воли, должен был держать в жалком и неверном порядке, в относительном равновесии — весь этот хаос умозрительных и чувствительных впечатлений.

Я устал наконец. Я очень хотел бы поглупеть, сделаться бестолковым, придурковатым, этаким смешливым субъектом со скудным диапазоном мысли и ликующими животными стремлениями. Проходя мимо сумасшедшего дома, я подолгу засматривался на его вымазанные белилами окна, подчеркивающие слепоту душ людей, живущих за устрашающими решетками. «Возможно, что хорошо лишиться рассудка»,— говорил я себе, стараясь представить загадочное состояние больного духа, выраженное блаженно-идиотской улыбкой и хитрым подмигиванием. Иногда я прилипчиво торчал в обществе пошляков, стараясь заразиться настроением холостяцких анекдотов и самодовольной грубости, но это не спасало меня, так как спустя недолгое время я с ужасом видел, что и пошленькое пристегнуто к дьявольскому колесу размышлений. Но этого мало. Кто задумался хоть раз над происхождением неясного беспокойства, достигающего истерической остроты, и кто, минуя соблазнительные гавани доктрин физиологических, искал причин этого в гипертрофии реальности, в многоформенности ее электризующих прикосновений,— тот, конечно, не моргнув глазом, вынесет оправдательный вердикт невинному дурному пищеварению и признает, что, кроме чувств, воспринимающих мир в виде, так сказать, взаимных рукопожатий с ним и его абстракциями, существует впечатление на расстоянии, особая восприимчивость душевного аппарата, ставшая в силу условий века явлением заурядным.— Некто болен, о чем вы не подозреваете, но вас беспричинно тянет пойти к нему. Случается и обратное,— некто испытывает сильную радость; вы же, находясь до этого в состоянии хронической мрачности, становитесь необъяснимо веселым, соответственно настроению данного «некто». Такие совпадения встречаются по преимуществу меж близкими или много думающими друг о друге людьми; примеры эти я привожу потому, что

они элементарно просты, известны почти каждому из личного опыта и поэтому — достоверны, а достоверное убедительно. Разумеется, проверенность указанных совпадений не может простираться на человечество в совокупности, однако это еще не значит, что мы хорошо изолированы; раз впечатление на расстоянии установлено вообще, размеры расстояния как такового отпадают по существу вопроса; иначе говоря, в таком порядке явлений, где действуют (пора бы признать) агенты малоисследованные — расстояние исчезает. И я заключаю, что мы ежесекундно подвергаемся тайному, психическому давлению миллиардов живых сознаний, так же как пчела в улье слышит гул роя, но это — вне свидетельских показаний, и я, например, не мог спросить у населения Тонкина,— не его ли религиозному празднику и хорошей погоде обязан одной-единственной непохожей на остальные минутой яркого возбуждения, полного оттенков нездешнего? Установить такую зависимость было бы величайшим торжеством нашего времени, когда, как я сказал и как продолжаю думать, изощренность нервного аппарата нашего граничит с чтением мыслей.

Моему изнурению, происходившему от чрезвычайной нервности и надоедливо тревожной сложности жизни, могло помочь, как я надеялся, глубокое одиночество, и я сел на пароход, плывущий в Херам. Окрестности Херама дики, но не величественны. Грандиозное в природе и людях по плечу только сильной душе, а я, человек усталый, искал дикости буколической.

Мы пересекали стоверстное озеро Гош в начале золотой осени Лилианы, когда ветры свежи и печальны, а попутные острова горят в отдалении пышными кострами багряной листвы. Со мной была Визи, девушка странной и прекрасной природы; я встретил ее в Кассете, ее родине,— в день скорби. Она знала меня лучше, чем я ее, хотя я думал об ее сердце больше, чем обо всем остальном в мире, и, узнавая, все же оставался в неведении. Не думаю, чтобы это происходило от глупости или недостатка воображения, но ее прелесть являлась для меня гармонией такой силы и нежности, которая уничтожала силу моего постижения. Я не назову чувство к ней словом уже негодным и узким — любовью, нет — радостное, жадное внимание — вот настоящее имя свету, зажженному Визи.

Свет этот в красном аду сознания блистал, подобно алмазу, упавшему перед бушующей топкой котла; так нежно и ярко было его сияние, что, будучи, предположительно, свободным от мира, я пожелал бы бессмертия.

Поздно вечером, когда я сидел на палубе, ко мне подошел человек с тройным подбородком, черными, начесанными на низкий лоб волосами, одетый мешковато и грубо, но с претензией на щегольство, выраженное огромным пунцовым галстуком, и спросил — не я ли Галиен Марк. Голос его звучал сухо и подозрительно. Я сказал: «Да».

— А я — Гуктас! — громко сказал он, выпрямляясь и опуская руки. Я видел, что этот человек хочет ссоры и знал почему. В последнем номере «Метеора» была напечатана моя статья, изобличающая деятельность партии Осеннего Месяца. Гуктас был душой партии, ее скверным ароматом. Ему влетело в этой статье.

— Теперь я вас накажу.— Он как бы не говорил, а медленно дышал злыми словами.— Вы клеветник и змея. Вот что вам следует получить!

Он замахнулся, но я схватил его мясницкую руку и погнул ее вниз, смотря прямо в прыгающие глаза противника. Гуктас, задыхаясь, вырвался и отскочил, пошатнувшись.

— Ну,— сказал он,— так как?

— Да так.

— Где и когда?

— По прибытии в Херам.

— Я буду вас караулить,— заявил Гуктас.

— Караульте, я ни при чем.— И я повернулся к нему спиной, только теперь заметив, что мы окружены пассажирами. Дикое ярмарочное любопытство прочел я во многих холеных и тонких лицах: пахло убийством.

Я спустился в каюту к Визи, от которой никогда и ничего не скрывал, но в этом случае не хотел откровенности, опасной ее спокойствию. Я не был возбужден, но, по крайней мере наружно, не суетился и владел голосом как безупречный артист; я сидел против Визи, рассказывая ей о древних памятниках Луксора. И всетаки, немного спустя, я услышал ее глухой, сердечный голос:

— Что случилось с тобой?

Не знаю, чем я выдал себя. Может быть, неверный

оттенок взгляда, рассеянное движение рук, напряженные паузы или еще что, видимое только любви, но мне не оставалось теперь ничего иного, как твердо лгать.

— Не понимаю,— сказал я,— почему «случилось»? И что?

Затем я продолжал разговор, спрашивая себя, не последний ли раз вижу я это прекрасное, нежно нахмуренное лицо, эти ресницы, длинные, как вечерние тени на воде синих озер, и рот, улыбающийся проникновенно, и нервную, живую белизну рук,— но думал: «Нет, не в последний»,— и простота этого утешения закрывала будущее.

— Завтра утром мы будем в Хераме,— сказал я перед сном Визи,— а я, не знаю почему, в тревоге: все кажется мне неверным и шатким.— Она рассмеялась.

— Я иногда думаю, что для тебя хорошей подругой была бы жизнерадостная, простая девушка, хлопотливая и веселая, а не я.

— Я не хочу жизнерадостной, простой девушки,— сказал я,— поэтому ты усни. Скоро и я лягу, как только придумаю заглавие статьи о процессиях, которые ненавижу.

Когда Визи уснула, я сел, чтобы написать письмо к ней, спящей, от меня, сидящего здесь же, рядом, и начал его словом «Прощай». Кандидат в мертвецы должен оставлять такое письмо. Написав, я положил конверт в карман, где ему предназначалось найтись в случае печального для меня конца этой истории, и стал думать о смерти.

Но — о, благодетельная сила вековой аллегории! — смерть явилась передо мной в картинно нестрашном виде — скелетом, танцующим с длинной косой в руках, и с такой старой, знакомой гримасой черепа, что я громко зевнул. Мое пробуждение, несмотря на это, было тревожно-резким. Я вскочил с полным сознанием предстоящего, как бы не спав совсем. Наверху зычно стихал гудок — в иллюминаторе мелькал берег Херама; солнце билось в стекле, и я тихо поцеловал спящие глаза Визи.

Она не проснулась. Оставив на столе записку: «Скоро приду, а ты пока собери вещи и поезжай в гостиницу»,— поднялся на яркую палубу, где у сходни встретил окаменевшего в ненависти Гуктаса. Его секунданты сухо раскланялись со мной, я же попросил

двух, наиболее понравившихся мне лицом пассажиров,— быть моими свидетелями. Они, поговорив между собой, согласились. Я сел с ними в фаэтон, и мы направились к роще Заката, по ту сторону города. Противник мой ехал впереди, изредка оборачиваясь; глаза его сверкали под белой шляпой, как выстрелы. Утро явилось в тот день отменно красивым; стянув к небу от многоцветных осенних лесов все силы блеска и ликования, оно соединило их вдали, над воздушной синевой гор, в пламенном ядре солнца, драгоценным аграфом, скрепляющим одежды земли. От белых камней в желтой пыли дороги лежали темно-синие тени, палый лист всех оттенков, от лимонного до ярко-вишневого, устилал блистающую росой траву. Черные стволы, упавшие над зеркалом луж, давали отражение удивительной чистоты; пышно грустили сверкающие, подобно иконостасам, рощи, и голубой взлет ясного неба казался мирным навек.

Мои секунданты говорили исключительно о дуэли. Траурный тон их голосов, не скрывавший, однако, жадности зрительского любопытства, был так противен, что я молчал, предоставив им советоваться. Разумеется, я не был спокоен. Целый ливень мыслей угнетал и глушил меня, порождая тоску. Контраст между убийством и голубым небом повергал меня в жестокое средостение меж этих двух берегов, где все принципы, образы, волнения и предчувствия стремились хаотическим водопадом, не знающим никаких преград. Напрасно я уничтожал различные точки зрения, из гибели одной вырастали десятки новых, и я был бессилен, как всегда, остановить их борьбу, как всегда не мог направить сознание к какой бы то ни было несложной величине; против воли я думал о тысячах явлений, давших человечеству слова: «Убийство» и «Небо». В несчастной голове моей воистину заседал призрачный безликий парламент, истязая сердце страстной запальчивостью суждений. Вздохнув так глубоко, что кольнуло под ребрами, я спросил себя: «Отвратительна ли тебе смерть? Ты очень, очень устал...», но не почувствовал возмущения. Затем мы подъехали к обширной лужайке и разошлись по местам, намеченным секундантами. Не без ехидства поднял я в уровень с глазом дорогой тяжелый пистолет Гуктаса, предвидя, что его собственная пуля может попасть в лоб своему хозяину, и целился, не желая изображать барашка, наверняка.

«Раз, два, три!» — крикнул мой секундант, вытянув шею. Я выстрелил, тотчас же в руке Гуктаса вспыхнул встречный дымок, на глаза мои упал козырек тьмы, и я надолго исчез. Впоследствии мне сказали, что Гуктас умер от раны в грудь, тогда как я целился ему в голову; из этого я вижу, что чужое оружие всегда требует тщательной и всесторонней пристрелки. Итак, я временно лишился сознания.

II

Когда я пришел в себя, была ночь. Я увидел в полусвете прикрученной лампы (Визи не любила электричества) придвинутое к постели кресло, а в нем заснувшую, полураздетую женщину; ее лицо показалось мне знакомым и, застонав от резкой головной боли, я приподнялся на локте, чтоб лучше рассмотреть ту, в которой с некоторым усилием узнал Визи. Она изменилась. Я принял это как факт, без всяких, пока что, соображений о причинах метаморфозы и стал внимательно рассматривать лицо спящей. Я встал, качаясь и придерживаясь за мебель, неслышно увеличил огонь и сел против Визи, обводя взглядом тонкие очертания похудевшего, сосредоточенного лица. Меня продолжало занимать само по себе — то, к чему первому обратилось внимание.

Само по себе — я, следовательно, думал о пустяках, о внешности, и так пристально, что мысль не двигалась дальше. Тень жизни усиливалась в лице Визи, горькая складка усталости таилась в углах губ, потерявших мягкую алость, а рука, лежавшая на колене, стала тонкой по-детски. Столик, уставленный лекарствами, открыл мне, что я был тяжко и, может быть, долго болен. «Да, долго»,— подтвердил снег, белевший сквозь черноту стекла, в тишине ночной улицы. Голове было непривычно тепло, подняв руку, я коснулся повязок и, напрягая затрепетавшую память, вспомнил дуэль.

— Прелестно! — сказал я с некоторым совершенно необъяснимым удовольствием по этому поводу и щелкнул слабыми пальцами. Визи «выходила» меня, я видел это по изнуренности ее лица и в особенности по стрелке будильника, стоявшей на трех часах. Будильники — эти палачи счастья — не покупались никогда ни

мной, ни Визи, и нынешняя опрокинутость правила говорила о многом. Неподвижная стрелка на трех часах разумеется означала часы ночи. Ясно, что Визи, разбуженная ночью звонком, должна была что-то для меня сделать, но это не настроило меня к благодарности: наоборот, я поморщился от мысли, что Визи покушалась обеспокоить мою особу,— больную, подстреленную, жалкую; я покачал головой.

Прошло очень немного времени, пока я обдумывал, по странному уклону мысли, способности Илии-пророка вызывать гром, как очень короткий нежный звон механизма мгновенно разбудил Визи. Она протерла глаза, вскочила и бросилась ко мне с испуганным лицом ребенка, убегающего из темной комнаты, и ее тихие руки обвились вокруг моей шеи. Я сказал:

— Визи, ты видишь, что я здоров,— и она выпрямилась с радостным криком, путая и теряя движения; уже не испуг, а крупные горячие слезы блестели в ее ярких глазах. Первый раз за время болезни она слышала мои слова, сказанные сознательно.

— Милый Галь, ложись,— просила она, слабо, но очень настойчиво подталкивая меня к кровати.— Теперь я вижу, что ты спасен, но еще нужно лежать до завтра, до доктора. Он скажет...

Я лег, нисколько не потревоженный ее радостью и волнением. Я лежал важно, настроенный снисходительно к опеке и горизонтальному своему положению. Визи села у изголовья, рассказывая обо мне, и я увидел в ее рассказе человека с желтым лицом, с красными от жара глазами, срывающего с простреленной головы повязку и болтающего различный вздор, на который присутствующие отвечают льдом и пилюлями. Так продолжалось месяц. Сложное механическое кормление я представил себе дождем падающих в рот пирожков и ложек бульона. Визи, между прочим, сказала:

— У меня было одно утешение в том случае, если бы все кончилось печально: что я умру тоже. Но ты теперь не думай об этом. Как долго я не говорила с тобой! Спокойной ночи, милый, спасенный друг! Я тоже хочу спать.

— Ах, так!..— сказал я, немного обиженный тем, что меня оставляют, но в общем непривычно довольный.

Великолепное, ни с чем не сравнимое ощущение законченности и порядка в происходящем теплой волной охватило меня. «Муж зарабатывает деньги, кормит

жену, которая платит ему за это любовью и уходом во время болезни, а так как мужчина значительнее вообще женщины, то все обстоит благополучно и правильно.— Так я подумал и дал тут же следующую оценку себе: — Я снисходительно-справедливый мужчина». В еще больший восторг привели меня некоторые предметы, попавшиеся мне на глаза: стенной календарь, корзинка для бумаги и лампа, покрытая ласковым зеленым абажуром. Они бесповоротно укрепили счастливое настроение порядка, господствующего во мне и вокруг меня. Так хорошо, так покойно мне не было еще никогда.

— Чудесно, милая Визи! — сказал я.— Я решительно ничего не имею против того, чтобы ты заснула. Отправляйся. Надеюсь, что твоя бдительность проснется в нужную минуту, если это мне понадобится.

Она рассеянно улыбнулась, не понимая сказанного,— как я теперь думаю. Скоро я остался один. Великолепное настроение решительно изнежило, истомило меня. Я уснул, дрыгнув ногой от радости. «Мальчишество»,— скажете вы. О, если бы так!

III

Через восемь дней Визи отпустила меня гулять. Ей очень хотелось идти со мной, но я не желал этого. Я находил ее слишком серьезной и нервной для той благодати чувств, которую отметил в прошлой главе. Переполненный беспричинной радостью, а также непривычной простотой и ясностью впечатлений, я опасался, что Визи, утомленная моей долгой болезнью, не подымется во время прогулки до уровня моего настроения и, следовательно, нехотя разрушит его. Я вышел один, оставив Визи в недоумении и тревоге.

Херам — очень небольшой город, и я быстро обошел его весь, по круговой улице, наслаждаясь белизной снега и тишиной. Проходящих было немного; я с удовольствием рассматривал их крепкие, спокойные лица провинциалов. У базара, где в плетеных корзинах блестели груды скользких, голубоватых рыб, овощи рдели зеленым, красным, лиловым и розовым бордюром, а развороченные мясные туши добродушно рассказывали о вкусных, ворчащих маслом, бифштексах, я глубокомысленно постоял минут пять в гастрономи-

ческом настроении, а затем отправился дальше, думая, как весело жить в этом прекрасном мире. С чувством пылкой признательности вспомнил я некогда ненавистного мне Гуктаса. Не будь Гуктаса, не было бы дуэли, не будь дуэли, я не пролежал бы месяц в беспамятстве. Месяц болезни дал отдохнуть душе. Так думал я, не подозревая истинных причин нынешнего своего состояния.

Необходимо сказать, чтобы не возвращаться к этому, что, в силу поражения мозга, моя мысль отныне удерживалась только на тех явлениях и предметах, какие я вбирал непосредственно пятью чувствами. В равной степени относится это и к моей памяти. Я вспоминал лишь то, что видел и слышал, мог даже припомнить запах чего-либо, слабее — прикосновение, еще слабее — вкус кушанья или напитка. Вспомнить настроение, мысль было не в моей власти; вернее, мысли и настроения прошлого скрылись из памяти совершенно бесследно, без намека на тревогу о них.

Итак, я двигался ровным, быстрым шагом, в веселом возбуждении, когда вдруг заметил на другой стороне улицы вывеску с золотыми буквами. «Редакция Маленького Херама» — прочел я и тотчас же завернул туда, желая немедленно написать статью, за что, как я хорошо помнил, мне всегда охотно платили деньги. В комнате, претендующей на стильный, но деловой уют, сидели три человека; один из них, почтительно кланяясь, назвался редактором и в кратких приятных фразах выразил удовольствие по поводу моего выздоровления. Остальные беспрерывно улыбались, чем все общество окончательно восхитило меня, и я, хлопнув редактора по плечу, сказал:

— Ничего, ничего, милейший; как видите, все в порядке. Мы чувствуем себя отлично. Однако позвольте мне чернил и бумаги. Я напишу вам маленькую статью.

— Какая честь! — воскликнул редактор, суетясь около стола и делая остальным сотрудникам знак удалиться. Они вышли. Я сел в кресло и взял перо.

— Я не буду мешать вам,— сказал редактор вопросительным тоном.— Я тоже уйду.

— Прекрасно,— согласился я.— Ведь писать статью... вы знаете? Хе-хе-хе!..

— Хе-хе-хе!..— осклабившись, повторил он и скрылся. Я посмотрел на чистый листок бумаги, не имея

ни малейшего понятия о том, что буду писать, однако не испытывая при этом никакого мыслительного напряжения. Мне было по-прежнему весело и покойно. Подумав о своих прежних статьях, я нашел их очень тяжелыми, безрассудными и запутанными — некиими старинными хартиями, на мрачном фоне которых появлялись и пропадали тусклые буквы. Душа требовала минимальных усилий. Посмотрев в окно, я увидел снег и тотчас же написал:

СНЕГ

Статья Г. Марка.

За время писания, продолжавшегося минут десять, я время от времени посматривал в окно, и у меня получилось следующее:

«За окном лежит белый снег. За ним тянутся желтые, серые и коричневые дома. По снегу прошла дама, молодая и красиво одетая, оставив на белизне снега маленькие частые следы, вытянутые по прямой линии. Несколько времени снег был пустой. Затем пробежала собака, обнюхивая следы, оставленные дамой, и оставляя сбоку первых следов — свои, очень маленькие собачьи следы. Собака скрылась. Затем показался крупно шагающий мужчина в меховой шапке; он шел по собачьим и дамским следам и спутал их в одну тропинку своими широкими галошами. Синяя тень треугольником лежит на снегу, пересекая тропинку.

Г. Марк».

Совершенно довольный, я откинулся на спинку кресла и позвонил. Редактор, войдя стремительно, впился глазами в листок.

— Вот и все,— сказал я.— «Снег». Довольны ли вы такой штукой?

— Очень оригинально,— заявил он унылым голосом, читая написанное.— Здесь есть нечто.

— Прекрасно,— сказал я.— Тогда заплатите мне столько-то.

Молча, не глядя на меня, он подал деньги, а я, спрятав их в карман, встал.

— Мне хотелось бы,— тихо заговорил редактор, смотря на меня непроницаемыми, далеко ушедшими за очки глазами,— взять у вас статью на политическую или военную тему. Наши сотрудники бездарны. Тираж падает.

— Конечно, он падает,— вежливо согласился я.— Сотрудники бездарны. А зачем вам военная или политическая статья?

— Очень нужно,— жалобно процедил он сквозь зубы.

— А я не могу! — Я припомнил, что такое «политическая» статья, но вдруг ужасная лень говорить и думать заявила о себе нетерпеливым желанием уйти.— Прощайте,— сказал я,— прощайте! Всего хорошего!

Я вышел, не обернувшись, почти в ту же минуту забыв и о редакции и о «Снеге». Мне сильно хотелось есть. Немедленно я сел на извозчика, сказал адрес и покатил домой, вспоминая некоторые из ранее съеденных кушаний. Особенно казались мне вкусными мясные колобки с фаршем из овощей. Я забыл их название. Тем временем экипаж подкатил к подъезду, я постучал, и мне открыла не прислуга, а Визи. Она нервно, радостно улыбаясь, сказала:

— Куда ты исчез, бродяжка? Иди кормиться. Очень ли ты устал?

— Как же не устал? — сказал я, внимательно смотря на нее. Я не поцеловал ее, как обычно. Что-то в ней стесняло меня, а ее делало если не чужой, то трудной,— непередаваемое ощущение, сравнимое лишь с обязательной и трудно исполнимой задачей. Я уже не видел ее души,— надолго, как стальная дверь, хранящая прекрасные сокровища, закрылись для меня редкой игрой судьбы необъяснимые прикосновения духа, явственные даже в молчании. Нечто от прошлого, однако, силилось расправить крылья в пораженном мозгу, но почти в ту же минуту умерло. Такой крошечный диссонанс не испортил моего блаженного состояния; муха, севшая на лоб сотрясаемого хохотом человека, годится сюда в сравнение.

Я видел только, что Визи приятна для зрения, а ее большие дружеские глаза смотрят пытливо. Я разделся. Мы сели за стол, и я бросился на еду, но вдруг вспомнил о мясных шариках.

— Визи, как называются мясные шарики с фаршем?

— «Тележки». Их сейчас подадут. Я знаю, что ты их любишь.

От удовольствия я сердечно и громко расхохотался,— так сильно подействовала на меня эта неожиданная радость, серьезная радость настоящей минуты.

Вдруг слезы брызнули из глаз Визи,— без стона,

без резких движений она закрыла лицо салфеткой и отошла, повернувшись спиною ко мне,— к окну. Я очень удивился этому. Ничего не понимая и не чувствуя ничего, кроме неприятности от перерыва в обеде, я спросил:

— Визи, это зачем?

Может быть, случайно тон моего голоса обманул ее. Она быстро подошла ко мне, перестав плакать, но вздрагивая, как озябшая, придвинула стул рядом с моим стулом и бережно, но крепко обняла меня, прильнув щекою к моей щеке. Теперь я не мог продолжать есть суп, но стеснялся пошевелиться. Терпеливо и злобно слушал я быстрые слова Визи:

— Галь, я плачу оттого, что ты так долго, так тяжко страдал; ты был без сознания, на волоске от смерти, и я вспомнила весь свой страх, долгий страх целого месяца. Я вспомнила, как ты рассказывал мне про маленького лунного жителя. Ты мне доказывал, что есть такой... и описал подробно: толстенький, на голове пух, два вершка ростом... и кашляет... О Галь, я думала, что никогда больше ты не расскажешь мне ничего такого! Зачем ты сердишься на меня? Ты хочешь вернуться? Но ведь в Хераме тихо и хорошо. Галь! Что с тобой?

Я тихо освободился от рук Визи. Положительно, женщина эта держала меня в странном и злостном недоумении.

— Лунный житель — сказка,— внушительно пояснил я. Затем думал, думал и наконец догадался: «Визи думает, что я себя плохо чувствую».— Эх, Визи,— сказал я,— мне теперь так славно живется, как никогда! Я написал статейку, деньги получил! Вот деньги!

— О чем статью и куда?

Я сказал — куда и прибавил:

— О снеге.

Визи доверчиво кивнула. Вероятно, она ждала, что я заговорю как раньше,— серьезно и дружески. Но здесь прислуга внесла «тележки», и я ревностно принялся за них. Мы молчали. Визи не ела; подымая глаза, я встречался с ее нервно-спокойным взглядом, от которого мне, как от допроса, хотелось скрыться. Я был совершенно равнодушен к ее присутствию. Казалось, ничто было не в силах нарушить мое безграничное счастливое равновесие. Слезы и тоска Визи лишь на

мгновение коснулись его и только затем, чтобы сделать более нерушимым — силой контраста — то непередаваемое довольство, в каком, погруженный по уши, сидел я за сверкающим белым столом перед ароматически дымящимися кушаньями, в комнате высокой, светлой и теплой, как нагретая у отмели солнцем вода. Кончив есть, я посмотрел на Визи, снова нашел ее приятной для зрения, затем встал и поцеловал в губы так, как целует нетерпеливый муж. Она просияла (я видел, *каким* светом блеснули ее глаза), но, встав, подошла к столику и, шутливо подняв над головой склянку с лекарством (которое я изредка еще принимал), лукаво произнесла:

— Две ложки после обеда. Мы в разводе, Галь, еще на полтора месяца.

— Ах, так? — сказал я.— Но я не хочу лекарства.

— А для меня?

— Чего там! Я ведь здоров! — Вдруг, посмотрев в окно, я увидел быстро бегущего мальчика с румяным, задорным лицом и тотчас же загорелся неодолимым желанием ходить, смотреть, слушать и нюхать.— Я пойду,— сказал я,— до свидания пока, Визи!

— О нет! — решительно сказала она, беря меня за руку.— Тем более, что ты так *непривычно* желаешь этого!

Я вырвался, надел шубу и шапку. Мое веселое, резкое сопротивление поразило Визи, но она не плакала более. Ее лицо выражало скорбь и растерянность. Глядя на нее, я подумал, что она просто упряма. Я подарил ей один из тех коротких пустых взглядов, каким говорят без слов о нудности текущей минуты, повернулся и увидел себя в зеркале. Какое лицо! В третий раз смотрел я на него после болезни и в третий раз радостно удивлялся,— мирное выражение глаз, добродушная складка в углах губ, ни полное, ни худое, ни белое, ни серое,— лицо — как взбитая, приглаженная подушка. Итак, по-видимому, я перенес *представление о своем воображенном лице* на отражение в зеркале, видя не то, *что есть*. Над левой бровью, несколько стянув кожу, пылал красный, формой в виде боба, шрам,— этот знак пули я рассмотрел тщательно, найдя его очень пикантным. Затем я вышел, сильно хлопнув в знак власти дверью, и очутился на улице.

IV

Не знаю, сколько времени и по каким местам я бродил, где останавливался и что делал; этого я не помню. Стемнело. Как бы проснувшись, услышал я тяжелый, из глубины души, трудный и долгий вздох; на углу, прислонясь к темной под ярким окном стене, стоял человек без шапки, одетый скудно и грязно. Он вздыхал, посылая пространству тяжкие, полные бесконечной скорби, вздохи-стоны-рыдания. Лица его я не видел. Наконец он сказал с мрачной и трогательной силой отчаяния:

— Боже мой! Боже мой!

Я никогда не забуду тона, каким произнеслись эти слова. Мне стало не по себе. Я чувствовал, что — еще вздох, еще мгновение — и мое благостное равновесие духа перейдет в пронзительный нервный крик.

Поспешно я отошел, оставив вздыхающего человека наедине с его тайным горем, и тронулся к центру города. «Боже мой! Боже мой!» — машинально повторил я, этот маленький инцидент оставил скверный осадок — тень раздражения или тревоги. Но совсем спокойно чувствовал я себя. Меж тем темнота сплотнилась полной силой глухой зимней ночи, прохожие попадались реже и шли быстрее. В редких фонарях монотонно шипел газ, и я невольно прибавил шагу, стремясь к блистающим площадям центра. Один фасад, слабо озаренный стоящим в отдалении фонарем, заставил меня остановиться и внимательно осмотреть его. Меня поразило обилие сухих виноградных стеблей, поднимавшихся от земли по белому фону простенков к балконам и окнам первого этажа; сеть черных кривых линий зловеще обсасывала фасад, словно тысячи трещин. Одно из окон второго этажа было полуосвещено, свет мелькал в его глубине, и в светлых неясных отблесках за стеклом рамы виднелся едва различимый, бледный под изгибом черных волос женский профиль. Я не мог рассмотреть его благодаря, как сказано, неверному и слабому освещению, но почему-то упорно всматривался. Профиль намечался попеременно прекрасным и отвратительным, уродливым и божественным, злым и весенне-ясным, энергичным и мягким. Придушенные стеклом, слышались ленивые звуки скрипки. Смычок выводил неизвестную, но плавную и красивую мелодию. Вдруг окно осветилось полным

блеском невидимого огня, и я, при низких, нежно и горделиво стихающих аккордах, увидел голову пожилой женщины, с крепкой, сильно выдающейся нижней челюстью; черные глаза под нахмуренным низким лбом смотрели на какое-то проворно перебираемое руками шитье. Весь этот странный узел зрительных и слуховых впечатлений вызвал у меня в то же мгновение такой острый, черный прилив тоски, стеснившей сердце до боли, что я с глазами, полными слез, машинально отошел в сторону. Звуки скрипки казались самыми дорогими и печальными в мире. Я длил тоску в смутном ожидании чуда, как будто ради нее некий мертвенно мрачный занавес должен был распахнуться широким кругом, обнажив зрелище повелительной и несравненной гармонии... Это был первый припадок тоски. Наконец она стала невыносимо резкой. Увидев пылающий фонарями трактир, я вошел, выпил залпом у стойки несколько стаканов вина и сел в углу, повеселев и став опять грубее и проще, как час назад.

Рассматривая присутствующих, покуривая и внутренно веселясь в ожидании целого ряда каких-то прелестей, освеженный и согретый вином, я обратил внимание на вертлявоглазое, хитрое лицо старика, сидевшего неподалеку в обществе плохо одетой, смуглой и полной женщины. Ее напудренное лицо с влажными черными глазами и ртом ненормально красным было совсем не красиво, однако ее упорный взгляд, обращенный ко мне, был взглядом уверенной в себе женщины, и я кивнул ей, рассчитывая поболтать за бутылкой. Старик, драный как облезшая кошка, тотчас же встал и пересел к моему столику.

— Вино-то...— сказал он так льстиво, словно поцеловал руку,— вино какое пьете? Дорогое винцо, хорошее, ха-ха-ха! Старичку бы дать! — И он потер руки.

— Пейте,— сказал я, наливая ему в стакан, поданный слугой с бешеной торопливостью, не иначе, как из уважения ко мне, барину.— Как вас зовут, старик, и кто вы такой?

Он жадно выпил, перемигнувшись через плечо со своей дамой.

— Я, должен вам сказать,— питаюсь услугами,— сказал старик, подмигивая мне весьма фамильярно и плутовато.— Прислуживаю я каждому, кто платит, и прислуживаю охотнее всего по веселеньким таким, остропикантным делам. Понимаете?

— Все понимаю,— сказал я, пьянея и наваливаясь на стол.— Служите мне.

— А вы чего хотите?

Я посмотрел на неопределенно улыбающуюся за соседним столом женщину. Спутница старика, в синем с желтыми отворотами платье и красной накидке, была самым ярким пятном трактирной толпы, и мне захотелось сидеть с ней.

— Пригласите вашу даму пересесть к нам.

— Дама замечательная! Первый сорт! — радостно закричал старик и, обернувшись, взвизгнул на весь зал: — Полина! Переваливайтесь сюда к нам, да живо!

Она подошла, села, и я, пока не пришла кошка, не сводил более с нее глаз. От ее круглой статной шеи, полных с маленькими кистями рук, груди и пухлых висков разило чувственностью. Я жадно смотрел на нее, она присматривалась ко мне, молчала и улыбалась особенной улыбкой. Старик, воодушевляясь время от времени, по мере того как слуга ставил нам свежие винные бутылки, держал короткие, но жаркие речи о необыкновенных достоинствах Полины или о своем прошлом богатстве, которого, смею думать, у него никогда не было. Я охмелел. Грязный, горластый сброд, шумевший за столиками, казался мне обществом живописных гигантов, празднующих великолепие жизни. Море разноцветного света заполняло трактир. Я взял руки Полины, крепко сжал их и заявил о своей страсти, получив в ответ взгляд более чем многообещающий. Старик уже встал, застегиваясь и обматывая шею цветным шарфом. Я знал, что поеду куда-то с ним, и стал громко стучать, требуя счет.

В эту минуту маленькая, больная и худая как щепка, серенькая трактирная кошка нерешительно подошла ко мне, робко осмотрела мои колена и, тихо прыгнув, уселась на них, подняв торчком жалкий, облезлый хвост. Она терлась о мой рукав и подобострастно громко мурлыкала, требуя, видимо, внимания к своей жизни, заинтересованной в моих развлечениях. Я смотрел на нее со страхом и внезапной слабостью сердца, чувствуя, что уступаю новой волне тоски, отхлынувшей временно благодаря бутылке и женщине. Все кончилось. Потух пьяный огонь,— горькое, необъяснимое отчаяние сразило меня, и я, опять силясь, но тщетно, припомнить что-то не подвластное памяти, бросил день-

ги на стол, ударил старика по его испуганно цепляющимся за меня рукам, вышел и поехал домой.

Холод, плавный бег саней и тишина улиц постепенно истребили тоску. В весьма благосклонном, ровном и мирном настроении я позвонил у занесенных снегом дверей; мне открыла снова Визи, но, открыв, тотчас же ушла в комнаты. Я разыскал ее у камина в маленьком мягком кресле с книгой в руках и сел рядом. Я очень хорошо знал, что я нетрезв и взъерошен, однако совсем не хотел скрывать этого. Визи внимательно, без улыбки смотрела на меня, сказала тихо:

— Сегодня заходил доктор и очень тепло справлялся о тебе. Он хочет бывать у нас,— он просил разрешить ему это. Как ты думаешь? Тебе, кажется, скучно, а такой собеседник, как доктор, незаменим.

— Доктора — ученые люди,— пробормотал я,— а мне, Визи, очень надоели сложные разговоры. Превыспренные! Аналитические! Ну их, в самом деле! Я человек простой и добродушный. Чего там рассуждать? Живется — и живи себе на здоровье.

Визи не отвечала. Она задумчиво смотрела на раскаленные угли и, встрепенувшись, ласково улыбнулась мне.

— Я не скрою... Меня несколько пугает резкая перемена в тебе после болезни!

— Вот глупости! — сказал я.— Ты говоришь самые неподходящие глупости! Изменился! Да, очень вероятно!.. Боже мой! Неужели ты, Визи, завидуешь мне?

— Галь, что ты? — испуганно воскликнула Визи.— Зачем это?

— Нет,— продолжал я, усматривая в словах Визи завистливую и ревнивую придирчивость,— когда человек чувствует себя хорошо, другим это всегда мешает. Да пусть бы все так изменились, как я! Хоть и смутно, но понимаю же я наконец, каким я был до болезни, до этой замечательной раны, нанесенной Гуктасом. Все меня волновало, тревожило, заставляло гореть, спешить, писать тысячи статей, страдая и проклиная,— что за ужасное время! Фу! Каким можно быть дураком! Все очень просто, Визи, не над чем тут раздумывать.

— Объясни,— спокойно сказала Визи,— может быть, я тоже пойму. Что просто и — в чем?

— Да все. Все, что видишь, такое и есть.— Помолчав, я с некоторым трудом подыскал пример, по-моему

убедительный: — Вот ты, Визи, сидишь передо мной и смотришь на меня, а я смотрю на тебя.

Она закрыла лицо руками, видимо обдумывая мои слова. С торжеством, с безжалостной самоуверенностью я ждал возражений, но Визи, открыв лицо, вдруг спросила:

— Что думаешь ты об этом месте, Галь? Это твой любимец. Конфор. Слушай, слушай! «День проходит в горьких заботах о хлебе, ночь в прекрасных золотых сновидениях. Зато днем ярко горит солнце, а ночью, проснувшись, я побежден тьмой и ужасом тишины. Блажен тот, кто думает только о солнце и сновидениях».

— Очень плохо,— решительно сказал я.— Каждому разрешается помнить все что угодно. Автор положительно невежлив к читателю. А во-вторых, я несколько пьян и хочу спать. Прощай, Визи, спокойной ночи.

— Спокойной ночи, милый,— рассеянно сказала она,— завтра ты будешь работать?

— Бу-ду,— нерешительно сказал я.— Хотя, знаешь, о чем писать? Все ведь избито. Спокойной ночи!

— Спокойной ночи! — медленно повторила Визи. Уходя, я обернулся на особый оттенок голоса и поймал выражение нескрываемого, тоскливого страха в ее возбужденном лице. Мы встретились взглядами, Визи поторопилась улыбнуться, как всегда, нежно кивнув. Я ушел в спальню, разделся и лег с стесненной душой, но с задней лукавой мыслью о том, что Визи из простого упрямства не хочет понять меня.

V

Так повторилось раз, два, три — десять; причинами внезапной тоски служили, как я заметил, такие разнообразные обстоятельства, настолько иной раз противоречащие самому понятию «тоска», что я не мог избежать их. Чаще всего это была музыка, безразлично какая и где услышанная,— торжественная или бравурная, веселая или грустная — безразлично. В дни, предназначенные тоске, один отдельный аккорд сжимал и волновал душу скорбью о невспоминаемом, о некоем другом времени. Так я объясняю это теперь, но тогда, изумляясь тягостному своему состоянию я, минуя всякие объяснения, спешил к вину и разгулу — истреби-

телю меланхолии, возвращая часами ночного возбуждения прежнюю безмятежность.

Я стал определенно и нескрываемо равнодушен к Визи. Ее все более редкие попытки вернуть прежние отношения оканчивались ничем. Я стал бессознательно говорить с ней, как посторонний, чужой, нетерпеливый, но вежливый человек. Холодом взаимного напряжения полны были наши разговоры и встречи,— именно встречи, так как я не бывал дома по два и по три дня, ночуя у случайных знакомых, которых развелось изобилие. То были конюхи, фонарщики, газетчики, прачки, кузнецы, воры, солдаты, лавочники... Казалось, все профессии участвовали в моих скитаниях по Хераму в дни описанного выше, безысходного, тоскливого состояния. Мне нравился разговор этих людей: простой, грубо-толковый, лишенный двусмысленности и надрыва, он предлагал вниманию факты в безусловном, так сказать, арифметическом их значении: — «раз, два... четыре, одиннадцать,— случилось столько-то случаев таких-то, так и должно быть». Я радостно перевел бы нить своего разговора в описание поступков моих, но поступков, характернее и значительнее приведенных выше, не было и не могло быть. Удивительное чувство порядка, законченности всего, стало, за исключением дней тоски, нормальным для меня состоянием, отрицающим в силу этого всякий позыв к деятельности.

Доктор, противу ожидания моего, появился-таки в нашей квартире, он был расторопен и вежлив, весел и оживлен. Он сделал мне множество предложений, как хитрый медик — замаскированно медицинского свойства: прогулку на раскопки, охоту, лыжный спорт, участие в музыкальном кружке, в астрономическом кружке, наконец, предложил заняться авиацией, токарным ремеслом, шахматами и собеседованиями на религиозные темы; я слушал его внимательно, промолчал на все это и попрощался так сухо, что он не приходил более. После этого я сказал Визи:

— От чего хочешь ты меня лечить?

— Я хочу только, чтобы ты не скучал,— глухо произнесла она таким усталым, невольно сказавшим более, чем хотела, голосом, что я внутренне потускнел. Но это продолжалось мгновение. Я звонко расхохотался.

— Ты, ты не скучай, Визи! — сказал я.— А мне скучно не может быть — слышишь?! Я, право, не узнаю себя. Какое веселье, какая скука? Нет у меня ни этого,

ни другого. Ну, и просто — я всем доволен! Чего же еще? Я мог бы быть доктором этому доктору, если уж так говорить, Визи.

— Мы не понимаем друг друга, Галь. Ты смотришь на меня чужими глазами. Давно уж я не видела того выражения, от которого — знаешь? — хочется тихо петь или, улыбаясь, молчать... Наш разговор оборвался... мы вели его словами и сердцем...

— Мне странно слышать это,— сказал я,— быть может, ранее чрезмерная возбудимость...

Но я не докончил. Я хотел добавить... «нравилась тебе»,— и вдруг, как прихлопнутый глухой крышкой, резко почувствовал себя настолько чужим самому себе, что проникся величайшим отвращением к этой попытке завернуть в прошлое.

— Как-нибудь мы поговорим об этом в другой раз,— трусливо сказал я,— меня расстраивают эти разговоры.— Мне нестерпимо хотелось уйти. Слова Визи безнадежно и безрезультатно напрягали мою душу, она начинала терзаться, как немой, которому необходимо сказать что-то сложное и решающее. Я молчал.

— Уходи, если хочешь,— печально сказала Визи,— я лягу спать.

— Вот именно, я хотел прогуляться,— заявил я, быстро беря шляпу и целуя ее руку с тайной благодарностью,— но я скоро вернусь.

— Скоро?.. А «Метеор» снова просит статью.

Я улыбнулся и вышел. Давно уже когда-то нежно любимая работа отталкивала меня сложностью второй жизни, переживаемой в ней. Покойно, отойдя в сторону от всего, чувствовал я себя теперь, погрузившись в тишину теплого, сытого вечера, как будто вечер, подобно живому существу, плотно поев чего-то, благодушно задремал. Но, конечно, это я шел с сытой душой, и шел в таком состоянии долго, пока, взглянув вверх, не увидел среди других яркую, торжественно высящуюся звезду. Что было в ней скорбного? Каким голосом и на чей призыв ответило тонким лучам звезды все мое существо, тронутое глубоким волнением при виде необъятной пустыни мира? Я не знаю... Знакомая причудливая тоска сразила меня. Я ускорил шаги и через некоторое время сидел уже в дымном воздухе «Веселенького гусара», слушая успокоительную беседу о трех мерах дров, проданных с барышом.

VI

Зима умерла. Весна столкнула ее голой, розовой и дерзкой ногой в сырые овраги, где, лежа ничком в виде мертвенно-белых обтаявших пластов снега, старуха дышала еще в последней агонии холодным паром, но слабо и безнадежно. Солнце окуривало землю запахом древесных почек и первых цветов. Я жил двойной жизнью. Спокойное мое состояние ничем не отличалось от зимних дней, но приступы тоски стали повторяться чаще, иногда по самому ничтожному поводу. По окончании их я становился вновь удивительно уравновешенным человеком, спокойным, недалеким, ни на что не жалующимся и ничего не желающим. Иногда, сидя с Визи, я видел ее как бы вдали, настолько вдали, что ожидал, если она заговорит, не услышать ее голоса. Мы разговаривали мало, редко и всегда только о том, о чем хотел говорить я, то есть о незамысловатых и маловажных вещах.

Был поздний вечер, когда в трактир «Веселенького гусара» посыльный доставил мне письмо с надписью на свежезаклеенном конверте: «Г. Марку от Визи». Пьяный, но не настолько, чтобы утратить способность читать, я раскрыл конверт с сильным любопытством з р и т е л я, как если бы присутствовал при чтении письма человеком посторонним мне — другому, тоже постороннему. Некоторое время строки письма шевелились, как живые, под моим неверным и возбужденным взглядом; преодолев это неудобство, я прочитал:

«Милый, мне очень тяжело писать тебе последнее, совсем последнее письмо, но я больше не в силах жить так, как живу теперь. Несчастье изменило тебя. Ты, может быть, и не замечаешь, как резко переменился, какими чужими и далекими стали мы друг другу. Всю зиму я ждала, что наше хорошее, чудесное прошлое вернется, но этого не случилось. У меня нет сознания, что я поступаю жестоко, оставляя тебя. Ты не тот, прежний, внимательный, осторожный, большой и чуткий Галь, какого я знала. Господь с тобой! Я не знаю, что произошло с твоей бедной душой. Но жить так дальше, прости меня,— не могу! Я подробно написала о всем издателю «Метеора», он обещал назначить тебе жалованье, которое ты и будешь получать, пока не сможешь снова начать работать. Прощай. Я уезжаю;

прощай и не ищи меня. Мы больше не увидимся никогда.

Визи».

— «Визи»,— повторил я вслух, складывая письмо. В этот момент, роняя прыгающий мотив среди обильно политых вином столиков, взвизгнула скрипка наемного музыканта, обслуживавшего компанию кочегаров, и я заметил, что музыка подчеркивает письмо, делая трактир и его посетителей своими, отдельными от меня и письма; я стал одинок и, как бы не вставая еще с места, вышел уже из этого помещения.

Встревоженный неожиданностью, самым фактом неожиданности, безотносительно к его содержанию, осилить которое было мне еще не дано, я поехал домой с ясным предчувствием тишины, ожидающей меня там — тишины и отсутствия Визи. Я ехал, думая только об этом. Неизвестно почему, я ожидал, что встречу дома вещи более значительные, чем письмо, что произойдут некие разъяснения случившегося. Содержание письма, логически вполне ясное,— внутренне отвергалось мной, в силу того, что я не мог представить себя на месте Визи. Вообще же, помимо глухой тревоги, вызванной впечатлением резкого обрыва привычных и ожидаемых положений, я не испытывал ничего ярко горестного, такого, что сразу потрясло бы меня, однако сердце билось сильнее и путь к дому показался неблизким.

Я позвонил. Открыла прислуга, меланхолическая, пожилая женщина; глаза ее остановились на мне с каменной осторожностью.

— Барыня дома? — спросил я, хотя слышал тишину комнат и задумчивый стук часов и видел, что шляпы и пальто Визи нет.

— Они уехали,— тихо сказала женщина,— уехали в восемь часов. Вам подать ужин?

— Нет,— сказал я, направляясь к темному кабинету, и, постояв там во тьме у блестящего уличным фонарем окна, зажег свечу, затем перечитал письмо и сел, думая о Визи. Она представилась мне едущей в вагоне, в пароходной каюте, в карете — удаляющейся от меня по прямой линии; она сидела, я видел только ее затылок и спину и даже, хотя слабо, линию щеки, но не мог увидеть лица. Мысленно, но со всей яркостью действительного прикосновения я взял ее голову, пы-

таясь повернуть к себе; воображение отказывалось закончить этот поступок, и я по-прежнему не видел ее лица. Тоскливое желание заглянуть в ее лицо некоторое время не давало мне покоя, затем, устав, я склонился над столом в неопределенной печальной скуке, лишенной каких бы то ни было размышлений.

Не знаю, долго ли просидел я так, пока звук чего-то упавшего к ногам не заставил меня нагнуться. Это был ключ от письменного стола, упавший из-под моего локтя. Я нагнулся, поднял ключ, подумал и открыл средний ящик, рассчитывая найти что-то, имеющее, быть может, отношение к Визи,— неопределенный поступок, вытекающий скорее из потребности действия, чем из оснований разумных.

В ящике я нашел много писем, к которым в эти минуты не чувствовал никакого интереса, различные мелкие предметы: сломанные карандаши, палочки сургуча, несколько разрозненных запонок, резинку и пачку газетных вырезок, перевязанную шнурком. То были статьи из «Вестника» и «Метеора» за прошлый год. Я развязал пачку, повинуясь окрепшему за последний час стремлению держать сознание в связи со всем, имеющим отношение к Визи. Статьи эти вырезывала и собирала она, на случай, если бы я захотел издать их отдельной книгой.

Я развязал пачку, просматривая заглавия, вспоминая обстоятельства, при которых была написана та или иная вещь и даже, приблизительно, скелетное содержание статей, но далекий от восстановления, так сказать, атмосферы сознания, характера настроения, облекавших работу. От заглавий я перешел к тексту, пробегая его с равнодушным недоумением,— все написанное казалось отражением чуждого ума и отражением бесцельным, так как вопросы, трактованные здесь, как-то: война, религия, критика, театр и т. д.,— трогали меня не больше, чем снег, выпавший примерно в Австралии.

Так, просматривая и перебирая пачку, я натолкнулся на статью, озаглавленную: «Ценность страдания», статью, написанную приемом сильных контрастов и в свое время наделавшую немало шума. В противность прежде прочтенному, некоторые выражения этой статьи остановили мое внимание, в особенности одно: «Люди с так называемой «душой нараспашку» лишены острой и блаженной сосредоточенности молчания: не задержи-

ваясь, без тонкой силы внутреннего напряжения, врываются в их душу и без остатка покидают ее те чувства, которые, будучи задержаны в выражении, могли бы стать ценным и глубоким переживанием». Я прочитал это два раза, томясь вспомнить, какое, в связи с Визи, обстоятельство родило эту фразу, и с неожиданной, внутренне толкнувшей отчетливостью вспомнил! — так ясно, так проникновенно и жадно, что встал в волнении чрезвычайном, почти болезненном. Это сопровождалось заметным ощущением простора, галлюцинаторным представлением того, что стены и потолок как бы приобрели большую высоту. Я вспомнил, что в прошлом году, летом, подошел к Визи с невыразимо ярким приливом нежности, могущественно требовавшим выхода, но, подойдя, сел и не сказал ничего, ясно представив, что чувство, исхищенное словами, в неверности и условности нашего языка, оставит терпкое сознание недосказанности и конечно никак уже не выразимого словами, приниженного экстаза. Мы долго молчали, но я, глядя в улыбающиеся глаза Визи, вполне понимавшей меня, был очень, бескрайно полон ею и своим сжатым волнением. После того я написал вышеприведенное рассуждение.

Я вспомнил это живо и сердцем, а не механически,— мне не сиделось, я прошелся по кабинету, в углу лежал скомканный лист бумаги, я поднял его, развернул и, с изумлением, чуждым еще догадкам, увидел, что лист, не вполне дописанный красивым, мелким почерком Визи, был не чем иным, как неоконченной, но разработанной уже в значительной степени моей статьей, с заголовком: «Ртутные рудники Херама», статья Г. Марка. Я никогда не писал этой статьи и не диктовал ее никому, я ничего не писал. Я прочел написанное со вниманием преступника, читающего копию приговора. Живое, интересное и оригинальное изложение, способность охватить ряд явлений в немногих словах, выделение главного из массы несущественного и, как аромат цветка, свойственные только женщинам, свои, никогда не приходящие нам в голову слова, очень простые и всем известные, с несколько интимным оттенком, например: «совсем просто», «замечательно хорошие», «как взглянуть» — делали написанное прекрасной работой. «Статья Г. Марка» снова прочел я... и стало мне в невольных неудержимых тяжких слезах спасительно резкой скорби — ясным все.

Я сидел неподвижно, пытаясь овладеть положением. «Я никогда больше не увижу ее»,— сказал я, проникаясь, под впечатлением тревоги и растерянности, особым вниманием к слову «никогда». Оно выражало запрет, тайну, насилие, и тысячу причин своего появления. Весь «я» был собран в этом одном слове. Я сам, своей жизнью вызвал его, тщательно обеспечив ему живучесть, силу и неотразимость, а Визи оставалось только произнести его письменно, чтобы, вспыхнув черным огнем, стало оно моим законом, и законом неумолимым. Я представил себя прожившим миллионы столетий, механически обыскивающим земной шар в поисках Визи, уже зная на нем каждый вершок воды и материка,— механически, как рука шарит в пустом кармане потерянную монету, вспоминая скорее ее прикосновение, чем надеясь произвести чудо, и видел, что «никогда» смеется даже над бесконечностью.

Я думал теперь упорно, как раненый, пытающийся с замиранием сердца предугадать глубину ранения, сгоряча еще не очень чувствительного, но отраженного в инстинкте страхом и возмущением. Я хотел видеть Визи, и видеть возможно скорее, чтобы ее присутствием ощупать свою рану, но это черное «никогда» поистине захватывало дыхание, и я бездействовал, пока взгляд мой не упал снова на не оконченную Визи статью. Мучительное представление об ее тайной, тихой работе, об ее стараниях путем длительного и возвышенного подлога скрыть от других мое духовное омертвение было ярким до нестерпимости. Я вспомнил ее улыбку, походку, голос, движения, наклон головы, ее фигуру в свете и в сумерках,— во всем этом, так драгоценном теперь, не сквозило никогда даже намека на то, что она делала для меня. Долго молчаливая любовь возвращалась ко мне, но как! И с какими надеждами! — с меньшими, чем у смертельного больного, еще дышащего, но думающего только о смерти.

Я встал, прислушиваясь к себе и размышляя как прежде: отчетливо собирая вокруг каждой мысли толпу созвучных ей представлений, со всем ее оглушительным эхом в далях сознания. Я видел, что встряхиваюсь и освобождаюсь от сна. Я встал с единственным, неотложным решением отыскать Визи, спокойно зная, что отныне, с этого мгновения увидеть ее становится единственной целью жизни. Насколько вообще всякое решение приносит спокойствие, настолько я

получил его, приняв *такое* решение, но спокойствие подобного рода охотно променял бы на любую унизительнейшую из пыток.

Белое, еще бессолнечное утро открыло за бледноголубым окном пустую, тихую улицу. Я вышел, направляясь к озерной пристани. Я захотел верить, что Визи предварительно поехала в Зурбаган. По моим расчетам, она не могла миновать этот город, так как в нем жили ее родственники. На тот случай, если бы я уже не застал ее в Зурбагане и лица, посвященные в ее тайну, отказались указать мне адрес,— я с чрезвычайным, но полным любви ожесточением решил достичь цели непрерывным упорством, хотя бы пришлось пустить для этого в ход все средства, возможные на земле.

Подойдя к пристани, я увидел низкое над обширной водой солнце, далекие туманные берега и небольшой пароход «Приз», тот самый, который увозил нас в прошлом году в Херам. Со стесненным сердцем смотрел я на его корпус, трубу в белых кольцах, мачты и рубку,— он был для меня живым *третьим*, помнившим присутствие Визи и как бы навек связанным со мной этим общим воспоминанием.

На пристани почти никого не было,— бродила спокойная худая собака, обнюхивая различный сор, да в дальнем конце мола медленно переходил с места на место ранний удильщик, высматривая неизвестное мне удобство. У конторы я взглянул в прибитое к стене расписание: «Приз» отходил в десять часов утра, а перед этим, вчера, вышел тем же рейсом «Бабун», в одиннадцать сорок минут вечера. Только «Бабун» мог увезти Визи. Это немного развеселило меня: нас разделяло часов двенадцать пути,— срок, за который Визи едва ли смогла уехать из Зурбагана далее, если даже она и опасалась, что я стану ее разыскивать. Я тщательно разобрал этот вопрос и с горестью заключил, что она могла не бояться встретить меня, все поведение мое должно было убедить ее в том, что я вздохну облегченно, оставшись один. Несмотря на стыд, это прибавило мне надежды застигнуть Визи врасплох, хотя в хорошем исходе свидания я далеко не был уверен. Предупреждая события, я вызывал болезненно напряженной душой призраки и голоса встречи, варьируя их в множестве оттенков и положений, и мысленно волнуясь, говорил с Визи, рассказывал все мелочи своего потрясения.

Когда солнце поднялось выше и гул ранней работы огласил гавань, я засел в ближайшей кофейне, где просидел до первого свистка. Когда пароход двинулся, вспахав прозрачную воду озера прямой линией кипящей у кормы пены, я долго смотрел на собранные теперь в одну длинную кучу крыши Херама с чувством неудовлетворенного любопытства. Характер и дух города остались мне неизвестными, как если бы я никогда в нем не жил; так произошло потому, что я временно ослеп для многих вещей, понятных изощренной душе и неуловимых ограниченным, скользящим вниманием. Но скоро я спустился в каюту, где, против воли, совершенно измученный событиями прошедшей ночи, я заснул. Проснулся я в темноте, тревоге и ропоте монотонно шумливых волн, поплескивающих о борт. Тоска, страх за будущее, одиночество, тьма — делали неподвижность невыносимой. Я закурил и вышел на палубу.

По-видимому, был глухой, поздний час ночи, так как в пустоте неверного света мачтовых фонарей я увидел только один, почти слившийся с бортом и мраком озера, силуэт женщины. Она стояла спиной ко мне, облокотившись на планшир. Мне хотелось поговорить, рассеяться; я подошел и сказал негромко, в тон глухой ночи:

— Если вам тоже, как и мне, не спится, сударыня, поговорим о чем-нибудь полчаса. Обычное право путешественников...

Но я не договорил. Женщина выпрямилась, повернулась ко мне, и в полусвете падающих сверху лучей я узнал Визи... Ни верить этому, ни отрицать этого я не смел в первое мгновенье, показавшееся концом всего, полным обрывом жизни. Но тут же, отстраняя гнетущую силу потрясения, вспыхнул такой радостью, что как бы закричал, хотя не мог еще произнести ни слова, ни звука и стоял молча, совершенно расколотый неожиданностью. Милое, нестерпимо милое лицо Визи смотрело на меня с грустным испугом. Я сказал только:

— Это ты, Визи?

— Я, милый,— устало произнесла она.

— О Визи...— начал я было, но слезы и безвыходное смятение мешали сказать что-нибудь в нескольких исчерпывающих словах.— Я ведь опять тот,— выговорил я наконец с чрезвычайным усилием,— тот, и искал

тебя! Посмотри на меня ближе, побудь со мной хоть месяц, неделю, один день.

Она молчала, и я, взяв ее руку, тоже молчал, не зная, что делать и говорить дальше. Потом я услышал:

— Я очень жалею, что опоздала на вечерний пароход и что мы здесь встретились... Галь, не будет из этого ничего хорошего, поверь мне! Уйдем друг от друга.

— Хорошо,— сказал я, холодея от ее слов,— но выслушай меня раньше. Только это!

— Говори... если можешь...

В одном этом слове «можешь» я почувствовал всю глубину недоверия Визи. Мы сели.

Светало, когда я кончил рассказывать то, что написано здесь о странных месяцах моей, и в то же время непохожей на меня жизни, и тогда Визи сделала какое-то не схваченное мною движение, и я почувствовал, что ее маленькая рука продвинулась в мой рукав. Эта немая ласка довела мое волнение до зенита, предела, едва выносимого сердцем, когда наплыв нервной силы, подобно свистящему в бешеных руках мечу, разрушает все оковы сознания. Последние тени сна оставили мозг, и я вернулся к старому аду — до конца дней.

ЛЬВИНЫЙ УДАР

I

Трайян только что вернулся с большого собрания Зурбаганской ложи всемирного теософического союза. Блестящее выступление Трайяна против Ордовы, сильнейшего оратора ложи, его могучий дар убеждения, основанного на точных данных современного материализма, его отточенная ирония и невероятная память, бросающая в связи с общим, стройным, как пламя свечи в безветрии, мировоззрением,— тысячи непоколебимых фактов,— лишили Ордову, под конец диспута, самообладания и твердости духа. Материализм, в лице Трайяна, получил, кроме шумных оваций, несколько десятков новообращенных, а Трайян, приехав домой, надел халат, сел поудобнее к железному, художественной

работы камину, и красный трепет огня отразился в зрачках его веселых глаз, накрытых черными, крутыми и тонкими, как у красивых женщин, бровями.

Хотя Ордова не появлялся еще в нашем рассказе видимым и говорящим лицом, интересно все-таки отметить разницу в наружности противников, а наружность — в контрасте с их убеждениями. Знаменитый ученый-материалист Трайян обладал внешностью модного, балованного художника, в ее, так сказать, банальной транскрипции: пышный галстук, волосы черные и длинные, пышные, как и холеная борода; безукоризненной чистоты профиль, белая кожа; синий бархатный пиджак — впечатление одухотворенной изысканности; идеалист Ордова коротко стригся, лицом был некрасив и невзрачен и одевался в скверном магазине скверного готового платья. Странное заключение можно было бы сделать отсюда! Однако рассказ наш лежит не в шутке, и сравнение упомянутых лиц с ошибочно перепутанными масками — все, что мы можем себе позволить по этому поводу.

В кабинете, кроме Трайяна, сидел приехавший с ним генерал Лей, живой, ловкий и любезный старик, настоящий боевой человек, знающий смерть и раны... Лей был поклонником сражений, драки и состязаний вообще, неизменно оставаясь, когда это не касалось патриотизма, сторонником победителя; бой петухов, тарантулов, быков, бой — диспут ученых — серьезно, увлекательно волновали Лея; он принимал жизнь только в борьбе и лакомством считал поединки.

— Мне кажется, Ордова чувствует себя плохо,— сказал Лей,— и я менее всего хотел бы быть на его месте.

— Он все-таки убежденный человек,— заметил Трайян,— и я, если хотите, заставил его только молчать. Не он побежден сегодня, а его идейный авторитет.

— Ордова обезоружен.

— Да, я обезоружил его, но не покорил, что, впрочем, мне совершенно не нужно.

— Ордова крупный противник,— сказал Лей,— так как стоит на приятной практически для масс точке зрения. «Я умираю, но я же и остаюсь»,— какие великолепные перспективы!

— Он слабый противник,— возразил Трайян,— его заключения произвольны, аргументация беспорядочна и, так сказать, экзотична; эрудиция, обнимающая не-

большое количество старинных, более поэтических, чем научных книг, достойна всякого сожаления. «Организм умирает, дух остается!» — вот все: вера, выраженная восклицанием; соответственно настроенные умы, конечно, предпочтут этот выкрик данным науки. Однако таких меньшинство, в чем я и убедил вас сегодняшним выступлением.

— Господин Ордова просит разрешения видеть вас! — сказал, появляясь в дверях, лакей.

Собеседники переглянулись; Трайян усмехнулся, пожав плечами. Лей просиял от любопытства и нетерпения. Несколько мгновений Трайян молчал, обдумывая тон встречи, пока ему не показалось более уместным, как победителю, почтительное и серьезное отношение.

— Просите! — мягко сказал он и продолжал, подымаясь навстречу входившему Ордове: — Очень, очень мило с вашей стороны, что вы навестили человека, искренне расположенного к вам, помимо всяких теорий. Садитесь, прошу вас. Ордова — генерал Лей.

Невзрачное, грустное лицо Ордовы выразило легкое замешательство.

— В этот поздний час, господин Трайян,— сказал он таким же грустным, как и его лицо, но решительным и свободным голосом,— я пришел по немаловажному делу к вам лично.

Генерал поклонился и разочарованно протянул руку Трайяну.

— Как лишний, я удаляюсь...

Но Трайян знаком остановил его.

— Не уходите. Лей, я не хотел бы секретов и вообще никакой таинственности.

— Извините,— сказал Ордова,— я пришел с коротким, практическим предложением, но такого рода, что намек на третье лицо был нелишним. Если генерал Лей находится в курсе вопросов, рассмотренных в сегодняшнем заседании, и не состоит членом общества покровительства животным,— я без задержек перейду к делу.

— Вопрос идет о животном? — спросил Трайян, рассматривая Ордову в упор.— Однако я хотел бы избегнуть мистификации.

— Зачем,— искренно возразил Ордова,— когда можно обойтись без всякой мистификации!

— Я и генерал Лей слушаем вас,— коротко заявил Трайян.

Гость поклонился, и все сели; тогда Ордова заговорил:

— Для скептиков, людей предвзятого мнения, людей легкомысленных и людей искренне убежденных существует неотразимо повергающее их оружие — сила факта. Обстановка факта, внешняя и внутренняя его сторона должны быть наглядными и бесспорными. Могли ли бы вы, Трайян, быв очевидцем, даже действующим лицом факта бесспорного, опровергающего нечто весьма существенное в вашем мировоззрении,— явить мужество признанием власти факта?

Трайян подумал и, не найдя в словах Ордовы ловушки, сказал:

— Приняв бесспорность факта существеннейшим и главнейшим условием — да, мог бы, как ученый и человек.

— Хорошо,— продолжал Ордова,— то, что я изложу далее, не требует с вашей стороны возражений. Вы можете просто, в худшем случае, пропустить это мимо ушей. Внимательное изучение древних восточных авторов, подтвержденное собственными моими опытами, привело меня к убеждению в действительном существовании Духа живой Жизни, духовной основы всякого организма. Естественная смерть существа никогда не бывает достаточно быстрой для того, чтобы освобождение, или исход, Духа произвело резкое впечатление на присутствующих; какими путями совершается это, доныне нам неизвестно, во всяком случае, постепенное освобождение духовной энергии в сравнении с мгновенным исхищением ее путем идеально быстрого уничтожения тела, почти неведомого природе,— относится одно к одному так же, как взрыв пороха — к медленному его сгоранию. Под идеально быстрым уничтожением подразумеваю я не только предшествующий окончательной смерти полный паралич организма, как в случаях разрыва сердца или апоплексии, а полное сокрушение, обращение в бесформенную материю. Вам, Трайян, и вам, генерал, предлагаю я завтра в 12 часов дня быть свидетелями такой смерти, смерти сильного, здорового льва; мой выбор я остановил на этом звере ради его сравнительно небольших размеров, отвечающих условиям опыта, но, главным образом, в силу огромного количества невесомой таинственной энергии или Духа, заключенного в льве, как в носителе силы.

— Насколько я понял вас,— сказал Трайян, улыбаясь безобидно, как если бы речь шла о сложной и умной шалости,— освобожденный дух льва будет доступен моим физическим чувствам?! Но как и в какой мере?

— Как — не знаю,— серьезно сказал Ордова,— но, ручаюсь, в достаточно убедительной степени. Завод Трикатура отдал в мое распоряжение восьмисотпудовый паровой молот; молот убьет льва. Я не требую у вас участия в расходах по опыту, так как это моя затея; прошу лишь, после составления письменного акта о происшедшем, присоединить свою подпись.

— Согласен,— высокомерно сказал Трайян.— Лей, что вы думаете об этой истории?

Глаза Лея блестели одушевлением и азартом.

— Я думаю... я думаю,— вскричал он,— что время до двенадцати часов полудня покажется мне тысячелетней пыткой!

— Я жду вас,— сказал Ордова, прощаясь, затем, помолчав, прибавил: — Довольно трудно было найти льва, и я, кажется, немного переплатил за своего Регента. Я ухожу. Не думайте о моих словах, как о шутке или безумстве.

Он вышел; когда дверь закрылась, Трайян сел за стол, уронил голову на руки и разразился истерическим, неудержимым, широким, страшным, гомерическим хохотом.

— Лев!..— бросал он в редкие секунды затишья,— под паровым молотом!.. в лепешку!.. с хвостом и гривой!.. ведь этого не выдумаешь под страхом казни!.. О Лей, Лей, как ни самоуверен Ордова,— все же я не ожидал одержать победу сегодня над таким жалким, таким позорно — для меня — жалким противником.

II

Лев, купленный Ордовой в зверинце Тоде, пятилетний светло-желтый самец крупных размеров, отправился в тесной и прочной клетке к месту уничтожения около одиннадцати часов утра. Льва звали Регент. Его сопровождал опытный укротитель Витрам, человек, в силу профессии, привычки и вдумчивости, любивший животных более, чем людей. Витрам ничего не знал о роковом будущем Регента. Он провожал его за плату,

по приглашению, на загородный завод Трикатура; сидя на краю фуры автомобиля, он обращался время от времени к Регенту с ласковыми, одобрительными словами, на что лев отвечал раскатами короткого рева, подобного грому. Фура двигалась окольными улицами; во тьме плотно укутанной брезентовым чехлом клетки лев раздраженно переносил надоедливую оскорбительную тряску долгой езды, неловко прижавшись в угол, ударяя хвостом о прутья и мгновенно воспламеняясь гневом, когда более резкие толчки мостовой принуждали его менять положение. В таких случаях он ревел грозно и долго, с явным намерением устрашить таинственную силу движения, приводящую его, огненной силы, непокорное, мускулистое тело в состояние тягостной неустойчивости. Пойманный уже взрослым, он тосковал в неволе ровной, глухой тоской, лишенной всякого унижения, иногда отказываясь от пищи, если случайный оттенок ее запаха терзал сердце неясными, как забытый, но яркий сон, чувствами свободного прошлого.

— Еще немного потерпи, рыжий,— сказал Витрам, завидев через далекие крыши построек черные башенные трубы завода, изливающие густой дым,— хотя, разорви меня на куски, я не сумею сказать тебе, зачем твое дикое величество переезжает в новое помещение.

Регент, зная по тону голоса, что Витрам обращается к нему, взревел на всю улицу.

— Сбрендил, надо быть, какой-то состоятельный человек,— продолжал Витрам,— потянуло его к зоологии, вообразил он себя римским вельможей, из тех, что разгуливали в сопровождении гепардов и барсов, и купил нашего Регента. Тебя, старик, посадят в саду, на видном месте, среди так знакомой тебе тропической зелени. Вечером над фонтаном вспыхнет голубая электрическая луна; толпа близоруких щеголей, взяв под ручку молодых женщин со старческой душой и косметическим телом, займется снисходительной критикой твоей внешности, хвоста, движений, лап, мускулов, гривы...

Витрам умолк; лев рявкнул.

— А чем кормят львов? — осведомился шофер.

— Твоими ближними,— сказал Витрам, и шофер, думая, что услышал очень забавную вещь, громко захохотал. Минуту спустя, фургон проезжал мимо рынка; запах сырого мяса заставил Регента круто

метнуться в клетке, и все его большое, тяжелое тело заныло от голода. Не зная, где мясо, так как тьма была полной, а запах, проникая в нее, властно щекотал обоняние,— лев несколько раз ударил лапами вниз и над головой, разыскивая обманчиво близкую пищу; но когти его встретили пустоту, и внезапная ярость зверя развернулась таким ревом, что на протяжении двух кварталов остановились прохожие, а Витрам хлопнул бичом по клетке, приглашая к терпению.

Наконец, въехав в ворота, фургон остановился у закопченного кирпичного здания, и Витрам, спрыгнув, подошел к слегка бледному, но спокойному Ордове. Тут же стояли Трайян и генерал Лей.

— Регент приехал,— сказал Витрам,— и так как вы, кроме этого, рассчитывали на мое искусство,— то я к вашим услугам.

Трайян, находя свое положение несколько глупым, молчал, решив ни во что не вмешиваться, но генерал выказал живое участие к хлопотам по сниманию и установке клетки вблизи парового молота.

Это гигантское сооружение терялось верхними частями в мраке неосвещенного купола; из труб, слабо шипя, просачивался пахнувший железом и нефтью пар; молот был поднят, саженная площадь наковальни тускло блестела, подобно черной вечерней луже, огнем спущенных ламп.

Витрам еще не догадывался, в чем дело; он проворно развязывал веревки, снимал с клетки брезент; завод пустовал, так как был праздник, и привести молот в действие должен был сам Ордова.

— Как же, Трайян,— сказал Лей,— отнесетесь вы к антрепренеру Ордове, если его постигнет фиаско?

— Очень просто,— хмуро заявил Трайян, смотревший на молот с нетерпением и брезгливостью,— я ударю его по лицу за жестокость и дерзость. Неужели вы, умный человек, ждете успеха?

— А... как сказать?! — возразил генерал с бесстыдством любопытного и жадного к зрелищам человека.— Пожалуй, жду и хочу всем сердцем необыкновенных вещей. Скажу вам откровенно, Трайян: хочется иногда явлений диких, странных, редких,— случаев необъяснимых; и я буду очень разочарован, если ничего не случится.

— Ренегат! — шутливо сказал Трайян.— Вчера вы аплодировали мне, кажется, искренне.

— Вполне, подтверждаю это, но вчера в высоте мгновения стояли вы, теперь же, пока что — лев.

— Посмотрите на льва,— сказал подходя Ордова,— как нравится вам это животное?

Брезент спал. Регент стоял в клетке, устремив на людей яркие неподвижные глаза. Его хвост двигался волнообразно и резко; могучая отчетливая мускулатура бедер и спины казалась высеченной из рыжего камня; он шевельнулся, и под шерстистой кожей плавно перелились мышцы; в страшной гриве за ухом робко белела приставшая к волосам бумажка.

— Хорош, и жалко его,— серьезно сказал Трайян.

Лей молчал. Витрам хмуро смотрел на льва. Ордова подошел к молоту, двинув рычаг для пробы двумя неполными поворотами; массивная стальная громада, легко порхнув книзу и вверх, не коснувшись наковальни, снова остановилась вверху, темнея в глубине купола.

— Ну, Витрам,— сказал, ласково улыбаясь, Ордова,— вы, дорогой мой, должны, как сказано, нам помочь. Регент вас слушается?

— Бывали ослушания, сударь, но небольшие, детские, так сказать, вообще он послушный зверь.

— Хорошо. Откройте в таком случае клетку и пригласите Регента взойти на эту наковальню.

— Зачем? — растерянно спросил Витрам, оглядываясь вокруг с улыбкой добродушного непонимания.— Льва на наковальню?!

— Вот именно! Однако не теряйтесь в догадках. Здесь происходит научный опыт. Лев будет убит молотом.

Витрам молчал. Глаза его со страхом и изумлением смотрели в глаза Ордовы, блестевшие тихим, влажным светом непоколебимой уверенности.

— Слышишь, Регент,— сказал укротитель,— что приготовили для тебя в этом месте?

Не понимая его, но обеспокоенный нервным тоном, лев, с мордой, превращенной вдруг в сплошной оскал пасти, с висящими вниз клыками верхней, грозной сморщенной челюсти, заревел глухо и злобно. Трайян отвернулся. Витрам, дав утихнуть зверю, сказал:

— Я отказываюсь.

— Тысяча рублей,— раздельно произнес Ордова,— за исполнение сказанного.

— Я даже не слышал, что вы сказали,— ответил

Витрам,— я думал сейчас о льве... Такого льва трудно, господа, встретить, более способного и умного льва...

— Три тысячи,— сказал Ордова, повышая голос,— это нужно мне, Витрам, очень, необходимо нужно.

Витрам в волнении обошел кругом клетки и закурил.

— Господа! Я человек бедный,— сказал он с мукой на лице,— но нет ли другого способа произвести опыт? Этот слишком тяжел.

— Пять тысяч! — Ордова взял вялую руку Витрама и крепко пожал ее.— Решайтесь, милый. Пять тысяч очень хорошие деньги.

— Соблазн велик,— пробормотал укротитель, неподдельно презирая себя, когда, после короткого раздумья, остановился перед дверцей клетки с револьвером и хлыстом.— Регент, на эшафот! Прости старого друга!

Ордова, прикрепив к рычагу веревку, чтобы не очутиться в опасной близости к льву, и, обмотав конец привязи о кисть правой руки, поместился саженях в двух от молота. Трайян, желая избегнуть всякой возможности шарлатанства, тщательно осмотрелся. Он стал вдали от всяких предметов, машин и нагромождений железа под электрической лампой, ровно озарявшей вокруг него пустой, в радиусе не менее двадцати футов, усыпанный песком, каменный пол; Лей стоял рядом с Трайяном; оба осмотрели револьверы, предупредительно выставив их, на худой случай, дулом вперед.

Витрам, звякнув в полной тишине ожидания запорами и задвижками, открыл клетку.

— Регент! — повелительно сказал он.— Вперед, ближе сюда, марш! — Лев вышел решительными крутыми шагами, потягиваясь и подозрительно щурясь; Витрам взмахнул хлыстом, отбежав к наковальне.— Сюда, сюда! — закричал он, стуча рукояткой хлыста по отполированному железу. Регент, опустив голову, неподвижно стоял, ленясь повторить знакомое и скучное упражнение. Приказания укротителя становились все резче и повелительнее, он повторял их, бешено щелкая хлыстом, тоном холодного гнева, расталкивая сопротивление льва взглядом и угрожающими жестами; и вот, решив отделаться наконец от докучного человека, Регент мягким усилием бросил свое стремительное тело на наковальню и выпрямился, зарычав вверх, откуда смотрела на него черная плоскость восьмисотпудовой

тяжести, связанной с слабой рукой Ордовы крепкой веревкой.

Ордова качнул рычаг в тот момент, когда Витрам отскочил, закрыв лицо руками, чтобы не видеть размозжения Регента, и молот мигнул вниз так быстро, что глаза зрителей едва уловили его падение. Глухой тяжкий удар огласил здание; в тот же момент толчок шумного, полного жалобных, стонущих голосов вихря опрокинул всех четырех людей, и, падая, каждый из них увидел высоко мечущийся огненный образ льва, с лапами, вытянутыми для удара.

Все, кроме Ордовы, встали; затем подошли к Ордове. Кровь льва, подтекая с наковальни, мешалась с его кровью, хлещущей из разодранного смертельно горла; жилет был сорван, и на посинелой груди, вспахав ее дымящимися рубцами, тянулся глубокий след львиных когтей, расплющенных секунду назад в бесформенное ничто.

ОГОНЬ И ВОДА

I

Леон Штрих, в надежде, что его история с оппозицией диктатору области кончится благополучно,— поселился у самой границы, однако вне пределов досягаемости. Теперь он находился всего лишь в тридцати верстах от города и дома, где проживала его семья. Значительные и властные лица хлопотали о разрешении Штриху вернуться на родину. Это тугое и обременительное для многих дело шаг за шагом подвигалось, как можно было уже надеяться, к благополучному концу. Штрих, бесконечно влюбленный в семью, скрашивал свое нетерпеливое тягостное уединение тем, что в ясные дни, когда даль сбрасывала туманы окрестных болот, взбирался на холмы Железного Клина и подолгу смотрел через бухту на рой туманных блесток далекого Зурбагана. Мысленно определив место, где стоял дом, Штрих вскрывал воображением все его этажи и, мысленно же побыв с детьми и женой, согревшись их обществом, возвращался к своему убежищу, маленькому деревянному

домику рыбака, стоявшему на краю деревни, в конце Железного Клина, неподалеку от линии моря.

Он жил здесь около года, утешаясь предельной близостью к городу. Жена и дети часто писали ему. Он вскрывал письма, опустив оконные занавески, чтобы не рассеиваться ничем, и читал их по нескольку раз, до утомления, стараясь определить мысли, проносившиеся в уме писавшего, меж фразами и знаками препинания. Иногда он рассматривал отдельные буквы, ломая голову при поспешном или старательном начертании их; также над запятыми, точками, особенно в письмах жены. «Не знала, что писать дальше, ей скучно»,— воображал он иногда, и его сердце при виде отчетливо вкрапленной где-нибудь в середине письма точки — сжималось. Зато он ликовал, получая мелко исписанные страницы с приписками на полях и поперек текста. Его жене было двадцать четыре года, мальчику — восемь и пять — девочке. Он жил только семьей; жалел, что приходится спать, отнимая время у дум о близких; часто в минуты глубокой рассеянности он почти видел их перед собой, говоря в полузабытьи с ними как с присутствующими. Временами он принимался бранить себя за то, что ввязался в политику,— с яростью, превышающей, вероятно, ярость его противника.

Он ничего не делал и жил, слоняясь целыми днями по береговым скалам, на солнечном ветре, избегая людей, чувствуя больную ревность к самому себе при встрече с ними, так как невольно вникал в чужие интересы, страдания, надежды, обманы. Рыбаки начали дичиться его. Он неохотно отвечал на вопросы, улыбался, когда жаловались на что-либо; морщился, когда с ним делились радостью; часто говорил невпопад, резко прощался.

Кузнец, хозяин дома, где он жил, человек неслово-охотливый, но любивший выпить и покурить вдвоем, был единственный человек, которого терпел Штрих. Кузнец являлся по вечерам. Штрих ставил на стол бутылку, папиросы и принимался рассказывать о своих. У него мальчик и девочка. Его мучает иногда то, что которого-то из них он, кажется, любит больше, но не может уяснить, кого именно. Мальчика зовут, как и его, Леон, но прозвище у него «Брандахлыстик». Он начал читать четырех лет. Он делает очень хорошо маленькие лодки и обожает музыку. Девочку, которую

зовут, как мать,— Зелла, прозвали «Муму». Она складывала, когда была очень маленькой, губки в трубку, и выходило у нее поэтому не «мама», а «муму». Оба черноволосы, оба очень добры. Оба страшные шалуны. Оба прекрасны. Жалко, что кузнец их не видел. Муму ездит на волкодаве верхом и всегда хохочет. Однажды она засунула палец в пустой пузырек от лекарства и не могла вытащить (ей было тогда три года), но она догадалась его разбить и притом не обрезалась.

Кузнец добродушно слушал, кивая головой и помаргивая огромными бровями. Веки его слипались. Постепенно, не торопясь, выпивал он вино, вытирал рот кистью руки, благодарил за угощенье и уходил, дымя папиросой, весь в пепле. Оставшись один, Штрих, возбужденный разговором, долго ходил по комнате. В стенном зеркале мелькало, как бы пролетая, его иссохшее от тоски лицо с блестящими напряженными глазами. Синий туман, наконец, ослаблял его и вгонял в постель.

Каждый день утром, с головой, полной одних и тех же мыслей, в нервном и тоскливом ожидании писал он длинные письма жене, бесконечно уснащая их ласковыми словами, интимными обращениями и теми маленькими вольностями, какие у цельных натур выказывают не испорченность, а острое всепроникающее обожание. В конце письма следовали длинные обращения к детям. Он писал о своих настроениях, мечтах, планах, надеждах, описывал окрестности, прогулки, раковины, деревья, закаты солнца, морские шквалы, подробно исчислял однообразное течение дня, давал советы, спрашивал о положении своего дела; просил читать те или другие книги. Затем он совершал упомянутую прогулку к холмам с видом на Зурбаган.

Тем временем друзья стали извещать его — все в более и более определенных выражениях — о том, что вокруг его дела создалась благоприятная атмосфера. Оставалось посетить двух-трех лиц, завершить некоторые формальности (просить в одном месте, дать взятку в другом). Штрих чувствовал приближение свободы. Он спал меньше, дольше оставался на холмах, иногда заговаривал сам с туземцами, угощая их табаком. Огромная тяжесть, давившая его, покачнулась, и под дальним краем ее блеснул свет.

II

В четвертом часу ночи на воскресенье Штрих внезапно проснулся, мгновенно взвинченный необъяснимой тревогой. Она была так сильна, что руки Штриха плясали, долго не попадая спичкой в фитиль свечи. Штрих кое-как надел брюки, жилет. По лужам (днем прошел сильный ливень) торопливо ударяли копыта верховой лошади. Шум приближался; подковы звякнули перед окном о камни, и на мгновенье стало тихо. Штрих ждал.

За дверью раздались голоса; один был голосом кузнеца, снимавшего дверные засовы, другой голос, тоже мужской, показался Штриху знакомым. Три громких удара в дверь слились с его криком:

— Да, да, я здесь; идите, в чем дело?!

Вошел, задыхаясь, Морт,— учитель, друг Штриха. Они не виделись больше года. Морт был в грязи, бледен, странен в движениях; нестерпимо-тоскливое выражение его лица душило Штриха. Морт остановился у двери, смотря на друга взглядом, полным таинственного значения. Штрих подступил к нему, не здороваясь, сжав кулаки, видя, что визит грозен, как разрушение.

— Я взял отпуск, лошадь и помчался к тебе,— говорил Морт, торопясь высказать все, пока руки Штриха не вцепились в его горло.— Ты чувствуешь? Ты угадал? Я просил, молил о разрешении тебе ехать немедленно в Зурбаган, но скоты уперлись лбом... Телеграмма убила бы тебя. Признаюсь, я хотел начать издалека, но когда увидел, что ужас уже с тобой — говорю сразу. Слушай, возьми в зубы одеяло и крепче закуси или же сразу оглушись водкой как можно больше. Дом сгорел, Штрих; пожар начался в нижнем этаже, дерево занялось сразу, дети... Понял? Твоя жена в больнице; сутки, может быть, но не более...

Когда он договаривал, Штрих уже рвал изо всех сил дверь, удерживаемую тоже с бешеным упорством Мортом; тот кричал нечто, чего Штрих не понимал и не хотел знать. Он плакал навзрыд, цеплялся за его руки, с смутной надеждой найти слова повелительной и разумной силы. Но таких слов не могло быть. Штрих ударами кулака отбил Морту руки, державшие закраину двери, и выбежал в тьму.

Он был босой, без шапки, как застал его Морт. Дождливый мрак грудью навалился на землю, време-

нами колыхая в лицо душным сырым ветром. Свернув за угол дома, Штрих с точностью лунатика устремился по прямой линии к развалинам зурбаганского дома, как голубь, брошенный с аэростата, сквозь блеклый туман бездны, падая стремглав, берет сразу нужное направление. Штрих пересекал полуостров. Полного сознания окружающего у него не было. Весьма неровная местность, покрытая перелесками, оврагами, скалистыми рубцами почвенных гранитных прослоек, местами смытая водой, местами песчаная,— одолевалась им как бы во сне. Он спотыкался, падал, вставал, снова бросался вперед, не помня и не ощущая ничего. Общее смутное впечатление пробега, когда оно являлось мгновениями, напоминало бешеную пляску в наглухо закрытой карете. Потрясение, сильнейшее, чем можем мы представить себе, держало его на границе мгновенной смерти. Ни боли окровавленных ног, ни тяжести, ни дыхания не чувствовал, пока бежал, Штрих, увлекаемый нервным вихрем в неизменно безошибочном направлении. Он знал только, что неизвестно как, через некоторый чудовищный промежуток времени — очутится там, где надо, где — поздно и где что-то можно поправить.

Тьма была полная; однако блеск образов, сопутствующих ему, неотступно плывущих вокруг, в близком расстоянии от лица, превращал мрак, световым напряжением мозга, в подобие сумеречных провалов, где, дымясь фосфорически, сплотились облака уродливых контуров. Дым окружал Штриха. Он слышал его угарный запах, видел колебание волнистых серых завес, пронизанных багровым отсветом, и тихо передвигающихся, красных струек огня. Часть оконного переплета мелькала вдали. Временами Штрих громко произносил:

— И вот они задыхались!..

Оба, мальчик и девочка, беспрерывно перемещались в сгущении дыма; они то бежали по направлению к нему, протирая кулачками глаза, то удалялись в таинственные углы мрака, откуда слышался их затихающий крик; то, лежа на полу в конвульсивной дрожи, тыкались головами, как слепые щенки, в извивы бурно мятущегося везде дыма. Или лицо жены, закинутое назад, как у обморочной, с пылающими волосами, проносилось так близко от него, что он протягивал руки, вскрикивая, как подстреленный.

— Так вот,— повторял он вслух, стараясь осознать

произносимое,— они задыхались. Но не сразу же задохлись. Я бы не перенес этого.

Моментами яркое представление об ужасе, испытанном теми, почти пронизывало его, тогда ему хотелось вдохнуть весь воздух, всю атмосферу земли, чтобы разразиться наконец безобразным, неслыханным воплем. Но вместо этого он только тихо мычал, покусывая губы, и скорость его движения возрастала.

Тем временем занялся рассвет; мрак, утратив могущество, слабо и постепенно редел. Дождь оборвался. Штрих сквозь негустой туман, расстилавшийся на высоте его груди, видел за тонкой, как травинка, вершиной далекого дерева — бледный край солнца, теснившего призраки, и под ногами равнину странного вида. Ее цвет, один и тот же повсюду,— в кругу одолеваемого зрением тумана,— был тускло-зеленый, прозрачности мутного стекла, и переливчат. Мягкий удар ветра заклубил туман впереди Штриха, погнал к солнцу, и в образовавшемся воздушном пространстве Штрих заметил изменение зеленоватого цвета почвы — в голубоватый и синий,— чем далее, тем синее. Начав видеть, он овладел той частью сознания, которая оценивает и следит окружающее.

Зелень, вздрагивая, колебалась под ним, по ней пробегала рябь; складки и борозды, ритмически следуя друг за другом, напоминали волнение воды.

— Это землетрясение,— сказал Штрих, страстно надеясь, что земля разверзнется и избавит его от страданий. С легкостью, которая бывает только во сне, скользил он неудержимо и быстро, подобно струе тумана, к недалекому берегу. Вдруг нагнетание теплого ветра, длительное и ровное, истребило туман, и залив, во всей юной красоте тихого утра, заблистал перед его воспаленными глазами. Под ногами Штриха покачивалась вода. Он не изумился и не испугался.

— Теперь я вижу, что сплю,— сказал он, но уверенность в этом не простиралась на происшедшее в Зурбагане. Каждое было само по себе, и он не думал о странности совмещения действительности с тем, что считал сновидением.

Яркая лучезарность неба после тьмы ночных часов опять воскресила воображению огонь в дикой его беспощадности. Штрих посмотрел в сторону. Там, шагах в ста от него, огромный и бодрый, шел на всех парусах барк; купеческая солидность его тяжело нагруженного

корпуса венчалась белизной парусов; их тонкие воздушные очертания поднимались от палубы к стеньгам стаями белых птиц. Звонкие голоса матросов достигли ушей Штриха. Он послал им проклятие, стиснув руками грудь. Ему было невыносимо наблюдать это воплощение бодрой и целесообразной работы, радостное движение барка к далекой цели, когда он сам, Штрих, потерял все. Не помня как, увидел он затем вокруг себя — лес, бабочек и цветы; трава дымилась в косых лучах солнца, и неясная фигура бледного человека выросла перед ним. То был таможенный солдат; он не закричал, не выстрелил и не остановил бегущего — он видел Штриха, и этого оказалось довольно для того, чтобы окаменеть в испуге.

За перелеском открылась широкая с шоссейной дорогой равнина, и на крутом обрыве реки — амфитеатр Зурбагана.

Штрих бросился по дороге...

III

В восемь часов утра в палату городской больницы ввели вырывающегося из рук служителей человека,— грязного, окровавленного и полунагого. Он подошел к кровати, шатаясь от изнурения. На кровати лежала плотно укрытая, с сплошь обвязанной головой, женщина; из марлевых повязок видны были только опухшие глаза без ресниц; последние искры жизни, угасая, блестели в них; она тихо стонала.

Штрих молча смотрел на нее веселым диким взглядом.

— Зелла! — сказал он.

Чуть заметное движение света опухших глаз ответило ему — сознанием ли происходящего или вспышкой предсмертного бреда? — никто не мог сказать с точностью.

— Раньше я умел просыпаться вовремя, если видел тяжелый сон,— заговорил Штрих, обращаясь к взволнованному доктору.— Сны бывают очень отчетливы, заметьте это. Конечно, это не моя жена. Потом, здесь были бы дети. Ну, теперь я спокоен; я думаю, что скоро проснусь.

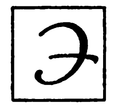
Но он проснулся только через полтора года в лечебнице для таких же, как и он, неуверенных в реальности

происходящего людей. Смерть наступила от паралича сердца.

Морт впоследствии утверждал, что Штрих, в силу извилистости полуострова, образующего формой серп, свободным концом обращенный к материку, не мог от четырех до восьми часов утра явиться в город пешком. Дороги здесь настолько плохи, прихотливы и неустроенны, что он сам, торопясь к Штриху, одолел расстояние — и то верхом — в пять с половиной часов. Но доктор (и другие) настаивали именно на восьми часах утра. Однако, как утверждают многие, часовщики в Зурбагане не пользуются дурной славой. По нашему мнению, в каждом споре истина — все-таки не в руках спорщиков, иначе бы они не горячились.

МЕБЛИРОВАННЫЙ ДОМ

I



то была самая обыкновенная молодая девушка из провинции, каких сотни. Она, кажется, мечтала поступить в какое-то высшее учебное заведение, а пока, в ожидании экзаменов, получала от родителей деньги, знакомилась с молодыми людьми и посещала театры.

Жила она в третьем этаже меблированных комнат, против моей комнаты, и часто, уходя, оставляла дверь непритворенной. Это позволило мне мельком, в разное время, по частям, рассмотреть ее помещение. Убранство его состояло из двух мягких кресел, высокого зеркала, письменного стола и чистенькой девичьей постели. Рисунок обоев пестрел кое-где небольшими картинками, изображавшими цветы, женские лица и летний степной пейзаж. Из-под кровати виднелись желтые ремешки чемодана, а перед зеркалом стояла коробка с пудрой, духи и свечка.

Иногда, встречаясь с ней в коридоре, я видел свеженькое лицо, дугообразные брови, искристые карие глаза, темные волосы и обыкновенный невыразительный рот. Чуть-чуть ниже среднего роста, она ходила быстро, уверенными движениями, и было ей, на мой взгляд, не больше двадцати лет.

Равнодушный к женщинам вообще, я стал сильно интересоваться ею с того дня, когда горничная, открыв утром дверь комнаты, нашла молодую девушку убитой; в спине ее торчал книжный разрезной нож. Труп лежал на боку, головой к зеркалу, и в сильно побледневшем лице еще сохранились отзвуки стыда, ужаса и мольбы.

II

Через минуту после того как коридор наполнился шумевшей и кричавшей толпой, я завязал знакомство с тремя взволнованными людьми. В таких случаях люди знакомятся быстро, общее возбуждение требует выхода и взаимно разряжается друг на друге. Один из моих новых знакомцев был генерал в отставке, приехавший хлопотать о пенсии. Второй отрекомендовался управляющим табачной фабрикой, третий был, кажется, питомец архитектурной школы.

Мы быстро перекинулись короткими замечаниями, вроде того, что такое убийство — возмутительная дерзость со стороны преступника и что, как надо думать, он скоро попадет за решетку. Затем генерал овладел нами и говорил много и авторитетно, как человек, не привыкший задумываться над сколько-нибудь сложными вопросами. Насколько я мог понять, он громил современное воспитание.

Что бы он ни болтал — он негодовал. Его вспыльчивая генеральская душа протестовала и корчилась, воображая себя павшей жертвой. Табачник закуривал дрожащими пальцами папиросу за папиросой и упорно отказывался взглянуть на труп. Воспитанник архитектурной школы задумчиво рассматривал публику. Он ранее всех побывал в комнате убитой и теперь, по-видимому, находился под сложным впечатлением насильственной смерти.

Постепенно мы образовали ядро, к которому присоединились другие, так же, как и мы, не на шутку встревоженные люди. Дымя и ораторствуя в узком коридоре, компания наша явно мешала двигаться служащим и полиции, хлопотавшей вокруг запертых теперь следователем дверей. Поэтому я предложил пойти ко мне в комнату и там без помехи наговориться досыта.

Кое-кто последовал этому приглашению, кое-кто

отстал, но, во всяком случае, нас было теперь не менее десяти. Здесь были и дамы, взволнованные до того, что роняли шпильки на каждом шагу. Большинство из них трагически и воодушевленно стонало, будучи не в силах подобрать слов, кроме общеизвестных и невыразительных междометий.

III

Когда последний из моих гостей сел на стул или нашел место у притолоки, откуда остальным были видны его блестящие выпученные глаза, все заговорили вдруг, замахали руками и так же неожиданно смолкли, чувствуя, по врожденной человеку привычке, потребность оглядеться и сообразить, с кем имеешь дело. И так как общее впечатление было, по-видимому, благоприятно для всех, снова начался разговор. Маленькая дама с усиками трепетно заявила:

— Представьте, всю ночь я каким-то роковым образом не могла уснуть! На дворе выла собака! О, это было ужасно! До того, что я разбудила мужа. И он охотно посидел бы со мной, но ему, видите ли, доктор запретил беспокоиться. Я сидела одна в кровати и слушала. Это была какая-то гиена, а не собака! Как она выла, как она выла!

Дама откинулась на спинку кресла и погрузилась в торжественное оцепенение, сжимая виски ладонями.

В углу трое или четверо, склонившись друг к другу, наскоро обсуждали казнь, которой, по их мнению, следовало предать убийцу. Пылкий, взлохмаченный юноша, обиженно жестикулируя, предлагал содрать с преступника кожу и посолить тело. Эта крайняя мера возмутила некоторых, но все без исключения, и я в том числе, стояли по крайней мере за каторжные работы.

Отрывочные фразы летели со всех концов и напоминали чтение вслух газеты, разорванной на клочки:

— Скажите мне, кто убийца, и я...

— Такие вещи! Ужасные вещи!

— Не жизнь, а кошмар, сударыня!

— Психопат какой-то, дегенерат!..

— Джек-потрошитель!

— А я скажу, что озверение...

— Конечно, это был не грабеж...

— Циник-преступник, не пощадивший невинности, подобен сладострастной горилле, и потому...

— Не нашли — так найдут.

— Ни улик, ни следов. Напротив...

— Я привык к этим вещам, потому у меня притуплены нервы...

— Да слышали уже, слышали!

— Господа! — вскричал генерал.— Ну как вы себе там хотите, а я содрогаюсь до глубины души. Молоденькую девочку, а? Такую милую, безвредную, а? Где мы, куда мы идем? Да я бы его, мерзавца!.. А? Не так ли? Заслуживает ли пощады такой изверг? Петля, а? Петля, милостивые государи! На наших глазах, а?

И все присутствующие, немедленно, с азартом возмущенного чувства, дружно согласились с его превосходительством.

IV

Случайно посмотрев в сторону, я увидел воспитанника архитектурной школы. Он, по-видимому, готовился сказать что-то, так как несколько раз открывал рот и, не встретив молчания, снова закрывал его. У него был отвесный ассирийский профиль, длинная курчавая борода темного цвета и черные, навыкате, с восточным разрезом глаза. Наконец он сказал:

— Конечно, господа, убийца не заслуживает снисхождения и понесет должную кару. Я первый бросаю в него камень. У меня есть желание создать остов, скелет психологии ускользнувшего, разумеется временно, преступника. При встречах в коридоре мне удавалось иногда вести с убитой незначительный разговор. Впечатление, вынесенное мною из ее некоторых замечаний и фраз, таково: ограниченная, легкомысленная девушка, довольно кокетливая, с легкой хищной закваской; пустой, поверхностный ум, любовь к блеску, удовольствиям и развлечениям. Мои наблюдения (мне кажется) подтвердились, когда, прибежав одним из первых на крик прислуги, я разглядел лицо мертвой. Оно было слегка искажено смертью, но в общем не прибавило ничего нового к портрету, набросанному мною минуту назад. Да, здесь все говорило в мою пользу: слегка вздернутый нос, короткая верхняя губа, в противоположность слегка выдававшейся вперед

нижней; несомненно, чувственное выражение рта, слабо очерченный подбородок, указывающий на изменчивость и подвижность характера; наконец, пухлые маленькие руки, капризный, своеобразный изгиб бровей,— все говорило за то, что передо мной лежит женщина, любившая кружить головы. При самом беглом осмотре ее комната выдавала неуравновешенный, страстный характер. Так, на столе между учебниками я заметил роман Жюля Верна, Библию в русском переводе, книгу де Баролля «Тайны руки» и несколько цинических книг современной беллетристики. Она также заботилась о своей наружности: на это указывают духи разных сортов, машинка для массажа лица, всевозможные щеточки, нессесеры и прочее. Естественным теперь является предположение, что у такой девушки должен быть обширный круг мужских знакомств, и действительно, как говорит швейцар, к ней приходили студенты, корнеты и штатская молодежь, знакомящаяся между собой в театрах, танцклассах, на сходках и в других подобных местах.

Оратор говорил плавно, слегка жестикулируя и вовремя останавливаясь, когда ему угрожала опасность запнуться о неловко подобранное слово. Общее внимание было напряжено до крайности; я почти с удовольствием слушал этого человека. Он продолжал:

— Теперь я позволю себе припомнить те обстоятельства, при которых было обнаружено преступление. Горничная постучала в дверь, чтобы передать жилице письмо, принесенное почтальоном; не получив ответа и зная, что барышня дома, горничная усилила стук, обратив этим на себя внимание коридорного. Они вдвоем принялись трясти дверь и наконец послали за слесарем.

Как вам известно, грабежа не было обнаружено; естественно остановиться на любовном сюжете. Меблированный дом, в котором живем мы, очень велик и снабжен малым штатом прислуги, так что не всегда известно горничным, дома кто из жильцов или нет, не говоря уже о невозможности сказать с точностью были ли посетители у данного жильца или не были. Полицейский врач установил сегодня, что смерть произошла вчера вечером не позднее одиннадцати; между тем швейцар говорит, что вечером никто не приходил к барышне. Горничная не может с точностью ответить на этот вопрос, но ей казалось, что в комнате разго-

варивают. Допустим, что и швейцар и горничная ошиблись или что они ровно ничего не знают. Это доказывает только то, что убийца попал в удачный момент, когда швейцар удалился и не видел входящего — то же самое и относительно горничной,— или что преступник первый раз приходил к своей жертве сюда в общей массе входящих и выходящих и, естественно, был для видавших его лицом безразличным. Перейдем к самой трагедии.

Я понимаю, господа, ваше возмущение и вполне ему сочувствую. Но в то же время ум рисует мне следующую картину: где-нибудь случайно происходит знакомство. Она именно тот тип, что уже обрисован мной; он — натура сдержанная, с сильными, глубокими страстями, человек, способный быть ужасным в гневе и безграничным в нежности. Все это — мое предположение. Он нравится ей, но не настолько, чтобы решиться на последний шаг. С другой стороны, ей нравится его восхищение ее телесными качествами, его постоянное напряженное желание овладеть ею, его страстная преданность. Она чувствует над ним власть своего расцветшего тела. Она не говорит ему ни «да», ни «нет», его муки возбуждают в ней любопытное сожаление, ей приятно играть с огнем, она чувствует себя вполне женщиной, живет всем своим существом, отдаваясь словами, намеками, мыслями, прикосновениями, постоянно сдерживая в критические моменты его возбуждение. Неизвестно, почему она это делает. Быть может, она, как еще не испытавшая страсти, бессознательно ждет решительного, даже пагубного натиска с его стороны; может быть, ждет в себе самой взрыва желаний, появления настоящей влюбленности. Вернее — все это вместе. И несомненно, несомненно, ей сладка эта бесконечная власть женщины над сильным, созревшим мужчиной, рыдающим у ее ног.

И я вижу отдельные картинки этой истории: дразнящие, как бы случайные, поцелуи, порывистые объятия его рук, медленно, полуохотно ускользающее тело девушки, постоянно обрывающей разговор, нервное напряжение, разбивающее обоих, как физическая работа, неудовлетворенность и раздражение. Он живет как бы во сне, считает часы и дни, все, кроме его любви, вызывает у него слепой взрыв ярости; его дела запущены, интересы нарушены, он переживает нравственную и телесную пытку, которая еще усиливается голосом

инстинкта, подсказывающего, что с ее стороны нет настоящей любви, даже настоящего увлечения. Она назначает свидания, дает обещания принадлежать ему, назначает дни, он ждет, она не решается. Так день за днем, неделя за неделей.

И вот буквально истерзанный человек приходит, скажем, в последний раз — проститься. Он не верит больше в ее любовь и принял твердое решение забыть эту девушку. Они встречаются, голос его неровен, дрожит; она полуиспугана, полуобрадована; кажется, она чувствует облегчение при мысли, что все кончится. Она говорит коротко, высоким срывающимся голосом, ее сожаления звучат деланно, ее просьбы неубедительны. Он чувствует это, колеблется, ему легче было бы перенести резкое мертвящее равнодушие. «Останьтесь!» — из приличия говорит она. Его душе, жаждущей хоть тени любви, слово это кажется настоящим. «Я остаюсь»,— говорит он. Она не выдерживает, снова испуг овладевает ею, она думала, что все уже кончено. «Вы останетесь, но я не люблю вас»,— говорит она и смеется. Ей хочется вызвать его на гнев, оскорбление, чтобы оскорбиться самой и выгнать его, хотя бы только на одну неделю, отдохнуть, собраться с мыслями.

Тогда любовь его достигает силы ненависти. Он бросается к ней, полузадохшийся от горя и страсти, мнет ее; она, чувствуя настоящий взрыв, молча, со стиснутыми зубами, вырывается, бьется в его руках... Дальше... дальше он теряет голову. Он берет ее грубо, насильно, так сказать, с отчаяния. Она в истерике, ее крик кажется ему оглушительным. Все смешалось, одна мысль гвоздит голову: сейчас прибегут, ворвутся, схватят; позор, суд... И нет места уже в этот момент любви, он ненавидит ее. Следующий момент не поддается, господа, даже примитивному анализу, это — ряд импульсов, бессознательные действия человека, лишившегося рассудка. Нож — нож; пресс-папье — пресс-папье. И в жадно ищущую спасения, какого-то завершения всего этого ужаса, руку попадает бронзовый разрезной нож. Он всаживает его в тело, не думая — куда, как ударить. И наступает молчание.

— Так приблизительно рисуется мне это дело,— закончил человек с ассирийским профилем.— Конечно, возможны мелкие несовпадения в деталях. Но осудите ли вы, господа, этого человека?

V

Он смолк, и глаза его, блестевшие перед этим возбужденным сосредоточенным блеском, сразу потухли.

Впечатление от его речи, произнесенной звучным, полным, хорошо интонирующим голосом, было огромное. Наступило углубленное молчание, симпатии присутствующих, по-видимому, колебались между убийцей и его жертвой. В окно смотрел серенький неуютный день.

Наконец лысый, высохший человечек, похожий на уездного фельдшера, заявил:

— Да, если оно так... Ну, конечно, здесь драма и все такое... А что же, возможно, все это возможно, право...

Четыре дамы, сидевшие как на иголках, пока говорил архитектор, воскликнули:

— Жестокая!

— Право, она не стоила такой любви!

— Надругаться так над сердцем!..

— Нет, что касается меня, я не могла бы, нет!

— Но вы — художник,— сказал, по-видимому, смягченный генерал, припомнив, по всей вероятности, кое-что из своей молодости.— Как это вы так? А?!

— Путем размышления,— скромно заявил архитектор.— Но это все ведь предположительно. Возможно, что откроются и другие данные. Жаль только, что я не скоро узнаю новости об этом деле, завтра я думаю ехать.

И разговор перешел на всевозможные любовные драмы. Прислушиваясь, я чувствовал, что прежнее негодование улеглось, сменившись жгучим интересом к личности неизвестного преступника. Может быть, даже воображая, что все происходило так, как сфантазировал архитектор, убийцу и одобряли, не знаю, человек туго сознается в противоречиях себе самому, но во всяком случае я решил, что будь теперь убийца схвачен перед глазами присутствующих,— много-много, если бы его отечески пожурили.

В дверь постучали. Вошел коридорный, в выражении его лица было что-то неуловимое, заставившее всех насторожиться. Он сказал:

— Господин Вейс, вас там пристав спрашивает.

Я осмотрелся: кое-где виднелись недоумевающие

принужденные улыбки. Воспитанник архитектурной школы поднялся с кресла и, слегка поморщившись, как человек, презирающий полицейскую волокиту, сказал:

— Кажется, на допрос к следователю... Думаю, что всех жильцов этого коридора будут допрашивать.

И он вышел, сопровождаемый напряженными взглядами. Не помню, были ли у меня какие-нибудь соображения в этот момент, наверное, нет, потому что лицо и манеры Вейса были совершенно естествены.

Прошло секунд пять — десять рассеянного молчания, затем в коридоре раздалась возня, топот, нестройные крики, глухие удары.

И разом, как будто комната превратилась в огромную лейденскую банку, мы повскакали с мест, ломясь в двери. Первым выскочил генерал, я еще оставался в хвосте, пытаясь протиснуться сквозь стремительный поток тел, как снова в дверях появилось его лицо, красное, подобно томату. Он кричал:

— Вейс арестован по обвинению в убийстве той девушки!

Вейса погубила случайность. Тщательно уничтожив в комнате убитой им женщины все, могущее навести на след, он, истребив все свои письма, не мог отыскать последнего, наполненного угрозами. Оно было сунуто девушкой за корсаж, и Вейс, отыскивая эту улику, решил, что письмо уничтожено. Следователь с намерением не беспокоил преступника. Пока Вейс сидел у меня, в его комнате был произведен обыск. Сличение почерков окончательно установило виновность. Выяснилось еще, что Вейс, живя в одном коридоре с девушкой, познакомился с ней неделю назад. Что было между ними — то ли, что говорил Вейс, или другое — я не знаю. Возможно, что он и лгал, как лгал нам о будто бы простом шапочном знакомстве с этой особой.

Население меблированного дома долго не могло успокоиться. Интереснее всего то, что как только стала известна личность преступника, все наши непрочные симпатии к нему, пока он был неизвестен, мигом испарились. Мы искренне желали ему самой суровой кары. Не потому ли, что по портрету, набросанному Вейсом, он рисовался нам симпатичным безвольным юношей, с измученными глазами, а оказался человеком с сухой, отталкивающей физиономией? Как много значит в подобных вещах, когда можно или нельзя сказать: «Тот самый».

НОЧЬЮ И ДНЕМ

I

В восьмом часу вечера, на закате лесного солнца, часовой Мур сменил часового Лида на том самом посту, откуда не возвращались. Лид стоял до восьми и был поэтому сравнительно беспечен; все же, когда Мур стал на его место, Лид молча перекрестился. Перекрестился и Мур: гибельные часы — восемь — двенадцать — падали на него.

— Слышал ты что-нибудь? — спросил он.

— Не видел ничего и не слышал. Здесь очень страшно, Мур, у этого сказочного ручья.

— Почему?

Лид подумал и заявил:

— Очень тихо.

Действительно, в мягкой тишине зарослей, прорезанных светлым, бесшумно торопливым ручьем, таилась неуловимая вкрадчивость, баюкающая ласка опасности, прикинувшейся безмятежным голубым вечером, лесом и прозрачной водой.

— Смотри в оба! — сказал Лид и крепко сжал руку Мура.

Мур остался один. Место, где он стоял, было треугольной лесной площадкой, одна сторона которой примыкала к каменному срыву ручья. Мур подошел к воде, думая, что Лид прав: характер сказочности ярко и пышно являлся здесь, в диком углу, созданном как бы всецело для гномов и оборотней. Ручей не был широк, но стремителен; подмыв берега, вырыл он в них над хрустальным течением угрюмые, падающие черной тенью навесы; желтые, как золото, и зеленые, в водорослях, крупные камни загромождали дно; раскидистая листва леса высилась над водой пышным теневым сводом, а внизу, грубым хаосом бороздя воду, путались гигантские корни; стволы, с видом таинственных великанов-оборотней, отходя ряд за рядом в тишину диких сумерек, таяли, становясь мраком, жуткой нелюдимостью и молчанием. Тысячи отражений задремавшего света в ручье и над ним создали блестящую розовую точку, сиявшую на камне у берега; Мур пристально смотрел на нее, пока она не исчезла.

— Проклятое место! — сказал Мур, пытливо осмат-

ривая лужайку, словно трава, утоптанная его предшественниками, могла указать невидимую опасность, шепнуть предостережение, осенить ум внезапной догадкой.— Сигби, Гок и Бильдер стояли тут, как стою я. Тревожно разгуливал огромный Бирон, разминая воловьи плечи; Гешан, пощипывая усики, рассматривал красивыми, бараньими глазами каждый сучок, пень, ствол... Тех нет. Может быть, ждет и меня то же... Что́ то же?

Но он, как и весь отряд капитана Чербеля, не знал этого. В графе расхода солдат среди умерших от укусов змей, лихорадки или добровольного желания скрыться в таинственное н и ч т о, что было не редкость в летописях ужасного похода, среди убитых и раненых Чербель отметил пятерых «без вести пропавших». Разные предположения высказывались отрядом. Простейшее, наиболее вероятное объяснение нашел Чербель.

— Я подозреваю,— сказал он,— очень умного, терпеливого и ловкого дикаря, нападающего неожиданно и бесшумно.

Никто не возразил капитану, но тревога воображения настойчиво искала других версий, с которыми возможно связать бесследность убийств и доказанное разведчиками отсутствие вблизи неприятеля. Некоторое время Мур думал обо всем этом, затем соответственно настроенный ум его, рискуя впасть в суеверие, стал рисовать кошмарные сцены тайных исчезновений, без удержа мчась дорогой больного страха к обрывам фантазии. Ему мерещились белые перерезанные шеи; трупы на дне ручья; длинные, как у тени в закате, волосатые руки, тянущиеся из-за стволов к затылку цепенеющего солдата; западни, волчьи ямы; он слышал струнный полет стрелы, отравленной молочайниками или ядом паука сса, похожего на абажурный каркас. Хоровод лиц, мучимых страхом, кружился в его глазах. Он осмотрел ружье. Строгая сталь затвора, кинжальный штык, четырехфунтовый приклад и тридцать патронов уничтожили впечатление беззащитности; смелее взглянув кругом, Мур двинулся по лужайке, рассматривая опушку.

Тем временем угас воздушный ток света, падавший из пылающих в вечерней синеве облаков, и деревья медленно запахнули на только что перед тем озаренной стороне прозрачные плащи сумерек. От теней, рушивших искристые просветы листвы, от засыпающего

ручья и задумчивости спокойного неба повеяло холодной угрозой, тяжелой, как взгляд исподлобья, пойманный обернувшимся человеком. Мур, ощупывая штыком кусты, вышел к ручью. Пытливо посмотрел он вниз и вверх по течению, затем обратился к себе, уговаривая Мура не поддаваться страху и, что бы ни произошло, твердо владеть собою.

Солнце закатилось совсем, унося тени, наполнявшие лес. Временно, пока сумерки не перешли в мрак, стало как бы просторнее и чище в бессолнечной чаще. Взгляд проникал свободнее за пределы опушки, где было тихо, как в склепе, безлюдно и мрачно. Язык страха еще не шептал Муру бессвязных слов, заставляющих томиться и холодеть, но вслушивался и смотрел он подобно зверю, вышедшему к опасным местам, владениям человека.

Мрак наступал, отходя перед судорожным напряжением глаз Мура, и снова наваливался, когда, бессильный одолеть невольные слезы, заволакивающие зрачки, солдат протирал глаза. Наконец одолел мрак. Мур видел свои руки, ружье, но ничего более. Волнуясь, принялся он ходить взад и вперед, сжимая потными руками ружье. Шаги его были почти бесшумны, за исключением одного, когда под упором ноги треснул сучок; резкий в звонкой тишине звук этот приковал Мура к месту. Шум сердца оцепенил его; отчаянный, дикий страх ударил по задрожавшим ногам тяжкой, как удушье, внезапной слабостью. Он присел, затем лег, прополз несколько футов и замер. Это продолжалось недолго; отдышавшись, часовой встал. Но он был уже во власти страха и покорен ему.

Главное, над чем работало теперь его пылающее воображение — было пространство сзади его. Оно не могло исчезнуть. Как бы часто ни поворачивался он,— всегда за его спиной оставалась недосягаемая зрению, предательская пустота мрака. У него не было глаз на затылке для борьбы с этим. Сзади было везде, как везде было спереди для существа, имеющего одно лицо и одну спину. За спиной была смерть. Когда он шел, ему казалось, что некто догоняет его; останавливаясь — томился ожиданием таинственного удара. Густой запах леса кружил голову. Наконец Муру представилось, что он умер, спит или бредит. Внезапное искушение поразило его: уйти от пытки, бежать сломя голову до изнурения, раздвинуть

пределы мрака, отдаляя убегающей спиной страшное место.

Он уже глубоко вздохнул, обдумывая шаг, подсказанный трусостью, как вдруг заметил, что поредевший мрак резко очертил тени стволов, и ручей сверкнул у обрыва, и все кругом ожило в ясном ночном блеске. Поднималась луна. Лунное утро высветило зелень пахучих сводов, уложив черные ряды теней; в мерцающем неподвижном воздухе под голубым небом царствовало холодное томление света. Невесомый, призрачный лед!

II

Тщательно осмотрев еще раз опушку и берег ручья, Мур несколько успокоился.

В неподвижности леса, насколько хватал глаз, отсутствовало подозрительное; думая, что на озаренной луной поляне никто не осмелится совершить нападение, Мур благодарно улыбнулся ночному солнцу и стал посреди лужайки, поворачиваясь время от времени во все стороны. Так стоял он минуту, две, три, затем услышал явственный, шумный вздох, раздавшийся невдалеке сзади него, похолодел и отскочил с ружьем наготове к ручью.

«Вот оно, вот, вот!..» — подумал солдат. Кровавые видения ожили в потрясенном рассудке. Тяжкое ожидание ужаса изнурило Мура; мертвея, обратил он мутные от страха глаза в том направлении, откуда прилетел вздох,— как вдруг совсем близко кто-то назвал его по имени, трижды: «Мур! Мур! Мур!..»

Часовой взвел курок, целясь по голосу. Он не владел собой. Голос был тих и вкрадчив. Смутно знакомый тон его мог быть ошибкой слуха.

— Кто тут? — спросил Мур почти беззвучно, одним дыханием.— Не подходите никто, я буду убивать, убивать всех!

Он плохо сознавал, что говорит. Одна из лунных теней передвинулась за кустами, растаяла и появилась опять, ближе. Мур опустил ружье, но не курок, хотя перед ним стоял лейтенант Рен.

— Это я,— сказал он.— Не шевелись. Тише.

Обыкновенное полное лицо Рена казалось при свете луны загадочным и лукавым. Ярко блестели зубы, се-

ребрились усы, тень козырька падала на искры зрачков, вспыхивающих, как у рыси. Он подходил к Муру, и часовой, бледнея, отступал, наводя ружье. Он молча смотрел на Рена. «Зачем пришел?» — думал солдат. Дикая, нелепая, сумасшедшая мысль бросилась в его больное сознание: «Рен убийца, он, он, он убивает!»

— Не подходите,— сказал солдат,— я уложу вас!

— Что?!

— Без всяких шуток! Сказал — убью!

— Мур, ты с ума сошел?!

— Не знаю. Не подходите.

Рен остановился. Он подвергался опасности вполне естественной в таком исключительном положении и сознавал это.

— Не бойся,— произнес он, отступая к лесу.— Я пришел к тебе на помощь, дурак. Я хочу выяснить все. Я буду здесь, за кустами.

— Мне страшно,— сказал Мур, глотая слезы ужаса,— я боюсь, боюсь вас, боюсь всего. Это вы убиваете часовых!

— Нет!

— Вы!

— Да нет же!!

Страшен, как кошмар, был этот нелепый спор офицера с обезумевшим солдатом. Они стояли друг против друга, один с револьвером, другой с неистово пляшущим у плеча ружьем. Первый опомнился лейтенант.

— Вот револьвер! — Он бросил оружие к ногам Мура.— Подыми его. Я безоружен.

Часовой, исподлобья следя за Реном, поднял оружие. Припадок паники ослабел; Мур стал спокойнее и доверчивее.

— Я устал,— жалобно произнес он,— я страшно устал. Простите меня.

— Поди окуни голову в ручей.— Рен тоном приказания повторил совет, и солдат повиновался. Надежда на помощь Рена и ледяная вода освежили его. Без шапки, с мокрыми волосами вернулся он на лужайку, ожидая, что будет дальше.

— Может быть, мы умрем оба,— сказал Рен,— и ты должен быть готов к этому. Теперь одиннадцать.— Он посмотрел на часы.— Торопясь, я чуть не задохся в этих труднопроходимых местах, но сила моя при мне, и я надеюсь на все лучшее. Стой или ходи, как прежде. Я буду неподалеку. Доверься судьбе, Мур.

Он не договорил, ощупал, будучи запасливым человеком, второй, карманный револьвер и скрылся среди деревьев.

III

Рен удобно поместился в кустах, скрывавших его, но сам отлично мог видеть поляну, берег ручья и Мура; шагавшего по всем направлениям. Лейтенант думал о своем плане уничтожения таинственной смерти. План требовал выдержки; опаснейшей частью его была необходимость допустить нападение, что в случае промедления угрожало часовому быстрым переселением на небо. Трудность задачи усиливалась смутной догадкой Рена — одной из тех навязчивых темных мыслей, что делают одержимого ими яростным маньяком. Когда Рен пробовал допустить бесповоротную истинность этой догадки или, вернее, предположения, его тошнило от ужаса; надеясь, что ошибется, он предоставил наконец событиям решить тайну леса и замер в позе охотника, подкарауливающего чуткую дичь.

Кусты, где засел Рен, расположенные кольцом, образовали нечто, похожее на колодец. Неподвижная тень Рена пересекала его. Думая, что, вытянув затекшую ногу, он сам изменил этим очертания тени, Рен в следующее мгновение установил кое-что поразительное: тень его заметно перемещалась справа налево. Она как бы жила самостоятельно, вне воли Рена. Он не обернулся. Малейшее движение могло его выдать, наказав смертью. Ужас подвигался к нему. В мучительном ожидании неведомого пристально следил Рен за игрой тени, ставшей теперь вдвое длиннее: это была тень-оборотень, потерявшая всякое подобие Рена — оригинала. Вскоре у нее стало три руки и две головы, она медленно раздвоилась, и та, что была выше — тень тени,— исчезла в кустарнике, освободив черное неподвижное отражение Рена, сидевшего без дыхания.

Как ни прислушивался он к тому, что делалось позади его, даже малейший звук за время метаморфозы с тенью не был схвачен тяжким напряжением слуха; за его спиной, смешав своей фигурой две тени, стоял, а затем прошел н е к т о, и некто этот двигался идеально бесшумно. Он был видимым воплощением страха, лишенного тела и тяжести. Броситься в погоню за не-

известным Рен считал непростительной нервностью. Он видел и осязал душою быстрое приближение неизвестной развязки, но берег силу самообладания к решительному моменту.

В это время часовой Мур стоял неподалеку от огромного тамаринда, лицом к Рену. С неожиданной быстротой густые ветви дерева позади Мура пришли в неописуемое волнение, отделив прыгнувшего вниз человека. Он падал с вытянутыми для схватки руками. Колени его ударили по плечам Мура; в то же мгновение падающий от толчка часовой вскрикнул и выпустил ружье, а железные пальцы душили Мура, торопясь убийством, умело и быстро скручивая посиневшую шею.

Рен выбежал из засады. Мутные глаза нападающего обратились к нему. Придерживая одной рукой бьющегося в судорогах солдата, протянул он другую к Рену, защищая лицо. Рен ударил его по голове дулом револьвера. Тогда, бросив первую жертву, убийца кинулся на вторую, пытаясь свалить противника, и выказал в этой борьбе всю ловкость свирепости и отчаяния.

Некоторое время, резко и тяжело дыша, ходили они вокруг оглушенного часового, сжимая друг другу плечи. Вскоре противнику лейтенанта удалось схватить его за ногу и спину, лишив равновесия, при этом он укусил Рена за кисть руки. В его лице не было ничего человеческого, оно сияло убийством. Мускулы жестких рук трепетали от напряжения. Время от времени он повторял странные, дикие слова, похожие на крик птицы. Рен ударил его в солнечное сплетение. Страшное лицо помертвело; закрылись глаза, ослабев, метнулись назад руки, и н е к т о упал без сознания.

Рен молча смотрел на его лицо, осунувшееся от боли и бешенства. Но не это изменяло и как бы преображало его,— среди породистых, резких черт выступали иные, разрушающие для пристального взгляда прежнее выражение этого страшного, как маска, лица. Оно казалось опухшим и грубым. Рен связал руки противника тонким ремнем и поспешил к Муру.

Часовой хрипло стонал, растирая шею. Он лежал на своем ружье. Рен зачерпнул каской воды, напоил солдата, и тот слегка ожил. Усталое лицо Рена показалось ему небесным видением. Он понял, что жив, и, схватив руку лейтенанта, поцеловал ее.

— Глупости! — пробормотал Рен.— Я тоже обязан тебе тем, что...

— Вы убили его?

— Убил? Гм... да, почти...

Рен стоял над головой Мура, скрывая от него человека, лежавшего со связанными руками. Часовой сел, держась за голову. Рен поднял ружье.

— Мур,— сказал он,— в состоянии ты точно понять меня?

— Да, лейтенант.

— Встань и уходи в заросли, не оборачиваясь. Там ты подождешь моего свистка. Но боже сохрани обернуться,— слышишь, Мур? Иначе я пристрелю тебя. Итак, ты меня пока не видищь. Иди!

Для шуток не было места. Часовой сознавал это, но не понимал ничего. Неуверенные движения Мура высказывали колебание. Рен увидел четверть его профиля и щелкнул курком.

— Еще одно движение головы, и я стреляю! — Он с силой толкнул Мура к лесу.— Ну! Ружье остается на лужайке до твоего возвращения. Жди смены. Помни, что я не приходил, и подожди рассказывать до утра.

Мур, пошатываясь, исчез в лунном лесном провале. Рен поднял связанного и прошел с ним в чащу на расстояние, недоступное слуху. Сложив ношу, он занялся пленником. Связанный лежал трупом.

— Удар был хорош,— сказал Рен,— но чересчур добросовестен.

Он стал растирать поверженному сердце, и тот, болезненно дергаясь, вскоре открыл глаза. Блуждая, остановились они на Рене, вначале с недоумением, затем с ненавистью и горделивым унынием. Он изогнулся, приподнялся, пытаясь освободить руки, и, поняв, что это бесполезно, опустил голову.

Рен сидел против него на корточках. Он боялся заговорить, звук голоса отнял бы всякую надежду на то, что происходящее — сон, призрак или, на худой конец — больной бред. Наконец, он решился.

— Капитан Чербель,— сказал Рен,— происшествия сегодняшней ночи невероятны. Объясните их.

Связанный поднял голову. Любопытство и подозрительность блеснули в его подвижном лице. Он не понимал Рена. Мысль, что над ним смеются, привела

его в бешенство. Он вскочил, усиливаясь разорвать путы, тотчас вскочил и Рен.

— Собака солдат! — заговорил Чербель, но смолк, чувствуя слабость — результат бокса,— и прислонился спиной к дереву. Отдышавшись, он снова заговорил: — Называйте Чербелем того, кто привел вас с вашими ружьями в эти леса. Мы вас не звали. Повинуясь жадности, которая у вас, белых, в крови, пришли вы отнять у бедных дикарей все. Наши деревни сожжены, наши отцы и братья гниют в болотах, пробитые пулями; женщины изнурены постоянными переходами и болеют. Вы преследуете нас. За что? Разве в ваших владениях мало полей, зверя, рыбы и дерева? Вы спугиваете нашу дичь; олени и лисицы бегут на север, где воздух свободен от вашего запаха. Вы жжете леса, как дети играя пожарами, воруете наш хлеб, скот, траву, топчете посевы. Уходите или будете истреблены все. Я вождь племени Роддо — Бану-Скап, знаю, что говорю. Вам не перехитрить нас. Мы — лес, из-за каждого дерева которого подкарауливает вас гибель.

— Чербель! — с ужасом вскричал Рен.— Я ждал этого, но не верил до последней минуты. Кто же вы?

Капитан презрительно замолчал. Теперь он ясно видел, что над ним издеваются. Он сел к подножию ствола, твердо решив молчать и ждать смерти.

— Чербель! — тихо позвал Рен.— Вернитесь к себе.

Пленник молчал. Лейтенант сел против него, не выпуская револьвера. Мысли его мешались. Состояние его граничило с исступлением.

— Вы убили пять человек,— сказал Рен, не ожидая, впрочем, ответа,— где они?

Капитан медленно улыбнулся.

— Им хорошо на деревьях,— жестко проговорил он,— я их развесил на том берегу ручья, ближе к вершинам.

Это было сказано резким, деловым тоном. Теперь замолчал Рен. Он боялся узнать подробности, страшась голоса Чербеля. Капитан сидел неподвижно, закрыв глаза. Рен легонько толкнул его; человек не пошевелился; по-видимому, он был в забытьи. Крупный пот выступил на его висках, он коротко дышал и был бледен, как свет луны, косившейся сквозь листву.

IV

Рен думал о многом. Поразительная действительность оглушила его. Он тщательно осмотрел свои руки, тело, с новым к ним любопытством, как бы неуверенный в том, что тело это его, Рена, с его вечной, неизменной душой, не знающей колебаний и двойственности. Он был в лесу, полном беззвучного шепота, зовущего красться, прятаться, подслушивать и таиться, ступать бесшумно, подстерегать и губить. Он исполнился странным недоверием к себе, допуская с легким замиранием сердца, что нет ничего удивительного в том, если ему в следующий момент захочется понестись с диким криком в сонную глушь, бить кулаками деревья, размахивать дубиной, выть и плясать. Тысячелетия просыпались в нем. Он ясно представил это и испугался. Впечатлительность его обострилась. Ему чудилось, что в лунных сумерках качаются высоко подвешенные трупы, кустарник шевелится, скрывая убийц, и стволы меняют места, придвигаясь к нему. Чтобы успокоиться, Рен приложил дуло к виску; холодная сталь, нащупав бьющуюся толчками жилу, вернула ему твердость сознания. Теперь он просто сидел и ждал, когда Чербель очнется, чтобы убить его.

Луна скрылась; близился теплый рассвет. Первый луч солнца разбудил Чербеля, розовое от солнца, сильно осунувшееся лицо его внимательно смотрело на Рена.

— Рен, что случилось? — тревожно сказал он.— Почему я здесь? И вы? Проклятие! Я связан?! Кой черт!..

— Это сон, Чербель,— грустно сказал Рен,— это сон, да, не более. Сейчас я развяжу вас.

Он быстро освободил капитана и положил ему на плечо руку.

«Так,— подумал он,— значит, Бану-Скап уходит с рассветом. Но с рассветом... уйдет и Чербель».

— Капитан,— сказал Рен,— вы верите мне?

— Да.

— Тогда не торопитесь узнать правду и ответьте на три вопроса. Когда вы легли спать?

— В одиннадцать вечера. Рен, вы в полном рассудке?

— Вполне. Какой вы видели сон?

— Сон? — Чербель пытливо посмотрел на Рена.— Имеет это отношение к данному случаю?

— Может быть...

— Один и тот же сон снится мне подряд несколько дней,— с неудовольствием сказал Чербель,— я думаю, под влиянием событий на посту Каменного Ручья. Я вижу, что выхожу из лагеря и убиваю часовых... да, я душу их...

Темный отголосок действительности на одно страшное и короткое мгновение заставил его вздрогнуть, он побледнел и рассердился.

— Третий вопрос: смерти боитесь? Потому что это не сон, Чербель. Я схватил вас в тот миг, когда вы душили Мура. Да,— две души. Но вы, Чербель, не могли знать это. Я не оставлю вас долго во власти воистину дьявольского открытия; оно может свести с ума.

— Рен,— сказал капитан, замахиваясь,— моя пощечина пахнет кровью, и вы...

Он не договорил. Рен схватил Чербеля за руку и выстрелил.

— Так лучше, пожалуй,— сказал он, смотря на мертвого; — он умер, чувствуя себя Чербелем. Иное «я» потрясло бы его. Майор Кастро и я закопаем его где-нибудь вечером. Никому более нельзя знать об этом.

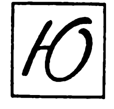
Он вышел к ручью и увидел бойкого нового часового — Риделя.

— Опусти ружье, все благополучно,— сказал Рен.— Гулял я, стрелял по козуле, да неудачно.

— Умирать побежала! — весело ответил солдат.

— Кажется, теперь,— сказал сам себе, удаляясь, Рен,— я точно знаю, почему лагерные часовые видели Чербеля ночью. О, боже, и с одной душой тяжело человеку!

СЛЕПОЙ ДЕЙ КАНЕТ



Юс, сторож дровяных складов у сельца Кипа, лежащего на берегу реки Милет, закусив так плотно, что стало давить под ложечкой, в хорошем расположении духа сидел у синей воды, курил и думал, что, тратя каждый день на еду тридцать копеек, сможет носить каждую субботу в сберегательную кассу ровно три рубля, которые, если

относиться к этому делу внимательно и любовно, дадут через десять лет сумму в тысячу пятьсот рублей. Юс отведет душу, вознаградив жадное тело за лишения прошлого роскошным пиршеством с женщинами, вином, сигарами, песнями и цветами, а на остальные купит трактир и женится. Вот он, победитель жизни, богатый трактирщик Юс, идет в праздник с женой по улице... Все снимают шапки... Бьют барабаны...

Юс, размечтавшись, встал; ему не сиделось более; он хотел еще раз взглянуть на главную улицу Кипы, где будет стоять трактир.

На улице, где куры полоскались в пыли и в предвечернем солнце рдели оконные стекла, ни души не было, только слепой Дей Канет сидел, как всегда, на лавочке у цветочного палисада дяди Эноха. Дей был человеком лет сорока с красивым, бледным, неживым лицом (благодаря слепоте). Нищий, но опрятный костюм Дея не производил жалкого впечатления,— в спокойной позе и закрытых глазах слепого было нечто решительное.

Дей Канет жил в Кипе около месяца. Никто не знал, откуда он пришел, и сам он никому не сказал об этом. И ничего никому не сказал о себе,— совсем.

Услышав шаги, слепой повернул голову. Юс любил подразнить Дея,— слепой был ненавистен ему. Как-то раз у дяди Эноха сторож в присутствии Дея распространился о «разных проходимцах, желающих сесть на шею людям трудящимся и почтенным»; Энох покраснел, а Дей спокойно заметил: «Я рад, что совсем не вижу более злых людей».

— Как же,— сказал Юс умильным тоном, присаживаясь на скамейку Дея,— вы вышли полюбоваться прекрасной погодой?

— Да,— помолчав, мягко сказал Дей.

— Погода удивительная. Как горы ясно видны! Кажется, рукой достанешь.

— Да,— согласился Дей,— да.

Юс помолчал. Глаза его весело блестели; он оживился, он чувствовал даже некоторую благодарность к Дею за бесплатное развлечение.

— Как неприятно все-таки, я думаю, ослепнуть,— продолжал он, стараясь не рассмеяться и говоря деланно соболезнующим тоном.— Большое, большое, я думаю, страданье: ничего не видеть. Я вот, например, газету могу читать в трех шагах от себя. Честное сло-

во. Ах, какая кошечка хорошенькая пробежала! Как вы думаете, Канет, отчего на этих горах всегда лежит снег?

— Там холодно,— сказал Дей.

— Так, так... А почему он кажется синим?

Дей не ответил. Ему начинала надоедать эта игра в «кошку и мышку».

«Ладно, молчи,— подумал Юс,— я вот сейчас проколю тебя».

— Вы видите что-нибудь? — спросил он.

— Не думаю,— сказал, улыбнувшись, Дей,— да, едва ли я вижу что-нибудь теперь.

— Ах, какая жалость! — вздохнул Юс.— Жаль, что через несколько лет вы не увидите моего прекрасного трактира. Да, да! Впрочем, едва ли вы видели вообще что-нибудь, даже пока не ослепли.

От собственного своего раздражения, не получившего отпора, Юс впал в угрюмость и замолчал. Набив трубку и задымив, он покосился на Дея, сидевшего с лицом, подставленным солнцу. Прошла минута, другая,— вдруг Дей сказал:

— Однажды я играл в столичном королевском театре.

От неожиданности Юс уронил трубку,— Дей никогда не говорил о себе.

— Как-с? Что-с? — растерянно спросил он.

Дей, мягко улыбаясь, продолжал ровным, веселым голосом:

— ...Играл в театре. Я был знаменитым трагиком, часто бывал во дворце и очень любил свое искусство. Так вот, Юс, я выступал в пьесе, действие которой приблизительно отвечало событиям того времени. Дело в том, что висело на волоске быть или не быть некоему важному, государственного значения, мероприятию, от чего зависело благо народа. Король и министры колебались. Я должен был провести свою роль так, чтобы растрогать этих высокопоставленных лиц,— склонить наконец решиться на то, что было необходимо. А это трудно,— трудная задача предстояла мне, Юс. Весь двор присутствовал на спектакле.

Когда после третьего действия упал занавес, а затем снова шумно взвился, чтобы показать меня, вызываемого такими аплодисментами, какие подобны буре,— я вышел и увидел, что весь театр плачет, и увидел слезы на глазах самого короля и понял,

что я сделал свое дело хорошо. Действительно, Юс, я играл в тот вечер так, как если бы от этого зависела моя жизнь.

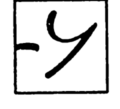
Дей помолчал. В неподвижной руке Юса потухла трубка.

— Решение было принято. Чувство победило осторожность. Затем, Юс, выйдя уже последний раз на сцену, чтобы проститься со зрителями, я увидел столько цветов, сколько было бы, если бы собрать все цветы Милетской долины и принести сюда. Цветы эти предназначались м н е.

Дей смолк и задумался. Он совершенно забыл о Юсе. Сторож, угрюмо встав, направился к своему шалашу, и хотя летний день, потеряв ослепительность зенита, еще горел над горами блеском дальних снегов, казалось Юсу, что вокруг глухого сельца Кипы, и в самом сельце, и над рекой, и везде стало совсем темно.

ЛАБИРИНТ

I



вас крепкие нервы,— сказал Филлат Джису,— а вы очень лениво тратите их на безопасные путешествия, сомнительные интриги, дуэли и кутежи. Отчего вы никогда не спросите хотя бы у меня, не могу ли я показать вам что-нибудь незабываемое, нечто решающее для вас?

— Разве есть что-нибудь в этом роде? — быстро подхватил Джис.

Этот разговор происходил в единственной гостинице маленького городка К.

— Очень много есть любопытного, свыше всяческих ожиданий,— сказал Филлат,— и мне хочется, чтобы вы посетили знаменитый Лабиринт Аспера. Я не заговорил бы об этом, если бы мы случайно не очутились в К. Аспер живет здесь. Это миллионер-ипохондрик, и мысль выстроить Лабиринт принадлежит мне.

— Как? — сказал Джис, невольно посмотрев на вылинявший костюм приятеля.— В каких же отношениях к Асперу были вы?

— Я исполнял обязанности «развлекателя»,— печально пояснил Филлат.— Не дай бог, юноша, взяться вам когда-нибудь за такое дело. У миллионеров характер тяжелый, затеи их громоздки и вульгарны, и нет совершенно воображения. Мои грандиозные планы сразу понравились Асперу. Он изнывал от скуки, и я уговорил его выполнить следующее: поставить на островке пустынной реки статую прекрасной нагой женщины, из белого металла, в позе горделивого превосходства; на берегу же, лицом к ней,— чугунное изображение негра, стоящего на коленях. Негр умоляюще протягивал руки к женщине, выражая фигурой и лицом смесь зверских инстинктов с вожделением. Это попало в цель; вам известно, мой друг, что чернокожие мечтают о белых женщинах. Несколько дней подряд три оскорбленных племени яростно танцевали вокруг чугунного негра, пуская стрелы в недоступную речную красавицу — она стояла среди бурунов, неодолимых для лодок. Затем они передрались и переселились подальше.

— Вы раздумывали, прежде чем сообщить мне все это? — спросил Джис, холодея от нетерпения побыть в Лабиринте.

— Дело не в доверии,— сказал Филлат.— Просто я вас люблю и хочу показать вам преинтересное зрелище. Конечно, я и раздумывал также, но только об Аспере. Думаю, что сейчас к нему поехать удобно. Аспер эксцентрик. Самый прием его удивит вас.

II

Загородная вилла Аспера подступала садами к окраине городка К., а другой стороной обширного участка граничила с береговыми лесами. Был вечер; Филлат и Джис подъехали к восьмиэтажному дому. Вызолоченная, огромная, как ворота, дверь открылась сама, едва ноги гостей коснулись верхней ступеньки. Сила света круглого вестибюля, проникающего через все этажи, мгновенно утомляла непривычное зрение. Источник царского озарения был, однако же, скрыт. Единственным украшением этого великолепия пустоты были достигшие полного возраста и красоты пальмы, смыкавшие свой чудесный, полный причудливых теней круг у входных дверей. Дверь лифта открылась тоже сама

(так открывались все двери у Аспера, хотя множество невидимых глаз следили за посетителем), и Филлат с Джисом взлетели в прозрачной сияющей клетке к пятому этажу.

Они прошли в помещение, где тотчас услышали бархатный звон гонга. Слуга сообщал хозяину о посетителях. Описывать это помещение значило бы ослабить впечатление от Лабиринта. Некий царственно-блестящий туман — вот подходящее краткое выражение увиденного вокруг себя Джисом.

Он еще мысленно кланялся миллионам, воздвигшим подобное совершенство великолепия, как из глубины света выступили два трубача в красных полумасках и средневековых костюмах. Резко и оглушительно протрубив, они скрылись, и Джис увидел трех розовых от жира свиней, в лентах и колокольчиках, везущих небольшую платформу в виде золотой монеты, фута четыре диаметром, посредине ее красовался невысокий шест с вымпелом и на нем надпись: «Я сейчас появлюсь». Некто в черном костюме, серьезный, как доктор, увел странных лошадок, и тотчас, вслед за этим, выехал к посетителям на велосипеде, помахивая татарской шапочкой, человек лет пятидесяти, в домашнем фланелевом костюме; наголо выстриженный и выбритый, с пронзительными, озорными глазами, толстым, умным лицом, подвижной, с нервным и резким голосом. Это был Аспер. Он, спрыгнув с машины, тут же уронил ее и поспешил к Филлату, мельком взглянув на Джиса.

— Какая же вы свинья,— не заговорил, а заголосил Аспер,— пять лет я не видел вас. А наши планы?.. А похищение турецкой принцессы?

— У меня накопилось много своих дел,— сурово сказал Филлат.— Позвольте представить вам своего друга: Джис — Аспер. Джис хочет посмотреть Лабиринт.

— Пусть смотрит. А как вы находите, Филлат, моих свинок, герольдов и колесницу и выезд на велосипеде?

— Очень плоско,— печально сказал Филлат.— Очень грубо.

Аспер надулся. Некоторое время самолюбие боролось в нем с признанием авторитетности Филлата. Наконец он выманил откуда-то пальцем человека с серьезным лицом доктора и коротко приказал:

— Чтобы я не видел больше свиней. В жемчужную столовую подать струнный оркестр. В бассейн пустить морских львов. Открыть все фонтаны, весь свет, все двери. Джис и Филлат, пойдемте немножечко закусить.

III

Когда Джис, через три часа после этого разговора, донельзя ошеломленный уже воочию увиденной им сказкой затейливых миллиардов, подошел с Филлатом к низкой бронзовой двери Лабиринта, он, несмотря на усиленную работу воображения, не подозревал и десятой части могущества обдуманных впечатлений, скрытых переходами Лабиринта. Теперь Филлат снова повторил Джису некоторые необходимые пояснения:

— Лабиринт очень извилист, но, как бы ни казался он вам замысловато безвыходным, вы должны помнить, что выход обнаружится сам собой, вы же идете все прямо... В случае, если вы почувствуете себя нехорошо, почувствуете тоску, страх, нервное потрясение или просто по каким бы то ни было причинам захотите оставить Лабиринт раньше, чем попадете к выходу, достаточно громко крикнуть. В стенах скрыты рупоры, передающие малейшие звуки наверх, специальной прислуге Аспера, и люк откроется там, где будете находиться в момент вскрика. Каждому, прошедшему через весь Лабиринт до естественного его конца (а это происходит не часто), Аспер подносит премию — ценный и красивый подарок. Итак, отправляйтесь, Джис.

Он потянул тонкую стальную цепочку, и дверь плавно разверзлась внутрь ниши, обнаружив светлую пустоту. Джис, кивнув Филлату, улыбнулся и быстро шагнул вперед. Через мгновенье он обернулся, но не заметил никаких следов входа — гладкая, черная стенка выросла за его спиной, толкая вперед.

IV

И он почувствовал с глубоким замиранием сердца, что находится в исключительной, полнейшей тишине крытого хода, широкого и высокого. Свет впереди привлек Джиса, он быстро прошел вперед и в ярком

сверкании окружающего стал удивляться и восхищаться, одолевать Лабиринт.

В начале Лабиринта не было, строго говоря, ни стен, ни пола, ни потолка в принятом смысле слова. Волны матового, зеленого, розового, золотистого и радужного стекла обливали стены и потолок, вовсе скрываясь, подобно прозрачным драпировкам, собранным капризными арабесками. Идущему казалось, что он плывет в воздухе. Так продолжалось на расстоянии неопределенно долгом, пока резкий поворот влево не оборвал этой ослепительной лавы огней.

За поворотом, в мягком рассеянном свете Джис увидел молящегося монаха, старичка с кротким лицом; все земное перегорело в его голубых глазах, детски смотрящих вверх. Немного далее молилась прелестная молодая женщина,— молилась, как выражало прекрасное ее лицо, от полноты жизни и сердца, в простом порыве. Она улыбалась так трогательно, что Джис улыбнулся тоже.

Джис слушал звук своего сердца, шум в ушах, дыхание. Торопясь и волнуясь, вдруг увидел он, что перед ним комната, обставленная старинной мебелью. За роялем сидел человек с властным выражением большого морщинистого лица и, углубившись, играл. В комнате сидело много народа: молодые люди, девицы, дамы, старики,— и Джис чувствовал, что все они теперь вне земли, в ином мире, куда увлек их гений, властный хозяин музыки. Некто в поношенной одежде, сидя в тени лампы, слушал, согнувшись и закрыв руками лицо. Уходя в дальнюю дверь, Джис невольно обернулся, ожидая, что вот все эти люди его заметят и позовут.

В неописуемом состоянии духа, как бы умерший, но помня все прежнее, начавший жить снова, в мире застывшего действия, шел он, возбужденный до крайности, из одного поворота в другой, не имея ни сил, ни времени сообразить у с т р о й с т в о лабиринта.

Джис проходил теперь гротами, цветущими аллеями, зелеными берегами ручьев. То тут, то там виднелись влюбленные, с растроганным сияющим взглядом, в интимных, но сдержанных позах гуляющие под ручку, наклоняясь, протягивая руки к цветам, сидевшие никли головами друг к другу; пальцы их сплетались, и блуждающая улыбка, знаменуя прелесть любовных грез, освещала лицо.

Джис почти растрогался, озирая влюбленных. Лю-

бовь много говорила его молодой душе. Едва успев бросить взгляд на одну группу, спешил он далее, стараясь не раздроблять впечатлений.

И вот Джис вышел на двор милых, как круг близких, родных лиц. В будке лежала важная цепная собака, с глазами умными и заботливыми, у желоба стоял смешной серый ослик; бродили куры и петушки в куче с воробьями и голубями. Мальчик, свеженький и румяный, сидя у перил террасы, читал книжку. Маленькая девочка, держась за чистый передник сморщенной доброй няни, бросала птицам хлебные крошки, а мать с отцом стояли на верхней ступеньке террасы, с улыбкой смотря на окружающее их мирное течение светлой и хорошей жизни.

Джис, смеясь от души, как смеются иногда взрослые, читая незатейливую, детскую, но освежающую книжку, вышел из двора в низкую калитку и сразу опешил: перед ним тянулся настоящий переулок; тесный и грязный, но настоящий.

«Так вот выход,— подумал Джис.— Но как же так это незаметно устроено и неужели я всю ночь одолевал Лабиринт? Светло, день». Он обернулся, но увидел сзади вместо оставленной калитки высокое, внезапно выросшее заграждение. Он выбежал в просвет крайних домов и понял ошибку: далеко еще не кончился Лабиринт. Он принял теперь от этого места и так уже до конца вид обыкновенного кирпичного коридора с асфальтовым полом, частыми поворотами и круглыми расширениями.

Первое, на что наткнулся здесь Джис, был труп мужчины с размозженным черепом. Он лежал ничком, уткнувшись лицом в кровь. Джис вздрогнул, предательский холод медленно поднялся по его телу от ног до корней волос. Он быстро миновал мрачное зрелище, а на повороте отшатнулся в настоящем испуге: здесь, осторожно выглядывая из-за угла, как на охоте, стоял, прижавшись спиной к стенке, плохо одетый человек, зажимая в опущенной руке нож; маниакальный, болезненно возбужденный взгляд его встретился с глазами Джиса. Джис постоял немного, овладевая волнением. «Не пора ли мне закричать?» — спросил он себя, но, устыдившись Филлата, выпрямился, подтянул нервы и продолжал путь.

На каждом шагу застывал он перед сценами диких убийств, воспроизведенных с мельчайшими подробно-

стями поз, обстановки и ужаса положений. Удушение, выстрел, нож, гиря, яд... Вся обычная техника лишения жизни провела на его глазах хаос агонических судорог. Он видел целые коридоры, наполненные мятущейся в исступлении толпой, где убивали, зверея, друг друга; виселицы, унизанные скорченными повешенными, ландскнехтов, насилующих женщин и девочек, корзины, полные отрубленных голов, напоминавших уснувших рыб. Спасая готовый помутиться рассудок, Джис закрывал иногда глаза, отворачивался, топал ногой, чтобы одолеть звуком кровавое вдохновение тишины. Под конец он уже плохо различал, что делают вокруг него эти люди с поднятыми руками и бледными лицами; он слабел, шатался, вздрагивал и вдруг побежал с быстротой преследуемого. Горы трупов окружали его; они были сложены, как дрова, вдоль стен; стеклянные полузакрытые глаза их смотрели, не видя. Жалкий остаток самолюбия цеплялся, колеблясь, за висящий на волоске крик. С разбега Джис остановился, не понимая, куда он теперь двинется: перед ним вырос тупик, застланный светящейся выпуклостью.

Это был глаз человека в полной живости его взора, но настолько большой, что занимал весь тупик, и Джис едва достигал головой верхнего края огромного, как колодец, зрачка, смотревшего на него в упор. Глаз был окровавлен и слезился. Нижнее веко распухло, верхнее судорожно приподнялось. Невозможно было двояко оценить взгляд. Он не выражал даже страдания, а кричал о такой дикой боли, от которой мутится сознание. Взгляд этот обнимал Джиса целиком, всего; топил и перемалывал в себе, подобно пропасти. Тогда вздрогнув, но пытаясь овладеть собой, сосредоточил он потрясенное внимание в глубине таинственного зрачка и там во весь рост увидел себя, с лицом, столь мучительно-напряженным и вредным, что едва удержался от крика,— крик был бы неистовым. Сломав оцепенение, кинулся он в боковой проход и вышел, содрогаясь, как избитый, к свету полуоткрытой двери.

Он поднялся к свету, в знакомый уже ранее переулок с часами за окном, бельем на веревке и воробьями, копающимися в пыли.

«Да неужели я заблудился?» — с отчаянием вскричал Джис. Он шумно дышал, осматриваясь, не веря глазам и слуху: за переулком громыхали телеги, женщина вышла из калитки с корзиной на голове, разда-

лись неясные голоса. Дикий страх овладел Джисом.

— Горе мне! — сказал он.— Теперь-то Лабиринт обрушится на меня тем же, но со звуками и движениями!

И он захотел вернуться, но, обернувшись, увидел непроницаемую кладку кирпичной стены, из нее он вышел незаметной теперь дверью в начале настоящего переулка, точную копию которого ранее показал ему Лабиринт. Но Джис еще не знал этого. Пройдя немного вперед, он увидел сидящих перед уличным столиком трактира Филлата и переодетого рабочим Аспера; понял, что Лабиринт остался позади весь, и, судорожно улыбаясь, сел на свободный стул.

— Что, здорово я встряхнул вас? — сказал Аспер.

Джис молчал. Его знобило. Он выпил залпом стакан вина и расплакался.

— Ну, ну,— сказал нежно Филлат.— Пейте лучше вино.

Аспер подвинул к вздрагивающей руке Джиса золотой медальон, украшенный бриллиантами.

ЧЕРНЫЙ АЛМАЗ

I

Ягдин сидел в холодной губернаторской приемной на жестком стуле, с прямой, как стена, спинкой, и ждал очереди. Прошло около двадцати минут, как секретарь доложил о нем, но из-за высокой белой двери кабинета все еще проникало в приемную монотонное глухое бормотанье. Там кто-то засел крепко. Ягдин томился, рассматривая других посетителей, вздыхавших, как в церкви. Тут был купец старообрядческой складки, почтмейстер, выгнанный за пьянство, начисто выбритый, в нестерпимо блестящих сапогах, но еще с блеском похмельной ошеломленности в красных глазах; сухая дама с лорнеткой и рыжим боа да отставной военный, дремавший в углу старикашка, такой пушисто-белый и дряхлый, что вид его вызывал незлобную улыбку. Ягдин пришел пятым.

«Если меня по очереди введут — плохой знак,— думал он, стараясь решить, подействует ли визитная

карточка знаменитого скрипача Ягдина на сибирского губернатора.— Не мог же он не слыхать обо мне, газеты ведь читает, я думаю? Мог бы принять без очереди. А вдруг захочет «выдержать стиль», «осадить»?.. Есть ведь такие, что приди к ним сам Лев Толстой с Рафаэлем и, скажем, Бахом, так все равно будут выдерживать часами в приемной, а сам в замочную скважину поглядит: «Что, голубчики, нарвались?» И это бы еще...»

Не успела мысль его от упомянутых великих людей перейти к себе, с глухой, но самолюбиво-высокой оценкой своего дарования, как дверь скрипнула, открылась, и из нее по диагонали приемной, не смотря ни на кого, направился к выходу толстейший, идололицый мужчина в сапогах бутылками, распространяя запах помады; пол шумно скрипел под толстяком. «Местный Крез, надо полагать»,— решил Ягдин. Молоденький завитой куколка-секретарь вышел из кабинета, обвел публику томными, бараньими глазами и, сложив губы в трубочку, галантно осклабился перед Ягдиным с полупоклоном, не то официальным, не то паркетным.

— Мсье Ягдин, их превосходительство к вашим услугам.

«Ну, вот, знают, чувствуют, ценят»,— удовлетворенно подумал Ягдин, входя в кабинет. Губернатор стоял за столом, резкие глаза его встретили в упор мягко мерцающий взгляд Ягдина. Стянув губы в улыбку, губернатор подал музыканту руку, сел, положил локти на деловые бумаги, сухо сказал: «Прошу садиться»,— и вдруг, не утерпев, просиял. Он никогда не видал знаменитостей. Редко-редко кто из них заезжал в Сибирь. Дочь его училась в Петербургской консерватории. Душа многих администраторов склонна к возвышенному. Так вот он — живой знаменитый Ягдин.

Губернатор был крепкий человек, среднего роста, с седеющими солдатскими усами, наплывом на тугой воротник жирной шеи и маслеными, гладко размазанными по лысине черными прядками. Длинные каштановые волосы и длинный, с узкой талией, сюртук Ягдина дополнялись в женственности своего выражения бабьим профилем гладко выбритого лица артиста. Сбоку он казался переодетой женщиной, обрезавшей волосы. Но анфасом его лицо было широко, массивно и замкнуто. Это лицо спереди странно противоречило узким плечам и хилой груди музыканта.

— Так что же... э-э... Андрей Леонидович... изволите объезжать наши трущобы? — приветливо и широко улыбаясь, сказал губернатор.— Очень, очень рад познакомиться. И все, что могу, конечно...

— Я, ваше превосходительство,— с достоинством, как неизбежное, титулуя губернатора,— хотел бы...

— Нет, нет, увольте. Для вас я — Петр Николаевич.

«Что ж, хорошо»,— подумал Ягдин и продолжал:

— Я, Петр Николаевич, составил докладную записку. Вот она. В ней я провожу мысль, что весьма благодетельное влияние на души каторжан оказала бы музыка. Я прошу вас разрешить объезд каторжных тюрем; в каждой я дал бы концерт. Я верю в облагораживающую силу искусства.

— Ах, вот что,— сказал, настораживаясь, губернатор.

Лицо его вытянулось.

«А что скажут в Петрограде?» — подумал он, слушая Ягдина, продолжавшего развивать банальное положение об «искре божьей», которой может быть нужен только толчок. Таким толчком может явиться музыка. Губернатор же думал иначе.

— Так-то так... Но не думаете ли вы,— простите, я в музыке не компетентен,— что это... как бы сказать... жестоко несколько? Каторга, говоря прямо,— вещь тяжелая. Боюсь, не раздразните ли вы их в ихнем-то положении. Откроется им сладкий просвет да и закроется тут же.

Ягдин вздрогнул. Губернатор в простоте своего отношения, прямо, сам не зная этого, коснулся тайной цели артиста. Целью этой была жестокая и подлая месть.

— Но,— натянуто возразил музыкант,— они сами слагают песни, поют их с увлечением. Гартевельд доказывал музыкальность каторжного мира.

— Не знаю, не знаю...— Губернатор задумался, но более в отношении того, что скажет Петроград.

Затея Ягдина казалась ему сама по себе опытом невинным и любопытным.

— Они не поймут вас,— сказал он.

Ягдин ответил рассказом об известном даже по газетам скрипаче Н., ходившем играть по дворам классические произведения.

— Я отвечу вам официально, через канцелярию,—

решил наконец губернатор,— простите, но так необходимо... Наверное, будет можно. Надеюсь, до свидания? У нас по четвергам... заезжайте. Всего, всего лучшего. Очень рад познакомиться!

II

Солнце тяготело к горам. Партия каторжан вернулась с лесных работ. Трумов умылся и в ожидании ужина лег на нары. Тоска душила его. Ему хотелось ничего не видеть, не слышать, не знать. Когда он шевелился, кандалы на его ногах гремели, как окрик.

Социалист Лефтель подошел к Трумову и присел на краю нар.

— Сплин или ностальгия? — спросил он, закуривая.— А вы в «трынку» научитесь играть.

— Свободы хочу,— тихо сказал Трумов.— Так тяжко, Лефтель, что и не высказать.

— Тогда,— Лефтель понизил голос,— бегите в тайгу, живите лесной, дикой жизнью, пока сможете.

Трумов промолчал.

— Знаете, воли не хватает,— искренне заговорил он, садясь.— Если бежать, то не в лес, а в Россию или за границу. Но воля уже отравлена. Препятствия, огромные расстояния, которые нужно преодолеть, длительное нервное напряжение... При мысли о всем этом фантазия рисует затруднения гигантские... это ее болезнь, конечно. И каждый раз порыв заканчивается апатией.

Трумова привела на каторгу любовь к жене скрипача Ягдина.

Три года назад Ягдин давал концерты в европейских и американских городах. Трумов и жена Ягдина полюбили друг друга исключительной, не останавливающейся ни перед чем любовью. Когда выяснилось, что муж скоро вернется, Ольга Васильевна и Трумов порешили выехать из России. Необходимость достать для этого несколько тысяч рублей застигла его врасплох — денег у него не было, и никто не давал. Вечером, когда служащие транспортной конторы (где служил Трумов) собрались уходить, он спрятался в помещении конторы и ночью взломал денежный шкаф. Курьер, страдавший бессонницей, прибежал на шум. Трумов в отчаянии повалил его и ударом по голове бронзового пресс-

папье, желая только оглушить,— убил. Его арестовали в Волочиске. После суда Ольга Васильевна отравилась.

— А мне вот все равно,— сказал Лефтель,— философский склад ума помогает. Хотя...

Вошел надзиратель, крича:

— Всем выходить во двор, жива-а! — Окончив официальное приказание, исходившее от начальника тюрьмы, он прибавил обыкновенным голосом: — Музыкант вам играть будет, идиотам, приезжий, вишь, арестантскую концерту наладил.

Трумов и Лефтель, приятно заинтересованные, живо направились в коридор; по коридору, разившему кислым спертым воздухом, валила шумная толпа каторжан, звон кандалов временами заглушал голоса. Арестанты шутили:

— Нам в первом ряду кресло подавай!

— А я ежели свистну...

— Шпанку кадрель танцевать ведут...

Кто-то пел петухом.

— Однако не перевелись еще утописты,— сказал Трумов,— завидую я их светлому помешательству.

— Последний раз я слышал музыку...— начал Лефтель, но оборвал грустное воспоминание.

На широком каменистом дворе, окруженном поредевшими полями, арестанты выстроились полукругом в два ряда; кое-где усмиренно позванивали кандалы. Из гористых далей, затянутых волшебной нежно-цветной тканью вечера, солнце бросало низкие лучи. Дикие ароматные пустыни дразнили людей в цепях недоступной свободой.

Из конторы вышел начальник тюрьмы. Человек мелкий и подозрительный, он не любил никакой музыки, затею Ягдина играть перед арестантами считал не только предосудительной и неловкой, но даже стыдной, как бы уничтожающей суровое значение тюрьмы, которую он вел без послаблений, точно придерживаясь устава.

— Ну вот,— громко заговорил он,— вы так поете свои завывания, а настоящей музыки не слыхали.— Он говорил так потому, что боялся губернатора.— Ну, вот, сейчас услышите. Вот вам будет сейчас играть на скрипке знаменитый скрипач Ягдин,— он по тюрьмам ездит для вас, душегубов, поняли?

Трумов помертвел. Лефтель, сильно изумленный (он знал эту историю), с сожалением посмотрел на него.

— Это зачем же...— растерянно, криво улыбаясь, прошептал Трумов Лефтелю. Ноги его вдруг задрожали, весь он ослабел, затосковал. Сознание, что уйти нельзя, усиливало страдание.

— Подержитесь, черт с вами,— сказал Лефтель.

Трумов стоял в первом ряду, недалеко от крыльца конторы. Наконец вышел Ягдин, задержался на нижней ступеньке, медленно обвел каторжан внимательно проходящим взглядом и, незаметно кивнув головой, улыбнулся измученному, застывшему лицу Трумова. Глаза Ягдина горели болезненным огнем сдержанного волнения. Он испытывал сладчайшее чувство утоляемой ненависти, почти переходящей в обожание врага, в благодарность его мучениям.

Трумов из гордости не отвел глаз, но душа его сжалась; прошлое, оплеванное появлением Ягдина, встало во весь рост. Арестантская одежда давила его. Ягдин учел и это.

Вся месть была вообще тщательно, издалека обдумана музыкантом. Схема этой мести заключалась в таком положении: он, Ягдин, явится перед Трумовым, и Трумов увидит, что Ягдин свободен, изящен, богат, талантлив и знаменит по-прежнему, в то время как Трумов опозорен, закован в цепи, бледен, грязен и худ и сознает, что его жизнь сломана навсегда. Кроме всего этого, Трумов услышит от него прекрасную, волнующую музыку, которая ярко напомнит каторжнику счастливую жизнь человека любимого и свободного; такая музыка угнетет и отравит душу.

Ягдин сознательно откладывал выполнение этого плана на третий год каторги Трумова, чтобы ненавистный ему человек успел за это время изныть под тяжестью страшной судьбы, и теперь он пришел добить Трумова. Каторжник это понял. Пока артист вынимал дорогую скрипку из блестящего золотыми надписями футляра, Трумов хорошо рассмотрел Ягдина. На скрипаче был щегольской белый костюм, желтые ботинки и дорогая панама. Его пышный, бледно-серый галстук походил на букет. Устремив глаза вверх, Ягдин качнулся вперед, одновременно двинул смычком и заиграл. И так как желание его как можно больнее ранить Трумова своим искусством было огромно, то и играл он с высоким, даже для него не всегда доступным совершенством. Он играл небольшие, но сильные вещи классиков: Мендельсона, Бетховена, Шопена, Годара, Грига,

Рубинштейна, Моцарта. Беспощадное очарование музыки потрясло Трумова, впечатлительность его была к тому же сильно обострена появлением мужа Ольги Васильевны.

— Какая сволочь все-таки,— тихо сказал Лефтель Трумову.

Трумов не ответил. В нем глухо, но повелительно ворочалась новая сила. Совсем стемнело, он уже не видел лица Ягдина, а видел только сумеречное пятно белой фигуры.

Вдруг звуки, такие знакомые и трогательные, как если бы умершая женщина ясно шептала на ухо: «Я здесь с тобой»,— заставили его вскочить (арестанты, получив разрешение держаться «вольно», сидели или полулежали). Сжав кулаки, он шагнул вперед; Лефтель схватил его за руку и удержал всем напряжением мускулов.

— Ради бога, Трумов...— быстро сказал он,— удержитесь; ведь за это повесят.

Трумов, скрипнув зубами, сдался, но Ягдин продолжал играть любимый романс соперника: «Черный алмаз». Он с намерением заиграл его. Этот романс часто играла Трумову Ольга Васильевна, и Ягдин однажды поймал их встречный взгляд, которому тогда еще не придал значения. Теперь он усиливал живость воспоминаний каторжника этой простой, но богатой и грустной мелодией. Смычок медленно говорил:

Я в память твоих бесконечных страданий
Принес тебе черный алмаз...

И эту пытку, окаменев, Трумов выдержал до конца. Когда скрипка умолкла и кто-то в углу двора выдохнул всей грудью: «Эхма!» — он нервно рассмеялся, пригнул к себе голову Лефтеля и твердо шепнул:

— Теперь я знаю, что Ягдин сделал жестокую и непростительную ошибку.

Он ничего не прибавил к этому, и слова его стали понятны Лефтелю только на другой день, часов в десять утра, когда, работая в лесу (рубили дрова), он услыхал выстрел, увидел многозначительно застывшие усмешки в лицах каторжников и надзирателя с разряженной винтовкой в руках. Надзиратель, выбегая из лесу на вырубленное место, имел вид растерянный и озабоченный.

— Побег! — пронеслось в лесу.

Действительно, рискуя жизнью, Трумов бежал в тайгу на глазах надзирателя, водившего его к другой партии, где был напильник,— править пилу.

III

Прошло после этого полтора года. Вечером в кабинет Ягдина вошел лакей с подносом, на подносе лежали письма и сверток, запечатанный бандеролью.

Музыкант стал рассматривать почту. Одно письмо с австралийской маркой он распечатал раньше других, узнал почерк и, потускнев, стал читать:

«Андрей Леонидович! Наступило время поблагодарить вас за ваш прекрасный концерт, который вы дали мне в прошлом году. Я очень люблю музыку. В вашем исполнении она сделала чудо: освободила меня.

Да, я был потрясен, слушая вас; богатство мелодий, рассказанных вами на дворе Ядринского острога, заставило меня очень глубоко почувствовать всю утраченную мной музыку свободной и деятельной жизни; я сильно снова захотел всего и бежал.

Такова сила искусства, Андрей Леонидович! Вы употребили его как орудие недостойной цели и обманулись. Искусство-творчество никогда не принесет зла. Оно не может казнить. Оно является идеальным выражением всякой свободы, мудрено ли, что мне, в тогдашнем моем положении, по контрасту, высокая, могущественная музыка стала пожаром, в котором сгорели и прошлые и будущие годы моего заключения.

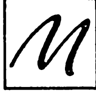
Особенно спасибо вам за «Черный алмаз», вы ведь знаете, что любимая мелодия действует сильнее других.

Прощайте, простите за прошлое. Никто не виноват в этой любви. В память странного узла жизни, разрубленного вашим смычком, посылаю «Черный алмаз»!»

Ягдин развернул сверток; в нем были ноты Бремеровского ненавистного романса.

Скрипач встал и до утра ходил по кабинету, забрасывая ковер окурками папирос.

ПЬЕР И СУРИНЭ



ы верим в чудесное, но до такой степени подозрительны сами к себе, что редко признаемся в этой вере. Тот второй «я», которому равно дороги сказки Шехеразады и таинственные опыты Юма, работа молнии, раздевающей человека догола, не расстегнув пуговиц, и сон «в руку»,— этот второй «я» нам кажется посторонним, милым, но недалеким субъектом. Мы часто краснеем за него, когда, распаленный видениями, имеющими мало общего с законами будней, он тихо соблазняет нас высказать в кругу старых, добрых материалистов что-либо явно революционное, например, веру в то, что душа бессмертна.

Однако, думая, что таинственнее и чудеснее нас самих, то есть — человека, людей,— на свете нет, что сами мы, и в скептицизме и в легковерии, одинаково непостижимы ни с какой точки зрения, я беру на себя смелость рассказать милым читателям одно из самых потрясающих происшествий, какие случались когда-либо на нашей планете. Это не сказка, не выдумка и не аллегория — это сама жизнь, голая правда жизни, действительное событие,— факт.

В экипаже четырехмачтового парусника «Атлант» служил матросом некто Пьер, человек лет тридцати двух, разгульный, жестокий и злобный парень; большая мускульная сила и смелость создали ему репутацию опасного человека. Он пропивал обычно все жалованье, но был прекрасным, сметливым моряком и дело свое любил. Отрывистая, грубая речь, презрительное выражение лица и нескрываемое злорадство при виде чужих печалей не особенно располагали дружить с ним; друзей у него не было; а временные приятели, сподвижники кутежей, охладевали к обществу Пьера равномерно с отощанием его кошелька, Пьер не жалел денег, ни своих, ни чужих, вообще он ничего и никого не жалел, нося в душе ту тягостную пустоту, оторванность ото всего, кроме своей профессии, которая, при известных обстоятельствах, приводит к самоубийству, сумасшествию или преступлению.

Да не покажется странным, что этот человек был в связи с девушкой, любившей его той самой совершенной любовью, которую вот уже множество столетий искусство пытается осилить звуками и словами. Девуш-

ку звали Суринэ. Она была корсажницей в заведении старухи Вийдук и самой красивой девушкой городка.

Тысячи способов есть познакомиться, нарочно или случайно, и как познакомился Пьер с Суринэ,— мы не старались особенно разузнать. Пламенную любовь Суринэ едва ли можно объяснить качествами избранника, так как Пьер не был пригож, и обветренное лицо его, сильно попорченное оспой, не нравилось даже старым портовым шлюхам, лелеющим, по традиции, несбыточную мечту о жантильных «мальчиках». Однако мы поймем Суринэ, если согласимся признать два типа души: одну — с ненасытной потребностью быть любимой, другую — с не менее сильной потребностью любить, давать и дарить самой. Суринэ своим темпераментом полно выражала вторую категорию. Пьер был очень неблагодарным материалом для сильного женского чувства, поэтому-то, так как любовь дающая идет по линии наибольшего сопротивления, Суринэ и полюбила его. Это слабое объяснение, не более, как шаткая и поспешная догадка, однако в подкрепление ее мы можем привести общеизвестный факт, именно тот, что у негодяев, большей частью, подруги и жены их — человеческие, хорошие женщины (или были такие в прошлом).

Суринэ редко видела Пьера. Проходило иногда от двух до восьми месяцев, пока «Атлант» возвращался в родной порт, где стоял, в зависимости от погоды и груза,— месяц, полтора,— и редко более. Пьер мало оказывал внимания Суринэ. Он никогда не писал ей, не привозил даже безделушки в подарок и, встречаясь после разлуки, вел себя так, как если бы расстался с Суринэ только вчера. Любовь часто тяготила его. Иногда проблески настоящего чувства вспыхивали и в нем, но тогда ему непременно требовалось напиться, чтобы прийти в равновесие, нарушенное несвойственной его характеру неуклюжей любовной мягкостью. Случалось, что Суринэ покупала ему на свои деньги одежду, пропитую накануне, или часами простаивала в полицейском участке, умоляя выпустить Пьера, попавшего туда за скандал. И все-таки, если бы ей поставили выбор: смерть или жизнь без Пьера, она, не задумываясь, предпочла бы смерть.

В конце февраля «Атлант» бросил якорь у Зурбагана, где должен был простоять несколько дней. Неподалеку от порта жила некая Пакута, женщина воль-

ного поведения, вдова почтальона. Пьер всегда, попадая в Зурбаган, бывал у нее, и с ней, пьянствуя, проводил ночь; на этот раз он собрался сделать то же; когда вахта окончилась, он спустился в кубрик, побрился, захватил кошелек и нож и пришел на улицу Синдиката, к дому Пакуты.

По дороге он выпил в попутном трактире два полных стакана водки и был поэтому нетерпелив, как игрок. Он постучал в наружную дверь; ему не ответили. Подождав немного, он возобновил стук и услышал шаги человека, осторожно сходившего по лестнице.

— Кто это ломится так поздно? — раздался голос вдовы.— Второй час ночи, и я лежу.

— Это я, Пьер,— сказал матрос,— отвори же.

Женщина рассмеялась.

— Ну, голубчик, ты опоздал,— решительно заявила она,— во-первых, я тебя не пущу, а во-вторых, у меня сейчас гости. Кстати — больше не приходи.

И она удалилась.

Пьер в полном бешенстве, не слыша больше звуков шагов и голоса, стал бить в дверь ногами и кулаками с такой силой, что все его тело стонало от сотрясения. Но дверь, заложенная железными засовами, не поддавалась. Пьер впал в исступление: то присаживаясь на тумбу в яростном, кипящем раздумье, то вскакивая и ломясь снова, он, наконец, постепенно ослабел. С ним происходило нечто страшное: ноги отяжелели, голова кружилась, сердце глухо возилось в груди, как раздавленная птица, и непреодолимая сонливость владела Пьером. Вскочив через силу, чтобы поднять камень и разбить им окно Пакуты, Пьер зашатался, почувствовал, что теряет сознание, и упал навзничь.

Когда рассвело, матроса подобрал полицейский и отвез в больницу. Врач установил смерть от паралича сердца. Матроса похоронили на кладбище Северного Ручья, и один из его бывших товарищей мелом написал на деревянном кресте: «Пьер, с «Атланта», умер 28 марта 1892 года». Никто не заплакал на похоронах, и недели через три корабль вернулся в свой порт, где, как всегда, принарядившись, застенчиво и трепеща, Суринэ ждала Пьера.

Она сильно удивилась, когда вечером, развязно постучав в дверь, вошел неизвестный ей, легкомысленного вида и навеселе матрос. Вздохнув из приличия, повертев в руках шапку и высморкавшись, посла-

нец, торопившийся к собутыльникам, решил не маять ни себя, ни девушку и дело покончить разом.

— Только не ревите! — сказал он.— Этим ведь не поможешь. Пьер приказал долго жить. Похоронили мы его в Зурбагане, на кладбище Северного Ручья.

Суринэ, выслушав это, слушала еще, машинально, как матрос приводит подробности и, не устояв, села. Стены, потолок, мебель — все прыгало и ломалось в ее глазах. Сознание покинуло ее. Очнувшись, она уже не видела матроса, но слова его, болезненно громко, гремели в комнате, означая, что Пьер умер. Одна мысль, бесповоротно и сразу, вошла в душу Суринэ: ее место там, где лежит он; взглянуть на его могилу и умереть.

Через несколько дней после этого почтовый пароход «Блеск» бросил якорь у Зурбаганского мола, и с парохода поспешно сошла девушка в черном платье, расспрашивая прохожих, как пройти на кладбище Северного Ручья. Ей указали, и к тому времени, когда солнце садилось, несчастная, в последнем его свете, отыскала свежий, с надписью мелом крест; он стоял невдалеке от ограды, в дальнем, самом глухом, зеленом и цветущем углу кладбища.

Суринэ стала на колени, тоскуя и плача, как перед казнью. Ей хотелось молиться, но мысль о молитве настойчиво перебивалась воспоминаниями прошлого, где самые мрачные страницы ее любви казались теперь светлыми праздниками. Она вспомнила, как Пьер подолгу смотрел на нее своим рассеянным, немного косящим взглядом, словно спрашивал у судьбы: «В чем же, собственно, дело?», как он дышал, спящий, как неуклюже целовал ее, как, крепко нахмурясь, молчал часами, думая о своем.

Небольшой бугор рыхлой земли с плохо отесанным крестом стоял перед ней мучительной преградой к милому мертвому. Она знала, что может биться головой о крест, и кричать, и звать таинственные силы на помощь — без конца, но и без утешения, что непоправимо страшное свершилось,— знала это умом, но собственное ее сердце билось так живо и больно, что, бессознательно, ощущение своей жизни она переносила и на Пьера, не в силах будучи ясно вообразить, как же это его сердце молчит, когда ее, полное молодого горя, взывает о милосердии? Тихая ярость обезумевшей любви толкала Суринэ к действию; душа ее

возмутилась, и мысли, сраженные смертельным несчастьем, перестали быть мыслями человеческими,— грозная тень исступления легла в них, смешав и сокрушив страдающее сознание.

Весь мир стал могилой для Суринэ.

С лицом, мокрым от слез, как от проливного дождя, с глазами, потемневшими от любви, как бы вростая похолодевшими коленями в ненавистную землю, она громко и безумно сказала:

— Прости же меня, отец! Я умираю! Или он встанет из могилы прежде, чем взойдет солнце, или я не оторвусь от этой земли, пока меня не оставит жизнь.

Она встала, с головой, кружившейся от изнурения и печали, расстегнула верхние пуговицы мрачного своего платья, чтобы хотя телом быть ближе к тому, кто не слышал и не мог слышать ее, и, склонясь к насыпи, крепко, нежно приникла к ней нагой грудью,— так крепко, что губы и лицо ее прижались к земле.

Так, неподвижно обнимая могилу, распростерлась девушка Суринэ в третьем часу утра, на кладбище Северного Ручья.

Какое напряжение воли можем мы представить себе в ее слабом теле? Перо наше отступает перед ее душой в эти минуты,— мы не совершим святотатства, пытаясь заковать в жалкие, неверные слова величайшее роковое усилие любви — все в муках и трепете...

И вот, жизненное тепло молодого тела стало покидать Суринэ. Как лицо, подставленное ледяному ветру, стыла, коченея от земляной сырости, ее белая грудь, посерели недавно еще красные от рыданий щеки; неодолимая слабость постепенно сокращала дыхание, в нервной неровности которого еще слышались могильной траве, осенявшей ее виски, отголоски слез. Измученное тело Суринэ приближалось к обмороку, к бессознательному состоянию, предсмертному упадку превысивших себя сил. Все глуше, все тягостнее сокращалось сердце. Суринэ не могла бы уже понять, если б и захотела,— жива она, бодрствует и что с Пьером,— но, застывая в скорби, тайно чувствовала его под собой — не мертвым.

Тем временем ясное утро весны подбиралось, минуя далекие леса и горы, к кладбищу Северного Ручья, так же тихо и ласково, как нежные пальцы любимой, коснувшись виска друга, пробираются в глубь покор-

ных волос, грея голову, заставляя глаза смеяться, а голове приказывая быть неподвижной, пока длится безмолвный привет.

Еще не взошло солнце, но листья затрепетали уже в ровном и ясном свете, и токи воздушных струй, играя с пространством, были теплы по-утреннему. Шиповник и белена, крапива и анютины глазки, маргаритки и колючий волчец показались, наконец, из предрассветных сумерек во всей нехитрости своей жизни, бесцельной и радостной. Проснулись, мелькая в воздухе, зеленые мухи, любительницы сидеть на солнце, утираясь лапками, умные бисерные глаза ящерицы показались на углу могильной плиты, и невидимые в кустах птицы начали робкую перекличку.

Суринэ лежала, замирая в тяжком бессилии. И вот, когда показалось ей, что каждый ее вздох мгновенно может оказаться последним,— сорваться и улететь, как пух, оставив грудь бездыханной,— судорожный толчок земли вверх, короткий, но подступивший к сердцу, рассеял ее предсмертное томление...

— Это твое сердце разорвалось, Суринэ,— сказала она, но тут же почувствовала, как мертвое уже — в мыслях ее — сердце стучит в невыразимом волнении, в жутком и страшном трепете.

Она приподнялась, движимая как бы чужой волей, приникла ухом к земле, и там, из таинственной глубины праха, услышала темные звуки жизни, шорох и неясное трение, и глухой отзвук голоса, который, может быть, оглашал тесноту гроба воплем, близким к безумию. Не думая о том, слышно ее или нет, Суринэ крикнула всей всколыхнувшейся грудью:

— Пьер! Мой Пьер! Я здесь, и ты сейчас будешь со мной!

Она быстро обежала вокруг могилы, ища какого-нибудь орудия, заступа, кирки, палки, куска доски, чтобы отрыть Пьера. Судьба помогла ей. Накануне гробокопатель оставил неподалеку от Суринэ, у недорытой могилы, железный заступ. Суринэ схватила его, и, тяжкая даже для мужчин, земляная работа показалась ей легкой строчкой батиста. По мере того как она пробивалась к гробу, стук снизу становился все явственнее и настойчивее. Еще верхнюю крышку гроба закрывала, по углам ее, земля, как Суринэ, с силой, какая никогда, ни ранее, ни потом, не вспыхивала в ней, откинула крышку, и Пьер, поднявшись на дрожа-

щих руках, увидел яркие глаза Суринэ, блестевшие потрясением. Не медля, как бы боясь, что могила вновь сомкнется над ним, она помогла полубесчувственному ожившему взобраться наверх и здесь, прижав его большое тело к себе маленькими руками, дала утреннему воздуху обновить легкие и кровь Пьера.

Наконец, истощенный, но способный уже говорить и двигаться, он сказал:

— Суринэ, меня хотели похоронить?

— Ты умер и воскрес, Пьер,— прошептала девушка,— молчи же, приди в себя. Мы никому не скажем об этом, для людей это будет страшно подозрительно.

К Пьеру возвращалась память. Он вспомнил ночь перед домом вдовы, но другим воспоминаниям помешало внезапно овладевшее им отвращение к себе — в прошлом,— как к трупу, к могиле, на краю которой он сидел со свешенными в нее ногами, и разбросанной повсюду земле. Они встали, удалившись от печального места, и тогда наконец взаимные слова, приведенные в некоторый порядок силой возбужденных душ, объяснили каждому то, что оставалось неясным в их положении. Пьер понял все, понял Суринэ и заплакал.

Когда они уходили с кладбища и Пьер, шатаясь, опирался о плечо девушки, над кладбищем ярко горело солнце.

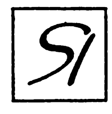
Нам остается сказать немного о их дальнейшей судьбе. Пьер переменил имя и поселился с Суринэ на берегу моря, недалеко от Кассета. Через два или три месяца он получил место смотрителя маяка, и Суринэ больше не обижал, чем мы весьма и весьма довольны.

Случаи каталепсии, подобные описанному нами в этом рассказе, как известно, не редки. Но,— спрашиваем мы себя с стесненным от стыда сердцем,— возможно ли, допустимо ли, чтобы действительно, понастоящему умерший человек ожил таким образом? Мы не сомневаемся, что многие признают самое возникновение такого вопроса симптомом безнадежного слабоумия. Пусть так.

Но нам так сильно хочется верить, что это — возможно, и, может быть, мы так верим уже в это, что, продолжая краснеть, съежившись и прося пощады, упорно говорим: «Да»...

ОТШЕЛЬНИК ВИНОГРАДНОГО ПИКА

I



превратился из полного, цветущего человека в растерянное, нервное и желчное существо, которому, чтобы оставить по себе коренную память, следовало бы немедленно и прочно повеситься.

Виной этому был, конечно, я сам. Желая найти некий философический уклон, по которому в пуховиках абсолютной истины мог бы мягко с просветленной душой скатиться в лоно могилы, я окружил себя десятками идейных друзей — проклятием моей жизни. По ярости и взаимной непримиримости убеждений друзья мои напоминали свору собак, составленную из разных пород — от дога до фокстерьера.

Чистота и искренность их взглядов не подлежала сомнению. Однако выдерживая в течение десяти лет каждый шаг своей жизни под анализом и контролем приверженцев разнообразнейших философских мировоззрений, я пришел к такому удрученно-жалкому состоянию, что без слез не могу вспомнить об этом. Конечным результатом таких дружеских истязаний явилось то, что я каждый день с воплем в истерике вопрошал себя: «Какой смысл твоей жизни? Какой смысл всей вообще жизни? Есть рок или его никогда не было? Зачем жизнь, когда каждого ждет совершеннейшее, немилосердное уничтожение?»

Посвистывая в эту старую дудку, я залез в такие религиозно-метафизические дебри, что извлечь меня оттуда мог бы лишь разве Геркулес, да и то плотно поевший.

— Прекрасно! — сказал я, обдумывая свое некрасивое положение.— Мне нужно пожить с месяц-другой бродячей жизнью.

Покинув друзей, я купил очаровательного, кроткого, как заяц, осла, нагрузил его самым необходимым и в продолжение трех недель странствовал в поисках душевного равновесия. Увы, я не находил его. Звездное небо вызывало у меня мысли о загадке пространства;

рабочие в поле — вечность социальных контрастов; птицы, деревья, цветы — скорбь о равнодушной природе, которая, когда меня не станет, «будет играть»... В попутных кабачках я, пользуясь случаем, напивался. Осел, которого звали Машей, был, к чести его рода, умнее меня; скоро раскусив мой характер, огорчительное животное стало злоупотреблять моим пристрастием к кабачкам и, завидя вывеску, украшенную плющом, останавливалось само, как пораженное громом. Ни красноречие, ни удары не действовали на него в таких случаях. Волей-неволей я забирался в прохладу уютного кабачка, а Маша, счастливая бездельем, слонялась поблизости.

Раз, проклиная судьбу и осла, выпил я у подножия Виноградного Пика немножко более восьми бутылок холодненького барабонского, и мне захотелось плакаться. Подозвав трактирщика, я горячо и пространно стал объяснять ему, что, будучи человеком, заблудился в поисках истины. Я спросил,— нет ли у него на примете человека праведной и мудрой жизни, к которому я мог бы обратиться за поучением. Я прибавил, что книги мне надоели и что огромное количество страстно убежденных друзей не позволяет мне оставаться на одном месте.

— Видите ли,— сказал трактирщик, из вежливости сплевывая мимо моего сапога,— на ваше счастье, такой человек есть в наших местах; зовут его просто Сноп, потому что волосы и борода его совсем рыжие, и живет он полторы версты выше, отшельником; сущий медведь. Страшен, упаси господи! Когда он ко мне приходит, первые его слова: «Я — твой закон и природа! — а затем, погрозит этак пальцем да как рявкнет: — Я тебя насквозь вижу, мошенник!» — так у меня руки и опускаются. Однако же профессор из Зурбагана, собирая бабочек, столкнулся с ним у меня,— заспорили они, черт их знает о чем...— так профессор в конце концов сказал: «Извините!»

Я вздрогнул от радости. Быть может, полудикая эта личность и есть искомый мудрец? Выходило, как будто — да: живет на горе, переспорил профессора, отшельник; не осиян ли он свыше? И я, подробно расспросив о дороге, решительно понудил Машу взбираться по зеленым склонам Виноградного Пика.

II

Опасная была эта горная крутая тропинка, уверяю вас! Не будь полупьян, я не отважился бы, пожалуй, продолжать путь. Местами приходилось ползти по узкому неровному карнизу, висящему над пропастью, и я в таких случаях слезал с Маши, пуская ее вперед. С большими трудностями, донельзя усталый и трезвый, подобрался я, наконец, к отвесной скале, загородившей дорогу. Ни справа, ни слева пути не было. Тем временем вечерняя прохлада и наползающая темнота нагнали на меня страх, так как ночевать в этом месте, рискуя свалиться в пропасть, я не хотел. Трактирщик ничего не сказал мне об этой скале; он, видимо, не бывал здесь; он сказал только, что, следуя по тропинке, я попаду к хижине Снопа.

— Эй, есть ли жив человек?! — закричал я, задрав голову.

Ужасное горное эхо оглушило меня. Вдруг над скалой показалась косматая рыжая голова, рявкнув густым басом:

— Кто тут бродит, говори!

— Не вы ли господин Сноп? — сказал я, невольно сочувствуя трактирщику при виде мохнатых бровей и огненных глаз кирпично-багровой головы.

— Сноп — это я.

— Как же я попаду к вам?

— Зачем?

— Зачем?! Гм... Душа болит, господин Сноп.

— А именно?

— Растерянность... Уныние... страх жизни...

— О, господи! — вздохнул Сноп.

— Потом: «Куда мы идем?»

— О, господи! — вздохнул Сноп.

— Есть ли что за гробом и какое оно?

— О, господи! — вздохнул Сноп.

— Зачем жить, если рок?

— О, господи! — вздохнул Сноп.

— Зачем жить, если смерть?

— Довольно! — сказал Сноп.— Бедный умалишенный! Полезай сюда, я брошу тебе веревочную лестницу.

Голова скрылась, показалась снова, и к ногам моим упал конец лестницы.

— Осла я втяну потом,— сказал Сноп.— Иди сюда, уродливый сын природы, я тебя насквозь вижу!

Поднявшись, я очутился на лесистом плоскогорье, лицом к лицу со Снопом. Это был мужчина внушительно-высокого роста, босой, массивный, в голубой шерстяной блузе и таких же штанах. Я поклонился.

— Любишь ли ты пироги с мясом? — спросил он.

— О да.

— А кофе?

— Весьма.

— А холодненькое барабонское?

— Отчасти.

— Врешь! Очень любишь. Получишь ты и то, и другое, и третье, но сперва сядь, выслушай меня, затем поступай, как знаешь.

Мы сели.

— Во-первых, ты заметил, конечно, что у меня веселый характер. Это оттого, что я рассуждаю с точки зрения гордости. Гордость не позволяет мне ломиться в раз навсегда запертые для меня двери, ломиться только потому, что они заперты. Ты скажешь, что думать так,значит расписаться в бессилии гордого человеческого ума. Друг мой! Мне тридцать пять лет; тебе тоже не меньше; поняли мы что-нибудь до сих пор в тайнах мироздания? Ничего. Будем ли мы настолько наглы, уверены, что именно за оставшиеся нам пятнадцать — двадцать лет уясним все? Ты, не краснея, скажешь, что попасть на луну не можешь, если в таких пустяках ты не чувствуешь себя униженным, то можешь, также не краснея, сказать, что всякие бесконечности тебе не по силам. «Когда-нибудь» — «Когда-нибудь»...— это другое дело; будем говорить о себе: ведь живем мы?!

Ты умрешь. Это неизбежно. Есть ли смысл бояться неизбежного?

Наоборот,— ввиду неизбежности естественного для всех конца, следует жить густо и смело, как свойственно человеческой природе. Время — жизнь. Ешь много и вкусно, спи крепко, люби горячо и нежно, в дружбе и любви иди до конца; на удар отвечай ударом, на привет — приветом, и все, что не оскорбляет и не обижает других, разрешай себе полной рукой.

Поверь мне,— только в том и есть смысл жизни, что окружает тебя. Бесчисленное множество комбинаций представлено тебе: явлений, красок, предметов, людей, работ; найди свою комбинацию.

Пустота ли за гробом, жизнь ли — ты и в том и в

другом случае ничего не теряешь. В первом потому, что терять н е к о м у, во втором — ясно, почему. Но представь, что ты бессмертен,— не ломал бы ты себе голову над э т о й загадкой.

Так или иначе — ты живешь. Так или иначе — умрешь. Так или иначе — ты не знаешь и не узнаешь, что ждет тебя за последним вздохом. Гордо повернись спиной к этой штуке. Зачем унижаться,— бессмысленно, бесплодно; будь горд; смело живи и бестрепетно умирай.

Он встал, скрылся и, пока я переваривал новую для меня точку зрения г о р д о с т и, вернулся с дымящимся пирогом и — о, боже! — с дюжиной холодненького барабонского. Затем он развел костер, мы сидели под кедром, на краю пропасти, ели, пили и говорили о медвежьих охотах. Взошла луна. Голубые призраки снеговых вершин дымились мутным сиянием. Мне было весело. Осел, втащенный Снопом на плоскогорье, дремал стоя, и уши его смешно дергались, когда громкое восклицание касалось их сонного мира.

Сноп принес из хижины еще дюжину барабонского и гитару.

Низким грудным голосом запел он старую итальянскую песенку:

Море чуть зыблется. Здесь на просторе,
Как рыбаки,— вы все сбросите горе;
И да покинут вас скорби земные!
Санта Лючия! Санта Лючия!!!

ТАЙНА ДОМА № 41

Петроградский рассказ

I

КРАТКОЕ ВСТУПЛЕНИЕ. ШКИПЕР МУСТАНЯЙНЕН И ГРИГОРИЙ ХИБАЖ

Велик город Петроград, господа, и много творится в нем диковинных и непонятных вещей. Часть из них становится, рано или поздно достоянием полиции, получая, так сказать, разъяснение и свое место в этом мире; но до многого и полиция не доберется. Только мы, люди пишущие,

искушенные опытом и гуляющие по улице без формы, можем иногда безвредно для обывателей, проникнуть в секретные дела многочисленных петроградских семейств и вывести оттуда на свет божий и страшное и поучительное.

Рано утром, против 10-й линии Васильевского острова у парохода «Юкола», только что прибывшего из Гельсингфорса с дорогим, по нашему времени, грузом,— бумаги для издательства «Скальпированный футурист», стоял добренький, старенький шкипер Мустаняйнен. Он стоял на солнечной набережной, сдвинув несколько на затылок блинообразную кожаную фуражку, курил трубочку-носогрейку и все его румяное, обрамленное седой щетиной лицо выражало чрезвычайное благодушие. За скорость он получил с издательства хороший куртаж, вчера выпил шесть бутылочек «калия», разбавив пиво для крепости сахарным песком, и выиграл в карты у боцмана Кананяйнена полторы марки. Утро занялось тихое и теплое. Мустаняйнен курил и пел:

Ветер бил, и я не пуст,
Когда плил я в Таваст густ,
Ветер бил и лайба плил,
И я очень рада бил.

Набережная представляла обычную картину нетороpливого уличного движения; катились подводы с бочками, трусили извозчики, пешеходы, с опасностью для жизни, устремлялись наперерез трамваю, на углу дремал газетчик. Посмотрев в сторону Николаевского моста, шкипер увидел человека, который являл собой странную и значительную, по военному времени, картину, буйно размахивая руками, мотая головой, шел он, шатаясь, как под градом ударов, в определенном, но в то же время и в неопределенном направлении ходом коня, постепенно приближаясь к Мустаняйнену, смотревшему на него с чувством благоговейной зависти. «Перкеле!» — сказал шкипер, вспоминая старые времена, когда по снежной финской дорожке летел он, пьяный как дым, на сытой лошадке, и рвал вожжи, и пел сколько хотелось. В силу этих воспоминаний Мустаняйнен проникся симпатией к неизвестному, издалека рассматривая счастливца зоркими морщинистыми глазами. «Счастливец» был в поношенной чиновничьей форме, невысок, сутуловат и небрит, а физио-

номией напоминал бабу, которой приклеили бачки и щетинистые усы. Было ему лет сорок — сорок пять.

Подойдя к Мустаняйнену, чиновник утвердил расползающиеся ноги на мостовой, сделал рукой неопределенное заверение в неких невраждебных, однако, чувствах и спросил:

— Друг мой!.. Брат мой! Несчастный!.. Страдающий брат!..

— Ити постелька домой! — ласково сказал Мустаняйнен.

— Постелька! — презрительно сказал чиновник, насупившись.— Эх ты... Свердруп маринованный! Полу-ев-ро-па! А я, братец мой, жалование пропиваю, и пропитон сей нисколько, понимаешь, не жалко. Зачем двадцатое? Почему двадцатое? Число звериное! Я благ-а-род-ный человек, вейка! Хочешь выпить?

— Пирта нет,— недоверчиво сказал Мустаняйнен, косясь на неоттопыренные борты чиновничьего пиджака.

Но чиновник погрузился в раздумье. Похмельная борьба терзала его. С одной стороны — давали себя чувствовать угрызения совести; пропил жалованье, семья ждет и тому подобное; с другой — острое возбуждение двух суток требовало продолжения, то есть опять напиться и, шатаясь по городу, попадая из одного места в другое, жить фантастикой пьяных нелепостей. Запустив руку в задний карман брюк, вытащил он зажатые меж скрюченных пальцев — одну красненькую и две трешки, из складок которых, подобно бабочкам, запорхали синие и желтые марки.

— Хибаж,— сказал чиновник, тупо смотря на запестревшую мостовую,— Григорий Авенантович Хибаж. Это я. Видишь, тут есть еще на... на... п...политуру! Выпьем?!

— Нисего,— сказал Мустаняйнен, аккуратно поднимая марки и вручая их стоявшему под углом Пизанской башни Хибажу,— берите лосадка; ридцать копеек, и я вас домой провожу.

Будь Хибаж менее пьян, Мустаняйнен не отказался бы, разумеется, от дарового угощения. Однако чиновник мог дико заорать на Невском или выкинуть что-нибудь вообще, косвенное полиции. Поэтому, настроившись сострадательно к Хибажу, шкипер, благо день был свободный, решил доставить Хибажа домой.

— А те сивете? — спросил он, махая рукой порож-

нему извозчику, свернувшему, благодаря таксе, не совсем охотно, но почин дороже денег. Раскаяние взяло верх. Спрятав деньги, Хибаж, смазав себя пальцами по лицу, чем как бы стряхивал прошлое, довольно внятно объяснил адрес. Он жил в собственном деревянном домике, в глухом углу Гавани; номер дома был 41. Хибаж и Мустаняйнен уселись.

Известно, что такое пьяный разговор и каково его слушать трезвому. Мустаняйнен терпеливо курил трубку и завистливо, льстиво улыбался, слушая перечисление фунтов политуры, бутылок спирта и вина, о которых Хибаж рассказывал ему безо всякого злого умысла, терзая сердце Мустаняйнена неутомимой алчбой. Подробно описывал он все встречи, разговоры, обиды и услаждения. Завидев на Большом проспекте знакомую кофейню, которую держал Симаняйнен, шкипер вспомнил, что нужно завернуть к земляку и сообщить ему о скоропостижной и неблагочестивой смерти Ивайнена, деверя хозяина заведения. Сделав соответствующее заявление Хибажу, Мустаняйнен воскликнул: «Исивосцик, ти стой немноско!» — и развалистой походкой моряка скрылся в кофейне. Немного он пробыл там,— минут десять, пятнадцать,— но когда вышел, увидел, к своему удивлению, пустую пролетку. Хибаж исчез. «Исивосцик! — закричал шкипер.— А те сетевал каспадин? Сорт!» Извозчик посмотрел через плечо на пустое сиденье, дерзко пожал ватными плечами и буркнул:

— Сам черт! Я не караулить его поставлен. Сбежал, надыть, как полагается!

Куда ни смотрел шкипер,— нигде не было видно Хибажа.

II

№ 41. МАРЬЯ ЛУКЬЯНОВНА И МУСТАНЯЙНЕН ЗА АНГЕЛА

Скажем откровенно, тайная надежда заполучить в конце концов огненный стакан спирта не покидала шкипера до этой минуты. Близкое соседство нагруженного напитками человека смущало шкипера, заставив его даже пожалеть, что он везет Хибажа домой, а не в другое, более теплое место. Хибаж исчез, Мустаняйнен безнадежно развел руками.

Однако, предусмотрительно заставив чиновника заплатить извозчику вперед, шкипер считал своим долгом

попасть в дом 41 и оповестить семейство, если таковое окажется, о неудачной опеке над Григорием Авенантовичем. «Посол!» — сказал он, куколкой усаживаясь в пролетку. Через полчаса лошадь остановилась перед желтым одноэтажным домиком, с крошечным мезонином и узкой калиткой, Мустаняйнен дернул ручку проволочного звонка. Было слышно, как со всех ног бросились отпирать, и на пороге стремительно появилась еще молодая, довольно миловидная женщина, простоволосая, в затрапезном платье, с тряпкой в руках; сбоку по косякам двери мгновенно прилипли, как часовые, два шустрых, босоногих мальчика. Все трое выстрелили глазами в шкипера, и на лицо женщины, согнав краску оживления, легла тень горькой усталости.

— Что скажете? — спросила она.

— Эт-та... сивет каспадин Кибаж? — заговорил шкипер и, получив утвердительный вздох-кивок, продолжал, широко улыбаясь: — Я бил резвый, а он посол водку пить. Я сказал каспадин, идить спать. Я возил, я посол копейня, немного ходил, приходил улица,— каспадин земля ровалился (В землю провалился). Риехал вам».

— Ах, ах, погубитель, злодей! — закричала Марья Лукьяновна.— Так вы тоже с ним путались?! Стыдно, господин старичок! У меня дети, бьюсь, как рыба об лед. Пьяница мой, почитай, каждое двадцатое половину, а то и больше, пропьет! Эх вы! Пожалели бы вы бедных людей!

Она громко заплакала. Разговор происходил в крошечной, полутемной передней. Мустаняйнен растерялся. Кое-как втолковал он наконец Марье Лукьяновне, что, встретив пьяного Хибажа, пожелал избавить его от сторублевого штрафа за появление в пьяном виде,— но что тот скрылся. Марья Лукьяновна, слушая, утирала слезы и наконец утерла их совсем, в то время как два отпрыска рода Хибажей, награждая друг друга щипками, мстительно шептались о чем-то. Заревев, оба убежали.

— Ради бога, сделайте милость,— взмолилась женщина,— разыщите вы мне моего Гришу. Вы его видели, знаете, а он, наверное, к «Повилику» пошел, на биллиардах проклятых последние гроши заколачивать. Мне — женщина я — нельзя по трактирам ходить, неудобно. Сделайте милость. Скажите, что я слезами вся изошла. Ей-богу, не сплю. Я вам и денег на извозчика

дам. Поверите ли, до того дошло, что мезонинчик наш субъекту какому-то сдала, одноштаннику; все хоть пятнадцать рублей в месяц на хлеб. Вон он запел, басистый!

Сквозь ветхий потолок действительно раздавалось глухое, ворчливое пенье и явственно разбиралось:

«Воскресни ж, Озирис, явися к нам вновь
В сердцах наших править и мир и любовь!»

— Второй день живет, все про мир да любовь поет,— продолжала женщина,— а денег только пять целковых уплатил, остальные, говорит, из Самары телеграфом вышлют. Ах, господин... уж согласитесь доброе дело с концом сделать! Представьте разбойника!

Отчасти плененный некоторыми прелестями Марьи Лукьяновны, отчасти вновь воспылав тайной надеждой, в связи с приключением, где-то как-то заполучить наконец оседлавший воображение огненный стакан «пирта», Мустаняйнен, потоптавшись, сказал: — Та. Се телано, а вы, мамуска, не упиватесь. Я поехала.

Взяв рубль мелочи, выслушав пылкие благодарности и благословения, Мустаняйнен вышел на улицу, направляясь к трамваю. Адрес «Повилика» Марья Лукьяновна записала ему на бумажке.

Случайно подняв взгляд, шкипер увидел в открытом окне мезонинчика скуластое, курносое, большеротое, с ввалившимися глазами, лицо взлохмаченного, длинноволосого брюнета; субъект этот, нахмурившись, смотрел на финна тоскливым пронзительным взглядом.

— Какой сусело (чучело),— вполголоса пробормотал шкипер, сворачивая за угол.

III

КАК ХИБАЖ КИНУЛСЯ В ПРОСТРАНСТВО

Должно быть, за двадцать лет жизни с мужем Марья Лукьяновна хорошо изучила привычки своего повелителя, так как Хибаж действительно отправился в «Повилик». Произошло это так. Сидя на извозчике в ожидании Мустаняйнена, Хибаж заметил, что правая его нога свесилась с пролетки и, находясь без точки опоры, то выпрямляется, то сгибается. Такая необеспеченность ноги перевела мысли Хибажа на все свое развинченное запутанное положение, неизбежную встречу с женой, растрату жалованья, выговор по служ-

бе и покаянное, на целую неделю, настроение. Слабые натуры охотнее бросаются назад, в тину порока, чем вперед, к мужественной расплате за совершенное — единственно из трусости, а не из молодечества. Оттянуть страшный момент объяснений и покаянной тоски, хотя бы ценой новых проступков,— было единственным желанием Хибажа, когда, вспомнив пропитые восемьдесят рублей решил он, с легкомыслием негра, пытающегося потереться носом с собственным отражением в зеркале — выиграть эти восемьдесят рублей на билльярде,— игра, которую он знал достаточно плохо для того, чтобы быть всегда в проигрыше. Зная, что пьяного, по крайней мере — наружно, его в ресторан не пустят, Хибаж, послав Мустаняйнена мысленно в самые глубины Финляндии, осторожно вылез из пролетки и с проворством, какого трудно было ожидать от пожилого грузного человека, шмыгнув за угол, нанял нового ваньку, которому повелел ехать в баню. Там он посидел минут десять в холодной ванне, выпил шесть полбутылок содовой и, совершенно перестав шататься, но с красными глазами, и, по существу, пьяный, как кот, нализавшийся валерьяновых капель, поехал в ресторан «Повилик», вспоминая добродушного шкипера с жестокостью лошадиной щетки. Он был возбужден до крайности и мысленно швырял казенные дела в голову трезвых прохожих.

«Повилик»! Кто из петроградцев не знает этого желтого двухэтажного зданья, приютившегося с незапамятных времен в центре города?! Когда-то здесь сиживали Некрасов и Белинский, Достоевский и Герцен. Буйная жизнь 20-го века похитила его лавры, поместив их в суповых судках ресторанной периферии во всевозможных «Шато», «Ярах», и «Москвах», и «Белградах». Но еще до войны, утром и после четырех дня, можно было видеть у стойки плотную массу вспотевших от жевания, затылков, кокард и форменных петлиц служащих всевозможных ведомств, утолявших до- и послеслужебный аппетит горячими готовыми закусками. И пирожками, и рюмками, и кружками пива. Все это, выпитое когда-то, образовало бы теперь новую Лету, реку забвения, в которой без труда погибла бы память десяти поколений. Теперь «Повилик» дорог, невкусен и избегаем. Знаменитые пирожки ссохлись до величины американского ореха. Однако, внизу, в биллиардной, как раньше, так и теперь, жизнь всецело подчинена зако-

нам столкновения упругих тел и тому набившему оскомину правилу, что «угол падения равен углу отражения». По широкому тротуару, отрезавшему мир от подвальных окошек биллиардной, переливается, сверкая всеми оттенками жизни, толпа наших дней: идут когорты бледных, гулящих, с сестрицей сбоку, постукивающих костылями раненых; звенят шпоры; кружечники, высматривая лицо подобрее, держат наготове значок, газетчики суют товар, не смотря в лицо покупателю,— сами желают знать — как под Верденом; а в тесных двух комнатах со сводчатым потолком и каторжным воздухом сорок — пятьдесят человек фанатически катают шары, волнуясь, раздражаясь и радуясь, как дети, если «с выходом под пятнадцатого» десятка летит под лузу. Однако подробно описывать нравы и постоянных посетителей (а это очень любопытный сюжет) мы здесь не будем, из уважения к Хибажу, спускающемуся в этом момент по крутой железной лестнице вниз. Хибаж, на его несчастье, сразу увидел свободный биллиард, на котором, по плохости его, настоящие игроки упражнялись не очень охотно. Не успел Хибаж остановиться у биллиарда, как, по томительному выражению лица, трое профессионалов сразу учуяли «пижона», воспылавшего несбыточной надеждой выиграть в «Повилике». Хибаж часто ходил сюда, вечно проигрывал и всегда объяснял это чистой случайностью.

— Сыграем партийку! — сказал, потирая руки, сладенько улыбаясь и кривя набок голову, маленький прилизанный человечек, напоминающий мышь в сюртуке. Сзади его, тоже «готовые к услугам», стояли двое: ловкий бритый человек с пустыми быстрыми глазами и выражением лица, как бы говорящим: «А мне все равно». Этот, играя левой рукой, был лучшим игроком в «Повилике»: третий, неуклюжий, развинченный молодой студент, готовившийся в «чемпионы» и игравший тоже неплохо, сильнее всех рвался к Хибажу, обещая самую приличную «фору». Хибаж остановился на левше. Здесь он мог получить тридцать очков вперед и выиграть «фуксом». Левша действительно, поторговавшись, дал, с видом жертвы, Хибажу тридцать очков и, условившись играть по пяти рублей партию, принялся за работу. Изящно поджимая губы, пошучивая и как бы шаля, повел он Хибажа на прочной веревочке различных «ловушек», суть которых состояла в том, чтобы партнер, играя какого-нибудь шара, не сыграл его, а

левше подставлял бы в разных местах биллиарда удобно и ловко играемые шары.

Хибаж буйно двигал кием, промахивался и плевался и на глазах толпы хихикающих зрителей проигрывал партию за партией. Он пробовал вырваться из цепких рук игрока, пробовал вести игру «на отыгрыш», «накатывать», «кидаться», но ничего не помогало. Левша играл, как коваль: шар за шаром летел от бойкого его кия в лузу, и не успевал Хибаж сделать 40—50 очков, как у артиста было 70 с хвостиком. Злоба, досада и усталость возвели похмельное состояние чиновника в степень адской пытки, и оставшиеся у него теперь восемь — десять рублей охотно отдал бы он за сотку спирта.

Вдруг кто-то легонько хлопнул его по плечу, он обернулся и увидел сияющее лицо Мустаняйнена, старик радовался, что нашел своего случайного знакомого.

IV

О «БАЛМУШАХ», ПОЛИТУРЕ И ДРУГИХ ГАДОСТЯХ

Прежде чем рассказать о действительно страшных явлениях, перевернувших всю жизнь Хибажа, мы должны вместе с героем посетить одно место — место злачное. Нам нельзя обойти его. Целый год место это срасталось с Хибажем; показав место, мы тем самым покажем, от чего спасся Хибаж. Рассказ наш не веселый по существу, нет.

— Вейка! — удивился Хибаж, тоже немного радуясь, что хоть нечто похожее на товарища здесь с ним.— Как это вы меня нашли, позвольте узнать?

Мустаняйнен, таинственно улыбаясь, шептал:

— Вася сена росила риехать, осень плакает.

— Ах, так?! — Хибаж рассеянно смотрел, как левша, сколачивая шар за шаром, оканчивал партию. Страх напал на чиновника. Он ведь проиграл еще двадцать рублей, почти все. «Вернусь пьяный как дым, легче брань снести,— подумал Хибаж,— а на жизнь возьму жалованье вперед». Просветлев, бросил он кий, уплатил проигрыш, взял покорно лукаво улыбающегося Мустаняйнена за рукав, вышел на Невский и сказал извозчику такой сложный адрес из двух улиц и номеров, что извозчик, почесав за ухом, не сразу, но догадался:

— Это в Балмуши, што ль?

— В они самые.

— Опять вотка пить? — сказал вслух укоризненно Мустаняйнен в то время как болтавшаяся между добродетелью и спиртом душа его утвердительно повторила: «Та, опять».

— Я тебя угощаю,— мрачно сказал Хибаж шкиперу.— Ты меня не оставишь?

— Мой — никокта! — кротко ворчнул старик, и глазки его замаслились.

«Балмуши» — красный кирпичный дом, грязный и мрачный, с извилистым проходным двором, помещается поперек двух захолустных рабочих улиц. Каменные ворота аркой с одной улицы вечно животрепещут разнокалиберным, входящим и выходящим народом, картуз, косоворотка, сборные голенища и пирамидальная шапка татарина-старьевщика постоянно мелькают здесь, редко разнообразясь скошенными набок галстуком и «монополем», с трудом застегнутым красными мозолистыми руками. Внутри двора сушилось белье и мрачно, придерживаясь за стенку, сосредоточенно передвигались «ханжисты». Когда Хибаж и Мустаняйнен подъехали к «Балмушам», у ворот, грызя семечки, стояло человек шесть парней; два татарина с пустыми мешками и несколько зоркоглазых, окладисто-бородатых типов картузной складки. Из этой толпы вышли двое; один таинственно зашептал Хибажу:

— Спиртику? А то, может, английской горькой?

— А почем? — хмуро спросил Хибаж, зная, что все равно денег не хватит.

— Горькая — тринадцать, господин.

— А спирт?

— Этот шестнадцать.

— Да, поди, «балованный»?

— Упаси господи! Никогда водой не разводил. Может, какие другие «балуют», а мы нет!

— Четырнадцать, полбутылки беру,— сказал Хибаж. Бородач хладнокровно сплюнул и вышел из ворот на улицу. Второй тип предложил то же самое и по той же цене.

— Идем! — сказал Хибаж шкиперу.— Я знаю тут «такую» квартиру.

На одной из площадок грязной, полутемной лестницы Хибаж, не звоня, так как входы в этом доме почти никогда не запирались, потянул затхлую дверь, и компаньоны оказались в крошечной квартире полурабочего,

полумещанского типа. Ситцевый полог, пестрое лоскутное одеяло, иконы с бумажными цветами, табуреты, самовар и на желтом полу — дорожка — все отдавало семейственностью. Появление старухи цыганского типа, утвердительно закивавшей, бормоча: «Есть, есть!» — оживило шкипера и буквально осчастливило чиновника, трясшегося, как в лихорадке.

— Почем?

— Да уж для вас, барин, берегла. «Баловенева» в ем и курице не испить. Четырнадцать бумаг кладите — и ваша.

— Слушай, Боковица,— сказал Хибаж,— полбутылки дашь?

— Отолью способно.

— И фунт политуры, это в кредит. Идет? Некуда идти, Боковица.

— Ну, ну, отвернитесь!

Приятели, смекнув, что баба не хочет показывать, откуда вынет драгоценные соки, уставились в окно.

— Теловой папуска! — сказал, глотая слюну, Мустаняйнен.

Сзади их зазвякало стекло. Оба повернулись, как на шарнире. В одной руке Боковица держала белую полбутылку, в другой — темно-зеленую с политурой. Закуску подала она обычную в «Балмушах»: щепоть клюквы на грязном блюдечке и соль. Хибаж попробовал спирт и обжег горло. Волнуясь, то проливая, то недоливая, разводил он в стаканах водой спирт. Дал Мустаняйнену и выпил блаженно сам. Дух его поднялся. Мустаняйнен выпил, как вздохнул, и, смакуя момент, даже зажмурился. Пока они, теперь уже не торопясь, выпивали, разговаривая с азартом все о том же, то есть где, и как, и за сколько изловчиться добыть напитки, причем Хибаж не уставал делать трагические отступления в сторону символа жизни и высоких материй, Боковица, на их глазах и с помощью вошедшей дочери, молодой, иконописного типа женщины с пустыми темными глазами и загаром во всю щеку, «очищала» густую желтую политуру, сильно вонявшую крепким смолистым запахом. Бутылку с политурой женщины, подсыпав в нее соли и разведя водой, долго трясли на коленях, отчего «шерлак» свернулся по стенкам бутылки в виде лохматого маслянистого студня, а спирт, отдельно от него, принял вид мутной, как сыворотка, жидкости. Три раза пропускали его сквозь вату, в результате чего получилась противно-со-

леная, с смолистым запахом и привкусом жидкость; она, несмотря на очистку, преисправно склеивала пальцы и просилась «в Ригу». Мустаняйнен рассчитывал, выпив сам и дав опохмелиться Хибажу, доставить чиновника домой, но, после политуры и спирта, все изменилось перед его глазами, хотелось «кулять». У него было с собой около полсотни рублей, и показались они ему, обыкновенно скупому, такими маленькими, не нужными ни на что, кроме «тевоська» и «пирта», и он был уже пьян. Хибаж твердил:

— Я чиновник, но у меня есть душа! Безумно скорбит она!.. Вижу бессилие свое и трепещу!.. Доколе, о господи? Где-то есть... Испания... меморандум... глетчеры... а я?! Какая ж это жизнь?

Мустаняйнен же, пытаясь петь по-русски, выводил заунывно одну-единственную памятную строку:

— «А-во поле пыль стоял...» — И нараспев тем же мотивом заканчивал: — А-а, тут мой песенка — и сконсялся.

V

ЖАЛОБЫ АРИАДНЫ

Оставим их... Наступил вечер. Марья Лукьяновна в бессильной тоске о загулявшем муже своем изныла. Было около десяти часов. Мальчики спали. Марья Лукьяновна сидела у раскрытого окна и плакала. Наверху, в мезонинчике, окно было тоже открыто. По комнате, совершенно пустой, если не считать скудной мебели и жильцовского сундука, шагал из угла в угол описанный нами выше волосатый мужчина в грязном светлом костюме, оживленном огромным радужно-ярким галстуком. Задерживаясь у окна, он каждый раз слышал монотонный вздыхающий плач и энергично плевался. Если бы читатель знал, чем был занят в это время мозг мужчины, он весьма удивился бы. Об этом мы сообщим в конце правдивого нашего повествования, а пока заметим, что плач весьма раздражал мужчину.

Он сошел по лестнице вниз, усмотрел в сумерках сидящую перед окном хозяйку, закурил и оглушительно крякнул.

— Кто тут? — встрепенулась Марья Лукьяновна, прижимая к носу платок.

— Я. Искандер-Амурский!

— Вы уж меня извините, голова разболелась, растрепалась.

— Обреветесь! — грозно сказал Искандеров, приближаясь аршинными шагами к окну.

Женщина вздрогнула и, чувствуя, что ее жалеют, разразилась рыданиями.

— Чего плачете? — тоном волостного писаря спросил Искандеров.

— Чего?! — Она махнула рукой.— Да... в петлю от такой жизни... загубитель мой... злодей, двадцатник несчастный... дети... обуть, одеть... пьяница... трое суток!...

Она жаловалась долго и основательно. Хибаж затрепетал бы, услышав ее грозную речь. Искандеров, воздевая бороду траурными пальцами вверх, задумчиво посасывал ее, сочувствуя той и другой стороне.

— Угум! — сказал он.— Положение не из красивых. Ну, я пойду. Одначе все поправлю.

Женщина безнадежно фыркнула.

— Это как же?

— А само собой.

— Ну вот еще!

— Совесть-то у него есть, я думаю.

— Ни на вот эстолько.

— Интуиция — враг рекламы,— важно сказал Искандеров,— убедительно рафинирует мой мозг в смысле благополучия.

— Дай-то бог!

— Спокойной вам ночи и приятного сна,— заключил Искандеров, отправляясь наверх. Через полчаса он услышал сначала бурный звонок и затем, после короткой паузы,— звонок тихий, виноватый. Хибаж долго стоял в передней, придерживаясь за вешалку и пытаясь острить, даже петь, но гневное заплаканное лицо жены, сразу сбило его искусственно легкомысленное настроение. Быстрым, тяжелым шепотом, чтобы не разбудить детей, Марья Лукьяновна «отвела душу» с помощью таких уязвляющих, изничтожающих выражений, что чиновник упал духом и залепетал нечто бессмысленное. Особенно мучили его ссылки на керосин, ситный, белье, мясо и тому подобные вещи, приобретающие в бедных семействах значение талисманов. Нападение кончилось. Разбитый упреками, хмелем и раскаянием, Хибаж лег наконец в постель, поставленную ему в крошечной гостиной в углу у окна. Жена не захотела, чтобы спальня

«воняла» денатуратом, по ее выражению. Хибаж лежал, курил и тяжко вздыхал. Обостренный пьянством слух его ловил каждый шорох, малейшее потрескивание обоев, и звуки эти, в тьме, в связи с хаосом нелепых обрывков трехсуточной кутерьмы, выплывавших в воспоминании, казались нестерпимо жуткими. Закрыв глаза, он мгновенно увидел бурых лошадей с мальчиками, повисшими на косматых гривах, голых женщин, медведей, штыковой бой, страшные, гримасничающие рожи, и все это так ясно, как муху на пальце. Не стерпев, Хибаж закурил новую папиросу, лежа с открытыми глазами. Болели почки, спина, ломило кости рук, в висках стучал пульс и мучительное ощущение отравленности заставляло тоскливо ворочаться с боку на бок. Вдруг он услышал шорох — шорох длительный и сухой, как если бы кто-то шел по газетным листам. Сердце его застучало, подобно швейной машине. Он уронил спички, но побоялся нагнуться за ними.

VI

ТАИНСТВЕННЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Все окна в доме были закрыты. Закрыты были также обе двери гостиной. Раздался мелкий, быстрый стук, закончившийся громким резким ударом в не уловимое испуганным слухом место одной из стен. Только сознательное существо могло стучать так... Хибаж замер. Шорох и стук не возобновились, но, весь еще под впечатлением странных и страшных звуков, чиновник, мгновенно взвинтив свое без того расстроенное воображение разбойниками, мертвецами и привидениями, сел на кровати, трясясь в ознобе. Мурашки забегали у него в спине, когда тот же стук, но глуше и удаленнее раздался три раза по три:

«Кок-кок-кок!» — «Кок-кок-кок!» — «Кок-кок-кок!» — и, смолкнув, уступил место тихому мелодическому позваниванию. Удерживаясь от крика, Хибаж чиркнул спичкой по коробке, плясавшей вместе с рукой. Огонь осветил знакомую обстановку, в которой, в общем, не было ничего страшного, но каждый отдельный предмет выглядел настороженно и грозно. Нельзя было определить, откуда раздается это глухое, жалобное «глон-глон!» — то перебиваясь, в стонущем, унылом слиянии, то отдельно, с мучительно долгими и потому

еще более страшными паузами. Все смолкло, спичка, четвертая уже по счету, сгорела в пальцах, и Хибаж снова очутился впотьмах. В это время под окном раздались твердые, редкие, густые шаги, такие тяжелые, как будто при каждом опускании нога идущего пробивала землю» «Топ! Топ! Топ!» Собрав все мужество, Хибаж распахнул окно. Ничто не двигалось в темноте; дул умеренный ветер, шелестела черемуха, но очень близко по-прежнему раздавалось страшное «топ-топ!», и Хибаж вскрикнул. Ничего не понимая, даже не пытаясь понять, он притворил окно и бросился в спальню. Здесь слышалось ровное дыхание женщины и детей. Хибаж осветил кровать, растолкал жену.

— Маша,— воскликнул он, стараясь не смотреть в ее заплаканные злые глаза,— ради господа бога, я не усну! У нас в доме неблагополучно.— Она встревожилась, села.— Кто-то ходит под окном,— задыхаясь, шептал Хибаж,— где-то звонят, шуршит везде,.. стуки раздаются... честное слово. Ты не слыхала?

— Спала я как убитая... повозись с тобой! — Марья Лукьяновна, надев туфли и накинув на голые плечи платок, зажгла свечу.— Ну, пойдем смотреть. Если только ты не с пьяных глаз это... канительщик... на мою голову...

Они обошли комнаты, кухню, вышли за дверь и, наконец, ободренные тишиной, обошли дом, но таинственные звуки больше не раздавались. Несколько раз, удивленный и даже слегка раздраженный этим, потому что его страх оказался бездоказательным, Хибаж шептал, принимая шорох деревьев за начало таинственных явлений: — Вот, вот! Слышишь? — Но в ответ получал «дурака» и успокаивался. Наконец они вернулись в гостиную.

— Вот что,— сурово заговорила Марья Лукьяновна,— допился ты до чертиков. Ложись и спи.

Хибаж, вздохнув, лег. Но упросил жену оставить ему свечу.

— Свечи полтинник фунт,— сказала женщина и ушла. Хибаж лежал, безостановочно куря, и думал о таинственных звуках. «Стало быть, галлюцинация,— грустно заключил он,— допился, стало быть». Наконец он, почти успокоенный тишиной, начал дремать. Свеча догорела. Остаток фитиля, свернувшись набок, лег в растопленный стеарин, зашипел и погас.

Хибаж дремал. Вдруг он вскочил с выпученными

глазами и упавшим от страха сердцем. Совершенно отчетливо в тишине раздался полувздох, полушепот, и шепот этот сказал мрачно: «Погибнешь! Погибнешь!» Готовый заплакать, чиновник, не смея ни закричать, ни пойти снова к жене, повалился ничком на кровать, с ужасом ожидая повторения страшных слов. Но больше ничего не было.

— Неужели от духов? Знамение!? — трясся Хибаж, крестясь и ежась под одеялом.— Господи боже мой! А вдруг это дедушка?.. Капли в рот спиртного не брал... Или мамаша!.. Восемнадцать лет было ведь мне, а из пивной за уши таскала... Охо-хо-о!.. Значит, пропал я... «Погибнешь, говорит, ты!» Нет, надо бросить, к дьяволу!.. Сорок мне, рано еще помирать, ведь... мальчики учиться хотят... Людей сделаю!.. Брошу,— повторил он с настоящим облегчением, чувствуя, что принял веское, твердое решение. Но ему показалось, что об этом нужно довести до сведения таинственных сил, дабы укротить и смягчить их. Весь мир представился ему теперь наполненным бестелесными, всезнающими, мрачными и безжалостными существами, от которых не скроешься?— Я не буду,— шепотом заявил из-под одеяла Хибаж,— духи!.. Дедушка, Петр Семенович... а может, Наполеон... обещаюсь и клянусь спасением грешной дущи Господи, прости и помилуй!

Он казался себе существом отвратительно скотским и грязным и, не замечая слез, плакал. Прошел час. Утомленный, разбитый и потрясенный, Хибаж наконец уснул. Утром, за самоваром, Хибаж сидел как в воду опущенный. Прежде, чем проснулись жена и дети, он походил по двору, тщательно осматривая дом, но ничего не заметил. Внутри комнат тоже не оказалось ничего подозрительного.

— Я жильца пустила,— сказала Марья Лукьяновна.

— Хорошо,— покорно ответил Хибаж.

— Вот и хорошо, хоть с голоду не помрем. Пятнадцать рублей, на черный хлеб хватит.

— Манечка, я больше не буду,— вздохнул Хибаж.

— Бесстыжий ты лжец, вот что.

«Положим, словам она не поверит,— думал Хибаж,— десять лет обещаюсь. Однако что за птица этот жилец?»

Обратиться к жене с вопросом он боялся, ожидая раздражительных реплик, и, торопливо покончив второй стакан чаю, встал. В садике сидел Искандеров. Хибаж

сообразил, что перед ним его жилец. Искандеров познакомился басом. Хибаж — сдавленным тенорком. Клетчатые брюки и длинные волосы жильца внушили ему и подозрение и почтительность. Несло от волосатого, мрачного Искандерова чем-то ученым.

— Где служите? — спросил Хибаж.

— Нигде. Пока отдыхаю.

— Умственные занятия предпочитаете?

— Отчасти. Я — свободный художник.

— Это как же?

— Вывески пишу. Как спали сегодня?

— Почти не спал,— неохотно ответил Хибаж и ушел.

VII

РАСКРЫТИЕ ТАЙН

Месяц прошел как всегда. Хибаж, получив от начальства очередной нагоняй за прогул, аккуратно ходил на службу, по вечерам читал газету или копался в огороде, а Марья Лукьяновна терпеливо считала копейки, выгадывая на пирог к празднику, и ругалась с лавочником, который, невзирая на штрафы, всегда нарушал таксу. Иногда вечером спускался вниз к хозяевам Искандеров. Он получил несколько заказов на вывески и заменил клетчатые брюки диагоналевыми. В жильце Хибаж открыл необычайную любовь к страшному и таинственноому. Все разговоры Искандерова вертелись около привидений, мертвецов, ужасных историй с трупами и вампирами, покинутых домов и тому подобное.

— Да, что-то будет за гробом?! — вздохнул однажды Хибаж, припоминая памятную ночь страхов, когда голос сказал: «Погибнешь!»

— Оккультическое течение установило,— сказал Искандеров,— что после смерти у развратной души все страсти останутся ненасытными и вечно алчущими, как-то: пьяница будет томиться о вине, блудник — о женщинах, чревоугодник — о пищевом снабжении... И в этом есть ад!

— А если кто перед обедом выпивал по одной рюмке? — кротко осведомился Хибаж.

— М-м... гм... надо полагать, что... в соответствии. Так сказал ученый профессор Заратустра.

— Персидский волшебник, надо быть,— заметил Хибаж.

— Ах, как я рада, Гриша,— сказала Марья Лукьяновна,— запоешь ты там, заскулишь, так тебе и надо.

— Я же бросил,— мрачно ответил Хибаж,— да еще все это гадательно.

Восемнадцатого июня, то есть за два дня до получения жалованья, Хибаж стал мысленно раскладывать его по долгам и нужным покупкам. Оставались гроши.

— Черт знает, что! — сказал он.— Прошлое двадцатое было куда веселее!

Он вспомнил, как пил, как безудержно и напряженно хмелел, погружаясь в веселый, дикий туман восторженной бесшабашности, и выпивка показалась опять раем. Хибаж попробовал отогнать соблазн, вспоминая предостерегающий таинственный голос, и бедность, и домашние сцены, и утреннюю прогулку у реки, когда свежесть трезвых минут была пленительной, как купанье. Однако проклятый червяк продолжал свое сосущее дело, и Хибаж если еще не решил напиться, то, во всяком случае, думал об этом упорно и грустно. С этой ночи, когда голос сказал: «Погибнешь!» — Хибаж в наказание до двадцать второго числа, когда должно было обнаружиться, исправился он или нет, спал от жены отдельно, на диване в гостиной. Неоднократно он испрашивал пощады, но Марья Лукьяновна не сдавалась. Девятнадцатого, потрясенный внутренней борьбой, происходившей в нем. Хибаж занял у сослуживца три рубля и обошел с ними все аптеки по Невскому, покупая в каждой на 20—30 копеек калганных, померанцевых и коричневых капель, то есть спирта, настоянного на корице. Таким образом набрал он десять маленьких пузырьков, намереваясь по принятии их внутрь себя прийти к какому-нибудь решению.

В одиннадцать вечера Хибаж притворился спящим, потушил лампу и, полежав минут десять, подкрался к дверям спальни, прислушиваясь. Мирное дыхание жены говорило о безопасности. Хибаж пробрался в кухню, вылил содержимое пузырьков в квасную полубутылку, развел слегка напиток водой, очистил луковицу, отрезал кусочек хлеба, посолил, съел перед рюмкой, налил, подумал: «Как в ресторане!» — вздохнул и выпил. После четвертой рюмки, повеселев и разговаривая сам с собою начистоту, грубо и прямолинейно, Хибаж думал: «А ну, сообрази же, Григорий, напиться завтра тебе или нет?!»

— Напьюсь, ей-богу, напьюсь,— сказал он, повеселев даже от такого решения. Таинственные страхи

казались ему теперь просто похмельным бредом. Уничтожив всякие следы развратного поведения, Хибаж ушел в гостиную и начал дремать.

«Тук-так... тук-тук... тук-тук...» — раздалось неизвестно где. Хибаж открыл глаза, сел и замер. Мгновенно хмель покинул его, оставив одно, нестерпимо жуткое, ожидание сверхъестественного. Он боялся встать, зажечь огонь, даже пошевелиться... Вверху, где-то над чердаком, звякнуло загремело и стихло. И вот все ужасы, казалось соединились вокруг несчастного чиновника: звон наверху усилился, прикрытое окно внезапно распахнулось, и на леденящей кровь черноте его показалось огромное, огненное лицо, с светящимися, почти пылающими волосами, лицо это, более похожее на раскаленный череп, чем на что-либо благопристойное, раскрыло страшный рот и глухо сказало:

— Погибнешь! Погибнешь! Умрешь!

Хибаж вскрикнул и повалился без чувств. Его крик разбудил Марью Лукьяновну. Встревожилась она, зажгла свечку, вышла и увидела, что Хибаж, без кровинки в лице, лежит на полу.

— Господи! Или помер? Гриша, очнись.

Хибаж слабо хрипел. Женщина всполошилась. Ни вода, ни тряска не помогли. Не зная, что делать, она бросилась за помощью к Искандерову.

Поднимаясь по лесенке, она обратила внимание на странный лязг, доносившийся с чердака, и вспомнила, как месяц назад Хибаж испугался чего-то. Марья Лукьяновна была храбрая женщина. Свернув на чердак, она стала осматривать его со свечой и увидала жалобно мяукавшую, тощую кошку, тщетно пытавшуюся избавиться от привязанной к хвосту пустой жестянки. При каждом прыжке животного жестянка истерично гремела.

— Это все мальчики, озорники,— рассердилась она.— Выдеру.

Освободив и выбросив на двор из чердачного окна кошку, Марья Лукьяновна постучала к Искандерову. Он не спал и сразу открыл.

— Что такое?

— Ох, не знаю, помогите мужа очхнуть! Грохнулся, как померший, не дышит и не встает, доктора позвать, что ли?

— Перехватил я — мрачно сказал Искандеров.— Видите ли-с, это я вашего супруга пугаю. Не сердитесь?

— Что это вы говорите? Да нашатырного спирту ему...

— Успокойтесь. Они в обмороке, и здоровью ихнему это не повредит, а даже напротив. Должен и вам сказать, что мой папаша скончался от чрезмерного алкоголизма, а также братец, и шурин попал на одиннадцатую версту, и все через это, и я сам от той же болезни с помощью гипнотизма вылечился. Так что, увидев вас однажды расстроенною и в слезах и в недостатках хозяйства, смекнул я вашего супруга излечить помощью душеспасительных страхов. На прошлый раз я провертел дыру в потолке и шуршал бумагой и угрожал голосом, а ныне, изволите видеть, вымазавшись кольдкремом с примесью английского фосфора, сделал себе пылающее лицо и в окне появился. Я сказал: «Погибнешь!», то есть ежели продолжать пьянствовать. А они упали от страху без чувств. Я этим штукам от одного фокусника научился. Простите, если не угодил!

— А вы зачем в моем доме дыру вертите?

— Так для вашей же пользы.

— Ну-н... поможет ли только?

— Да, надо полагать, что с перепугу такого более не рискнут выпивать. Только меня не выдавайте.

— Вот кошку еще мучаете, тоже вы?

— Я-с; уподобление звону цепей, которые на привидениях.

— Господи! — заплакала Марья Лукьяновна.— Неужели зарок даст?

— А вот увидите.

Они говорили еще на эту тему, и она отправилась приводить в чувство супруга. Хибаж наконец очнулся. Он хныкал, трясся, жался к жене и бормотал о страшных призраках, на что Марья Лукьяновна притворно ахала, вздыхала и твердила, что это — знамение.

— Истинно знамение,— прошептал Хибаж и перекрестился.

Издательство «Скальпированный футурист» успело за месяц распродать пятнадцать тысяч книжек «Мечты в сапоге», и ему снова потребовалась бумага, и Мустаняйнен снова прибыл на «Юколе» в Петроград. В виде благодарности за прошлый кутеж привез он Хибажу бутылку шведского коньяку. Хибаж посмотрел на бутылку и отвернулся.

— Не пью,— хмуро сказал он, страшно огорчив этим веселого шкипера.

— А... посему се? Нисево, тавай рюмоску!

— Нет, нет,— и Хибаж печально, но твердо помешал ложечкой в огромном именинном стакане, где налицо было не что иное, как чай, и не с чем иным, как с молоком. Шкипер истребил коньяк сам. Возвращался он на пароход от какой-то «тевоски», сильно покачиваясь, курил и мурлыкал:

«А во поле пыль стоял!..

А тут мой песенка и сконсялся».

ТЯЖЕЛЫЙ ВОЗДУХ

I



виатор, напрягая окостеневшие от усилий руки, повернул к перелеску, промчался над зеленым мехом хвойных вершин, белой змеей шоссейной дороги, маленьким, как карандаш, бревном шлагбаума, увидел двойную черту рельсов и понесся над ней, на высоте тридцати — сорока сажен с самой большей, какую мог развить аппарат, скоростью. Слева, уходя к пурпурному, гаснущему в облаках солнцу, расстилался сизый ржаной туман хлебных полей. Впереди, белея маленькой, как яйцо, церковью, открывалась даль. Справа теплился в низких лучах зари мохнатый, полный теней, лес. Внизу, под ногами летуна, время от времени шумел игрушечный поезд, а стрелочник с флагом в руках, задирал голову вверх, что-то крича стремительно летящему аэроплану, затем все пропадало, и опять в пустынной тишине вечера на высоте соборной колокольни несся над пролинованной рельсами насыпью, трескуче гудя, крылатый аэроплан.

Бешеная струя воздуха била авиатору прямо в лицо. Перед вылетом авиатор выпил бутылку коньяку, но не опьянел, а только начал особенно резко и отчетливо сознавать все: свое положение состязающегося на крупный приз русского летчика, высоту, на которой, параллельно земле, несся вдаль, воздушную пустоту кругом аппарата, стоголосый рев мотора и время. Часы, укрепленные перед ним, показывали сорок минут девя-

того; полет начался утром. Вместе с этими, имеющими прямое отношение к успеху или неуспеху, мыслями также ярко представлялось другое: шумный вчерашний ужин, музыка, присутствие высокопоставленных лиц, лестное в глубине души для детей воздуха, вчера еще никому не известных заводских механиков и электротехников; вызывающее оживление женских лиц, шампанское... Лезли также в голову разные пустяки, как, например, то, что машину Фармана кто-то назвал шарманкой, а летчик Палицын хлопочет о казенной службе.

Солнце село, ореол его, пронизывая светом сказочные страны зоревых облаков, сиял еще некоторое время пышными колоннами красного и золотого блеска, побледнел, осел ниже, загородился волнистой темнотой туч, вырвался из-под них пепельно-светлой щелью и погас. Аэроплан несся в прохладной мгле; снизу изредка доносились неразборчивые восклицания, крики; звуки эти, подымаясь на высоту, словно водяные пузырьки к поверхности озера, казались призрачными голосами пространства, потревоженного в своем величии.

С наступлением темноты авиатор стал волноваться. Рой маленьких и больших страхов летел рядом с ним, заглядывая в воспаленные ветром глаза. Сначала явилось опасение, что он собьется с дороги, затем, стараясь представить, в каком положении находятся летящие сзади соперники, авиатор видел их то нагоняющими его, то отстающими все больше и больше; невозможность определить действительное расстояние между собой и ими приводила его в состояние мучительного беспокойства и раздражения. Конечный пункт бешеной гонки находился теперь не далее сорока верст, а призовые деньги, казавшиеся в начале полета чем-то очень еще сомнительным, рисовались теперь авиатору во всей силе почти взятого крупного капитала, были близки, принадлежали ему, он думал о них, как о своей собственности. Эти деньги ему были нужны чрезвычайно; в течение последних месяцев Киршину не удалось взять ни одного, существенного по сумме, приза, он жил неаккуратно получаемым от фирмы жалованьем, и для зимы нужно было сорвать этот, по-видимому, дающийся приз, так как маленькая, но обладающая здоровым аппетитом семья авиатора начинала уже залезать в долги. Сын учился в дорогом специ-

альном учебном заведении, а дочь перешла в пятый класс гимназии, стремительно вырастая из всех своих чулков, платьев, пальто, как разбухающая весенняя почка рвет тонкие растительные покровы. А для того чтобы жизнь семьи не текла мучительно, в постоянных заботах и ухищрениях, нужны были деньги.

Стремительный гул мотора кружил голову. Еще быстрее, чем мчался над невидимой землей аппарат, быстрее винта, делающего сотни оборотов в минуту, летела тревожная мысль, опережая аэроплан. Авиатор вспомнил, что между шестью и семью часами обогнал его барон Эйквист; барон мчался наперерез; со стороны было похоже, что плавно взмывает к небу огромный белый конверт с головой Эйквиста на переднем обрезе; конверт взял большую высоту; в голубом небе были еще видны тонкие очертания машины, как вдруг, совершенно отчетливо, глядя снизу вверх, авиатор увидел, что винт баронова аппарата из мелькающего прозрачного круга, потемнев, превратился в ясно обрисованные неподвижные лопасти.

«Падает»,— с тупым равнодушием гладиатора подумал летчик; не вздрогнул и не обрадовался, но что-то вроде веселого страха овладело его душой; конверт же, плавно описывая круги, невредимо опустился на пашню, голова барона по-прежнему чернела в белизне аппарата, полная, вероятно, немого ужаса.

Авиатор пролетел над ней, стиснув зубы и думая, что вот одним конкурентом меньше. Но, вспомнив, что с ним может случиться то же или еще хуже, пожалел Эйквиста.

Теперь, когда никто больше не летел впереди него и, следовательно, от прочности аппарата, состояния погоды и выносливости самого летчика зависел окончательный успех в состязании, авиатор, пугаясь назойливых представлений, отталкивая их, но этим еще более подчиняясь их власти, увидел себя падающим стремглав, головой вниз. Он и его товарищи постоянно думали о катастрофе. Слово это, соединенное с опасениями, печальной тенью неотступно царило в их душе, укрепляясь частыми газетными сообщениями и слухами; именно так спит и ходит с мыслью о неурожае крестьянин, отряхивая вечером сошник, а утром выходя во двор смотреть из-под руки небо. Чем больше делал авиатор полетов, чем успешнее, эффективнее и благополучнее совершал он самые рискованные предприя-

тия, тем прочнее сживалась его душа с неотступной печальной тенью.

Когда, совершив полный круг, мысль о катастрофе заставила авиатора пережить воображением все мелочи безобразной смерти, а аппарат, деловито ревя мотором, неистово рвался в темноту — вдруг обманчиво-близко в дрожащем, светлом тумане заискрились огни города. Авиатор нервно, по-детски рассмеялся, морщась от набегающих слез. Через двадцать, тридцать минут он, первый из пяти, грянет, встревожив воздушным гулом темные улицы, на гигантский аэродром, и звонки телефона дадут знать всем об его прибытии. Авиатор, привстав, повернул руль и затосковал, почти больной от желания сейчас, не бензином, а взрывом мысли очутиться на месте.

Тогда, застучав особенно громкими, неправильными ударами, мотор сделал перебой, остановился, зашипел и стих. Неистовый стук похолодевшего человеческого сердца сменил его. Аппарат умер... С перекошенным внезапной болью страха лицом, летчик, еще не сознавая вполне силы удара, потянул руль, сделав небольшой угол к земле, понял, что падает, и сказал: «Боже мой, что за шутки! Антуанет, Тонечка, ради бога!..» Аэроплан быстро, удерживая равновесие, скользил вниз.

В этот момент, подымаясь на кривую спирали опускающегося аппарата, небольшой шар из разноцветной бумаги, теплясь и просвечивая изнутри огоньком восковой свечки, поравнялся с лицом авиатора. Трагическое усилие человеческой воли, созданное из пота, крови и слез,— огромный аппарат — бессильно никнул к земле, игрушка продолжала лететь. Авиатор, подняв руку, ударил с разлета кулаком шар, шар тихо порвался, вспыхнул, сверкнул огненными клочьями и исчез, аппарат же, ломая сучья, шумно упал вниз, среди деревьев, покачнулся и затрепетал.

II

Толчок был не силен, но резок. Колени авиатора подскочили вверх, на плечи словно упала тяжесть, зазвенело в ушах; он сидел не шевелясь, с душой, смятой неожиданным ударом судьбы, потом, сутулясь от острой боли в спине, вылез в кусты, шатаясь, по-

добно животному, оглушенному палицей лесника; зажег дрожащими пальцами электрический дорожный фонарь, увидел среди стволов в белом свете плавники аппарата, сел на землю, обхватил руками колени и застонал.

Переход от бешеного движения к полной неподвижности страшно походил на смерть, на испуг падающего с обрыва жизни в пропасть молчания. Еще минуту назад живой, терзающий лицо воздух, в котором аппарат летел всей тяжестью человека, дерева и железа — стал чужд летчику, недоступен и далек, как ускользнувшая с надменной улыбкой из грубых объятий женщина. Тот воздух, что окружал его на высоте трех аршин от земли, был другим воздухом, папертью, прихожей атмосферы, преддверием голубого бога. Авиатор мог видеть сквозь него, хватать его руками, дышать им; мог подпрыгивать в припадке ярости на высоту аршина, двух, взлезть на дерево и вытянуть руки вверх — он все равно принадлежал теперь неподатливой, крепкой земле; живая связь меж ним и пространством исчезла. Из одного мира он перешел в другой.

Авиатор встал, поднял фонарь над головой, осветил место падения и закрыл глаза. В тот же момент он почувствовал, что отделяется от земли и мчится — это была иллюзия, инерция впечатлений.

Понемногу удар, нарушивший связную душевную жизнь авиатора, стал для него фактом. Удвоив внимание, авиатор приступил к тщательному осмотру машины. Повреждение бросилось ему в глаза не сразу,— он заметил его лишь после нескольких минут торопливой работы. Оно было серьезнее всяких предположений; о починке на месте нечего было и думать.

Летчик стоял с опущенной головой, без шапки. Земля и воздух были одинаково противны ему. Поднеся к губам флягу, висевшую на поясе, Киршин сделал несколько крупных глотков, вспомнил летящих, быть может, близко уже, соперников, и ревнивая, яростная тоска вырвалась из его груди глухим стоном. Он знал, что надо как можно скорее бежать с прогалины, искать людей и попытаться, если возможно, привести аппарат в годное состояние, но тоска и усталость делали авиатора неподвижным. Он обдумывал положение остальных участников состязания. «Барон может упасть еще раз,— сказал Киршин,— ведь упал же я. И остальные...» Он представлял ряд катастроф, без

малейшего сожаления; один за другим, в гневной работе его мысли, подлетая к невидимой запрещающей черте, аппараты, резко шарахаясь, перевертывались и падали.

Ночная сырость проникала в разгоряченную спиртом и движением грудь Киршина; мысли, постепенно возвращаясь к действительности момента, утратили болезненную остроту, сменяясь тем настроением равнодушия, когда сознание безучастно отмечает трепет и боль.

Еще раз осмотрев и тщательно заметив лесную прогалину, в центре которой, как бы сливая с тишиной леса свою внезапную горестную тишину прерванного полета, жался поврежденный аэроплан, летчик, спотыкаясь минут пять в ямах и заросших травой корнях, вышел к безлюдному повороту шоссе. Пахло улегшейся свежей пылью, болотными цветами и хвоей. Ряд деревянных тумб шеренгой выходил из мрака; по обеим сторонам дороги шли ровные канавки, и летчик видел, что предположения его, пожалуй, верны,— он находился в дачном поселке. Летчик шел развалистой походкой человека, отсидевшего ноги; растрепанный, грязный, он произвел бы днем впечатление бездомного шатуна, пропойцы. Навстречу ему шел господин с дамой, куря сигару; дама, эффектно подхватив платье, казалась стройной и молодой, но авиатор остановил их усталым, безразличным движением руки и, заговорив, услышал, как хрипл и слаб его собственный, обыкновенно звонкий голос.

— Будьте добры...— сказал он почти в затылок не сразу остановившемуся господину,— я — авиатор Киршин, я опустился с машиной тут, в лесу... Куда мне, то есть где бы мне отыскать урядника или кто тут?.. полицию!..

— Ах, ах! — воскликнула дама, и летчик в темноте различил ее вдруг заблестевшие под шляпой глаза, а господин, выпустив руку дамы, от удивления потерял осанку.

— Ах, ведь мы слышали! — чрезвычайно громко и радостно сказала дама.— Костя, помнишь над головой — как автомобиль... даже страшно! Очень приятно...

— Первый раз в жизни...— ненатуральным, фальшиво взволнованным голосом подхватил господин,— я вижу человека-птицу... извините... так неожиданно...

— Где полиция? — хмуро спросил Киршин.

Дама подошла ближе, он увидел ее красивое, недалекое, простодушное лицо; она чем-то напоминала ему жену, плакавшую вчера от страха.

— Отчего вы упали? Вы ранены? — торопливо спросила дама.

— Передача остановилась,— каменно проговорил летчик, махнул злобно рукой и быстро пошел дальше, оставив позади застывшую от волнения и неловкости пару. Через десять шагов он разразился, дав себе волю, ругательствами и проклятиями. Брань звонко неслась в тишине, будя лес.

Освещенные окна дач блеснули слева и справа, в это время глухой шум, неопределенное гудение воздуха остановило его.

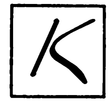
— Что это? — сказал авиатор. Неясное подозрение сжало сердце. С упрямым выражением лица, склонив, как бык, голову, расставив ноги, авиатор стоял, прислушиваясь. Гул рос и определялся, его можно было сравнить с быстрыми, дробными, сливающимися в одно, глухими выстрелами. Летчик, стиснув зубы, заткнул уши пальцами,— он не хотел слышать; стремительный рев мотора бросил его в пот; нагибаясь, как будто летящий над ним аппарат мог разбить ему голову, авиатор побежал изо всех сил к светящимся окнам дач; через мгновение длительный, резкий гул раздался в вышине прямо над головой Киршина, заставил пережить пытку отчаяния, горя, бешенства и, отдалившись, затих. Это летел молодой, совершающий четвертый полет, Савельев.

Подходя к улицам, авиатор внутренно смолк. Теперь, когда не могло быть никакой надежды оказаться первым, возбуждение исчезло, уступив место покойному желанию идти, не думая ни о чем. Особенное, незлобное воспоминание воскресило Киршину цветной шар-игрушку, светившийся изнутри светом детской елки,— маленький, плывущий вверх, повинуясь несложному физическому закону. В воспоминании этом был смутный оттенок далекого от дел и борьбы спокойствия. А жюри все-таки должно уделить Киршину часть общих призовых сумм...

Подумав это, летчик заметил городового, спокойно подошел к нему и, улыбаясь привычно-рассеянной улыбкой человека, стоящего на виду, объяснил положение...

ТАИНСТВЕННАЯ ПЛАСТИНКА

I



репко сжав губы, наклонясь и упираясь руками в валики кресла, на котором сидел, Бевенер следил решительным, недрогнувшим взором агонию отравленного Гонаседа.

Не прошло и пяти минут, как Гонасед выпил смертельное вино, налитое веселым приятелем. В тот вечер ничто в наружности Бевенера не указывало на его черный замысел. Как всегда, он непомерно хихикал, бегающие глаза его меняли тысячу раз выражение, а когда человека видишь таким постоянно, то эта нервная суетливость способна убить подозрение даже в том случае, если бы дело шло о гибели всего мира.

Бевенер убил Гонаседа за то, что он был счастливым возлюбленным певицы Ласурс. Банальность мотива не помешала Бевенеру проявить некоторую оригинальность в исполнении преступления. Он пригласил жертву в номер гостиницы, предложив Гонаседу обсудить вместе, как предупредить убийство, подготовленное одним человеком, известным и Гонаседу и Бевенеру,— убийство человека, также хорошо известного Гонаседу и Бевенеру.

Гонасед потребовал, чтобы ему назвали имена.

II

— Имена эти очень опасны,— сказал Бевенер.— Опасно называть их. Ты знаешь, что здесь, в театре, кулисы имеют уши. Приходи вечером в гостиницу «Красный Глаз», номер двенадцатый. Я там буду.

Гонасед был любопытен, тучен, доверчив и романтичен. В номере он застал Бевенера, попивающего вино, в отличном расположении духа, громко хихикающего, с карандашом и бумагой в руках.

— Рассказывай же,— сказал Гонасед,— кто и кого собрался убить?

— Слушай! — Они выпили стакан, второй и третий; Бевенер медлил.— Вот что...— заговорил он наконец быстро и убедительно,— сегодня идет «Отелло», Мария

Ласурс поет Дездемону, а Отелло — молодой Бардио. Ты, Гонасед, слеп. Все мы, товарищи твои по сцене, знаем, как бешено любит Бардио Марию Ласурс. Она, однако, отвергла его искания. Сегодня в последнем акте Бардио убьет на сцене Марию, убьет, понимаешь, по-настоящему!

— И ты не говорил раньше! — взревел Гонасед, вскакивая.— Идем! Скорее! Скорее!

— Напротив,— возразил Бевенер, загораживая дорогу приятелю,— идти туда нам незачем. Какие у тебя доказательства намерений Бардио? Ты нашумишь за кулисами, сорвешь спектакль, бездоказательно обвинишь Бардио, и тебя же в конце концов привлекут к суду за оскорбление и клевету?!

III

— Ты прав,— сказал Гонасед, садясь.— Но каким образом известно тебе? И — что делать? Осталось час с небольшим времени: скоро последний акт... Последний!..

— Как я узнал,— это пока тайна,— сказал Бевенер.— Но я знаю, что делать. Надо сделать так, чтобы Ласурс покинула театр, не допев партию. Напиши ей записку. Напиши, что ты покончил с собой.

— Как?! — изумился Гонасед.— Но какие причины?

— Причин у тебя нет, я знаю. Ты весел, здоров, знаменит и любим. Но чем же иначе вытащить Марию Ласурс? Подумай! Всякое письмо от постороннего, даже с сообщением о твоей смерти, она сочтет интригой, желанием взвалить на нее крупную неустойку. Тому бывали примеры. А кроме смерти близкого человека, что может оторвать артиста от милых его сердцу рукоплесканий, цветов и улыбок? Ты сам, собственной рукой должен вызвать Ласурс к мнимому твоему трупу.

— Но ты мне расскажешь о Бардио?

— Этой же ночью. Вот бумага и карандаш.

— Как она перепугается! — бормотал Гонасед, строча.— У нее нежное сердце.

Он написал: «Мария. Я покончил с собой. Гонасед. Улица Виктория, гостиница «Красный Глаз».

IV

Бевенер позвонил и отдал запечатанную записку слуге, сказав: «Доставьте скорей»,— а Гонасед, повеселев, улыбнулся.

— Она проклянет меня! — прошептал он.

— Она будет плакать от радости,— возразил Бевенер, бросая яд в стакан друга.— Выпьем за нашу дружбу! Да длится она!

— Но ты непременно расскажешь мне о подлеце Бардио? Бевенер, мой стакан пуст, а ты медлишь... От волнения кружится голова... да, мне, видишь, нехорошо... Ах!

Он судорожно рванул воротник рубашки, встал и повалился к ногам убийцы, скомкав ползающими руками ковер. Тело его дрожало, шея налилась кровью. Наконец он затих, и Бевенер встал.

— Это ты, рыжая Ласурс, убила его! — сказал он в исступлении чувств.— Моя любовь к тебе так же сильна, как и покойника. Ты не захотела меня. За это Гонасед умер. Однако я мастерски отклонил подозрение.

Он дал звонок и, прогнав испуганного лакея за доктором, стал репетировать сцену изумления и отчаяния, какую требовалось разыграть при докторе и пораженной Ласурс.

V

Правосудие в этом деле осталось при пиковом интересе. Подлинная записка Гонаседа к любовнице, гласящая, что певец покончил самоубийством, была неоспорима. Бевенер плакал: «Ах! — говорил он.— С тяжелым чувством шел я в эту гостиницу. Меня пригласил покойный, не объясняя зачем. Мы были так дружны... Стали пить; Гонасед был задумчив. Вдруг он попросил у меня бумагу и карандаш, написал что-то и распорядился послать записку Ласурс. Затем он сказал, что примет порошок от головной боли; высыпал в стакан, выпил и повалился замертво».

Самые проницательные люди разводили руками, не зная, чем объяснить самоубийство жизнерадостного, счастливого Гонаседа. Ласурс, поплакав, уехала в Австралию. Прошел год, и о печальной смерти забыли.

В январе Бевенер получил предложение от фабрики Лоудена напеть несколько граммофонных пластинок. Приняв предложение, Бевенер спел несколько арий за крупную сумму. Между прочим, он спел Мефистофеля: «На земле весь род людской» и, начав петь ее, вспомнил Гонаседа. Это была любимая ария умершего. Он ясно увидел покойного в гриме, потрясающего рукой, поющего — и странное волнение овладело им. Тело одолевала жуткая слабость, но голос не срывался, а креп и воодушевленно гремел. Кончив, Бевенер с жадностью выпил два стакана воды, торопливо попрощался и уехал.

VI

Месяц спустя в квартире Бевенера собрались гости. Артисты, артистки, музыкальные критики, художники и поэты чествовали десятилетие сценической деятельности Бевенера. Хозяин, как всегда, был нервно смешлив, проворен и оживлен. Среди цветов мелькали нежные лица дам. Сиял полный свет. Приближался конец ужина, когда в столовую вошел слуга, докладывая, что явились от Лоудена.

— Вот кстати,— сказал Бевенер, бросая салфетку и выходя из-за стола.— Привезли граммофонные пластинки, которые я напел Лоудену. Я прошу дорогих гостей послушать их и сказать, удачна ли передача голоса.

Кроме пластинок, Лоуден прислал прекрасный новый граммофон, подарок артисту, и письмо, в котором уведомлял, что по болезни не мог явиться на торжество. Слуга привел аппарат в порядок, вставил иглу, и Бевенер сам, порывшись в пластинках, остановился на арии Мефистофеля. Положив пластинку на граммофон, он опустил к краю ее мембрану и, обернувшись к гостям, сказал:

— Я не совсем уверен в этой пластинке, потому что несколько волновался, когда пел. Однако послушаем.

VII

Наступила тишина. Послышалось едва уловимое, мягкое шипение стали по каучуку, быстрые аккорды рояля... и стальной, гибкий баритон грянул знаменитую

арию. Но э т о не был голос Бевенера... Ясно, со всеми оттенками живого, столь знакомого всем присутствующим произношения, пел умерший Гонасед, и взоры всех изумленно обратились на юбиляра. Ужасная бледность покрыла его лицо. Он засмеялся, но смех был нестерпимо пронзителен и фальшив, и все содрогнулись, увидев глаза хозяина. Раздались восклицания:

— Это ошибка!

— Гонасед не пел для пластинок!

— Лоуден перепутал!

— Вы слышите?! — сказал Бевенер, теряя силы по мере того, как голос убитого мрачно гнул его пораженную волю.— Слышите?! Это поет он, тот, которого я убил! Мне нет спасения; он сам явился сюда... Остановите пластинку!

Суфлер Эрис, белый, как молоко, бросился к граммофону. Руки его дрожали; подняв мембрану, он снял пластинку, но в поспешности и страхе уронил ее на паркет. Раздался сухой треск, и черный кружок рассыпался на мелкие куски.

— Мы были свидетелями неслыханного! — сказал скрипач Индиган, подымая осколок и пряча его.— Но что бы это ни было — обман чувств или явление неоткрытого закона, я сохраню на память эту частицу; ее цвет всегда будет напоминать о цвете души нашего милого хозяина, которого теперь так заботливо уводит полиция!

СТО ВЕРСТ ПО РЕКЕ

I

Взрыв котла произошел ночью. Пароход немедленно повернул к берегу, где погрузился килем в песок, вдали от населенных мест. К счастью, человеческих жертв не было. Пассажиры, проволновавшиеся всю ночь и весь день в ожидании следующего парохода, который мог бы взять их и везти дальше, выходили из себя. Ни вверх, ни вниз по течению не показывалось никакого судна. По реке этой работало только одно пароходство и только четырьмя пароходами, отходившими каждый раз

по особому назначению, в зависимости от настроения хозяев и состояния воды: капризное песчаное русло, после продолжительного бездождия, часто загромождалось мелями.

По мере того как вечер спешил к реке, розовея от ходьбы, порывисто дыша туманными испарениями густых лесов и спокойной воды, Нок заметно приходил в нервное, тревожное настроение. Тем, кто с ним заговаривал, он не отвечал или бросал отрывисто «нет», «да», «не знаю». Он беспрерывно переходил с места на место, появляясь на корме, на носу, в буфете, на верхней палубе, или сходя на берег, где, сделав небольшую прогулку в пышном кустарнике, возвращался обратно, переполненный тяжелыми размышлениями. Раза три он спускался в свою каюту, где, подержав в руках собранный чемодан, бросал его на койку, пожимая плечами. В одно из этих посещений каюты он долго сидел на складном стуле, закрыв лицо руками, и, когда опустил их, взгляд его выражал крайнее угнетение.

В таком же, но, так сказать, более откровенном и разговорчивом состоянии была молодая девушка, лет двадцати — двадцати двух, ехавшая одна. Встревоженное, печальное ее лицо сотни раз обращалось к речным далям в поисках благодетельного пароходного дыма. Она была худощава, но стройного и здорового сложения, с тонкой талией, тяжелыми темными волосами бронзового оттенка, свежим цветом ясного, простодушного лица и непередаваемым выражением слабого знания жизни, которое восхитительно, когда человек не подозревает об этом, и весьма противно, когда, учитывая свою неопытность, придает ей вид жеманной наивности. Вглядевшись пристальнее в лицо девушки, в особенности в ее сосредоточенные, задумчивые глаза, наблюдатель заметил бы давно утраченную нами свежесть и остроту впечатлений, сдерживаемых воспитанием и перевариваемых в душе с доверчивым аппетитом ребенка, не разбирающегося в вишнях и волчьих ягодах. Серая шляпа с голубыми цветами, дорожное простое пальто, такое же, с глухим воротником платье и потертая сумочка, висевшая через плечо, придавали молодой особе оттенок деловитости, чего она, конечно, не замечала.

Занятая одной мыслью, одной целью — скорее попасть в город, молодая девушка, с свойственной ее

характеру деликатной настойчивостью, тотчас после аварии приняла все меры к выяснению положения. Она говорила с капитаном, его помощником и пароходными агентами; все они твердили одно: «Муху» не починить здесь; надо ждать следующего парохода, а когда он заблагорассудит явиться — сказать трудно, даже подумав.

Когда молодая девушка сошла на берег погулять в зелени и размыслить, что предпринять дальше, ее брови были огорченно сдвинуты, и она, не переставая внутренно кипеть, нервно потирала руки движениями умывающегося человека. Нок в это время сидел в каюте; перед ним на койке лежал раскрытый чемодан и револьвер. Раздраженное, потемневшее от волнения лицо пассажира показывало, что задержка в пути сильно ошеломила его. Он долго сидел, сгорбившись и посвистывая; наконец, не торопясь, встал, захлопнул чемодан и глубоко засунул его под койку, а револьвер опустил в карман брюк. Затем он прошел на берег, где, держась в стороне от групп расхаживающих по лесу пассажиров, направился глухой тропинкой вниз по течению.

Он шел бы так очень долго — день, два и три, если бы, удалившись от парохода шагов на двести, не увидел за песчаной косой лодку, почти приникшую к береговому обрыву. В лодке, гребя одним веслом, стоял человек почтенного возраста, подвыпивший, в вязаной куртке, драных штанах, босой и без шапки. У ног его лежала мокрая сеть, на носу лодки торчали удочки.

Нок остановился, подумав:

«Не надо ему говорить о пароходе и взрыве».

— Здравствуй, старикан! — сказал он.— Много ли рыбы поймал?

Старик поднял голову, ухватился за береговой куст и осмотрел Нока пронзительно-смекалистым взглядом.

— Это вы здесь откуда? — развязно спросил он.— Какое явление!

— Простая штука,— пояснил Нок.— Я с компанией приехал из Л. (он назвал город, лежащий далеко в сторону). Мы неделю охотились и теперь скоро вернемся.

Нок очень непринужденно сказал это; старик с минуту обдумывал слышанное.

— Мне какое дело,— заявил он, раскачивая ногами лодку.— Рыбы не купите ли?

— Рыбы... нет, не хочу.— Нок вдруг рассмеялся, как бы придумав забавную вещь.— Вот что, послушайка: продай лодку!

— Я их не сам делаю,— прищурившись, возразил старик.— Мне другую лодку взять негде... К чему же вам эта посудина?

— Так, нужно выкинуть одну штуку, очень веселую. Я хочу подшутить над приятелем; вот тут нам лодка и нужна. Я говорю серьезно, а за деньгами не постою.

Рыбак протрезвел. Он хмуро смотрел на приличный костюм Нока, думая — «и все вот так, сразу: никак не дадут подумать, обсудить, неторопливо, дельно»... Он не любил, если даже рыбу покупали с двух слов, без торга. Здесь отлетал дух его хозяйственной самостоятельности, так как не на что было возражать и не о чем кипятиться.

«А вот назначу столько, что заскрипишь,— думал старик.— Если богат, заплатит. Назад я, видимо, отправлюсь пешком, а о моей второй лодке, тебе, идиоту, знать нечего. Допустим! Деньги штука приятная».

— Пожалуй, лодку я вам за пятьдесят рублей отдам (она стоила вчетверо меньше), так уж и быть,— сказал рыболов.

— Хорошо, беру. Получай деньги.

«Я дурак,— подумал старик.— Собственно, что же это такое? Является какой-то неизвестный сумасшедший...» «Пятьдесят? — Пятьдесят!»...— он кивнул, а я вылезай из лодки, как из чужой, в ту же минуту. Нет, пятьдесят мало».

— Я, того, раздумал,— нахально сказал он.— Мне так невыгодно... Вот сто рублей — дело другого рода.

У Нока было всего 70—80 рублей.

— Мошенник! — сказал молодой человек.— Мне денег не жалко, противна только твоя жадность; бери семьдесят пять и вылазь.

— Ну, если вы еще с дерзостями,— никакой уступки, ни одной копейки, поняли? Я, милый мой, старше вас!

Гелли в эту минуту расхаживала по берегу и случайно проходила мимо кустов, где стоял Нок. Она слышала, что кто-то торгует лодку, и сообразила, в

чем дело. Особенность положения была такова, что покупать лодку имело смысл только для продолжения пути. У девушки появилась тоскливая надежда. Человек, взявший лодку, мог бы довезти и ее, Гелли.

Решившись, наконец, высказать свою просьбу, она направилась к воде в тот момент, когда торг, подогретый, с одной стороны, вином, с другой — раздражением, принял подобие взаимных наскоков. Нок, услышав легкие шаги сзади, мгновенно оборвал разговор: старик, увидев еще людей, мог задуматься вообще над будущим лодки, а человек, шедший к воде, одной случайной фразой мог выдать пьянице всю остроту положения множества пассажиров, среди которых старик нашел бы, разумеется, людей сговорчивых и богатых.

Нок сказал:

— Подожди-ка здесь, я скоро вернусь.

Он торопливо скрылся, желая перехватить идущего как можно далее от воды. При выходе из кустов Нок встретился с Гелли, застенчиво отводящей рукой влажные ветви.

«Да, женщина,— бросил он себе с горечью, но и с самодовольством опытного человека, глубоко изучившего жизнь.— Чему удивляться? Ведь это их миссия — становиться поперек дороги. Сейчас я ее сплавлю».

Гелли растерянно, с слабой улыбкой смотрела на его неприязненное сухое лицо.

— Очень прошу вас,— прошептал Нок с оттенком приказания,— не говорите громко, если у вас есть что-нибудь сказать мне. Я вынужден заявить это в силу моих причин, притом никто не обязан выказывать любопытства.

— Извините,— потерявшись, тихо заговорила Гелли.— Это вы говорили так громко о лодке? Я не знаю, с кем. Но я подумала, что могла бы заплатить недостающую сумму. Если бы вы купили сами, я все равно обратилась бы к вам с просьбой взять меня. Я очень тороплюсь в Зурбаган.

— Вы очень самонадеянны,— начал Нок; девушка мучительно покраснела, но по-прежнему смотрела прямо в глаза,— если вам кажется...

— Ни любопытство, ни грубость не обязательны,— глухо сказала Гелли, гордо удерживая слезы и поворачиваясь уйти.

Нок остыл.

— Простите, прошу вас,— шепнул он, соображая, что может лишиться лодки,— подождите, пожалуйста. Я сейчас, сию минуту скажу вам.

Гелли остановилась. Самолюбие ее сильно страдало, но слово «простите» по ее простодушному мнению все-таки обязывало выслушать виноватого. Может быть, он употребил не те выражения, потому что торопился уехать.

Нок стоял, опустив руки и глаза вниз, словно искал в траве потерянную монету. Он наскоро соображал положение. Присутствие Гелли толкнуло его к новым выводам и новой оценке случая, помимо доплаты денег за лодку.

— Хорошо,— сказал Нок.— Вы можете ехать со мной. В таком разе,— он слегка покраснел,— доплатите недостающие двадцать рублей. У меня не хватает. Но, предупреждаю вас, не взыщите, я человек мрачный и не кавалер. Со мной едва ли вам будет весело.

— Уверяю вас, я не думала об этом,— возразила девушка послушным, едва слышным шепотом,— вот деньги, а вещи...

— Не берите их.

— Как же быть с ними?

— Пошлите письмо в контору пароходства с описанием вещей и требуйте их наложенным платежом. Все будет цело.

— Но плед...

— Бегите же скорее за пледом, и никому ни слова,— слышите? — ни четверти слова о лодке. Так нужно. Если не согласны — прощайте!

— О нет, благодарю, благодарю вас... Я скоро!

Она скрылась, не чувствуя земли под ногами от радости. Конспиративную обстановку отъезда она объяснила нежеланием Нока перегружать лодку лишними пассажирами. Она знала также, что оставаться наедине с мужчиной, и еще при таких исключительных обстоятельствах, как пустыня и ночь, считается опасным в известном смысле, теоретически ей ясном, но в душе она глубоко не верила этому. Случаи подобного рода она считала возможными лишь где-то очень далеко, за невидимым ей кругом текущей жизни.

Рыбак, боясь, что сделка не состоится, крикнул:

— Эй, господин охотник! Я-то тут, а вы-то где?

— Тут же,— сказал Нок, выходя к лодке.— Полу-

чай денежки. Я ходил только к нашему становищу взять из пальто твою мзду.

Взяв деньги, старик пересчитал их, сунул за пазуху и умильно проговорил:

— Ну, и один же стаканчик водки бы старому папе Юсу!.. Вытряхнули старика из лодки, да еще с больными ногами, да еще...

Нок тотчас смекнул, как удалить рыбака, чтобы тот не заметил женщину.

— Хочешь, ступай по лужайке, что за кустами,— сказал он,— пересеки ее и подайся от берега прямо в лес, там скоро увидишь костер и наших. Скажи, что я велел дать тебе не один, а два и три стаканчика водки.

Действие этого небрежного предложения оказалось чудесным. Старик, помолодев вдвое, поспешно свернул сеть, взвалил ее с сумкой и удочками на плечо и бойко прыгнул в кусты.

— Так вот пряменько идти мне?

— Пряменько, очень пряменько. Водка хорошая, старая, холодная.

— А вы,— старик подмигнул,— шутки свои шутить приметесь?

— Да.

— И великолепно. А я вот чирикну водочки да и домой.

«Убирайся же»,— подумал Нок.

Рыбак, еще раз подмигнув, скрылся. Нок стал на том месте, где говорил с Гелли. Минуты через три, задыхаясь от поспешной ходьбы, она явилась; плечи и голову ее окутывал серый плед.

— Садитесь же, садитесь,— торопил Нок.— Вам руль, мне весла. Умеете?

— Да.

Они уселись.

«Романично! — съязвил про себя Нок, отталкивая веслом лодку.— Моему мертвому сердцу безопасны были бы даже полчища Клеопатры,— прибавил он,— и вообще о сердце следовало бы забыть всем».

Стемнело, когда эти двое молодых людей тронулись в путь. Только у далекого поворота еще блестела рассыпанным ожерельем стрежь, просвет неба над ней, уступая облачной тьме, медленно потухал, напоминая дремлющий глаз. Блеск стрежи скоро исчез. Крякнула

утка; тишину осенил быстрый свист крыльев; а затем ровный, значительный в темноте плеск весел стал единственным одиноким звуком речной ночи.

II

Нок несколько повеселел от того, что едет, удаляется от парохода и вероятной опасности. С присутствием женщины Нока примиряло его господствующее положение; пассажирка была в полной его власти, и хотя власть эту он и не помышлял употребить на что-нибудь скверное, все-таки видеть возможность единоличного распоряжения отношениями было приятно. Это слегка сглаживало обычную холодную враждебность Нока к прекрасному полу. У него совсем не было желания говорить с Гелли, однако, сознав, что надо же выяснить кое-что, неясное для обоих, Нок сказал:

— Как вас зовут?

— Гелли Сод.

— Допустим. Не надо так дергать рулем. Вы различаете берег?

— Очень хорошо.

— Держите, Гелли, все время саженях в двадцати от берега, параллельно его извивам. Если понадобится иначе, я скажу... Хех!

Он вскрикнул так, потому что зацепил веслом о подводный древесный лом. Но в резкости вскрика девушке почудилось вдруг нечто затаенное души незнакомца, что вырвалось невольно и, может быть, по отношению к ней. Она оробела, почти испугалась. Десятки страшных историй ожили в ее напряженном воображении. Кто этот молодой человек? Как могла она довериться ему, хотя бы ради отца? Она даже не знает его имени! Жуток был не столько момент испуга, сколько боязнь пугаться все время, быть тоскливо настороже. В это время Нок, выпустив весла, зажег спичку и засопел трубкой; в свете огня его лицо с опущенными на трубку глазами, жадно рассмотренное Гелли, показалось молодой девушке, к великому ее облегчению, совсем не страшным,— лицо как лицо. И даже красивое, простое лицо... Она тихонько вздохнула, почти успокоенная, тем более что Нок, закурив, сказал:

— Мое имя — Трумвик.— Имя это он сочинил те-

перь, и, боясь сам забыть его, повторил раза два: — Да, Трумвик, так меня зовут; Трумвик.

Про себя, вспомнив мнемонику, Нок добавил:

— Трубка, вика [1].

— Долго ли мы проедем? — спросила Гелли.— Меня заставляет торопиться болезнь отца...— Она смутилась, вспомнив, что Трумвик гребет и может принять это за понукание.— Я говорю вообще, приблизительно...

— Так как я тоже тороплюсь,— значительно сказал Нок,— то знайте, что в моих интересах увидеть Зурбаган не позднее, как послезавтра утром. Так и будет. Отсюда до города не больше ста верст.

— Благодарю вас,— она, боязливо рассмеявшись, сообщила: — У меня есть несколько бутербродов и немного сыру... так как достать негде, вы...

— Я тоже взял коробку сардин и кусок хлеба. С меня достаточно.

«Все они материалистки,— подумал Нок.— Разве я сейчас думал о бутербродах? Нет, я думал о вечности; река, ее течение — символ вечности... и — что еще?»

Но он забыл что, хотя настроение продолжало оставаться подавленно-повышенным, Нок принялся думать о своем диком, тяжелом прошлом: грязном романе, тюрьме, о решении упиваться гордым озлоблением против людей, покинуть их навсегда, если не телом, то душой; о любви только к мечте, верной и нежной спутнице исковерканных жизней. Волнение мысли передалось его мускулам, и он греб, как на гонках. Лодка, сильно опережая течение, шумно вспахивала темную воду.

Гелли благодаря странности положения испытывала подъем духа, возбуждение исполненного решения. Отец с интересом выслушает рассказ о ее похождениях. Ей представилось, что она не плывет, а читает о женщине со своим именем в некоей книге, где описываются леса, охоты, опасности. Вспомнив отца, Гелли приуныла. Вспомнив небрежного и глупого доктора, пользующего отца, она соображала, как заменит его другим, наведет порядки, осмотрит лекарства, постель — все. Ее деятельной душе требовалось хотя бы мысленно делать что-то. Стараясь избежать новых

---

[1] Вика — гороховое растение.

замечаний Нока, она до утомления добросовестно водила рулем, не выпуская глазами темный завал берега. Ей хотелось есть, но она стеснялась. Они плыли молча минут пятнадцать; затем Нок, тоже проголодавшись, угрюмо сказал:

— Закусим. Оставьте руль.— Он выпустил весла.— Мои сардинки еще не высохли... так что берите.

— Нет, благодарю, вы сами.

Девушка, кутаясь в плед, тихонько ела. Несмотря на темноту, ей казалось, что этот странный Трумвик насмешливо следит за ней, и бутерброды, хотя Гелли проголодалась, стали невкусными. Она поторопилась кончить есть. Нок продолжал еще мрачно ковырять в коробке складным ножом, и Гелли слышала, как скребет железо по жести. В их разъединенности, ночном молчании реки и этом полуголодном скрипе неуютно подкрепляющегося человека было что-то сиротское, и Гелли сделалось грустно.

— Ночь, кажется, не будет очень холодной,— сказала, слегка все же вздрагивая от свежести, девушка.

Она сказала первое, что пришло в голову, чтобы Нок не думал, что она думает: «Вот он ест».

— Пароход теперь остался отсюда далеко.

Нок что-то промычал, поперхнулся и бросил коробку в воду.

— Час ночи,— сказал он, подставив к спичке часы.— Вы, если хотите, спите.

— Но как же руль?

— Я умею управлять веслами,— настоятельно заговорил Нок,— а от вашего сонного правления рулем часа через два мы сядем на мель. Вообще я хотел бы,— с раздражением прибавил он,— чтобы вы меня слушались. Я гораздо старше и опытнее вас и знаю, что делать. Можете прикорнуть и спать.

— Вы... очень добры,— нерешительно ответила девушка, не зная, что это: раздражение или снисхождение.— Хорошо, я усну. Если нужно будет, пожалуйста, разбудите меня.

Нок, ничего не сказав, сплюнул.

«Неужели вы думаете, что не разбужу? Ясно, что разбужу. Здесь не гостиная, здесь... Как они умеют окутывать паутиной! «Вы очень добры»... «Благодарю вас», «Не находите ли вы»... Это все инстинкт пола,— решил Нок,— бессознательное к мужчине. Да».

Потом он стал соображать, ехать ли в Зурбаган на

лодке или высадиться верст за пять от города,— ради безопасности. Сведения о покупке лодки за бешеные деньги, об иллюзорной Юсовой водке и приметы Нока вполне могли за двое суток стать известны в окрестностях. Попутно он еще раз похвалил себя за то, что догадался взять Гелли, а не отказал ей. Путешествие благодаря этому принимало семейный характер, и кто подумал бы, видя Нока в обществе молодой девушки, что это недавний каторжник? Гелли невольно помогала ему. Он решил быть терпимым.

— Вы спите? — спросил Нок, вглядываясь в темный оплыв кормы.

Ответом ему было нечто среднее между вздохом и сонным шепотом. Корма на фоне менее темном, чем лодка, казалась пустой; Гелли, видимо, спала, и Нок, чтобы посмотреть, как она устроилась, зажег спичку. Девушка, завернувшись в плед, положила голову на руки, а руки на дек кормы; видны были только закрытый глаз, лоб и висок; все вместе представлялось пушистым комком.

— Ну и довольно о ней,— сказал Нок, бросая спичку.— Когда женщина спит, она не вредит.

Поддерживая нужное направление веслами, он, согласно величавой хмурости ночи, вновь задумался о печальном прошлом. Ему хотелось зажить, если он уцелеет, так, чтоб не было места самообманам, увлечениям и раскаяниям. Прежде всего нужно быть одиноким. Думая, что прекрасно изучил людей (а женщин в особенности), Нок, разгорячившись, решил, внешне оставаясь с людьми, внутренне не сливаться с ними, и так, приказав сердцу молчать всегда, встретить конец дней возвышенной грустью мудреца, знающего все земные тщеты.

Не так ли увенчанный славой и сединами доктор обходит палату безнадежно больных, сдержанно улыбаясь всем взирающим на него со страхом и ропотом?.. «Да, да,— говорит бодрый вид доктора,— конечно, вы находитесь здесь по недоразумению и все вообще обстоит прекрасно»... Однако доктор не дурак: он видит все язвы, все сокрушения, принесенные недугом, и мало думает о больных. Думать о приговоренных — так сказать — бесполезно. Они ему не компания.

Сравнение себя с доктором весьма понравилось Ноку. Он выпрямился, нахмурился и печально вздохнул. В таком настроении прошла ночь, и когда Нок стал

ясно различать фигуру все еще спящей Гелли,— до Зурбагана оставалось сорок с небольшим верст. Верхние листья береговых кустов затлелись тихими искрами, река яснела, влажный ветерок разливал запах травы, рыбы и мокрой земли. Нок посмотрел на одеревеневшие руки: пальцы распухли, а ладони, испещренные водяными мозолями, едко горели.

— Однако пора будить этого будуарного человека,— сказал Нок о Гелли.— Занялся день, и я не рискну ехать далее, пока не стемнеет.

Он направил лодку к песчаному заливчику; лодка, толкнувшись, остановилась, и девушка, нервно вскочив, растерянно осмотрелась еще слипающимися глазами.

III

— Это вы,— успокаиваясь, сказала она.— Всю ночь я спала. Я не сразу поняла, что мы едем.

Ее волосы растрепались, воротник блузы смялся, приняв взъерошенный вид. Плед спустился к ногам. Одна щека была румяной, другая бледной.

Нок сказал:

— Ну, нам, видите ли, осталось проехать не более того, что позади нас. Теперь мы остановились и не тронемся, пока не стемнеет. Надо же отдохнуть. Вылезайте, Гелли. Умывайтесь или причесывайтесь, как знаете, а мне позвольте булавку, если у вас есть. Я хочу поймать рыбу. В этой дикой реке рыбы достаточно.

Гелли погладила рукой грудь; булавка нашлась как раз на месте одной потерянной пуговицы. Она вынула булавку, и края кофточки слегка разошлись, приоткрыв край белой рубашки. Заметив это, Гелли смутилась — она вспомнила, что на нее, спящую, всю ночь смотрел мужчина, а так как спать одетой не приходилось ей никогда, то девушка бессознательно представила себя спавшей, как обычно, под одеялом. Просвет рубашки увеличил смущение. Все, что инстинктивно чувствовалось ей в положении мужчины и женщины, которых никто не видит, неудержимо перевело смущение в смятение; Гелли уронила булавку и, когда, отыскав ее, выпрямилась, лицо ее было совсем красным и жалким.

— Хорошо, что булавка железная,— сказал Нок.— Ее легко гнуть; стальная сломалась бы.

Простодушная близорукость этого замечания верну-

ла Гелли душевное равновесие. Она вышла из лодки, за ней Нок. Сказав, что пойдет вырезать удочку, он потерялся в кустах, и Гелли в продолжение нескольких минут оставалась одна. Плеснув из горсточки на лицо воды, девушка утерлась платком и, поправив прическу над речным вздрагивающим зеркалом, поднялась к вершине берегового холма. Здесь она решила «собраться с мыслями». Но мысли вдруг разбежались, потому что занялось и блеснуло перед ней такое жизнерадостное, великолепное утро, когда зелень кажется садом, а мы в нем детьми, прощенными за какую-то гадость. Солнечный шар плавился над синей рекой, играя с пространством легкими, дрожащими блестками, рассыпанными везде, куда направлялся взгляд. Крепкий густой запах зелени волновал сердце, прозрачность далей казалась широко раскинутыми, смеющимися объятиями; синие тени множили тонкость утренних красок, и кое-где в кудрявых ослепительных просветах блистала лучистая паутина.

Нок вышел из кустов с длинным прутом в руках. Гелли, переполненная восхищением, громко сказала:

— Какое дивное утро!

Нок опасливо посмотрел на нее. Она хотела быть, как всегда, сдержанной, но, против воли, сияла бессознательным оживлением.

«Ну, что же,— враждебно подумал он,— не воображаешь ли ты, что я попался на эту нехитрую удочку? Что я буду ахать и восхищаться? Что я раскисну под твоим взглядом? Девчонка, не мудри! Ничего не выйдет из этого».

— Извините,— холодно сказал он.— Ваши восторги мне скучноваты. И затем, пожалуйста, не кричите. Я хорошо слышу.

— Я не кричала,— ответила Гелли, сжавшись.

Незаслуженная, явная грубость Нока сразу расстроила и замутила ее. Желая пересилить обиду, она спустилась к воде, тихо напевая что-то, но опасаясь нового замечания, умолкла совсем.

«Он положительно меня ненавидит; должно быть, за то, что я напросилась ехать».

Эта мысль вызвала припадок виноватости, которую она постаралась, смотря на удившего с лодки Нока, рассеять сознанием необходимости ехать, что нашла нужным тотчас же сообщить Ноку.

— Вы напрасно сердитесь, Трумвик,— сказала

Гелли,— не будь отец болен, я не просила бы вас взять меня с собой. Поэтому представьте себя на моем месте и в моем положении... Я ухватилась за вас поневоле.

— Это о чем? — рассеянно спросил Нок, поглощенный движением лесы, скрученной из похищенных в бортах пиджака конских волос.— Отойдите, Гелли, ваша тень ложится на воду и пугает рыбу. Не я, впрочем, виноват, что ваш отец захворал... И вообще, моя манера обращения одинакова со всеми... Клюет!

Гелли, покорно отступив в глубину берега, видела, как серебряный блеск, вырвавшись из воды, запрыгал в воздухе и, закружившись вокруг Нока наподобие карусели, шлепнулся в воду.

— Рыба! Большая! — вскричала Гелли.

Нок, гордый удачей, ответил так же азартно, оглушая скачущую в руках рыбу концом удилища:

— Да, не маленькая. Фунта три. Рыба, знаете, толстая и тяжелая: мы ее зажарим сейчас.— Он подтолкнул лодку к берегу и бросил на песок рыбу; затем, осмотревшись, стал собирать валежник и обкладывать его кучей, но валежника набралось немного. Гелли, стесняясь стоять без дела, тоже отыскала две-три сухих ветки. Порывисто, с напряжением и усердием, стоящим тяжелой работы, совала она Ноку наломанные ее исколотыми руками крошечные прутики, величиной в спичку. Нок, выпотрошив рыбу, поджег хворост. Огонь разгорался неохотно; повалил густой дым. Став на колени, Нок раздувал хилый огонь, не жалея легких, и скоро, поблизости уха, услышал второе, очень старательное, прерывистое: — фу-у-у! фу-у-у! — Гелли, упираясь в землю кулачками с сжатыми в них щепочками, усердно вкладывала свою долю труда; дым ел глаза, но, храбро прослезившись, она не оставила своего занятия даже и тогда, когда огонь, окрепнув и заворчав, крепко схватил хворост.

— Ну, будет! — сказал Нок.— Принесите рыбу, вон она!

Гелли повиновалась.

Выждав, когда набралось побольше углей, Нок разгреб их на песке ровным слоем и аккуратно уложил рыбу. Жаркое зашипело. Скоро оно, сгоревшее с одной стороны, но доброкачественное с другой, было извлечено Ноком и перенесено на блюдо из листьев.

Разделив его прутиком, Нок сказал:

— Ешьте, Гелли, хотя оно и без соли. Голодными мы недалеко уедем.

— Я знаю это,— задумчиво произнесла девушка.

Съев кое-как свою порцию, она, став полусытой, затосковала по дому. Ослепительно, но дико и пустынно было вокруг; бесстрастная тишина берега, державшая ее в вынужденном обстоятельствами плену, начинала действовать угнетающе. Как сто, тысячу лет назад — такими же были река, песок, камни; утрачивалось представление о времени. Она молча смотрела, как Нок, спрятав лодку под свесившимися над водой кустами, набил и закурил трубку; как, мельком взглядывая на спутницу, хмуро и тягостно улыбался, и странное недоверие к реальности окружающего моментами просыпалось в ее возбужденном мозгу. Ей хотелось, чтобы Трумвик поскорее уснул; это казалось ей все-таки делом, приближающим час отплытия.

— Вы хотели заснуть,— сказала Гелли,— по-моему, вам это прямо необходимо.

— Я вам мешаю?

— В чем? — раздосадованная его постоянно придирчивым тоном, Гелли сердито пожала плечами.— Я, кажется, ничего не собираюсь делать, да и не могу, раз вы заявили, что поедете в сумерки.

— Я ведь не женщина,— торжественно заявил Нок,— меньше сна или больше — для меня безразлично. Если я вам мешаю...

— Я уже сказала, что нет! — вспыхнула, тяжело дыша от кроткого гнева, Гелли,— это я, должно быть,— позвольте вам сказать прямо,— мешаю вам в чем-то... Тогда не надо было ехать со мной. Потому что вы все нападаете на меня!

Ее глаза стали круглыми и блестящими, а детский рот обиженно вздрагивал. Нок изумленно вынул изо рта трубку и осмотрелся, как бы призывая свидетелями небо, реку и лес в том, что не ожидал такого отпора. Боясь, что Гелли расплачется, отняв у него тем самым — и безвозвратно — превосходную позицию сильного презрительного мужчины, Нок понял необходимость придать этому препирательству «серьезную и глубокую» подкладку — немедленно; к тому же он хотел наконец высказаться, как хочет этого большинство искренне, но недавно убежденных в чем-либо людей, ища слушателя, убежденного в противном; здесь дело обстояло проще: самый пол Гелли был отрицанием жи-

тейского мировоззрения Нока. Нок сначала нахмурился, как бы проявляя этим осуждение горячности спутницы, а затем придал лицу скорбное, горькое выражение.

— Может быть,— сказал он, веско посылая слова,— я вас и задел чем-нибудь, Гелли, даже наверное задел, допустим, но задевать вас, именно вас, я, поверьте, не собирался. Скажу откровенно, я отношусь к женщинам весьма отрицательно; вы — женщина; если невольно я перешел границы вежливости, то только поэтому. Личность, отдельное лицо, вы ли, другая ли кто — для меня все равно, в каждой из вас я вижу, не могу не видеть представительницу мирового зла. Да! Женщины — мировое зло!

— Женщины? — несколько оторопев, но успокаиваясь, спросила Гелли.— И вы думаете, что все женщины...

— Решительно все!

— А мужчины?

— Вот чисто женский вопрос! — Нок подложил табаку в трубку и покачал головой.— Что «а мужчины»?.. Мужчины, могу сказать без хвастовства,— начало творческое, положительное. Вы же начало разрушительное!

Разрушительное начало, взбудораженное до глубины сердца, с минуту изумленно, подняв тонкие брови, смотрело на Нока с упреком и вызовом.

— Но... Послушайте, Трумвик! — Нок заговорил языком людей ее круга, и она сама стала выражаться более легко и свободно, чем до этой минуты.— Послушайте, это дерзость, но — думаю, что вы говорите серьезно. Это обидно, но интересно. В чем же показали себя с такой черной стороны мы?

— Вы неорганизованная стихия, злое начало.

— Какая стихия?

— Хоть вы, по-видимому, еще девушка,— Гелли побагровела от волнения,— я могу вам сказать,— продолжал, помолчав, Нок,— что... значит... половая стихия. Физиологическое половое начало переполняет вас и увлекает нас в свою пропасть.

— Об этом я говорить не буду,— звонко сказала Гелли,— я не судья в этом.

— Почему?

— Глупо спрашивать.

— Вы отказываетесь продолжить этот разговор?

Она отвернулась, смотря в сторону, ища понятного

объяснения своему смущению, которое не могло, как она хорошо знала, вытекать ни из жеманности, ни из чопорности, потому просто, что эти черты отсутствовали в ее характере. Наконец потребность быть всегда искренней взяла верх; посмотрев прямо в глаза Ноку чистым и твердым взглядом, Гелли храбро сказала:

— Я сама еще не женщина; поэтому, наверное, было бы много фальши, если бы я пустилась рассуждать о... физической стороне. Говорите, я, может быть, пойму все-таки и скажу, согласна с вами или нет!

— Тогда знайте,— раздраженно заговорил Нок,— что так как все интересы женщины лежат в половой сфере, они уже по тому самому ограниченны. Женщины мелки, лживы, суетны, тщеславны, хищны, жестоки и жадны.

Он потревожил Гартмана, Шопенгауэра, Ницше и в продолжение получаса рисовал перед присмиревшей Гелли мрачность картины будущего человечества, если оно наконец не предаст проклятью любовь. Любовь, по его мнению,— вечный обман природы,— следовало бы давно сдать в архив, а романы сжечь на кострах.

— Вы, Гелли,— сказал он,— еще молоды, но когда в вас проснется женщина, она будет ничем не лучше остальных розовых хищников вашей породы, высасывающих мозг, кровь, сердце мужчины и часто доводящих его до преступления.

Гелли вздохнула. Если Нок прав хоть наполовину,— жизнь впереди ужасна. Она, Гелли, против воли сделается змеей, ехидной, носительницей мирового зла.

— У Шекспира есть, правда, леди Макбет,— возразила она,— но есть также Юлия и Офелия...

— Неврастенические самки,— коротко срезал Нок.

Гелли прикусила язык. Она чуть было не сказала: «Я познакомила бы вас с мамой, не умри она четыре года назад; и теперь благодарила судьбу, что злобный ярлык «самок» миновал дорогой образ. У нее пропала всякая охота разговаривать. Нок, не заметив хмурой натянутости в ее лице, сказал, разумея себя под переменою «я» на «он»:

— У меня был приятель. Он безумно полюбил одну женщину. Он верил в людей и женщин. Но эта пустая особа любила роскошь и мотовство. Она уговорила моего приятеля совершить кражу... этот молодой человек был так уверен, что его возлюбленная тоже сошла с ума от любви, что взломал кассу патрона и

деньги передал той,— дьяволу в человеческом образе. И она уехала от мужа одна, а я...

Вся кровь ударила ему в голову, когда, проговорившись в запальчивости так опрометчиво, он понял, что рассказ все-таки необходимо закончить, чтобы не вызвать еще большего подозрения. Но Гелли, казалось, не сообразила, в чем дело. Обычная слабая улыбка вежливого внимания освещала ее осунувшееся за ночь лицо.

— Что же,— вполголоса договорил Нок,— он попал на каторгу.

Наступило внимательное молчание.

— Он и теперь там? — принужденно спросила Гелли.

— Да.

— Вам его жалко, конечно... и мне жалко,— поспешно прибавила она,— но поверьте, Трумвик, человек этот не виноват!

— Кто же виноват?

Нок затаил дыхание.

— Конечно, она.

— А он?

— Он сильно любил, и я бы не осудила его.

Нок смотрел на нее так пристально, что она опустила глаза.

«Догадалась или не догадалась? Э, черт! — решил он,— мне, в сущности, все равно. Она, конечно, подозревает теперь, но не посмеет выспрашивать, а мне более ничего не нужно».

— Я засну.— Он встал, потягиваясь и зевая.

— Да, засните,— сказала Гелли,— солнце высоко.

Нок, не отвечая, улегся в тени явора, закрыв голову от комаров пиджаком, и скоро уснул. Во сне,— как ни странно, как это ни противно его мнениям, но как согласно с человеческой природой, он видел, что Гелли подходит к нему, сидящему, сзади, и нежно прижимает теплую ладонь к его глазам. Его чувства при этом были странной смесью горькой обиды и нежности. Сон, вероятно, принял бы еще более сложный характер, если бы Нок не проснулся от нерешительного мягкого расталкивания. Открыв глаза, он увидел будившую его Гелли, и последнее прикосновение ее руки слилось с наивностью сна. Стемнело. Красное веко солнца скрывалось за черным берегом; сырость, тяжесть в голове и грозное настоящее вернули Нока к его постоянному за последние дни состоянию угрюмой настороженности.

— Простите, я разбудила вас,— сказала Гелли,— нам пора ехать.

Они сели в лодку; снова зашумела вода; около часа они плыли не разговаривая; затем, слыша, как Нок часто и хрипло дышит (подул порывистый встречный ветер, и вода взволновалась), Гелли сказала:

— Передайте мне весла, Трумвик, вы отдохнете.

— Весла тяжелые.

— Ну, что за беда! — Она засмеялась.— Если окажусь неспособной, прошу прощения. Дайте весла.

— Как хотите,— ответил Нок.

«Пускай гребет, в самом деле,— подумал он,— голосок-то у нее стал потверже, это сбить надо».

Они пересели. Нок услышал медленные, неверные всплески, ставшие постепенно более правильными и частыми. Гелли еле удерживала весла, толстые концы которых ежеминутно грозили вырваться из ее рук. Откидываясь назад, она тянулась всем телом, и, что хуже всего, ее ногам не было точки опоры, они не доставали до вделанного в дно лодки специально для упора ногам деревянного возвышения. Ноги Гелли беспомощно скользили по дну, и, с каждым взмахом весел, тело почти съезжало с сиденья. Отгребаемая вода казалась тяжелой и неподвижной, как если бы весла погружались в зерно. Руки и плечи девушки заболели сразу, но ни это, ни болезненное сердцебиение, вызвавшее холодный пот, ни тяжесть и мучительность судорожного дыхания не принудили бы ее сознаться в невольной слабости. Она скорее умерла бы, чем оставила весла. Не менее получаса Гелли выносила эту острую пытку и, под конец, двигала веслами машинально, как бы не своими руками. Нок, мрачно думавший о жестоком прошлом, встрепенулся и прислушался: весла ударяли вразброд, слабыми, растерянными всплесками, почти не двигая лодку.

— Ага! Гелли! — сказал он.— Возвращайтесь на свое место, довольно!

Она не могла даже ответить. Нок, выпустив руль, подошел к ней. Слабые отсветы воды позволили ему, нагнувшись, рассмотреть бледное, с крепко зажмуренными глазами и болезненно раскрывшимся ртом лицо девушки. Он схватил весла, желая отнять их. Гелли не сразу выпустила их, но и выпуская все еще пыталась взмахнуть ими, как заведенная. Она открыла глаза и выпрямилась, полусознательно улыбаясь.

— Ну что? — с внезапной жалостью спросил Нок.

— Нет, ничего,— через силу ответила она, стараясь отдышаться сразу. Затем боязнь насмешки или укола заставила ее гордо выпалить довольно смелое заявление: — Я могла бы долго грести, так как весла не очень тяжелы... Только ручки у них толстые,— наивно прибавила она.

Они пересели снова, и Нок задумался. Он был несколько сконфужен и тронут. Но он постарался придать иное направление мыслям, готовым пристально остановиться на этом гордом и добром существе. Однако у него осталось такое впечатление, как будто он шел и вот зачем-то остановился.

Тучи сгустились, ветер стал ударять сильными густыми рывками. На руку Нока упала капля дождя, и в отдаленном углу земной тьмы блеснул короткий голубой свет. Лодку покачивало, вода зловеще всплескивала. Нок посмотрел вверх, затем, перестав грести, сказал:

— Гелли, надо пристать к берегу. Будет гроза. Переждать ее на воде немыслимо; лодку затопит ливнем или опрокинет ветром. Держите руль к берегу.

IV

Место, куда пристали они, было рядом невысоких песчаных бугров. Путешественники сошли на берег. Нок, опасаясь, что вода от ливня сильно поднимется, с большими усилиями втянул лодку меж буграми в естественное песчаное углубление. По берегу тянулся редкий, высокий лес, являющийся плохой защитой от грозовой бури, и Нок нашел нужным предупредить девушку об этом.

— Мы вымокнем,— сказал он,— с чем примиритесь заранее — некуда скрыться. Вы боитесь?

— Нет, но неприятно останавливаться.

— Ужасно неприятно.

Они встали под деревом, с тоской прислушиваясь к шуму его листвы, по которой защелкал дождь. Ветер, затихая на мгновение, ударял снова, как бы набравшись сил, еще резче и неистовее. Тучи, спустившиеся над лесом с решительной мрачностью нападения, задавили наконец единственный густо-синий просвет неба, и тьма стала полной. Было сиротливо и холодно; птицы, вспархивая без крика, летели низом, вихляющим трусливым

полетом. Свет молнии, вспыхивавший пока редко, без грома, показал Ноку за обрывом лису, нюхавшую воздух, острая ее морда и поджатая передняя лапа исчезли мгновенно, как появились.

Междуцарствие тишины и грозы кончилось весьма решительным шквалом, сразу взявшим быстроту курьерского поезда; в его стремительном напряжении деревья склонились под углом тридцати градусов, а мелкая поросль затрепетала как в лихорадке. Листья, сучья, разный древесный сор понесся меж стволов, ударяя в лицо. Наконец скакнула жутким синим огнем гигантская молния, по земле яростно хлестнуло дождем, и взрывы неистового грома огласили пустыню.

Мокрые, как губки в воде, Гелли и Нок стояли в ошеломлении, прижавшись спинами и затылками к стволу. Они задыхались. Ветер душил их; ему помогал ливень такой чудовищной щедрости, что лес быстро наполнился шумом ручьев, рожденных грозой. Гром и молния чередовались в диком соперничестве, заливающем землю приступами небесного грохота и непрерывным, режущим глаз, холодным, как дождь, светом, в дрожи которого деревья, казалось, шатаются и подскакивают.

— Гелли! — закричал Нок.— Мы все равно больше не смокнем. Выйдем на открытое место! Опасно стоять под деревом. Дайте руку, чтобы не потеряться; видите, что творится кругом.

Держа девушку за руку, ежеминутно расползаясь ногами в скользкой грязи и высматривая, пользуясь молнией, свободное от деревьев место, Нок одолел некоторое расстояние, но, убедившись, что далее лес становится гуще, остановился. Вдруг он заметил огненную неподвижную точку. Обойдя куст, мешавший внимательно рассмотреть это явление, Нок различил огромный переплет, находившийся так близко от него, что виден был огарок свечи, воткнутый в бутылку, поставленную на стол.

— Гелли! — сказал Нок.— Окно, жилье, люди! Вот-вот, смотрите!

Ее рука крепче оперлась о его руку, девушка радостно повторила:

— Окно, люди! Да, я вижу теперь. О Трумвик, бежим скорей под крышу! Ну!

Нок приуныл, охваченный сомнением. Именно жилья и людей следовало ему избегать в своем положе-

нии. Наконец, сам измученный и озябший, рассчитывая, что в подобной глуши мало шансов знать кому-либо его приметы и бегство, а в крайнем случае положившись на судьбу и револьвер, Нок сказал:

— Мы пойдем, только, ради бога, слушайтесь меня, Гелли: не объясняйте сами ничего, если вас спросят, как мы очутились здесь. Неизвестно, кто живет здесь; неизвестно также, поверят ли нам, если мы скажем правду, и не будет ли от этого неприятностей. Если это понадобится, я расскажу выдумку, более правдоподобную, чем истина; согласитесь, что истина нашего положения все-таки исключительная.

Гелли плохо понимала его; вода под платьем струилась по ее телу, поддерживая одно желание — скорее попасть в сухое, крытое место.

— Да, да,— поспешно сказала девушка,— но, пожалуйста, Трумвик, идем!..

Через минуту они стояли у низкой двери бревенчатой, без изгороди и двора, хижины.

Нок потряс дверь.

— Кто стучит? — воскликнул голос за дверью.

— Застигнутые грозой,— сказал Нок,— они просят временно укрыть их.

— Что за дьявол! — с выражением изумления, даже пораженности откликнулся голос.— Медор, иди-ка сюда, эй, ты, лохматый лентяй!

Послышался хриплый глухой лай.

Неизвестный, все еще не открывая дверей, спросил:

— Сколько вас?

— Двое.

— Кто же вы, наконец?

— Мужчина и женщина.

— Откуда здесь женщина, любезнейший?

— Скучно объясняться через дверь,— заявил Нок,— пустите, мы устали и смокли.

Наступила короткая тишина; затем обитатель хижины, внушительно стуча чем-то об пол, крикнул:

— Я вас пущу, но помните, что Медор без намордника, а в руках я держу двухствольный штуцер. Входите по одному; первой пусть войдет женщина.

Встревоженная Гелли еще раз за время этого разговора почувствовала силу обстоятельств, бросивших ее в необычайные, никогда не испытанные условия. Впрочем, она уже несколько притерпелась. Звякнул отодвигаемый засов, и в низком, грязном, но светлом помеще-

нии появилась совсем мокрая, тяжело дышащая, бледная, слегка оробевшая девушка в шляпе, изуродованной и сбитой набок дождем. Гелли стояла в луже, мгновенно образовавшейся на полу от липнущей к ногам юбки. Затем появился Нок, в не менее жалком виде. Оба одновременно сказали «уф» и стали осматриваться.

V

Хозяин хижины, оттянув собаку за ошейник от ног посетителей, на которых она обратила чрезмерное внимание и продолжала взволнованно ворчать, загнал ее двумя пинками в угол, где, покружившись и зевнув, волкодав лег, устремив беспокойные глаза на Гелли и Нока. Хозяин был в цветной шерстяной рубахе с засученными рукавами, плисовых штанах и войлочных туфлях. Длинные, жидкие волосы, веером спускаясь к плечам, придавали неизвестному вид бабий и неопрятный. Костлявый, невысокого роста, лет сорока — сорока пяти, человек этот с румяным, неприятно открытым лицом, с маленькими ясными глазами, окруженными сеткой морщин и вздернутой верхней губой, открывавшей крепкие желтоватые зубы, производил смутное и мутное впечатление. В очаге, сложенном из дикого камня, горели дрова, над огнем кипел черный котелок, а над ним, шипя и лопаясь, пеклось что-то из теста. У засаленного бурого стола, кроме скамьи, торчали два табурета. Жалкое ложе в углу, отдаленно напоминающее постель, и осколок зеркала на гвозде доканчивали скудную меблировку. Под полками с небольшим количеством необходимой посуды висели ружья, капканы, лыжи, сетки и штук пятнадцать клеток с певчими птицами, возбужденно голосившими свои нехитрые партии. На полу стоял граммофон в куче сваленных старых пластинок. Все это было достаточно густо испещрено птичьим пометом.

— Так вот, дорогие гости,— сказал несколько нараспев и в нос неизвестный,— садитесь, садитесь. Вас, вижу я, хорошо выстирало. Садитесь, грейтесь.

Гелли села к огню, выжимая рукава и подол юбки. Нок ограничился тем, что, сняв мокрый пиджак, сильно закрутил его над железным ведром и снова надел. Стекла окна, озаряемые молнией, звенели от грома.

— Давайте знакомиться,— добродушно продолжал

хозяин, отставляя ружье в угол.— Ах, бедная барышня! Я предложу вам, господа, кофею. Вот вскипел котелок — а, барышня?

Гелли поблагодарила очень сдержанно, но так тихо и ровно, что трудно было усомниться в ее желании съесть и выпить чего-нибудь. Злосчастная рыба давно потеряла свое подкрепляющее действие. Нок тоже был голоден.

Он сказал:

— Я заплачу. Есть и пить, правда, необходимо. Дайте нам то, что есть.

— Разве берут деньги в таком положении? — обиженно возразил охотник.— Чего там! Ешьте, пейте, отдыхайте — я всегда рад услужить, чем могу.

Все это произносил он раздельно, открыто, радушно, как заученное. На столе появились хлеб, холодное мясо, горячая, с огня, масляная лепешка и котелок, полный густым кофе. Собирая все это, охотник тотчас же заговорил о себе. Больше всего он зарабатывает продажей птиц, обученных граммофоном всевозможным мелодиям. Он даже предложил показать, как птицы подражают музыке, и бросился было к граммофону, но удержался, покачав головой.

— Ах я, дурак,— сказал он,— молодые люди проголодались, а я вздумал забавлять их!

— Кстати,— он повернулся к Ноку и посмотрел на него в упор,— вверху тоже дожди?

— Мы едем снизу,— сказал Нок,— в Зурбагане отличная погода... Как вас зовут?

— Гутан.

— Милая,— нежно обратился Нок к девушке,— что если Трумвик и Гелли попросят этого доброго человека указать где-нибудь поблизости сговорчивого священника? Как ты думаешь?

Гутан поставил кружку так осторожно, словно малейший стук мог заглушить ответ Гелли. Она сидела против Нока, рядом с охотником.

Девушка опустила глаза. Резкая бледность мгновенно изменила ее лицо. Ее руки дрожали, а голос был не совсем бодр, когда она, отбросив наконец опасное колебание, тихо сказала:

— Делай как знаешь.

Гроза стихала.

Гутан опустил глаза, затем отечески покачал головой.

— Конечно, я на вашей стороне,— сочувственно сказал он,— семейный деспотизм штука ужасная. Только, как мне ни жаль вас, господа, а должен я сказать, что вы проехали. Деревня лежит ниже, верст десять назад. Там есть отличный священник, в полчаса он соединит вас и возьмет, честное слово, сущие пустяки...

— Что же, беда не велика,— спокойно сказал Нок,— все, видите ли, вышло очень поспешно, толком расспросить было некого, и мы, купив лодку, отправились из Зурбагана, рассчитывая, что встретим же какое-нибудь селение. Виноваты, конечно, сумерки, а нам с Гелли много было о чем поговорить. Вот заговорились — и просмотрели деревню.

— Поедем,— сказала Гелли, вставая.— Дождя нет.

Нок пристально посмотрел в ее блестящие, замкнутые глаза.

— Ты волнуешься и торопишься,— медленно произнес он,— не беспокойся; все устроится. Садись.

Истинный смысл этой фразы казался непонятным Гутану и был очень недоверчиво встречен девушкой, однако ей не оставалось ничего другого, как сесть. Она постаралась улыбнуться.

Охотник подошел к очагу. Неторопливо поправив дрова, он, стоя спиной к Ноку, сказал:

— Смешные вы, господа, люди. Молодость, впрочем, имеет свои права. Скажу я вам вот что: опасайтесь подозрительных встреч. Два каторжника бежали на прошлой неделе из тюрьмы; одного поймали вблизи Варда, а другой...

Он повернулся как на пружинах, с приятной улыбкой на разгоревшемся румяном лице, и быстро, но непринужденно уселся за стол. Его прямой, неподвижный взгляд, обращенный прямо в лицо Нока, был бы оглушителен для слабой души, но молодой человек, захлебнувшись кофеем, разразился таким кашлем, что побагровел и согнулся.

— ...другой,— продолжал охотник, терпеливо выждав конца припадка,— бродит в окрестностях, как я полагаю. О бегстве мошенников было, видите ли, напечатано в газете, и приметы их там указаны.

— Да? — весело сказала Гелли.— Но нас, знаете, грабить не стоит, мы почти без денег... Как называется эта желтая птичка?

— Это певчий дрозд, барышня. Премилое создание.

Нок рассмеялся.

— Гелли трудно напугать, милый Гутан! — вскричал он.— Что касается меня, я совершенный фаталист во всем.

— Вы, может быть, правы,— согласился охотник.— Советую вам посмотреть лодку,— вода прибыла, лодку может умчать разливом.

— Да, правильно.— Нок встал.— Гелли,— громко и нежно сказал он,— я скоро вернусь. Ты же посмотри птичек, развлекись разговором. Вероятно, тебя угостят и граммофоном. Не беспокойся, я помню, где лодка, и не заплутаюсь.

Он вышел. Гелли знала, что этот человек ее не оставит. Острота положения пробудила в ней всю силу и мужественность ее сердца, способного замереть в испуге от словесной обиды, но твердого и бесстрашного в опасности. Она жалела и уважала своего спутника, потому что он на ее глазах боролся, не отступая до конца, как мог, с опасной судьбой.

Гутан подошел к двери, плотно прикрыл ее, говоря:

— Эти певчие дрозды, барышня, чудаки, страшные обжоры, во-первых, и...

Но эта бесцельная болтовня, видимо, стесняла его. Подойдя к Гелли вплотную, он, перестав улыбаться, быстро и резко сказал:

— Будем вести дело начистоту, барышня. Клянусь, я вам желаю добра. Знаете ли вы, кто этот господин, с которым вам так хочется обвенчаться?

Даже чрезвычайное возбуждение с трудом удержало Гелли от улыбки,— так ясно было, что охотник поддался заблуждению. Впрочем, присутствие Гелли трудно было истолковать в ином смысле — ее наружность отвечала самому требовательному представлению о девушке хорошего круга.

— Мне, кажется, да, знаю,— холодно ответила Гелли, вставая и выпрямляясь.— Объясните ваш странный вопрос.

Гутан взял с полки газету, протянул Гелли истрепанный номер.

— Читайте здесь, барышня. Я знаю, что говорю.

Пропустив официальный заголовок объявления, а также то, что относилось к второму каторжнику, Гелли прочла:

«...и Нок, двадцати пяти лет, среднего роста, правильного и крепкого сложения, волосы вьющиеся, рыжеватые, глаза карие; лицо смуглое, под левым ухом

большое родимое пятно, величиной с боб; маленькие руки и ноги; брови короткие; других примет не имеет. Каждый обнаруживший местонахождение указанных лиц или одного из них, обязан принять все меры к их задержанию или же, в случае невозможности этого, поставить местную власть в известность относительно поименованных преступников, за что будет выдана установленная законом награда».

Гелли машинально провела рукой по глазам. Прочитанное не было для нее новостью, но отнимало — и окончательно — самые смелые надежды на то, что она могла крупно, фантастически ошибиться.

Вздохнув, она возобновила игру.

— Боже мой! Какой ужас!

— Да,— с грубой торопливостью подхватил Гутан, не замечая, что отчаянное восклицание слишком подозрительно скоро прозвучало из уст любящей женщины.— Не мое дело допытываться, как он, и так скоро, обошел вас. Но вот с кем вы хотели связать судьбу.

— Я очень обязана вам,— сказала Гелли с чувством глубокого отвращения к этому человеку. Она, естественно, тяжело дышала; не зная, чем кончится мрачная история вечера, Гелли допускала всякие ужасы.— Как видите, я потрясена, растерялась. Что делать?

— Помогите задержать его,— сказал Гутан,— и клянусь вам, я не только доставлю вас обратно в город, но и уделю еще четвертую часть награды. Молодые барышни любят принарядиться...— Он пренебрежительно окинул взглядом жалкий костюм Гелли.— Жизнь дорожает, а я хозяин своему слову.

Рука Гелли невольно качнулась по направлению к пышущей здоровьем щеке охотника, но девушка перемогла оскорбление, не изменившись в лице.

— Хорошо, согласна! — твердо произнесла она.— Я не умею прощать. Он скоро придет. Вы не боитесь, что отпустили его?

— Нет. Он ушел спокойно. Даже если и догадывается, что маска сорвана,— одного меня он, конечно, не побоится. У него — револьвер. Оттянутый карман в мокром пиджаке заметно выдает форму предмета. Я должен его связать, схватить его сзади. Вы подведите его к клетке и займите какой-нибудь птицей. В это время возьмите у него из кармана револьвер. Иначе,— Гутан угрожающе понизил голос,— я осрамлю вас на весь город.

— Хорошо,— едва слышно сказала Гелли. Она говорила и двигалась, как бы в ярком сне, где все решения мгновенны, полны кошмарной тоски и тайны.— Да, вы сообразили хорошо. Я так и сделаю.

— Улыбайтесь же! Улыбайтесь! — вдруг крикнул Гутан.— Вы побелели! Он идет, слышите?!

Звук медленных, за дверью, шагов, приближающихся как бы в раздумье был слышен и Гелли. Она придвинулась к двери. Нок, широко распахнув дверь, прежде всего посмотрел на девушку.

— Нок,— громко сказала она; охотник не догадался сразу, что внезапная перемена имени выдает положение, но беглец понял. Револьвер был уже в его руке. Это произошло так быстро, что, поспешно переступая порог, чтобы не видеть свалки, Гелли успела только проговорить: — Защищайтесь,— это я хотела сказать.

Последним воспоминанием ее были два мгновенно преображенных мужских лица.

Она отбежала шагов десять в мокрую тьму кустов и остановилась, слушая всем своим существом. Неистовый лай; выстрел, второй, третий; два крика; сердце Гелли стучало, как швейная машина в полном ходу; в полуоткрытую дверь выбрасывались тени, быстро меняющие место и очертания; спустя несколько секунд звонко вылетело наружу оконное стекло и наступила несомненная, но удивительная в такой момент тишина. Наконец, кто-то, черный от падающего сзади света, вышел из хижины.

— Гелли! — тихо позвал Нок.

— Я здесь.

— Пойдемте.— Он хрипло дышал, зажимая ладонью нижнюю, разбитую губу.

— Вы... убили?

— Собаку.

— А тот?

— Я связал его. Он сильнее меня, но мне посчастливилось запутать его в скамейках и клетках. Там все опрокинуто. Я также заткнул ему рот, пригрозив пулей, если он не согласится на это... Самому разжимать рот...

— О, бросьте это! — брезгливо сказала Гелли.

Так тяжело, как теперь, ей не было еще никогда. На долгие часы померкла вся казовая сторона жизни. Лесная тьма, борьба, кровь, предательство, жестокость, трусость и грубость подарили новую тень молодой

душе Гелли. Уму было все ясно и непреложно, а сердцу — противно.

Нок, приподняв лодку, освободил ее этим от дождевой воды и столкнул на воду. Они двигались в полной тьме. Вода сильно поднялась, более внятный шум ускоренного течения звучал тревожно и властно.

Несколькими ударами весел Нок вывел лодку на середину реки и приналег в гребле. Тогда, почувствовав, что связанный и застреленная собака отрезаны наконец от нее расстоянием и водой, Гелли заплакала. Иного выхода не было ее потрясенным нервам; она не могла ни гневаться, ни быть безучастной к только что происшедшему,— особенно теперь, когда от нее не требовалось более того крайнего самообладания, какое пришлось выказать у Гутана.

— Ради бога, не плачьте, Гелли! — сказал, сильно страдая, Нок.— Я виноват, я один.

Гелли, чувствуя, что голос сорвется, молчала. Слезы утихли. Она ответила:

— Мне можно было сказать все, все сразу. Мне можно довериться,— или вы не понимаете этого? Вероятно, я не пустила бы вас в эту проклятую хижину.

— Да, но я теперь только узнал вас,— с грустной прямолинейностью сообщил Нок.— Моя сказка о священнике и браке не помогла: он знал, кто я. А помогла бы... Как и что сказал вам Гутан, Гелли?

Гелли коротко передала главное, умолчав о четверти награды за поимку.

«Нет, ты не стоишь этого, и я тебе не скажу,— подумала она, но тут же отечески пожалела уныло молчавшего Нока.— Вот и присмирел».

И Гелли рассмеялась сквозь необсохшие слезы.

— Что вы? — испуганно спросил Нок.

— Ничего; это — нервное.

— Завтра утром вы будете дома, Гелли. Течение хорошо мчит нас.— Помолчав, он решительно спросил: — Так вы догадались?

— Мужчине вы не рискнули бы рассказать историю с вашим приятелем! Пока вы спали, у меня вначале было смутное подозрение. Голое почти. Затем я долго бродила по берегу; купалась, чтобы стряхнуть усталость. Я вернулась; вы спали, и здесь почему-то, снова увидев, как вы спите, так странно и как бы привычно закрыв пиджаком голову, я сразу сказала себе: «его приятель — он сам»; плохим другом были вы себе, Нок!

И, право, за эти две ночи я постарела не на один год.

— Вы поддержали меня,— сказал Нок,— хорошо, по-человечески поддержали. Такой поддержки я не встречал.

— А другие?

— Другие? Вот...

Он начал рассказ о жизни. Возбуждение чувств помогло памяти. Не желая трогать всего, он остановился на детстве, работе, мрачном своем романе и каторге. Его мать умерла скоро после его рождения, отец бил и тридцать раз выгонял его из дому, но, напиваясь, прощал. Неоконченный университет, работа в транспортной конторе и встреча, в парке, при подкупающих звуках оркестра, с прекрасной молодой женщиной были переданы Ноком весьма сжато; он хотел рассказать главное — историю отношений с Темезой. Насколько поняла Гелли,— крайняя идеализация Ноком Темезы и была причиной несчастья. Он слепо воображал, что она совершенна, как произведение гения,— так сильно и пылко хотелось ему сразу обрести все, чем безыскусственные, но ненасытные души наделяют образ любимой.

Но он-то был для своей избранницы всего пятой, по счету, прихотью. Благоговейная любовь Нока сначала приподняла ее — немного, затем надоела. Когда понадобилось бежать от терпеливого, но раздраженного в конце концов мужа с новым любовником, Темеза — отчасти искренне, отчасти из подражания героиням уголовных романов — стала в позу обольстительной, но преступной натуры. К тому же весьма крупная сумма, добытая Ноком ценой преступления, стоила в ее глазах безвыездного житья за границей.

Нок был так подавлен и ошеломлен вероломством скрывшейся от него — к новой любви — Темезы, что остался глубоко равнодушным к аресту и суду. Лишь впоследствии, два года спустя, в удушливом каторжном застенке он понял, к чему пришел.

— Что вы намерены делать? — спросила Гелли.— Вам хочется разыскать ее?

— Зачем?

Она молчала.

Нок сказал:

— Никакая любовь не выдержит такого огня. Теперь, если удастся, я переплыву океан. Усните.

— Какой сон!

«Однако я ведь ничего не могу для него сделать,—

огорченно думала Гелли.— Может быть, в городе... но что? Прятать? Ему нужно покинуть Зурбаган как можно скорее. В таком случае я выпрошу у отца денег».

Она успокоилась.

— Нок,— равнодушно сказала девушка,— вы зайдете со мной к нам?

— Нет,— твердо сказал он,— и даже больше. Я высажу вас у станции, а сам проеду немного дальше.

Но — мысленно — он зашел к ней. Это взволновало и рассердило его. Нок смолк, умолкла и девушка. Оба, подавленные пережитым и высказанным, находились в том состоянии свободного, невынужденного молчания, когда родственность настроений заменяет слова.

Когда в бледном рассвете, насквозь продрогшая, с синевой вокруг глаз, пошатывающаяся от слабости, Гелли услышала отрывистый свисток паровоза,— звук этот показался ей замечательным по силе и красоте. Она ободрилась, порозовела. Низкий слева берег был ровным лугом; невдалеке от реки виднелись черепичные станционные крыши.

Нок высадил Гелли.

— Ну вот,— угрюмо сказал он,— вы через час дома... Все.

Вдруг он вспомнил свой сон под явором, но не это предстояло ему.

— Так мы расстаемся, Нок? — сердечно спросила Гелли.— Слушайте,— она, достав карандаш и покоробленную дождем записную книжку, поспешно исписала листок и протянула его Ноку.— Это мой адрес. В крайнем случае — запомните это. Поверьте этому — я помогу вам.

Она подала руку.

— Прощайте, Гелли! — сказал Нок.— И... простите меня.

Она улыбнулась, примиренно кивнула головой и отошла. Но часть ее осталась в неуклюжей рыбачьей лодке, и эта-то часть заставила Гелли обернуться через немного шагов. Не зная, какой более крепкий привет оставить покинутому, она подняла обе руки, быстро вытянув их, ладонями вперед, к Ноку. Затем, полная противоречивых, смутных мыслей, девушка быстро направилась к станции, и скоро легкая женская фигура скрылась в зеленых волнах луга.

Нок прочитал адрес: «Трамвайная ул., 14-16».

— Так,— сказал он, разрывая бумажку,— ты не

подумала даже, как предосудительно оставлять в моих руках адреса. Но теперь никто не прочитает его. И я к тебе не приду, потому что... о, господи!.. люблю!..

VI

Нок рассчитывал миновать станцию, но когда стемнело и он направился в Зурбаган, предварительно утопив лодку, голодное изнурение двух суток настолько помрачило инстинкт самосохранения, что он, соблазненный полосой света станционного фонаря, тупо и вместе с тем радостно повернул к нему. Рассудок не колебался, он строго кричал об опасности, но воспоминание о Гелли, безотносительно к ее приглашению, почему-то явилось ободряющим, как будто лишь знать ее было, само по себе, защитой и утешением — не против внешнего, но того внутреннего — самого оскорбительного, что неизменно ранит даже самые крепкие души в столкновении их с насилием.

Косой отсвет фонаря напоминал о жилом месте и, главное, об еде. От крайнего угла здания отделяли кусты пространством сорока — пятидесяти шагов. На смутно различаемом перроне двигались тени. Нок не хотел идти в здание станции; на такое бузумство — еще в нормальном сравнительно состоянии — он не был способен, но стремился, побродив меж запасных путей, найти будку или сторожку, с человеком, настолько заработавшимся и прозаическим, который, по недалекости и добродушию, приняв беглеца за обыкновенного городского бродягу, даст за деньги перекусить.

Нок пересек главную линию холодно блестящих рельс саженях в десяти от перрона и, нырнув под запасный поезд, очутился в тесной улице товарных вагонов. Они тянулись вправо и влево; нельзя было угадать в темноте, где концы этих нагромождений. В любом направлении — окажись здесь десятки вагонов — Нока могла ждать неприятная или роковая встреча. Он пролез еще под одним составом и снова, выпрямившись, увидел неподвижный глухой поезд. По-видимому, тут, на запасных путях, стояло их множество. Отдохнув, Нок пополз дальше. Почти не разгибаясь даже там, где по пути оказывались тормозные площадки,— так болела спина, он выбрался в конце кон-

цов на пустое, в широком расхождении рельс, место; здесь, близко перед собой, увидел он маленькую, без дверей будку, внутри ее горел свечной огарок; сторожа не было; над грубой койкой на полке лежал завернутый в тряпку хлеб, рядом с бутылкой молока и жестянкой с маслом. Нок осмотрелся.

Действительно, кругом никого не было; ни звука, ни вздоха не слышалось в этом уединенном месте, но неотразимое ощущение опасности повисло над душой беглеца, когда, решившись взять хлеб, он протянул наконец осторожную руку. Ему казалось, что первый же его шаг прочь от будки обнаружит притаившихся наблюдателей. Однако тряпка из-под хлеба упала на пол без сотрясения окружающего, и Нок уходил спокойно, с пустой, легкой, шумной от напряжения головой, едва удерживаясь, чтобы тотчас же не набить рот влажным мякишем. Он шел по направлению к Зурбагану, удаляясь от станции. Справа тянулся ряд угрюмых вагонов, слева — песчаная дорожка и за ней выступы палисадов; верхи деревьев уныло чернели в полутьме неба.

Внезапно, как во сне, из-за вагона упал на песок, быстро побежав к Ноку, огонь ручного фонаря; некто, остановившись, хмуро спросил:

— Зачем вы ходите здесь?

Нок отшатнулся.

— Я...— сказал он и, вдруг потеряв самообладание, зная, что растерялся, вскочил на первую попавшуюся подножку. Нога Нока, крепко и молча схваченная снизу сильной рукой, выдернулась быстрее щелчка.

— Стой, стой! — оглушительно крикнул человек с фонарем.

Нок спрыгнул между вагонов. Затем он помнил только, что, вскакивая, пролезая, толкаясь коленями и плечами о рельсы и цепи, спрыгивал и бежал в предательски тесных местах, пьяный от страха и тьмы, потеряв хлеб и шляпу. Вскочив на грузовую платформу, он увидел, как впереди скользнул вниз прыгающий красный фонарь, за ним второй, третий; сзади, куда обернулся Нок, тоже прыгали с тормозных площадок настойчивые красные фонари, шаря и светя во всех направлениях.

Нок тихо скользнул вниз, под платформу. Единственным его спасением в этом прямолинейном лесу огромных, глухих ящиков было держаться одного направ-

ления — куда бы оно ни вело; кружиться и путаться означало гибель. Сжав зубы, с замолкшей душой и судорожно хлопающим сердцем, прополз он под несколькими рядами вагонов, бесшумно и быстро, среди криков, скрипа шагов и мелькающего по рельсам света. В одном месте Нок стукнулся головой о нижний край вагона; от силы удара молодой человек чуть не свалился навзничь, но, пересилив боль, пополз дальше. Боль, одолев страх, прояснила сознание. Им, видимо, руководил инстинкт направления, иногда действующий — в случаях обострения чувств. Шатаясь, Нок встал на свободном месте — то была покинутая им в момент встречи фонаря песчаная дорожка, окаймленная палисадами; перепрыгнув забор, Нок мчался по садовым кустам и клумбам к следующему забору. За забором и небольшим пустырем лежал лес, примыкающий к Зурбагану; Нок бросился в защиту деревьев, как в родной дом.

Бежать, в точном смысле этого слова, не было никакой возможности среди тонущих во тьме преград — стволов, сплетений чащи, бурелома и ям. Нок падал, вставал, кидался вперед, опять падал, но скорость его отчаянных движений, в их совокупности, равнялась, пожалуй, бегу. Единственной его целью — пока — было отдалиться как можно недостижимее от преследователей. Однако через пятнадцать — двадцать минут наступила реакция. Тело отказалось работать, оно было разбито и исцарапано. Ноги согнулись сами, и обожженные легкие дергались болезненными усилиями, почти не хватая воздуха. Покорность изнеможению заставила Нока сесть; сев, он уронил голову на руки и стих; невольная слабость вздоха несколько облегчила нервы, подавленные молчанием.

«Гелли теперь дома,— подумал он,— да, она уже давно дома. У нее хорошо, тепло. Там светлые комнаты; отец, сестра; лампа, книга, картина. Милая Гелли! Ты, может быть, думаешь обо мне. Она приглашала меня зайти. Дурак! Я сам буду там; я хочу быть там. Хочу тепла и света; страшно, нестерпимо хочу! Не вешай голову, Нок, приходи в город и отыщи ад... Впрочем, я разорвал его...»

Он вздрогнул, вспомнив об этом, но, покачав головой, застыл в горькой радости и темном покое. Он был бы настоящим преступником, вздумав идти к этой, не виноватой ни в чьей судьбе, девушке. За что она

должна возиться с бродягой, рискуя сплетнями, допросами, обидой? Он снова утвердился в своей шаткой, болезненной озлобленности против всех, кроме Гелли, бывшей, опять-таки, по крайнему его мнению, диковинным, совершенно фантастическим исключением. Теперь он жалел, что прочитал адрес, но, попытавшись вспомнить его, убедился в полной неспособности памяти воспроизвести пару легко начертанных строк. Он смутился, но тотчас дал себе за это пощечину. Все оборвалось, исчез всякий след к прошлому — и дом, и улица, и номер квартиры — от этого страдало самолюбие Нока. Он все-таки хотел сам не пойти; теперь воля его была ни при чем; им распорядилась, без принуждения, его память. Она же сделала его одиноким; он как бы проснулся. Гелли и Зурбаган внезапно отодвинулись на тысячу верст; город, пожалуй, скоро вернулся на свое место, но это был уже не тот город.

Когда возбуждение улеглось, Нок вспомнил о потерянном хлебе. К удивлению беглеца, это воспоминание не вызвало приступа голода; но озноб и сухость во рту, принятые им, как случайные последствия треволнений, — усилились. Колени ударяли о подбородок, а руки, сложенные в обхват колен, судорожно сводило лихорадочными, неудержимыми спазмами.

— Я не должен спать,— сказал Нок,— если засну, то завтра, совсем обессилевшего, меня может поймать не только здоровенный мужчина в мундире, а простая кошка.

Он встал, спросил у леса: «В какую же сторону я пойду, господа? — и прислонился головой к дереву. Так, трясясь, выждал он момента, когда озноб сменился жаром; легкое возбуждение казалось наркотически приятным, как кофе или чай после работы. В это время со стороны Зурбагана всплыли из глубины молчания — тишины и шорохов леса — фабричные гудки ночной смены. Нок тронулся в разнотонно-певучую сторону. Высокие, нервные и средние, покладистые гудки давно уже стихли, но долго еще держался низкий, как рев бычьей страсти, вой пушечного завода, и Нок слабо кивнул ему.

— Ты, старина, не смолкай,— сказал он,— мне говорить не с кем и — помилуй бог — идти не к кому...

Но стих и этот гудок.

Нок, машинально, придерживаясь одного направления, брел, разговаривая вслух то с Гутаном, то с

Гелли, то с воображаемым, неизвестным спутником, шагающим рядом. Временами он принимался петь арестантские песни или подражать звукам разных предметов, говоря стеклу: «Дзинь!», дереву — «Туп!», камню — «Кокк!», но все это без намерения развлечься. Сравнительно скоро после того, как залился первый гудок, он очутился на ровном, просторном месте и, сквозь дремотную возбужденность жара, понял, что близок к городу.

Потому, что нащупывать вокруг было более нечего,— ни стволов, ни кустов, Нок впал в апатию. Сев, он растянулся и задремал; затем погрузился в больной сон и проспал около двух часов. Сверкающий дым труб, солнце и постройки городского предместья предстали его глазам, когда, подняв голову, вошел он ослабевшей душой в яркий свет дня, требующего настойчивости и осторожности, сил и трудов. Как показалось ему,— он окреп; встав, Нок вырвал у пиджака подкладку и наскоро устроил из кусков черной материи род головного убора — вернее, повязку, о форме и удачности которой ему не хотелось думать.

Приближаясь к городу, Нок у первого переулка внезапно остановился с полным соображением того, что на городских улицах показываться опасно. Однако идти назад не было смысла. Покачав головой, поджав губы и улыбнувшись, он открыл дверь первого попавшегося трактира, сел и попросил есть.

— Еще папирос,— прибавил он, механически водя ложкой по немытой тарелке с супом.

Подняв глаза, он с беспокойством и тоской увидел, что глаза всех посетителей, слуг и хозяина молчаливо обращены на него. Он с трудом закурил, с трудом проглотил ложку соленого, горячего супа. Ложку и папиросу он, не замечая этого, держал в одной руке. Есть ему не хотелось. Положив на стол серебряную монету, Нок сказал:

— Не обращайте, господа, никакого внимания. Рано я вышел из больницы, вот что.

Выйдя на улицу, он очень тихо, бесцельно, сосредоточенно думая о преимуществах пишущей машины «ундервуд» перед такой же «ремингтон», пересек несколько пустырей, усыпанных угольным и кирпичным щебнем, и поднялся по старым, каменным лестницам Ангрской дороги на мост, а оттуда прошел к улицам, ведущим в центр города. Здесь, неподалеку от площади

«Светлый Шар», он посидел несколько минут на бульварной скамейке, соображая, стоит ли идти в порт днем, дабы спрятаться в угольном ящике одного из пароходов, готовых к отплытию. Но порт, как и вокзал, разумеется, набит сыщиками; Нат Пинкертон расплодил их по всему свету в тройном против обычного количестве.

«Опасно двигаться; опасно сидеть; все опасно после Гутана и вчерашней скачки с препятствиями,— сказал Нок, тупо рассматривая прохожих, в свою очередь даривших его взглядом минутного любопытства, благодаря черной повязке на голове. В остальном он не отличался от присущего большому городу типа бродяг. Вдруг он почувствовал, что упадет, если посидит еще хоть минуту. Он встал, маленькими неверными шагами одолел приличное расстояние от площади до Цветного Рынка и сел снова, на краю маленького фонтана, среди детей, прежде всего солидно положивших в рот пальцы, чтобы достойным образом воззриться на «дядю», а затем презрительно возвратившихся к своей песочной стряпне.

Здесь на Нока бросился человек.

Он выскочил неизвестно откуда, может быть, он шел по пятам, присматриваясь к спрятанной в рукаве фотографии. Он был в черном костюме, черном галстуке и черной шаблонной «джонке».

— Стой! — и крикнул и сказал он.

Нок побежал, и это были последние его силы, которые тратил он,— вне себя,— содрогнувшись в тоске и ужасе.

За ним гнались, гнались так же быстро, как бежал он, кидаясь от угла к углу улиц, сворачивая и увертываясь, как безумный. И вдруг, с чугунной дощечки одного из домов, сорвавшись, ударила его в сердце надпись забытой улицы, где жила Гелли. Теперь казалось,— он всегда помнил номера квартиры и дома. Лишенный способности рассуждать, с ощущением счастья, которое вот-вот оторвут, вырвут из рук, а самого его отбросят далеко назад, в тяжелую тьму страдания, Нок повернулся и разрядил весь револьвер в побежавших назад людей. Улица шла вниз, крутыми зелеными поворотами, узкая, как труба. Увидев спасительный номер, Нок остановился на четвертом этаже крутой лестницы, сначала позвонил, а затем рванул дверь, и ее быстро открыли. Потом он увидел Гелли,

а она — жалкое подобие человека, хватающегося за стену и грудь.

— Гелли, милая Гелли! — сказал он, падая к ее ногам.— Я... весь; все тут!

Последним воспоминанием его были странные, прямые, доверчивые глаза — с выражением защиты и жалости.

— Анна! — сказала Гелли сестре, смотревшей на бесчувственного человека с высоты своих пятнадцати лет, причастных отныне строгой и опасной тайне.— Запри дверь; позови садовника и Филиппа. Немедленно, сейчас же перенесем его черным ходом, через сад, к доктору. Потом позвони дяде.

Минут через пятнадцать указания почтенных прохожих надоумили полицию позвонить в эту квартиру. Чины исполнительной власти застали оживленную игру в четыре руки двух девушек. Обе фальшивили, были несколько бледны и кратки в ответах. Впрочем, визит полиции не вызывает улыбки.

— Мы не слыхали, бежал кто по лестнице или нет,— мягко сказала Гелли.

И кому в голову пришло бы спросить бырышню почтенной семьи:

— Не вы ли спрятали каторжника?

С сожалением оканчиваем мы эту историю, тем более что далее она лучше и интереснее. Но дальнейшее составило бы материал для целого романа, а не коротенькой повести. А главное вот что. Нок благополучно переплыл море и там, за границей, через год обвенчался с Гелли. Они жили долго и умерли в один день.

КАК Я УМИРАЛ НА ЭКРАНЕ

В полдень я получил уведомление от фирмы «Гигант», что предложение мое принято. Жена спала. Дети ушли к соседям. Я задумчиво посмотрел на Фелицату, скорбно прислушиваясь к ее неровному дыханию, и решил, что поступаю разумно. Муж, неспособный обеспечить лекарство больной жене и молоко детям, заслуживает быть проданным и убитым.

Письмо управляющего фирмой «Гигант» было со-

ставлено весьма искусно, так, что только я мог понять его; попади оно в чужие руки, никто не догадался бы, о чем речь. Вот письмо:

«М. Г.! Мы думаем, что сумма, о которой вы говорите, удобна и вам и нам (я требовал двадцать тысяч). Приходите на улицу Чернослива, дом 211, квартира 73, в 9 часов вечера. То неизменное положение, в котором вы очутитесь, назначено с соответствующим, приятным для вас, ансамблем».

Подписи не было.

Некоторое время я ломал голову,— каким путем очутившись в «неизменном положении», то есть с простреленной головой, я могу убедиться в выполнении «Гигантом» обязательства уплатить моей жене двадцать тысяч, но скоро пришел к заключению, что все выяснится на улице Чернослива. Я же, во всяком случае, не отправлюсь в Елисейские Поля без твердой гарантии.

Несмотря на решимость свою, я был все-таки охвачен вихренным предсмертным волнением. Мне не сиделось. Мне даже не следовало оставаться дома, дабы голосом и глазами не лгать жене, если она проснется. Размыслив все, я выложил на стол последние, плакавшие у меня в кармане медные монеты и написал, уходя, записку следующего содержания:

«Милая Фелицата! Так как болезнь твоя не опасна, я решил поискать работы на огородах, куда и иду. Не беспокойся. Я вернусь через неделю, не позже».

Остаток дня я провел на бульварах, в порту и на площадях, то расхаживая, то присаживаясь на скамью, и был так расстроен, что не чувствовал голода. Я представлял отчаяние и скорбь жены, когда она наконец узнает истину, но представлял также и то материальное благополучие, в каком будут ее держать деньги «Гиганта». В конце концов — через год, может быть,— она поймет и поблагодарит меня. Потом я перешел к вопросу о загробном существовании, но тут рядом со мной на скамейку сел человек, в котором я без труда узнал старого приятеля Бутса. Я не видел его лет пять.

— Бутс,— сказал я,— ты стал, должно быть, очень рассеян! Узнаешь меня?

— Ах! Ах! — вскричал Бутс.— Но что с тобой, Эттис? Как бледен ты, как оборван!

Я рассказал все: болезнь, потерю места, нищету, сделку с «Гигантом».

— Да ты шутишь! — сморщившись, сказал Бутс.

— Нет. Я послал фирме письмо, сообщая, что хочу застрелиться, и предложил снять аппаратом момент самоубийства за двадцать тысяч. Они могут вставить мою смерть в какую-нибудь картину. Почему не так, Бутс? Ведь я все равно убил бы себя; жить, стиснув зубы, мне надоело.

Бутс воткнул трость в землю не меньше как на полфута. Глаза его стали бешеными.

— Ты просто дурак! — грубо сказал он.— Но эти господа из «Гиганта» не более как злодеи! Как? Хладнокровно вертеть ручку гнусного ящика перед простреленной головой? Друг мой, и так уже кинематограф становится подобием римских цирков. Я видел, как убили матадора — это тоже сняли. Я видел, как утонул актер в драме «Сирена» — это тоже сняли. Живых лошадей бросают с обрыва в пропасть — и снимают... Дай им волю, они устроят побоище, резню, начнут бегать за дуэлянтами. Нет, я тебя не пущу!

— А я хочу, чтобы мои дети всегда были обуты.

— Ну, что же! Дай мне адрес этих бездельников. Они ведь не знают твоей наружности. Я стану на твое место.

— Как! Ты умрешь?

— Это мое дело. Во всяком случае, завтра мы обедаем с тобой в «Церемониале».

— Но... если... как-нибудь... деньги...

— Эттис?!

Я покраснел. Бутс всегда держал слово, мое недоверие страшно оскорбило его. Надувшись, он не разговаривал минуты три, потом, смягчившись, протянул руку.

— Согласен ты или нет?

— Хорошо,— сказал я,— но как ты вывернешься?

— Головой. Я не шучу, Эттис! Говори адрес. Спасибо! До свидания. Мне осталось ведь только четыре часа. Иди домой, будь спокоен и займись списком неотложных покупок.

Мы расстались. Я чувствовал себя так, как если бы доверил все свое состояние человеку, уплывшему на дырявом корабле в бурное море. Потеряв Бутса из вида, я спохватился. Как мог я согласиться на его предложение?! Его таинственные расчеты могли быть ошибочны. «Своя рука — свои деньги» — так следовало бы рассуждать мне. Через полчаса я был дома.

Жена встала с постели и плакала над моей запиской. Она не могла мне простить «работу на огородах». Я сказал, что не нашел работы. Наконец мы помирились и задремали, обнявшись. Я уснул; во сне видел жареную рыбу и макароны с грибами. Меня разбудили громкие слова жены: «Как вкусны эти пирожки с луком!»... Бедняжка грезила тем же, что и я. Было темно. Вдруг прогремел звонок, и так решительно, как звонят почтальоны, полицейские и посыльные. Я встал и зажег огонь.

Человек в длинном клеенчатом пальто вошел и спросил:

— Не вы ли Фелицата Эттис?

— Да, я.

— Вот вам пакет.

Он поклонился и вышел так скоро, что мы не успели его спросить, в чем дело. Фелицата разорвала конверт. Сев от изумления на кровать, держала она в одной руке пачку тысячных ассигнаций, а в другой записку.

— Дорогой,— сказала она,— мне дурно... деньги... и твоя смерть... О, господи!..

Подхватив упавшую записку, я прочел:

«М. Г. Ваш муж покончил с собой на глазах своего старого знакомого, имя которого для вас безразлично. Тронутый бедственным вашим положением, прошу принять нечто от моего излишка в размере двадцати тысяч. Труп перевезен в больницу св. Ника».

Тогда внезапная полная уверенность, что Бутс умер, сразила меня. Ничем иным, как ни старался, я не мог объяснить получение денег. Стараясь привести в чувство жену, я перебирал воображением все возможности благополучного исхода (для Бутса), но, зная его намерения, готов был заплакать и разорвать деньги. Жена очнулась.

— Что было со мной? Ах да... Что все это значит?

Новый звонок заставил меня броситься к двери. Я ждал Бутса. Это был он, и я судорожно повис на его шее.

Среди вопросов, возгласов, перебиваний и смеха рассказал он следующее:

— Ровно в девять часов вечера я был у двери номера семьдесят три. Меня встретил любезный толстый старик. Я был в лохмотьях и натер глаза луком,—

они казались заплаканными. Вот краткий наш разговор за чашкой прекрасного кофе.

Он.— Вы хотите умереть?

Я.— Очень хочу.

Он.— Это неприятно, но я сторонник свободной воли. Согласитесь ли вы умереть в костюме маркиза восемнадцатого столетия?

Я.— Он, надо быть, лучше моего.

Он.— Потом еще... парик... и борода...

Я.— О нет! Костюм безразличен мне, но лицо должно остаться моим.

Он.— Ну, ничего... я так только спросил. Напишите записку... понимаете...

Я написал: «В смерти моей прошу никого не винить. Эттис» — и отдал записку старику. Затем мы условились, что деньги будут немедленно посланы моей, то есть твоей жене. Старик поколебался, но рискнул. Он вложил деньги при мне в пакет и отослал с посыльным.

Теперь смотри, что вышло из этого. Меня провели в сад, ярко залитый электрическим светом, и посадили на стул, спиной к дереву. Перед этим я, кряхтя, напялил жеманную одежду маркиза. Съемщик с аппаратом стоял в четырех шагах от меня. Он и старик не показались мне особенно бледными, отношение их было, видимо, деловое. Старик предложил мне перед смертью — что бы ты думал? красавицу и вино; но я отказался... Теперь жалею об этом. Я торопился успокоить тебя.

Отправляясь умирать, я надел темный, лохматый парик, под которым скрыл плоскую резиновую трубку, наполненную красным вином. Конец ее, залепленный воском, приходился у правого виска.— «Прощайте, дорогой друг»,— сказал старик.— «Мишель, начинай!», и оператор принялся вертеть ручку аппарата. Я поднял глаза вверх, и подведя дуло к виску, выпалил холостым зарядом. Вино тотчас же потекло за воротник. Я откинулся, хватая воздух руками, и проделал все гримасы агонии, какие придумал, с закрытыми глазами. Старик кричал: «Ближе, Мишель, снимай лицо!» Наконец, я добросовестно замер, свесив на грудь голову (всего метров на тридцать). «Все-таки это страшно»! — сказал Мишель. Тогда я встал и демонстративно зевнул.

Оба они тряслись в страшном испуге, не сводя с меня пораженных взглядов. «Нечего смотреть,— сказал я,— моему виску все-таки больно, он обожжен. Если вы

поверили в мою смерть, поверит и публика».— Я поклонился им и ушел... в костюме маркиза. Затем переоделся дома и поспешил к тебе.

— И они не упрекали тебя? — спросил я.

— Нельзя же расписаться в бесчеловечности. Моя совесть чиста! Думай так же и ты, Эттис. Я видел, как действительно застрелился один человек, и, знаешь, в этом было не много выразительности. Он просто выстрелил и просто упал, как пласт. Подражание правдивее жизни, но «Гигант» еще не дорос до такого, милый мой, понимания.

ПАССАЖИР ПЫЖИКОВ

I

Пыжикова словно подтолкнуло что-то; он протянул руку, коснулся сваленных на кожухе поленьев и пробудился. Плавно подергиваясь, шумел колесами пароход; на кожухе, у трубы, было жарко и темно. С высоты своего ложа лежавший животом вниз Пыжиков увидел внизу, в проходе, баб, развязывающих узелки, матроса, загородившего проход с фонарем в руках, и щелкающего чем-то помощника капитана. Пыжиков хотел спрыгнуть, но раздумал, матрос уже смотрел на него охотничьим взглядом; Пыжикову стало не по себе; беспокойно и стыдливо настроенный, он принялся, не отрываясь, смотреть в затылок помощнику, скрепя сердце привел в порядок одежду и сел, спустив ноги. Помощник отдал вздыхавшей бабе билет и, чувствуя напряженный взгляд Пыжикова, обернулся, подняв голову.

— Ваш билет,— сразу настраиваясь вызывающе, с протянутой кверху рукой сказал помощник и посмотрел на матроса.

— Я билет потерял,— давясь словами, произнес Пыжиков, держа руки сложенными на коленях.

Он думал, что помощник затопает ногами и пригвоздит его к месту проклятиями, матрос загогочет, а бабы всплеснут руками, но этого не произошло. Помощник сказал:

— Где он сел?

— Усмотри за ими.— Матрос поболтал фонарем и прибавил: — Если билета не имеешь, возьми.

— Деньги есть? — спросил помощник. Он и матрос любопытно смотрели на Пыжикова.

— Нет денег,— упав духом, вполголоса сказал Пыжиков и сконфузился так сильно, что задрожали руки. «Вот сейчас,— стрельнуло в голове,— сейчас выругает».

Баба, открыв рот, вздохнула, перекрестила подбородок, бормоча:

— Господи Исусе.

Пыжиков сидел неподвижно, все больше пугаясь, и покорно смотрел на низенького, веснушчатого помощника, думая, что человек этот с такой хищно вздернутой верхней губой и белыми большими зубами должен быть совершенно жестоким.

— Ссадить,— помолчав, сказал помощник и хотел идти дальше.

Пыжиков, гремя поленьями, спрыгнул с кожуха, обдергивая засаленную жилетку.

— Будьте так добры,— сказал он унылым голосом, не надеясь и грустно вздыхая,— провезите, пожалуйста; ей-богу, я первый раз... В Астрахани искал места, нездоров.

— Не могу,— быстро, не оборачиваясь, ответил помощник,— просите в конторе.

— Ну, ей-богу, что же мне делать,— защищался Пыжиков,— разве убудет... отец болен, прислал телеграмму, что же это? Пропадать надо...

Помощник шел сзади матроса с фонарем; матрос дергал спящих за ноги, говоря:

— Билет, билет, господа, приготовьте билеты.

Пыжиков замыкал шествие, причитал и просил.

— А, ну, господи... черт... хорошо,— сказал помощник, оборачиваясь,— ладно, не ссадим.

Пыжиков просиял, порозовел, улыбнулся взволнованно, мотнул головой и забормотал:

— Вот спасибо... Поверьте... никогда в жизни... я не просил... Что же делать?

Приятно ошарашенный и даже согретый душевно, он зашагал назад, остановился, ликуя, у машины и стал счастливо смотреть, как отполированная, сложная, стальная масса выбрасывала тяжелые шатуны. Душа его успокаивалась, а бездушная стальная масса казалась ему такой славной и доброй, согласившейся

бесплатно везти его, машиной. Сон прошел. В густо набитом пассажирами третьем классе не было видно ни одной сидящей фигуры; в кухне на столе храпел повар. Взвинченный, все еще чувствуя себя уличенным и жалким, Пыжиков вышел наверх и сел у решетки, смотря в темноту.

II

В ветреной свежести реки угадывался недалекий рассвет. Гористый берег громоздил в ночном небе неясные свои склоны, усталый блеск звезд струился в водяной ряби длинными искрами, с невидимых плотов неслись суетливые возгласы. На палубе, кроме Пыжикова, никого не было; немного погодя из первого класса вышли две дамы, сказав: «брр...», а за ними, волоча ногу, мужчина в цилиндре, попыхивая сигарой, небрежно цедил слова. Пыжиков, сутулясь, смотрел на них, завидуя и вздыхая, вспоминал, что в паспорте у него написано: «не имеющий определенных занятий», а на левом сапоге дырка, и денег семнадцать копеек, и булка съедена.

«Отчего я такой несчастный? — подумал Пыжиков.— А ведь недурен и здоров... судьба, что ли?»

Дамы, кутаясь в теплые, белый и серый, платки, подошли к решетке, а спутник их стал позади. Сигара, по временам разгораясь, освещала усы, лицо и прищуренные глаза старого модника, и в то же время были видны, под кружевами, скрученные на затылке, тяжелые волосы дамы в белой шали. Люди эти представлялись Пыжикову презрительными, беззаботными, живущими непонятно и завидно легко.

Дама в сером сказала:

— Как это заметно и вообще... я не приняла бы ее...

— Почему? — возразил мужчина, склонясь к крученым волосам и вынимая изо рта сигару,— женщины так любят секреты, это лакомство, а вам...— Он покосился на Пыжикова и, согнув руку, прибавил: — Здесь дует, вы простудитесь, не пройти ли на другую сторону?

Дамы, зябко поводя плечиками, отошли, пропав в темноте; за белым пятном двигался огонек сигары, прозвучал грудной смех.

«Не нравится, что я тут сижу»,— подумал Пыжиков, ухмыльнулся, вытянул ноги и стал мечтать. Пленительные женские фигуры рисовались ему спящими в теплых койках первого класса, где пахнет чем-то очень дорогим и все уютное. Пыжиков свернул папироску, но это была уже не махорка, а отличная великосветская сигара, дама же в белом пледе вышла за него замуж и зябла, а он сказал: «Дорогая моя, протяните ноги к камину; я прикажу ремонтировать замок».

Пыжиков увидел проходящую мимо в платочке женщину и прищурился, стараясь рассмотреть лицо; она села неподалеку, боком к Пыжикову, смотря в сторону.

— Куда изволите ехать? — сладким голосом спросил Пыжиков.

— Отсюда не видать,— насторожившись, сказала женщина и, очевидно, раздумав сердиться, прибавила: — Я к тете, в Филеево, у меня там тетка живет, а я при ней.

— Очень приятно познакомиться.

Утешаясь тем, что в темноте не видно дырки на сапоге, Пыжиков подсел ближе и изогнулся, засматривая в лицо женщине. Смутные и грешные мысли бродили в его голове, но он их стыдился, чувствуя себя как бы не вправе заниматься амурными делами, потому что ехал из милости.

— Как это интересно.

Пыжиков сделал из остатков табаку экономную «козью ножку», блеснул спичкой и увидел жеманное, круглое лицо со вздернутым носом; маленькие подслеповатые глаза напоминали неспелые ягоды.

— Как интересно,— повторил Пыжиков,— едут люди, каждый по своему делу, и вдруг, извольте, разговаривают; вот именно гора с горой не сходятся... Вы замужем?

— Нет,— сказала женщина и хихикнула глухим, хитрым смешком.

Пыжиков подсел еще ближе, думая: обнять или не обнять, и сделал попытку: коснулся рукой талии; девица не отодвинулась, но вздохнула и проговорила:

— Разные мужчины бывают, иной дуром лезет, в кармане вошь на аркане, хучь бы пива поднес.

— Я заплачу́,— быстро сообразив положение, прошептал Пыжиков, сладко шевеля ногами и чувствуя

под рукою соблазнительно упругий корсет.— Пойдемте вниз, где-нибудь...

Девица, захихикав, сильнее прижалась к нему плечом, и Пыжиков забыл обо всем. Мимо них, внимательно приглядываясь, прошел матрос.

— Идем вниз,— торопил Пыжиков.

— Где же?

Она говорила жеманным воровским шепотом, и это еще больше воспламеняло Пыжикова. Он встал, кивая убедительно головой, подманивая пальцем, оглядываясь, и побежал вниз по трапу; девица следовала за ним, поправляя платок. Внизу, у крана с водой, оба остановились, тяжело дыша; фонарь призрачно освещал спящих на палубе вповалку мужиков.

— Сюда,— торопился Пыжиков, толкая женщину между краном и загораживающей борт решеткой,— спят все, скорее...

— А сколько вы мне подарите? — доверчиво шепнула женщина.

— Полтинник... рубль! — соврал Пыжиков.— Ейбогу, честное слово...

Кто-то взял его за плечо и повернул лицом к свету. Женщина взвизгнула, закрываясь руками; плечи ее вздрагивали не то от стыда, не то от смеха. Помощник и матрос стояли по бокам Пыжикова.

— Что вы гадость на пароходе разводите? — закричал помощник.— Денег нет, отец болен, а на девку деньги есть? Высадить его на первой пристани, гнать!

Багровый от стыда, оглушённый и растерявшийся, Пыжиков с ужасом смотрел на помощника. Помощник сделал гадливое лицо и быстро прошел дальше, а матрос простодушно выругался. Женщина куда-то исчезла.

— Не такие, брат, влопывались,— почему-то сказал матрос и, подумав, прибавил: — Втемяшил в башку ты, можно сказать, среди парохода... Теперь слезешь.

— Ну и слезу,— зло сказал Пыжиков,— а тебе что?

— То-то вот; ты с оглядкой. Еще поразговаривай.

Пыжиков вызывающе передернул плечами и отошел, стиснув зубы. На душе у него было нехорошо, словно его сбили с ног, мяли, били и отшвыривали. Пошатываясь от не прошедшего еще испуга, Пыжиков

пробрался к корме и сел на свертке канатов. Светало; над убегающей из-под кормы шумной водой бродила предрассветная муть, звезды остались только по краям неба и гасли. Зыбкая свежесть воздуха щекотала лицо, расстилался туман.

III

— Встань, приехали,— сказал угрюмый матрос Пыжикову, дергая спящего за упорно сгибающуюся кренделем ногу.— Путешественник!

Пыжиков чмокнул губами, поежился и вскочил. Он уснул на свертке канатов, незаметно, с печальными мыслями.

Пароход стоял у конторки. Живая изгородь ярких баб на глинистом берегу пронзительно щебетала, предлагая пассажирам булки, колбасу и пельмени. Посад, утонувший до крыш в яблочных садах, полных веселой белизны осыпающегося цвета, блестел стеклами окон. Голубоватый простор Волги расплывался на горизонте, у плеса, светлыми точками.

— Я уйду, сейчас уйду,— сказал, потягиваясь, Пыжиков, встал и тронулся к сходням; матрос шел за ним.

На берегу Пыжиков увидел жующего пирог полицейского и захотел есть. Полицейский ел аппетитно, собирая крошки в ладонь и слизывая их, а кончив трапезу, сосредоточенно вытер усы красным платком. Пыжиков купил хлеба, пару соленых огурцов и сел у воды, на камне.

«Господи,— подумал он,— давно ли в конторе служил, утром стакан чаю и булочка, и барышня на ремингтоне: все водка проклятая!»

Белый пароход, дымя трубой, стоял против Пыжикова, и Пыжиков смотрел на него исподлобья, со страхом думая, что следующего парохода надо ждать целый день, а сев, снова говорить, что билет потерян. Ночные происшествия сделали его трусом еще больше, чем был он им до скверного эпизода с женщиной. Парень с распухшей щекой, в лаптях и плисовых шароварах, лениво подошел к Пыжикову, остановился, посмотрел на него сбоку, вынул из-за пазухи кисет и спросил:

— Куда едешь?

— В Казань,— сказал Пыжиков,— а что?

— Пробиться в Симбирск хочу,— сообщил парень, облизывая цигарку и вопросительно глядя на пароход.— Без работы я — нашармака сяду. Айда!

— Меня высадили,— сказал Пыжиков,— только всего и ехал.

— Высадили,— повторил парень.— Это они могут. Их, брат, хлебом не корми, а только дай подиковаться. Ну, пойду, пропади они, живодеры.

Он повернулся и побрел к сходням. Пыжиков доел огурец, завистливо провожая глазами нырнувший в толпу картуз парня.

«Доберется, этот не пропадет, ему все равно, вытурят — на другой день сядет, да обругает еще в придачу»,— думал Пыжиков.

Многие испытания предстояли еще ему. Надо изворачиваться, хитрить, лезть, просить, настаивать, сопротивляться всеми силами — тогда доедешь; а это почему-то стыдно, противно, уныло и жалко. Но парню с опухшей щекой, по-видимому, не противно и не стыдно. Пыжиков позавидовал парню и опустил голову. Серая, кислая гадость накипала в душе, хотелось подойти к даме в белой шали, захныкать, попросить пять рублей и купить билет.

Когда пароход ушел, к полицейскому, собравшемуся идти домой, приблизился человек, одетый в лакейский фрак, меховую шапку, стоптанные штиблеты и ситцевую рубаху. Это был Пыжиков.

— Арестуйте меня... по этапу,— сказал он.— Паспорт утерян, папаша в Казани живет, сделайте милость.

ОТРАВЛЕННЫЙ ОСТРОВ

I

По рассказу капитана Тарта, прибывшего из Новой Зеландии в Ахуан-Скап, и согласно заявлению его местным властям, заявлению, подтвержденному свидетельством пароходной команды, в южной части Тихого океана, на маленьком острове Фарфонт, произошел случай повального и единовременного, по соглашению, самоубийства всего

населения, за исключением двух детей в возрасте трех и семи лет, оставленных на попечение парохода «Виола», которым командовал капитан Тарт.

Остров Фарфонт лежит на 41° 17′ южной широты, в стороне от морских путей. Он был открыт в 1869 году хозяином китобойного судна Ван-Лоттом и помечен далеко не на всех картах, даже официальных. Никакого коммерческого и политического значения он не имеет, и Джон Вебстер в своей «Истории торгового мореплавания» презрительно относит подобные острова к разряду «бесполезных мелочей», сообщая, в частности, по отношению к Фарфонту, что остров весьма мал и скалист.

В хронике судового журнала «Виолы» было запротоколено следующее:

«14 июня 1920 года. Сильный зюйд-вест. Весь день сбивало с курса; к вечеру разыгрался шторм. Лишились трех парусов.

15 июня 1920 года. Сорваны ветром грот и фокзейль, поставили запасный грот, идем к югу, матрос Нок упал в море и погиб.

16 июня. Умеренный ветер. В полдень показалась земля. Остров Фарфонт. Бросили якорь. На остров направились капитан Тарт, помощник капитана Инсар и пять матросов».

Эти матросы были: Гаверней, Дрокис, Бикан, Габстер и Строк.

Капитан показал, что перед спуском шлюпки был усмотрен им в зрительную трубу человек, стоящий на берегу; он быстро скрылся в лесу. Рассчитывая в силу этого, что островок населен, капитан,— хотя и не заметил по прибытии шлюпки на берег следов жилья,— был тем не менее поставлен в необходимость возобновить запасы провизии и отправиться на розыски жителей. Действительно, скоро были замечены им в небольшой, удивительной красоты долине, среди живописной и щедрой растительности, пять бревенчатых домов, крытых тростниковыми матами. Людей не было видно. Они не появились и тогда, когда капитан выстрелил в воздух из револьвера, желая привлечь этим внимание туземцев. Трубы не дымились, и вообще подчеркнутая странная тишина жилого места сильно удивила Тарта. Он начал обходить здания, двери которых оказались незапертыми, но внутри трех домов не нашел никого, ни спящего, ни бодрствующего. В пятом, по порядку

обхода, доме тоже никого не было, но в четвертом путешественники нашли человека, умирающего или находящегося в бессознательном состоянии; он лежал на полу с закатившимися глазами, с лицом бледным и мокрым от пота. Слабый стон конвульсивно вырывался из его горла. Около него стояли сильно напуганные и плачущие мальчик и девочка лет шести-семи.

Капитан стал расспрашивать мальчика, но, не добившись ответа, обратился к девочке. Из ее бессвязного и, видимо, спутанного представления о происшедшем он узнал только, что «все ушли», куда именно,— она не знает; с ней и с маленьким Филиппом остался лежавший теперь без чувств человек, «дядя Скоррей». Девочка, которую звали Ли,— сокращенное Ливия,— рассказала также, что Скоррей еще полчаса назад шутил с нею и говорил, что сейчас придут люди, которые увезут ее и Филиппа на «большую землю», где им будет неплохо. Сам же он недавно выпил чего-то из кружки, стоявшей и посейчас на столе. После этого он сказал, что умирает, лег на пол и застонал, а затем сказал Ли: «Отдай письмо человеку с золотыми пуговицами»,— и больше они, дети, ничего не знают.

Как ни был силен аромат цветущих у окна кустарников, буквально круживший головы моряков, капитан, понюхав остаток мутной жидкости, сохранившейся на дне кружки, счел нужным, не теряя времени, принять меры к спасению Скоррея. Предполагали, что он отравился. Жидкость обладала неприятным, горьким, густым запахом. Раскрыв стиснутые зубы несчастного складным ножом, Тарт, за неимением под рукой ничего лучшего, стал лить в рот Скоррея водку, но понемногу, дабы бесчувственный не захлебнулся. Через полчаса он опорожнил свою фляжку, Гавернея и Дрокиса. Тем временем матросы вскипятили в глиняном котле воду и обложили нагого Скоррея пучками вымоченной в кипятке травы, сделав таким образом подобие бани. Тарт действовал более по вдохновению, чем по указанию медицины, но, так или иначе, больной перестал хрипеть. Тогда возобновили припарки, применили растирания, и наконец больной открыл глаза. Взгляд его был безумен. Он не говорил и не понимал ничего и заговорил лишь ко времени прибытия в Ахуан-Скап, но вразумительность его речи оказалась более чем жалкой для разумного существа.

Детей, совершенно утешенных карманными часами

Дрокиса, отданными в их распоряжение, и очнувшегося Скоррея на носилках отправили на «Виолу», а капитан занялся расследованием печального случая. Письмо Скоррея, ныне представленное судебным властям, было написано на пожелтевшем от старости заглавном листе Библии; вместо чернил употребляли, надо полагать, быстро темнеющий сок какого-нибудь растения. Малограмотные, но загадочные, ужасные строки прочел Тарт. Вот что было написано (без числа):

«Мы все, жители Фарфонта, заявляем и свидетельствуем перед другими людьми, что, находя более жить невозможным, так как все мы помешаны или одержимы демонами, лишаем себя жизни по доброй воле и взаимному соглашению. Настоящее письмо поручено сохранить Иосифу Скоррею до тех пор, пока не наступит возможность вручить его какому-нибудь кораблю или пароходу. Согласно общей просьбе и доброму своему согласию, Скоррей не имеет права лишить себя жизни, пока не окажется возможным отправить оставленных живыми, за малолетством, детей: Филиппа и Ливию».

Здесь следовали двадцать четыре подписи с обозначением возраста каждого самоубийцы. Самому старшему было сто одиннадцать лет, самому юному — четырнадцать. Недалеко от поселка Тарт обнаружил высокий, свеженасыпанный холм — братскую могилу. Высохшие на деревянном кресте цветы были удалены командой «Виолы» и заменены свежими венками.

— Общее впечатление от всего этого,— заключил свой рассказ капитан Тарт,— было таково, как если бы на наших глазах зарезали связанного человека; мы поторопились, как могли, починить такелаж и утром следующего дня покинули страшный Фарфонт.

II

Таким образом, «Виола» бросила якорь в Ахуан-Скапе со следующими доказательствами самоубийства целого населения: остатком ядовитой жидкости, перелитой в тщательно закупоренную бутылку, безумным Скорреем, коллективным письмом двадцати четырех мертвых и двумя совершенно дикими, по нашим понятиям, малышами женского и мужского пола.

Расспросы детей прибавили очень немного к показаниям матросов и капитана. Мальчик вообще не мог ничего сообщить, так как почти не умел говорить, а девочка, очевидно, спутавшая воспоминания о жизни на острове с впечатлениями путешествия и большого города, рассказывала явные нелепости: «Отец говорил, что нас всех убьют».— «Кто?» — «Какие-то люди, которых очень много».— «Ты видела их?» — «Не видела».— «А приходили на остров корабли?» — «Один приходил очень большой, выше меня».— «Припомни, Ли, когда это было? Очень давно?» — «Да, давно».— «А может быть, недавно?» — «Недавно». Она не могла ориентироваться во времени, и дальнейшие сообщения ее о корабле, людях, бывших на острове, и о числе их носили характер полузабытого темного сновидения. Затем она принялась рассказывать о том, как все боялись, что их убьют, и как ночью приходило много кораблей, которые стреляли в дома. Некоторые корабли летали по воздуху. Следователь отнес это в область детской фантазии, зараженной рассказами моряков, а также к замеченной у детей склонности к мистификации. Он, правда, записал все, но из соображений формального характера.

Из объяснений девочки выяснилось, однако, некое своеобразное, почти устраняющее чью-либо постороннюю силу в этом деле редкое обстоятельство. На памяти ребенка шести лет Фарфонт был посещен один раз одним кораблем; допустив, что прочные завоевания памяти начинаются с трехлетнего возраста, выходило, что остров в течение трех лет был отрезан от всякого сообщения с миром, отчего, естественно, возник вопрос, как часто заходили корабли к берегам Фарфонта и не являлось ли каждое захождение своего рода легендой — в ряде последующих годов? Короче говоря, не был ли Фарфонт таким заброшенным местом, куда корабли заглядывают несколько раз в столетие, и то благодаря случайности, как «Виола».

Согласно почти полной неизвестности Фарфонта для администрации и совершенного небытия его для всех мелких и главных линий морского сообщения, ответ на этот вопрос явился, само собой, утвердительным. В таком случае постороннего преступного вмешательства в дела туземцев Фарфонта быть не могло, и изолированность селения подтвердилась показаниями экипажа «Виолы». Домашняя утварь, орудия, одежда и про-

чие предметы, бегло осмотренные матросами, носили следы самобытного изготовления, за исключением нескольких старых ружей, книг и мелочей, вроде обломка зеркала или куска ткани, некогда попавшего на Фарфонт. Относительно природы острова все сходились в том, что «местечко очень красиво». Более впечатлительный, чем другие, Габстер заявил, что там — истинный рай. Капитан Тарт подробнее распространился об острове, но, будучи человеком практичным, отмечал плодородие и тучность земли, а также обилие прекрасной родниковой воды.

Ниже нам придется еще встретить подробное описание острова, а потому мы возвратимся к сопоставлению фактов. В силу изложенного, следователь остановился на двух версиях: 1.— Жители Фарфонта, под давлением неизбежных, необыкновенных обстоятельств, причин и побуждений местного, а не внешнего происхождения, добровольно, по уговору, лишили себя жизни. 2.— Были убиты из неизвестных следствию соображений единственным оставшимся в живых ныне безумным Скорреем, причем последний, стараясь отклонить подозрения, составил и написал подложное, за подложными подписями жителей Фарфонта посмертное письмо, удостоверяющее наличность самоубийства.

Вторая версия, как наиболее отвечающая несложности криминалистического мышления и непреодолимому тяготению властей к изобличению злого умысла даже там, где человек просто сам падает, разбив себе голову,— была, к сожалению, подхвачена слишком усердно некоторыми газетами, издатели которых избавили этим публику от раздражающего недоумения, а сотрудники держались легкомысленной позиции «здравого смысла», именно того, чего следует избегать, как чумы, в отношении некоторых явлений.

«Утренний вестник» писал:

«Ха-ха! Нас хотят уверить, что целая деревня здоровых, выросших на лоне природы, не знавших излишеств, непосредственных, полудиких людей обрела какую-то общую трагедию. Может быть, конечно, что они поссорились из-за туземной красавицы. А женщины? Но в таком случае остается предположить общее разочарование в жизни, крушение идеалов и т. п.! Однако Скоррей жив, живы двое детей, и они-то более всего убеждают нас в хитрой предусмотрительности злодея.

Он знал, что на Фарфонт может заглянуть судно, он приготовился к этому маловероятному случаю. Здесь он является нам в роли хранителя детей, якобы порученных ему, Скоррею. Дети, разумеется, могли спать в то время, когда свирепый убийца отравлял земляков. Заметьте, что он тоже выпил яд, но не умер. Ясно, что доза была рассчитана с таким опытом...» — и т. д.

«Наблюдатель», стоявший за коллективное самоубийство, придерживался главным образом показаний капитана «Виолы».

«Помимо серьезности отравления,— писал «Наблюдатель»,— отравления, едва не отправившего Скоррея на тот свет, невинность его подтверждается видом общей могилы. Холм,— говорит капитан Тарт,— был на виду вблизи поселка; насыпанный весьма добросовестно, обложенный дерном, с прочным крестом, он является лучшим доказательством уважительного выполнения печального долга, возложенного судьбою на Скоррея. В его распоряжении было несколько лодок; если бы он был убийцею, он мог бы без помехи, не торопясь, бросить трупы в море и объявить громким голосом, что все жители утонули на рыбной ловле. Мы говорим примерно. Разумеется, причины самоубийства непостижимы, так как текст письма, написанного вполне здраво, указывает не на сумасшествие или «одержимость демонами», а лишь на следствие неких причин, покуда еще не выясненных. Составители письма, видимо, сильно сомневались в возможности его оглашения, иначе, быть может, мы имели бы дело с пространным, исчерпывающим положение документом. Краткость письма указывает также на поспешность, с какой эти несчастные торопились умертвить себя; нам остается ждать выздоровления Скоррея, на что, как объяснил доктор Нессар, есть ныне надежда».

Анализ жидкости, привезенной капитаном «Виолы», установил присутствие сильного яда.

Скоррей, помещенный в лечебницу профессора Арно Нессара, был признал буйным помешанным в не очень тяжелой форме. Скоррей провел у Нессара четыре месяца, в течение которых выяснились новые обстоятельства благодаря публикации и экспедиции психиатра Де-Местра.

III

Де-Местр, посвятивший значительную часть жизни изучению самоубийств, подвергался некоторое время осаде журналистов, дам, властей и подставных, от полиции, личностей; он каждому указывал на явную запутанность дела, хотя сам про себя склонялся к гипотезе самоубийства.

Одиннадцатого августа он, субсидируемый журналом «Юниона», надеясь личным посещением острова добыть новые руководящие указания, отплыл из Ахуан-Скапа на зафрахтованном с этой целью пароходе «Теренций» и возвратился 24 сентября, поразив общество обнаружением фактов, сильно поколебавших мнение о независимости смерти фарфонтцев от причин внешних. Именно: неподалеку от моря, в скалистом углублении берега, Де-Местр нашел сорок четыре бутылки из-под вина,— продукт, чуждый Фарфонту,— белую пружинную булавку и полуистлевший от старости номер газеты «Стационер» 18 мая 1920 года. Последний предмет окончательно убедил Де-Местра в том, что на острове незадолго до «Виолы» побывало другое судно.

Тем временем, благодаря публикации и вообще широкой огласке дела, редакцией газеты «Наблюдатель» было получено из Бомбея письмо за подписью капитана Брамса, засвидетельствованное нотариусом. Брамс служил в Сиднейском обществе транспорта на пароходе «Рикша». Его сообщение было, строго говоря, преддверием истины, печальное лицо которой показалось вполне лишь в день выздоровления Скоррея. Вот это письмо:

«5 апреля 1920 года «Рикша» в поисках пропавшего судна «Вандом» был сбит с курса циклоном и, потерпев значительные повреждения, отнесен далеко к югу. Утром 20 апреля был нами замечен небольшой остров, не значившийся на карте; никто из моей команды на нем не был и не знал об его существовании. Жители — смешанной крови — происходили, по их объяснению, от двух семейств эмигрантов, высаженных в этот отдаленный уголок мира в 1870 году военным крейсером «Бробдиньяг», по причинам политического характера. Благодаря этому только две фамилии были на Фарфонте: Скорреи и Гонзалесы; занятиями их были земледелие, охота и рыболовство; поставленные в исключительные

условия, они производили и добывали все необходимое для жизни собственными руками и средствами, за исключением небольшого количества привезенных первыми жителями или проданных на остров впоследствии случайными кораблями вещей.

Последний корабль, посетивший их, был взбунтовавшийся «Скарабей»; он бросил якорь к берегам Фарфонта шесть лет назад. Понятно, с каким утомительным вниманием и волнением встретили нас. Жители высыпали на берег, окружив чудесных гостей. Все до последней пуговицы на нашей одежде стало предметом бесконечных споров, толков, вопросов. Оказалось, что мы приехали в день бракосочетания юного Антонио Гонзалеса с не менее молоденькой Джоанной Скоррей. Нас ожидало пиршество, бесконечные расспросы о жизни большого мира и зрелище дикой, но весьма милой свадьбы.

Жених в довольно удачно скроенной одежде и огромной соломенной шляпе не оставлял двух мнений о своей наружности: это был стройный коричневый молодец, с немного глуповатой улыбкой и серьезными большими глазами, в которых читалось сознание важности и торжественности момента; но невеста в решительную минуту спряталась за углом дома — застыдившись, конечно, нас,— и мы потратили немало терпения, пока нам удалось взглянуть на ее славную рожицу. Наконец она вышла из прикрытия, красная от смущения. Шкипер Полладиу, мастер на комплименты, стал громко восхвалять ее качества, отчего она заметно приободрилась и соблаговолила посмотреть на него одним глазом, черным, как орех, и наивным, как недельный цыпленок. Простое платье из грубой домашней ткани облегало ее тонкую, еще связанную в движениях фигуру, хорошенькую и стройную.

Очень прост и величествен был свадебный обряд. Мы стояли на берегу потока, сверкавшего синевой и белизной в изломах гранита, сомкнувшегося впереди нас, через поток, прихотливой тенисто-краснеющей аркой. По ней тянулись бархатные груды ползучей зелени. Солнечные лучи, дробясь над аркой, делали воздух подобием пылающего костра или золотой завесы, сквозь которую просвечивали голубыми тенями извивы берега. Берег пестрел цветами. На горизонте узким серпом блестел океан.

Дедушка Скоррей прочитал несколько молитв, от-

рывки из Библии, соединил своей отжившей рукой горячие руки молодых людей, и мы вернулись к селению. Там, на берегу моря, в скалистом углублении берега начался пир, сугубо орошенный нами двумя ящиками с вином и ромом. И я начал рассказывать о теперешних великих делах мира, изобретениях и титанической борьбе наших дней, заранее предвкушая, как должен поразить этих людей мой рассказ.

Действительно, они были потрясены. Я нарисовал им возможно полную картину гигантской борьбы девяти государств, представив все ее крупнейшие события, ее план, ход, темп, технические и моральные средства, пущенные в ход противниками. Кое-кто выразил сомнение в правдивости моих слов, тогда я дал им бывший у нас номер «Стационера». Люди с Луны или с Марса, попади они на Землю, не вызвали бы такого убийственного интереса к себе, как мы со своим «Стационером» и рассказами о сражениях миллионных армий: нам задали столько вопросов, что ответить на все сколько-нибудь подробно — заняло бы полжизни.

Сознаюсь, что, несмотря на тяжесть событий, омрачивших это десятилетие, я испытывал невольное чувство гордости, вернее — превосходства над этими полуробинзонами, когда стал рассказывать о гениальных завоеваниях человека в области воздухоплавания, радио, химии, морской и артиллерийской техники. Я описывал им внешность дредноутов, цеппелинов, аэропланов, бетонных окопов и бронированных фортов, приводя слушателей в трепет весом шестнадцатидюймового снаряда или размерами земляной воронки после взрыва бомбы, способной смести деревню.

Мы проговорили всю ночь. К вечеру следующего дня «Рикша» исправил повреждения и, подняв якорь, прибыл 3 мая в Мельбурн. В настоящем письме изложены все обстоятельства нашего пребывания на Фарфонте, причем считаю нужным добавить, что известие о трагической и необычайной смерти наших бывших хозяев произвело на всех нас, видевших их, неописуемо тяжелое впечатление. Если мое, не имеющее, по-видимому, никакого прямого отношения к делу, сообщение сможет пролить свет на тайну смерти жизнерадостных и гостеприимных людей, я испытаю горькую радость человека, способствовавшего раскрытию печальной истины».

IV

Двадцатого сентября Скоррей дал наконец свое показание. Стенографическая запись рассказа Скоррея весьма спутанна, изобилует повторениями и отступлениями, кроме того, самый язык рассказчика до такой степени непохож на нашу манеру мыслить и выражаться,— манеру, выработанную постоянным общением со множеством людей как лично, так и заочно, путем писем, телеграмм, книг и газет,— что мы нашли нужным дать этому показанию общую литературную форму, не исключая ни фактов, ни впечатления, оставленного ими.

— Нам очень трудно было поверить,— говорил Скоррей,— словам капитана Брамса, объявившего, что пережила Европа страшную войну в то время, когда мы, не подозревая ничего такого, слышали только плеск волн и шелест цветущих веток. Однако Брамс показал нам газету, хотя старую, но убедительно говорившую то же самое.

Всю ночь капитан и его товарищ беседовали с нами, посвящая нас, взволнованных, потрясенных и зачарованных, в самые глубины событий. Мы узнали, что войной были захвачены сотни миллионов людей. Мы узнали, что разрушено множество городов и целые страны. Мы узнали, что люди летают стаями на крылатых машинах, бросая сверху бомбы в корабли, дома и леса. Мы узнали, что посредством особого удушливого ветра сжигают легкие десяткам тысяч солдат, и многое другое, а также, что неизвестно, не повторится ли снова такая же война.

Утром капитан с товарищами отправился на свой пароход чинить повреждения, а мы продолжали обсуждать слышанное. Никто из нас и не подумал даже работать в этот день. Каждый по-своему оценивал происходящее. Некоторые уверяли, что Брамс нас слегка обманывает и что война, вероятно, продолжается. Иные утверждали, что наступило благоприятное время для морских разбойников и что нам, вероятно, скоро придется подвергнуться нападению. Вообще, нами овладело подозрительное и угнетенное состояние; каждый носился с предчувствиями, рассказывая направо и налево о своих догадках относительно событий в смутно представляемой нами Европе.

Кто-то,— не помню, кто именно,— сказал, что очень может быть, через год или два мы останемся единственными жителями на земле, так как воюющие, несомненно, уничтожат друг друга своими чудовищными изобретениями. Леон Скоррей, мой племянник, говорил, что нужно опасаться не этого, а повального бегства с густонаселенных материков миллионов людей, которые рассеются по отдаленнейшим углам земли в поисках безопасности. Пришельцы многочисленные, хорошо вооруженные, конечно, могли одолеть нас, захватив наше имущество, возделанную землю и лодки. Было внесено даже предложение просить «Рикшу» взять нас с собой, чтобы не оставаться одним в страхе и неизвестности, но труса немедленно пристращали и образумили, объяснив ему, что неизвестность лучше происходящего ныне в больших странах. Однако вечером, когда «Рикша» снимался с якоря, два наших старика ездили на пароход с просьбой рассказать всем о нас и прислать встречное судно для желающих уехать, если такие окажутся. Брамс успокоил их обещанием исполнить это. На закате «Рикша» снялся и ушел.

Эту ночь я, как и многие другие, провел в тяжкой полудремоте, вставая изредка, чтобы помочь занемогшей от всех этих волнений жене. Два дня спустя после ухода «Рикши» Хуан Гонзалес, ездивший с Антонио, мужем Джоанны, ловить рыбу,— вернулся рано и объявил, что в полумиле от берега замечен был ими круглый блестящий предмет, усеянный гвоздями и качавшийся на волнах. Вскоре пришедший Антонио подтвердил это. «Мы едва не наехали на него»,— сказал он и побледнел. По-видимому, это была одна из плавучих мин, о которых говорил Брамс.

В полдень над головами нашими раздался сильный трещащий гул, и все выбежали из домов. С полей спешили испуганные работники. Вверху, огибая дерево, летел с быстротой чайки огромный темный предмет, меняющий очертания; сделав поворот у леса, он нырнул вниз и скрылся.

Мы были так напуганы, что кричали все сразу, не понимая друг друга. Ни у кого, самого недоверчивого, не оставалось сомнения, что вокруг острова, пока невидимые нами, происходят морские сражения и разведчики осматривают окрестности, летая над островом. Глухие удары или взрывы послышались спустя недолгое

время со стороны западного горизонта. Все устремились на берег. На линии воды и неба вилось множество дымков; оттуда, заглушенная расстоянием, доносилась медлительная, тяжкая пальба, и казалось — земля дрожит под ногами. Так продолжалось час или более; затем все исчезло.

Вечером трое Гонзалесов, ходивших в лес за дровами, вернулись еле переводя дух. Они слышали стук множества копыт, крики, звон сабельных клинков и стоны, но никого не видали. Аллен Скоррей, бывший в это время с женой у водопада, пришел немного спустя; они видели на скале вооруженного всадника, смотревшего из-под руки в сторону леса. Заметив Скоррея, он исчез, едва натянув поводья.

— На острове произведена высадка,— сказал Аллен, сообщив свое и выслушав Гонзалесов.— Что это за война — мы не знаем, нам угрожает опасность, может быть — смерть. Надо обойти остров.

Антонио Гонзалес и я вызвались сделать это. Потратив половину следующего дня на обыск Фарфонта, мы не заметили никаких следов, но слышали звон и лязг, сопровождаемый криками. Вернувшись, мы застали наших в большом унынии. Женщины плакали. Наш рассказ удивил и еще больше напугал всех.

— Может быть,— сказал, покачивая головой, старик Рэнсом,— может быть, люди ухитряются быть невидимыми. Теперь, говорят, время чудесных выдумок.

— А трупы? — спросил я.

Но он не ответил мне.

— Смотрите, смотрите! — закричала в это время моя сестра, и мы, следя за направлением ее ужасного взгляда, увидели, что все небо покрыто быстро несущимися таинственными кораблями со странным, невиданным такелажем, напоминающим парусные суда и имевшим как бы отражение под собой, в воздухе. Там слышались гул и свист, удары и протяжный звон колоколов, и скоро все затянулось дымом пальбы, отдавшейся в наших ушах смертным приговором. Женщины падали без чувств, бежали в дома, рыдали. Мы, мужчины, стояли как привязанные, не имея сил двинуться с места. Наконец последние кормы чудовищ скрылись за скалами, и мы могли, собравшись опять, с горем и страхом признаться друг другу в нашем общем отчаянии. Никто

не мог объяснить происходящее. Эту ночь спали одни дети...

В таких беспрерывных, угнетающих, безжалостных, грозных явлениях прошел месяц и еще две недели, и наконец мы пришли в совершенно жалкое, полубезумное состояние. Боялись отходить далеко от дома, чтобы не остаться одним; работы были заброшены; беспокойные и тяжелые сны преследовали тех, кто, ища покоя, кидался в постель; дети, более всех испуганные грозой, разрушившей нашу тихую жизнь, плакали, как и матери их, похудевшие от беспрерывного страха; мы, мужчины, решаясь иногда стряхнуть власть воинственных сил, обходили все вместе остров, дабы убедиться, что мы единственные его хозяева, и, каждый раз убеждаясь в этом, впадали в еще более острое отчаяние. Глухой рокочущий гул днем и ночью раздавался над нашими головами; нечто подобное отдаленным взрывам обрывало беседующих на полуслове, и стоны и вопли, то тихие и жалобные, то громкие, полные гнева и боли, наполняли воздух. Ночью слышалась сильная канонада в западной стороне, как будто там шло бесконечное сражение: люди, выходившие посмотреть на море, видели темные громады судов неизвестной национальности, преследующие друг друга. Мы более не знали покоя. Что происходило с нами? Что вокруг нас? Мы устали задавать друг другу вопросы. Наконец однажды вечером троюродный брат мой Аллен Скоррей сказал нам, собравшимся у него в доме, что в нашем беспомощном положении не видит он никакого выхода, кроме смерти: «Мы не бодрствуем и не спим. Отданные во власть дьявольского кошмара, а вернее — ужасной действительности, достигшей, с помощью неизвестных нам средств, совершенства неуловимости — мы, отрезанные от всего мира, ничего не знающие, невинные, теряющие рассудок, скоро совершенно сойдем с ума и огласим воздух дикими завываниями. За что? Мы не можем знать этого. Я предлагаю умереть добровольно».

Не было такого, который решился бы или хотел возражать ему. В глубоком молчании собравшихся Аллен приготовил жребья по числу мужчин: вытащивший самую короткую палочку должен был остаться в живых, чтобы похоронить остальных. Мне выпало это несчастье. Тогда сестра моя Алиса Скоррей, вдова, сказала: «Пусть так и будет, но я не возьму с собой

моих Филиппа и Ливию». Затем она поручила их мне, умоляя дождаться какого-либо судна и не убивать себя до тех пор, пока не наступит возможность увезти детей с острова.

Я сопротивлялся, как мог, но должен был уступить просьбам; к тому же действительно надо было кому-нибудь позаботиться о похоронах. Однако я зарыдал, ясно представив всю тягость своего будущего. Один, полный черных воспоминаний, с двумя детьми на руках, я должен был терпеть и выносить страдания худшие, чем смерть в пытке. Я согласился, может быть, потому, что мой разум был помрачен и не вполне понимал происходящее.

Скоррей в этом месте рассказа лишился чувств. Придя в себя, он, видимо, торопился досказать остальное. Здесь стенограмма сумбурна, отрывиста и коротка.

— Настоящая лихорадка нетерпения овладела всеми. Написали записку, Аллен принес яд. Я вышел и увел детей, сказав им, что наши скоро придут. Ни за что на свете не вернулся бы я туда, в дом Аллена. Я лежал в полуобмороке, в полузабытьи. Что там происходило — не знаю. Солнце садилось, когда я решился открыть роковую дверь.

И я увидел...

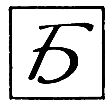
Скоррей отказался рассказывать, как он хоронил этих несчастных. Дальнейшие его показания — мрачную повесть жизни полубольного человека с двумя маленькими детьми, которых нужно было кормить и успокаивать, выдумывая всякие истории относительно всеобщего исчезновения,— можно найти в «Ежемесячнике Ахуан-Скапа», журнале, поместившем наиболее подробный отчет о деле Фарфонта. Автор, ссылаясь на Миллера, Куинси и Рибо, развивает гипотезу массовых галлюцинаций, а также «страха жизни» — особого психологического дефекта, подробно исследованного Крафтом.

В заключение, описывая прекрасную растительность острова, его мягкий климат и своеобразное очарование заброшенности, нетребовательной и безвредной,— автор заканчивает статью следующим замечанием:

«Это были самые счастливые люди на всей земле, убитые эхом давно отзвучавших залпов, беспримерных в истории».

ВЕСЕЛАЯ БАБОЧКА

I



арон подарил Мери письменный стол. Эту дорогую вещицу (дамский письменный стол неприятно называть мебелью) он купил нетерпеливо и радостно, предвкушая ласковую улыбку женщины.

Ей, конечно, необходимо было писать на чем-нибудь свои записочки-лилипуты.

Она действительно улыбнулась и благодарила барона и даже, привстав на цыпочки, поправила ему, под огненной бородой, галстук. Барон чмокал губами, мурлыкая от восторга.

Мери была танцовщица и жила на содержании у барона.

Осуждать ее за это не следует,— все дети любят сладкое и все хотят кушать.

Мери не любила барона. Она жила прошлым и мучилась им. Но в ярком ее лице не было ничего заметно. Посмотрим дальше.

Барон ушел. Мери подняла руки, соединив концы пальцев. Свои сильные чувства и мысли она выражала всегда танцами. Теперешние ее бессознательные движения, лениво изменяя позы нежного тела, созданного для поцелуев и глаз, казались острым желанием покинуть навсегда землю, несясь в дивный рай неги, описанный Магометом.

Она как бы взвивалась. Пальцы ее ног в маленьких туфлях едва касались пола. Трудно было заметить в ней золотник тяжести.

В зеркале с золотыми гирляндами, важно сдвинув тонкие брови, танцевала вторая Мери.

Был вечер: иллюминация улицы сверкала на черном окне белыми, красными и голубыми шарами.

— О Мери, Мери! — вздохнул, проходя мимо ее дома, молодой поклонник, очень несмелый.

— Мери! — простонал в другом конце города старик, тоже поклонник.

— Мери! — сказал купец, ударив по столу кулаком.

— Мери! — заплакал член общества одиноких.

— Барышня Мери! — проникновенно сказал дворник ее дома.

И еще много людей вспоминали в этот вечер красотку Мери, великодушную пленницу жизни.

Она же, кружась в сверкающей комнате, дотанцовывала свое случайное настроение.

II

После далекого, в передней, звонка, Мери остановилась. Холеная, льстивая горничная, войдя, сказала, что пришел неизвестный человек в старом пальто.

Мери кивнула.

Когда появился неизвестный, она с неудовольствием помотала головой: человек был весьма грязен. Видимо, он был из мира пропойц. Жалкий, детский лоб с густыми бровями, сеть морщин, красный нос, и быстро бегающие, опухшие глаза ясно выдавали «стрелка». Он, скрипя рыжими сапогами, подал запечатанное письмо.

Мери прочла, всплеснула руками, заплакала и упала в кресло, топая ногами от боли.

Затем сквозь раздвинутые на мокром лице пальцы один ее глаз, несчастный и влажный, взглянул на понурую фигуру бродяги.

— Это... очень далеко? — Она всхлипнула еще раз и встала, вытирая глаза крошечным комочком платка.

— Извините — не близко. И без меня, осмелюсь сказать, трудно вам будет разыскать. Жилище сложное.

— Едем! — Мери неистово позвонила, чтобы одеться.— Идите в переднюю! Идите... я сейчас!

III

Извозчик вез странную пару от главных улиц, сетью угрюмых переулков, к заставе. Мери беспокойно ворочалась, понукая извозчика словами и зонтиком. Замысловатое перо ее шляпы тряслось над ухом бродяги. Взволнованная, нарядная женщина угнетала его своим присутствием. Электрическая, душистая перчатка ее то и дело стискивала руку проводника в порыве горького нетерпения. Он хмуро ежился и, наконец, боясь прикасаться к странному существу, устроил свои ноги так, что они болтались снаружи.

Мери почти молчала. Она боялась спрашивать. Коляска несла их в местах, где было меньше движения, с

напуганной быстротой лихача. Характер улиц постепенно менялся. Грязнее и ниже становились дома, неровнее — мостовая, улицы — уже, фонари — реже. Проходили толпы рабочих, хулиганы. Брели с добычей халатники, напевая по привычке: «Халат!» Скуластые проститутки шныряли в углах, басом приглашая «увлечься». Взъерошенные кошки мяукали у ворот. Слепые протягивали свою горсть. Женщины в платках перебегали дорогу, прижимая к груди бутылку. Безрукие встряхивали пустым рукавом. Безногие ерзали по панели, вытирая вспотевший лоб. Хриплая музыка граммофонов гремела из дверей чайных. В пустынные дворы-сараи въезжали извозчики, покачиваясь от сна.

В переулке у шестиэтажного дома, сатанеющего от грязи, пьянства и нищеты, извозчик остановился. Мери и прощелыга вступили в полутьму крутой лестницы. Раздавленная луковица сунулась под каблучок танцовщицы, сделав его скользким. Наконец, потянув ободранную клеенку, проводник открыл дверь. Это была квартира с перегородками из газетной бумаги и дранок, кусков штукатурки и развешанного белья.

— Входите! — сказал проводник Мери, притихшей от смущения.

Он свернул влево. Там, вытянувшись под лоскутным одеялом, на сколоченной из досок кровати — лежал в тряпье тяжело дышащий от слабости и счастливого нетерпения человек, на взгляд — иной породы, чем проводник Мери. Он был худ как цыпленок и всматривался, расширяя глаза.

IV

Мери наполнила собой комнату; в тысячу раз стало в ней беднее и гаже.

Больной привстал. Он ничего не видел, кроме женщины. Проводник вышел.

— Не жизнь, а кошмар! — сказала Мери, нагибаясь к лежащему и закусывая губу, чтобы не плакать.— Ты ли это, Максим?

— Обо мне потом! — восхищенно сказал больной, целуя упавшую ему на лицо ладонь.— Я пять лет не видел тебя. Я не имел права и сейчас это делать. Но, может быть, моя болезнь тяжела, как знать, что будет... захотелось взглянуть на Мери.

— Не ври! — Она, не удержавшись, заплакала,

припав головой к плечу мужчины.— Еще бы ты помер! Этого не хватало! Я сделаю все, что нужно! Дай термометр... или нет, я побегу к доктору!.. Что с тобой?!

Но он не ответил сразу, и она не повторяла вопроса. Пять лет — срок немалый,— люди разучиваются говорить друг с другом, передавать чувства.

— Мери,— сказал наконец Максим,— я хриплю, задыхаюсь, не могу встать. Зачем ты ушла от меня?

Она выпрямилась. Необходимо было сказать правду, так как положение изменилось.

— Это все твои мамаша и тетки. Я ведь не знала, что из этого выйдет. Если б ты не писал романов,— другое дело. В тот день, когда ты ездил для меня за шеншелем,— обе они явились ко мне. Они даже не доложили о себе, а пришли, как домой. Разговор был короткий, но у меня разболелась от него голова. «Вы,— говорят они,— бросьте его, потому что он сделается знаменитым писателем, а вы его погубите».— Мери пожала плечами.— «Вы,— говорят,— миленькая, но пустая и легкомысленная. Он из-за вас погибнет... Он за вас и теперь на стенку лезет... Будьте великодушны!» Так они меня уговаривали! Я долго после того, как они ушли, каталась по полу и рвала волосы, но ничего не сделаешь! Зачем стала бы я портить тебе жизнь? Я и написала тебе: «Не люблю, не могу видеть, противен», и кончено. Я же в дураках и осталась.

— Так вот что...— сказал Максим, повертываясь к стене и делая вид, будто колупает обои. Затем он пролежал, уткнувшись лицом в подушку, минут пять.

— Слушай,— робко сказала Мери,— не сердись!

Максим повернулся.

— А я не мог жить без тебя! — заговорил он.— Я спился... ты видишь, где я теперь! Это была ошибка, Мери. Я без тебя не мог работать совсем.

— Все пошло кувырком,— задумчиво произнесла женщина.— Но мы поправим это. Мы поселимся вместе. Ты будешь снова писать свои романы?

— Конечно.

— Хорошо. Поцелуй меня, пьянчужка, и подожди... я сейчас!

Она оглянулась. В щелях драных перегородок торчали истерически любопытные зрачки соседей и слышалось удерживаемое дыхание. Мери, все еще в слезах, показала зрачкам язык и помчалась за доктором.

На прелестном письменном столе, подарке барона, через день после рассказанного оказалась записка:

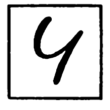
«Уважаемый Димочка! Ты будешь, может быть, горевать, но желаю тебе утешиться. Я уехала. Если придешь в театр, я выгоню тебя вон.. Пойми это!..

Мери».

Этим оканчивается история. Здесь не нужно ничего прибавлять, потому что Максим выздоровел и Мери танцевала его выздоровление. Читатель может подумать, что автор этого рассказа легкомысленный человек. Ничего подобного. Автор — почтенный человек с седой бородой, у него восемь детей и три дома в Саратове.

ФАНТАЗЕРЫ

I



еловек маленького роста, в коротких клетчатых брюках, таком же пиджаке, в малиновом жилете и огненно-рыжем галстуке, скрывался в обширном лесу, спасаясь от виселицы. Кого он задушил или зарезал — нас не касается. Но что-то такое было. Маленький человек, засыпав глаза конвойным множеством понюшек крепкого табаку, отправился в лесные дебри, пока что — пока вдохновение или счастливый случай не поведут к тихой и сытой пристани. Приятели прозвали его Душка Гигант — за рот бантиком и, обратную гигантизму,— величину туловища.

Душка Гигант не ел двое суток. Его жилет сидел не так уже плотно, глаза ввалились и рот бантиком принял вид раздавленного узла. Лес изобиловал цветами, солнцем, певчими птицами и красивыми прогалинами, но в нем не было пустяков: хлеба и мяса.

К вечеру судьба сжалилась над Душкой Гигантом. Он разыскал гнездо тетерева. Тетерка слетела, а в моховой ямке бродяга нашел девять пестрых яиц. Он жадно проглотил их, лишь разозлив сначала, как показалось ему, голод, и лег в тени, вздыхая о более плотной пище. Однако, поспав часа три, встал он крепким

и бодрым. Питательность проглоченного сказалась. Душка Гигант, вывернув все карманы, нашел в них щепоть сигарной пыли, половину раздавленной папиросы и старую записку; из этого он свернул нечто курительное. Потрудившись с полчаса, добыл он и огня — способом первобытным,— трением двух кусков дерева. Покуривая, бродяга мечтал о воровском замке с проваливающимися полами, потаенными лестницами и кровавой прислугой.

II

Солнце садилось, когда Душка Гигант отправился дальше. Дорогу ему пересек ручей, одно расширение которого напоминало сказочные места. Обрывистый, глухо заросший кустами и высокой травой берег напоминал глубокую рваную рану, в глубине которой стояла черная кровь. Вода казалась черной, как антрацит, густая листва скрывала ее от солнца и месяца. Посередине ручья, высоко выдаваясь вверх, торчал остроконечный белый камень; та его сторона, что была обращена к бродяге, казалась отполированной, так она была ровна и гладка.

Бродяге нужно было попасть на ту сторону ручья. Перед тем как войти в воду, он присел, смотря на камень, и думал, что трудно найти более подходящее место для какой-нибудь таинственной, каверзной надписи, загадочного или угрожающего характера. Делать надписи вообще вошло у него в привычку, в отхожих местах и на древесной коре,— не стоит повторять всем известных этих надписей.

Войдя в воду, он почувствовал жажду, напился и, стоя по колено в ручье, принялся высекать на камне складным ножом следующее:

«Кто в этом месте воды попьет,—
Тот умрет.
Вода здесь весьма хороша,
А плата за нее — душа».

III

«Хо-хо-хо,— думал он,— каждого будет корчить, кто прочитает; место здесь жуткое». Его забавляло, что суеверные люди будут колебаться, пугаясь и от-

ходя к другим местам того же ручья. Делать неприятности нравилось Душке Гиганту. Он тщательно выцарапывал буквы и, кончив работу, присел на берегу отдохнуть. Потом, чувствуя жажду, напился, но, вытирая рот, вспомнил о надписи.

«Ну, это ко мне не относится!» — решил он, вставая и переходя ручей. Он не услышал выстрела, раздавшегося позади, с берега; пуля, поразив бродягу в затылочное отверстие, мгновенно свалила его трупом. Тело, глухо плеснув в воде, упало под прикрытием берега. Раздался крик торжества и, поспешно заряжая на ходу винтовку, к ручью приблизился высокий бородатый охотник, отыскивая глазами жертву.

— Неужели медведь убежал? — сказал он, оглядываясь. Издали злосчастный Душка Гигант, когда был живой, показался ему, в неясности лесного света, медведем на водопое, и он погубил его весьма метким выстрелом. Не слыша треска, храпения, не видя следов крови, охотник, в полной уверенности, что медведь завалился поблизости и больше не встанет, поторопился утолить несносную жажду, отложив поиски, и, нагнувшись к ручью, пил теплую воду до пресыщения. Встав, он прошел несколько шагов вверх, и здесь, побледнев, увидел распростертого в воде Душку Гиганта.

— Ах, черт возьми! — вскричал охотник.— Вот так медведь! Это я его треснул. Кто же мог знать?.. Ворочается темная туша... в лесу так много зарослей... смеркается... Боже, прости меня!

IV

Он вытащил мертвеца из воды, грустно покачал головой и сказал: «Костюм городской; этот человек или заблудился, или бежал из города. Дикая судьба! Умереть от такой ошибки!»

Он сел, стараясь привести мысли в порядок. Рассеянный взгляд его остановился на камне и крупных буквах.

«Какая глупость!» — подумал он, ловя себя на суеверных мыслях, вызванных надписью. Войдя в воду, он рассмотрел камень пристальнее, вспомнил, что сам пил из ручья, и склонность к таинственному, общая у скитальцев разного рода, в соединении с трагиче-

ским выстрелом и мрачным ручьем, подействовала на него угнетающе. Путаясь в догадках относительно происхождения надписи, очевидно — свежей, соображая также, что убитый, наверное, тоже пил воду, так как других ручьев вблизи не было,— охотник задумался. Затем, закопав тело, дабы не тронули его звери, он выкурил трубку и направился в селение, лежавшее за шесть верст от ручья, донести полиции о роковом происшествии.

Но едва сделал он несколько шагов в сторону и очутился во тьме наступившей ночи, как суеверный страх, родившийся у ручья, против воли и доводов разума, совершенно овладел им. Зловещая надпись останавливала дыхание. Досадуя и ужасаясь, смеясь и задумываясь, вернулся он к ручью, решив, что переночует здесь и пойдет утром; запалив костер, охотник лег возле него. Нестерпимо призрачны и фантастичны были его мысли; предчувствия, страшные рассказы, образы потустороннего мира,— все, пугающее людей таинственными опасностями, продумывалось теперь им, попавшим в колею диких случайностей. Наконец он задремал... и более не проснулся.

V

Рассвет, оживив лес, увидел нового хозяина потухавшего костра. Это был известный бандит Клуст, привлеченный огнем; он долго подползал к костру, полз тихо, как кошка, и, увидав на поясе спавшего охотника восемь бобровых шкур, двумя ударами ножа покончил с их несчастным владельцем. Труп охотника, засунутый в кусты, нисколько не беспокоил Клуста; он спокойно завтракал солониной и сухарями своей жертвы. Окончив есть, бандит попил из ручья сколько хотел, поднял голову, и розовый от зари камень прямо в глаза бросил ему неуклюжее четверостишие.

Если охотник, поддаваясь суеверному чувству, боролся с ним, то в темной душе бандита, наоборот, не вспыхнуло никаких сомнений. Он по-настоящему, сразу испугался, потому что искренне верил во все чудеса зловредного характера. К тому же доказательство справедливости страшной надписи было налицо: восемь бобровых шкур и труп в кустарнике. Не медля принялся он обдумывать, как обмануть судьбу. «Я пил воду,—

рассуждал Клуст,— и этого не вернешь. Однако еще посмотрим. Сегодня я хотел направиться громить ферму Дейтона, что к северу, ясно, что мне следует изменить планы: по-видимому, смерть караулит меня у Дейтона. И вообще я буду не то, что хочется, а наоборот». Несколько успокоенный, он уничтожил следы костра, опустил охотника с огромными каменьями на шее в самый глубокий, какой нашел, омут, и прошагал четыре версты к югу, без всякого определенного намерения. Вскоре захотелось ему посетить тайное свое убежище, в пещере лесного оврага, но, лукаво усмехнувшись, Клуст сказал: «Нет, врешь, не заманишь. Уж верно, там ждет меня пакость какая-то».

Потом, перебирая все направления, следуя которым мог бы совершить удачный грабеж или вообще получить выгоду, заметил он, что неохотно думает о дороге в Дан, на которой был притон Черного Вепря, бандита и скупщика. «Продам ему шкуры,— решил Клуст,— раз мне к Вепрю идти не хочется, ясно, что там мне ничто не грозит». Он пересек обширное болото, обогнул долину Коз и выбрался к хижине Черного Вепря.

— Здесь мы караулили тебя, Клуст,— сказал один из шести конных жандармов, окруживших бандита. Они выскочили из леса.— Веревка давно скучает о тебе, мошенник,— стой! Руки кверху! Так.— И он звякнул наручниками.

«Вот гадость!» — подумал Клуст, увидев свои руки закованными.— В этом мире сам черт ноги сломает: отчего я не пошел правда к Дейтону?»

СТРАШНЫЙ ЗЛОДЕЙ

I

Пискун шел через Солдатский базар, спотыкаясь в кромешной тьме среди низких, покосившихся лавчонок, шлепая по осенним лужам и на ощупь, левой рукой подсчитывая мелочь, лежавшую в пиджачном кармане. Ужин, ночлег и водка были, пожалуй, обеспечены.

Неудачник во всем, он пользовался симпатиями духанщиков и женщин только в те редкие дни, когда

деньги оттягивали карманы, а глотка кричала во весь трактир: «Вина!» В обществе карманщиков и громил он слыл человеком, общение с которым может повести к неудачам — аресту или карточному проигрышу. Специальностью его было облегчение чужих карманов, и Пискун часто ходил в церковь, с трогательным усердием распластываясь ниц между старичков и старушек, подпевал ирмосам и ставил свечи угодникам, не забывая потереться вплотную около шуб и салопов с соблазнительно оттопыренной поверхностью. И судьба, ревнивая к своим избранникам, как мачеха к родным детям, безжалостно подсовывала Пискуну протертые кошельки с пуговицами и театральными билетами, кожаные кисеты, сломанные или дешевые часы. Еще хуже бывали моменты неуверенности в себе, отсутствия ловкости и изобретательности, досадных помех — как раз тогда, когда случай дразнил возможностью «свистнуть» ценный бумажник, полный банковых билетов.

Товарищи презирали его, и презрение это, чрезвычайно разнообразное в своих проявлениях, проникло в лице Пискуна застывшей, напряженной робостью, не лишенной, однако, жалкого трепетного нахальства. Женщины не любили его, предпочитая рослых, отчаянных сорванцов, лихих в грабеже и любви.

Итак, Пискун шел через Солдатский базар.

Впереди разговаривали. Мужской голос сладко лебезил, женский лениво и задумчиво отвечал ему. Пискун, любопытный, как все воры и дети, пошел тише, бесцельно прислушиваясь к разговору.

— Пойдем, барышня, хорошо будет!.. Табак курить, пиво пить... Такой славный барышня!.. Денег дам, много денег! Барышня!..

— Отвяжись, армяшка,— сказала женщина.— Сказала, не пойду.

— Ой, какой сердитый, такой белый, красивый...

Голос мужчины, дрожавший от возбуждения, говорил Пискуну, что женщина эта может быть молода и красива. Завидуя и облизываясь, он вышел, идя вслед за парочкой, на торговую площадь.

Здесь, в темноте, на грязной пустынной мостовой блестели огни извозчичьих фаэтонов, но армянин не взял экипажа, а направился под руку со своей случайной подругой через площадь пешком к темному ряду запертых сенных лавок. В эту же сторону лежал путь

вора, и Пискун все время не терял из вида развевающийся платок женщины.

Армянин остановился у железных дверей сенного магазина, отпер висячий замок, впустил спутницу и вошел сам, плотно притворив дверь. Так показалось Пискуну, но почти вслед за этим желтая полоса света вынырнула из щели, разрезав блеснувшую сырость тротуара тонкой, косой линией. Пискун подошел ближе, слегка, медленно приоткрыл дверь и заглянул внутрь.

Кипы прессованного сена, упираясь под самый потолок, дохнули ему в лицо приятным, пряным запахом. На маленьком деревянном столе горела сальная свечка, бросая трепетные углы теней и робкого мигающего света. Вся сцена мимолетного увлечения разыгралась на глазах Пискуна, вплоть до момента расплаты.

II

В «Сорока духанах», месте, где по вечерам собирается темный городской люд, Пискун заказал порцию борща, котлеты и стакан водки. Ел он жадно и торопливо, стремясь покончить с едой, чтобы присоединиться к кружку знакомых, шепотом толковавших в углу о событиях дня и планах на будущее.

Здесь было пять человек известных и даже прославленных воров: «домушник» Глист, долговязый, серьезный парень, молчаливый и щеголеватый; «подкидчик» Буза — плотный, загорелый старик; «железнодорожник» Митя, красивый молодец, смахивающий на приказчика, и два карманщика — Рог и Жила, бывшие цирковые конюхи. Эти двое были моложе всех, безусые, с острыми, насмешливыми глазами. Все пятеро окружили стол, посередине которого стояли бутылки кахетинского и отпитые стаканы.

Пискун сел в кружок. На него почти не обратили внимания, и разговор продолжался. Буза рассказывал содержание театральной пьесы, виденной им вчера.

— Подходит к мужу жена. «Ты, говорит, ей все покупаешь, а мне рубля от тебя нет». Размахнулась — раз по щеке! И пошло у них. Я смотрю...

— Я лучше твоего театр видел,— вставил Пискун.— Иду я через базар сейчас...

— Цыц! — сказал Глист,— не перебивай. Тебя не спрашивают.

— Ну вот! — возразил задетый Пискун.— Ведь смешно, кроме шуток. Иду я через базар...

Здесь он невольно остановился, ожидая нового окрика, но Буза равнодушно посмотрел на него, процедив:

— Болтай живее!..

— Армяшка уговорил маруху к себе в магазин идти,— заторопился Пискун.— В сенную. Вот театр был — посмотрел бы кто! Денег много у лешего, сам видел, в столе держит.

— Ну? — спросил Глист.

— Так, ничего...— оборвал Пискун и, подумав, прибавил: — Свести бы его снова да притемнить там.

Глист громко расхохотался. Другие поддержали его, наперебой высмеивая Пискуна. Буза презрительно хмыкнул, поглаживая бороду:

— Туда же!..

Мысль о рискованном и трудном деле, высказанная Пискуном, делала его смешным в глазах этих людей, признающих за товарищем право на свое уважение только тогда, когда у него есть прошлое. Слова, сказанные Пискуном, произнес бы на его месте всякий порядочный вор, но именно Пискуну, «шпане», не следовало «звонить» об этом, так как такое дело — не его слабых, неловких рук и трусливой башки.

III

Кто именно убил армянина — осталось неизвестным. Через три дня после упомянутого любовного приключения хозяина лавки нашли совершенно похолодевшим, с пробитой головой и вывернутыми карманами. А к Пискуну, когда он сидел в духане, подошел молчаливый Глист, оглянулся, нагнулся и сказал:

— Ты?

Пискун хлопнул глазами, спрашивая всей фигурой, в чем дело. Глист продолжал:

— Хорошо. Чисто. Никто не думал. Молчи покамест. А деньги спрячь подальше и поезжай в Энзели, я там буду.

Подошли другие и стали наперерыв доказывать Пискуну, что убил армянина он. Ошеломленный карманщик высыпал целый ворох божбы, ругательств и клятвенных уверений, но глаза собеседников восхи-

щенно смотрели на него, удивляясь волчьей осторожности человека, известного несколько дней назад за первого «звонаря» и сплетника.

Понемногу его оставили в покое, но каждый лелеял сладкую мысль о дележе добычи и угощал Пискуна, доказывая ему свое расположение и дружбу. Это понравилось воришке, и через два дня он уже отделывался полунамеками, разыгрывая автора преступления: без нужды возвращался к убийству, делая разные предположения, и вдруг, среди разговора, круто смолкал, хватая залпом вино. Ему стало приходить в голову, что он мог бы оборудовать это дело, и если не оборудовал, то лишь потому, что его предупредили. Сладкие минуты славы вскружили его голову, он стал глухо похвастывать, особенно пьяный и перед женщинами.

Его арестовали. На вопрос пристава:

— Ты? — Пискун, взвесив на весах сердца положение парии и героя, всеобщее снисхождение и всеобщий восторг — тихо, но внятно произнес:

— Я.

НА РЕКЕ

I

Пароход шел вниз по течению, держась горного берега. В темной воде разлива мерно дрожали и плыли его огни — маленькая движущаяся иллюминация,— зеленое с красным, похожее на глаза безобидного, праздничного дракона.

Холодный апрель дышал сыростью, широким простором и пресным запахом еще не растаявшего по берегам снега. Пассажиры первого и второго класса легли спать, в третьем еще пили чай с сушкой, бережно обсасывая кусочки сахара и одалживая у соседей лимон, чайные ложки, сахарные щипцы. Слепой, давно надоевший гармонист, окруженный матросами и бабами в душегрейках, играл волжские песни; его молодое, пришибленное лицо сохраняло профессионально-скорбное выражение, в то время как привычные паль-

цы равнодушно перебирали лады трехрядки, фыркающей потертым мехом.

Капитан, похожий на капитана Немо, суровой внешности, плечистый, с черной окладистой бородой, в валенках и полушубке, крытом сукном, стоял у штурвала, рассказывая окоченевшему от холода лоцману историю с бирками, кончившуюся печально для водолива с Судачевской баржи.

Быстрый, певучий, окающий говорок капитана странно не шел к его романтической внешности.

— Н-да,— сказал лоцман, скрипя штурвалом.— Жадничество, конечно, оно вредит.

— Я же говорю, Ермилин,— возьми он десять кулей — леший ему в толы, и кончено. Матрос-от, что бирки рвал, шустрый был, что говорить, кукарский жулик, да зарвался. Тачки бегут, а хлебник, хозяин,— у сходен смотрит. Конечно, подождать бы, а матрос и вдави бирку в куль, да свои из руки рассыпал, нагнулся дать и растянулся под тачку. «Сто!» — хлебник кричит, подошел,— бирка-то, в куль недодавленная, торчит.— Что такое?.. Воровать?! Давай кули считать! Полезли в трюм, бирки посчитали — четырнадцать кулей свистнули!..

— Н-да! — сказал лоцман, щуря глаза на темноту.— Жадничество-то, оно из кармана норовит...

Капитан потоптался; резкий ночной ветер слал холод и скуку, и, казалось, от скуки вздрагивал маленький пароход, бивший маленькими колесами черную воду разлива. Невидимые редкие льдины шуршали, задевая обшивку судна; вдали мелькнул крошечный огонек, вильнул и поплыл навстречу, разгораясь все ярче, как на ветру уголь.

— Тырышкинцы,— сказал капитан.

— Пошто тырышкинцы? — возразил лоцман.— Тырышкин пароходы еще в затоне держит. Энто казанские.

Капитан взял рупор. Встречные огни парохода двигались слева и совсем близко, судя по ясно различаемым, освещенным фонарем, белым доскам площадки.

— Кто таки-и-и?..— закричал капитан в рупор, и странный, отраженный медью трубы голос его заухал далеким береговым эхом.

— Ты-ры... ы-ы...— гулко пролетел сдавленный возглас.

Капитан пососал усы и, снова приставив рупор, крикнул из всех сил:

— У ты-рыш-ки... на лок-тя-а-х... кафтан... про-дра-ал-ся-а-а...— Повернувшись ухом к врагу, он с нетерпением ждал ответа, улыбаясь неожиданному развлечению.

— Сам ду-у-ра-ак!..— крикнули с парохода.

II

Капитан, поужинав холодной телятиной с огурцами, лег спать. Немного погодя сменился и лоцман, но спать ему не хотелось; напившись в лоцманской чаю, он вышел на палубу, тыкаясь среди сонных, распростертых у машинного кожуха, мужицких тел, задумчиво послонялся у кухни, где повар, ворча и проклиная буфетчика, устраивал себе ложе на остывшей плите, затем подошел к машине, облокотился о ящики с гвоздями — груз, следовавший в Нолинск, и тяжело засопел, разглядывая в тысяча первый раз отполированные, крутящиеся кривошипы.

Лоцман походил на угодника, какими рисуют их на иконах, с той разницей, что благочестиво-суровое выражение уступало в его лице место рассеянному, добродушному лукавству старого мужика. Ему было давно за сорок; лохматый, в красной бумажной рубахе и валенках с белыми пятнышками, он казался теперь мужичонкой, остановившимся поглазеть.

— Черта глядишь,— сказал он масленщику, длинному парню с недоброкачественным цветом лица.— Глядь, глядь ужо.

Масленщик вытирал свертком пакли нагретую маслянистую сталь.

— Если ты потревоженный человек,— медленно сказал он, скашивая глаза на сверкающие диски эксцентриков,— то отчепись.

— Уши тебе мало драли,— зашипел лоцман.— Я, чать, старшей тебя. Ты как старшему отвечать должен?

Масленщик перевел каменный взгляд с машины на свои руки, пестрые от нефти, сплюнул и снова с остервенением принялся подвинчивать крышки масленок. Лоцман, помолчав, продолжал:

— Если оно пар, то ты объясни, что и к чему. Ежеле к тебе по-людски, а не то что как... Насчет бани, например.

— Какая баня, шут еловый? — вскричал парень.— Спи иди, спи; глаза-то уже не смотрят!

— Баня,— конфузливо, но с оттенком начальственности ухмыльнулся Ермилин,— баня на паре... паром дышит... Ну... Я к тому, что баня не приспособлена. По-настоящему, ежели пар, то и баня должна ходить.

Масленщик хмуро ворочался между взлетывающими рычагами. Лоцман сказал:

— Баяли, что баба на пароходе родит.

— Наплевать,— проворчал парень.

— Наплюй, наплюй...— сонно протянул лоцман, пришедший в добродушное настроение от чая и тепла машинного воздуха.— Наплюй ей, козявке, в хвост. А папироску хошь?

Парень осклабился.

— Дай! — сказал он, протягивая грязную руку.

— Ну на уж.

Бережно нащупав в кармане желтенькую коробочку, Ермилин, почти раздавливая ее заскорузлыми пальцами, извлек папиросу и торжественно протянул масленщику. Закурив, оба выпрямились и стали держать руки с куревом как-то странно вывороченными, на отлете.

— Малиновка,— сказал лоцман.— Шесть копеек.

— А,— радостно изумился парень, затягиваясь и кашляя.— Скоко жалованья-то берешь? — спросил он.

Лоцман почесал бороду.

— Два ста рублев. Два ста рублев — это за навигацию. Собственный харч.

— Ага! — кивнул парень.— А я десять. Десять рублев.

— Тек-с,— сказал лоцман.

— А как ваша должность,— переходя на «вы», осведомился масленщик,— должность ваша, я полагаю, трудная?

— Кака трудность.— Лоцман махнул рукой.— Весной, восенью, окромя лета,— колесо ворочай, вот и трудность вся тут. Конешно, фарвахтер... насчет этого, скажем, кажный, соблюдающийся себя лоцман должон знать... А летом перекаты мают — верно; попыжишься, поскрипишь... Река усохла; летось ишшо песку на эстоль нанесено было...

— Случаются истории,— глубокомысленно сказал парень.

Лоцман положил голову на руки. Глаза его щури-

лись; яркий электрический свет пронизывал бороду, сверкая рыжими искрами жестких волос, и весь он был похож не то на ободранного кота, не то на юродивого. Крепкая мужицкая мысль дремала в морщинах его лица; разило от этой мысли запахом овчины и пота, лесами и размокшим от весенних дождей суглинком.

— Чугунку вот провели,— неожиданно сказал он.— Кои хрестьяне противу ратовали, а хоть бы што... Шурин из Блудова приезжал, бает: покатил, черт, фрчит, пар из ноздрев, а наше бабье с лопатами на рельцах понаседало: орут, скулят... а оно прет... пару этого, твоего пустили, пошпарило кому ляжки... убегли.

— А-к што ж,— сказал масленщик.— Народ даже совсем правильный, но нет в нем понятия... Машина! Я знаю, што машина, а почему нет в машине твоей линии? Машина — она должна все сообразно... А в твоем пару никакой линии нет.

Масленщик смигнул, криво улыбнулся, задумался, но все же не понял.

— Какая ж в ней линя,— развел он руками, укоризненно посматривая на аккуратные взлеты поршней.— Линии в ней, я вам скажу, не полагается. Железо... оно... известно.

— Ты послушай-кось,— протянул лоцман таким голосом, каким убеждают норовистую лошадь подойти ближе.— Шашнадцать али двадцать годов... двадцать клади... отец мой здесь путался в лоцманах, а я при нем вертелся. Мне, почитай, все четыренадцать тогда были. Тятька был шустрый, а Судачиха, мать теперешнего-то облома, жалованье всем убавила... По весне вышли мы из затона, вот как теперь, в водополье... Тятька и налижись.— С горя, кричит, пью, потому обижают!.. Пей, робя! И накачай он матросов сивухой до тошноты. Весело, пляшут, думаем, хошь капитан тверезый, а он ранее всех вдрызг... Ну вышла вот такая пьяная линия. А за полночь стригануло; помахивает тятька эдак колесо, а Мамаев, подручный его, кричит: «Куда едем! Почему, грит, обязаны мы идти по воде? А может, фарвахтер влево?! Где фарвахтер?! Говори сейчас, грит, где фарвахтер, а то сейчас в воду спихну».

Тятька эдак бараном стоит, невдомек ему. «Чего ты?» — «А то,— говорит Мамаев,— что мы есть вольные казаки!» И залился он, парень, горькими слезками. Отец в раж вошел. «Фарвахтер?! — грит.— Я тебе дам фарвахтер! Режь!» Да как махнет штурвалом, а паро-

ход загудел. Взрыли мы носом воду, поплыли. Нет никого, ни помощника, ни самого капитана. «Полный ход!» — «Есть!» А я себе стою, занятно выходит. Плыли мы, плыли, огоньки светятся. «Пристань! — тятька кричит.— Режь!» И запели они с Мамаевым совсем несуразное, пьяные, жарко им, а глотки на ветре испетушились.

Жалостно так поют себе, а меня смехи разбирают. И вдруг, значит, произошло смятение: треск, колдыбачит вокруг, пароход то дергает, то отпустит, качает — неведи бог.

А маненько светать стало, смотрю я — плетни кругом, домишко паскудный такой, тесовый. Вкокались мы ни много, ни мало в поповский огород; водополье большое, полсела затоплено. Въехали с треском, вроде как на манер ангельского копья в сатанинское туловище. Пассажиры бунтуются. Капитан пьяный, лицо у него мутное. «Есть неудовольствие?» — спрашивает. «Есть!» — «Ссадить тех, у которых неудовольствие!»

Высадили мы пассажиров, напоили буфетчика. Пьют. Поп с попадьей на балкончике ворошатся, воют, а мы им платочками помахиваем. Дали задний ход, тронулись. И поплыли мы, любезный, с пьяных глаз вверх, в обратную сторону. К селу к какому-то по пути пристали; так и так, мол,— объявился гулящий пароход, приблудный,— просим мамзелей, женский пол. Всучили нам тут штук шесть неумытых: кои солдатки, кои так, озорницы; ладно, мол, опосля разберем.

Поплыли, пьем, баб бить стали. Однако дня через полтора напитки вышли, дров нет. Забрали еще в деревне одной дров, водки, плывем в Казань. Шум, драки... соблазн по всем статьям. И что за отчаянность в те поры на всех напала — ума не приложу. А тут кочегар ходит, хихикает; машинист, говорит, утоп.— Ладно! Утоп — поставить Митьку за машиниста! Жги дрова! А Митька был кухарчонок, около плиты все, известно, ему это дело сподручнее. Однако затопил он не так, котел трещать стал, видим — взорвет.

Закрыли топку, плывем на манер баркаса. И плыли мы так до Казани, там уж нас, на устье, полиция поснимала.

— На-кось! — сказал масленщик.— Какие дела! Линия!

— Линия и есть! — убежденно кивнул Ермилин.

— Насчет пьянства ежели — линия! — протянул парень.— А касательно машины линии никакой нет.

— Глухим служить — две обедни звонить,— сказал лоцман.— Я к тому... да ты... паря, пойми: перво-наперво — машина... для чего? Чтобы, значит, пароход ехал к своему пункту. А ежели она и для пункта и для попова огорода,— кака же она тогда настоящая, правильная машина? Машина, значит, без линии.

— А где ты такую машину видел? — снова переходя на «ты» и неизвестно почему обижаясь, вскипел масленщик.— Нет, ты докажи!

— Докажу.

— А вот докажи!

— А и докажу! Ты вот поплюй-ка, поплюй козявке на хвост да выдумай.

— Выдумай! Эко, выдумал! Ты докажи!

Лоцман зевнул и пошел в сторону. Лицо его посерело, глаза стали острыми и упрямыми, а рот скашивался в презрительную усмешку. Его одолевал сон. Последнее «докажи» парня поймало его у самых дверей каюты; он сплюнул и благодушно выругался.

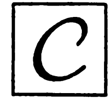
Ночь бледнела. Огромное свинцовое зеркало весенней воды тонуло в матовых испарениях, светлые изгибы волны бежали за пароходом, шумя однотонными сливающимися всплесками. Слева, над плоским берегом, пробивая туман, розовел свет. Снег, запавший на островах и озерах, колол лицо резкой весенней свежестью. Все дремало. И в полной утренней тишине реки не было других звуков, кроме воркотни лопастей, бивших воду.

Другой лоцман, молодой скуластый крестьянин, туго подпоясанный кушаком, в шапке с наушниками, говорил подручному:

— Беги-ка ты, беги, Митрий, насчет картошки.

ТРАМВАЙНАЯ БОЛЕЗНЬ

Диссертация



тех пор как мы начали по нескольку часов в день жить в трамвайном вагоне,— признаки особого рода помешательства прискорбно ясны для меня как в себе, так и в

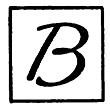
моих близких — особенно трамвайных близких. Болезнь эту я предлагаю назвать «Аспазией». Ни за что в мире не согласился бы я пытаться объяснить, почему именно это женское имя кажется мне приличным для сей болезни. Во всяком случае, тот, кто против «Аспазии», должен быть прежде всего или же изобретателен, как я, чтобы решиться подыскать другое, более бессмысленное название явлению, враждебному не только здравому смыслу, но даже здоровью, не говоря уже о мозгах; мозги, одержимые «Аспазией», разрушаются с быстротою лепешки, сокрушенной тараном. Вот подлинный рассказ больного, страдавшего проклятой «Аспазией» и получившего наконец исцеление с помощью «смит-вессона». Его предсмертная исповедь такова: «Войдя в вагон маршрута № 7, я с первых же мгновений убедился, что я здесь лишний и что двенадцать человек, стиснувших меня на задней площадке, действуют вполне сознательно и злорадно. Они стояли здесь именно затем, чтобы сдавить меня до невозможности вытащить из кармана руку. Один упирался брюхом в мой бок. Другой натирал мне кулаком спину. Третий и четвертый, бессмысленно вертя головами, старались задеть полями шляп различные части моего лица. Остальные восемь, напирая на них, усиливали этим давление, хотя не знаю, чем я заслужил их немилость, их черную злобу, не понятную моему кроткому темпераменту. Увидев рядом с собой кондуктора, обладавшего способностью проникать сквозь материю таинственным способом, я, вытянув руку из кармана обратным ходом штопора, показал кондуктору новую 20-копеечную марку. Но кондуктор, ясно, был в заговоре с пассажирами. Он брал деньги у всех, кроме меня! Он упорно делал вид, что не замечает моей вспотевшей от тоски боны, и вырвал у меня ее из пальцев (весьма грубо) лишь тогда, когда, полный отчаяния, я сделал движение отправить деньги обратно. Билет, оторванный им, представлял мало сходства с человеческим трамвайным билетом; он годился разве для близнецов, так как был куском ленты, отхваченным от двух соседних билетов. Ожидая сдачу, я обратил внимание на то, что у кондуктора имелись гривенники и пятачки. Он глубокомысленно отсчитал сдачу паутинными от дряхлости рыжими копейками. После этого нельзя уже было сомневаться в том, что шайка мучителей, приехавших, быть может, издалека специально для этой цели, раз-

узнала, посредством ловких агентов, что я должен сегодня сесть в 4 часа дня в известном месте на 7-й номер, и, хорошо разучив роли, подкупив кондуктора и вагоновожатого, предалась гнусному издевательству. Я молчал пока что, я мог еще терпеть этот ужас, но... вы послушайте. Истощив средства мучений на площадке, злодеи впихнули меня в вагон. Среди них были дамы, старики, дети!.. так рано испорчены, так безнадежно преступны! «Потеснитесь вперед»,— резко сказал кондуктор. Ни я, ни тем более плотная масса впереди меня не могли сделать этого. Все было подстроено заранее; как по команде, из-за спины, с обеих сторон сразу, искривляя меня наподобие латинского «S», начали энергично протискиваться солидные, толстые человечки. Это была игра в послушание кондуктору, направленная против меня. Стараясь уберечь кости, я изобрел наконец средство остаться живым: я принялся вертеться в одну сторону, вкруг вертикальной оси, наподобие входа в сад Народного дома. Тогда меня мгновенно выжали в щель пространства между сидевшими и стоявшими. Головой я упирался в стекло, а ногами куда-то. Оглядываясь, я заметил, что шляпы дам были устроены таким образом, чтобы регулярно раздражать меня — жертву, плакавшую теперь обильными, чистыми, как хрусталь, слезами. Перья шляп свешивались, раздражая мое лицо нарочитыми щекочущими касаниями,— в ушах, за воротником, на носу — я беспрерывно ощущал демонский трепет. Скоро мне заехали в глаз самым настоящим предохранителем — большего ужаса я не в силах представить. Вообразите, что вам продернули сквозь голову канат и тянут его через глазную орбиту. Честное острие булавки, по-моему, раз навсегда решает вопрос: глаз проколот, в чем вы нимало не сомневаетесь,— и с меньшей болью. Тогда как дьявольская дробинка предохранителя, оглушив болью, от которой хочется скакать на одной ноге, оставляет обманчивую надежду, что глаз, может быть, цел. Лишенный глаза, обливаясь слезами и кровью, я хотел было занять освободившееся рядом со мной место, но к нему, как щука к уклейке нырком, под мышками стоявших, стрельнул некий проворный хват, заняв его с видом ужаленного Юпитера. Усевшись на мою правую ногу, некий субъект старательно принялся устраивать себе гнездышко меж мной и моим соседом. Как он вошел в беспространственность, можно объяснить лишь сжа-

тием меня до толщины листа писчей бумаги. То же повторилось и с моей левой ногой, которой, с теми же целями, занялась богиня восемнадцати пудов вес...» Здесь перерыв рукописи. Следы размазанной крови и кристаллики соли. Затем следует: «Вагон остановился наконец в Риме. Виден собор св. Петра, Колизей и Тарпейская скала. На улицах бегают обезьяны. Все люди одноглазы, как я. Пишу это в писсуаре на углу Делла-Фантазия и Чивитта-Невскевия. Я вставлю свой глаз в оправу из кости циклопа и метну его вверх, и он уронит сверху слезу в двести грамм спирта, которую я выпью с моим другом Нена-Самбом. Как хорошо! Какие запахи! «Не тронь меня»,— сказала Маргарита и скрылась в дверь, покинув навсегда...»

НАКАЗАНИЕ

I



ертлюга отправился на чердак с подручным «закреплять болты». Оба сели на балку, усыпанную голубиным пометом, и, вынув бутылку спирта, стали опохмеляться.

Накануне, по случаю воскресенья, было большое пьянство, а теперь жестоко болела голова, нудило, и по всему телу струилась мелкая ознобная дрожь. Вертлюга, глотнув из бутылки, закусил луковицей и сказал, передавая напиток подручному:

— Ну-ка, благословясь!

Подручный сделал благоговейное лицо и осторожно потянул из горлышка. Глаза его заслезились, на скулах выступили красные пятна. Он оторвался от бутылки, перевел дух и бойко сплюнул. Это был крупный молодой парень с жестким лицом.

— Чудесно! — сказал Вертлюга, глотая слюну.— Совсем другой человек стал!

В полутемной прохладе чердака стало как будто светлее. Приятели посидели молча, смакуя желанное удовлетворение. Затем Вертлюга встал, взял большой французский ключ и деловито, сосредоточенно подвинул гайку. Болты держались крепко, но совершить хотя

бы и бесполезное действие требовалось для «очистки совести».

— Идем, Дмитрич,— сказал подручный,— болты эти в своем виде сто лет просуществуют.

— А все ж! — отозвался Вертлюга, сходя по лестнице.— Бутылку в песок зарой, заглянем еще сюда.

Подручный спрятал бутылку, и оба сошли вниз, в грохот и суету деревообделочной мастерской. Восемь машин разных величин и систем, сотрясаясь от напряжения, выбрасывали одну за другой гладко обструганные доски. Шипя, как волчки, или же резко жужжа, вихренно вертелись ножи, мягкая, сыроватая, напоминающая мыльную пену, бесконечным кружевом ползла из-под них стружка.

II

Доска, брошенная концом на чугунную решетку машины, медленно втягивалась шестерней и ползла дальше, к бешеной воркотне ножей, встречавших ее. Иногда большие куски дерева, вырванные ножами, летели через всю мастерскую.

Доска проходила станок и, гладко выстроганная, с красивым багетным краем, тихо сваливалась на мягкую кучу стружек. Безостановочно клубилась белая древесная пыль, садясь на пол и потолок, лица и руки.

Сквозь грохот машин слышалось однообразное шипение приводных ремней. Скрещиваясь, змеились они от потолка к полу, фыркая швами. Широкие, темные ленты их мерно полосовали воздух, насыщенный запахом керосина, машинного масла и отпотевшего железа.

В окна смотрел ярко-желтый блестящий день. Раздраженные, повышенные человеческие голоса носились по мастерской, вместе с пылью и громом машин. Было непонятно, зачем люди говорят о не нужных им и неинтересных вещах.

Один выражал неудовольствие, что много стружек, хотя стружки ему не мешали и занят он был не у строгальной машины, а у станка для вырезки тормозных колодок. Другой доказывал сторожу, что тот ворует казенные свечи. Третий бранил доску за то, что суковата и с трещинами...

Вертлюга поднимал доски, тащил их к станку, втискивал и смотрел, как бегло выстрогивались желобки. Мысли его вертелись вокруг гульвивой и стрежистой речки Юргенки, на которой, будучи страстным удильщиком, просиживал он частенько свободные вечера и праздники. Он ясно увидел речку.

Бесчисленные синие колокольчики заливают нежным голубым маревом яркую траву берегов, поросших шиповником и черемухой; чудно пахнет цветами. Тишина, никого нет. А вот глубокий спокойный омут под широким обрывом. Там ветки мокнут в воде, глаза слепит мошкара, обнаженные, упавшие в воду корни струят воду жемчужным блеском.

III

Таинственная жизнь рыб скрыта черной водой. Поплавок заснул над глубоко затонувшими облаками. Вот он задумчиво шевельнулся... поплыл... дернулся... побежали круги... нырнул,— и удочка выбрасывает на воздух брызгающего каплями, свивающегося кольцом, тяжелого краснoперого окуня. Снова спит поплавок, ленивая, сладкая тень лежит вокруг рыболова, и пахнёт мгновенный ветерок,— как в раю.

— А хорошо бы теперь уйти рыбу ловить! — тоскливо вздохнул Вертлюга.

Но сейчас же, цепляясь друг за друга, побежали разные соображения. Во-первых, осталась еще тысяча досок спешного, хорошо оплачиваемого заказа. Ножи могут сломаться, притупиться или выскочить, и некому их будет поправить. Затем, и это главное, он лишается половины дневного заработка. Назавтра же вагонный мастер спросит:

— Вертлюга! Вчера почему ушел?

— Захворал, Владислав Сигизмундович.

— Хорошо,— говорит мастер, попыхивая сигарой,— а вот поди-ка сюда...

Ведет в контору и говорит:

— Штраф.

Вертлюга подумал еще немного, но было ясно, что, кроме штрафа, других неприятностей быть не может. Наденет он шапку, выйдет за ворота, возьмет дома удочку, жестянку с червями, корзину и — на реч-

ку. А доски... Черт с ними! Он даже улыбнулся: детской, несуразной выходкой показалось ему это внезапно загоревшееся желание. Но решение было еще неполным, еще не укрепилось в душе настолько, чтобы он мог тут же бросить станок и направиться к выходу.

Вертлюга испытывал тяжесть и раздражение. Бессознательно ворочая непривычные позывы души, он боролся с самим собою, изредка разражаясь короткими, скупыми словами, в которых изливалась внутренняя его работа:

— Ничто меня здесь не держит. Взял да ушел. Эка важность! Ухожу! Чего я стою да себя мучаю?! Ежели не могу я сегодня, так-таки совсем не могу!

IV

Годами копившееся отвращение к скучному, однообразному труду перешло в болезненно-капризное состояние, когда человек готов заплатить какой угодно ценой за удовлетворение сильной, внезапной прихоти. Вертлюга посмотрел на часы; стрелки указывали полчаса третьего.

— Вот эту стопку докончу и уйду,— сказал Вертлюга.— Штук десять тут.

Сказав это, он понял, что близок к окончательному решению, и это его успокоило. Стопа быстро подходила к концу. Он стал считать доски по мере того, как они вываливались из станка. Одна, другая, третья, четвертая. Еще ползет. Половина. Четверть. Сейчас выйдет... упала.

— Последняя,— пятая.

Шум прекратился. Ножи и шестерни остановились. Ремень, соскочив со шкива, жалобно фыркал и бессильно болтался.

— Ремень соскочил, Дмитрич,— сказал подручный.

— Соскочил, так наденем.

Вертлюга руками захватил ремень и стал натягивать его на крутящийся шкив. Ремень упрямо соскакивал, не поддаваясь Вертлюге, но вдруг, попав на место, повернул шкив неуловимо быстрым движением. Не успел Вертлюга выпрямиться, как его, ущемив одежду между ремнем и шкивом, сильно дернуло вниз, ударило головой о станок, перевернуло, подбросило и отшвырнуло в сторону, в мягкую кучу стружек.

Последнее, что видел он в этот момент,— грязный, в опилках пол,— заволокло дымной завесой. «Держи!» — крикнул он безотчетно, падая с саженной высоты постамента, и упал, разбив челюсть. Затем сплошная тьма потопила его.

Вдруг кто-то спросил: «Ну как? Дышит?» Вертлюга вздрогнул, открыл глаза, но быстро закрыл их: свет болезненно резал зрение, ослабевшее от десятидневной горячки.

V

Лежа с закрытыми глазами, Вертлюга продолжал видеть больничную палату, сестру милосердия в сером платье и высокий белый потолок. Это было все ново и странно, и он улыбнулся, думая, что видит сон. На другой день ему стало хуже.

Он умер через четыре дня, а перед смертью попросил доктора вызвать вагонного мастера. Когда тот пришел и смущенно остановился перед койкой,— Вертлюга быстро и отчетливо проговорил:

— Владислав Сигизмундович!

— Что, Вертлюга?

— А вот видите, приходится попрощаться. Умираю. Простите, если что...

— Н-да, неприятно,— сказал мастер, откашливаясь и хмурясь.— Дело такое, божье дельце...

— Ну-к што ж! — перебил Вертлюга деланно-равнодушным голосом.— Помираю. А из-за чего? Почему? Вот потому... Потому, что воли моей я не исполнил.

— Ремень без палки надевал... да.

— Без палки? — переспросил Вертлюга.

— Разумеется. Так никто не делает. Теперь без ног лежишь.

— Ты балда! — сказал вдруг Вертлюга сердито и громко, так, что больные услышали и оглянулись.— Балда! Разве я про палку?.. Дерево стоеросовое!

Он нервно натянул одеяло и повернулся лицом к стене.

ВОКРУГ СВЕТА

I

Последние десять миль, отделявшие торжествующего Жиля от шумного Зурбагана, пешеход прошел так быстро и весело, словно после каждого шага его ожидало несравненное удовольствие. Узнавая покинутые два года назад места, он испытывал восхищение больного, чудом возвращенного к жизни, которому блаженное чувство безопасности показывает домашнюю обстановку в звуках ликующего оркестра.

Костюм Жиля в день его возвращения состоял из серых шерстяных чулок до колен, толстых башмаков с пряжками, кожаных коротких штанов, голубой парусиновой блузы и огромной соломенной шляпы, покоробившейся самым причудливым образом. Дыра от пули была единственным ее украшением. У пояса, в кожаной кобуре, висел старый друг, семизарядный револьвер, а за плечами — емкая дорожная сумка.

Жиль твердо постукивал суковатой палкой и свистал так пронзительно, что воробьи вспархивали, увидев его, за сто шагов.

Описав дугу кривой дорогой равнины, отделяющей рабочие предместья Зурбагана от лесистых долин Кассета, Жиль вступил наконец в крикливую улицу Полнолуния. Ранний час дня свежим блеском и относительной для этих широт прохладой придавал уличному движению толковую жизнерадостность. Крупная фигура Жиля, особенная стремительная походка, выработанная долгими странствованиями, густой кофейный загар, подавляющее напряжение лица, вызванное волнением, и бессознательная улыбка, столь сложная и заразительная, что заставила бы обернуться мрачнейшего ипохондрика, скоро обратила на путешественника внимание многих прохожих. Жиль взглянул на часы — было половина девятого. «Ассоль спит,— решил он.— Зачем портить восторг встречи смесью сна с действительностью? Я все равно — дома». Заметив, что порядком устал, Жиль, свернув в аллею просторного бульвара, выбрал кабачок попроще и, сев в еще пустом зале за круглый стеклянный стол, сказал, чтобы подали яичницу с луком, бутылку водки и крепких сигар.

Почти тотчас вслед за ним вошли: меланхолический лавочник, держа руки под фартуком; толстый надутый мальчик, лет десяти, красный от нерешительности и любопытства; девушка мужского сложения, в манишке и стоячем воротнике, с мужской тростью, мужским портфелем и мужскими манерами; испитой субъект с длинными волосами; кургузый подвижной господин, свежий и крепкий; две барышни и несколько молодых людей, безлично-галантерейного типа с тросточками и золотыми цепочками.

Хозяин, смотря поверх очков и прижимая пальцем то место газеты, на котором застигло его такое изумительное в ранний час нашествие посетителей, почесал свободной рукой спину, воспрянул и потряс огромным звонком. Слуги, вбежав, принялись кланяться, стирать пыль, принимать заказы и покрикивать друг на друга.

Тем временем посетители, сев в разных местах зала, открыто уставились на Жиля взглядами театральных зрителей. Заметив это, молодой человек смутился, но скоро сообразил, в чем дело. Газеты, видимо, были извещены о нем,— вероятно, выклянчили у Ассоль портрет, тиснули его в рамке барабанных статеек, и экспансивные зурбаганцы, с догадкой, что герой — он, человек воинственно-бродячей наружности, ждали подтверждения этому; ждали, отдадим справедливость, смирно и уважительно, однако при виде стольких глаз, круглых и немигающих, третий глоток водки застрял в горле Жиля. Он думал, что хорошо бы удрать. Сигара заставила его кашлять, а яичница упрямо разваливалась на вилке.

Вдруг положение изменилось,— лопнул пузырь томления: мужевидная девица, понюхав поданный шоколад, крякнула, обвела общество призывным взором, решительно поднялась и, подойдя к Жилю, громко спросила:

— Разрешите мои сомнения. Портрет кругосветного путешественника, Жиля Седира, напечатанный в журнале «Герольд», хроникером которого имею честь состоять я, Дора Минута, очень напоминает ваши черты. Не вы ли славный зурбаганец Седир, два года назад вышедший на стотысячное пари с фабрикантом Фрионом, что совершите кругосветное путешествие без копейки денег, сроком в два года?

Эта тирада заставила даже хозяина покинуть стойку и придержать дыхание.

— Я, я! — сказал взволнованный Жиль, смеясь и раскланиваясь с повскакавшей вокруг публикой. Послышалось: «ура! браво! приветствуем!» — и Жиль оказался в кругу радостно-любопытных лиц. Все хотели знать, как он путешествовал, с какой целью, что видел и испытал.

Немного можно ответить сотням вопросов и обращений,— однако, настроенный благодушно, Жиль рассказал главное. Его заставило добыть таким способом деньги изобретение, имеющее важное будущее. Никто не давал денег для окончательных опытов. Министерство благосклонно отвертелось, капиталисты не доверяли, а сам изобретатель, вставая поутру, не знал, будет ли сегодня обедать. Эксцентрик Фрион, жестокой забавы ради, предложил ему обогнуть земной шар за сто тысяч, покинув город без денег, съестных припасов и спутников. Нотариус скрепил это условие. Опаздывая сверх двух лет даже на одну минуту (секунды прощались), Жиль не получал ничего.

Но он выполнил задачу неделей раньше условленного. Конец нищете! Начало славы изобретателя пришло к его ногам. Жиль вскользь, но одушевленно и любовно коснулся яркой пестроты двухлетнего путешествия. Прекрасной феерией развернулось в его душе опасное прошлое. Все способы передвижения испытал он: ходьбу, лодку, носилки, слонов, верблюдов, велосипед, барки, пароходы, парусные суда. Храмы и башни, развалины и тоннели, тропические леса, горные цепи, пропасти, водопады, цветы, пальмы, миражи — простое перечисление виденного заставило бы не один раз перевести дух. Настроение опасности, силы, радости, экстаза, величественного покоя, бури и тишины, молитвы и милых воспоминаний, решительности и вызова — всю сложную мелодию их Жиль передавал сердцам слушателей нервными толчками рассказа, стиснутого возбуждением торжества. Пламенное воспоминание это, витая в избранной красоте прошлого, заразило аудиторию. Лица и глаза светились возвышенной завистью людей подневольных, но увлеченных.

— А видели ли вы рыбий храм? — басом сказал толстый мальчик, видимо давно уже державший этот вопрос на спуске своей любознательности. Тотчас же

великий конфуз съел его без остатка, и, красный, как помидор, смельчак жалостно запыхтел.

— Какой храм, милочка? — улыбнулся Седир.

— В котором дикари поклоняются рыбам,— с отчаянием проголосил бедняк, прячась за Дору Минуту, так как все пристально посмотрели на его круглую, стриженую голову.— Когда дикари пляшут...— выпискнул он при общем хохоте и исчез, покончил существование как сознательный член общества, утопив свою кругленькую фигуру в путанице угловых стульев.

Жиль встал, пожимая руки поклонников, в воздухе было тесно от восклицаний. За дверью кликнул он на всякий случай извозчика,— и не напрасно, потому что любопытные явно были огорчены этим. Скоро Жиль стучал у бедных дверей на шестом этаже, в комнату жены.

Дверь тихо приоткрылась, показала легкую молодую женщину с блистающими глазами и вдруг стремительно отлетела к стене. Оба чуть не упали с высокого порога, на котором стиснули друг друга теплом, счастьем и стосковавшимися руками. Амур, всхлипывая и визжа от восторга, повис на них с цепкостью уистити, поймавшей бабочку, повернул ключ и опустил занавески.

II

Еще два года назад решено было в условии меж Фрионом и Жилем, что установление выигрыша пари и получение премии состоятся в редакции «Элеватора». За два часа перед тем, когда Седиру следовало быть на месте триумфа, в дверь постучали корректным, негромким стуком первого посещения.

Вошел человек, скромной, солидной внешности, с привычно висящим в руках портфелем и осмотрел скудную обстановку комнаты неподражаемо пустым взглядом официального лица, обязанного быть бесстрастным во всех, без исключения, положениях.

— Норк Орк, поверенный известного вам Фриона,— ровно сказал он, кланяясь погибче Ассоль и каменным поклоном — Седиру.

Тень предчувствия напрягла нервы Жиля. Он подал стул Орку и сел на другой сам.

— Дело, благодаря которому я имею честь видеть вас, хотя предпочел бы ради удовольствия этого дело

совершенно иного рода,— заговорил Орк,— касается столько же вас, сколько и партнера вашего по пари, заключенному меж вами и доверителем моим, бывшим фабрикантом Фрионом. Я уполномочен сообщить — и тороплюсь сделать это, дабы скорее сложить обязанность печального вестника,— что смелые, но неудачные спекуляции ныне совершенно уравняли с вами Фриона в отношении материальном. Он не может заплатить проигрыша.

— Жиль, Жиль! — кричала Ассоль, поворачивая к себе белое лицо мужа не чувствуемыми им маленькими руками.— Жиль, не дрожи и не думай! Перестань думать! Не смей!..

Седир перевел дыхание. Синяя жила билась на его лбу,— он летел в пропасть. Удар был невероятно жесток.

— Так. И никакой пощады? — тоскуя, закричал Жиль.

Норк Орк поднял глаза, опустил их и встал, застегиваясь, с вытянутым лицом.

— Мне поручено еще передать письмо — не от Фриона. Вам пишет известный Аспер. Кажется, это оно... да.

Жиль бросил письмо на стол.

— Как-нибудь прочитаю,— вяло сказал он, обессиленный и уставший.— Вы, конечно, не виноваты. Прощайте.

Орк вышел; прямая спина его несколько времени была видна еще Жилю сквозь дверь. Ассоль громко, безутешно плакала.

— Плачешь? — сказал Жиль.— Я тебя понимаю. Вот судьба моего изобретения, Ассоль! Я обнес его вокруг всей земли, в святом святых сердца, оно радовалось, это металлическое чудо, как живое, спасалось вместе со мною, ликовало и торопилось сюда...— Он осмотрел комнату, бедность которой солнце делало печально-крикливой, и невесело рассмеялся.— Что же? Залепи дырку в кофейнике свежим мякишем. Начнем старую голодную жизнь, украшенную мечтами!

— Не падай духом,— сказала, поднимаясь, Ассоль,— когда худо так, что хуже не может быть,— наверно, что-нибудь повернется к лучшему. Давай подумаем. Твое изобретение не теперь, так через год, два, может быть, оценит же кто-нибудь?! Поверь, не все ведь идиоты, дружок!

— А вдруг?

— Ну, мы посмотрим. Во-первых, что же ты не читаешь письмо?

Жиль содрал конверт, представляя, что это — кожа Фриона: «Жиль Седир приглашается быть сегодня на загородной вилле Кориона Аспера по интересному делу. Секретарь...»

— Секретарь подписывается, как министр,— сказал Жиль,— фамилию эту разберут, и то едва ли, эксперты.

— А вдруг...— сказала Ассоль, но, рассердившись на себя, махнула рукой.— Ты пойдешь?

— Да.

— А понимаешь?

— Нет.

— Я тоже не понимаю.

Жиль подошел к кровати, лег, вытянулся и закрыл глаза. Ему хотелось уснуть,— надолго и крепко, чтобы не страдать. Неподвижно, с отвращением к малейшему движению, лежал он, временами думая о письме Аспера. Он пытался истолковать его как таинственную надежду, но о катастрофу этого дня разбивались все попытки самоободрения. «Меня зовут, может быть, как любопытного зверя, гвоздь вечера». Иные имеющие прямое отношение к его цели предположения он изгонял с яростью женоненавистника, обманутого в лучших чувствах и возложившего ответственность за это на всех женщин, от детского до преклонного возраста. Он был оскорблен, раздавлен и уничтожен.

Ассоль, жалея его, молча подошла к кровати и легла рядом, затихнув на груди Жиля. Так, обнявшись, лежали они долго, до вечера; засыпали, пробуждались и засыпали вновь, пока часы за стеной не прозвонили семь. Жиль встал.

— Пойдем вместе, Ассоль,— сказал он,— мне одному горестно оставаться. Пойдем. Уличное движение, может быть, развлечет нас.

III

Аспер, перейдя те пределы, за которыми понятие богатства так же неуловимо сознанием, как расстояние от Земли до Сириуса, тосковал о популярности, подобно Нерону, ездившему в Грецию на гастроли.

Владыка материи сидел в обществе двух господ ис-

пытанного подобострастия. Был вечер; большая терраса, где произошло нижеописанное, в ясном полном свете серебристых шаров заплыла по контуру теплым глухим мраком.

Когда вошли Жиль и его жена, Аспер встал медленно, точно по принуждению, скупо улыбнулся и сел снова, дав на минуту свободу выжидательному молчанию. Но не он прервал его. Истерзанный Жиль сказал:

— Объясните ваше письмо!

— Оно благосклонно. Вы выиграли пари с Фрионом?

— Да,— безуспешно.

— Фрион — нищий?

— Да... и мошенник, кстати.

— Ах! — любовно прислушиваясь к своему звучному голосу, сказал Аспер.— Право, вы очень суровы к нам, игрушкам фортуны. И мы бываем несчастны. Дорогой Седир, я знаю вашу историю. Я вам сочувствую. Однако нет ничего проще поправить это скверное дело. Если вы, начиная с девяти часов этого вечера, отправитесь второй раз в такое же путешествие, какое выполнили Фриону, на тех же условиях, в двухлетний срок, я уплачиваю вам проигрыш Фриона и свой, то есть не сто тысяч, а двести.

— Как просто! — сказал пораженный Жиль.

— Да, без иронии. Очень просто.

Жиль помолчал.

— Если это шутка,— сказал он, посмотрев на изменившееся лицо Ассоль взглядом, выразившим и жалость, и тяжкую борьбу мыслей,— то шутка бесчеловечная. Но и предложение ваше бесчеловечно.

— Что делать? — холодно сказал Аспер.— Хозяин положения вы.

Насмешка взбесила Жиля.

— Да, я вернулся раз хозяином положения,— вскричал он,— только затем, чтобы надо мной издевались! Гарантия! Я пошел!

Все силы понадобились Ассоль в этот момент, чтобы не разрыдаться от горя и гордости.

— Жиль! — сказала она.— И любить и проклинать буду тебя! Как мало ты был со мною! Впрочем, покажи им! Я заработаю!

— Гарантия? — Аспер взял из рук у одного притихшего подобострастного господина банковскую новую

книжку и подал Жилю.— Просмотрите и оставьте себе. Сегодня тринадцатое апреля тысяча девятьсот шестого года. Вклад на ваше имя; вы получите его по возвращении, если не позже девяти вечера тринадцатого апреля тысяча девятьсот восьмого года явитесь получить лично.

— Так,— сказал Жиль,— я должен идти сегодня? Не могу ли я получить отсрочку до завтра? Один день... Или это каприз ваш?

— Каприз...— Аспер серьезно кивнул.— У меня не всегда есть время развлечься, завтра я могу забыть или раздумать. Однако без десяти девять; решайте, Седир: спустя десять минут вы направитесь домой или будете идти к горам Ахуан-Скапа.

Жиль ничего не сказал ему, он смотрел на Ассоль взглядом полубезумным, силою которого мог бы, казалось, воскресить и убить.

— Ассоль,— тихо сказал он,— еще один раз... последний, верный удар. Сама судьба вызывает меня. Я тебя утешать не буду, оба мы в горе,— помни только, что такому горю позавидуют два года спустя многие подлецы счастья. Дай руку, губы,— прощай!

Ассоль обняла его крепко, но бережно, словно этот мускулистый гигант мог закачаться в ее руках. Носки ее башмаков еле касались пола. Жиль прочно поставил молодую женщину в двух шагах от себя, вернулся к столу, где подписал предложенное условие, и, пристально посмотрев на Аспера, сошел по широким ступеням в сад.

Но едва ноги его оставили последний лестничный камень, как он твердо остановился в ужасе от задуманного. Он знал, что, сделав только один шаг вперед, больше не остановится, что шаг этот ляжет бременем всего путешествия. Потрясенным сознанием начал он обнимать грозную громаду предпринятого. Если утром, не злопамятный от природы, он переживал в восторге удачи только вдохновенное и красивое, то теперь бился над пыльной, темной изнанкой сверкающего ковра. Пространство стало реальным, ясным во всей необозримости изобилием мучительных переходов; болезни, утомление, скучный попутный труд, изнурительная тоска о письмах, мнительность маниакальной силы, проволочки горше, чем отказ,— все стороны походного угнетения стиснули его сердце.

Аспер стоял несколько позади. Вдруг он побледнел,— состояние Жиля передалось ему с убедитель-

ностью внезапно хлынувшего дождя. Он задумался.

— Ну вот...— сказал Жиль, скрутив слабость всей яростью ослепшей в муках души,— я иду. Ступай домой, милая!

Он шагнул, пошел и временно перестал жить. На мгновение странная иллюзия встряхнула его: ему казалось, что он шагает на одном месте,— но быстро исчезла, когда поворот аллеи устремился к смутно белеющему шоссе.

В глазах его были глаза жены, пульс бился неровно и слабо, сердце молчало, холодные руки встречались одна с другой бесцельно и мертвенно. Он ни о чем не думал. Подобно лунатику, сошел он с шоссе на тропу в том самом месте, где два года назад связал лопнувший ремень сумки. Была весна, странная восприимчивость мрака доносила эхо могучих водопадов Скапа, чувственные благоухания цветущих долин неслись в воздухе, и тысячи звезд вдохновенно жгли тьму огнями отдаленных армад, столпившихся над головой Жиля.

Равнодушный ко всему, ровным, неслабеющим шагом прошел он долину и часть холмов, песчаной тропой вышел на семиверстную лесную дорогу, одолел ее и заночевал в поселке Альми,— первой, как и два года назад, тогда утренней, остановке. Хозяин узнал его.

— За постой я пришлю с дороги,— сказал Седир,— дайте вина, свечку и чистое белье на постель, сегодня у меня праздник.

Он сел у окна, пил, не хмелея, курил и слушал, как на дворе влюбленный, должно быть, пастух настраивает гитару.

— Заиграй, запой! — крикнул в окно Жиль.— Нет денег, плачу вином.

Смеясь, поднялась к окну пылкая песня:

В Зурбагане, в горной, дикой, удивительной стране,
Я и ты, обнявшись крепко, рады бешеной весне.
Там весна приходит сразу, не томя озябших душ,—
В два-три дня установляя благодать, тепло и сушь.
Там, в реках и водопадах, словно взрывом, сносит лед;
Синим пламенем разлива в скалы дышащее бьет.
Там ручьи несутся шумно, ошалев от пестроты;
Почки лопаются звонко, загораются цветы.
Если крикнешь — эхо скачет, словно лошади в бою;
Если слушаешь и смотришь,— ты,— и истинно,— в раю.
Там ты женщин встретишь юных, с сердцем диким и прямым,
С чувством пламенным и нежным, бескорыстным и простым.
Если хочешь быть убийцей — полюби и измени;

Если ищешь только друга — смело руку протяни.
Если хочешь сердце бросить в увлекающую высь,—
Их глазам, как ворон черным, покорись и улыбнись.

Песня развеселила Седира: «Это о тебе, Ассоль,— сказал он.— И ради тебя, право, не пожалею я ног даже для третьего путешествия. Не я один был в таком положении». Он вспомнил ученого, прислуга которого, думая, что старая бумага хороша для растопки, сожгла двадцатилетний труд своего хозяина. Узнав это, он поседел, помолчал и негромко сказал испуганной неграмотной бабе:

— Пожалуйста, не трогайте больше ничего на моем столе.

Разумеется, он повторил труд.

Жиль так задумался, светлея и воскресая, что не слышал, как вошел Аспер. Лишь увидев его, он припомнил стук колеса и голоса на дворе.

— Вернитесь,— побагровев и нервничая, сказал толстяк.— Я скоро поехал догонять вас. Пустой формальностью было бы выжидать два года. Я, так и так,— проиграл; живите, изобретайте.

— Однако,— сказал Асперу в конце недели темный граф Каза-Веккия,— вы, я слышал, поторопились проиграть ваше пари?!

— Нет, меня поторопили! — захохотал Аспер.— И, право, он заслужил это. Конечно, я оторвал деньги от своего сердца, но как хотите,— думать два года, что он, может, погиб... Передайте колоду.

— Да, жиловат этот Седир,— неопределенно протянул граф.

— Жиловат? Это — сокрушитель судьбы, и я ему, живому, поставлю памятник в круглой оранжерее. А та разбойница, Ассоль... Увы! Деньгами не сделаешь и живой блохи. Как,— бита? Нет, это валет, господин...

ВОЗВРАЩЕНИЕ «ЧАЙКИ»

Черняк сел на большой деревянный ящик, рассматривая обстановку низкого, сводчатого помещения.

Известка в некоторых частях стен обвалилась, и эти, словно обглоданные, углы выглядели угрюмо, в то время как три хороших цветных ковра висе-

ли неподалеку от них, стыдливо расправляя в таком не подходящем для них месте свои узорные четырехугольники.

Несколько деревянных скамеек торчали вокруг стола, заваленного самыми разнообразными предметами. Толстая связка четок из розового коралла валялась рядом с пятифунтовым куском индиго; куски материи, валики скатанных кружев, ящики с сигарами, жестяная коробка, полная доверху маленькими дамскими часиками; нераспечатанные бутылки с вином; пачка вееров, маленький тюк перчаток и еще многое, чего нельзя было разглядеть сразу. Три койки, из которых одна выглядела меньше и легче, потянули Черняка к своим заманчивым одеялам; он только вздохнул.

Человек, сидевший у заткнутого свертками тряпок окна, встал и подошел к прибывшим, попыхивая короткой трубкой. Свеча, посаженная на гвоздь, торчавший из стены, бросала впереди этого человека уродливую огромную тень, совершенно не идущую к его невыразительным, крупным чертам, вялому взгляду и прямой, крепкой фигуре. Он был гладко причесан; одет, как одеваются матросы на берегу,— смесь городского и корабельного.

— Теперь познакомимся,— сказал первый вошедший с Черняком.— Имя мое Шмыгун, а этого господина Строп [1], потому что он хочет всегда много. А вы?

Черняк назвал себя.

— Имею основания,— сказал Шмыгун,— думать, что это тоже не имя. Впрочем, вы в этом свободны.

Он повернулся и вышел за дверь; тогда Строп сел против Черняка, положил руку на колени, вынул изо рта трубку и осведомился:

— Где вы плавали?

— Нигде.

Строп задержал дым, отчего щеки его как бы вспухли, поднял брови и похлопал слегка глазами.

— Хорошо плавать,— заявил он через минуту, несколько сухим голосом. Слова его падали медленно и тяжеловесно, словно прежде, чем произнести их, он каждое зажимал в руке, потихоньку рассматривал, а затем уже выбрасывал эту непривычную тяжесть.— Ну а дела как?

— Скверно.

---

[1] Строп — особый канат для поднятия груза.

— Скверно?! — Строп подумал.— Это хорошо,— с убеждением произнес он.

— Разве? — улыбнулся Черняк.— Что хорошо?

— Плавать хорошо,— сказал Строп.— Чудесная работишка!

Черняк молчал. Тусклые глаза моряка обратились к двери — вошел Шмыгун. В руках у него были две тарелки, под мышками, с каждой стороны тела, торчали увесистые бутылки. Он подошел к столу, где не было свободного уголка даже для воробьиного ужина, и приостановился, но тотчас же поднял ногу, ловко отстранил ею с краю стола разную рухлядь.

— Я тебе помогу,— сказал Строп, когда Шмыгун поставил тарелки и принес нож.— У тебя руки заняты.

— Помоги есть! — Шмыгун пододвинул скамейки, вытащил пробки.— Кушайте, господин Черняк!

Черняк взял кусок хлеба, откусил, и вдруг им овладело тяжелое, голодное волнение. Ноги запрыгали под столом, проглотить первый прием пищи стоило почти слез. Он справился с этим, удерживаясь от хищного влечения истребить моментально все, и ел медленно, запивая мясо вином. Когда он поднял наконец голову, пьяный от недавней слабости, еды и старого виноградного сока, восторг сытости граничил в нем с состоянием полного счастья. Черняк хотел встать, но почувствовал, что ноги на этот раз лишние, он неспособен был управлять ими. Действительность начинала принимать идеальный оттенок,— лучшее доказательство благодушного охмеления. Вино и сон кружили ему голову.

Шмыгун сказал:

— Держитесь! Мы поговорим завтра. Сейчас я вас уложу.

— Хорошо спать! — произнес Строп. Улыбка медленно проползла по его лицу и скрылась в жующем рте.

— Кто вы? — спросил Черняк.

— Я?? — Шмыгун хмыкнул, оттягивая нижнюю губу.— Моя специальность — натянутые отношения с таможней. В сущности, я благоденствую, потому что извольте-ка купить дешево то, что с таможенной пломбой стоит, пожалуй, втрое против настоящей цены.

— Я понял,— сказал Черняк.— Вы портовый контрабандист!

— Затем,— продолжал Шмыгун, как бы не расслышав этих слов,— недавно я лишился хорошего компаньона; молодой был, проворный и сообразительный.

Умер. Царапнули его неподалеку, в заливе, с кордона ружейным выстрелом. Я уцелел. А вы — чем вы хуже его? Я умею определять людей.

Черняк хотел что-то ответить, но не мог и закрыл слипающиеся глаза. Когда он открыл их, помещение тонуло в колеблющемся тумане. Дверь хлопнула, шум этот заставил его вздрогнуть; он сделал усилие, повернулся и увидел взволнованное, сияющее лицо оставившее в нем впечатление мгновенного эффекта воображения. Глаза девушки, лучистые, удивленные при виде его, беспокоили Черняка еще, пожалуй, в течение десяти секунд, затем он мгновенно потерял слабый остаток сил и уснул, склонив на стол голову. Впрочем, это не было еще окончательной потерей сознания, так как он слышал возбужденный, невнятный гул и испытывал нечто похожее на потерю веса. Это Шмыгун и Строп несли его на кровать...

....

— Катя, он будет жить с нами, я встретил его на улице!

— Мне все равно.— Девушка подпрыгивала и вертелась, хватая брата за плечи и голову, как будто хотела раздавить их в избытке радости.— Шмыгун, она пришла, на рейде, и выгружается завтра!

— Как?! — побледнев от неожиданности и смутной тревоги, что не так понял сестру, сказал Шмыгун.— Катя, в чем дело?

— «Чайка» здесь! Можешь не верить. Завтра увидишь сам. Я ущипну тебя, Шмыгун, за шею!..

Контрабандист посмотрел на девушку особенно крепким взглядом, отер ладонью вспотевший лоб, взглянул на вытаращенные глаза Стропа, на спящего Черняка и опять на девушку. Потом начал краснеть. Кровь приливала к его лицу медленно, как будто соображая — не подождать ли.

— Как хорошо! — вдруг крикнул Строп, и снова лицо его стало вялым, только внутри глаз, на самом горизонте зрачков, засветились ровные огоньки.

— Шмыгун, я ходила к Ядрову, старик болен. Сын его говорил со мной,— пожал плечами, заявил, что ровнешенько ничего не знает,— когда придет «Чайка», и начал за мной ухаживать. Я отбрила его в лучшем виде. Потом была в гавани, у «Четырех ветров», но и с той шхуны не было ничего сказано. Я подходила к дому, и

так мне хотелось плак ть — все нет, все нет,— что топнула ногой, потому что слез не было. Встретила человека — он у тебя бывал — не помню его имени. «Хорошее дельце мы обработаем с вашим братцем»,— говорит он. Я промолчала. «Уже»,— говорит он. «Что — уже?» — закричала я так сердито, что он отступил. Ну... вот как! Он рассказал мне, что корабль тут, и я пустилась бегом. Чудесно!

— Я иду,— тихо сказал Шмыгун, дрожа от безмерной радости, наполнявшей все его тело звонкими ударами сердца.— Идем, Катя, и ты, Строп, я хочу видеть собственными глазами. Невероятный день. Ты помнишь, сестра, сколько раз пришлось тебе сбегать в гавань, спрашивая на всех палубах, не видал ли кто белой шхуны с белой оснасткой, белой от головы до ног?! Возможно, что действительно все кончено. Трудно поверить, я верю и в то же время не верю.

— Верь!..

Девушка подошла к кровати, на которой лежал Черняк, и некоторое время рассматривала его, поджав нижнюю губку.

— Откуда ты взял его? — спросила она у Шмыгуна, все еще бессознательно улыбаясь торжественной и драгоценной для всех новости.— Он совсем молод; ты будешь учить его?

— Учить? — рассеянно спросил Шмыгун.— Чему? Просто он мне понравился, и — ты знаешь — я не люблю расспросов.

II

Когда Черняк проснулся, был день. Он сидел на кровати, протирая глаза, слегка смущенный чувством полной неопределенности положения. Но это прошло тотчас же, как только он услышал яростный удар кулака по столу и увидел, что в комнате никого нет, за исключением Шмыгуна.

Лицо его было трудно узнать — даже не бледное, а какого-то особенного, серого цвета свинцовых грозовых туч, оно показалось Черняку в первый момент отталкивающим и враждебным. Заметив, что Черняк встал, Шмыгун молча уставился в лицо гостя порозовевшими от крови глазами.

— Я, может быть, разбудил вас,— заговорил он.—

Но я в этом не виноват, потому что у меня горе. Видели вы меня вчера таким? Нет!

— Расскажите и успокойтесь,— проговорил Черняк,— потому что горе в виде одного слова — пустой звук. Что случилось?

Явное желание заговорить обо всем, что пришлось ему вынести, выражалось в лице Шмыгуна, но он колебался. Впрочем, решив, что все равно — дело погибло,— мысленно махнул рукой и сказал:

— Да, вы имеете право на это, потому что нужно же было мне привести вас сюда в то время, когда мы потеряли голову, а вы шатались без ночлега. Судьбе, видите ли, было угодно вывернуть счастье наизнанку; получилось несчастье. Лет десять назад я спас одному человеку жизнь. Спас я его из воды, когда он плюхнулся туда с собственного баркаса и сразу пошел ко дну. Звали его Ядров; полмиллиона состояния наличными, да столько же в обороте, да еще восемь хороших кораблей!.. Его можно было спасти только из-за одного этого. Благодарность свою он мне выражал слабо, то есть никак, и я долго ломал голову, как бы, несмотря на его скупость, поправить собственные дела. И вот боцман с одной шхуны говорит мне: «Возишься ты по мелочам, дамские шелковые платки и подмоченные сигары — плохой заработок; есть вещи, стоящие дороже». Короче — столковались мы с ним, что он привезет тысяч на пятьдесят опия, а денег на это дело уговорил я дать Ядрова, с тем что капитал свой он получит обратно немедленно по возвращении судна, с условием, что я оставлю за сбыт товара половину чистой прибыли — остальное ему. Для нас это было бы достаточно, но пропал проклятый корабль, и вместо шести месяцев прошатался полтора года. Ночью сегодня узнаю я, что наконец судно на рейде, и утром, пока вы спали, помчался, как молодая гончая, к Ядрову.

Шмыгун перевел дух,— сердце его дольше не могло выдержать,— и изо всей силы треснул ногой в дверь, так что задрожала стена.

— И вот,— продолжал он,— как велика была моя радость, так бешенна теперь злоба. Ядров умер; умер от удара не дальше как этой ночью; его сын чуть не выгнал меня в шею, крича вдогонку, что, может быть, если я пришлю к нему Катю, мою сестру,— мы еще уладим дело. Может быть, он был пьян, но мне от этого нисколько не легче. Конечно, он преспокойно заплатит

пошлину и продаст драгоценный товар для собственного удовольствия.

Черняк слушал, недоумевая, что могло так мучить контрабандиста. Логика его была совершенно ясна и непоколебима; если что-нибудь отнимают — нужно бороться, а в крайнем случае отнять самому.

— Вас это мучает? — спросил он, посмотрев на Шмыгуна немного разочарованно, как будто ожидал от него твердости и инициативы.— А есть ли у вас револьвер?

Фраза эта произвела на Шмыгуна сложное впечатление; он понимал, что хочет сказать Черняк, но не представлял ясно последовательного хода атаки. Во всяком случае, он перестал сомневаться и сел, тщательно прожевывая решение, только что подсказанное Черняком.

— Разве так,— сказал он, прищуриваясь, как будто старался разглядеть Ядрова, развлекаемого видом шестиствольной игрушки.— Хорошие вы говорите слова, но это надо обдумать!

— Подумаем,— произнес Черняк.

— Но прежде дайте-ка вашу руку,— продолжал Шмыгун,— и продержите ее с минутку в моей.

Пристально смотря в глаза Черняку, он стиснул поданную ему маленькую городскую руку так сосредоточенно и внимательно, как будто испытывал новый музыкальный инструмент. Но рука эта была суха, крепка, не вздрогнула — рука настоящего человека, не отступающего и не раздумывающего.

III

Лодка выехала в чистую синеву бухты прямой линией. Строп сердито держал руль и, может быть, первый раз в жизни выражал нетерпение. Черняк задумчиво улыбался. Дело это казалось ему верным, но требующим большой твердости. Вообще же близкое приключение вполне удовлетворяло его жажду необычайного.

Шмыгун греб и смотрел по сторонам так сухо и неприветливо, что, казалось, сама вода несколько подсыхала сверху от его взглядов. Относительно Черняка он думал, что этот молодец сделан не из песка. Впереди, белея и вырастая, дремала «Чайка».

Глубокое волнение охватило Шмыгуна, когда шлюп-

ка стукнулась о борт корабля — этого радостного звука он дожидался полтора года. Несколько матросов подошли к борту, разглядывая прибывших.

— Где боцман? — спросил Шмыгун вахтенного.

Матрос не успел ответить, как приземистый человек с проницательными глазами подошел к Шмыгуну, и руки их застыли в безмолвном рукопожатии.

Черняк и Строп отошли в сторону. Боцман с контрабандистом говорили быстро и тихо. Со стороны можно было подумать, что речь идет не о ценном товаре, запрятанном в таинственных уголках, а о новостях после разлуки.

— Слушайте! — сказал Шмыгун, подходя к Черняку.— Он здесь внизу, в каюте.

Черняк посмотрел на боцмана; обугленное лицо моряка ясно показывало, что человек этот далек от неудобных для него подозрений.

Тогда он выпрямился, чувствуя, с приближением решительного момента, особую, тревожную бодрость и нетерпение. Строп стоял рядом с ним, неподвижный, хмурый, с вялым, немым лицом.

Деловой ясный день взморья продолжал свою суету: на палубе перекатывали бочонки, мыли шлюпки.

Недавняя определенная решимость боролась в Черняке с трезвыми глазами рабочего дня и обстановкой, способной убить всякое убеждение. Он опустил руку в карман, ощупывая револьвер, и заявил, обращаясь к боцману:

— Я приехал с вашим знакомым, собственно, по своему делу. Есть у меня разные маклерские поручения, а мне сказали в конторе, что молодой хозяин сейчас тут. Как бы пройти к нему?

Прежде чем боцман успел открыть рот, Шмыгун сказал:

— Не думаю, чтобы ты принял меня сухо. И так невесело жить на свете!

Моряк осклабился.

— Пройдите шканцы — на юте спуститесь вниз по трапу, а из кают-компании — первая дверь налево. Номер один. Молодой Ядров сидит там. Он, кажется, рассматривает судовые бумаги.

Слова эти относились к Черняку, и тот, не ожидая результатов — тонких намеков Шмыгуна относительно выпивки, пошел вперед, невольно замедляя шаги, потому что Строп, следовавший за ним, двигался так же

вяло и неохотно, как всегда. Заложив руки в карманы, он производил впечатление человека, прокисшего от рождения.

Черняк шумно вздохнул и спустился в кают-компанию.

Цифра один, криво выведенная над дверью черной масляной краской, поставила между ними, пришедшими сделать отчаянную попытку,— еще одного, третьего. Третий этот сидел за дверью и был невидим пока, но уже начался мысленный разговор человека, обдумавшего план, с тем, третьим, которому предстояло ознакомиться с этим невыгодным для него планом путем тяжелого неприятного объяснения. Впрочем, когда Черняк взялся за ручку двери, все придуманные им начала покинули его с быстротой кошки, облаенной цепным псом. Весь он сразу стал пуст, легок и неуклюж, как связанный.

Но тотчас же открытая им дверь превратила его растерянность в туго натянутую цепь мыслей, в сдержанную отчаянную решимость. Через секунду он уже чувствовал себя хозяином положения и вежливо поклонился.

Подняв голову, он увидел неприветливое лицо Ядрова. Купец прищурился, встал; гримаса неудовольствия была первым безмолвным вопросом, на который Черняку приходилось отвечать надлежащим образом. Он выпрямился, взглянул на Стропа, и тотчас же флегматичная фигура матроса встала у двери, загораживая могучей спиной ее неприкрытую щель.

— Позвольте мне сесть...— сказал Черняк и сел так быстро, что привставший Ядров опустился уже после него.— Я принужден с вами разговаривать, мне это самому неприятно, потому что тема щекотливая и забавная.

Ядров вспыхнул.

— А не угодно ли вам выйти на палубу,— сказал он,— и разговаривать там таким образом, как вы разговариваете сейчас, с корабельным поваром? Я думаю, это для вас самая подходящая компания.

— В таком случае,— глухо сказал Черняк,— я вынужден быть кратким и содержательным, и первый мой аргумент — вот это!

С этими словами Черняк вытащил из кармана револьвер так медленно и неохотно, как будто подавал спичку неприятному собеседнику. Но маленькое корот-

кое дуло, блеснув в свете иллюминатора, метнулось к лицу Ядрова быстрее, чем он сообразил в чем дело.

Черняк посмотрел на Стропа и успокоился. Матрос расправлял руки.

— Вот этого с вас, пожалуй, будет достаточно,— сказал Черняк.— Есть ли у вас хорошая плотная бумага? На ней нужно написать следующее: «Боцман, ваш друг Шмыгун приехал сегодня по делу, известному вам так же хорошо, как и мне, от моего умершего отца. Отдайте начинку Шмыгуну».

— Плохой расчет,— сказал Ядров, притягивая улыбку за уши,— я понял все. Вы и ваша гнусная компания пострадаете от этой рискованной операции тотчас же, как только сядете в лодку. Неужели вы думаете, что я не поговорю с таможней и что она откажется заработать приблизительно двадцать тысяч?

— Непростительная наивность,— сказал Черняк,— потому что вы будете молчать, как дохлая рыба, по очень простой причине: шхуна принадлежит вам. И если таможенным было бы приятно заработать хороший куш, то вам, я думаю, потерять сто тысяч штрафу совершенно нежелательно. Берите перо.

Петр взял бумагу. Она лежала перед ним с явно угрожающим видом: в белизне ее чувствовались тоска насилия и горькая необходимость. Рука его то приближалась к бумаге, то судорожно отклонялась прочь, словно он сидел на электрической батарее. Беспомощно горел мозг; он стал писать, и каждое слово стоило ему усилий, похожих на прыжок с третьего этажа. Все это совершалось в глубоком молчании, нетерпеливом и тягостном.

— Возьмите,— сказал Ядров,— и делайте что хотите.

Черняк встал, сжимая бумагу так же крепко, как револьвер. Ему было почти весело. Он посмотрел на Петра и вышел.

Ядров и Строп обменялись взглядами. Глухая ненависть кипела в Петре, он весь вздрагивал от безумного желания закричать, позвать на помощь, выругаться. Сонный вид Стропа внушил ему некоторую надежду — матрос мог попасться на хорошо придуманную уловку. Ядров сказал:

— Ну что же? Все кончено! Вы слышали? Теперь я уже не могу помешать вам! Пустите меня или уйдите!

Он подошел к двери. Строп растопырил руки, в лице его не было ни угрозы, ни возбуждения. Спокойно, лениво и просто, как всегда, матрос сказал:

— Не хотите ли покурить? Сядемте и подымим малость. Курить — хорошо!

Боцман провел Черняка и Шмыгуна прямо из подшкиперской в трюм, где, пробираясь ползком между грудами самого разнообразного груза, наваленного почти до палубы, они добрались к основанию фок-мачты, а там, повернув налево, по груде ящиков с мылом взобрались к верхним концам тимберсов.

То, что составляло предмет стольких треволнений, тревог и неожиданностей, таилось за внутренней, фальшивой обшивкой борта. Работа совершалась с быстротой и треском: торопиться было необходимо. Взломав обшивку, боцман вытащил и побросал вниз до полусотни маленьких деревянных ящиков, весом каждый около двух фунтов. Увязав добычу в куски брезента, приятели поднялись на палубу.

— Постойте минутку,— сказал Черняк, сообразив, что надо освободить Стропа от его невольной обязанности.

Он снова прошел в каюту, холодно поклонился Петру, вышел вместе с матросом и запер Ядрова двойным поворотом ключа. Тотчас же глухой яростный стук присоединился к шуму их шагов и затих, потому что «Чайка» строилась из прочного материала.

IV

Утром, когда все еще спали и солнце тускло бродило по задворкам, играя сонными отблесками в молчаливом стекле окон, Черняк встал, разбуженный легким прикосновением еще накануне бессознательной, но теперь окрепшей во сне мысли. Это не было усталое, флегматичное пробуждение изнуренного человека — он был свеж и бодр, полная ясность ощущений и памяти наполняла его чувством нетерпеливой радости. Ему казалось, что совершилось огромное и важное, после которого все легко и доступно. В кармане его звенело золото — часть вырученного от операции с

опиумом, и он чувствовал себя богатырем жизни, свободным в ней, как рыба в воде.

Черняк посмотрел на спящих. Вот исполняются мечты каждого. Девушка не будет нуждаться: любовь, наряды и удовольствия к ее услугам. Шмыгун, вероятно, купит дом и обрастет мохом. Строп пустится в открытое море с чувством человека, отныне могущего воспользоваться всем тем, что ранее было для него недоступно. Молча, с вялым лицом, но восхищенный в душе, он будет говорить еще чаще: «Хорошо!»

Да, узел развязан. Разрублен.

Действительно, случайно, навстречу одному из интересных людских положений, попал он к узлу событий, где было два одинаково важных центра: воплощение чужих грез и собственный, могучий толчок жизни, содержанием которой являлось для него все, что пестрит, сверкает и мучает сладкой болью, как фантастический узор цветущей лесной прогалины, полной золотых водоворотов солнца, цветной пыли и теплого дыхания невидимых лесных обитателей, мелькающих воздушными очертаниями под темным навесом елей.

Делать ему здесь более было нечего: размотался клубок, и за последний конец нитки держался он, зная, что все дальнейшее не даст больше ни одного штриха его болезненной жажде — гореть с двух концов сразу, во всех уголках мира, одновременно и неизбежно.

Черняк посмотрел на Катю, сонный изгиб стройного тела пленил его на мгновение ярким контрастом влекущей женственности с неряшливым полутемным подвалом, где золото и опасность лишения и достаток мешались в пестром калейдоскопе.

Сложнейшие движения духа роились в нем сильно и гармонично, сразу открывая настоящий, единственный выход в мировой простор, по отношению к которому трое спящих вокруг него людей делались чем-то вроде тюремных замков.

Черняк не мог, не в силах был представить, что будет дальше; ничего такого, что могло бы служить достойным продолжением пережитой страницы жизни, не видел он в этих четырех стенах, покрытых случайными коврами, ободранной штукатуркой и плесенью.

Все спали. Момент был удобен как нельзя более; уйти — без разговоров и сожалений, расспросов и остановок.

Куда? На момент Черняк остановился, стараясь

зажать в стальной кулак мысли цветущий земной шар, где много места для нетерпеливых движений радости.

Черняк потер лоб и вдруг зажмурился, охваченный жгучим светом простой и ясной, как нагой человек, истины:

«Неизмеримо огромна жизнь. И место дает всякому, умеющему любить ее больше женщины, самого себя и короткого тупого счастья».

Черняк надел шляпу. Дверь скрипнула. Уходя, он бессознательно оглянулся, как это делает всякий покидающий приютившее его место. Но в комнате уже не было сна: с кровати, приподняв взлохмаченную пушистую голову, смотрела на него девушка.

— Куда вы? — спросила она тоном вежливой случайной необходимости. Глаза ее смыкались и размыкались; она ждала незначительного ответа, после которого можно опять уснуть.

— Прощайте! — сказал Черняк, улыбаясь так легко и безобидно, как будто выходил на минутку.— Я ухожу, и совсем. Кланяйтесь Шмыгуну.

Мгновение, и Катя стояла перед ним с тревожным выражением на пунцовом от крепкого сна лице.

Вопросы срывались с ее губ быстро и бестолково:

— Куда? Почему? Вы нашли другую квартиру? Вы больны? К доктору?

— Нет! — произнес Черняк, избегая ее глаз, тревожных и влажных, как темное вечернее поле.— Я ухожу пожить, потому что жил мало и потому, что больше здесь делать мне нечего.

Он насчитал еще сотню вопросов в ее лице, оторопевшем от неожиданности, и что-то похожее на просьбу, но уже не думал об этом.

Последняя мысль его была о том, что девушка эта красива, как песня, прозвучавшая на заре, и что много на земле красоты, дающей радость глазам и отдых сердцу, когда оно бьется медленней, усталое от истрепанных вожжей буден.

Он попытался улыбнуться еще раз так, чтобы слова сделались лишними, но не смог и махнул рукой.

На пороге он еще раз обернулся; последние слова его прозвучали для девушки обрывком сна, нарушенного внезапно:

— Родители мои еще живы. Я убежал от них тайком, потому что меня хотели сделать бледным, скучным, упитанным и добродетельным. Короче — мне предсто-

яла карьера взрослого оболтуса, профессионально любящего людей. Немного иначе, но то же было бы здесь. Прощайте! И если можно вас любить так, как я люблю всех женщин, потому что я хочу все, оставьте мою любовь.

Выйдя на улицу, Черняк миновал сеть узеньких переулков, обогнул здание таможни и вышел к морю.

Лес корабельных мачт, среди которых торчали пароходные трубы, отполированные стальные краны, облака каменноугольной пыли, гул, звон, глухое пение содрогающейся от бесчисленных возов и телег земли — все отдалось в его вымытой утренним солнцем душе прямым спокойным ответом на вопрос, заданный себе десять минут назад. Всесветная синяя дорога — море, и каждый день много отходит кораблей, и есть золото, и он молод!

А мир велик... И море приветствовало его.

ПРИМЕЧАНИЯ

Во второй том Собрания сочинений включены рассказы, написанные А. С. Грином в 1913—1916 гг. В этот период его произведения вышли в 40 различных периодических изданиях. Одиннадцать рассказов, явившихся в основном перепечатками, были включены в «Летучие альманахи» (М.; СПб., 1913, вып. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10; СПб., 1914, вып. 14, 17, 18, 19); эти сборники выходили в Москве и Петербурге при участии А. Куприна, Н. Телешова, А. Свирского, С. Городецкого и др. Его произведения публиковались в журналах «Современный мир», «Огонек», «Солнце России», «Аргус», «Нива», заслуживших высокую репутацию у требовательного читателя: но все же значительно чаще ему приходилось печататься в таких изданиях, как «Весь мир», «Родина», «20-й век», «Синий журнал», «Женщина», «Геркулес», рассчитанных на массового потребителя. Рассказы Грина публиковались во многих газетах, имевших литературные отделы; выходили и небольшие книжки его рассказов (в маленьких частных издательствах). Однако наибольший интерес представляют три авторских сборника А. С. Грина. В сборник «Знаменитая книга: Рассказы» (Пг.: Печать, 1915.— 137 с.) им были включены произведения предшествующего периода — 1908—1913 гг.; таким образом, это издание как бы дополняло собой его первое (трехтомное) Собрание сочинений (СПб.: Изд-во «Прометей», 1913) [1]. Два других сборника — «Загадочные истории» (Пг.: Изд-во журнала «Отечество», 1915.— 205 с.) и «Искатель приключений: Рассказы» (М.: Изд-во «Северные дни», 1916.— На обл. 1917.— 245 с.) [2]— были составлены из произведений, опубликованных в периодике в 1912—1916 гг. Многие из них включены в данный том. Основная часть публикуемых в нем рассказов уже входила в «правдинские» СС [3], но есть и новые, не публиковавшиеся в них произведения (эти случаи оговариваются в примечаниях). Рассказы печатаются главным образом по прижизненным сборникам А. С. Грина и по его Полному собранию сочинений, 8 томов которого (из 15-ти предполагавших-

---

[1] В дальнейшем это Собрание сочинений обозначается как «прометеевское» СС.

[2] Полное библиографическое описание сборников А. С. Грина дается при первом их упоминании в данном томе.

[3] Здесь и далее два Собрания сочинений А. С. Грина, вышедшие в московском издательстве «Правда» в 1965 г. и в 1980 г., обозначаются как «правдинские» СС.

ся) вышло в издательстве Л. В. Вольфсона «Мысль» (Л., 1927—1929)[1].

Два основных сборника указанного периода были тогда же замечены критикой. В 1913—1916 годах появилось наибольшее (в дореволюционный период) число критических работ о Грине — это, главным образом, рецензии в газетах и журналах, теперь забытых, мало доступных читателю. Рецензии интересны не только как «реалии» современной Грину литературно-критической мысли — многие высказывания и сегодня представляются верными, перспективными (хотя были и поверхностные суждения, явно занижавшие возможности писателя). Творчество Грина было замечено такими известными критиками, как Л. Войтоловский (1876—1941), А. Горнфельд (1867—1941), В. Кранихфельд (1865—1918), В. Львов-Рогачевский (1873—1930), Е. Колтоновская (1871—1952), М. Левидов (1891—1942) и др. Своеобразие Грина «бросалось в глаза», но было очевидно и то, что это писатель — «непривычный для нашей литературы». Так позднее скажет о себе сам Грин, сетуя, что не умеют его сравнить «с кем-либо из русских писателей»[2]. Репутация беллетриста, предпочитающего «тона иноземного рассказа»[3], закрепилась за Грином уже в 10-х годах. Первые критики стремились осмыслить особенности его манеры, проводя аналогии с популярными в то время зарубежными писателями. Тем более стоит вспомнить немногие примеры рассмотрения Грина в контексте отечественной литературной ситуации. В их ряду — попытки определить своеобразие Грина через понятие «стилизация»: имя писателя называли среди имен таких признанных тогда «стилизаторов», как А. Ремизов, М. Кузмин, А. Ауслендер[4]. Показательны и суждения М. Левидова, сравнившего А. Грина с Л. Андреевым, ибо, по мнению критика, и тот и другой «как будто не русские» — и кроме того, оба «думают басом» (выражение Гл. Успенского), т. е. привержены к излишним подчеркиваниям, усилениям. «... Когда читаешь А. Грина и Л. Андреева, часто думаешь,— продолжал М. Левидов,— что где-то уже встречал эти гиперболы, длинные периоды, громоздящиеся эпитеты, неожиданные сравнения, аналогии между переживаниями человека и явлениями природы и, как венец всего,— давящее, изумляющее обилие слов. И тогда вспоминается величайший в литературе мировой любитель слов — Виктор Гюго, этот романтик фабулы и психолог в одно и то же время, этот наиболее анти-бытовой писатель всех эпох и народов»[5]. Заметим, что сопо-

---

[1] В дальнейшем Полное собрание сочинений А. С. Грина обозначается так: ПСС.— Л., 1927—1929.

[2] Воспоминания об Александре Грине/Сост.: Сандлер В.— Л., 1972. С. 148—150. Далее отсылки к материалам этой книги см. в тексте примечаний.

[3] Измайлов А. «Мексиканский быт» // Рус. слово.— М., 1913. 18 июня. С. 2.— Здесь и далее даты выхода газет указываются только по новому стилю.

[4] См.: Кранихфельд В. Литературные отклики // Современный мир.— СПб., 1910. № 5. Пункт 17. С. 91—93; Левидов М. Современные беллетристы // Журнал журналов.— Пг., 1915. № 19.— С. 15—17.

[5] Левидов М. Иностранец русской литературы: Рассказы А. С. Грина // Журнал журналов.— Пг., 1915. № 4.— С. 3—5.

ставление Грина с тем или иным зарубежным писателем часто использовалось для разъяснения какой-то черты его творчества; в приведенном случае — это характеристика «анти-бытовой» направленности его манеры письма. При этом назывались имена писателей со сложившейся репутацией, и они становились своего рода «знаками» (синонимами) той или иной тенденции или черты творчества. Характерно, что разговор о влиянии на Грина какого-либо «иноземного» мастера порою имел целью обозначить и прояснить (хотя бы и путем аналогии) симптомы смен и тяготений, происходивших в общественно-литературных настроениях. Наиболее наглядно эта тенденция проявилась при сопоставлении писателя то с Дж. Лондоном, то с Эдгаром По. Так, если в заслугу писателя ставили умение предугадать поворот литературы от изображения безволия и «усталости жизни» к изображению «волевой действительности», то здесь при сопоставлениях чаще других возникало имя Дж. Лондона. Если же подчеркивалось, что обращение русского писателя к области невероятных, загадочных, ирреальных сюжетов выявляет и некоторые свойства переживаемого русской литературой момента, то тут появлялось имя Э. По. Эта же тенденция обнаруживается и при характеристике смены тяготений в самом творчестве Грина. Когда речь шла о произведениях писателя, насыщенных «обилием странных происшествий и героических усилий», то в читательском восприятии он «объединялся» с Лондоном: оба — «поэты напряженной жизни», по определению Л. Войтоловского. Именно этот критик прежде других заметил много «внешнего сходства» между названными художниками: «...и Джека Лондона и Грина постоянно тянет к себе... мир сильных и предприимчивых людей, отважных матросов, бесстрашных пионеров, смельчаков, кулачных бойцов, бродяг,— вообще все, одаренные врожденной потребностью хитрить, воевать и без устали добиваться. Но это сходство очень поверхностное»,— добавлял критик. Ибо у Грина за всеми этими безумцами чувствуется сам автор — ум его «болен» этой странной, феерической обстановкой и исступленно тянется к ней». У Дж. Лондона,— подчеркивал далее Л. Войтоловский,— все как раз наоборот: он сам исколесил все дороги от С.-Франциско до Лондона и от Калифорнии до Клондайка, и в сущности в его фантастических описаниях «очень мало воображения». Его герои — прежде всего дельцы, и потому его привлекает главным образом «наслаждение победой», а «не страсть к экзотической красоте, не любовь к титаническим приключениям сама по себе»,— как это мы наблюдаем у Грина [1]. И тот же критик заметил у писателя нечто от Э. По — в тех рассказах, которые «околдованы причудливой тайной». Л. Войтоловский, верно обозначил некий поворот Грина от произведений, условно говоря, «джеклондоновской» складки к произведениям в духе Э. По. Однако он явно поторопился с утверждением, что «дикая и величественная прелесть его первых героев утратила свою загадочность». При всей категоричности выводов, критик, по сути, уловил переходное состояние в творчестве писателя. И об этом с очевидностью свидетельствовал следующий сборник А. С. Грина — «Загадочные истории» (Пг., 1915), явившийся опровержением мнения, будто его творчество «пошло на убыль» [2].

---

[1] Войтоловский Л. Летучие наброски: Александр Грин... // Киевская мысль.— 1914, 3 мая.— С. 3.

[2] Там же.

У авторов новых рецензий были все основания утверждать: «...А. Грин сделал решительный шаг от рассказчика о необыкновенных скитаниях, приключениях и разбойничьих нападениях к рассказчику-фантасту» [1]. Целым рядом рецензий был встречен этот сборник (содерж.: Лужа Бородатой Свиньи; Имение Хонса; Наследство Пик-Мика; Система мнемоники Атлея; Новый цирк; Золотой пруд; Зурбаганский стрелок; Лунный свет; Загадка предвиденной смерти; История Таурена (Из похождений Пик-Мика); Всадник без головы (Рукопись XVIII столетия); Мертвые за живых; Путь; Рассказ Бирка; Происшествие в квартире г-жи Сериз; Эпизод при взятии форта «Циклоп»). В интересном, насыщенном информацией журнале «Бюллетени литературы и жизни» [2] было дано реферативное изложение трех рецензий [3]; и здесь же читателю рекомендовали еще две [4]. Одни критики, как, например, Т. Ганжулевич, утверждали, что порывы фантазии в этих рассказах «ведут писателя на новый путь творчества созидательного, а не подражательного...». Другие, как рецензент еженедельника «Столица и усадьба» («журнала красивой жизни», по аттестации самой его редакции), продолжали объяснять особенности манеры Грина через аналогии с известными образцами, «...Кто-то весьма зло,— замечал рецензент,— назвал Александра Грина «Эдгаром По для бедных»... но у Грина столько замысла, столько странной манеры... что в иных случаях Эдгар По мог бы позавидовать, отчего эта странная мысль не ему пришла в голову...» То же свойство творческой манеры Грина выделял и рецензент газеты «Утро России»: «Удачнее всего рассказы о загадочном и экзотическом городе Зурбаган, в окрестности которого автор переносит образы, навеваемые современной войной; благодаря такому приему абстракции, его военные рассказы о необычайных напряжениях воли и врожденной человеку жажде приключений гораздо выше обычного уровня военных рассказов». Но вместе с тем, критик предостерегал писателя от чрезмерного увлечения «фантастическим жанром», хотя и признавал, что на этой стезе — «страшного рассказчика» — Грин достаточно преуспел. И здесь вновь,— как напоминание о признанном образце, о мастере этого жанра,— всплывало имя Э. По (и некоторых других известных «фантастов» — Гофмана, Стивенсона, Одоевского...).

Потребность в развернутом сопоставлении своеобразия Грина с Э. По особенно явно обнаружилась в связи с выходом сборника «Искатель приключений» (содерж.: Искатель приключений; Земля

---

[1] Савинич Б. Рец. на кн.: Грин А. Загадочные истории... // Утро России.— М., 1915. 26 сент.— С. 5.

[2] [Без подписи] Библиографический отдел: Отзывы о книгах. 271. Грин А. Загадочные истории... // Бюллетени литературы и жизни.— М., 1915/1916. № 21/22.— С. 414—415.

[3] См.: Савинич Б. Литературные течения: А. С. Грин // Утро России.— М., 1915. 25 апр. С. 5; Ганжулевич Т. Рец. на кн.: Грин А. Загадочные истории... // Нива: Ежемесячные литературные и популярно-научные приложения.— Пг., 1915. № 11. Стб. 480—481; А. Т. [Подпись] Рец. на кн.: Грин А. Загадочные истории... // Речь.— Пг., 1915. 14 сент.— С. 3.

[4] См.: Савинич Б. Рец. на кн.: Грин А. Загадочные истории... // Утро России.— М., 1915. 26 сент. С. 5; [Без подписи] Среди книг и журналов... // Столица и усадьба.— ПГ, 1915. № 47.— С. 19—20.

и вода; Сладкий яд города; Капитан Дюк; Охота на хулигана; Львиный удар; Повесть, оконченная благодаря пуле; Возвращенный ад; Продавец счастья; Убийство в рыбной лавке; Птица Кам-Бу). Автором рецензии на этот сборник, считающейся одной из лучших критических работ о Грине того времени, был А. Г. Горнфельд — критик и литературовед, мнением и советами которого Грин очень дорожил. В своей развернутой рецензии, появившейся без подписи (но его авторство установлено), А. Горнфельд утверждал, что только по первому впечатлению рассказ А. Грина можно принять за рассказ Э. По, хотя так же, как По, он «охотно дает своим рассказам особую ирреальную обстановку, вне времени и пространства, сочиняя необычные вненациональные собственные имена, так же, как у По, эта мистическая атмосфера замысла соединяется здесь с отчетливой и скрупулезной реальностью описаний предметного мира; так же, как у По, подлинным героем Грина неизменно является мир внесознательного, мир темных предчувствий и разительных совпадений, мир эмоциональных тяготений и роковых сил, ради эстетического контраста неразрывно соединяемый с математической ясностью рациональных построений...». У Грина, так же как у По, добавлял А. Горнфельд, «сложна стихийная природа простых людей, так же проста утонченнейшая логика людей культурных; так же таинственно страшен город, так же художественно осмысленна природа, так же победоносно недоверие к миру позитивного изыскания, так же тенденциозна картина всемогущей власти недоступного материалистической мысли духа. Кровь, убийство, преступление и ужасы бесчеловечного насилия человека над человеком так же обычны у Грина, как у По, и так же, как у По, они не служат самоцелью и даже средством в изображении характеров, но являются необходимой атмосферой, в которой рождаются и находят естественное развитие самые роковые загадки духа и жизни». При всем том Грин, по убеждению критика, «не подражатель Эдгара По, не усвоитель трафарета, даже не стилизатор», ибо у Грина «в основе нет шаблона». Хотя он «не самобытен в манере, которая принадлежит школе, но самостоятелен в процессе создания, и хочется иногда сказать,— утверждал А. Горнфельд,— что ...Грин был бы Грином, если бы и не было Эдгара По; он — «незаурядная фигура в нашей беллетристике» [1]. Нельзя не признать глубины наблюдений этого критика, открывшего в творчестве писателя то, чего не смогли увидеть другие.

А. С. Грин высоко ценил талант Э. По, чей портрет постоянно висел у него над письменным столом. В 1911—1912 гг. вышли тома Собрания сочинений Эдгара По; издание готовилось под редакцией К. Бальмонта и включало его статью о жизни писателя. Позднее об этих фактах А. С. Грин вспоминал так: «Я уже давно знал его как писателя, но не знал его жизни. Она потрясла меня. И хорошо, что написал ее Бальмонт... Талантливо и любовно написанная биография — это посмертный дар художнику ли, ученому ли, общественному ли деятелю. Когда читаешь такую, думаешь — «ты, человек, заслужил ее» (Воспоминания об Александре Грине... С. 398). А. С. Грин (как утверждал Н. Вержбицкий) решительно

---

[1] [Горнфельд А. Г.] Рец. на кн.: Грин А. Искатель приключений: Рассказы... // Русское богатство.— Пг., 1917. № 6/7. С. 279—282.— Автор установлен по воспоминаниям Н. Н. Грин.

возражал, когда Э. По называли «чистым фантастом»: «Надо же понимать, что этот писатель создавал необыкновенное ради самого обыкновенного. Вот он чудесным образом воскрешает египетскую мумию [1]. Для чего? Чтобы, опершись на это сверхъестественное событие, начать разговор о самых реальных вещах» (Воспоминания об Александре Грине... С. 215). Использовать необычное, чтобы привлечь внимание читателя и начать разговор о самом обычном,— в этом суть творческой манеры и самого А. С. Грина. Однако он считал «близоруким» видеть в нем лишь подражателя Э. По: «Неверно это,— говорил он (по воспоминаниям Н. Н. Грин). И далее разъяснял: «...Я хотел бы иметь талант, равный его таланту, и силу его воображения, но я не Эдгар По. Я — Грин; у меня свое лицо». Писатель утверждал: «Мы вытекаем из одного источника — великой любви к искусству, жизни, слову, но течем в разных направлениях. В наших интонациях иногда звучит общее, остальное все разное — жизненные установки различны» (Воспоминания об Александре Грине... С. 397—398). И все же имена Э. По и Дж. Лондона будут и далее в первую очередь возникать при размышлениях критиков о специфических особенностях писателя.

Всего с 1913 по 1917 годы появилось 17 критических работ о Грине (и еще 10 — в основном рецензий — было опубликовано в 1908—1912 годах). Вновь заговорят о нем только в 1923 г.— в связи с выходом книжки «Белый огонь» (Пг.: Полярная звезда, 1922.— 72 с.), феерии «Алые паруса» (Пг.: Френкель, 1923.— 141 с.) и сборника «Рассказы» (М.; Пг.: Гос. изд-во, 1923.— 411 с.), в который были включены лучшие рассказы писателя дореволюционного периода его творчества.

Племя Сиург // Нива: Ежемесячные литературные и популярно-научные приложения к журналу.— СПб., 1913. № 1. Стб. 97—112. То же в «прометеевском» СС. Т. 3. Позорный столб.— 1913. Печатается по кн.: Грин А. С. Синий каскад Теллури; Племя Сиург.— М., 1916.— 80 с.— (Универсальная б-ка; № 1142).

Карамбольный матч — бильярдная игра.

Годар Бенжамен-Луи-Поль (1849—1895) — французский композитор и скрипач. Второй вальс Годара больше всего нравился Грину из того, что играла В. П. Калицкая (первая жена писателя). По ее воспоминаниям, Грин однажды сказал: «Когда я слушаю этот вальс, мне представляется большой светлый храм. Посреди него танцует девочка» (Воспоминания об Александре Грине... С. 200).

Брашпиль — лебедка на судне для поднятия якоря.

Шканцы — верхняя часть палубы на парусном судне между второй, самой высокой — грот-мачтой и самой задней — бизань-мачтой.

Последние минуты Рябинина // Солнце России (литературно-художественный и юмористический еженедельник) [1].— СПб., 1913, № 14. С. 1—3. В «правдинских» СС не публиковался. Печатается по первому изданию.

---

[1] Имеется в виду рассказ Э. По «Разговор с мумией».

[2] Полностью тип периодического издания, где впервые публиковались произведения А. С. Грина, указывается только при первом упоминании в томе.

Чухна — в дореволюционной России презрительное прозвище эстонцев, финнов.

История Таурена (Из похождений Пик-Мика) // Синий журнал (еженедельник).— СПб., 1913. № 6.— С. 2—4. То же в сб.: Грин А. С. Загадочные истории.— Пг., 1915. Печатается по ПСС.— Т. 8. Окно в лесу: Рассказы.— Л., 1929.

Откликаясь на выход сборника «Загадочные истории», Т. Ганжулевич отмечала: «У Грина много юмора, много творческого огня. Даже такие художественно незаконченные рассказы, как «История Таурена», не лишены своей грации» (Нива: Ежемесячные литературные и популярно-научные приложения.— Пг., 1915. № 11. Стб. 480—481).

Пикмист — то есть последователь Пик-Мика (словообразование А. С. Грина).

Анакреон (Анакреонт, 570—478 до н. э.) — древнегреческий поэт-лирик, автор любовных и застольных песен.

Милль Джон Стюарт (1806—1873) — английский буржуазный философ, экономист.

Софизм — заведомо ложное умозаключение, основывающееся на сознательном нарушении правил логики, но формально кажущееся верным.

Шамбертэн, Клоде-Вужо — марки шампанских вин.

Гранька и его сын // Неделя «Современного слова» (еженедельное бесплатное приложение к газете «Современное слово»).— СПб., 1913, № 260. Стб. 2219—2220. То же // Всемирная панорама (еженедельник).— СПб., 1913. № 221. С. 4—8. Печатается по машинописной копии с позднейшей правкой автора (*ЦГАЛИ*).

Пестрядинная рубаха — из грубой льняной или бумажной ткани, обычно домотканой.

Одёр (простореч.) — старая изнуренная рабочая лошадь.

Чекá — стержень, вкладываемый в отверстие оси колеса.

Пестерек.— Здесь: кулек.

На меркуны (диалект.) — в сумерках, когда стемнеет.

Сам А. С. Грин относил этот рассказ (как и следующий публикуемый здесь — «Таинственный лес») к разряду тех, «действие которых происходит в России». В том же ряду им были названы: Черный алмаз; Арестная палатка; Проходной двор; Три брата; В разливе; Лебедь; Авиатор (Летчик Киршин); Заяц; Ночлег; Рука; Балкон; Игрок; Покой; Медвежья охота. Этот список рассказов, объединенных по принципу их «внутренней одноцветности» (говоря словами самого Грина), был предложен им в середине 20-х годов для очередного сборника В. И. Нарбуту, директору издательства «Земля и фабрика». (Список хранится в Рукописном отделе Института мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР.— Ф. 95. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 2.)

Таинственный лес // Нива (еженедельный иллюстрированный журнал литературы, политики и современной жизни).—СПб., 1913. № 19. С. 361—368; № 20. С. 382—389; № 21. С. 402—409; № 22.— С. 421—427. Под названием «Охотник и петушок: Из повести «Таинственный лес» // Правда Севера (газ.).— Архангельск, 1966. 4 нояб. В «правдинских» СС не публиковался. Печатается по ПСС.— Т. 14. Приключения Гинча.— Л., 1929.

Куренщик.— Здесь: содержатель продуктовой лавки, мелкого торгового заведения.

Двунадесятый (слав.) — двенадцатый. Здесь: один из 12 главных праздников православной церкви.

Оркестрион — комбинированный инструмент фортепианно-органной системы, по звучанию напоминающий оркестр.

Вязь — сплетение смежных букв в один сложный знак (вид старинного письма).

Азям (арабск.) — крестьянская верхняя долгополая одежда.

Стрекулист (иронич.) — строкулистом в дореволюционной России назывался мелкий чиновник.

Прогоны — плата за проезд на почтовых лошадях.

Таратайка — двухколесная повозка с откидным верхом.

Чернобог — злой дух, разрушитель в отличие от Белобога — доброго духа, созидателя (в западнославянской мифологии).

Лиловый аконит — ядовитое лекарственное растение.

Кроншнепы — северная птица с темным золотисто-желтым оперением спинки и крыльев и черным брюшком (вид ржанок).

Турпан — водоплавающая птица из группы уток.

Стрежь (сиб.: стрежень) — самое глубокое место реки, отличающееся особенно быстрым течением.

Жерлица — рыболовная снасть для ловли щук и других хищных рыб.

Зимогор (обл.) — бродяга, босяк.

Балкон // Солнце России.— СПб., 1913. № 25. С. 13—16. В «правдинских» СС не публиковался. Печатается по первому изданию.

Визига — часть хребта осетровых рыб (стерляди, севрюги, белуги), употреблявшаяся в пищу (обычно для приготовления пирогов).

Дергач — то же, что коростель: небольшая луговая птица с характерным отрывочным криком.

Всадник без головы (Рукопись XVIII столетия) // Синий журнал.— СПб., 1913. № 26. С. 2—4. То же в ПСС.— Т. 8. Окно в лесу: Рассказы.— Л., 1929. Печатается по сб.: Грин А. С. Загадочные истории.— Пг., 1915.

Каррарский мрамор — сорт белого мрамора, названного по местности в Италии, где его добывают.

Мальборук — Мальборо Джон Чёрчилл (1650—1722), герцог, английский полководец и политический деятель (принадлежал к партии вигов).

Шнабель-клёпс — блюдо из рубленого мяса, биточки.

Капорцы (каперсы) — колючий полукустарник на Кавказе и в Средней Азии, маринованные бутоны которого употреблялись как приправа.

Гутенберг Иоганн (род. между 1394—1399 или в 1404, ум. в 1468) — изобретатель нового (европейского) типа книгопечатания, отличающегося по технологии от более древнего — китайского. Здесь: в ироническом контексте — «изобретатель» нового способа приготовления соуса.

Лютер Мартин (1483—1546) — глава Реформации в Германии XVI века, основатель немецкого протестантизма (лютеранства).

Я был женой Лота — то есть застыл, оцепенел: по библейской легенде жена Лота нарушила запрет Бога и обернулась, покидая Содом, за что и была превращена в соляной столб.

Глухая тропа. Под названием «Глухая тревога» // Солнце России.— СПб., 1913. № 28. С. 2—6. Под названием «Глухая тропа» в сб.: Летучие альманахи.— М.; СПб., 1913. Вып. 10. С. 43—51. Печатается по сб.: Грин А. С. Знаменитая книга: Рассказы.— Пг., 1915.

Тальник — небольшая кустарниковая ива.

Полукрупка — наполовину (грубо) размельченный табак.

Остожье — площадка для стога, устланная соломой.

Мурга — провал, яма.

Табу // Аргус (ежемесячный литературно-художественный журн.).— СПб., 1913. № 7. С. 51—60. То же в «прометеевском» СС.— Т. 3. Позорный столб.— СПб., 1913 (в оглавлении тома не указан). Публиковался в сборниках: Грин А. С. Рассказы.— М.; Пг.: Гос. изд-во, 1923.— 411 с.— (Б-ка русских романов); Грин А. С. Золотой пруд: Рассказы.— М.; Л.; Гос. изд-во, 1926.— 62 с.— (Универсальная б-ка; № 49); 2-е изд.— 1927. Печатается по ПСС.— Т. 12. Корабли в Лиссе: Повести и рассказы.— Л., 1927.

Фламмарион Камиль (1842—1925) — французский астроном. Исследовал Марс, Луну и двойные звезды; занимался популяризацией науки.

Василиск (книжн.) — сказочное животное в виде змеи, наделявшееся способностью завораживать людей своим взглядом. Здесь: ядовитая змея.

В рецензии на третий том («Позорный столб») «прометеевского» СС герой рассказа «Табу» — писатель — был соотнесен с самим его автором (такой подход довольно распространен в критике о Грине). «Есть в этой книге строчки, как будто написанные pro domo sua и слегка характеризующие писательскую физиономию автора»,— утверждал критик. И далее обобщал, цитируя рассказ: «Положение писателя, неумеющего или неспособного угождать людям,— говорит г. Грин в начале рассказа «Табу»,— должно внушать сожаление... Не может быть ничего оскорбительнее для читателя, как равнодушие к его нуждам...» По мнению критика, именно такое положение, «занял автор настоящей книги» (см.: Новая жизнь.— М.: Пг., 1914. № 3. С. 152—153). Л. Войтоловский в связи с рассказом тоже высказал некоторые упреки в адрес писателя: «Блуждая мыслями в дремучих лесах, он умышленно и хвастливо напрягает свою фантазию, чтобы блеснуть фабулой. Один герой попал в плен к каннибаллам...» (Киевская мысль.— 1914. 3 мая. С. 3). В действительности же у этого произведения были вполне реальные, жизненные источники, обусловившие иронический настрой повествования по отношению к герою-писателю, прославившемуся тем, что мистифицировал туземцев. Повод к созданию рассказа «Табу», по воспоминаниям В. П. Калицкой, дали две проделки поэта и этнографа Д. Н. Садовникова. Одна его шуточная затея — появление на костюмированном балу в «одежде» из перьев и стрел вокруг бедер, а затем «погоня» с ужимками людоеда за «добычей» (какой-то барышней на балу). И другая шутливая выходка — Дмитрий Николаевич «разыграл» падучую, чтобы отстать от поезда и задержаться на станции (Воспоминания об Александре Грине... С. 202—203).

Наивный Туссалетто // Аргус.— СПб., 1913. № 3. С. 71—76. Под названием «Грозное поручение» // Синий журнал.— СПб., 1918. № 14. С. 4—5. Печатается по сб.: Грин А. С. Огонь и вода: Рассказы.— М.: Федерация, 1930.

А. С. Грин относил его к группе рассказов, которые передают «настроение сильных натур, поставленных в исключительные обстоятельства устремления к цели»; в эту группу он включил и такие: Ученик чародея; Судьба, взятая за рога; Фантазеры; Невозможное, но случилось; Слепой Дей-Канет; Воскресение Пьера; Вокруг света; Борьба со смертью; Вперед и назад; Дэзи (см.: Рукописный отдел ИМЛИ АН СССР.— Ф. 95. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 1).

Далекий путь. Под названием «Горные пастухи в Андах» // Нива: Ежемесячные литературные и популярно-научные приложения.— СПб., 1913. № 9. Стб. 5—22. Печатается по «прометеевскому» СС.— Т. 3. Позорный столб.— СПб., 1913.

Критик М. Левидов назвал это произведение в ряду таких наиболее характерных для Грина, как «Остров Рено», «Пролив бурь», «Синий каскад Теллура» — их герои отличаются своеобразным «понятием о счастье». Диас («Далекий путь») счастлив тем, подчеркивал критик (цитируя при этом текст самого произведения), что отважился «стать другим человеком и жить другой жизнью», что он «принадлежит от рождения к орлиной расе», что способен отправиться на поиски «неизвестности и неизведанного во всем, даже в природе...» (Журнал журналов.— Пг., 1915. № 4. С. 3—5).

Монрепо (фр.) — убежище, приют для отдыха в пути.

Ара — вид попугаев.

Столоначальник — заведующий отделением канцелярии министерства, департамента и т. п.

Казенная палата — губернское учреждение по налогам в царской России.

Продавец счастья // Аргус.— СПб., 1913. № 9. С. 81—88. То же в ПСС.— Т. 11. Веселый попутчик: Рассказы.— Л., 1928. Печатается по сб.: Грин А. С. Искатель приключений: Рассказы.— М., 1916.

Жена Пентефрия (Потифара) — по библейской легенде соблазняла Иосифа Прекрасного (один из двенадцати сыновей патриарха Иакова, был продан братьями в Египет, но после ряда злоключений занял высокое положение при дворе фараона).

Сладкий яд города // Аргус.— СПб., 1913. № 10. С. 103—111. То же в ПСС.— Т. 11. Веселый попутчик: Рассказы.— Л., 1928. Печатается по сб.: Грин А. С. Искатель приключений: Рассказы.— М., 1916.

Тихие будни // Современник (ежемесячный журнал литературы, политики, науки, истории, искусства и общественной жизни).— СПб., 1913. № 10. С. 28—46. То же в ПСС.— Т. 14. Приключения Гинча.— Л., 1929. Печатается по сб.: Грин А. С. Знаменитая книга: Рассказы.— Пг., 1915.

Домби — персонаж романа английского писателя Ч. Диккенса (1812—1870) «Домби и сын» (1848).

Тянуть жребий.— При наборе в солдаты деревня должна была поставить определенное количество рекрутов; но кто именно пойдет служить, определял жребий, который тянули люди, не имевшие льгот и отсрочек.

Голдсмит Оливер (1728—1774) — английский писатель.

Зигфрид — герой древнегерманского эпоса «Песнь о Нибелунгах», существующего более чем в 30 вариантах и отразившего придворный и рыцарский быт.

Новый цирк // Синий журнал.— СПб., 1913. № 47. С. 2—4. В журнале после слов: «Цирк сгорел быстро, как соломенный»,— следовало: «Где вы, погоревшие зрители? К моему прискорбию, оказывается, спаслись все. Часто, каждый день, встречаю я их, они узнают меня, здороваются и смеются.

— Горе мне, горе».

В перепечатках, начиная с 1915 г., этот текст отсутствует. Рассказ публиковался в сб.: Грин А. С. Происшествие в улице Пса.— Пг., 1915, а также в ПСС.— Т. 8. Окно в лесу: Рассказы.—

Л., 1929. Печатается по сб.: Грин А. С. Загадочные истории.— Пг., 1915.

Драгоман (фр. dragoman от араб.) — официальный переводчик при дипломатических представительствах и консульствах в странах Востока.

Пшют (разг., пренебр.) — фат, хлыщ (устар.).

Рецензируя сборник «Загадочные истории», критик журнала «Столица и усадьба» (Пг., 1915, № 46. С. 20) приводит этот рассказ как один из примеров произведений, напоминающих Э. По: «...такие же странные, оборванные там, где менее всего ожидаешь, и так, как меньше всего можно предполагать». И однако же вряд ли есть основания ставить рассказ (как это сделал Г. Шенгели) в ряд с теми, что создавались «прямо на извозчике» — «интересное, развернутое начало и несколько строк скорописи — конец» (Воспоминания об Александре Грине... С. 320). К сожалению, подобная преднамеренность как бы «оборванных» концовок, служившая воссозданию своеобразной интонации, а также нарочитый сбой в ритме восприятия, не всегда были поняты читателями А. Грина.

Жизнеописания великих людей // Солнце России.— СПб., 1913. № 51. С. 11—13. Под названием «Маленькие могилы» // Петроградский листок: Литературное приложение к газете.— 1916. 5 мая. В тексте газеты допущены изменения и искажения. Печатается по первому изданию.

Авессалом — сын библейского царя Давида; по преданию, погиб запутавшись волосами в листве дуба.

Четвертаковые книжки — книги стоимостью 25 коп. (видимо, серия «Жизнь замечательных людей» издательства Ф. Д. Павленкова, где вышло 198 биографий, написанных для широкого демократического читателя).

Человек с человеком // Раннее утро (газ.) — М., 1913. 28 дек. Печатается по ПСС.— Т. 5. Шесть спичек: Рассказы.— Л., 1928.

Айя-София — храм в Константинополе.

Годар Бенжамен Луи Поль (1849—1895) — французский композитор и скрипач (см. примеч. к рассказу «Племя Сиург»).

«К Анне» Эдгара По.— Имеется в виду стихотворение «К Анни» (1849), адресованное Анни Ричмонд, близкому другу Э. По в последние годы его жизни.

Портрет жены Рембрандта.— Гениальный голландский живописец Рембрандт ван Рейн (1606—1669) создал ряд портретов жены: «Саския» (1633), «Саския в виде Флоры» (1634), «Автопортрет с Саскией» (ок. 1634—1635).

Мертвые за живых // Синий журнал.— СПб., 1914. № 3. С. 2—3. То же в ПСС.— Т. 8. Окно в лесу: Рассказы.— Л., 1929. Печатается по сб.: Грин А. С. Загадочные истории.— Пг., 1915.

Арбалет — самострел, усовершенствованный лук с механическим устройством натягивания тетивы.

Меровинги — первая королевская династия во Франкском государстве (конец V в.— 751 г.); названа по имени полулегендарного основателя рода — Меровея.

Земля и вода // Аргус.— Пг., 1914. № 14 (2). С. 129—140. То же в ПСС.— Т. 14. Приключения Гинча.— Л., 1929. Печатается по сб.: Грин А. С. Загадочные истории.— Пг., 1915.

Загадка предвиденной смерти // Синий журнал.— Пг., 1914. № 9. С. 2—4. То же // Журнал журналов.— Пг., 1915.

№ 12. С. 6—7. То же в сб.: Грин А. С. Брак Августа Эсборна.— Л.: Прибой, 1927.— 133 с. (В этом издании ошибка в заглавии: «Загадка непредвиденной смерти».) Печатается по сб.: Грин А. С. Загадочные истории.— Пг., 1915.

Стигматик — человек, способный самовнушением вызывать появление на теле стигм (язв), а также следов от мнимых ударов и т. п.

В этом рассказе А. Грин «несколько по-новому освещает жуткую тайну эшафота, мучившую воображение В. Гюго и Вилье де Лиль Адана...»,— отмечал рецензент газеты «Речь» (Пг., 1915. 14 сент.). В другой рецензии на сборник «Загадочные истории» рассказ «Загадка предвиденной смерти» (как и другой — «Происшествие в квартире г-жи Сериз») был выделен в качестве примера произведения, где на первый взгляд будто бы «работает одна фантазия» писателя, но и она «опирается в конечном счете если не на землю, то на науку и логику» (Нива: Ежемесячные литературные и популярно-научные приложения.— Пг., 1915. № 11. Стб. 480—481).

Редкий фотографический аппарат. Под названием «Огненная стрела» // Геркулес: Журнал спорта.— Пг., 1914. № 10. С. 19—21. Под названием «Редкий фотографический аппарат» // Петроградский листок (газ. политической и общественной жизни и литературная).— 1916. 24 нояб. То же // 20-й век (еженедельный художественно-литературный журн.).— Пг., 1917. № 24. С. 10—12. Под названием «Предательское пятно» // Экран Рабочей газеты (еженедельник).— Пг., 1924. № 15. С. 2—3. Под названием «Огненная стрела» (с большими искажениями) опубликован в ПСС.— Т. 8. Окно в лесу: Рассказы.— Л., 1929. Печатается по тексту журнала «20-й век» (1917, № 24).

Эпизод при взятии форта «Циклоп» // Под названием «Эпизод из взятия форта «Циклоп» // Синий журнал.— Пг., 1914. № 29. С. 3—5. Под названием «Эпизод во время взятия форта «Циклоп» // Женщина: Мать — гражданка — жена — хозяйка (литературно-художественный еженедельник).— Пг., 1914. № 24. С. 3—6. То же // Война: Прежде, теперь и потом (еженедельник).— Пг., 1916. № 82. С. 2—4. Под названием «Эпизод при взятии форта «Циклоп» вошел в сборники: Грин А. С. Загадочные истории.— Пг., 1915; Грин А. С. Рассказы.— М.; Пг., 1923. Печатается по этому изданию.

Забытое // Биржевые ведомости. Утр. вып. (политическая, общественная и литературная газ.).— Пг., 1914. 11 окт. Под названием «Воспоминание на экране» // 20-й век.— Пг., 1914. № 46. С. 5—7. То же в кн.: Война в произведениях прозаиков и поэтов.— М., 1915. С. 19—27. Печатается по кн.: Отражения. Около войны: Лит. альманах.— М., 1915. С. 14—20.

Зуавы — алжирские стрелки во французской армии начала XX века.

Тюркосы — так называли солдат во французских войсках, комплектовавшихся из африканцев.

Происшествие в квартире г-жи Сериз // Аргус — Пг., 1914.— № 22. С. 80—87. Печатается по сб.: Грин А. С. Загадочные истории.— Пг., 1915.

Лавуазье Антуан Лоран (1743—1794) — французский химик.

Мария-Антуанетта (1755—1793) — французская королева, жена (с 1770 г.) Людовика XVI; казнена по постановлению трибунала во время Великой французской революции как вдохновительница контрреволюционных заговоров и интервенции.

Клио — в древнегреческой мифологии одна из девяти муз: покровительница истории.

Халдейские жрецы — жрецы из Вавилонии, где правила в 626—538 гг. до н. э. халдейская династия (халдеи — семитические племена).

Сенешал (фр.) — королевский чиновник в средневековой Франции.

Розенкрейцеры — члены возникших в XVII веке в Европе религиозно-философских тайных обществ (слились впоследствии с масонами, ставившими целью создать тайную всемирную организацию, способную объединить человечество на религиозной основе).

Агриппа Марк Випсаний (ок. 63—12 гг. до н. э.) — римский полководец, известен постройками в Риме — (водопровод, храм Пантеон, термы).

Повесть, оконченная благодаря пуле // Отечество (иллюстрированный еженедельник).— Пг., 1914. № 5. С. 92—95. Рассказ дан здесь в сокращенном виде, но в то же время в нем после фразы: «Его романы... к выгодным для себя преувеличениям»,— следовало: «Сколько неоконченных вещей бросил он, видя их независимую от него естественную тенденцию стать простым изображением жизни, что почиталось им за грех, как вульгарность. Так, даже в произведениях своих уходил он от понимания жизни и работы над ней...» Тот же вариант — в журнале «Женщина».— Пг., 1915. № 3. С. 3—7. Полностью опубликован в сборниках: Грин А. С. Искатель приключений: Рассказы.— М., 1916; Грин А. С. Рассказы.— М.; Пг., 1923; Грин А. С. Золотой пруд: Рассказы.— М.; Л., 1926; 2-е изд.— 1927. Печатается по сб.: Грин А. С. Огонь и вода: Рассказы.— М.: Федерация, 1930.

Рецензируя сборник «Искатель приключений», А. Г. Горнфельд — критик журнала «Русское богатство» (Пг., 1917. № 6/7. С. 281) — уделил этому произведению специальное внимание, ибо рассказ является как бы раскрытием процесса творчества самого его автора. Критик отмечал: «Здесь Грин изображает писателя в процессе создания повести. Ее сюжет уже выяснился для него, но не выяснился характер героини, не выяснились причины душевного переворота в ней. Он предлагает себе разные гипотезы... Повесть о раскаявшейся анархистке... рисует испытания, которые проходит мысль А. Грина во время создания его работ». Подчеркнем здесь, что интерес к теме искусства, к самому процессу творчества, будет развиваться у Грина и далее, о чем свидетельствуют, в частности, рассказы: Искатель приключений; Возвращенный ад; Черный алмаз; Таинственная пластинка; Как я умирал на экране.

Судьба, взятая за рога // Отечество.— Пг., 1914, № 7. С. 131—132. В дальнейшем писатель значительно переработал рассказ, изменил имена героев (кроме женского). Печатается по ПСС.— Т. 11. Веселый попутчик: Рассказы.— Л., 1928.

Искатель приключений // Современный мир (ежемесячный журн.).— Пг., 1915. № 1. С. 1—26. То же в ПСС.— Т. 8. Окно в лесу: Рассказы.— Л., 1929. Печатается по сб.: Грин А. С. Искатель приключений.— М., 1916.

Аллегория искусства, развернутая в рассказе, имела автобиографический смысл: писателя тянуло к изображению загадочного. Оправдывая и обосновывая его безграничность, Грин записывал: «Настоящий искатель приключений отличается от банально любопытного человека тем, что каждое неясное положение исчерпывается

им до конца» (Рукописный отдел ИМЛИ АН СССР.— Ф. 95. Оп. 1. Ед. хр. 3).

Бой на штыках // 20-й век.— Пг., 1915. № 6. С. 10.— Под псевд.: А. Степанов. Печатается по этому изданию.

В журнале «20-й век» Грин начал интенсивно сотрудничать еще в 1914 г.: здесь он помещал рассказы преимущественно о войне, часто «одностраничные» — они любопытны как факт творческой биографии писателя. Журнал не отличался высоким качеством — его относят к так называемой «желтой прессе» (развлекательной, бульварно-сенсационной). В отделе беллетристики печатались произведения А. Л. Будищева, Е. Венского, А. Рославлева, увлекавшихся детективными сюжетами, изображением «роковых страстей», натуралистическими описаниями.

Тайна лунной ночи // 20-й век.— Пг., 1915. № 15. С. 10—11. Печатается по этому изданию.

Желтый город // 20-й век.— Пг., 1915. № 16. С. 12.— Под псевд.: А. Степанов. Печатается по этому изданию.

Слово-убийца // 20-й век.— Пг., 1915. № 17. С. 7.— Под псевд.: А. Степанов. В «правдинских» СС не публиковался. Печатается по первому изданию.

Швабы (старин.) — немцы.

Убийство в рыбной лавке // Аргус.— Пг., 1915. № 4. С. 29—34. То же // Северная звезда (двухнедельный литературно-художественный сборник; бесплатное приложение к журналу «Женщина»).— Пг., 1916. № 1. С. 49—56. То же в сб.: Грин А. С. [Рассказы].— М.: Красная звезда, 1925.— 60 с.— (Дешевая юмористическая библиотека; Вып. 5). То же в ПСС.— Т. 11. Веселый попутчик: Рассказы.— Л., 1928. Печатается по сб.: Грин А. С. Искатель приключений: Рассказы.— М., 1916.

Там или там // 20-й век.— Пг., 1915. № 19. С. 13.— Под псевд.: А. Степанов. Печатается по этому изданию.

Ужасное зрение // 20-й век.— Пг., 1915. № 20. С. 11—12. Печатается по этому изданию.

Птица Кам-Бу // Русская иллюстрация (еженедельный иллюстрированный журн.).— М., 1915. № 21. С. 1—3. То же // Северная звезда.— Пг., 1915. № 10. С. 45—49. То же в ПСС.— Т. 11. Веселый попутчик: Рассказы.— Л., 1928. Печатается по сб.: Грин А. С. Искатель приключений: Рассказы.— М., 1916.

Волшебный экран // Северная звезда.— Пг., 1915. № 3. С. 54—55. В «правдинских» СС не публиковался. Печатается по первому изданию.

Золотой пруд. Первая публикация не установлена. Условно датируется выходом сборника А. С. Грина «Загадочные истории» — июль 1915 г. Публиковался в сборниках: Грин А. С. Рассказы.— М.; Пг., 1923; Грин А. С. Золотой пруд: Рассказы.— М.; Л., 1926.— 2-е изд. 1927. Печатается по сб.: Грин А. С. Загадочные историии.— Пг., 1915.

Критики обратили внимание на «тона Джека Лондона» в рассказе (см.: Столица и усадьба.— Пг., 1915. № 47. С. 20) и на «богатство выдумки», «художественный такт», сказавшиеся здесь «в выдержанных паузах и выразительном лаконизме» (Нива: Литературные и популярно-научные приложения.— Пг., 1915. № 11. Стб. 480).

Наследство Пик-Мика // Грин А. С. Загадочные истории.— Пг., 1915. Отдельные новеллы, из которых состоит рассказ, до того печатались в такой последовательности: «Событие» (Всемирная панорама.— СПб., 1909. № 25), позднее публиковавшееся под

названием «Событие моряка» (20-й век.— Пг., 1915. № 23); «Петух» (Утро Сибири.— Чита, 1909, 25 дек.), затем вышедший под названием «Интермедия» (Солнце России.— СПб., 1912. № 137); «Вечер» (Весь мир.— СПб., 1910. № 20); «Арвентур» — в «Книге рассказов: (Читатель)».— СПб., 1910. Новеллы «Ночная прогулка» и «На американских горах» были написаны специально для цикла «Наследство Пик-Мика».

По воспоминаниям В. П. Калицкой, сюжет для рассказа «На американских горах» дало Грину посещение «Луна-парка» (петербургская новинка 1908—1910 гг.— летний театр и сад с впервые появившимися тогда аттракционами). На этих «горках» произошел единственный, кажется, за все время их существования смертный случай: пожилой человек захотел испытать сильное ощущение, но переживание оказалось слишком сильным для его сердца, и он скатился вниз мертвым. «Не знаю,— замечала В. П. Калицкая,— было ли об этом несчастном случае в газетах, но молва о нем облетела весь Петербург» (Воспоминания об Александре Грине... С. 202).

Сборник «Загадочные истории» имел посвящение — В. П. Калицкой (хотя в то время их брак уже распался). Его текст («Единственному моему другу — Вере — посвящаю эту книжку и все последующие. А. С. Грин. 11-е апреля 1915 года») был оформлен наброском рисунков, сделанных рукой Грина. В них содержались некие символы — любви, писательства, свободы, принуждения (См.: Воспоминания об Александре Грине... С. 166).

Капитан Дюк // Современный мир (ежемесячник).— Пг., 1915. № 8. С. 89—107. То же // Нива: Ежемесячные литературные и популярно-научные приложения к журналу.— Пг., 1916. № 10. Стб. 179—202. То же в сб.: Грин А. С. Рассказы.— М.; Пг., 1923. Отдельное издание.— М.: РИО ЦК водников, 1925.— 28 с.— (Б-чка «На вахте»; № 11). Отдельное издание под названием «Капитан».— М.; Л.: Земля и фабрика, 1926.— 30 с.— (Б-ка сатиры и юмора). Публиковался в сборниках: Грин А. С. Штурман «Четырех ветров»: Рассказы.— М.; Л.: Земля и фабрика, 1926.— 134 с.; 2-е изд.— 1927, а также в ПСС.— Т. 12. Корабли в Лиссе: Повести и рассказы.— Л., 1927. Печатается по сб.: Грин А. С. Искатель приключений.— М., 1916.

Линёк — короткая веревка, тоньше одного дюйма (25 мм), с узлом на конце, используемая для телесных наказаний (на судах).

Кливер — косой треугольный парус, ставящийся впереди фок-мачты (передней мачты).

Взять на салинг — закрепить, придержать снасти мачт.

Шкот — снасть, служащая для управления парусом.

Тимберс — деревянный брус, идущий на изготовление шпангоутов — ребер судна.

Фрахт — плата за перевозку груза. Здесь: предложение о перевозке.

Шкворень (или шворень) — стержень, вставляемый в последнюю ось повозки, как рычаг поворота.

Рым — железное кольцо, устанавливаемое для швартовки, привязывания канатов, других снастей.

Клотик — верхняя оконечность мачты.

Путь // Аргус.— Пг., 1915. № 8. С. 30—35. То же в ПСС.— Т. 6. Черный алмаз: Рассказы.— Л., 1928. Печатается по сб.: Грин А. С. Загадочные истории.— Пг., 1915.

Рецензент газеты «Речь» (Пг., 1915, 14 сент.) назвал этот рассказ лучшим в книге «Загадочные истории», хотя и оговорил, что подобного рода раздвоение личности было уже раньше описано

Эдгаром По в «Сказке Извилистых Гор» (в современных переводах — «Повесть Крутых гор»).

Подаренная жизнь. Под названием «Наемный убийца» (в сокращенном виде) // 20-й век.— Пг., 1915. № 37. С. 13. Под названием «Игрок: Петроградский рассказ» // Биржевые ведомости. Веч. вып. (иллюстрированная политическая, общественная и литературная газ.).— Пг., 1915. 18, 19 дек. Под названием «Подаренная жизнь» // Синий журнал.— Пг., 1918. № 9. С. 10—11. Печатается по этому изданию.

Баталист Шуан // Огонек (еженедельный художественно-литературный журн.).— Пг., 1915. № 37. С. 6—7, 10—15. Печатается по этому изданию.

Поединок предводителей // 20-й век.— Пг., 1915. № 41. С. 14.— Под псевд.: А. Степанов. Печатается по этому изданию.

Морской бой // 20-й век.— Пг., 1915. № 47. С. 12.— Под псевд.: А. Степанов. В «правдинских» СС не публиковался. Печатается по первому изданию.

Оверштаг — поворот парусного судна против ветра с одного галса (курса относительно ветра) на другой.

Медвежья охота // Огонек.— Пг., 1915. № 48. С. 5—8. Печатается по ПСС.— Т. 6. Черный алмаз: Рассказы.— Л., 1928.

Леаль у себя дома // 20-й век.— Пг., 1915. № 52. С. 12—14. Печатается по этому изданию.

Возвращенный ад // Современный мир.— Пг., 1915. № 12. С. 17—44. То же в ПСС.— Т. 13. Колония Ланфиер: Рассказы.— Л., 1929. Печатается по сб.: Грин А. С. Искатель приключений: Рассказы.— М., 1916.

Писатель прибегает здесь к «автореминисценции», как бы предлагая читателю вспомнить описанный им тип мироощущения самодовольного человека: Галиен Марк после дуэли с Гуктасом обретает «великолепное, ни с чем не сравнимое ощущение законченности и порядка в происходящем». Но это состояние уже было очерчено в «Ночной прогулке» из «Наследства Пик-Мика». В рассказе «Возвращенный ад» сошлись мотивы тех произведений Грина, где он пытался проникнуть в загадки и издержки творчества,— и в этом плане он наиболее автобиографичен.

Аграф — нарядная пряжка или застежка.

Планшир — брус по верхнему краю бортов шлюпок или поверх фальшборта у больших судов.

Львиный удар // Огонек.— Пг., 1916. № 2. С. 5, 8—12. То же // 20-й век.— Пг., 1917. № 9. С. 7—12. То же в ПСС.— Т. 8. Окно в лесу: Рассказы.— Л., 1929. Печатается по сб.: Грин А. С. Искатель приключений: Рассказы.— М., 1916.

Всемирный теософский союз.— Теософия: религиозно-мистическое учение о единении человеческой души с Богом и о возможности непосредственного общения с потусторонним миром.

Огонь и вода. Под названием «Невозможное — но случилось» // Синий журнал.— Пг., 1916. № 9. С. 4—6. То же в сб.: Грин А. С. Брак Августа Эсборна.— Л., 1927. Печатается по сб.: Грин А. С. Огонь и вода: Рассказы.— М., 1930.

Меблированный дом. Под названием «Романтическое убийство // Всемирная новь (еженедельный иллюстрированный журн.).— Пг., 1916. № 9. С. 2—6. В «правдинских» СС не публиковался. Печатается по первому изданию.

Джек-потрошитель — прозвище Шеппарда Джона (1702—1724), профессионального грабителя, действовавшего в окрестностях Лон-

дона. Был повешен в возрасте 21 года. Стал популярен как романтический герой «страшных рассказов».

Ассирийский профиль — лоб и нос составляют прямую линию.

Де-Бароль «Тайны руки».— Книга известного французского хироманта Адольфа Дебарроля (1801—1886) была издана на русском языке в 1862, 1884, 1894, 1912 гг.

Лейденская банка — электрический конденсатор в виде цилиндрического стеклянного сосуда (прибор введен в Голландии в г. Лейдене в 1745—1746 гг.).

Ночью и днем. Под названием «Больная душа» // Новая жизнь (ежемесячный литературно-художественный и беспартийно-прогрессивный журн.).— Пг., 1915. № 3. С. 3. Под названием «Ночью и днем» // Нива: Ежемесячные литературные и популярно-научные приложения.— Пг., 1916. № 2. Стб. 187—220. То же в ПСС.— Т. 5. Шесть спичек: Рассказы.— Л., 1927. Печатается по сб.: **Грин А. С.** На облачном берегу.— М.; Л.: Гос. изд-во, 1925.

Слепой Дей-Канет // Вечерние известия (газ.).— М., 1916. 2 марта. Печатается по этому изданию.

Лабиринт // Биржевые ведомости. Утр. вып.— Пг., 1916. 6 марта. То же // 20-й век.— Пг., 1917. № 35. С. 5—9. В «правдинские» СС не входил. Печатается по тексту журнала «20-й век».

Фут — единица длины в различных странах; в России и в английской системе мер — 0,3048 м.

Герольд — в Западной Европе в средние века — вестник, глашатай при дворах королей и крупных феодалов; распорядитель на торжествах и рыцарских турнирах.

Ландскнехты.— Здесь: наемные солдаты.

Черный алмаз // Огонек.— Пг., 1916. № 16. С. 7—10. Печатается по ПСС.— Т. 6. Черный алмаз: Рассказы.— Л., 1928.

Боа — женский шарф из меха или перьев.

Пьер и Суринэ. Под названием «Воскресение Пьера» // Утро России (газ.).— М., 1916. 17 апр. То же // Синий журнал.— Пг., 1916. № 47. С. 12—14. Под названием «Пьер и Суринэ» // Красная панорама (еженедельный иллюстрированный литературно-художественный журн.).— Л., 1926. № 32. С. 3—5. Печатается по этому изданию.

Отшельник Виноградного Пика // Биржевые ведомости. Утр. вып.— Пг., 1916. 2 мая. Печатается по этому изданию.

...скорбь о равнодушной природе, которая, когда меня не станет, «будет играть»...— Перефразировка строфы из стихотворения Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» (1829).

Тайна дома № 41 // Биржевые ведомости. Веч. вып.— Пг., 1916. 22, 23, 24, 25, 26, 27 мая. В «правдинских» СС не публиковался. Печатается по первому изданию.

Издательство «Скальпированный футурист» — выдумано А. С. Грином, который не пропускал случая остро задеть футуристов. Писатель относился к ним более чем неприязненно. Например, в рассказе «Капитан Дюк» он пишет, что сооруженное из всякого старья «жилище» старика Бильдера «сильно напоминало постройки нынешних футуристов как по разнообразию материала, так и по беззастенчивости в его расположении».

Куртаж — вознаграждение маклеру за посредничество при совершении сделки.

Лайба — большая двухмачтовая лодка с косыми парусами.

Шкипер — устарелое название капитана (владельца коммерческого судна).

Озирис (или Осирис) — в древнеегипетской религии бог воды и растительности (умирающий осенью и воскресающий весной), а также властелин загробного царства.

Под Верденом.— Имеется в виду наступательная операция немцев под Верденом (с 21 февр. по 2 сент. 1916 г.), в результате которой немцы понесли, однако, значительно большие потери, чем французы.

Выиграть «фуксом» — в бильярдной игре случайно удачный удар по шару.

Фунт — мера веса, имеющая в разных странах различный размер (от 317, 52 до 560 г.; в России — 409,5 г.).

Оккультическое течение (точнее: оккультное) — общее обозначение мистических учений, утверждающих, будто существует особая таинственная связь человека с потусторонним (не познаваемым при помощи разума) миром.

Так сказал ученый профессор Заратустра.— Имеется в виду работа Ф. Ницше (1844—1900) «Так говорил Заратустра» (1883—1884), в которой предлагалась концепция «воли как основы мира», утверждалось представление о мире как чистом становлении и о войне как источнике жизни.

Кольд-крем — мазь, применявшаяся в косметике.

«Мечты в сапогах» — так иронически А. С. Грин выразил свое отношение к поэме Маяковского «Облако в штанах» (1914—1915).

Тяжелый воздух. Под названием «Летчик Киршин» // Весь мир.— СПб., 1912. № 26. С. 9—12. Под названием «Тяжелый воздух» // Синий журнал.— Пг., 1916. № 27. С. 4—6. Печатается по этому изданию.

Фарман — тип самолета, названный по имени Анри Фармана — французского летчика и авиаконструктора, а также и владельца фирмы «Фарман», выпускавшей военные и гражданские самолеты.

Таинственная пластинка // Петроградский листок.— 1916. 24 июля. Печатается по ПСС.— Т. 8. Окно в лесу: Рассказы.— Л., 1929.

Сто верст по реке // Современный мир.— Пг., 1916. № 7/8. С. 39—76. Написание рассказа датируется, по воспоминаниям В. П. Калицкой, не позднее 1912 г.; здесь нашла отражение суть их отношений с А. Грином (см.: Воспоминания об Александре Грине... С. 159). Публиковался в сборниках: Грин А. С. Сердце пустыни.— М.: Земля и фабрика, 1924.— 142 с.; Грин А. С. Гладиаторы: Рассказы.— М.: Недра, 1925.— 213 с. Печатается по ПСС.— Т. 11. Веселый попутчик: Рассказы.— Л., 1928.

Гартман Эдуард (1842—1906) — немецкий философ-идеалист, автор книг «философия бессознательного» (1869), «Феноменология нравственного сознания» (1879) и др.

Шопенгауэр Артур (1788—1860) — немецкий философ-идеалист, автор книги в двух томах «Мир как воля и представление» (1819—1844; рус. пер. 1881), где сущность мира предстает как неразумная воля, слепое, бесцельное влечение к жизни.

Как я умирал на экране // Петроградский листок.— 1916. 9, 10 авг. То же // 20-й век.— Пг., 1917. № 26. С. 9—11. Печатается по ПСС.— Т. 5. Шесть спичек: Рассказы.— Л., 1927.

Елисейские Поля.— Здесь: то же, что *Элизиум* — местопребывание блаженных душ в загробном мире.

Пассажир Пыжиков. Под названием «Заяц» // Всемирная

панорама (еженедельник).— СПб., 1912. № 2. С. 6—8. Под названием «Тоскливый заяц» // 20-й век.— Пг., 1915. № 35. С. 11—13.— Под псевд.: А. Степанов. Под названием «Пассажир Пыжиков» // Синий журнал.— Пг., 1916. № 34. С. 4—5. Печатается по этому изданию.

Ремингтон — марка пишущей машинки начала века.

Отравленный остров. Под названием «Сказка далекого океана» // Огонек.— Пг., 1916. № 36. С. 2. Под названием «Отравленный остров» в сб.: Грин А. С. Огонь и вода: Рассказы.— М., 1930. Печатается по этому изданию.

В журнале «Огонек», в IV главе, после слов: «...сжигают легкие десяткам тысяч солдат» — следовало: «Мы узнали, что моря засеяны минами, а равнины — трупами. Мы узнали еще, что подводные лодки топят пассажирские суда».

Фокзейль — один из передних парусов на судне.

Рибо Тиодюль Арман (1839—1916) — французский психолог и психопатолог, автор трудов по проблемам памяти и творческого воображения.

Крафт — Эбинг Рихард (1840—1903) — австрийский психиатр, предложил одну из первых классификаций душевных болезней.

Для некоторой части рассказов А. Грин находил материал и интригу в работах по психологии и психиатрии, с которыми писатель, судя по отсылкам в тексте, был хорошо знаком. См. об этом: Ковский В. Е. «Настоящая внутренняя жизнь»: (Психологический романтизм Александра Грина)» в его книге «Реалисты и романтики».— М., 1990.— С. 271. В ряду таких рассказов: Преступление Отпавшего Листа; Сила Непостижимого; Загадка предвиденной смерти; Путь; Ночью и днем.

Веселая бабочка // Петроградский листок (газ.) — 1916. 19 сент. То же // Всемирная новь.— Пг., 1917. № 19. С. 10—12. В «правдинских» СС не публиковался. Печатается по журналу «Всемирная новь».

Золотник — русская мера веса (4, 26 г).

Халатник (устар.) — торговец-старьевщик (первоначально — о старьевщике-татарине).

Фантазеры // Петроградский листок (газ.).— 1916. 6 окт.— То же // Литературное приложение к газ. «Ленинградская правда».— 1928. 11 авг. В «правдинских» СС не публиковался. Печатается по первому изданию.

Страшный злодей. Под названием «Убийца» // Огонек.— СПб., 1908. № 45. С. 15. То же // Биржевые ведомости. Утр. вып.— СПб., 1908. 13 дек. Под названием «Страшный злодей» // Синий журнал.— Пг., 1916. № 43. С. 4—5. В «правдинские» СС не входил. Печатается по тексту «Синего журнала».

Духанщик — содержатель духана (арабск.), т. е. лавки, магазинчика, ресторанчика и т. п. с продажей вин.

Ирмос — род богослужебного пения в православной церкви.

На реке. Под названием «В разливе» // Мир (ежемесячный литературный, научный, общественно-политический иллюстрированный журн.).— СПб., 1910. № 5. С. 344—346. Под названием «Бытовое явление» // Солнце России.— СПб., 1912. № 141. С. 4—6. То же // Волны (бесплатное приложение ко II изданию «Газеты-копейки»).— СПб., 1913. № 12. С. 12—15. Под названием «На реке» // Синий журнал.— Пг., 1916. № 49. С. 12—14. В «правдинских» СС не публиковался. Печатается по тексту «Синего журнала».

Капитан Немо — герой романов французского писателя Жюль

Верна (1828—1905) «20 000 лье под водой», «Таинственный остров» и др.

Водолив — рабочий, вычерпывающий воду на крупном судне.

Толы (диалект.) — глаза.

Хлебник (устар.) — тот, кто печет и продает хлеб.

Угодник — в христианской вере человек, причисленный к святым за праведную жизнь и покровительствующий верующим.

Облом — увалень, грузный, неуклюжий и невоспитанный, неразвитый человек (разг., пренебрежит.).

Трамвайная болезнь // Бич (сатирико-юмористический еженедельник).— Пг., 1916. № 17. С. 6—7. Печатается по ПСС.— Т. 6. Черный алмаз: Рассказы.— Л., 1928. В «правдинских» СС не публиковался.

Тарпейская скала — отвесный утес Капитолийского холма в Древнем Риме, откуда сбрасывали осужденных преступников и изменников. Скала названа по имени Тарпии — дочери начальника крепости, измена которой помогла сабинянам овладеть важным укреплением; за это победители вместо награды убили ее — могила находилась на холме.

Наказание // Литературное приложение к газ. «Петроградский листок».— 1916. 15 дек. То же // Синий журнал.— Пг., 1917. № 3. С. 4—5. Является существенно переработанным вариантом раннего рассказа «Каюков» // Маяк (газ.).— СПб., 1908. 24 сент. То же // Солнце России.— Спб., 1913. № 14. С. 2—4. Печатается по тексту «Синего журнала».

Вокруг света // Русская воля (политическая, общественная и литературная газ.).— Пг., 1916. 31 дек. То же // 30 дней (ежемесячный художественно-литературный, общественный и научно-популярный иллюстрированный журнал.).— М., 1926. № 5. С. 28—37. То же в сб.: Грин А. С. Брак Августа Эсборна.— Л., 1927. Печатается по сб.: Грин А. С. Вокруг света: Рассказы.— М.: Огонек, 1928.— 44 с.— (Б-ка «Огонек»; № 362).

Возвращение «Чайки» // Новая жизнь: Альманах.— Пг., 1916. № 6. С. 9—24. Является кардинальной переработкой раннего рассказа «Серебро Юга» // Весь мир (еженедельный литературный, художественный, общественный и популярно-научный журн.).— СПб., 1910. № 22. С. 9—13. То же в сб.: Книга рассказов: (Читатель). СПб., 1910. С. 180—182. Печатается по тексту альманаха «Новая жизнь» (1916. № 5).

А. С. Грин любил создавать варианты («продолжать») или писать от литературного образца. В данном случае имеем пример и того, и другого. Будучи предтечей рассказа «Возвращение «Чайки», рассказ «Серебро Юга» и сам в некоторых отношениях повторяет сюжетную схему «Челкаша» М. Горького. В варианте 1916 года А. Грин заменил героев раннего рассказа — Шлейфа и Амиту и ввел других — Шмыгуна и Катю. И только Черняк остается (в этом герое ощущается полемичность по отношению к горьковскому Челкашу).

Творческими поисками завершался 1916 г. (вышло 26 произведений в жанре романтико-психологической новеллы и книга «Искатель приключений»). Если сравнить этот итог с предыдущим 1915 годом (110 публикаций, правда, вместе с перепечатками, и три книги), то продуктивность 1915 г. становится особенно показательной. О внутреннем настрое писателя в этот период (1913—1916 гг.), а также о его отношении к современности свидетельствовали и сами его произведения, и прямые высказывания. Быть может, одним

из наиболее характерных явился его ответ на анкету «Что будет через 200 лет». Со свойственной ему ироничностью А. С. Грин отвечал так:

«Я думаю, что появится усовершенствованная пишущая машинка. Это неизбежно. Человек же останется этим самым, неизменным... Леса исчезнут, реки, изуродованные шлюзами, переменят течение, птицы еще будут жить на свободе, но зверей придется искать в зверинцах. Человечество огрубеет; женщины станут безобразными и крикливыми, более, чем теперь. Наступит умная, скучная и сознательно жестокая жизнь, христианская (официально) мораль сменится эгоизмом...» (см.: Синий журнал.— Пг., 1914. № 1. С. 11).

А. А. Ревякина

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ

Грин А. С.

Г85 Собрание сочинений. В 5 т. Т. 2. Рассказы 1913—1916/Сост. с науч. подгот. текста Л. Михайловой; Примеч. А. Ревякиной. М.: Худож. лит., 1991.— 655 с.

ISBN 5-280-01610-1 (Т. 2)

Во второй том Собрания сочинений Александра Степановича Грина (1880—1932) включены рассказы 1913—1916 гг., как широко известные, так и не имевшие до настоящего времени книжных публикаций.

Г $\frac{4702010201-171}{028(01)-91}$ Подписное **ББК 84Р7**

АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ ГРИН

Собрание сочинений в пяти томах

ТОМ ВТОРОЙ

Редактор О. Дворцова

Художественный редактор Е. Ененко

Технический редактор Л. Ковнацкая

Корректор С. Кашина

ИБ № 6291

Сдано в набор 15.11.90. Подписано в печать 15.07.91. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Тип Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 34,44. Усл. кр.-отт. 34,44. Уч.-изд. л. 36,81. Тираж 100 000 экз. Изд. № III-4079. Заказ № 1601. Цена 7 р. 80 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература»
107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» Государственного комитета СССР по печати.
113054, Москва, Валовая, 28



